

АЛЬМАНАХ

литературной студии
КИПАРИСОВЫЙ ЛАРЕЦ

2012

Главный редактор
Игорь Большев

Редакционная коллегия:
Татьяна Грауз, Мария Козлова, Сергей Кромин, Илья Оганжанов.

Подробная информация о студии «Кипарисовый ларец»
на сайте www.tatarinova.org

Ваши мнения, замечания, предложения о сотрудничестве
можно отправить координатору студии *Татьяне Грауз*
по адресу tatyanagrauz@yandex.ru.

Руководители студии *Игорь Большев и Светлана Кочерина*
kocherina@rambler.ru

Художник *Галина Леденцова*

Корректор *Светлана Орешкина*

Технический редактор *Иван Сергеев*

Издательство Литературного института им. А.М. Горького
Альманах выходит один раз в год

ISBN 5-7060-0121-9

© Авторы

© Издательство Литературного института им. А.М. Горького

От редакции

Литературная студия «Кипарисовый ларец» появилась в 1982 году. Ее основатель Ольга Татаринова вначале в Московском физико-техническом институте, затем в городском Доме пионеров на Миусах, потом где придется помогала молодым людям делать первые литературные шаги. Человек проницательный и бесконечно преданный литературе, Ольга Татаринова обладала уникальным даром разглядеть в другом человеке того, кем ему было назначено стать. Через студию и рядом с ней за эти годы прошло довольно много поэтов и прозаиков, некоторые достаточно известны (подробно об истории студии см. документальное повествование Ольги Татариновой «Кипарисовый ларец (non-fiction)» на сайте www.tatarinova.org).

В 2007 г. Ольги Татариновой не стало. Группа ее учеников решила продолжить дело. И вот уже три года — «новой истории» студии в Литературном институте им. А.М. Горького.

Предлагаемый Вашему вниманию Альманах — это и подведение итогов, и попытка заглянуть в будущее, найти единомышленников. Далеко не все авторы Альманаха — участники (хотя бы и бывшие) студии. Да и студия никогда не была цехом или литературной группой. Узкоэстетические пристрастия никогда не ставились во главу угла. Куда важнее — сочувствие к миру, литературная одаренность, владение словом. Такими и были «критерии отбора».

Альманах планируется выпускать ежегодно. Ранее опубликованное снабжено ссылками на первую публикацию. Большинство произведений публикуется впервые.

Редакционная коллегия

СОДЕРЖАНИЕ

I. СТИХИ

ВАЛЬДЕМАР ВЕБЕР	9
АНДРЕЙ ВЫСОКОСОВ	11
ТАТЬЯНА ГРАУЗ	20
МАРИЯ КОЗЛОВА	26
ИВАН МАКАРОВ	41
АРВО МЕТС	48
АЛЕКСАНДР МОСКАЛЕНКО	53
ИЛЬЯ ОГАНДЖАНОВ	56
ОЛЬГА ТАТАРИНОВА	60

II. ПРОЗА

ВАЛЬДЕМАР ВЕБЕР «Очки Шуберта»	69
СЕРГЕЙ КРОМИН «Сидим и смотрим»	76
ИЛЬЯ ОГАНДЖАНОВ	
«Пути Господни»	111
«На озере»	117
АЛЕКСАНДР СВИРИДОВ «Хто-хто? А никто»	120

III. НЕИЗДАННАЯ КНИГА

ВИКТОР САНЧУК	135
АЛЕКСЕЙ ПРОКОПЬЕВ	151
ДМИТРИЙ ВЕДЕНЯПИН	165
ИГОРЬ БОЛЫЧЕВ	181

IV. ЭССЕ

АНДРЕЙ ГОЛОВ	
«Три Петра и Павел»	199
«Екатерина Малая»	204
«Ода Дао»	209
АЛЕКСАНДРА КОЗЫРЕВА «О книге ивана Макарова»	214
СЕРГЕЙ ФЕДЯКИН «Преображение черновика»	217

V. ИСТОРИЯ

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ «Навашин (из «Парижских портретов») ...	241
НАТАЛЬЯ КОРНИЕНКО	
«Пролетарские писатели Андрей Платонов и Демьян Бедный», .	257

VI. ВОСПОМИНАНИЯ

МАРИНА ЛИТВИНОВА «Воспоминания»	313
---------------------------------------	-----

VI. АВТОРЫ	559
-------------------------	-----

I СТИХИ

Вальдемар ВЕБЕР

Когда мы играли в войну,
мне приходилось мириться с тем,
что я вечный Гитлер.
Семе Грановскому
отводилась роль тыловика-снабженца,
в паузах он приносил из дома
блинчики с чесноком,
что так неподражаемо пекла его мать,
иначе Сему не принимали.
А нам так хотелось
брать Берлин и Потсдам!
Он был мой одноклассник,
но опытней и мудрей,
и уже знал,
что ради общего дела
нужно жертвовать личным.
И в конце ему позволялось
вместе со всеми кричать «ура».

НА КОНТРОЛЬНОЙ

Твои колени цвета подснежников,
исписанные шпартгалками,
которые ты под партой
высоко заголяла,
давая списать теорему...
Голова кружилась,
глаза туманились,
цифры и буквы сливались,
превращались в иероглифы.
Приходилось просить позволения
еще и еще раз
взглянуть на те чертовы знаки,
и ты позволяла
с притворною неохотой.

ОТЧИЙ ДОМ

Ни один дом не стал родным кровом. Даже тот, где вырос.
Побывал в нем через много лет, но не ощутил волшебства,
исходящего от стен, не почувствовал сокровенной связи,
о которой пишут другие. Об остальных пристанищах,
где жил, где любил, и говорить не стоит,
забывал о них, стоило затворить за собою дверь.
А бабушка только и вспоминала,
как споткнулась о порог,
когда ее изгоняли.

Вокзал. Перон. Чемоданы.
Толстая проводница.
Наше прощание.
Там, за пространством фото,
ночь, темнота, бездна...
А здесь светлый день,
твое летнее платье,
завиток у виска,
любовью у вечности
отвоеванное мгновенье...

Последнее яблоко
не снятое
забытое
слишком высоко забралось
переоценило себя
не досуг лезть за ним
пусть скворушки поклюют

Охотничий рог на стене,
никогда не дудевший,
никогда не звавший убивать.
Жизнь, прошедшая понапрасну.

Андрей ВЫСОКОВ

В холодном классе сев за парты,
Теряют под ногами почву
Слепые пионеры Спарты,
С обрыва сброшенные ночью.

Сидят и вспоминают детство,
Летят и постигают бездну,
И провожают до подъезда
Подруг, живущих по соседству.

Мы были маленькие люди.
Под страшный стол пешком ходили.
Мы больше никогда не будем.
Мы дали слово. Нас простили.

Всё держится на честном слове,
Чужие сны, родные стены,
Электропоезд в Подмосковье,
Освобождение из плена.

Мы мёртвые, но мы живые,
Гомер играет нам на гусях,
На перекрёстках постовые
Стоят и думают о грустном,

О вечной жизни непутёвой,
С дымящей вечно сигаретой,
О жизни краткой, чудной, новой,
Что ожидает после этой.

День наступил. Ты говоришь: сегодня.
И повторяешь: мне бы с ним вдвоём побыть,
И умереть на Рождество Господне,
И на Успение вернуться снова жить.

Как столбик ртутный на знакомый градус,
Вернуться и присутствовать при том,
Как умирает император Август
Под молчаливым Певческим мостом.

Ходить по улицам, и вспоминать названья,
И, не припомнив, снова их давать —
Деревьям маленьким, и деревянным зданьям,
И детям, как даёт им имя мать.

На густотёртой крови Одоакра
Грустить о всех вечерних городах,
Где кормит музыка прохладным амфимавром
Овражных чаек с болью в голосах.

И языком начать необычайным,
Начало в чаше взявшем звуковой,
Обозначать, как звонница, случайным
Касаньем ветра зазвонившая, — покой,

Дневную сутолоку и ночную склоку,
Воздушный слепок с голоса весов
Лесного сна, где в чашу на растопку
Сто белоснежных сложено листов.

Оставленный отравленным мышьячной
Истомой жёлчной медленных минут,
Тут город, точно в синий снег незрячий
Чегет заталкивает языка лоскут, —

Толкает небо в ночь, и нужно знать, что
Певец под сердцем носит тёмные круги,
Изгиб реки, скрип корабельной мачты,
Воздушный слепок с холодеющей руки.

Елена любит Антиоха,
Но выбирает Менелая.
Я всё на свете понимаю,
Но понимаю очень плохо.

Когда над милою землёю
Летит хвостатая комета,
Я просто верю, что с тобою
Не сможет разлучить нас это.

Она там в небе полетает
И улетит туда, где осень
Учебник школьный долистает
До той страницы двадцать восемь.

Мы не учились так прилежно,
Так далеко не заходили.
Мы полюбили зиму снежной,
Мы небо синим полюбили.

А в том учебнике забытом
Опять весна на белом свете,
Опять война, где мы убиты
На той странице двадцать девять.

Осталось то, что не остаться
Не может, то, что только снится:
Стихи на той странице двадцать
И музыка — на всех страницах.

Засни, нестарый человек.
Ляг на матрасик полосатый.
Забудь про двадцать первый век.
Живи, как Бог, в своём двадцатом.

Из умозрительных идей
На ум приходит только скука.
По ящику большой злодей
Заносит маленькую руку.

Какая мука жить вдвоём
С отжившим новым этим миром.
Вольныню выть, ходить конём,
Беситься с худобы и с жиру.

Напоминать себе, что жив
И будешь жить, как В.Ульянов.
Обломову читать Обрыв,
Смешить царевну-несмеяну.

Ждать ослепительных чудес
И, не дождавшись, с удивленьем
Понять однажды, что воскрес
Во вторник, а не в воскресенье.

Я пионером был плохим,
А в комсомол пошёл со скуки.
И с чёрным ухом белый Бим
мне не лизал лицо и руки.

Люблю большой СССР
И маленькую Атлантиду.
Я был ужасный пионер,
Я дал свою страну в обиду.

И всё пошло совсем не так,
Куда-то вбок, в Саратов, в старость.
Морозов Павлик стал кулак.
А осенью такая гадость.

Зачем-то листья жгут огнём.
Зачем-то ничего не помнят.
Зачем-то чинят топором
Гнилых поддомика в Коломне.

Волга впадает в Каспийское море
в детство впадает и падает на спину
кошка на том или синем заборе
реки всегда дотекают до Каспия

Пия Х тога пурпурная
нам объясняли как быть нам с дробями
мимо идёт медсестра в процедурную
милая синее небо над нами

словно эфир из коричневой банки
ранки кошачьи на пальцах Ахматовой
входят на площадь тяжёлые танки
в Кирове бабки на лавках усатые

а вообще ничего городишко
школа аптека больница аврора
рабовладельческим строем из книжки
где про студёную зимнюю пору

руки за голову жизнь за царя
ну погоди а не то я умру
в страшном мультфильме в котором зазря
заяц и волк нас учили добру

Гагарин мечтает о стриженем солнце
В решётчатом междупланетном оконце.
Гагарин посажен в тюрьму, в лепрозорий.
Он болен, он выйдет на волю не вскоре.

Решительно смотрит Гагарин на небо.
Он помнит, как он голодал там без хлеба.
Поехали, шепчет кому-то Гагарин.
И тот отвечает: поехали, пареньь.

Поехали с Богом, подальше от этой
Земли, что так вертится утром и летом,
Что не устоять нам на ноженьках-ножках.
Гагарин, присядем с тобой на дорожку.

Присядем с тобой на дорожку кривую.
Присядем всего на минутку-другую.
На радугу, на посошок, наудачу.
И полно, Гагарин, живые не плачут.

бытие исход левит
числа в строчку дебет кредит
ночь троллейбусный бандит
кошельками тихо бредит

спит в отставке адмирал
потому что утром в школу
снег пошёл и перестал
белый а какой тяжёлый

словно слово или царь
мёрзнет птица на осине
повторится всё как встарь
или как в болотной тине

через миллиард веков
выйдет на берег катюша
и споёт без дураков
в кровь растерзывая душу

Всё родилось в каком-то споре,
Как истина или икона.
Как на полночном светофоре
Зажётся яркий глаз зелёный.

Остановись, постой на стрелке
И, может, даже под стрелою,
Как Белка белая со Стрелкой
Промчались по небу стрелою.

Они глядели друг на друга
И тихо плакали немного.
Наверно мир — он от испуга.
Возможно даже, он от Бога.

Давай, прижмись ко мне, живому.
Такая тёплая — как горе.
Не спорь — любовь рождается в споре
И будет резать по живому.

В долгий ящик задвинута осень,
Так как небу приснилась зима.
И по синему коврику лося
вдоль шоссе потянулись к домам.

Имя женщины. Коврик на стенке.
Триста метров шоссе за окном.
Во Вселенной, на Преображенке
Зажигает огни гастроном.

Я служу, режу древки на оси.
Смерть таскаю, дурак, за косу.
Сбитых автомашинами лосей
На траве прошлогодней пасу.

Мать анархии в порядке.
Анархист давно зэка.
Выпал туз и две девятки —
Продразвёрстка и ЧК.

Мы сидим во тьме сердито,
В свечке кончился вольфрам.
Есть немного динамита,
Но его я не отдам.

Лев Толстой сказал: не буду
С динамита денег брать.
Браконьеры чудо-юдо
Будут в речке убивать.

Хватит нам руды и пищи
На серебряный наш век.
Просмолим у гроба днище,
Упадём лицом на снег.

Снег холодный и колючий,
Как Создателя глаза.
А на небе пьют из тучи
Щука, рак и стрекоза.

Меловой период.
Школьная доска.
Едем по перилам,
Шатким, как века.

Нет ещё на свете
Ни морей, ни стран.
Трудные мы дети
Первохристиан.

Майских демонстраций
Подземельный ход,
Жёлтые акации
Белы круглый год.

Трудные мы дети,
Дети первый класс.
Не было на свете
Никого из нас.

Всё на земле не причина, а повод —
Для неизбежности, ревности, грусти.
Красное, как электрический провод,
Тянется лето к истоку от устья.

Тянется Лета — молочная речка.
В синий кисель берега затвердели.
Двигается жизнь по привычке, от печки,
Тикают громко часы и недели.

Дождь осторожно, чтоб не ушибиться,
Сыплется на синеватые горы.
Сны холодны, как поющая птица,
В эту студёную летнюю пору.

В эту студёную пору огромный
Мир набухает, как почка на вербе.
Птица поёт, и ни слова не помнит,
Тянет огромную ноту, и терпит.

Идёт Одиссей на Итаку,
Как Нестеров шёл на таран,
Бормочет: я Бога увидел,
Какой я теперь капитан.

Какой я теперь подполковник.
Я в танке горел под Москвой.
В саду расцветает шиповник.
А я возвращаюсь домой.

На мой малозначащий остров,
К моей престарелой жене,
Уставшей от всех этих монстров,
От всех женихов на земле.

Татьяна ГРАУЗ

МОСКОВСКОЕ УТРО

и спряталось это светящееся как фонарик
 в укромный твой сон
точно ребёнок испуганный под одеяло
 лежит и не шелохнётся
и открывает огромный
 с марками синими и сургучной печатью
конверт а в нём буквы таинственные на желтоватой бумаге
 а за ними как заколдованные стоят облака
 и дорога восходит на гору
 тёмный лес приближается
 щебечут вещие птицы

но что-то вытаскивает тебя из смертельного этого сна
в серое с дождиком нудным московское утро
в холодную осень

ПРИГОРОДНЫЙ ВОЗДУХ

где Снегири? где Дедовск? Истра?
промоглый и пригородный воздух
и пахнет серым снегом и покоем
 и время затвердело как кристалл
 пронзительно сверкает в свете солнца

НЕЗАБВЕННОЕ

у этих елей сонный и дремотный вид
в такую уводящий темень в такую згу
где старцы в тёмных кельях и леса
жемчужины поклонов
и ели худенькие хвойно-незабвенны

ПОД РОВНЫМ НЕБОМ ОСЕНИ

я бы проснулась неподалёку от Снегирей
во времени уравновешенном мелкими гирьками
 с м о т р и т е — — п р и к л е и л о с ь
 к дымку над убогонькой кухней — ржание лошади
 к сумеркам рыжим — душа
а к сердцу реликтовому — летальный сон трав

ОДИНОКОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЕЙ

мы вторим дудочке трагичной
 мистическому миру луга
 покою божественных ресниц
 и тени на лице усталом
в нас ноют реки тёмною водой
и травы как дожди дрожат от взглядов
сверкает на улицах пустынных воздух
и облако зияет — нет, что вы — облако сияет
в нём спит невозмутимо тишина

ПОЛДЕНЬ

июль шуршит по гравию устало
 покой весомый
 облачная тень
 сияние подсолнухов дремотных
и думать лень что завтра будет завтра

тягучий полдень спит не добудиться

ВЛЕЧЕНИЕ

фреска
 влекущая в чарующее нечужое лицо

НЕ СКОРО ЕЩЁ

не скоро
не скоро ещё возвращение
 в смирительный свет этого поля

мы за оградой ещё постоим
в шелестящем и здешнем
 где голоса и шиповник
и в час благодатный очнулась и оживает душа

ПОЛЯНА ПРОБУЖДЕНИЯ

в книге раскрытой на третьей странице — соцветье акации

(перелистываем)

и по цепочке слов
по узкой тропинке
ступаем на прежде неузнанную эту поляну

там заснувшие где-то не там города
в ельнике паутинном там бродит утро
на стебле травы пробуждается взгляд
кувшинами стоят облака

и будто в комнате дальней тикают ходики жизни
и никнет к земле земляника

когда мы
по этим проторенным кириллицей тропам
по этим озёрам
на берег другой попадем

там — что-то иное

МИЛЫЕ ПОМОЩНИКИ

в этом уже не этом утреннем свете
на этом утреннем пляже
на полоске влажной песка
ящерица веки прикрыла заснула
и собака плывёт за неизвестным мне человеком

мне не дано
я не умею всё это оставить

и возвращаюсь
в ту себя иногда возвращаюсь

стою с коленкой ушибленной и загорелой
и вижу мглистое небо и арку
неясную арку моста

В СУМЕРКАХ

над поляной сгущаются вещие сумерки
на серебристой и почернелой скамейке горюет блаженный ребёнок
а у торговой палатки пестреют в беспамятстве степные арбузы
и вязнут в густой темноте люди плоды и деревья

а выше
будто ошибка какая
от облака розового
узенькой щепкой
соринкой беззвучной и невесомой
летит-пролетает душа моя бедная
лёгкий-совсем-самолёт

ДВЕ ИЛИ ДВА

две или два ангела
одна слеповата, другая — в цветочек
— ах, вон оно что...
— а мы, прости, Господи, и не сравнить

ДОМОТКАННОЕ

кто-то выткал
бликами домоткаными
это утреннюю речную и пёструю воду
и птиц
и их тени летящие
и небо над выгоревшим покоем августа
и душу
спрятавшуюся в загорелых телах
твоё-домотканое-завтра

МИР И МИР РЯДОМ

в этот май мы выпускаем легко
утреннее волхование радио
и столетний в зазубринах голос
женщины
осенью ей исполнилось — страшно подумать — уже 96
и её парижское кепи
и дивный изгиб её шеи как у беспечных старух Иоселиани
и виолу оранжевую с тёмным глазком
и словарь древнерусский где мир и мир рядом
и церковным вином взвихрённые разговоры
когда вертикаль вверх и вглубь труднее чем
километры от Отрадного до Соколиной горы

и мы шутим беспечно
и смотрим на май месяц цветущий
как смотрят давно
недавно рождённые дети

БЛАЖЕНСТВО

блажен кто ищет смыслы
и находит в однообразном хмуром дне
свет морозящий
удивлённых рыб
нечаянную вечность

Мария КОЗЛОВА

Не пора ли нам, милый, отчаяться
И вернуться туда, где сейчас
Начинается то, что кончается
И опять начинается в нас,

Повторяясь от века до времени,
Потерявшего голос в веках,
Оттого ли, что стали не теми мы,
Кто у времени гибнет в руках,

Кто, доверившись эху звенящему,
Возвращает из мира теней
Настоящую ноту щемящую
И себя, настоящего, с ней.

И, качаясь под музыку бедную,
Побеждённый в смертельном бою,
Повторяет, как песню победную,
Безнадежную песню свою.

Все закаты твои и рассветы,
Синих звёзд ледяные огни —
В светлых сумерках тёплого лета
Навсегда растворились они.

Ничего не осталось на свете,
Только осень шумит вдалеке,
Только воет за окнами ветер,
Не слышанный в первой строке.

Только тихая песня разлуки
Остаётся с тобой под конец,
Вечной памяти светлые муки
Или тёмный забвенья венец,

И тоска, не знакомая с детства,
И неведомый с детства покой:
Женской рифмы пустое кокетство
И отчаянье рифмы мужской.

Все мы тут с одинаковым отчеством
В одинаковых кедах стоим
За твоё и моё одиночество
И отчества тающий дым,

За одну фотокарточку детскую
И любовь к чёрно-белым цветам,
Вот оно — доказательство дерзкое
Принадлежности к здешним местам.

Вот оно — доказательство странное
Теоремы о сумме углов:
Не какая-то даль безымянная
Или тихая песня без слов,

А конкретная область подвздошная,
Еле слышный в крови шепоток —
Настоящее наше и прошлое,
Подводящее жизни итог.

Что может быть прекрасней этой
Весны, дочитанной тобой
До послесловья: юность, лето,
Туман над речкой голубой.

Полуобман, полупризнание —
«Я к Вам пишу» — чего уж там!
Не это ль радость узнавания,
В веках обещанная нам?

Не так ли пел певец печальный,
Безмолвным ангелом храним,
Не этот сумрак изначальный,
А небо звёздное над ним.

Не этот мир — слова и слёзы,
А тот, затерянный в веках, —
Апокрифические розы
В апофатических стихах.

Боря Рыжий — хороший поэт.
Хорошо быть хорошим поэтом.
А за окнами — снова рассвет,
Ты теперь не напишешь об этом.

Как по небу плывут облака
И размокший кораблик бумажный,
А запомнят ли нас на века,
Это, в общем, не так уж и важно.

Так уж вышло, что вышло никак,
Едет Пушкин на ржавой повозке,
Стороной объезжая барак,
Покосившийся где-то в Свердловске.

Это чёрное горе, мой друг,
Безнадежные строчки бормочет,
И трамваем очерченный круг
Кругом ада становится к ночи.

Одиночество нам не к лицу.
Почитай мне «Фантазию» Фета,
Чтобы стало понятней к концу,
Что наделала музыка эта.

Онегин из дому выходит
В непромокаемом плаще.
А там — весна. Он счастлив вроде
Не чем-нибудь, а так — вообще.

И он идёт к своей Татьяне
В район бульварного кольца.
Глава последняя в романе,
Строфа четвёртая с конца.

Так мы с тобой договорились,
Что будут счастливы они.
Куда, куда вы удалились,
Моей весны златые дни?

А мы прошли до середины
Земной свой путь и строки те,
Где облака плывут как льдины
На леденящей высоте,

Где за окном — мороз крещенский,
И, улыбаясь свысока,
Спешит на бал Владимир Ленский,
Который жив ещё пока.

Дорога, ведущая к дому,
И старые липы рядом.
Ты мог бы сказать по-другому,
Но вряд ли бы смог о другом.

Дорога, деревья, заборы
И то, что зовется душой,
Большие как жизнь разговоры
О будущей жизни большой.

Какая-то грустная нота,
Которую помнит душа,
Как будто ты встретил кого-то
И сделалось трудно дышать,

Как будто из окон вагона
Ты смотришь на детство свое,
И в небо взлетает ворона,
И время уносит ее.

Маме

Вот всё, что я о мире знаю:
Мне двадцать лет. Февраль. Париж.
Я Пруста медленно читаю,
А ты у зеркала стоишь.

Строка, зауженная книзу,
Ползёт по белому листу
По направленью к Мезеглизу,
Туда где девушки в цвету.

Ты всё молчишь, а я читаю,
И вот сирени белый куст
В саду у Свана отцветает,
О чём пространно пишет Пруст.

Ещё он пишет о Жильберте,
О лютиках, о сквозняке,
И что-то важное о смерти
На живописном языке.

Зачем нужна мне книга эта,
Я и теперь не разберу,
Но точно знаю, что Одетта
Звалась Одиллией в миру.

Послушай, давай мы не будем
О горе, разлуке, войне,
Живые и тёплые люди
В холодной родной стороне.

Давай мы не будем об этом,
А будем совсем о другом:
О белом тумане рассветном,
О летнем дожде голубом,

О желтом, зелёном и синем,
О свойствах земли и воды,
О чем-нибудь, кроме России,
Разлуки, войны и беды.

Пахнет мятою веточка мяты,
Пахнет ивою ивовый прут,
Солнце падает в садик помятый,
И его на носилках несут.

Пахнет холодом вечер продрогший,
Пахнет холодом дождь голубой,
В этой жизни плохой и хорошей
Только дождь остаётся собой.

Только дождь, только ветер осипший,
Только песня «прощай и прости»,
Ты бы тоже хотел покрасивше
И почище местечко найти,

Чтобы в небо глядеть голубое
И следы оставлять на песке,
В белой куртке с кровавым подбоем,
В белых брюках и чёрной тоске.

Чтобы петь свои песни об этом
Грустном мире и стать наконец
Настоящим певцом и поэтом
И пожить, как поэт и певец.

Но не вышло, и дождик кургузый
Моноotonно стучит по зонту,
И грустит на скамеечке муза
С сигаретой потухшей во рту.

Ничего не изменилось,
Всё как прежде, Бог с тобой.
Ночь к берёзе прислонилась
В шали тёмно-голубой.

В белом облаке сирени
Почерневшее крыльцо.
Та же книга на коленях,
То же в зеркале лицо.

Ничего не поменялось,
Будет то же, что всегда —
Жизнь и смерть, любовь и жалость,
В речке чёрная вода.

И холодные, как проза,
Грустные, как трубачи,
Ослепительные грозы
В оглушительной ночи.

Как тихо здесь. Садится солнце
В сосновый бор, а над трубой
Дымок белёсой змейкой вьётся
И тонет в дымке голубой.

Трещат весёлые поленья,
Скрипит окно, звенит комар.
Без божества, без вдохновенья
В углу пылится самовар.

Шумит трава. На чёрной речке
Лягушка глупая поёт.
Вот так — покуришь на крылечке,
А там, глядишь — и жизнь пройдёт.

Хозяин новый — дом поставит,
Забор поправит голубой,
Кривую яблоньку посадит
Напротив сосенки кривой.

И станет лодка у причала
Веслом задумчиво качать,
И снова всё пойдёт сначала
Скрипеть, ломаться и трещать.

Зачарованный призраком смерти
Пушкин шепчет: «Пора, брат, пора...»
Письмецо истлевает в конверте,
Осыпается соль с топора.

Осыпаются звёзды больные,
Двадцать первый случается век.
Я не знаю, как все остальные, —
Он давно уже не человек.

Он давно уже вырос из жизни
И остался, никто и ничей,
Там, в его обманувшей отчизне,
Исчезающей в дымах лучей.

Что поэзия? — Место пустое,
Идиота бесславная речь.
Несчастливое чувство шестое,
Не сумело его уберечь.

Покрывает и слово, и дело
Несмываемой смерти позор,
И душа поднимает от тела
Затуманенный музыкой взор.

Неужели закончилось это,
И навеки оставлены мы
Посреди полутьмы, полусвета,
Полулета и полужимы.

Дирижёр затонувшего хора,
Догоревшей зари драматург,
Умирающий споро и скоро,
Петроград — ты сказал — Петербург.

На стекле — водянистые знаки,
За окном — не пожар, а провал.
Кто тебя в безымянном бараке
В окровавленный рот целовал,

Кто пытал тебя в сумерках липких
Сонным зеркалом, снежной травой,
Уравнением арфы и скрипки
Из тетради твоей черновой,

Повторяясь в стихах безотрадных,
Из чужих вырастая цитат,
Из подвалов твоих и парадных,
Петербург — ты сказал — Петроград,

Называя певцом и поэтом,
Обещая любить всё равно,
Даже если закончилось это
Или не начиналось оно.

Как холодно было под звёздами теми,
Которые нас разделили двоих
На минус и плюс в электрической схеме,
В цепи расставаний твоих и моих.

Как первое время последнего часа
Был мир уходящий дождлив и тосклив,
И жалобно пела свирель Волопаса
Вселенной Лапласа прилив и отлив.

Трамвайным звоночком разбуженный в полночь
Не ты ли весь мир повторял как строку,
Бегущую скоро, как скорая помощь
С отметиной красной на белом боку.

Мы жили с тобою на севере диком,
В краю, подарившем погибшим в бою
Звезду, расцветающую как гвоздика,
На вечную память твою и мою,

В краю уходящих под вздохи и всхлипы,
Под тихий оркестрик с печальной трубой,
Как летние ливни и летние липы
В сиреневый холод зимы голубой.

О чём ты так медленно пишешь
И так тяжело говоришь.
Ты выжил. Ты музыку слышишь.
Ты сам из неё состоишь.

Из этой, в крови растворённой,
В звенящем застывшей строю,
Которую мир сотворённый
Всегда принимал за свою.

Которую ты безнадежно
Искал, забывая о ней
В прилежной, подложной, падежной,
Размеренной речи своей.

Которая неотвратима
И невозвратима, мой друг,
Как имя её, Диотима,
Бессмысленный, в сущности, звук.

Я выхожу из интернета,
А ты заходишь в интернет.
К земле приблизится комета,
И на земле погаснет свет.

Мы все умрём. Как это грустно.
Нам не поможет ничего —
Ни умирание искусства,
Ни воскресение его.

От берегов туманной Леты
Белёсый тянется дымок.
Ты как поэт придумал это
И лучше выдумать не мог.

Теперь стоишь, больной и бледный,
Ещё не там, уже не здесь.
Совсем один, как Пушкин бедный,
Который стал из бронзы весь.

Это облако — думай что хочешь —
Белый парус на синей реке,
Там где свет ударяет наотмашь
По подставленной солнцу щеке.

И плывёт в тишине уходящей
С неизбывной тоской на борту
В ночь прошедшую день настоящий,
Переживший твою немоту.

Чтобы будущий мореискатель
Записал в корабельный дневник
Ночь в числителе, а знаменатель —
Магеллановой тучи двойник

И, с собой до беспамятства споря,
Лес мачтовый пройдя по прямой,
Вышел к морю и запил от горя,
Потому что вернулся домой.

Торопись — промедленье опасно,
Эта жизнь — ты отстал от неё,
И уже надо мною не властно
Молчаливое слово твоё.

Не в каком-нибудь там обещанье,
Здесь, вблизи, всё не так и не то,
Как прощение после прощанья,
О котором не помнит никто.

Взмах рукой из окошка вагона.
Всё, поехали, дальше — тоска,
Тишина похоронного звона,
Гробовая — до смерти — доска.

И уже не помедлишь с ответом,
Где ты, кто ты, в каком из миров.
И пойдёшь, докажи, что не в этом,
Без твоих погибающем слов.

Закроешь «Былое и думы»,
И нет ни былого, ни дум,
А есть только вечер угрюмый
И разум, зашедший за ум.

И думаешь: тоже мне дело,
Сомнительный выбор из двух:
Душа, посетившая тело,
И тело покинувший дух.

Вот так и живёшь по привычке,
И жить собираешься впредь
Прозрением вспыхнувшей спички,
Которой недолго гореть.

Сочинитель осеннего выпуска,
Золотого вкуситель плода.
Из новейшей истории выпуска —
Жил когда-то и умер тогда.

Повторяя слова ненапрасные:
Ничего, проживём как-нибудь.
Безобразное — это прекрасное,
На которое страшно взглянуть.

Так куда же ты смотришь гадательно,
Ведь оно потускнело давно,
Наше прошлое, в смысле страдательном,
И в действительном — тоже оно.

Это, милый, не стон умирающий —
Так творение славит Творца.
Господа, до свиданья. Товарищи,
Нам положено петь до конца.

Не остановится дыханье,
И жизнь не кончится твоя,
И серебро, и колыханье,
И, как там, трели соловья.

Но одинокий голос Фета:
Какая грусть, какая грусть!..
Что это, — спросишь ты? А это
Я даже вымолвить боюсь.

Надо что-то сказать на прощание,
Вот и ты удержаться не смог.
Михаилу оставь завещание.
Александру — бессмертья залог.

Ну, прощай, до свиданья последнего.
Расступаются стены домов,
Тишину переулка соседнего
Разливая по рюмочкам слов.

Там, где ночь бесконечная тянется,
Как последняя в песне строка,
Разметавшая звёзды, как пьяницы
Потерявшая спичку рука,

Где стоишь ты, больной и потерянный,
И стихи сочиняешь в альбом
Михаила в мундире простреленном,
Александра в плаще голубом.

Пахнет уксусом и спиртом
Царскосельское вино.
Всё допето и допито.
Страшно. Холодно. Темно.

Неудавшимся побегом
За строккой глухонемой.
Пахнет ветром. Пахнет снегом.
Пахнет осенью самой.

Тайным перевоплощеньем
Оболочки звуковой,
Переломом со смещеньем
Из живого в неживой

План, начертанный природой
В красной книге октября,
Героической одой
К смерти, грубо говоря.

Так вот, когда ты был поэтом
И снег над городом кружил,
Ты пережил весну и лето,
А зиму — нет — не пережил.

Всё потому что, как ни горько,
Тебя как мальчика вели
Туда, где ты один и только
Одна звезда горит вдали,

И говорит, не умолкая,
И надо свыкнуться с тоской,
Не потому что ночь такая,
А потому что ты такой.

Бродить по улицам отпетым,
Считать ночные фонари,
Не говори со мной об этом
И ни о чём не говори.

Как хорошо молчать как дети
И как поэты иногда
И, засыпая на рассвете,
Не просыпаться никогда.

Ну что же, давай по порядку:
А все-таки страшно сказать,
Куда бы тебе без оглядки
Из этого мира бежать.

Какие такие пенаты...
Родные — сказал бы поэт.
И голос его глуховатый
Звучит уходящему вслед.

Прощай, человек безнадежный,
До встречи на улице той,
Заснеженной, левобережной,
Безвидной с утра и пустой.

Иван МАКАРОВ

Кто-то в поле блуждает и рыщет?
Просто ветер из дальних степей?
Словно тайного выхода ищет
Из любимых тяжелых цепей.

Тихо смотрит в лицо небосвода
Первобытное наше житьё.
То ли нас изучает природа,
То ли мы изучаем её.

Тёмный воздух тревожно прохладен.
Снег летит или звёзды летят?
О, не будь же ты так беспощаден,
Чёрно-бело-берёзовый взгляд!

Я не прячусь от этого света,
Всё во мне отзовется на свет.
Всё вокруг ожидает ответа
И внимательно ищет ответ.

Всё вокруг затаилось в печали
И не знает, откуда начать.
Звёзды тоже молчат. И устали
Так бессонно смотреть и молчать.

19 ОКТЯБРЯ

Всё заставлено ставнями книг
И задвинуто в общую стужу.
Стыд и страх. И как будто двойник.
И как будто бы смотрит наружу.

Прерыванье запоев и снов.
Толстых книг грузовые составы.
Сочетания медленных слов
Шелестят, как пески или травы.

Мы живём вдоль китайской стены,
В нашу сторону дико и пусто.
Ветер, Север... И чувство вины,
Непохожее даже на чувство.

Всё здесь спутано — правда и ложь...
Двор, забор... Ничего не понятно.
Эти окна, стеклянные сплошь,
То светлы, то темны, то квадратны.

А под окнами ёлки торчат.
Среди них, ожидая ответа,
Люди ходят, стоят и кричат
В небо тёмное, в окна со светом.

Почему-то похожи они
И как будто бы даже знакомы.
Ветер, снег. Минус двадцать в тени.
Габариты родильного дома.

Зимний путь, неподвижность минут,
Повторяющих раннее детство,
Где кого-то куда-то зовут,
А кого и куда неизвестно.

За городом Руза растёт кукуруза

...сорока училась кричать по-китайски...
Уйдём ли на Запад от пастбищ народных?

На Запад! — На улицу в пыльном Можайске,
Где гонят на бойню домашних животных.

Урок геодезии: водка с гитарой.
Хождение по улицам, вывесок чтение:
«Приём живсырья» и «Приём стеклотары»...
Всё это мелькнуло, всё было мгновенье.

Мне дальше нельзя: там закат за Можаем,
Там солнце теряется снова и снова...

Живу, лихорадочно воображая
Заветные сказки Смоленска и Пскова.

В вечерних мечтаньях ни пользы, ни смысла.
Исхоженный берег, осока и глина...

Но я же не видел ни Влтавы, ни Вислы,
Но я же не брал никакого Берлина...

Храп и топот железных коней.
Их короткие дымные гривы.
Над землёю песка и камней
Встали тёмные локомотивы.

...Так и жил бы на самом краю
И про жизнь говорил бы: жестянка...
Ты тогда посетила мою
Отдалённую жизнь полустанка.

Неужели как жертву несла
Ты ко мне своё лёгкое тело?
Ты, как птица, по краю прошла,
А взлететь ни за что не хотела.

...Будет станция. Серые сны.
Пыль веков на сгружаемом грузе.
Просто точка на карте страны
И большой сортировочный узел.

Чёрно-белое наше кино, —
Сам в себе открывая резервы,
Паровоз, устаревший давно,
Тарахтя, совершает маневры.

Мы на станции будем сидеть,
Как язычески-местные боги,
И сухими глазами смотреть
На железо железной дороги.

А потом от свистка до свистка
Говорить горячо и неясно —
То о том, что она коротка,
То о том, что она не напрасна.

По углам расплзается плесень.
По лугам растекается осень...
Будь, пожалуйста, кроток и честен,
Но, пожалуйста, всё же не очень.

Поздно. Улей уже растревожен.
Дальний лес по-другому раскрашен.
Уж пожалуйста, будь осторожен,
Если сможешь, то даже бесстрашен.

Дик и мрачен инстинкт разрушенья.
Неоглядны родные просторы...

Это только слова утешенья,
Неуверенный поиск опоры.

А дальше что? Упало и пропало.
Крадется осень к нивам и лесам.
Все по домам, а я куда попало,
А я туда, куда не знаю сам.

А я туда, где бедность и забота,
А я туда, где ревность и тоска,
Где неизвестный кто-то, дальний кто-то
На нас надменно смотрит свысока.

Туда, где грустно пасмурным и грешным...
Зима крадется к новеньким скворечням.

Пусть упало. Ещё не пропало. —
Кто-то жадный подымет, поди...
Жизнь прекрасна, но точится жало,
И стесняется сердце в груди.

Оглянуться — и жизнь пролетела...
Подожди, неужели уже?..
Я ищу положение тела,
При котором не больно душе.

Рукотворных кумиров по поводу
Эта ложь, эта зыбь, эта блажь...
Тихий голос по тонкому проводу
Пробирается к нам на этаж.

Горизонт покрывается пятнами.
Мы больны, мы привыкли к вину...
Закурю папиросу помятую,
И прилягу, и даже усну.

И приснится мне: осень в провинции
Город весь перекрасила в сад
И, белея красивыми лицами,
Мы идем в городской листопад.

Тесен сон: расставания, провода,
Недостаток воды и огня...
Тихий голос по тонкому проводу
С осторожностью ищет меня.

Я найдусь. Разве что-то теряется?
Тишина холодна, как змея...
Всё пройдет. Ничего не останется.
Только вечная юность моя.

Наше дело пурга, наше дело труба...
Только помню нераннее детство...

Что я помню?
А кошечку с птичкой в зубах. —
И куда мне от этого деться?

Наша жизнь, непонятная с разных сторон,
Даже памятью грешной не сыты...

Что я помню? Столетник, домашний лимон,
Жестколистый, большой, непривитый.

Если нас не погубит Сатрап Угомон,
Не угаснем от воли свободной,
Буду помнить, как рос этот самый лимон,
Непривитый, а значит, бесплодный.

...Я еще не здоров, я еще не готов,
Ни звезды, ни надежды, ни силы...
Эта кошечка с птичкой из тесных кустов
На дорожку в саду выходила.

Я нескладно живу, я живу чуть дыша,
Бесприютных традиций наследник...

Птицу жалко. И кошка была хороша.
И лимон на окне. И столетник.

Уж закат на кровлях догорает.
Как ничей у поворота нищий...
Дворник снег с дорожки убирает
Словно что-то на дорожке ищет.

...Никогда ты, бедная, не знала,
Как сладка вечерняя отравы...
Далеко до Курского вокзала:
Сто шагов и поворот направо.

Там людей и почты перевозка...
Кто спасёт от городских сомнений?

Наше войско — строй свечей из воска,
Сзади наступают наши тени.

Я наивный, я надеюсь на удачу:
Всё поправить, всё начать сначала...
Ведь никто не видит, что я плачу
По пути до Курского вокзала.

Мне уже и слёз моих не стыдно:
Всё давно здесь залито слезами.
Всё туманно. Ничего не видно —
Лишь свеченье между полюсами.

Арво МЕТС

Вечерами девушки
шли на танцплощадку,
перепрыгивая через канавы,
туфельки бережно неся
в ладонях,
словно капельки счастья.

Играют скрипки.
И ты сидишь
Невидимой ласке подставив лицо.

Я не умею почти ничего.
Горько прийти так
к тридцати годам.
Без меня растет хлеб.
Без меня гудит завод.
Без меня рождаются дети.
Я связан со всем
через хрупкую оболочку слова,
которая в любую минуту
может порваться.

В такие темные вечера
добывать свет
можно только из книг.

Безденежный человек
ходит по городу.
туманные звезды
дрожат на морозе.

Безденежный человек —
безрукий человек,
безногий человек,
безглазый человек.

В городе зажигаются огни,
и все видят —
у безденежного человека
голубые глаза.

Это не помогает.

СЕЯТЕЛЬ

Размашисто шагает
сеятель соли
на улицах города.

А хлебное поле
между тем
зарастает бурьяном,
в сердцах буйствует
чертополох.

Можно отнять всё,
но нельзя отнять
молитву.

Гудение пчел
заставляет звенеть
цветы,
затем деревья
и, наконец,
весь наш сад вокруг.

Неведомая струна
задета
и во мне.

В голубой коляске
лежит он
с соской.
В тихих глазах
отражается небо
и птицы,
плывущие высоко.
Наклонившись,
я вдруг увидел
самого себя —
в стареньком пальто.

ОСЕНЬ

Березы,
как тоненькие свечи,
загорелись за полем.

По-русски
как называются
эти белые ягоды,
я не узнал.

Как по-эстонски —
забыл...

НА ЭСКАЛАТОРЕ

Людам не на что смотреть,
и они глядят вперед —
будто в вечность.
Сосредоточенные лица,
свободные от мелочей.
Так изобразят нас
на мозаиках будущего.
А мы —
мы сходим с лестницы
и становимся опять людьми.

Люди, углубляясь
в темные туннели декабря,
становятся
все собранней.
Боятся, наверно,
навсегда там остаться.

Далеко,
как в опрокинутом бинокле,
живет моя мама
в деревянном доме.
Возвращается вечером
в холодную комнату,
привычно пошарив рукой
в пустом почтовом ящике.

Мы уезжаем,
а в саду
так же таинственно
продолжают наливаться
яблоки.

Ветки наклоняются
всё ближе
к земле.

Сердце
может вдруг вспыхнуть.
Разгореться
без остатка
алым пламенем,
как этот куст
осенью
у дороги.

Незадолго до кончины
отец,
превозмогая боль
тщательно расставил
дрова в сарае.

... Последнее,
что он успел сделать
для гармонии мира.

Я и сам не знаю,
как меня,
парня из эстонской глуши,
настигла судьба
русского поэта.

...Со всеми
вытекающими последствиями.

Молодые девушки
похожи лицом
на небо,
на ветер,
на облака.
Потом из них получают
верные жены,
лица которых похожи
на дома,
на мебель,
на хозяйственные сумки.
Но их дочери
вновь похожи лицом
на небо, ветер
и весенние ручейки.

Александр МОСКАЛЕНКО

Весна окаянного цвета.
На кухне — привычная грязь.
Но солнце на лучик надето
и значит — не может упасть!
И значит —
что счастье возможно
в одной коммунальной судьбе!
И мальчик прилежный
безбожно фальшивит на мятой трубе.
Игрушечные эскадроны
недрогнувшей детской рукой
он в бой посылает.
Знамёна шуршат разноцветной фольгой.
Солдатики —
верное средство от скуки
во все времена.

Последние искорки детства
погасит большая война

Я не знаю,
как это зовётся:
бесконечная тень от куста,
искажение неба в колодце,
отражение в небе листа.

Мир вокруг акварелен и тонок
в первобытной основе своей —
состояние это спросонок
записал на века Амадей.

Но не ведает горя и бедствий
тень ромашки в горячей руке!
Вот и всё,
что осталось от детства.
Вот и всё,
что горит вдалеке

Разметала осень
рыжие огни.
Ветхий паровозик,
на ветру звени!
Торопясь,
поеду ведомо куда.
Под прозрачным пледом
стынут города —
небо изнашивалось
от июльских гроз.
И скажи на милость
кто их вдаль унёс?
Яростное лето.
Шалая вода.
Медленно поеду
ведомо куда —
где седые ёлки,
древние века...

Только **ненадолго**
хватит уголька

Герасим — ты ли не Россия?
Свобода — ты ли не **Муму**?
Немой народ всегда бессилён,
хоть и не знает почему.
Немой народ всегда удобен
для власть имущих —
потому, что на протесты не способен.

Да и зачем ему Муму?

У чёрной пехоты оружия нет.
Нет славы у чёрной пехоты.
Кто вытянул в небо счастливый билет —
тому не страшны пулемёты.

У чёрной пехоты задача одна —
дожить до свинца на рассвете.
И **Родина-мачеха** их имена не вспомнит.

Никто не в ответе
за чёрный, пропитанный кровью, песок,
за тщетность последней атаки,
за мёртвого неба холодный глоток
в разбитом снарядом овраге

Падают сентябри
в жёлтую благодать.

Мальчик **Экзюпери**
очень хотел летать.

Жизнь — бесконечный сон:
у виноградных лоз
на солнцепёке
он ловит больших стрекоз.

Мальчик поэтом стал.
Но наступает срок —
на города металл
мечет чужой восток.

Вот и пришла пора
взорванной тишины.
Маленький принц пера —
лётчик большой войны.

Сонные сизари
синюю режут гладь.

Мальчик **Экзюпери**
очень хотел летать

Илья ОГАНДЖАНОВ

ни о чём не будем плакать
пусть закончилась весна
и соловей захлёбываясь трелью не выманит из облака звезду

уже смычок взмыл в небеса
и холод пробежал по струнам
и твоя тень в моей памяти корни пустила

как воздух чист
как тёмненький взгляд цветка
когда бы знать в какие двери стучится сердце детским кулачком

когда бы знать
и стрелки переставить
и вновь коснуться твоего плеча

стог сена в осеннем поле
в пустынной сини — облако луч зари
в углой лодке объятий плывем мы
куда — не знаем

как далеко от берега
как сон безгрешен под лёгкой простынёю ветра
как одиноко под небом звучит мой голос
где ты где ты

трава пожухла
и облака след растаял

послушай как бьется сердце
его косолапые шаги
похожие на «да-да» и «нет-нет»
то удаляются то приближаются
и удаляются вновь

это смутное воспоминанье
так ни о ком ни о чём
струйка дыма перо жар-птицы

было не было — не припомню
правда выдумка — всё равно
почему же так горько и больно снова снова оно

словно в нём вся разгадка жизни
и последнее утешенье
и счастливый билет в никуда

не облако а мрамор и гранит
хранители громоподобных истин
к молчанью камня подбери ключи
и под резцом бессонным
не роза
осеннее солнце взойдёт

я говорю
с травой листвою волной
кузнечиком и стрекозой
заливистой мне неизвестной птицей
словно с самим собой я с ними говорю
и словно сам себе отвечаю
дремучим шелестом и колыбельным плеском
гудением и стрёкотом и мне
вдруг кажется
что это не у птицы — у меня в гортани
журчит хрустальный ручеек

провожаю взглядом облака
с детства не знавал занятия серьёзней
разве что на берегу реки
там где стрёкот со щебетом спорят
глядеть на неутомимую воду
доверяя ветру летающие с губ слова

прибой аршинными шагами мерит время
и волны бьются
в распахнутые двери утра
и в запертые двери ночи
и словно эхо океана
платаны шелестят на берегу
всё в этом мире только плеск и шелест
это к ним подбираем слова
раскачнувшись
на качелях горя и счастья
и ничего не умеем сказать
кроме «здравствуйте» и «прощайте»

Ещё вчера казалось:
до горизонта рукой подать.
Я заплыл за буйки,
отец окликает меня.
«Я скоро, папа», —
шепчу, оглядываясь на волны лет назад.
Ветер взвешивает наши голоса на своих весах.

Я оглянулся на путь, пройденный деревом, —
от цветения до увяданья —
и подумал,
верно, так тому и быть:
журчит ручей под циферблатом,
кузнечик тикает в траве,
и муравей бежит с секундной стрелкой.

Но где найти слова,
когда фотография любимой покрывается льдом,
листья учатся молчанию у песков пустыни
и сердце вьёт гнездо в облаках?

о прошлом ли о будущем вздохнёшь
ноябрьский ледок под сердцем хрустнет
повеет холодом с реки
и тишиной туманной даль поманит

и снова весело бежит вдоль берега тропа
и плещется волна
и ветер с ней как брат с сестрой играет
и в тусклом зеркале небес
одинокая тень проплывает

Ольга ТАТАРИНОВА

Как раз тогда, когда слетает строчка,
И расцветает папоротник где-то,
И чей-то мальчик родился в сорочке,
И у кого-то вдруг нашлась монета.

Как раз тогда, когда слетает строчка,
Кого-то кто-то ждет у перекрестка,
И чей-то посох выпустил листочки,
И руки выросли у статуи Милосской.

Как раз тогда, когда слетает строчка,
Кого-то кто-то извести решает,
Апрельский заморозок в почки
Впивается, и кто-то умирает.

Как раз тогда, когда слетает строчка,
Моя душа всего вернее знает,
Что даже слово — только оболочка,
А вечно то, что на него толкает.

Емца — речка,
Емца — лодка,
Емца — маленький ручей,
крупноглазая девчонка
в рыжей пестроте кудрей.

Стоило ль так долго ехать,
стоило ль так долго ждать,
чтобы — это,
чтобы — Емца,
чтобы сердце потерять

на ветру у косогора,
в ржавых заводах средь бора,
в хвойных сумрачных чащобах
свое сердце промотать.

Чтоб вовек не излечиться
от сиянья лиственниц,
чтоб одна чудная птица
все бы в речке б чистилась.

Это Истра серебрится
у меня между ресниц;
наклоняюсь к ней напиться —
куст качается, пятнист.

Это — краткое мгновенье,
или все, что дарит жизнь?

Машет крыльями в груди
то ли мельница, то ль птица.
Что еще там впереди? —
Истра меж ресниц струится.

Флоксы и астры,
осенний дымок,
быстрый и частый
дождя говорок...

Флоксы и астры
любимой порой —
страстные вальсы
летят чередой,

астры и флоксы
под небом густым,
чувства, и осень —
и дым.

Как мальчик с дудочкой,
задумчиво бреду,
перебирая строчки на ходу,
и не заметила, как две седые пряди
упали на глаза,
а там — на лист тетради.

У себя в деревне
в дождливую пургу
слышу треск деревьев,
ветра гул.

Дует ветер страшно,
сердце так стучит,
я больна, и чайник
на плите кипит.

Бьются комья снега
в мокрое стекло, —
никогда и не было
на земле тепло.

Беленькие шорты...
Глаженная майка...
Корт над самым морем.
Господи, какая

Жизнь во мне носилась
Под цветочным паром,
Кедами пружиня
И светясь загаром.

Школьные каникулы...
Города и матчи...
Годы так и прыгают —
Мячик, мячик, мячик.

РОДИНА

В дремучесть леса сине-сизого
взлетает фейерверк рябин;
колючесть травки, низкий дым,
свет молока, над всем разлитого.

Недвижимый покой пруда
тяжел и маслян, как тревога,
и молчаливая дорога
не приглашает никуда.

И кажется, как все забытое
в крови способно прорасти, —
когда разбито и засыпано,
и некуда уже идти, —

останутся твои одни
родные пролеси с рябиной,
с землянкой одинокой, дымной,
что от дороги не видны.

В природе прибавилось света —
он к утру меня оживил.
В природе прибавилось снега,
надежд, наваждений, чернил.

Неужто же к прибыли этой
ты снова останешься глух,
и нем, и невидим — как некий
природу покинувший дух?

Боярышник токует под окном
в далеком ряном шелесте заката;
никто не знает, где он — истинный твой дом
среди угодий призрачного сада.
Что здесь твое? — вот это ли окно,
иль с хламом выброшенная тетрадка,
иль не размолотое до конца зерно
на самой глубине кофейного осадка?
Что так привычно было лишь вчера,
что было рядом, под рукой лежало —
вдруг слизывает вихрь жизни жадный,
и вновь твои бездомны вечера.
Все сметено грозой в который раз —
опять Помпея, Геркуланум, Троя,
и вновь изволь по первопутку строить,
и коли сосен нет, используй вяз...
Коль тишина — немолчный Божий глас
в испепеленной взрывами пустыне
тебя обступит — даже в этот час
не сомневайся: се твой дом отныне.
Все, что когда-то безутешно мнилось
седым, туманным утром хмельных дней
твоей взволнованной, болезненной гордыне —
то свыше и была дарованная милость,
а Феникс, что жила в груди твоей,
теперь на ветке рядом поселилась.

Такая пустота в темнеющем саду,
что мнится мраморное чудо в глыбе гипса,
и вдруг надеешься еще хоть раз родиться —
в таком же сумеречном и пустом году,
и засиять сквозь ветви дымных скумпий,
услышать шорох на тропинке, вздох травы —
и голос за кустом, задумчивый и ломкий,
стрелу печали спустит с тетивы,
сказав кому-то: «Опоздав родиться,
я чую только призраки любви».

Пух летит с чертополоха,
сухо шелестит осока,
пахнет мятой и дождем.

Невозможно, невозможно!

Гул и грохот за кустом
красной огненной котельной,
я жары ее смертельной
ласку чувствую лицом.

Невозможно, невозможно!

Не могу понять, за что:
и кузнечик, и тетрадка,
капля, пух, ромашек грядка —
и молчание Твое.

II

ΠΡΟΖΑ

Вальдемар Вебер

ОЧКИ ШУБЕРТА

Мартовский вечер. В просторном натопленном классе музыкальной школы у открытой дверцы печки стоит, наклонившись, моя учительница и подбрасывает в огонь березовые чурки. За окном в сумеречном свете видна поленница, заваленная влажным сугробом. Я сижу за пианино и играю заданный на дом «Музыкальный момент» Шуберта, опус 94.

Все больше темнеет. Я уже плохо различаю клавиши, но учительница не торопится включать свет. Слушает мою игру, прислонив спину к горячему кафелю печки, подпевает в такт. Потом поправляет на плечах шаль, подставляет к пианино еще один стул и садится рядом. От тепла ее коленки мне делается жарко, сердце начинает колотиться, и я сбиваюсь с ритма.

Она делает вид, что не ощущает моего смятения, и заставляет несколько раз повторить трудный пассаж. Но чем больше я стараюсь, тем хуже у меня получается. Она садится ко мне еще плотнее и просит играть только партию правой руки, а левой подыгрывает сама. Тепло ее тела постепенно заполняет все мое существо, и я продолжаю играть в полуобморочной истоме...

Бессознательно, но, кажется, благополучно довожу свою партию до конца. Она обнимает меня за правое плечо и на мгновение ободряюще прижимает к себе.

— Видишь, как просто. — Вскакивает, подбрасывает в огонь еще одну чурку.

Я сижу ошеломленный, еще не пришедший в себя. Она вынимает из кармашка своей кофты носовой платок и вытирает испарину у меня на лбу и крыльях носа. Ее указательный палец скользит по моему лицу вниз и останавливается на губах. Не в силах справиться с собой, я зажимаю его между зубами, она его несколько секунд не отнимает, насмешливо глядит мне в глаза и, нежно подергивая меня за мочку уха, шепчет:

— Я же говорила, у Шуберта каждая нотка — о любви...

Музыке я начал учиться поздно, уже подростком, надо было наверстывать упущенное. Педагоги-профессионалы у нас не задерживались, приходилось заниматься с доморощенными, а то и по самоучителю. Когда мама узнала, что в городской клуб наконец-то взяли на работу настоящую пианистку, она без всякой договоренности решительно повела меня к ней на квартиру, которую та снимала у семьи, имевшей старинный инструмент.

— Гузель Густавовна, — представилась квартирантка, нисколько не удивившись нашему визиту. Чувствовалось, что она куда-то собиралась, однако во время всего последующего разговора не выказала и тени нетерпения.

Нарядное платье с короткими рукавами и большим вырезом свободно облегло высокую, начинающую полнеть фигуру. Из ложбинки между грудей светился аметистом маленький кулон. Возраст выдавали лишь частые лучики морщинок вокруг глаз.

Кончался апрель, но было по-летнему жарко. Матово-смуглая кожа ее оголенных рук и шеи дышала еще не утраченной молодостью. С легкой скуластостью лица и азиатским отливом черных волос непривычно сочетались статность и длинноноготь. Синева больших глаз и высокий лоб были словно призваны примирить это противоречие.

Неодобрительно взглянув на мои некрупные руки, она попросила сыграть. Я исполнил что-то бурное из Бургмюллера.

— Запущен до дремучести, — обратилась она к маме. — В октябре открывают музыкальную школу, так и быть, беру его в свой класс, но договор — оставшиеся месяцы упражняться не меньше четырех часов в день.

Мама беспомощно улыбнулась. Я смело кивнул в знак согласия, хотя не представлял, как мне удастся сдержать обещание, — собственно го инструмента у нас не было, приходилось упражняться по вечерам в присутствии сторожа на пианино Красного уголка текстильного техникума, где преподавал отец.

В течение нескольких недель Гузель Густавовна занималась постановкой, как она это называла, моих рук, добиваясь их плавного движения и связного звуковедения, а для контроля клала мне на запястье спичечный коробок. Какое-то время он должен был удерживаться тут. Мы разучивали «Прекрасную амазонку» Лешгорна, пьесы для левой руки Беренса, «Школу беглости» Черни и весь альбом «прогрессивных» этюдов Ганона «Пианист-виртуоз».

Меня забавляло слово «прогрессивных».

— Ты хочешь сказать, что в музыке нет «прогресса», — отвечала Гузель Густавовна, — но в технике игры он есть, и ты пока еще в самом его хвосте. Не иронизируй! Вначале давай научимся сидеть в седле, держать осанку. Гарцевать будем потом.

Занимаясь на своем черном раздолбанном «Красном Октябре», срочно купленном родителями по дешевке в комиссионке, я под впечатлением ее слов воображал, что объезжаю породистого вороного.

Она заставляла меня разыскивать по нотным магазинам теперь никому уже не известных Бейеров, Кунцов, Тюрков, Мюллеров, все это была музыка с педагогическим уклоном, так называемые инструктив-

ные пьесы, на которых она когда-то сама училась, считала, что именно они помогут мне форсировать отставание в технике, современных пьес такого же рода не признавала.

Однажды я взмолился: хочу играть настоящую музыку. Она отвечала, что я еще не готов, и продолжала задавать какого-нибудь очередного Гедике, но сама в моем присутствии много музицировала, играла Шуберта, Шумана, Брамса, Шопена. В продаже впервые появились долгоиграющие пластинки. Она их покупала и дарила мне. Родителям пришлось обзавестись радиолой.

Я мечтал однажды поразить мою наставницу и втайне от нее разбирал несколько знаменитых пьес. Впервые в жизни неделями я ничего не читал, не ходил в кино, забросил футбол — лишь бы заслужить ее похвалу.

Преклонение перед ней не мешало мне от урока к уроку все больше хмелеть от одного только вида ее кожи, от линий ее тела, подчеркнутых легкими тканями просторных платьев, от ее замедленной томной походки, от ароматов, исходивших от нее и ее жилья, сплошь уставленного горшками с цветами и экзотическими растениями. Видимо, мне не всегда удавалось скрыть свое состояние, и я ловил на себе ее удивленные взгляды или вдруг замечал на губах усмешку.

То лето наступило необычно рано. Листья деревьев начали жухнуть уже в июле. Короткие частые дожди от зноя не спасали, лишь наполняли воздух душной влагой и преждевременной прелостью. В конце августа было ощущение, что уже бабье лето, правда непривычно жаркое и душное и оттого словно нереальное.

Обычно я приходил на занятия ближе к вечеру, когда зной начинал спадать. В тот день я пошел на урок раньше обычного, окольным путем, хотел собраться с духом, чтобы на этот раз обязательно сыграть ей самостоятельно выученный отрывок из Шуберта.

Она снимала полдома с большой верандой, куда из-за жары были вынесены из внутренних комнат ее кровать и письменный стол. К веранде вела через сад отдельная калитка. Тут я столкнулся с выходящим из сада Арво, эстонцем, руководившим в клубе танцевальным кружком. В прошлом артист балета, он, так же как и другие, попал к нам на 101-й километр не по своей воле. Неужели тоже берет у нее уроки?

Дверь на веранду была открыта. Я пришел раньше времени и, не зная, как дать знать о себе, отогнул висевшую на двери кисейную занавеску, осторожно переступил через порог и оцепенел...

На кровати справа от двери лежала совершенно нагая Гузель Густавовна.

Она не сразу заметила меня. Выражение ее лица было рассеянным и блаженным, словно только что прослушала игру любимого ученика.

Увидев меня, она не вскрикнула, не смутилась, даже не шелохнулась. В глазах — ни испуга, ни удивления.

Мы продолжали глядеть друг на друга, она — счастливая и безмятежная, я — в состоянии ошеломления.

Она лежала на спине, заложив левую руку за голову. Правая была откинута в сторону. По шее от мочки уха к ключице спускался свежий след от струйки пота. Одна из слегка раздвинутых ног согнута в колене и подложена под другую чуть повыше щиколотки. Поза, которую я не раз видел в альбомах живописи.

Мои глаза скользили по ее телу, пожирая каждую малость, бесстыдно застывая на черном треугольнике лона, тонувшего в смуглых округлостях живота и бедер. К знакомым настоящим запахам веранды примешивался новый — неведомый, опьяняющий.

Когда наши глаза вновь встретились, она попросила:

— Погуляй в саду, я оденусь...

К нам в город она попала из долгой сибирской ссылки, которую отбывала после восьми лет тюрьмы и лагеря. В конце тридцатых училась в Ленинградской консерватории, ей прочили блестящее будущее, но вот был объявлен врагом народа ее отец, Густав Штаден, в прошлом фон Штаден, музыковед, вернувшийся с семьей в начале тридцатых из Латвии в родной Петербург; затем арестовали мать-татарку, известную арфистку. Потом взяли и ее саму (высказалась в присутствии сокурсниц, что глупо, мол, родители поступили, не оставшись в Риге). Лишь через многие годы, уже на поселении, узнала, что ни отец, ни мать заключения не пережили.

Ее долго держали в одиночке, добивались признаний о связях с заграницей. Затем лагерь, торфяные работы.

Спасла профессия. Когда однажды на проверке надзиратель спросил ээчек, кто из них умеет играть на аккордеоне, она вызвалась, хотя ни разу в жизни не прикасалась к этому инструменту. Покорила его за считанные дни, используя на басах лишь три-четыре кнопки, правой же овладела моментально. Со временем она освоила всю басовую клавиатуру и к аккордеону относилась без обычного для серьезных музыкантов пренебрежения. В лагере научилась играть на разных инструментах — щипковых, ударных и даже на пиле.

О лагерной жизни рассказывала неохотно, а если и рассказывала, только нелепо-курьезное, например, как однажды зимой вместе с другими зэками-музыкантами ездила выступать перед краевым лагерным начальством, как их раздели в соответствующую событию концертную форму, а о верхней одежде не позаботились: пришлось напяливать телогрейки, из-под которых у мужчин высывались

фрачные хвосты. В таком виде и подъехали на грузовике к городскому театру.

Она не любила расспросов о лагере. Однажды на учительской вечеринке молодой директор школы решил в присутствии других преподавателей сделать ей комплимент, сказал, что она удивительно сохранилась, не утратила, несмотря на все пережитое, ни молодости, ни женственности.

— Уважаемый коллега, я никогда не сопротивлялась, когда меня насиловали охранники, знала их способы мести и наказания... Скольким они на моих глазах пальцы переломали, а у меня они драгоценные, — ответила она льстецу, не переставая небрежно улыбаться и демонстрировать кисти своих рук. — Так что по лицу и по зубам меня там не били...

В ссылке она жила в Томске, преподавала в музыкальном училище. Замужем не была, детьми не обзавелась. Вернуться домой в Ленинград ей и после освобождения разрешили не сразу, поморили еще три года у нас, на 101-м километре.

Однажды, когда мне стало все труднее называть ее по имени-отчеству, а обращаться просто по имени, несмотря на ее предложение, я все не решался, она с ухмылкой раздраженно предложила:

— Зови меня *Fraulein von Staden*.

В сад Гузель спустилась в шелковом китайском платье-халате, с небольшим подносом, на котором стояли два стакана воды и лежал большой, разрезанный надвое лимон. Села на скамейку рядом, выжала лимон в стаканы.

— Вот настоящий лимонад, именно такой подавала Луиза в «Коварстве и любви».

Мы оба молчали, я — еще смущенный, она — рассеянно глядя вглубь сада.

— Знаешь, я сейчас вспомнила, как девочкой ездил с родителями в Вену, мне было тогда чуть больше тринадцати. Отец таскал нас с мамой в оперу, в оперетту, по концертам и музеям знаменитых композиторов, а их там, музеев этих, великое множество. Все они у меня потом в голове перемешались — все затмили разбитые очки Шуберта, лежащие под стеклом на исписанном нотном листе, да, да, те самые, круглые, с маленькими стеклами, в которых его всегда изображают. Ведь его распирало от мелодий, он даже спал в очках, чтобы, проснувшись, сразу записать явившуюся во сне мелодию. Служительница музея уверяла, что очки упали на пол, когда он узнал, что девушка, в которую он влюблен, обвенчалась с другим. Он выбросил эти очки, но его друг, художник Мориц фон Швиндт, их подобрал и сохранил для потомков. Говорят, что это легенда. Музеи любят легенды. Я все смотрела и смотрела на эти очки, оторваться

не могла. Тогда я впервые поняла, ощутила, как хрупка наша жизнь, наши планы, все земное, например вот эти наши с тобою пальцы...

Она взяла мою руку.

— Как крылышки стрекозы... Он все знал об этой непрочности и беззащитности, потому и сказал, что негрустной музыки не бывает... А еще там было его последнее письмо, написанное за два-три дня до смерти одному другу. Уже одиннадцать дней он болел, ничего не мог ни есть, ни пить, лежал с высокой температурой и читал, и знаешь кого — Фенимора Купера. Кто-то принес — отвлечь от болезни. Он все прочитал: «Последнего из могикан», «Шпиона», «Лоцмана», «Пионеров»... В той последней своей записке он просит прислать ему еще Купера... Я, вернувшись в Ригу, все эти книжки Купера в рижской библиотеке нашла, те же самые немецкие издания двадцатых годов девятнадцатого века, и тоже читала ровно одиннадцать дней, хотела физически прожить его последние дни, часы, хотела как можно ближе приблизиться к той последней нотке, к той последней вдруг лопнувшей в нем струнке... И когда уже почти совсем приблизилась, мне стало страшно от этого моего фанатичного желания постичь, зачем бедному Шуберту в его последние дни были посланы судьбой эти книги, эта радость чтения о таком далеком, таком чужом ему мире, все эти морские пираты, первопроходцы, индейцы-зверобои... постичь непостижимое. Он ведь за все тридцать два года жизни из Вены дальше Граца не выбирался. И никогда не был страстно любим. Жажда неведомого так похожа на тоску по любви. Он обожал застоля с друзьями, вино, розыгрыши, веселье. Но даже в самые озорные минуты радости его взгляд, говорят, становился вдруг отдаленным и грустным...

Она встала со скамейки.

— Пойдем, я знаю, ты давно уже хочешь сыграть мне отрывок из «Фантазии» Шуберта.

— Откуда вы знаете?

— Я все про тебя знаю...

Затем были осень, зима и весна, прошедшие как в дурмане, и снова май и длинное лето, наши блуждания по лесам, по полям, купание в речке среди лилий и кувшинок и неотвратимый день ее отъезда... На прощание она взяла с меня слово, что я обязательно приеду в Петербург (она никогда не говорила Ленинград, но и не употребляла фамильярного Питер), а потом мы поедем в Ригу, и она покажет мне тот «Bluthner», на котором училась играть и который ее отец оставил одной тамошней семье, наверняка он сохранился, и мы сыграем Шуберта, ни один композитор не написал столько для игры в четыре руки, у того «Bluthner'a» — божественный звук...

От нее приходили письма, вначале радостные и возбужденные, но вскоре одно печальнее другого и, наконец, совсем жалостливые. Ей очень одиноко, она никак не ожидала найти Петербург таким чужим — не осталось почти никого из знакомых, аресты, блокада, эвакуация начисто смыли прошлую жизнь. Настоящей работы пока не нашла, перебивается частными уроками и впервые в жизни впадает в отчаяние.

Звала меня поступать учиться в Петербург, однако мои родители воспротивились, и мы договорились, что я приеду к ней в первые же каникулы.

Но письма вдруг перестали приходить, мои же возвращались назад.

Приехав позднее в Петербург, я долго ее искал, в том числе и среди умерших. У домоуправа по ее бывшему адресу сведений о ее новом месте проживания не оказалось. Разузнав, что у рода Штаденов был свой фамильный участок на одном из петербургских кладбищ, я в последней надежде отправился его разыскивать и прекратил поиски, выяснив, что кладбище было наполовину закрыто еще в сороковые годы, а участок Штаденов находился как раз на той, ныне застроенной новыми домами половине.

Бродя по городу, я, сколько ни старался, не мог себе представить Гузель ни среди озабоченных и хмурых ленинградцев, ни среди гуляющих толпами по Невскому всесоюзных туристов. Силился разглядеть ее образ в отражениях облаков на тревожной ряби каналов, в солнечных бликах листвы на аллеях парков, в мерцающих в тумане окнах и в полумраке зрительных залов.

Несколько раз писал в Томск по месту ее последней ссыльной работы, разыскивал ее в Риге, но ниоткуда не получил ответа, в те годы только родственники имели право заявки на розыск. От Гузели я знал, что родственников у нее не осталось.

Через много-много лет в Вене в музее перед витриной с очками Шуберта я вдруг почувствовал за спиной ее живое дыхание, ощутил прикосновение ее щеки к своему плечу.

— Я же говорила, — сказал ее голос, — у Шуберта все о любви... Даже трещинка на очках. Если долго-долго смотреть, она исчезает...

«Новый мир», 2011, № 3

Сергей Кромин

СИДИМ И СМОТРИМ

СИДИМ И СМОТРИМ. Солнце садится, но еще высоко и если взглянешь на него прямо, зажмуришься, а потом долго в глазах яркая его темнота. В это время мы приходим смотреть на закат. Там, на другом берегу оврага, стоит великан. Солнце садится у него за спиной, и, кажется, великан смотрит на свою тень. От нас этот великан кажется совсем маленьким и растерянным. Иногда мне кажется, что они смотрят совсем не туда, а то взглянешь на них, и удивишься даже — сидят, смотрят, даже перестали шумно дышать. Когда солнце совсем спрячется за деревья, в овраге, возле ручья, станет прохладно, мы спустимся туда, и они будут с удовольствием пить воду и долго ходить по воде, а великан, если теперь взглянуть на него отсюда, вновь превратится в бывший электрический столб.

Вечером дым стелется, будто туман. Вот, подумал, какой туман густой стелется, и вдруг понял, что это дым, и испугался, что опять все горит. Деревья повсюду стоят мертвые, только некоторые — чуть дыша. Только траве будто все нипочем, будто она без памяти может жить... В некоторых домах свет в окошках виднеется, но что-то не во многих, в нескольких, а на одном из дворов светлыми полосками доски, и темные фигурки возле них... Мне теперь часто кажется, что из всех чувств у меня осталась одна только жалость.

РАЗ ДВА ТРИ ЧЕТЫРЕ ПЯТЬ — я в поле ходил, с собачками, к вечеру, чтобы не жарко им, да и на закат как раз посмотреть. Одна собачка ничего, нормально идет, а другая, которая мелкая, где трава густая не хочет идти, я на руки ее брал и нес, бывает подолгу нес, даже руки устают, хоть бы дорога где, да где уж теперь дороги-то — а смотрю — а над оврагом цапли летят — раз-два-три-четыре-пять-пять цапель летело. Хорошие птички, голоса только заполoshные, испугаться можно, будто кого-то жизни лишают, а он беспомощный и кричит. А на другой день тоже пошел, с собачками пошел, туда же, посмотреть, как от нас солнце уходит, а над полем коршуны кружились. Голоса у них пронзительные, протяжные, будто жалобные. Я и их посчитал, коршунов-то. Раз-два-три-четыре-пять. И этих пять было. Вот с чего это, — спрашивал я у собачек, как мы уселись на пригорке смотреть, и сам себе думал — этих пять, и тех столько же было, какой в этом смысл? А собачки сначала тихо на закат и на великана противополож-

ного смотрели, а потом наскучило им, стали дурака валять — то чекаться, то кочки ковырять, то с бугра вниз на спине кататься. Здесь раньше тоже деревня была, а теперь только ямы. Помню еще, дома были, а теперь через их пустое место овраг видно. Чудно так сперва было, через их место в овраг смотреть, все будто чего-то не хватает. Потом привыкаешь, конечно, и уже и не думаешь, что вот и эти дома улетели, потрескивая на разные голоса, и даже уже и не считаешь их. А отец говорит, что когда мы на звезды смотрим, видим прошлое, может многих уже и в помине нет, звезд-то, а мы будто их видим, будто они сейчас. А если вдруг солнце потухнет, мы будем жить, как ни в чем не бывало, еще минут десять.

ЛОШАДЬ, КОРОВА, ЗМЕЯ — это я у Юрки Рыжего спрашивал, мол, кто у тебя дома живет, интересно же. Он и начал перечислять обстоятельно — лошадь, корова, змея. — Ну? — удивился я, — змея? Настоящая? — Ага, говорит, самая настоящая змея. — А какая? — спрашиваю, гадюка? — а покажешь? — Иди, — говорит Рыжий, — смотри, она сейчас как раз после обеда, в магазине, за прилавком стоит. Рыжий мужик хороший, улыбается хорошо и весь рыжий, то есть волосы у него не рыжие, а в веснушках весь — и лицо и руки, потому мы его Рыжим и зовем. А у Сереги Пушка веснушек нет, волосы светлые и тоже, когда улыбается — хорошо. Он Пушок по отцу, а сам не пушистый никакой. Он, помню, я тогда маленький был еще, еще на току работал, а он зерно от комбайнов нам на ток привозил, у него, в «газоне» его на руле, на бибикалке, нацарапано было — «люби как жену гоняй как тещу», и в кабине интересно мне было — шторы разные, тетки голые понаклеены на бардачке, он, женился тогда только, да, съездит пару рейсов, а потом к завтоком бежит — дядьКоль, у меня что-то поршни застучали, надо бы домой подчинить сгонять. — Ехай, — дядьКоль ему говорит, только быстро, знаю я твои поршни. И Серега, пыль столбом, полетел. Это давно было. Он тогда в Деревягино еще жил, соседняя деревня, большая тоже была, тоже сейчас почти ее нет, дачников, если дома три и осталось. А потом он, Серега-то, сюда переехал, с семейством своим всем, только не сюда, к нам, а туда вон — за овраг, магазин там и к станции ближе. Переехал. А время прошло сколько-то, пролетело столбом пыльным немало, да и не так, с другой стороны, много, только говорят мне как-то, будто Серега Пушок застрелился. — Как застрелился? — Серега? — Зачем? — Пушок-то? — Ну да, — говорят, — Пушок, Серега, из двух стволов сразу в грудь и бабахнул. А с чего не говорят. Кто говорит — он жену хотел застрелить, да в себя получилось, а кто — она у него ружье как-то вырвала и его же и ухойдокала из него. А Рыжий го-

ворит — это белка к нему пришла, от такой жизни, говорит, и пришла, и не то еще от такой жизни придет. На току работали бабы, и больных еще, кого можно водить, приводили иногда из психбольницы, она неподалеку здесь. Их никто не называл психами, или еще как обидно, а только так — больные, и я слышал однажды, как они меж собой о нас говорили — здесь хорошо, здесь сахаром кормят.

ОДНАЖДЫ Кусок подошел ко мне, на току было, — пойдем, — говорит, — Серый, поможешь. — А что делать-то? — Мешок, — говорит, — мне поддержишь. Я, значит, мешок держал, а Кусок зерно в него сыпал. Три мешка насыпали и бечевочкой завязали крепко. Он торопился, руки тряслись, бечевочка наша рвалась. Торопился, — давай, — говорит, — Серый, быстрее, а то помру сейчас. Да, он так и сказал — помру прямо сейчас. — А куда ты эту пшеницу-то хочешь? — спросил я. — Молчи, Серый, — он меня всегда Серым звал, и на а, по-здешнему — молчи, Серай, — вот так, и добавил — Кусок мелко не плавает. И повез мешки наши куда-то за овраг на своем дизеле синеньком, пыль за ним завертелась, а гусеницы как по земле гремят, я еще долго слушал. — Сейчас, — думал я, — я помог Куску украсть три мешка пшеницы. Это плохо. Но ведь ему было неважно, он ведь мучился, он ведь сказал — давай серай быстрее а то помру прямо сейчас, — а тут ему сейчас прямо хорошо станет, и он будет жить дальше. Жить дальше-то хорошо. Это было давно. А вчера я опять затопил поздноато, и дым нашел, что и утром воняло, и приснился мне Гуга, хороший такой, веселый, — ты, — говорит, — мне сказал, чтобы я пришел, я и пришел, мы с Людкой (а это жена его вторая была, тоже уже упокойница) мы в Ленинград переехали, здесь жить дешевле. Вот я ему обрадовался — и от нас, — отвечаю, — не так далеко.

А Ольга Ивановна мне все не снится, и Кусок не снится, почти никто не снится, как вечером ни зову. Интересно, где они все сейчас глупо плавают?

ЖИВУ я на Голом Конце, это если ты мне, скажем, захочешь письмо написать, или телеграмму отбить, — встречай, мол, еду, — так все здесь знают, где этот самый Гольй Конец. Так и пиши — Заовражье, Гольй Конец, Сереге. А почему он, этот конец наш так называется, точно и не скажу — кто говорит — сюда в старину самую бедноту селили, а кто — потому что конец ваш голый и есть, один тут пустырь, трава да трава. Сейчас, правда, деревья местами выросли, клены американские — эти растут, где дома были, далеко не отходят от домов-то, если увидишь где этих кленов заросли, значит точно — жили когда-то и здесь, а березки с сосен-

ками — эти по полям ходят, они наоборот к жилью редко подходят, как звери вольные. Вот странно, раньше не росли деревья-то, а сейчас выросли, и много — и в овраге и здесь, наверху. Я отцу сказал, что кислорода, верно, меньше в воздухе стало, бывает такая духота несозданная стоит, что и дышать нечем, а отец говорит — может быть. А еще от нас видать Барский Бугор, особенно откуда мы с собачками на закат приходим смотреть, как раз он напротив. Там когда-то барский дом стоял, и бабка Мишанина, в девках еще была, туда работать ходила. — Идут, — рассказывала про них, — про господ-то, дочери ихние идут по улице, прогуливаются, в белых платьицах таких-то вот и с зонтиками белыми ... Она про старину много рассказывала, а я слушал — ... а всего нас десять человек здесь жило, полати по стенкам вот так-то стояли, а дом сами старики еще строили, золотой под угол положили, а земли наши были вот от оврага и до самой дороги железной... Когда она говорит о стариках, будто о святых рассказывает — ... ну как же, это все старики, они все делали, все-все на свете, бороды дли-и-инные такие, и читать могли по-немецки. — Да ладно, — я не верю, — откуда им здесь по-немецки-то? — Да, — говорит, — по-немецки, буквы не наши, а книги тяжелые, старинные...

Я тут, было, в кустах камень нашел подходящий, там-то дом был когда-то, а камень у них, верно, приступкой перед крыльцом лежал, и загорелось мне этот камень себе притащить. Я уж давно на этот камень заглядывался, а тут лом взял, и к камню пришел — лежишь, — говорю ему, поросенок такой-то, не наскучило тебе в кустах-то? сейчас я тебя на свет потащу. Ковырял-ковырял под камнем, чтобы ухватится, пихал его, пыжился, а он лежит себе, как беспамятный и не проснется. Отец пришел. Измерил его отец, что-то там в уме своем умном, не в него я, видно, посчитал — здесь, — говорит, — около четырехсот килограмм будет... А камень хороший, тесанный, это, думаю, не старики были, это какие-то лешие были, или великаны вон с тот столб наш размером.

— А потом, — спрашиваю, — а что с землей-то вашей потом сделалось? — А война какая-то, — отвечает, — в Рязани случись, землю и отобрали. И коняшку. Мы все о коняшке пла-а-акали. Голос ее дрожит, плачет... А золотой-то, — спрашиваю, — под угол зачем клали? — Ну как же, — говорит, — на счастье...

ГУГА ЕХАЛ К НАМ ЖИТЬ, сдал квартиру и поехал. Мы ему дом у Нинки не задорого сторговали, у колодца, в нем раньше бабка Мотя жила с Васькой Тришкиным, сын ее, он ворон на кладбище от скуки пошел пострелять и руку себе прострелил, но умер-то он не от этого, а от зуба — зуб заболел у него, он в больницу, вырвали, а через три дня от заражения и умер; потом бабки, что собачек брошенных кормили, жи-

ли, эти из Деревягина приехали, а после них уж Нинка, а как ее свекры умерли за оврагом, она туда ушла, к людям, а дом этот, значит опустел. — Столько времени упустил зря, — говорил Гуга приятелям, собираясь. Они выпили перед отъездом, потом как в Рязань приехали, а потом и поздно стало уже, и электрички все поушли. Деньги-то были, Гуга такси нанял, и поехали они на такси. Ехать было долго, километров сто пятьдесят, и когда подъехали к переезду, была уже кромешная ночь. Идти еще от переезда было не близко, за овраг, да и дороги он не очень хорошо знал, по свету нашел бы, а ночь-то, куда тут. Дошли они до забора какого-то и сели под ним. — Все-таки хорошо, — говорил Гуга, — что приехали. А может он и знал дорогу-то, да матери моей побаивался, он дядя мне, она сестра ему старшая, он, когда выпивши, ее побаивался. Начиналось ненастье. Зябли. Было за полночь.

А потом Гугу били. Абасиков пацан, ему лет пятнадцать было тогда, оторва та еще, с дискотеки шел, а пьяный тоже, увидел их — что вы тут сидите, воруете? И налетел, Гуга оттолкнул его, а тот в дом, за отцом своим, тот тоже после сенокоса пьяный спал. Выскочили они, отец с сыном, и стали бить. Гуга здоровый был, да эти здоровее оказались, и злее. А потом, когда Гуга рухнул, по голове еще ногами, а может и еще чем-то, и тут он сознание совсем потерял, а когда те поостыли, расспросили у приятелей его кто да кто, да куда, мол, и отвезли на «запорожце» своем к колодцу нашему, к дому Мотиному-бабкиному-Нинкиному-Гугиному, а сами досыпать уехали, было уже утро, рассвело. Было холодно, ветер и дождь. Гуга на траве у колодца лежал.

А я за водой пошел, не рано пошел, часам к двенадцати, вода мне не к спеху нужна была, дождь-то.

Я даже не сразу его узнал, очень он был сильно искорежен, и голову раздуло сильно, за чужого даже сперва принял. И дышит он, как спит — Гуга, Гуга — а не разбужу никак. За Андрюшкой Силой сгонял, он за грибами что ли тогда приехал, а он врач же, — он только взглянул и говорит, — он уже в коме.

Гуга лежал в коме долго. Ему делали на голове операции, но он в сознание не приходил. Мать моя к нему каждый день ездила. Дочка его приехала Анька, юбка выше пупка, мы с братишкой как увидели, даже языки повысунули, как Бим наш. А Гуга не оживал никак, но и не умирал. Тетки, — говорю, к теткам своим я пошел, — если он помрет у нас, можно я его в вашей похороню, а они глаза отводят — на кладбище, — говорят, — места много. А Анька побыва пару дней и говорит — он или бы помер, или жив был бы, а так — это напрягает. Мы все, конечно, возмущались промеж себя, хотя, прости Господи, тоже так про себя думали.

ПО ОЗЕРУ ПЛЫЛИ ОБЛАКА, и мы смотрели, как они плывут по воде, и дрожат на воде деревья, живущие на его берегах. Я лег на мостки, на живот, а ты сидела рядом, опустив в воду руку. Было солнечно, было мне на душе тепло. Водомерки скользили по воде, а когда замирали, я видел, как прогибается под их лапками вода. В воде твоя рука казалась мне совсем маленькой, совсем детской, наверное, я думал, как у ее Кирюши. И мне не хотелось тебя отпускать — как же ты уедешь, а я как же останусь?

Проснулся я тут посреди ночи и очень по тебе затужил. Собачка одна у печки на лежанке своей лежит, лапами дергает, бежит куда-то во сне, а другая у меня чуть не на подушке дышит, а я по тебе затосковал вдруг страшно — как ты, — думаю, — сейчас дышишь, дорогая сестра. И захотелось мне тебе хоть что рассказать, хотя бы почему вон там, за околицей, дорога не прямо идет, как должна бы, а сперва изгибается.

Осень тогда была ранняя, с багрянцем на кленах, днем еще жарко было, а по утрам и вечерами уже свежо, пока в кузове до поля доедешь, и телогрейку запахнешь, а сам съежишься, забьешься в угол от ветра навстречу. Осталось нас тогда трое — я да Колян Тамонкин, да Серега Андрианов, а другие кто поломался, кого на другие поля перевели. Молотили мы тогда за оврагом Копнянским, через овраг от церкви, и когда проезжаешь, что она выйдет из-за деревьев, глянешь — и как-то хорошо становится, хоть и заброшенная она стоит много и много лет. А в овраге тихо, только ручей шелестит по камешкам, Мишаня раз в этом овраге аллергию схватил надолго, у меня мотоциклет был старый, я ему движок новый воткнул, а тормоза не сделал, частей нужных не было, вот мы с Мишаней без тормозов и гоняли всюду, а раз спускаемся в этот овраг, а горка крутая и поворотик в конце крутой, ногами тормозили-тормозили, не затормозили, мотоциклет разогнался под конец, а я не вырулил, и мы прямо в бурьян, пух какой-то полетел вокруг, как попадали. С Мишаней с того раза аллергия случилась на траву сухую, на пух, с сеном ему убираться трудно стало, только на сушилах полезет — сопли потекут, слезы ручьем. Вот. Но это так, не о том сейчас. Пшеница хорошая на том поле была, молотить такую в радость было, и на душе чисто и покойно. А тут вдруг смотрю, сыч какой-то на телеге на краю поля стоит и мне, значит, машет. А я еще с края ездил, только что начали. Слез я к нему, мол, какого хрена тебе от меня нужно вдруг стало? А он жаловаться стал, что, мол, и гусей у него сто штук и поросят двести, и все они голодные ходят, еле живут. И по жалобе его, выходило, что ему кроме меня никто помочь жить не поможет, Колян в кусты, Серега Андрианов далеко, а я вроде тут, и пшеница у нас хорошая, намолот хороший, и начальство не маячит нигде, свали бункер на краю,

соломой прикрой, никто и не увидит, а я в долгу не останусь. И, знаешь, сестра, послать бы его с гусями ко всем свиньям голодным, а ладно, — говорю, — сделаю. Сыч этот обрадовался, дурака нашел, — я, — говорит, — к вечеру самогонки тебе банку привезу. Вот, — думаю себе, — леший тебя видно нанес, а ему отвечаю — не надо мне ничего, за так сделаю, да и в самогонку он, поди, — думаю, — димедрола для дури быстрой напустит, как все здесь делают, сдохнешь потом от самогонки его, и поехал дальше себе молотить, а настроение у меня уже нехоршее сделалось. Езжу, — думаю, — к вечеру ссыплю ему, может тогда полегчает. А будто гадость какую в себя впустил, согласившись, бывает так у тебя, нет? До обеда проездил так-то, а с обеда пацан ко мне в кабину попросился, Славки Ступкина сын, порулить. Я ему руль отдал, а сам в окошко курю. А день дивный стоял, природа напоследок радовалась. А мне только все не радостно, и не оттого что боялся чего, а...не хорошо как-то все стало... Ладно, ездим, парнишка рулит, я в окошко смотрю, и вдруг показалось, что сзади что-то странное происходит, будто по мотору синие змейки прыгают. Чудно так, думаю, и повернулся на змеек тех посмотреть. Смотрю, а они уже все яркие и оранжевые стали и длинные, и вдруг мотор весь у меня огнем настоящим занялся уже хорошо, но работает еще, ревет во все цилиндры. Тут уже свистопляска началась. Я на пацана ору, прочь чтобы сваливал, а он и не поймет — что это я вдруг так расшумелся, прогнал его, а сам с поля скорей вырываю к оврагу, а за кабиной уже факел хороший, тут же у нас все как порох, горит хорошо, а в окошко взглянул, а ко мне уже ребята бегут — Сережка Андрианов, Колян, будто еще кто-то, в глазах-то мелькает все, бегут, орут мне чего-то, а я не слышу чего, только вижу, как рты широко открываются. А успел я, съехал, все-таки, с поля, мотор заглушил и через огонь на землю проскочил. Стали мы все огонь землей забрасывать, кто лопатой, кто горстями кидает. Ты, может, спросишь, где, мол, огнетушители у вас, дурней, были? — а не было у нас их, и тормозов не было, и без фар по темну ездили, на склад всей этой чепухи нам не привозили, обещали все только. А огонь мы сбили, справились, только ездить уже нельзя стало. Я несколько дней за Юркой Морозовым ходил, чтоб буксир мне выделил, или хоть бы аккумуляторы он заехал забрал, они у меня новые были. А пока он протрезвел и дал, трактор-то, много чего уже с меня снимали — и аккумуляторы поперли новые, и даже рулевую тягу поперечную, замучился я без нее, пока до мастерских дотащились. И поставили меня прямо на дороге, и все стали, конечно, объезжать. Вот и загиб получился. Приезжай, дорогая небесная моя сестра, я тебе этот загиб покажу, и хоть и комбайн тот давно на металлолом увезли, и от жизни той нашей вокруг одни черепки остались, а до-

рога как вокруг нас тогда изогнулась, так и сейчас куда-то идет. Не приедешь, знаю... Серега Андрианов тогда руки обжег, а сыч тот, с гусями, зерно все-таки взял, у меня уже бункер полный почти был, а как с буксиром приехал, посмотрел, а уже пусто было, только я уж не причастный к тому, миловал Бог.

ШТАНДАРТ ШТАНДАРТ — это у нас игра такая была — в мяч — штАндарт штАндарт Дима — и мяч подкидываем, а Димка поймать должен... Дом у них был самый большой в деревне, полутравековой, венцы нижние в землю вросли, а срублен на редкость — изнутри бревна стесаны для простора, сейчас здесь так не рубят, топор нужен необычный, или руки. А крыша железная и углом, они как-то в другой цвет захотели перекрасить, даже начали уже, не в зеленый, а в другой, и вдруг примчался неизвестный кто-то, говорит — красьте в зеленый, как было, у нас на всех картах эта крыша зеленая обозначена, мы по ней ориентируемся. Это когда самолеты над нами еще летали. А мы в штАндарт играли, и Димка еще был живой...

ВЧЕРА закрыли психбольницу. Тех, кто поздоровее, кто работать еще может, тех увезут в Рязань, а кто совсем никакой — их под Шацк, в Вышу, там, в монастыре отгорожена для них одна часть. Мы, это еще когда с Куском вместе работали, стояли раз возле их подсобного. У нас там тоже поля были. На обед пошли. Кусок говорит мне — я, Серый, может задержусь, а ты пока нож поменяй. Вернулся я с обеда, Куска нет, стал нож менять, мы тогда на свал косили, в валки хлебостой укладывали, чтобы он лежа потихоньку без потерь дозрел, а не сыпался зря. А мы только-только молотить начали, а тут Юрка Морозов подходит, инженер наш, — цепляйте, — говорит, жатку, будете на свал косить. Кусок тогда разозлился, на обмолоте больше заработать можно, да и жатка досталась нам не ахти, нож туго ходит, а Морозов говорит — нож от руки должен ходить — слышал, Серый, — Кусок мне говорит — он хочет, чтоб нож от руки ходил, и как шваркнет о землю лучом от мотовила деревянным, луч раза три подпрыгнул высоко, пока не успокоился. Прицепили мы жатку, нож отрегулировали, чтоб как нужно ходил, а на том поле у подсобного камнем его и порвали, а он шестиметровый, нож-то, совсем рук у одного не хватает его менять, а что делать-то, делать нечего, надо менять. А вдруг откуда-то больных нашло и мужиков и баб, человек десять и без провожатого все. Встали вокруг молча и смотрят, мне не по себе даже сделалось. — Миш, а Миш — это мне одна больная вдруг так говорит, — а ты что делаешь-то? — ножик меняю, не видишь разве. — Миш, а Миш, а у вас огурцы-то растут? — Растут, — говорю, — куда они денутся-то, чего

им не расти, их туманы не бьют, огурцы это тебе не помидоры. — Да, — соглашается, — огурцы это тебе не помидоры... А мужики, больные-то, начали мне нож помогать вытаскивать, я только покрякивать успеваю... Их здесь, больных, много было, а если, бывало, кто состарится, а детям за ними неохота ходить, тех тоже сюда. Были и буйные, конечно, они жили в бараке с решетками, и забор высоченный из теса, поутру на него матрацы сушить вешали, этих, понятное дело, никуда не водили. А нормальные больные часто ходили, в магазин, или еще куда, не одни, конечно, одним-то им не полагалось, в сопровождении. Андрюха Сила, когда в медицинском учился, здесь практику проходил, говорил, что самые злые санитары это был Витька Батов и Генка Гончар, Ивана Гончара сын. Витька был на войне, и когда вернулся, выпивали мы как-то у нас на терраске, говорил — мне человека не жалко, курицу жалче, а человека нет. А Генка был просто тупой. Этот еще злее Витьки больных бил. У них в больнице тогда и коров стадо было и подсобное большое, там они для себя много выращивали чего, Петьки Муравья мать, тетя Маруся, она там работала и все с сумками с работы идет — сахар, пряники. У нас пряников не было, а у них не переводились, мы даже завидовали немножко, в детстве. А в девяностые им, больным-то, совсем плохо стало. У них пилорама своя тогда еще была, Петька Муравей там работал одно время, так он рассказывал, по-своему, чуть гнусавя, рассказывал — каждый день пилим, каждый день на гробы. А еще я слышал, что главврач их будто для них по электричкам ходил. Вымерли они тогда сильно.

А РАНЬШЕ-ТО мы не здесь жили, не на Голом Конце, а там, на деревне, напротив Муравьев, сейчас-то там тоже один хрен — ничего нет, а тогда много народу жило, и собак много, и коров. Там и Нинка Аникина жила, вроде дурочка местная, а бабки тамошние с ней ругались — Стюра, Ньюша и Сазониха. Встанут каждая у своего забора и орут — обоссая — кричит Нинка на Стюру, а та на нее — а ты слонявья, — проститутки, — это Нинка кричит им, а Ньюша протяжно на нее — про-о-ст-а-ая ты, — это здесь так глурых зовут — простыми, а Сазониха не помню что, но тоже участвовала. Были тогда лета дождливые и напротив Нинки в луже жили лягушки, и по ночам они квакали. Гуга один раз показал, как они квакают — пи-и-ва, пи-и-ва. Получилось очень смешно и похоже.. Ньюша нам лепешек ржаных приносила, она их в своей русской печке вкусно пекла, а Стюра меня вишневым вареньем угощала, я один раз его целый ковшик съел, — поправляйся, — говорит, — мизинчик, а то вон кости одни. А напротив Стюры тартар был — такой глубоководный овраг, тартаром его звали, туда всякую дрянь бросали, а куры иногда зачем-то ходили туда нестись, на дне его было

сыро и темно и страшно, и крапива выше меня всюду. Один раз пришла милиция самогонщиков искать, и у Муравьев браги два сорокалитровых бидона вывалили на улицу, гуси потом пьяные три дня ходили, и аппарат нашли и взяли, а Петька, как милиция ушла, на Стюру кричит — это ты на меня показала, а у тебя тоже, мол, аппарат, а та ему, — что ты, что ты, Петенька, был у меня, был, да я его топором порубила и в тартар выкинула. Хрен тебе она аппарат выкинет, как вечер — стук да постук к ней. Петька с косой в тартар полез, чтобы удостовериться, — а не найду, тебе голову этой косой-то и отсеку — на Стюру-то так он кричал, пьяный был и расстроенный сильно, насилиу его утомонили, за Юркой Ваньцом бегали, он его умел укорачивать. — Ты, говорила мне Стюра, — ты на Гольй Конец не ходи, там одни яды живут. И поворачивалась в сторону Голого Конца и крестилась — господи, дай им там всем раку. Когда я стал здесь жить, на Голом Конце, здесь жили хорошие люди — дед Леня, а по-своему Ленис, он литовец был, бабка его — баба Нюра. Мы с ними хорошо дружили, я их любил. Умерли потом они все от рака, как Стюра им накричала. Говорят, в свое время, Стюра ходила в кожаной куртке и с наганом, и все ее боялись. И вырастила она одна двоих внуков — Наташку и Сашку, их мать любовник зарезал, может и на Голом Конце, не знаю. Бывало, кричит Стюра от магазина с другой стороны оврага — Наташка, хлеб привезли, а давали-то по две буханки в руки, а Наташка притворяется, что спит и не слышит, неохота ей через овраг пилить. Она потом замуж вышла, они всей семьей поехали куда-то на машине и все насмерть разбились. А Сашка воевал в Афганистане. Он живой и сейчас где-то в Москве.

ВСЕ ПРЕЕТ, ГНИЕТ, ЛОМАЕТСЯ — деревяшка, железяка, кирпич — так Сашка говорит, не тот, Стюрин, а другой, Хлестов, он ветеринаром у нас, а когда время есть — дома рубит бани, все что нужно сделает, это он придел к дому нам срубил, и баню, я с ним хорошо дружу. — Вот врой, Серега, — говорит, — простой столб в землю и ходи вокруг него кругами, нипочем не упадет, всегда, как новый будет стоять.

Деревни, которых здесь больше нет: Деревягино — престол на Ильин день — почти нет; Копнино — престол на Казанскую был — совсем нет; Суховка — ходили в Копнянский приход — совсем нет; Поповка — ходили кто в Копнино, кто в Угол — совсем нет. Жильцовка — эта в лесу, тоже совсем нет; Крюково — там степи уже, ходили в Копнино или в Пластиково — нет совсем... Мы с Куском тогда косили, и зачем-то мы в Копнино с поля заехали, всей бригадой нашей, а там дед один жил еще последний, наши его дядей Сашей звали. Сады, сады, яблони. И никого вокруг, и дома все пустые, сады все заросшие. Кусок в дом к дяде Саше

зачем-то пошел, известно зачем, а мне говорит — ты, Серый, здесь пока погуляй, тебе рано еще. Ручей у них в овраге течет, под обрывом, этот дядя Саша его к себе завернул, срубик сколотил и воду к себе насосом электрическим поднимает. Значит, электричество еще у них было тогда. Красиво там, в Копнине их, и церковь стоит на бугре, дорога к ней вела по полям вековая, идешь по дороге, кузнечики трещат всюду, коршуны над полем парят, а ты идешь и смотришь, как купол ее как из травы поднимается медленно, и времени счет забудешь, и вдруг она к тебе неспешно сама навстречу выходит. Я потом, время-то прошло, ходил там, все хотел найти дом тот и срубик, ничего не нашел, ни кирпичика, все как улетело куда-то. А церковь стоит, бедная. Илюха с Ольгой Ивановой ко мне приезжали как-то, видели, как раз по дороге той они успели проехать, ее вскоре Димка Никитов перепахал на «Кировце» навсегда.

КОГДА РАДИО ЕЩЕ ИГРАЛО, Муравьи его на всю округу врубали, а мы напротив них жили. А отец шума не любит, а они врубят и на работу уйдут. Подумал-подумал отец, на провода посмотрел зачем-то, потом взял проволоку толстую, согнул скобкой ее и в нашу розетку радионую и воткнул. Радио их сразу заткнулось, тихонько так стало играть, еле-еле. Муравьи удивляются — что да почему. Их два брата было — Петька и Витька. А и дрались же они, бывало, до крови, едва не убивают друг друга. А потом смотришь — ничего, из ковшика поливают друг дружке, разговаривают мирно. Витька был рослый, красивый, кудри вьются, здоровый мужик, это он потом усох, как спился, а тогда здоровый. А говорили про него, что слаборукий он. Я удивлялся — такой здоровый, а слабый. — Да нет, говорят, — это значит у него голова думать за руками не успевает, вот он и слабый на руки. Они, Муравьи-то, Муравлевы они вообще-то по фамилии, да все — Муравьи-Муравьи, вот и я так-то, они на току работали, электриками. Там такой домик стоял на столбах, как на курьих ножках, высокий, а внизу у него бункер, машины туда зерно сыпали, а потом транспортерами оно наверх поднималось, а наверху машины стояли очищающие, и становилось после них зерно чистым, а шелуху и мякину в трубу выкидывало. Вот Муравьи за всем этим и следили. А мы-то с братьями там все время крутились. Петька говорит нам — сюда не подходите, — это он про бункер этот, — а то вон рязанский один залез сюда после обеда и заснул, а машины как пошли, и засыпало его. — И что же с ним стало? — спрашиваем. — А ничего не стало, — говорит, — задохся насмерть. И было нам страшновато подходить к смертельному месту. А один раз Петька подзывает нас и дает сумку такую небольшую матерчатую синюю, говорит — Закатанке отнесите. Мы и понесли. А почему ее Закатанкой прозва-

ли — сейчас только догадываюсь, а тогда бабушка говорила, что так говорить нельзя. Мы и понесли. А сами щупаем по дороге, что-то мягкое там, будто живое. Развязали, а там голуби убитые. Мы как к ней прибежали — зачем вам, — спрашиваем, голуби убитые? Петька вам зачем голубей убивает? А она их в таз вытряхнула, там уже перья были другие, — а вкусные они, — говорит нам, — для начальства это. Я на Петьку тогда очень сильно обиделся, а начальством решил не быть никогда.

Я БАНЮ ЗАТОПИЛ лиственницей гнилой. А она, хоть и гнилая, а все равно смолистая, дыму нашло много. Это Кирьян, он же дом строит который год, вот и тянет все из леса. Я у него спрашиваю — Кирьян, вот ты в церковь ходишь, а как же ты все из леса-то тащишь? А он — я благословение спрашивал, батюшка разрешил, — не наглей, — говорит, — только, — дом — дело насущное. Это Кирьян эти лиственницы притащил, лиственница, — говорит Кирьян, — дерево ценное, дольше дуба стоит. Они у него несколько лет потом в шкуре так и пролежали в бурьяне и сгнили, конечно же, почти все, и стал он их в костре жечь, чтоб мусором не валялись и жуков древогочцев не разводили. — Давай, — говорю ему, — я их хоть в бане сожгу, а то и так жалко их, пусть хоть с пользой в бане сгорят. Попилил их, расколочил, и на тачке от него к себе привез. Тачка у меня хорошая, крепкая, хоть и ржавая вся, ну это я как-нибудь в другой раз расскажу, о тачке-то, если к месту придется. И вот затопил ими баню-то, дыму нашло, они же смолистые, а вечер уже. Вдруг в бане как запищит кто-то, затрепещет, я двери распахнул, а там в дыму штук их пять мышей летучих места себе не найдут, дым-то, ничего не видать, и глаза ест. — Задохнутся они тут, бедные, — думаю. Это однажды зерно на ток сорное возить стали, мы с братьями в тот бункер-то Петькин заглянули, а там все красное и шевелится от божьих коровок. — Петька, а Петька, а что с ними будет в твоих машинах? — А ничего не будет, перемелет и все тут. И стали мы божьих коровок этих горстями вытаскивать и на землю бросать, — Петька, — кричим, — выключай свои машины, и чуть не плачем, видим, как они вниз вместе с зерном проваливаются. А Петька нам — пошутил я, — говорит, — там у меня в машинах сита специальные для них есть, их там просеет и выпустит целеньких, вон в трубу и полетят они.

А мышей я выгнал оттуда, из бани-то. Двери открыл, а над баней фонарь включил, уже темновато ведь было, а сам еще ручным фонариком им светил, чтобы видно им было, куда вылетать. Вот они и вылетели. Хорошо. А Петька маленький, то есть маленького роста был. С матерью он жил, так и не женился, мать его, тетя Маруся, ходила каждый день на работу, через овраг, и как-то в метель у нее в овраге от натуги лопну-

ло сердце. Петька потом к тете Вале притулился, Юрки Ваньца вдове, Юрка с Муравьями друзья были, хотя и он старше намного. А потом у Петьки тоже в овраге однажды в метель сердце разорвалось.

Божья коровка улети на небо принеси мне хлеба черного и белого только не горелого — помнишь, присказка такая в детстве была?

СЕЙЧАС в деревне коров всего ничего — у Кольки Кузина есть, Кирьян у него в три дня банку берет, а больше и не знаю, может и еще у кого есть, вечером как станешь ту жизнь слушать — один-два мыка всего и услышишь, а на нашем берегу и не услышишь уже, у нас деревня-то одна, а только на двух берегах живем, через овраг. А одно время их больше сотни было, коров-то, даже и у Куска с Валькой его Курилкой телка была, а может и две, и на нашей улице были — у деда-литовца — Малышка, а потом Субботка, у Барановых, у дяди Толи Панкина, Нинкиного отца, той это Нинки, что у колодца жила, в чей дом Гуга жить ехал, у Муравьев была, две у них были, у Кудиновых Марта. Это как колхоз уже ко дну пошел, всем раздавать стали, а старики так те и жизнь без коровы не понимали. Пасли мы их поочередно, у нас здесь говорят, правда, не пасли, а берегли. Берегли мы их. Солнце еще не восходит, а ты идешь по улице, хлыст тянешь за собой, хлыст длинный, как змея волочится, а на конце веревка привязана, чтобы громче хлопал, если умело им хлопнуть, будто ружье стреляет. А бабы уже коров выгоняют навстречу, соберешь их в стадо, коров-то, и погонишь по улице к оврагу, они идут впереди тебя, помахивая хвостами, переговариваются радостно на своем языке — ну пошла, — прикрикиваешь, если кто остановится и начнет жевать неуместно. А потом спускаемся в овраг, трава стоит росная, брюки тут же тяжелеют, промокают насквозь, и пока не пригреет да не просушит их солнышко, так и бегаешь на негнущихся будто ногах. А потом, часов с десяти, там уже полегче, коровы наедаются и лягут, только хвосты над травой мерно колышутся, а тебе только и посматривать, чтобы какая анчутка дурная, все никак не насытишься, в зелена не сунулась, да далеко от своих не отошла. А там кто-нибудь и завтрак принесет, летом мы еще недалеко уходим, и здесь травы много, ее только к осени подьедят, тогда да, уведем тогда подальше. А на завтрак что да что? — сало, хлеб, огурцы, яйца, молока бутылка — разложим на траве и едим. А дед Леня, литовец-то, я с ним берег-то, он узелок свой положит на кочку, а сам за коровой, воротить пойдет — что-то одна далековато отбилась, а тут Мухтар подбежит к его узелку, и ну жрать, быстро так. — Мухтар! — дед увидит, орет, Мухтар! — и кнутом по воздуху — дыщ-дыщ, а Мухтар торопится, не жует, глотает, пока дед дочапает, одни огурцы ему и остались — вот

гад, — говорит дед, а не зло, улыбается, и рядом садится, у нас много еще всего, на всех хватит, даже Мухтару останется, на добавку. А сейчас-то корова у Кольки Кузина, а больше и не знаю. Летом он, Колька-то, ягодами, грибами промышляет, а зимой охотится, идет раз с ружьем по нашему концу мимо, а у меня, пока не было меня, провод сняли со столбов целый пролет, я к Муравьям — они, Петька с Витькой-то, быстро пришли, провод свой собственный даже принесли, и на столб залезли уже. А Колька как раз мимо идет — а, — говорит, — сами снимают, сами и вешают, хорошо вам так-то бутылки сшибать. А они ему — иди, иди себе, ставь свои капканы на кошек. Это он раз поставил капкан недалеко, на нашем конце, Нинка еще в доме своем, том, у колодца, жила, поставил, а кот Нинкин гулять пошел и влез в него лапкой, дня три просидел в капкане, пока не достали его оттуда. Лапа загнила, воняет уже, кости наружу торчат, спасибо Ленка, в Москву брала его, там ему лапу по плечо отняли, он еще пожил, а то уже гангрена начиналась. — Иди, иди, — Муравьи говорят, — живодер, ставь свои капканы на кошек. И так ловко это у них получается-то — по столбам лазить — Колька Капрал говорит — ты им покажи бутылку-то, они на столб безо всяких когтей залезут. Колька Кузин одно время даже председателем колхоза нашего был, мужики говорят — драться налетал, если что не по его, а терпели — все-таки председатель, а теперь он с ружьем ходит, всех собачек бездомных стреляет — и Мухтара и Верного застрелил. Деда-то с бабкой его, как они плохие стали, дочери к себе взяли, в Рязань, а Мухтара не взяли — куда же, — говорят, — еще и собаку-то, у нас, Сережа, ведь город, у нас ковры. Они торгуют на рынке мясом и любят, чтоб было чисто.

В ТЕМНОТЕ ВЫСТРЕЛ. День душный простоял, без ветерка, без облачка. А к вечеру мы с собачками, как обычно, пройтись пошли, а в овраге, под высоковольткой, бобры ручей запрудили. У нас здесь одни овраги вокруг, у них и имена есть — Слугины портки, Свинар, когда вода талая идет, в половодье, как на острове живем. Пришли мы, значит, к бобрам, Бумбер мой там долго в их воде полоскался, а мы с мелкой на пригорке ее поджидали. Сидим, смотрим, а тут, вижу, сам бобр плывет посмотреть — кто тут ходит по его воде. Я от него глаз не мог оторвать, так радостно сделалось, что и они живут. А за днем душным и ночь наступила душная, без облегчения, было облачка к вечеру поплыли, мы-то думали — может натянет, да нет, рассосалось куда-то все и опять стоит неподвижная тишина, только звезды своим прошлым светом мигают, да мотыльки роem над лампочкой вьются и за шиворот падают. И выстрел в темноте раздался, со стороны бобровой.

Я как-то у Кирьяна ружье взял, Кусок с работы пришел, Курилка его тогда уж померла, а он с работы ко мне приходил, посидим, поужинаем вместе, а то и останется, — чего тебе там одному-то, тогда и полночи поговорим о всяком. Вот и пришел он, с работы-то, силос он тогда трамбовал, я ему говорю — а пойдём что ли, куропатку подстрелим к ужину? Отчего же, — отвечает, — давай. Ружье я у Кирьяна взял, патронов сколько-то, и пошли мы с Куском по полям, и Бим с нами, это у меня собачка такая была. А куропаток тогда много было, толстые, все ведь поля засеивались, а Бим куропаток поднимет и за ними носится, как угорелый. А они поднимутся, взлетят, — эгегей — Кусок им вслед кричит, вскинешь ружье, а Бим прямо под выстрел, да кто ж его учил, лезет. А эти поднимутся, пролетят немного и сядут и бегом-бегом с того места, чуть только дрогнет трава, а в поле пойдй разбери — ветер ли, или куропатки шуруют, подойдешь к тому месту, да где там, они уж давно убежали и притаились... — Ну-ка Бима, — Кусок ему говорит, ну-ка отыщи их нам, теток-то...

И вот я шел с ружьем. Сильный. И шел я, как царь. Потому что, когда можешь лишить кого жизни запросто, кажется, что вот ты и царь. Я и Куску об этом сказал. А он спрашивает — Серый, а ты с какого года-то? — семьдесят второго, — отвечаю. И сам спрашиваю — а ты в семьдесят втором где был-то, здесь, нет ли? А он считать что-то принялся на пальцах — семьдесят три, семьдесят пять, семьдесят восемь, — пальцы загибал, а как все загнул, — Сургут, — говорит, — Сургут, Серый. Помолчал потом время, и так ни с того ни с сего — там от меня даже не полчеловека осталось. Сам-то он мне не говорил что да за что, а только, говорили, будто он то ли магазин подломил с приятелями, а кто позлее на язык — убили они, говорили, убили с дружками своими человек. Все, — говорит, — все Серый, было, сын, вот тоже Серега, был, жена в Челябинске, любил я ее, была, было — говорит, — да уплыло.

А домой мы пришли, гречку сварили, мы ее с маслом с Куском очень хорошо поели. А ружье я Кирьяну отдал — хорошее, — говорю, — ружье у тебя, сильное, да не пригодилось, что-то не нашли мы никого. И патроны отдал, он говорит, — патроны-то можешь оставить, может завтра сходите, — ну их, — говорю, — патроны-то. А Кусок мне потом карточку жены той, Челябинской, показывал, берег он карточку ту, красивая женщина, правда его, жалко имени ее не помню, сейчас бы сказал, он-то говорил мне, а сейчас и не скажет уже никто.

КОГДА НА СТАНЦИЮ ЗАВЕЗЛИ ТРОЙНОЙ ОДЕКОЛОН, мы с Куском недалеко косили, всего-то через овраг от моего дома, на той, другой стороне, а от станции рукой подать, поле лишь перейти. А мы с ним и не знали, что завезли, косим. Вдруг видим — Шик на бензовозе к нам

летит по стерне, остановился рядом, да нет, даже и не остановился, а так только, тормознул рядом — тройной — кричит, — привезли, развернулся и исчез. Кусок забеспокоился что-то, а как время к обеду, — ты, Серый, иди-ка поешь, поешь, не спеши, а потом сюда приходи, а сейчас у меня дела. — Ладно, — говорю, ты-то как? Может чего поесть принести? — Не, — говорит, — Курилка что-нибудь сварит. Это когда Курилка его еще жива была. Мы когда рядом косили, на обед домой ходили, а если далеко, так нам прямо в поле привозили, Пантелей Пантелеич привозил, агроном, с Наташкой привозил, его как-то не очень жаловали, вот и гоняли обед развозить, а Наташка не здешняя была, Кистеневская, чуть картавила она, в столовой работала. И пошел я домой. А Кусок мой развернулся, и, черный дым из трубы, к станции помчался, только жатка наша синяя шестиметровая от быстрого хода на неровностях раскачивается — вниз прынет, а пружины ее обратно вверх до упоров подбросят, железо о железо гремит. А дома я засиживаться не стал, заспешил, — как он там, один, — думаю, — мало ли, может что сломалось, а у него рук не хватает. Через овраг перейдешь, через ручьи, поднимешься на бугор, тропинка мимо школы идет, а школу пройдешь, уже и поле. Сейчас-то оно все березками поросло, а тогда рожь там хорошую мы косили. Прихожу, а Кусок уже там, только не косит, стоит, я в кабину залез, а он сидит улыбается, и в кабине одеколоном пахнет. — Вот, — думаю, — и чего он надушился так, праздник что ли какой, а сам не спрашиваю, захочет, сам скажет. Я тогда только начал с ним работать, вообще-то меня сначала Морозов к Шику в штурмана, помощники то есть, определил, а у Куска был уже другой штурман, это мы так штурвального переиначали, а Шик еще на бензовозе ездил, и ему, он мне так и сказал не в обиду, нужен был не я, а другой, кому бензовоз можно доверить, а мне он не доверял бензовоза, наверное, потому что я городской, вот он меня и обменял вскоре на того, другого, а я с Куском стал работать, я мало тогда что знал в жизни, я только начинал ее ощущать.

Начали дальше косить. Немного только отъехали, видим, нож не прокашивает в одном месте, заминает только. Пойди, Серый, глянь-ка — Кусок мне так говорит, — глянь-ка, что там опять. Беру ключи-молотки, какие надо, чтобы десять раз туда-сюда не лазить, и пошел. Палец, смотрю, накрылся, отломился кончик, вот и не косит. — Палец, — кричу ему снизу. — Меняй, — он сверху кричит. Обычно мы вместе все крутим, а тут он сидит, как приклеенный, курит. А там у нас болты с шляпкой полукруглой, на пальцах-то, ключом не ухватишься, они от проворота квадратом таким держатся, как лемешные, а вот когда провернется, хрен ты этот болт легко отвернешь. Вдвоем-то еще ничего, один монтажкой нажмет, другой ключом крутит, а тут Кусок сидит и

сидит себе, дымом в окошко пыхает. А там болт этот как раз провернулся, я его уж как ни напрягал, и подмышкой на монтажку давил, чтоб болт не вертелся, руки себе в кровь посшибал, а он и сидит все, Кусок-то, знай покуривает.

А Наташка та, раздатчица, мне нравилась, как она картавила хорошо, — уожку, — говорит, — вынь — вот она в кузове стоит, нам обед разливает, а мы суп съедим и миски ей за вторым наверх протягиваем, только без ложек нужно протягивать, а то ей разливать неудобно. И Шик у она тоже нравилась, я как ни зайду в столовую с ней поговорить, там Шик допоздна все сидит. Он потом так с ней и уехал навсегда в ее Кистенево. Перец говорил — была бы кислота — плеснул бы ему в рожу, чтоб знал, как троих детей бросить.

Поменял я, все-таки, палец этот, долго с болтом бился, но поборол, наконец-то, и болт тот понес Куску показать, чтоб ему стыдно стало. — Что, — говорит, — отвернул что ли наконец-то? — Отвернул, — говорю, и ему болт протягиваю, — смотри как провернулся, насилу его отвернул. — А теперь, — Кусок говорит мне так, — а теперь прокляни его. С таким рrrr долгим — прррокляни. Проклял я этот болт и в окошко его выкинул. А Кусок оторвал зубами от беломорины кончик обслонявленный, сплюнул его на пол, а мне докурить протянул — на, — говорит, — поехали. И поехали мы с Куском дальше косить. С чистым сердцем я ехал и с веселием на сердце будто тройным.

ЗДЕСЬ ТОГДА РОЖЬ РОСЛА ВЫСОКАЯ, густая, такую молотить было радостно, сделаешь круг — бункер полный. Залезешь на бункер или на кабину и машешь, кто кепкой машет, кто руками, пока тебя не заметят. А пока машина к тебе по полю прыгает, сунешь ладони в рожь, а она теплая и пахнет, сидишь на бункере, жуешь ее, рожь-то, с высоты смотришь окрест — до самого горизонта наша красота простирается. Мне кажется, есть две равновеликие вещи на свете — собирать хлеб и складывать песни... А кто возил? Юрка Рыжий возил, Толян Хлестов, брат-то Сани Хлестова, Валерка Шакур, Башкир... много кого было... Вот как-то под Крюковом молотили, мы с Мишаней уже самостоятельно тогда работали, а долго уже жали, второй месяц пошел, приустиали. У нас с Мишаней вал на жатке срезало, толстенный, если его на выносливость прикинуть, сумасшедшие силы может выдержать, а не выдержал, лопнул, а мы ничего, живем, даже веселы, у человека, я думаю, самая сильная степень сжатия на свете, и запас прочности соответствующий, если, конечно, друг друга не рушим. А летом-то выходных не бывает, Перец сказал как-то — хоть бы дождь что ли, а тут и дождь нам, Контарь сразу в канаву заехал и застрял. Мы комбайны свои в кучку

составили у посадки, а сами в машины набились, кто куда, мы с Куском и Мишаней к Башкиру залезли, всего к нему нас человек восемь залезло, друг у друга на коленках сидим. И погнали. Башкир, если на обед едет или домой, жмет на полную, а тут уж сам Бог повелел, ливень, можно рано домой ехать. С бугра спустились как-то, а на горку стали подниматься, из оврага, на пригон, и ни в какую, колеса по глине буксуют, пар от них валит густой, а «маз» его пройдет метр и опять скатывается вниз, Башкир матерится, рычаг скоростей дергает туда-сюда. Бились мы в этом овраге с полчаса, а выбрались, дальше легче уже — вдоль речки по луговине, потом через ручей на Сельцо, а потом песочек у Деревягина. А ливень не унимается, щетки не справляются даже, по стеклу как река течет, а тут коровы перед нами, стадо, Калгат-Чурка бережет, застыл под деревом капюшоном огромным, а коровы жмутся друг к дружке, стоят на самой дороге. Башкир им свет дальний врубил и фафа — сигналит значит, а сигнал-то воздушный у него, мощный, электрические они слабее, и прет на них «мазом», чуть не расталкивает. Разбежались они, конечно, кто куда, Калгат бегаёт за ними, путается в плаще — эй, Калгат, — мешок-то с головы не потеряй — потешались над ним. Его потом Васька Шабаетов, говорят, трактором раздавил, а может по пьяни, не знаю, а жену с детьми его выгнали, хорошо за ней родственники приехали, забрали... Сейчас на этих наших местах ржаника, в основном, растет — высокая такая трава и жесткая, а на верхушке метелка, и правда, рожь напоминает, это дед, литовец который, так эту траву называл, мы ему для коровы ее не косили. — Не коси, — говорит, — ржанику эту, она негодная. Но тогда этой травы немного было, кое-где островками. А баба Маня, бабка Мишанина, — коси, — говорит, — козы все поедят, они не разборчивые.

ВЕЩИ, ОТ КОТОРЫХ СТАНОВИТСЯ ВДРУГ НЕПРИЯТНО: — смотришь с затаенной радостью в родник и вдруг замечаешь там пивяку; а то несешь в холодную пору воду в ведре с родника, поднимешься уже в горку и выливаешь ее себе в сапоги; когда собачки жрут гадость и не хотят отдавать, а ты тянешь ее у них изо рта; когда с Кирьян благодушной улыбкой говорит — ты мне на день рождения подари кого-нибудь из собачек своих, мне будет приятно ее утопить — это за то, что гавкают они часто; когда мать ходит бешеная, а Татьяна, жена моя, говорит, что у нас ей нечем дышать; когда ложишься спать поздно, и замечаешь вдруг, что по потолку над кроватью ходит оса, а хуже шершень. А вот еще неприятности: сидим вечером поздно — я, мать, и Людка, Гутина жена вторая, дождь еще льет проливной. Вдруг — тук-тук — стучатся — Кусок — у нас корову зарезали, я вам мяса взял, мне теперь денег

срочно надо отдать. Дали ему денег сколько-то, он сунул матери в тряпки завернутое, и убежал. Разворачиваем, а там зубы одни. Или вот еще похожее — так же чуть не ночь уже, Кусок ко мне влетает — Серый, я тебе на перерубы рельсы привез. А мне перерубы позарез нужны были, я и Куску об этом говорил, я дом тогда отстраивал, чтобы жить. Он мне и сказал, — я, Серый, тебе с железки рельсы привезу, вечные будут перерубы твои. — А как я их класть-то буду, голова, они же длинные? — ничего, мы их с тобой зубилом отрубим. И вот вбегает всклокоченный весь, — я тебе, — говорит, — рельсы привез, у моего дома лежат. Только сейчас меня ребята ждут, дай на бутылку. Дал я ему, как он велел, убежал он. Завтра привезешь? — спрашиваю вдогонку его. — Да, кричит от калитки уже, завтра, не бойсь. И в темноте скрылся, я еще послушал, как сапоги его по лужам чавкают, и спать пошел. Ждал его, ждал на следующий день, а он все не показывается, нет и нет, дня через два пошел к нему — а где, Коля, рельсы-то? Рельсы? Ну да, что на перерубы привез, не помнишь что ли, как ночью прибегал? — Рельсы... Да, наверное, их Перец спер.

ПЕРЕЦ бы шурином Куска моего, Вальки Курилки брат. Мы с Колюхой, Куском-то, идем от Гончара, он лесником тогда был, мы и ходили спрашивать про лес, чтоб он нам каких-нибудь деревьев дал, доски напилить на пол, идем, а навстречу нам Перец, а наискось так-то девчушка, не знаю чья, лет шести куда-то деловая шлепает. А Перец идет на нее, руки раскинул, будто поймать хочет, а она и не боится нисколько — не трожь, говорит, а потом со смехом — перец-мерец-колбаса, чего усы повесил — скороговорочкой прозвенела и дальше себе пошла. Перец с Нинкой Провкиной жил, у ней сыновья были, тоже покойники уже оба — Лешка Провкин, этот года на два меня моложе был, и Игорек Будулай, этот чуть постарше, они непохожие были, от разных отцов потому что. У Перца детей не было, а усы были длинные и вниз свисали, от этого он казался мне похожим на грустного большого сома. Мы в одной бригаде косили, сидим, обедаем на траве под березками, в посадке, у меня еще компот оставался, а он съел уже все и заскучал, — эй, Серега, покажи-ка что у тебя в кружке, чай или компот? — компот у меня, на посмотри, и кружку ему протягиваю. А он хлоп — и лягушку туда пустил. И захохотал, животом затряс — компот — хо-хо-хо, а в кружке — лягушка — хо-хо-хо. А мне обидно, и компот жалко из сухофруктов.

Я все на Перца надеялся, что он мне покажет, где Куска моего похоронили, они ведь его вдвоем с Валькой Серком отвозили, Кусок-то не здешний, Шиловский, это в тридцати километрах от нас, если по железке считать, — ты, — Кусок мне говорил, — как Шилово проедешь, потом Авдо-

тьинка, смотри — труба направо там кирпичная высокая, вон там матерен дом, я там родился. Надо было раньше мне спросить, куда они положили Куска моего, а как-то откладывал все, все дела какие-то неотложные. А тут сидим с Сашкой Хлестовым у него на лавке, а он мне — мол, смотри что делают-то, сказали, свет отключат, а не отключили, а Перец в проводку полез. Что, — спрашиваю, — сильно потрянуло? — Да, — говорит, — сильно, куда уж сильнее, убило насмерть, а ты не знал что ли?

А Валька Серок мне здорово в моей маяте с лесом помогал. Как лес-то свалили мы с лесником кулугурским, да стрелевали мы его с Арбузом, упокойным, у него уже тогда нутрь болел, он соду горстями ел, стрелевали на опушку, под Фроловым, далеко это, не ближний свет. У Арбуза трактор маленький был, а дальше возить надо было на большом, чтоб желательно сразу все пять кубов притащить. А осень, все пашут, трактор не найдешь, председатель говорит — после работы, Серега, а раньше и не подходи ни к кому, а то головы обоим отверчу, а ведь осень, после работы уж ночь близко, а фар нет опять же ни у кого, кто поедет по оврагам, никто не поедет, а лес там лежит и лежит на опушке, того и гляди либо фроловские либо протуглянские подцепят себе, вот, один только Валька — ничего, Серега, не переживай, поехали, бог даст, привезем мы тебе твой лес. И поехали мы с ним ночью, одна крошечная лампочка зеленая на щитке приборов светится. И привезли, да, а потом на радостях полночи бушевали. И вот рассказывал он мне тогда-то — ездил я на газончике, на 51-ом еще, стареньком, давно, молодой когда был, да и не здесь, послали зерно возить. А сам он, к слову сказать, красивый был из себя, хоть и постарел уже, как я его знал, а видать было — красивый был — смуглый, курчавый, цыганская кровь, — там девка одна, — продолжает, — полюбила меня сильно, как ни еду вечером, а она уж стоит, ждет, а мне какого же, — говорит, — скучно, погулял я с ней хорошо, девка жаркая была, и уехал, как возить закончили и уехал. А она потом нашла как-то меня, через контору что ли, и давай письма слать, мол, не могу без тебя и все такое, а я не отвечаю, надо больно, а потом пишет, почти год прошел, — рожать мне, Валя, скоро, совсем скоро уже, сказали, что сын будет, мне кажется, он будет такой же красивый, на тебя похож, приезжай, хоть на сына посмотри. А я и ответил — ну и носи, дура.

Валька Серок со своей Зойкой в Кусков дом потом перешел, как Колюня мой помер, ух и ядовитая же баба она, Зойка-то. Иду с Куском, а она нам наперерез — что, — орет, — доигрался дружок твой, и тебя тоже надо так же. Это она Лягушонка имела в виду, Зойка-то, Лягушонок к отчиму своему привязывался все, а потом вот как раз в ту ночь, схватил нож, и вообще убить хотел, а тот, Власкин его вроде звали, нож вырвал и самого его пырнул, в сердце попал. А потом, как был в одних трусах, при-

шел к участковому — Витя, — говорит, — убил я, сажай меня. Посадили, конечно же, восемь лет дали. А у Зойки кто-то до этого незадолго баллон газовый спер, а она на Куска подумала, на него чуть что всегда думали, потому что сидел он. Вот, какая история, злая Серку Зойка попала, дурная, а может ее жизнь такой сделала... Мы как-то с Сашкой Хлестовым сидим у нас, смотрим на овраг, Саня и спрашивает, а до того ко мне Илюха приезжал, мы тоже с ним на овраг смотрели, он тогда сказал еще — какая земля у вас мускулистая, и в книжечку что-то там свое записал, вот, сидим, и Саня меня и спрашивает — это кто к тебе приезжал-то? А я ему, — Илюха, друг. — А кто он такой-то, чего все записывает? — Да вроде писатель. А он, Саня-то, помолчал сочувственно, — вот что жизнь с людьми делает, — так и сказал... но это все так, к слову, а сейчас про Серка еще чуть — мне однажды уже говорили про него, что, мол, Серок повесился, а вскоре после того смотрю, а он навстречу на велосипеде едет. — Ха, Валька, сто лет будешь жить, — говорю, — а то мне наговорили на тебя, что повесился ты. — Да, повесишься тут, — только и сказал, и дальше поехал, на багажнике мешочек какой-то вез. А как мне второй раз рассказали, я уже и не верил — будет болтать-то, — говорю, — слышал уже, поновее чего придумайте. Нет, — говорят, — точно, опять чего-то там они сильно побрехали, кидалась она на него, кидалась, а он пошел на двор и удавился... Помню я этот двор-то хорошо, соломой гнилой пахнет, там у Кусковой тещи овцы жили, а мы с ним подпорки под крышу подставляли, чтоб овец не задавило, если вдруг ветер сильный поднимется.

ДОМ У МЕНЯ ПРОСЕЛ, не дом, придел рубленый, его нам Саня с Рыжим лет десять назад стяпали, а нет и пятнадцать, если бы они по уму делали, тогда не просел бы, конечно, а то поставили на пеньки, как и баню, и тоже — даже и не ошкурили их, все быстрей-быстрей, пеньки сгнили, дом просел. А я тут на днях глянул, день бы солнечный, хороший, без единого облачка в небе, вижу — между бревнами паля вылезла, а через щель солнышко к нам внутрь смотрит. И поехали мы с отцом на бывший колхозный двор, где у нас мастерские были, хранилища, ток. Там весной нынешний хозяин, дагестанец, одно хранилище на слом продал, а я с собачками заходил недавно, и в кучах кирпичей битых порылся да приглядел, что да на что может мне стодиться. Привезли мы с отцом плит бетонных, не то чтоб совсем тяжеленные они, но тяжелые, да, и начал я их под дом пихать. Поддомкратил, конечно, с одного бока, а надо бы и другой бок, одного домкрата мало, надо бы второй. Перекурить сел, приморился. Вот, — отцу говорю, — был у меня домкрат классный, двадцатитонный, он бы сейчас как раз мне пригодился, жалко его кто-то из Сашкиной бригады попятил, как старый придел ломали, так он тогда и

пропал. Он у меня за печкой стоял, а они налетели, бригада-то его, придел-то старый ломать, шум, гам, пыль, такая карусель была, я растерялся даже, а потом глядь за печку, а там фига, а не домкрат. Хороший, — говорю, домкрат был, телескопический, он ко мне как-то от Олега пришел, а он его на дороге нашел. А отец сидит, смотрит за овраг и говорит — от Бога пришло, к Богу ушло, и роптать нечего.

Да я, в общем, и не ропщу.

НОЧЬ ТИХАЯ ПРИШЛА, я за день наломался, поясница тревожная какая-то, но ничего еще, бывает и хуже, а сейчас еще ходить можно прямо. У нас здесь у всех поясницы-то, Саня Хлестов, когда прихватит его, на четвереньках от поясницы ползает, а меня отец на себе носит. Андрюха Сила говорит, — вы поднимать не умеете, надо присесть, а потом поднимать ровно, а вы спиной круглой тянете. Ну, я-то ладно, может и не умею, а уж Саня-то, уж какой леший здоровый, весу сто пятьдесят, что же, думаю, неужели и он не умеет? Да нет, жизнь уж такая, со спиной круглой такая жизнь. — Я, — рассказывал Саня, — когда женился, — а женился он рано, я подсчитал, да лет в восемнадцать что ли, — решил своим домом жить, присмотрел себе сруб, нужно мне было за него тысячу триста рублей отдать, а где взять, и пошел я со своим коньком огорода пахать, май как раз был, огорода всем надо. В день по тридцать огородов запахивал, какие по тридцать соток, какие и по сорок, к вечеру, смотрю, конек мой спотыкаться начал. Ладно, говорю, погоди чуть. А сам — хозяйка, давай-ка нам самогонки четверку, беру конька своего за морду и всю четверку в него и вливаю и попасть пускаю. — Это, чтоб, значит, закусил что ли? — спрашиваю. — Ага, вроде того, вот, а потом минут через десять, смотрю, у конька шерсть дыбом поднимается, глаз повеселел, и мы опять с ним, до самой ночи напахиваем...

И вот лег я на крыльцо на ступеньку, чтоб успокоился какой-нибудь там позвонок, и в небо гляжу. А в небе надо мной звезды. И долго я так лежал, что небо мне совсем не далеким показалось. Мы с Саней на этих вот звездах сошлись. Он говорит — не поверишь, Серега, пока не нагляжусь вдоволь, никак не усну. У меня лавка дубовая есть, широкая, ляжу на нее и смотрю, и не встану, пока досыта не нагляжусь. У него дом тоже последний, он за станцией живет, а за ним уже лес начинается, да самого Касимова идет, а потом и дальше. Я ему как-то даже сказал — мы с тобой, Саня, оба крайние, а он — да, — говорит, — у тебя тоже здесь хорошо, благодать. А кобыла у него тоже богатырская, под стать ему, он ее откуда-то из далека привез, нездешняя она, таких здесь и не сыщешь — спина как стол, а ноги — столбы, силой вся налита и красавица редкая — сама вся золотистая, а грива и хвост белые. У Сани к лошадям страсть,

как у меня к собачкам. — Мне, — говорит, — когда трудно, я всегда к лошадам иду, постою с ними, поговорю, мне и легче с ними становится.

А сыновей у него трое было — Мишка, Леха и Федюшка. Двое осталось — Мишка, старший, совсем рядом с его домом замерз. Пришел к себе домой подвыпивший, он уж женат был, Мишка-то, отдельно жил, подвыпивши пришел и с женой поругался, поругался и к отцу ушел. А отец ему — не годится так, — говорит, — сынок, если живешь, так живи, иди-ка лучше миришься. Мишка от отца вышел, а домой не пошел, — ну ее, зарылся в стожок рядом и заснул. А в домашнем был, в легком, а ноябрь, пороша. Утром кинулись его искать, а он вот тут, рядом совсем. А Саня вина в рот не брал, говорил, что никогда и не пробовал даже. Стоим мы как-то — я, отец мой и Саня, жарко было, хоть бы ветерок, а Саня из полуторалитровой бутылки пьет что-то. Напился, там еще половина оставалась, — допивайте, говорит, — это все ваше. А мы с батей обрадовались — думали — хорошо как сейчас пива попить, а это у него «буратино» было...

Первую свою смерть он одной рукой пересилил. Около крыльца это случилось, рядом с лавкой его дубовой, шел он от лошадей и вдруг почувствовал, будто кто как кувалдой по голове ударил, да так, что кости внутрь проваливаются, и тут же вся левая сторона как не своя стала, и скулу налево воротит. Схватил ее тут Саня оставшейся живой рукой, и не пускает. Хорошо тогда Федька дома был, запряг быстро и отца в больницу отвез, туда же, где наш Гуга когда-то лежал. Ему, Сане-то, как он отошел, врач говорит — это редкость, что после такого удара отходят. А Саня наш совсем отошел, даже незаметно было, только погрустнел после этого, и силы, видно по нему, поубавилось.

А вторая смерть все-таки его опередила, пересилила, года через два. Подошли, а он не дышит, только взгляд застыл удивленный. А кобылу его жена тут же в психбольницу сдала, в ней веса много было. И жеребенка тоже сдала, хоть и маленький был.

И вот лежал я на ступеньке долго, и небо мне совсем не далеким показалось, их дома, что через овраг, и те дальше, и не воздухом каким-то пустым, или каким-то там безвоздушным пространством, а самой что ни на есть твердью. Надежней и тверже земли. И долго я на него смотрел. И звезды срывались и падали — это, я думал, Саня сейчас там на кобыле своей куда-то поехал, вот они и срываются от их поступи. И когда они стряхивали сюда какую-нибудь слабую звезду, я спешил загадать. По дочке соскучился сильно.

У НАС ВСЕ ЖИВЕТ ВЕЧНО. Это еще дед, литовец, говорил мне — Сережа, ты здесь ничего не выбрасывай, все своего времени дождетя. А тут Кирьян бетон заливает себе под порог, заарматурить бы, — гово-

рит, — надо бы прутьев железных где поискать, вот как у тебя дуги на парнике. Принес я ему три прута длинных, — а если не хватит, еще принесу, а знаешь, — говорю ему, — откуда они у меня? — С кладбища они. Ты думаешь их откуда мне дед принес? С кладбища и принес. Видел там в куче венки валяются? Вот их ободрать и прутья тебе. Я как раз мимо на ручей хожу, видел, там их много. А один большой такой — любимой маме от сына Алексея. У нас кладбище-то рядом, все к нам потихоньку собираются. Я туда часто поздороваться захожу, а они смотрят сюда с фотографий — кто строго на жизнь смотрит, кто улыбается. Баранов дядя Саня строго глядит, как-то по осени свет вдруг пропал, он и пошел посмотреть, а это Муравьи провода срезали, он подошел к ним с упреком, а Петька Муравей на него с кулаками кинулся, губу разбил. А под конец дядя Саня из дома ушел, в бане жил. Жена моя как-то приехала, а он подходит к ней и говорит — ты нашего Серегу не обижай, он труженик великий. Это он про меня-то. Какой уж я великий, это вы все великие, а я и камня-то приличного не подниму, во мне, как бабка говорит, всего-то фунт вони. А Бубунек, Володька Кузьмин, тот смотрит весело — у него сынок маленький, Сашка, Бубунек в его шапке детской ходил, а сам высокий, метра под два и песни под нос бубнил все, Бубунек. А справа от Бубунька Курилка, тетя Валя, Куска моего жена, я, когда захожу, курить ей оставлю, и Куску привет передам, а слева Кудины, это прозвище их было, Киселевы они, мы у них молоко брали, как-то иду мимо, а она Марту на веревке ведет, корову-то, вернее бежит она за коровой своей бегом, а та за теленком своим идет, матери ведь всегда за детьми тянутся, а теленок играет. А еще было — идет она, помню, тетя Таня-то, мешок несет на спине, — за хлебом что ли, — спрашиваю, — ходила, а она мне — да печку в бане дед перекладывает, а я за камнями по полям ходила, вот мешок набрала. А от Кудинов слева Чапай дядя Леша, наискосок от меня его дом был. — Мишань, — у Мишани я спрашиваю, а с чего он Чапай-то? А они свои какие-то дальние, Корнеевы, Мишаня отвечает — а он плывет как-то по водокачке, Чапай-то, и — врешь, — кричит, — не возьмешь, — кричит — вот и прозвали его Чапаем. Он в войну пулеметчиком был, это мне Наташка рассказывала, не та, что картавила из Кистенева, а дочка его, дяди Лешина. У него три дочери было — две в Москву уехали, а одна на Украину, бабка Мишанина как-то рассказывала о них, мы с Мишаней на сундуке завтракали — эти две девки хорошие, а это, посмотрела она вдруг на узелок у печки, это я поросенку сварю — мы с Мишаней чуть с сундука от смеха не попадали. А за Наташкой Чапаевой я, как здесь говорят, гнался — и здесь, когда приезжала, и в Москве. Она там на ткацкой фабрике работала, валяльщицей какой-то, а я учился и к ней в общежитие заходил. А один раз пришел, а она со-

бирается куда-то расфуфыренная — ты куда, мол? — спрашиваю, а она — на свидание иду. А как мы вышли вместе, она говорит мне — только ты за мной не ходи, не подглядывай, иди вперед и не оглядывайся. Я и ушел, не оглядываясь. А тут как-то братишка ко мне приехал, Сашка-то, пойдём, — говорит, — на кладбище сходим. — Отчего же, — говорю, — не сходить, пойдём, там знакомых много. День тогда был пасмурный, тихий был день, с туманом и грустью, Сашка такие дни любит. Ходим, смотрим, вдруг вижу женщина какая-то с Чапая траву рвет, и девочка рядом лет восьми, и мужик в возрасте в стороне нагнулся. Я подошел, а это Наташка была, увидела меня, подскочила, прижалась, и долго мы, обнявшись, так простояли, все говорили, говорили — а помнишь, а помнишь... Мужик тот на меня зыркал, а девочка разглядывала, а Наташка плакала отчего-то... — Малыш, Малыш — кобелька она своего так звала, когда мы гуляли, кобелек у них был черненький, она его потом, как отец ее помер, к бабке Мишаниной отвела, он у нее пожил еще сколько-то.

В ПОДПОЛЕ ЛЕЖАЛ УБИТЫЙ ТАТАРИН. Это в том доме, куда мы въехали. Я-то его не видел, конечно, это задолго до нас было, но говорят. Стюра, как узнала, что мы в тот дом въезжаем — и не войду, говорит, в твой дом тот, там надо молебны читать и все равно не войду. Здесь раньше Безгубка жила и сын ее Женька. Он не то, чтоб бандит какой был, он просто так убивал. И ничего ему не бывало, когда свиней продаст, откупится, когда теленка. А Буруниха, теща его, у колодца тоже жила, она самогон гнала, и подмешивала туда что-то сильное, а Женька тогда прапорщиком в части работал. И привез он как-то двух солдатиков огород ей копать, она налила им, и они умерли. Женька тогда откупился, а Буруниху посадили на три года. Она как вышла, опять гнала, когда ее дом горел, мужики много ее повытащили, самогонки-то, там же на пригорке и пили, пожар, Буруниха голосит, а они сидят, пьют. А Локтионова он убил — цвет перепутал. Локтионов-то напротив жил, где малинник сейчас, и показалось Женьке, что во дворе у Локтионова его, Женькин, гусь ходит. Вошел к нему и убил. Локтионов на диване лежал, читал, он книжки любил читать, он и не пикнул даже. А это гуси у него такого же цвета были, Женька потом пересчитал своих — все его на месте оказались. А татарина — это он думал деньги у него большие были. Тот на заработках здесь был и домой уж собрался уезжать. Женька его к себе зазвал и убил, и в подпол бросил. А денег у татарина почти не было, одни игрушки да сандалики детские. Женька тогда корову что ли продал. Сейчас он живет с женой, дочкой, внуки уже у него, хозяйство крепкое. Он как-то заходил к нам, на правах бывшего хозяина, и долго говорил про святые книги и что хочет завести пчел, — дело, — говорит, — прибыльное.

ЗАЧЕМ-ТО Я ПОЛЕЗ НА ЧЕРДАК и вдруг коньки увидел старинные. Двадцать лет не видел, а тут увидел. Они были аккуратно кем-то под стропило засунуты, между стропилом и обрешетьем. И веревочкой перевязаны. Вот я обрадовался как, — думаю, — сынок придет, я ему эти коньки и отдам. И ключ гаечный тоже, сегодня нашел под половицами, отдам, пусть играет. А что еще на чердаке нашем? Много еще чепухи всякой на чердаке нашем, о которой и говорить не стоит — ходики смятые, роевня, сапоги дырявые, лыжи непарные, веники давнишние березовые, утюги чугунные, два утюга, бабки Мишаниной какое-то добро на сохранении вечном лежит, она как уезжала отсюда, принесла, и колесо ветровое сломанное. Я им ветер пытался поймать. Ехал я как-то под Фролово посмотреть, не попятит ли фроловские лес мой, взял у деда велик и поехал, километров в десяти лес мой на опушке лежал. И собачка со мной бежала неизвестная. Не знаю чья, а только выхожу раз утром на крыльцо, а тут собачка, здоровый такой легавый кобель, белый, ухо черное, как прыгнет мне на грудь, до лица достал носом, и давай лизаться. Не знаю откуда и пришел, нет здесь вроде таких. У нас все собачки маленькие, а лапки короткие, так, наверное, против ветра им жить легче. Дорога полевая, ветру открытая, а до лесу еще порядочно, ехал я, ехал, а и ветер налетел на меня и сшиб в пыль. Видишь, — говорю я собачке своей неизвестной, — ветер какой злой нам навстречу попался. Встал я, сор приставший стряхнул, кобелек мой ногу задрал на место падения моего, и дальше мы двинулись. И засела у меня тогда в голове мысль, чтоб ветер поймать, чтоб он мне какое-нибудь колесо для чего-нибудь крутил.

А в лес я приехал уже под вечер, тихо в лесу, на опушке сосны мои лежат, судьбы дожидаются, осень уже была, последние цветы доцветали, и пахло грустью прелой и хвойной. В сентябре день к зиме бегом бежит, не заметишь, а уже сумерки. Поехали назад. Километра три всего отмахали, Фролово только завиднелось, и вдруг — хрусть — а у велика что-то в задней каретке нарушилось, педали крутишь, а без толку. Вот, думаю, связался я с этим чертовым великом на ночь глядя, и инструментов с собой нет, без него был бы, напрямки по полям через овраги маханул бы, к утру бы пришел, а с великом-то куда, и не кинешь. Сел я на дорогу думать. Смерклось. Заморосил дождь. Что ж, брат, — собачке той говорю, — ночевать нам тут, видно, с тобой. — Как знаешь, можно и заночевать, — будто она отвечает, привалилась спиной ко мне, чтоб теплее нам было, свернулась в кружок и спать приготовилась. А холодно, дождь сеет, я замерзать стал, — нет, — говорю, пойдём, сейчас до Фролова дойдём, там я инструменты найду, а почиюсь, мы до дома доедем, а то голодно нам с тобой совсем будет, а то еще курево кончится.

Так и получилось тогда, у первой же избы самосвал стоял, дали мне ключей гаечных, я ими колесо наладил, и доехали мы с собачкой домой потихоньку, а хорошо. Я тогда совсем один остался, а кобелек тот от меня не отходил ни на шаг, вот и веселее мне, вот и не один.

А потом мне уезжать надо далеко было, надолго, я к мужикам в мастерские пришел, говорю им, — подержите у себя кобелька пять минут, а то он за мной всюду ходит, а мне ехать надо. — Ладно, — говорят, а он чей? — не знаю, вот ходит за мной. — Ладно, — говорят, — только ты быстро убегай, а то мы не удержим. Заняли они его чем-то, а я грузовик тормознул, запрыгнул в кабину и поехал, а в окошко смотрю, вижу — бегаёт собачка та, меня всюду ищет. Белая вся, одно только ушко черное. Сейчас я думаю, это ко мне приходил Бог, или кто-нибудь из Силы и Славы его.

ВОТ И ОСЕНЬ, вот и дожди зарядили, и в доме сыро стало, не ласково. Сунулся я в сарай, чтоб печки топить, сарай у меня к дому так вот пристроен, с Куском лепили из обрезков, у меня там дрова, а собачки любят, когда в доме тепло им. Это мы с Куском, царствие ему небесное, бедному, из говна разного сарай-то сделали, а вот уж стоит сколько, и дрова, в основном, сухие. Пошел я за дровами, а глядь, а стена-то у меня чуть не рушится. Это у бабки Мишаниной старики на яйцах на века строили, а у меня что-то не так, по бокам еще кирпичи, да и то на известке саможгонной лежат, а в середине мусор всякий, труха, наверное, потому что голый у нас конец. И перекладывал я стенку день целый, а к вечеру говорю своим — как дом рухнет здесь, стена-то, пойдем все в бабкин дом жить, у него стены крепкие, а все остальное пристроить несложно. А ночью перетопил я видно, по теплу соскучился, да угару схватил, и приснился мне под утро сон — идем мы с бабкой-то Мишаниной к ней домой. А я не говорил ей, что дом у нее сгорел, а идем. И вот подходим, а дом ее целый стоит, как помню, а только живут в нем будто люди чужие новые. Заходит она, в сон я смотрю, по-хозяйски так заходит, и оглядывается. А там, в доме-то, почти как в жизни было, но в малости не то что-то, а от малости этой, и все вокруг как-то меняется, и забор появился вокруг новый, высокий. И говорит мне она — пойдем, Сережа, эти не разрешат тебе жить, у них апостолы стоят не по-нашему. А мне жалко уходить-то, думаю — куда ж деться теперь.

ПАКЛЯ у меня хорошая была, да кончилась, я только одну стенку проконопатил, а другую еще надо было, я к Кирияну — нет ли, мол, пакли у тебя? Он вытащил мне мешочек с потолка, — спасибо, говорю, спасибо, теперь хватить должно бы. И начал пробивать. А пакля у Кирияна дрянь оказалась, какая-то труха одна. Это еще Капрал Колька говорил

— дрянь у него пакля. Он Кирьяну-то навязывался — я тебе хорошо пробую, а как пробил, проконопатил значит, Кирьян стал проверять ножничком — плохо, говорит, плохо. Вот Капрал тут и взвился — ты сначала паклю хорошую дай, а потом ножничком тыкай, это у тебя не пакля, труха, пыль. Колька Капрал это тоже сосед наш. Он сначала через дом слева жил, а потом справа, как слева сгорел. А случилось это вот так. Мы с Мишаней тогда вместе работали, мы с ним всегда неразлучные были, крутить там чего, или молотками стучать — все вместе, а если трудно нам совсем становилось, тогда мы песнями дышать начинали, и все сразу на удивление становилось легко. Мишаня мой здорово пел, и на гитаре тоже, все девки вокруг — Мишенька-Мишенька. Пришли мы раз с ним с работы и песни пошли на костер петь. А кто там был? Мы, значит, с Мишаней, братишка мой Сашка, Кольки Капрала ребята — Леха и Лорена, Андрюха Сила с сестрой... Сидим, песни поем, костер жжем, а ночь уже, или, скорее, еще вечер поздний. А что-то я слышу — потрескивает что-то сзади, будто постреливает, да сильнее все, да сильнее. Оглянулся, а зарево над Капраловых домом яркое. Лорена кричит — это Кирьян горит, а кто-то из нас — да это вы горите-то. Лорена завывала, а мы побежали. Пока добежали, уже и под крышей полыхает, и ветер поднялся, огонь на другие дома летит, шифер стреляет, это он стрелял, когда я услышал. А вода у нас далеко, сейчас на родник ходим, в овраг, а тогда еще колодец был живой, в него потом кто-то кошку бросил, и вода вонять стала, а тогда живой был еще, но он тоже далеко был. Вот мы на колодец-то за водой и носились, начали другие дома поливать, чтоб хоть их отстоять. Сашка мой, братишка, стрелой туда-сюда летал, все потом удивлялись — в жизни он тогда не очень-то поворотлив был. А потом мужики с поселка набежали, кто забор ломал спяну, кто в сарай лез, козы в сарае были, забились, боятся, жмутся друг к дружке и не выходят. А Витька Батов, тот воевал ведь, отчаянный, он на крышу зачем-то полез, а бабка их, баба Шура, в окне застряла, матрац схватила и в окошко с ним полезла, матрац застрял, а она не отпускает, так и висит в окошке. А когда мы прибежали-то, первую, кого я увидел у их дома — Буруниху увидел, она у калитки стояла и смотрела, мне показалось даже, злорадно смотрела — хорошо ли здесь все занялось. А занялось хорошо. Витька недолго на крыше был, у них весь потолок и сушила сеном забиты были, только-только они его привезли, радовались — быстро с сеном управились, и дождик не помешал. Сено это вспыхнуло как-то сразу, взметнулся столб до неба с искрами, Витька скатился, опаленный, мы его самого водой отливали. А бабку Леха вытаскил, ему тогда лет тринадцать что ли было. А потом и пожарные приехали. Шланги размотали и начали огонь заливать, да быстро вода у них

кончилась, — где у вас тут вода? — В овраге, там болотце, сбоку вроде подступиться можно. Поехали они в овраг и застряли. А когда огонь сильный, и ветер как ураган. Повернул ветер на наши дома, вот-вот и они займутся. А что, Капрал говорил у них так деревня его вся выгорала — тут горит, а огонь ветром через дом перепрыгивает, и тот уже загорается. У Капрала дед пчел держал, когда дом горел его, дважды дотла он горел, он их в первую очередь спасал — пчел, — кричит, пчел уносите. Вот и здесь так же, ветер, искры. Боялись. Бабки яйцо пасхальное принесли, чтоб им ветер отвлечь — бросили яйцо это в овраг и молитву от огня сказали, ветер как замороженный за яйцом в овраг повернул и огонь с ним, бабки, наверное, это яйцо на такой случай специально хранили. Но огонь только что отвернул, а плясать-то здесь остался, все боялись, что баллоны газовые рваться начнут. А потом и пожарные из оврага приехали, только тогда уж и дом весь сгорел, и сарай, и козы. Баня только одна осталась, она отдельно у них была. Там щенки жили.

А потом они все в другой дом перешли, он брошенный был, хоть и ничего еще. Он потом тоже сгорел, они, правда, тогда уж не жили — стенки сейчас одни кирпичные стоят, и терка одиноко на стенке висит. Мы с Капралом дружно жили, хорошо. Он, Капрал-то, бывает зажжет у себя в приделе свет, чтобы ночью видно было идти, а сам уйдет на поселок, возьмет там бутылочку, и ко мне приходит. Сядем с ним на терраске, в окошко смотрим, в ночь, в темноту, балагурим. Душистый табак ночью пахнет особенно сладко, а воздух прохладен, свеж, и так не хочется уходить из прошедшего дня прочь. Но вот и время подходит, вторые петуки уже на поселке кричат, пора уходить. У него в доме потолка в приделе не было, и свет, что он, уходя, оставил, через окошечко в крыше пробивался, я и сам нет-нет, да им обманусь, а Капрал-то выпил уже прилично и смотрит мечтательно на этот свет и говорит — о, месяц восходит... И петь начинает — кра-а-асилси м-е-есиц багря-а-а-нцем. Подпевай, Сереня, люблю, — говорит, — эту песню. А я ему говорю — ты, Коль, не пей столько-то, помрешь ведь. — Я? — удивлялся, — да никогда! — Так ты что ж, так уж и никогда, ты что — бог что ли? — Да, — говорит, — я бог. И падал с крыльца ничком в ноготки и душистый табак.

ДОРОГИЕ МОИ ДОРОГИЕ МОИ нас было мало нас было всего ничего — Илюха и Лизка Саня и Таня Иван да Иван — как много вас было дорогие мои... были ли в его жизни другие? — да, да, он думал и о них, он сидел в бане он сидел в бане на полке согнувшись в три погибели и превозмогал пар он думал он обращался мысленно — где вы где вы по каким оврагам боровским-костромским-балаклавским ходите дорогие мои дорогие мои... мы жили мы складно пели а жили нескладно и говорила на-

стоятельница наша Ольга — это не он назвал ее настоятельницей, это Игорь назвал ее настоятельницей — они стояли в церкви все вместе солнечным февральским утром они отпевали ее и Игорь сказал — сейчас она похожа на настоятельницу какого-нибудь монастыря — петь надо — и говорила она — жить надо во славу лишь Божию... так она говорила... он думал об этом сидел и думал плескал на камни кипятком чтобы от жара стало трудно дышать и чтобы перестать тогда думать... и думал — камни живут во славу и кипятком и березовый веник и деревья-трава и всякий зверь тайный в оврагах и все — все что здесь своей жизнью Божией живет — на тверди мерцает... он не чувствовал жары как не чувствовал холода тем далеким февральским утром и оглянулся он на прошлое припоминая всех с кем проходил по здешним дорогам с кем сидел и смотрел на овраг на закат в темноту и стало ему горестно от бедности овражных их душ и долго-долго никому ничего не рассказывал даже собачкам своим...

А потом ощелевывали они с отцом дом-то по новой, да что-то с четвертями не заладилось, раза по два все отрывали, все выходило, что одна доска шире, чем нужно оказывалась. А были все эти доски хорошо раньше прилажены, да им оторвать их пришлось, чтоб стену проконопатить, и вот они обратно их прибывали. И вот сидели они и смотрели на доски, и он сказал ему — батя, они же от времени ссохлись, каждая на чуть усохнет, а если их много в ряд, то погрешность в километр наберется. — Так у нас же, — отец ему отвечал, — как раз наоборот получается, если б усохли, мы бы эту доску не глядя приладили, а у нас не лезет, распухли они все что ли. — Да, — сказал он — у нас и дожди редко, вот смотришь, бывает — туча идет хорошая, дождевая, думаешь — ввалит сейчас, а потом — раз-раз — разорвется она надвое, одна часть по одному оврагу стороной, другая — по другому оврагу стороной, а мы сухонькие сидим, Кирьян говорит — это потому что у нас здесь Окско-цинская гряда. А отец смотрел пристально на доску, что не ладится и сказал — в жизни все происходит вопреки теории вероятности, цепь случайных мелочей, которые и не могут по логике быть... А он ответил — да-да. Здесь ведь все складывается нелепо.

А ЛАТОЧКИ-ТО Я И НЕ ЗАМЕТИЛ, маленькая, с пятачок всего лишь. — А штаны-то возьмешь? — спросил я у Моряка. — Нет, — говорит, — не возьму, у них латочка на заднице. А я и не заметил латочки-то. А оборванный весь пришел, а одна штанина совсем располосована, голая нога глядит, пришел — купи, — говорит, — Серега, грибы, а то совсем денег нет.

Николаев был космонавт, в Чебоксарах даже его улица есть — Николаев ураме, улица то есть, а у нас улицы какие? — Полевая, — Кусок там живет, Центральная — это где Гончар, Перец, Заовражная — это наша,

за оврагом она потому что, это они говорят, что мы за оврагам — а по-нашему — за оврагом-то они. А Николаев Вовка — вот он и есть этот самый Моряк, и брат еще его Толян — Лягушонок который был. Кирьян говорит, их родители из Москвы вроде приехали, давно, да так и остались здесь. — Вовка, — говорю я ему, — за грибами я и сам схожу, вон их сколько в посадках выскочило, я тебе лучше одежды дам, а то ты что-то оборвался. Набрал ему разной, он копался-копался, а только куртку кожаную и взял, две куртки, почти новые, их мне Илюха привез, и тельняшку взял, обрадовался ей — я же, — говорит, — Моряк. Это он когда-то по какой-то речке где-то поплавал, а и прозвали его Моряком. — А нога-то твоя как? — спрашиваю, не охромел? А почему спросил — а я ему палец на ноге отрезал, вот и спросил. Не напрямую, конечно отрезал, а косвенно. Это когда от нас Мишаня уехал, мне Морозов в помощники Моряка и определил, а там у меня на элеваторе колосовом, на приводе, кожушок защитный отгнил, он цепь прикрывал, а я приделывать не стал, заленился, а ходил мимо с осторожностью. Вот, а приехали мы на поле, я сцепление главное включил, все завертелось бешено, мы в ячменя въехали, и молотить начали. Я рулю, а Моряк на мостике стоит, у этого элеватора долбанного беззащитного. Стоит Моряк и вдаль глядит, а потом ногу и сунул в цепь нечаянно. Был бы кожушок, нога цела была бы, конечно, а он сперва сгнил, а потом и вообще потерялся на дорогах, кожушок-то. Заходит Моряк в кабину и на пол садится бледный. Ты чего, — спрашиваю у него, — бледный? — Да, — говорит, — нога немного в цепь попала, поехали, — говорит, — дальше, я ничего. Я сапог-то с него стянул, носок шерстяной белый, мокрый и в крови, а пальца уж и нет у него, кость только торчит. Кирьян потом говорил — палец это пустяки, это еще ничего, а то одному вообще ноги косилкой отрезало, мы бегали на эти ноги в ботинках смотреть, как они отдельно лежат... А как-то зимой, не было меня долго, а Моряк в дом ко мне залез и жил, окна одеялами завесил, чтоб свет с улицы не видать было, и жил, и мед ел, я мед-то на весну пчелам про запас оставил, а он заляпал все медом, и по деревне ходил, соты продавал, а потом исчез куда-то. Я у Сани Хлестова спрашиваю — а чего он у меня жил, Моряк-то, прятался что ли от кого? — Его, — Саня говорит, — били, а потом еще бить искали, он холодильник украл. — Вы бы, — говорю, — простили его что ли, зимой можно и без холодильника, а он уж пусть живет и не боится. — Нет уж, — Саня говорит, — пусть живет и боится, живет и боится...

Больше я Моряка не видел, кто-то говорит — к сестре уехал, кто-то — совсем пропал, с концами. У Моряка и руки и грудь — все было в татуировках, это он в тюрьме сам себя разрисовал так — факел какой-то, якорь, женщина с длинными волосами, церковь с тремя куполами. Он,

Вовка-то Николаев, Кирьян говорит — когда маленький был, рисовать очень любил. Ему все говорили — у тебя, Вова, способности, художником станешь, жизнь перед тобой откроется.

НА ПОЖАРИЩЕ ДАВНИШНЕМ Я МАЛИНУ СОБИРАЛ. А напротив, у забора моего, Кирьян с Капралом сидели, разговаривали. А я и не знаю о чем, я напротив был, в малиннике, где Лактионовых дом был. И вдруг вижу — Кирьян вскакивает с бревнышек и прочь бежит, к своему дому бежит прочь от Капрала. Подхожу — что да что, мол, что он так подхватился-то, сгорело у него там что ли? Да знаешь, — Капрал мне говорит, — я вот и не думал, что он так обидится. — Да говори что. — Да он мне все бог, бог, а я завелся и говорю ему, — знаешь, Кирьян, пошел он твой бог на... подальше куда, что он, помог нам бог-то его? Лешка из армии вернулся, первым делом пошел свечку поставил, а потом сам знаешь что было (знаю, «камазом» его кто-то нарочно раздавил, не узнать было, и концов не найдешь), и Юлька моя еще пожить могла бы (это жена его, Юлюня преподобная — как бабки за глаза звали, работала она много, курила много, пила много, сапожником была настоящим — я, говорила, внучек научу — работать и матом ругаться, — матом-то зачем тебе? — чтоб жизни не поддавались. Умирала она от рака неслибаемо — все, — говорит, — конец).

Мы сидели. Курили. И я не нашелся, что Капралу ответить. А потом — знаешь, — говорю ему, — мы с тобой люди темные, только я думаю, Бог он другими путями ходит, откуда нам что понимать, Бог-то простит, он, наверное, уже всех нас простил, а Кирьян обиделся, это нехорошо, это плохо, пойду помирю вас, попробую.

Капрал умер от разрыва сердца. Смотрел телевизор и просто перестал дышать. Лорена, дочка его, с двумя детьми тогда уже была, сначала работала еще, а потом совсем спилась, материнства лишили, а девчонок в детский дом забрали. С год назад звонила нам из Рязани, из больницы, туберкулез у нее открылся. — Где, мол, детки-то? — спрашиваю. — Не знаю, — говорит, — не говорят где, только сказали, что младшенькая умерла.

СТРАННИКА ВИДЕЛ. Была весна. Трактора шли по полю уступом, посверкивая на солнце лемехами, и вспаханная земля улыбалась в небо, как женщина, дождавшаяся любви. Странник стоял на обочине, с котомкой, он был совсем древний, заросший бородой. Он стоял на обочине и, повернувшись на поле, широко крестился и кланялся в пояс...

— А Игорь в Бога верит — говорит мне Варвара, — он как к Оленьке на могилку ездит, всегда в церковь идет и там со святыми общается. Варвара давно уже старая, ей сто лет и она глухая. — Ты в Бога не веришь, —

говорит мне она, — а Игорь верит, он когда в церковь зайдет, со всеми святыми общается. — Верю! — кричу, — Верю! — кричу я в глухое ухо.

А ДЕНЬ И ПРАВДА БЫЛ ЧУДНЫЙ. Жаркий, а ветерок прохладный, будто нездешний. И мы сидели с отцом на лавке и смотрели. А до этого отец лавку эту скоблил, чтоб стала почище, и ногу себе рассадил. А я из сарая мусор в яму возил. А потом мы сели на перекур, на лавку ту, и стали смотреть. Я курил, а отец нет, он сидел так себе. И мы сидели с ним и смотрели на лавке. Небо было безоблачным, чистым, и мы смотрели, как там из ничего появилось вдруг облачко, крохотное, паутинка, оно росло, и стало хорошо уже видным, а потом вновь в ничего рассеялось, и была вверху одна просторная безлюдная синева. Даже птиц не было. Жарко. Но хорошо ветерок. А я спрашивал у отца — отчего это из ничего появляется облачко, да почему рассеивается в ничего вновь. И отец отвечал. А потом я сказал матери своей, чтобы она йодом все-таки залила колено отцу моему, которое он рассадил, и она пошла охать, и йод на колено его лить, и пластырь искать. А я покатил тачку с мусором в яму. Земля лежала горячая, но бежал ветерок хорошо.

СИДИМ И СМОТРИМ в огонь, в печку — дед-литовец, бабка его — баба Нюра, Куска я привел, мы с отцом, а бабка щепок ножом нащепила, они ярко разгораются, а как совсем хорошо разгорятся, дрова на них, дрова. А за окном темнота и снег сильный, дед тропинку вешками утыкал — прутиками, чтобы не сбиться, а ступишь чуть в сторону, провалишься по колено или глубже. Сильно метет. Но это мы после пойдём, будем оступаться, даже и падать, и в снегу неловко барахтаться, и будет крутить нас метель, а сейчас огонь в печке гудит, ужин греется, и бабка Куску рассказывает, как она за рыбой ходила — масла взяла с полкило, побольше полкила, и рыбу — вот такую вот, мой у меня рыбуто любит, и хлеба рюкзак, поле прошла и в посадку, а в той посадке была сильная радиация, и меня закрутило-закрутило-закрутило, что ж это со мной, думаю, Господи? А это там радиация сильная была... — Серай, — Кусок у меня спрашивает, — а ты чернобыльские-то получаешь что ли? — нет, — говорю, — не получаю, мне не положено, у меня прописки нет. — А много дают-то? — да рублей, — отвечает Кусок, — двадцать шесть. А отец с дедом новости черно-белые смотрели по ящику. И отец мне сказал погодя, после, потом, что у нашего Заовражья только прошлое и есть, а впереди одна безнадежная тьма.

ПРО СОБАЧИЙ РАЙ вот еще хотел рассказать и стал вспоминать собачек всех видимых-невидимых вокруг и начал вдруг про Жульку го-

ворить. Это у Мишаниной бабки собачка была, она ее привяжет к крыльцу, а под крыльцом лаз, Жулька туда спрячется и лает из-под низа. Мы как-то с Гансом идем к бабке, дров ей что ли очередных привезли, кто уж скажет теперь, а она как начала на нас тявкать, залезла под крыльцо и оттуда, Жулька-то. А Ганс — ну погоди, гадина, — взял палку длинную, березовую и давай под крыльцо тыкать с силой. Его, правда, не Гансом звали, а Валеркой, а так прозвали из-за фамилии, она у него нездешняя была — Гринберг. Немец, наверное, хотя откуда бы здесь немцам быть не скажу, не знаю. Он был ничего мужик, веселый, только утомительный немного — ехал раз мимо на своем тракторе, увидел у меня колесо от мотоцикла новое, и так заболтал, будто оно ему нужно, а мне совсем нет, что я это колесо ему сам в кабину снес, лишь бы он уехал поскорей. А колесо то мне и самому было бы неплохо, когда с Мишаней едем, задок вихляет. Курчавый он был, Валерка-то, все улыбается фиксой золотой, все ему нипочем. А потом он пропал. Позвал будто его кто-то, Ганс, как был в трениках, так и вышел из дому. И не пришел. Искали-искали и не нашли. Жена его к колдунье какой-то ходила, а та ей говорит — ты, девка, по нему ходишь.

А Жульку я иногда тайком с цепи отпускал, проволоку размотаю, что вместо ошейника накручена и отпускаю, проволокой-то шея до кожи протерлась, бабка недовольна была, если заметит, а Жулька без цепи сначала радовалась бегать, а потом быстро возвращалась, страшно ей без цепи было жить. А Бима своего я не привязывал, он у меня вольный был, пожил он у нас хорошо, долго, Юлька, Кольки Капрала жена, говорила еще — хотела бы я у Серени собакой пожить. Хорошо пожил, дай Бог каждому, а когда совсем состарел, ноги отказывать уже стали, мы его тихо убили, маленький укольчик и все, Ольга наша Ивановна о таком мечтала — Илюша, укольчик — Илюхе говорила... Сашка мой ехал из Вологды, братишка мой, завернул в Николо-Уг্রেжский и Биму свечку поставил, Кирьян, как узнал, чуть не позеленел даже — не положено, говорит псам, у них, — говорит, — души нет, — они, — говорит, — не возносятся. Я у Кирьяна про рай как-то спросил, что, мол, там есть-то, чего да чего там поделывают, в раю-то — а там, — отвечает он благо-стно, — там все друг к другу в гости ходят и разговаривают, а больше ничего и не делают. А чтобы им, — думаю, там какую-нибудь конурку сбоку и собачкам не поставить, мы бы друг к другу и ходили, разговаривали, или бы сидели и на закат смотрели, как здесь. А потом — нет, — умаю, — фиг нам, а не рай, если уж собачкам не положено, так нам и подавно не за что. Может быть, может быть даже мы здесь вот в раю уже и живем, в их, собачьем раю и живем. И иногда здесь даже и хорошо, иногда даже и сахаром кормят.

СОПЕЛКИ МОИ ГОРЕЛКИ МОИ шли вы шли ко мне с мамкой чудотворной вашей да пристали да уснули за высокой травой а я целый день ходил носил вас в сердце своем то на землю посмотрю то на небо шатался я туда сюда в радости ветерка тихого да упарился вдруг жарко то сел под деревом и задумался задумался о земле о небе о синем радости духа и сидел бы себе думая да мураши стали сильно по спине ползать там по дереву тропинка была в их царстве а тут еще дымом потянуло надо идти дым выглядывать где и встал и отряхивался чтобы никого из муравьишков из царства не унести далеко прочь а потом к дому пришел к отцу своему пришел к деду вашему пришел а это он баню затопил и на ступеньках сидел а тут и собачки языки вывалили ха дышат ха бежат ха жарко им эгей собаки закричал им отец жарко вам что ли фьюить засвистел им фьюить собаки оболтусы вы засвистел и зуб себе ценный высвистнул сначала испугался говорит я зуб проглотил а потом мы подумали с ним о направлении свиста того нет решили он должно быть здесь где-то лежать должен едва ли далеко улетел ищите собачки да они не ищут не поймут чешутся и хвостами вертят стали сами искать ползал я в траву вглядывался думал ты батя здесь сидел а собачки оттуда бежали значит ты вон туда им свистел значит сюда полетел вот тут значит искать надо ползал я ползал и нашел к радости дед ваш отец мой обрадовался очень пыль сдунул и в рот себе вставил на прежнее и мы пошли с ним каждый по себе радуясь радуйтесь детки мои жизни земле воздуху небу собачкам и муравьям и всем чудесам вокруг и думайте о направлении вашего свиста правильно и помогайте всем и любите все это окрестное достояние бережно и шел я и собачки за мной бежали и я на всю округу лу-кричал-чики клю-кричал-чики-дета-чики мои

Илья ОГАНДЖАНОВ

ПУТИ ГОСПОДНИ

Прошлое темно, будущее туманно, и пути Господни неисповедимы.

Неисповедимы... Тщетно пытался я разглядеть простертую за этим словом даль — в окне электрички мелькали только луга, леса, реки, и на их фоне таким нелепым, чужим казалось моё отражение, тускневшее на запылённом стекле.

Реки, леса, луга... Словно поезд заколдовали, и ему вовек не вырваться из этого убаюкивающего пейзажа, и мне никогда больше не вернуться домой, в неприятную квартиру холостяка, где всякая вещь говорит мне: ты одинок и никчѐмен, у тебя нет ничего, ничего кроме — о это спасительное «кроме», как лелеял, как пестовал бы ты его, но вместо этой жизнеутверждающей синтаксической конструкции твоя судьба, нерадивая ученица начальных классов, использовала другую — «ничего даже», — у тебя нет ничего, даже собакикошкиканарейки, жёныдетейлюбимойработы, даже такой малости-милости, как хобби: кто-то собирает открытки поздравляем-желаем-с-любовью твой-твоя-твоя кто-то значки эта коллекция досталась мне от а ему от а тому от кто-то монеты орѐл-решка драхмы динары шиллинги эта николаевских времѐн эта советских эта империи Цин с царями львами орлами медные серебряные золотые пережившие свое время годные лишь на то чтобы расплатиться с Хароном — я ничего не собираю или почти ничего или всё-таки ничего кроме кроме слов вылетели не поймаешь просторечные разговорные подслушиваю на улице в метро диалектизмы неологизмы заговариваю с первым встречным с девушками на бульваре уменьшительные уничижительные выспрашиваю выведываю интересуюсь прошлым настоящим будущим слова словеса словечки грустные веселые отсутствующие в словаре и за каждым — целая жизнь.

Леса, луга, реки... Я закрыл глаза, под перестук колѐс мысленно перебирая последнюю коллекцию слов, доставшуюся мне от бабы Мани, соседки моего приятеля, у которого гостил в деревне.

По вечерам я заходил к ней, и она рассказывала мне что-нибудь... Она говорила — я слушал.

— Ябликов, — смешно произносила баба Маня, сетуя, что вот скоко их уродилось, а собрать некому. Лобастые, насуплено глядели они сквозь листву и ночью с глухим стуком падали на землю, и я представлял, что кто-то огромный большими тяжѐлыми шагами подходит к дому.

— То ли дело раньше, и не с таким урожаем управлялись, — вздыхала баба Маня и вспоминала богатое барское имение и статного красавца барина. Он её, маленькую, однажды по головке погладил и дал яблоко из своего огромного сада, по которому всё дочки его гуляли, в платьях до пят, на лицо исхожливые, и барыня в креслах скучали. И, вспоминая, баба Маня улыбалась, и её увядшее, изрытое морщинами лицо светилося тихим светом, словно яблоко то было не простое, а молодильное.

Росла баба Маня в большой крестьянской семье.

— Мы, сынок, и кирпич делали, и верёвку, и пахали и сеяли, и земли у нас было отселя до самой железной станции. А потом резолюция настань, и большеки приди. Скотину — в колхоз, и нас — тож. Она там и подохни, и мы едва живы останься. Да Бог милостив. Вышла замуж, дети пошли, работала с утра до вечера. И в поле, и дома. Одеядо выстегаю — продам, вроде и жить можно. А одеядо выстегать — это тебе не жуи-плуй.

Я слушал — она говорила.

— Один-то сын у меня с недохватками был, и пришли его в психколонию забирать, говорят: «Савецка власть всех вылечит». Только с недохватками-то они сильные, он и не давайся. Так били его несозданно, и всё одно забрали. Ну да овца ягненка не кинет — я за ним поехай и вымоли его у начальника.

Потом война случись. Осталась я одна с пятью человек кашеедников. И в деревне — саплюки да бабы. Двоих моих меньших голод съел, а старший, что с недохватками, опосля больницы совсем плох стал. Они там ему голову ох как истяпали. Он раньше весёлый был, что ни скажешь — всё смеялся, а тут сядет в угол, уставится в точку и смотрит, смотрит куда-то, куда нам глядеть заповедано. Я, помню, тогда в поле была. Девки прибежали, кричат: «Тётя Маня, ты чего тута-то — у тебя сын удавился». У меня так руки-ноги и отнялися.

Когда об муже похоронку получила, плакать уж сил не стало. Да только начал он ко мне, родимый, ночами приходить. Сядет на кровать и так жалостно скажет: «Что же ты, Маня, хоть бы поплакала обо мне». А я со страху знай себе заговор шепчу от упокойников: я — за рекой, ты — за другой, не видаться нам с тобой.

Я слушал — она говорила.

— Двое у меня осталось. Дочка вырасти да в город уехай, а сын, тот парень рукастый был, по ремонту тракторов значит, но пил дюже. Что ни утро, то четыринка, вечером — поллитровка. Женился поздно. Из соседней деревни взял. Девка ничего себе, ладная, только гуляща малость. Всего ничего и пожили. Запил, понятно, с размахом, повод-то нешутейный. Там к компании какой-то присусолься, и где он ноне — може тож упокойник.

Вот теперь сижу — в окно гляжу: красота несозданная, глаз не оторвать, а на что она мне одной — и не знаю.

Места, по которым проходила электричка, были знакомы мне с детства. Скоро за окном должна была показаться «наша станция», как я называл её по старой привычке, оставшейся от тех времён, когда родители снимали неподалеку дом в деревне. С конца апреля мы приезжали сюда каждую пятницу на субботу-воскресенье подышать свежим воздухом: какая тишина какая красота посмотри какая корова смотри-смотри вон петухи дерутся кажется всё взяли ничего не забыли. А затем наступали летние каникулы и на станцию ходить не разрешалось: «Нечего тебе там шататься среди пьяниц». И я бегал туда тайком со своими деревенскими товарищами — двумя Сашками и Андреем — стрелять у подвыпивших мужиков и дачников деньги на мороженое, лазить по пустым товарнякам или подглядывать, как на перроне дурачок Ваня, спустив штаны и с гыканьем хлопая себя по голым ляжкам, строит рожи пассажирам проносящихся мимо поездов.

Ещё нельзя было ходить без взрослых в лес, потому что нельзя, потому что это надо зарубить себе на носу. И тем слаще было улизнуть из дома и нырнуть в запретную чащу. Мы вчетвером часами бродили по лесу, сшибая палками мухоморы, поедая пригоршнями землянику, чернику, втыкая ветки в огромные муравейники и наблюдая за вызванным переполохом, считая, кому сколько лет науковала кукушка, и до хрипоты передразнивая эхо. Иногда мы встречали деревенских, ходивших по грибы да ягоды, и они, хитро шурясь, говорили моим товарищам: «Глядите, городского не потеряйте, не то он один здесь обделается». Я и сегодня вспоминаю их слова с горечью. Первые годы, пока не попривыкли, редко кто проходил мимо меня без колкой шутки, разве что старухи да дед Николай, которого иначе как блажным не называли. В странности его однажды убедились и мы. Как-то набрали на него в лесу. Он стоял на коленях перед дубом, шептал что-то себе в седую дремучую бороду и крестился. Мы, было, хотели его напугать, но не посмели. Дождались, пока уйдет, и побежали посмотреть, что за дуб такой молитвенный. В деревне ведь народ был не так чтобы очень набожный, хотя образок в углу комнаты висел у многих. Оказалось, ничего особенного: небольшое дупло в стволе и под ним вырезан крест.

Ночью я долго не мог заснуть, всё стояло перед глазами это дупло и чудилось, будто кто-то глядит на меня оттуда и что-то нашёптывает, и я в ответ шептал что-то бессвязное.

Как недавно всё это было и как давно!

И было ли вообще...

Поезд подъезжал к «нашей станции», и я невольно вообразил себя героем романа девятнадцатого века, следующим по казённой надобности в город N и случайно проезжающим мимо своего разорённого временем и долгами, безвозвратно потерянного родового гнезда. Оставалось выйти из вагона и отправиться в деревню...

Земля пружинила под ногами, и внутренний голос, напоминавший голос учительницы начальных классов, говорил мне в назидание или в утешение, что так же пружинила земля под ногами наших предков и будет пружинить под ногами потомков, и пусть падут города, исчезнут страны, пусть возродятся и снова падут и исчезнут, как исчезла твоя страна, в которой родился и вырос, и та далёкая, уже заоблачная Россия, по которой беззаконно тоскует душа, пружине этой ничего не сделается, поэтому не вертись по сторонам и запиши в тетрадку: утро стояло прозрачное до самых потайных глубин, какое бывает только в конце лета, в конце отпуска или каникул, кто знает, может и в конце жизни. Ну до этого ещё далеко, хочется думать, далеко. Далёко-далёко забрёл я в своих воспоминаниях. Лето, такое же как сейчас, как всегда в конце августа, такое же как всегда, всегдашнее лето моего единственного и неповторимого детства. Мы с Сашками и Андреем удим рыбу на пруду.

- Чего-то не клюёт сегодня.
- Небось, котятка всех рыб переловили.
- Какие котятка?
- Да которых Андрюха вчера топил.
- Как топил, зачем?..
- А куда их девать-то.
- И вы топили?!
- Не-е, то ж его котятка, мы токо глядели.

Я сжал кулаки, но внутренний голос, голос учительницы начальных классов, голос крови, голос бог знает чего вкрадчиво зашептал: жаль, что и ты не видел.

Никем не uznанный, брёл я по просёлочной дороге мимо ладных и покосившихся изб, полотых и неполотых огородов, лузгающих семечки баб и чешущих затылки мужиков...

Мимо дома вечно брюхатой Ирки. Шалава надутая путается с кем ни попадя наплодила рваньё глаза б мои её не видели. А мы во все глаза глядели на неё сквозь кусты, когда она выходила голая из реки и, зная, что мы подсматриваем, бесстыже шла прямо на нас, раздвигала ветви, ослепляя нас искрящимся на солнце мокрым белым дородным телом, и, нагло, весело скалясь, говорила: «Ну что, глаз видит, да зуб неймёт».

Мимо огороженного новенькой рабицей дома Генки Одноногого, скрипевшего протезом на всю деревню. Мужик он хороший да только непутёвый по молодости отсидел за мордобою с поножовщиной девку на танцах не поделили вернулся точно в воду опущенный в колхозе на косилке работал ему там ногу и оттяпало теперь как запёт так недели на две пока всех денег у матери не выгребет. Пьяного Генку сбила машина, а протез, полусогнутый в колене, словно его невидимый хозяин всё ещё ковылял куда-то, но уже бесшумно, несколько лет подпирал гнилой забор, пока Генкина мать не померла и родственники не продали дом дачникам.

Мимо замшелой скамейки, на которой дневал и ночевал Костя Пьянкин. Трезвым его поди и акушерка не видела когда на свет принимала не то что жена мается с ним гореносица а куда дениться када дети.

Мимо низенького почерневшего сруба с пустыми глазницами окон и провалившейся крышей. Здесь жили две старушки, сёстры-татарочки. Тихо жили, незаметно. Никто о них толком ничего и не знал.

Мимо просевшего, давно не крашенного, притихшего дома торпедовца Дениса. Он раньше в Москве работал на заводе ЗИЛ и потому очень за команду «Торпедо» болел и ни одного матча по телевизору не пропускал и как это его «Торпедо» проигрывало он стакан об стену — жаж и давай жену плетью гонять по всей деревне никто и не сунься — зашибёт.

Мимо грузного, приземистого и в любую погоду словно насупленного пятистенка генеральши. Часть тут военная стояла и майор начальник по тылу к ней зааживал к куркулихе толстозадой.

Мимо нашего дома, такого знакомого и незнаваемого. У хозяйки муж был первый механизатор в районе на доске почёта висел да вот беда помер молодой от сердца заагнала она его стерва солоащая сама к матери уехала а дом москвичам сдает. Там теперь живут другие люди.

Так дошёл я до старой полуразрушенной церкви.

Под облупившимися сводами, исписанными нехитрой арифметикой любви — Дима плюс Зина, Юра плюс Нина, — мы с Сашками и Андреем просиживали целыми вечерами, пекли картошку и травили байки. Они мне рассказывали о бабке Агафье, жившей на краю деревни в избе, вросшей в землю по самые окна. Во время войны немцы Агафью спортили, и с тех пор никто никогда не видал, чтобы она выходила на улицу. Говорят, стала ведьмой, и мимо её дома надо проходить, скрестив пальцы, не то — быть беде. О колдуне с хутора. У него улей был с волшебными пчелами: они знали какие-то особенные, распускавшиеся в полнолуние цветы — из их нектара получалось чи-

стое золото. Перед смертью он завещал, чтобы на пчелиное золото построили эту вот нашу церковь и тут бы его и похоронили. Я же пытался ввести их в салон Анны Павловны Шерер, в котором посредством всеобща должны были перебивать все школьники Советского Союза. Но Сашки слушали мою версию «Войны и мира» недоверчиво, а Андрей даже зло. Им больше нравилось, когда я пересказывал мифы и легенды Древней Греции. И пока Тесей под чёрным парусом приближался к Афинам, Одиссей ослеплял Полифема, а Гектор прощался с Андромахой, мы выхватывали из горячей золы картошку, перекидывая её из руки в руку, разламывали надвое, выпуская наружу духовитый пар, словно джинна из бутылки, и жадно глотали обжигающую губы и язык сладковатую кашу.

Стена где разобрана, где обвалилась. Купола без крестов. В проломе одной луковки птицы свили гнездо. И лишь колокольня ещё сохраняла былую осанку. Я заглянул в уцелевший прохладный притвор. Немолодая уже женщина, кряхтя, с шарканьем переставляя ноги в обрезанных по щиколотку, растоптанных валенках, подметала облезлым веником утопанный земляной пол. Тяжело разогнулась. Поправила накинутую на плечи телогрейку. Улыбнулась ясно, широко. Слово за слово, оказалось, беженка из Латвии. После смерти мужа поселилась здесь, и сил не стало глядеть на эту красоту горемычную. Начала потихоньку прибираться. Спасибо, люди помогли, принесли иконы, подсвечники, даже маленький колокол. Теперь сама и служу и звоню. Вот только беда — кресты сняли: трое деревенских по пьяному делу сдали на металлолом. Когда протрезвели — опомнились, конечно. Да уж поздно. Недолго после того и пожили. Один ночью в прорубь провалился, другой угорел, а последний, Андрей кажется, дом свой продал, подался в город, и там, говорят, то ли убили его, то ли удавился... И повела на колокольню.

Мы поднимались по тёмной деревянной лестнице. Перед глазами у меня, как в детском полусне, стояло молитвенное дупло деда Николая, и кто-то глядел на меня оттуда знакомыми мальчишескими глазами и будто подмигивал. И при каждом шаге вкрадчиво поскрипывали ступеньки: жаль, что и ты... жаль, что и ты... Я суеверно зашептал: ты — за рекой, я — за другой, не видаться нам с тобой.

Наверху гулял ветер. Колокол размером с корабельную рынду покачивался беззвучно, пока к нему не прикрепили язык и не ударили сначала тускло и печально, потом звонко и весело.

Вокруг, насколько хватало взгляда, густыми зелёными волнами шумел лес, и к нему от деревни по скошенному лугу тонким ручейком бежала тропинка, исчезая в сумраке березняка.

«Крещатик» №1, 2006 г.

НА ОЗЕРЕ

Деревня была маленькая. От шоссе через лес к ней вела асфальтовая дорога, постепенно сужаясь, так что разлапистые ели то и дело норовили панибратски поприветствовать машину. Неожиданно асфальт заканчивался, и, попетляв на мелкоколесье, дорога выныривала из кустов орешника, пыля и широко разбегаясь по залитому солнцем полю.

Первый дом был виден издалека: в три этажа, с широким балконом, что твой дворец. Сквозь щели неприступного забора можно было разглядеть пёстрый холмик клумбы, баскетбольный щит, беседку и мангал. Дальше шли два дома поскромнее, но тоже ничего себе, пригожие, аккуратные. Когда же дорога начинала прихрамывать на обе колеи и с боков её теснили лопухи да одуванчики, показывался приземистый старинный домишко: лицевая сторона кирпичная с белёным фасадом и выкрашенными в лазоревый цвет рамами, тыльная — бревенчатая. И не знаю почему, но очень это ладно выходило, что одна сторона кирпичная, другая — бревенчатая, и что белёная, и что лазурь. Ну а как скоро дорога совсем исчезала в траве, разворачивалась наша испоконная кривокозь — щербатые заборы да несколько почерневших срубов мал мала меньше. Здесь я и снял на лето дом — в два окна, с латаной-перелатанной крышей, точно нахохлившийся воробей.

Хозяин, Николай, грузно ступая по скрипучему полу и поводя по сторонам тяжёлыми руками, обстоятельно показывал мне где да что, пусть и было-то всего ничего. Прогорклая кухонька да комната, разделённые линияй занавеской. В комнате белела небольшая печь, стояли засиженный мухами стол и крепко сбитые мускулистые табуретки. В углу под образом Богоматери чернел телевизор с рогатой антенной. У стены — промятая кровать с пирамидой подушек. На стене — выцветший коврик: олениха и оленёнок на солнечной зелёной опушке, он безмятежно щиплет траву, а она, подняв голову, увенчанную тяжёлой короной ветвистых рогов, грустными глазами внимательно смотрит на висящую напротив поблёкшую, словно затуманенную, фотографию в овальной рамке. «Это родители. Мать давн-о-о умерла, а отец тут до конца и бобылил, в город к нам с женой не захотел пере-

бираться. Теперь вот сдаём — озёр-то в округе мно-о-ого, кому порыбачить, кому так отдохнуть».

Я представил, как буду сидеть здесь вечером в тишине, топить печь, курить в форточку, смотреть на оленуху и оленёнка и, сам себя спрашивая «апомнишь?», в сотый раз вспоминать притихший московский сквер, душные июльские сумерки, разгорающийся в вечернем небе фонарь, и вокруг него нервно выются мотыльки и ночные бабочки, и ты жмёшься ко мне и горячо, куда-то в шею шепчешь: «Хорошо бы вот так просидеть всю жизнь на скамейке под липами, правда?» Я ничего не ответил.

Может, ещё что вспомню. Тут хорошо будет вспоминать. И с этой печальной оленухой мы обязательно подружимся.

Николай заметил, что я его не слушаю, и приумолк. Мне стало неловко, и я попытался возобновить разговор.

— Озёр у вас много... Но, боюсь, с ними путаница вышла. На карте сразу три с названием Глубокое, да ещё одно — Глубочица.

— И чего?

— Как чего?! Как вы их различаете?

— А, эта-то? Да это ничего. Одно так себе, не очень глубокое. Наше — то поглубже будет. На третьем там совсем дна не достать. Ну а Глубочицу ни с чем не спутаешь — она Глубочица и есть.

— Теперь понятно... А деревня ваша, она как правильно называется — Кроватынь или Кравотынь? На указателе, у поворота, с одной стороны так написано, с другой — эдак.

— Да кто его знает! Пиши, как хочешь. Нам-то что.

— Откуда же название такое кровожадное?

— А, эта! Это да. Это, значит, так. Татары здесь шли, вроде Батый. Деревня тогда эх какая была — бога-а-атая. И начали они грабить, скот уводить, дело обычное. Да вот беда, татарин один девку красивую увидал и хотел, ясно, силой взять. Но жених её татарина того топором приглубил до смерти. Тут, говорят, и полилась кровушка. Дома пожгли, народ порубили, а головы на колья забора повтыкали — на тын то есть.

И в его голубых, слегка раскосых глазах блеснули два хищных огонька, а на широком, покрасневшем от загара, веснушчатом лице лодочкой качнулась крепкозубая улыбка.

Николай ушёл, и в доме стало так небывало тихо, что я боялся пошевелиться и спугнуть эту чужую, ещё не обжитую мной тишину. Вдалеке дежурно прокричал петух, мимо окна с криком и звоном проехали на велосипедах мальчишки, и вслед им лениво пролаяла соседская собака. Потом опять всё смолкло, только на окне жужжала и жужжала муха, с тупой яростью ввинчиваясь в омытое закатным светом стекло.

Мне хотелось до темноты спуститься к Глубочице, посмотреть, что же это за озеро такое, которое «ни с чем не спутаешь». Поросший молодым березняком берег круто сбегал к воде. Ноги заскользили по траве, и, чтобы не упасть, я ухватился за тонкий шелковисто-шершавый ствол. Передо мной широко расстилалась зеркальная тёмная гладь, в которой отражались курчавые облака и противоположный берег, казавшийся точной копией этого. Кругом ни души. Звенящая тишина, полная шелеста, стрёкота, плеска, затопила рощицу, поле, деревню и уже властно растекалась по телу, унося без следа всё, что еще минуту назад было мной...

Мысли путались, на ум лезло бог знает что, бог знает что за чёрт: поколи дрова вырастет трава вы обещали подготовить статью ко вчерашнему дню о чём вы только ду-ма-е-те в своей маете о том что эта беда не беда всё пустые слова и мой город Москва в нём полно прохожих друг на друга похожих а под Москвой на меня веет тоской и там полно деревень с придурковатыми названиями Криулино Кудькино Бывалово Поганьево где наводят тень на плетень и пасутся стада стада это чья-то еда и от судьбы не уйти ни туда ни сюда я так ждала ты же говорил мы вместе поедем Хугарда ерунда сынок почему ты так давно не звонил у тебя усталый голос что-нибудь случилось нет-нет-нет да-да-да ты же обещал-обещал говорил-говорил.

Выпала вечерняя роса. От воды потянуло холодом, и на поле за озером лёг туман. И в подступивших колодезных сумерках почудилось мне, что не туман то по траве стелется, а идёт рать несметная, и не берёзы на ветру покачиваются, а копыя вражеские на скаку подрагивают, и не закат то по небу разливается, а это кровь русская рекой течёт. Стало зябко и как-то не по себе, одному, на берегу помрачневшего в сумерках озера. Я с радостью подумал, что сейчас вернусь в пахучую, казавшуюся уже почти родной тишину моего нового жилища, но всё не двигался с места, только крепче сжимая берёзовый ствол и сильнее упираясь ногой в землю. И было немного жутко и сладко от предвкусения чего-то грозного и великого. И совсем неважным стало, глубока ли эта Глубочица, и сколько их всего, Глубоких, на нашей земле, и как пишется название деревни, тем более что оба варианта, по-моему, были неправильные.

«Урал» №12, 2010 г.

Александр СВИРИДОВ**ХТО-ХТО? А НИХТО***

— А ну-у-кася — отвязись, я сказал! — Вукола бросил от крыльца мелкий мосол Чернушке, почуявшей от хозяина опять хмельной запах, и завертевшей угодливо хвостом.. «Ну да-а, блин, чё-т фигово мне... — видать я не пахарь ноне...» — пропадал по дурному в каковой уже раз и слонялся без толку, один из майских и пахотных во всю дальзну дней — от самого конца и в самый конец его. Потому что Вукола вчерась опять слабинку учинил себе... — как глупый телёнок без привязи, опять не прошёл мимо воротец, разинутых настежь, где сидели и пили; и нынче нужно было ему — ну во как... Перед Пасхальным «Христосом Воскресе», припозднившимся в нынешнюю вёсну, которая у мужней Веруньки, после побеленных яблонь в саду, пахла сыровой известью. Где валялась тряпочным комочком одним, не годящая видать ни на что, под сучковатым и неокопанным «пипином», изгрызенная Чернушкой капроновая мочалка от бани. А в захолаживающий этот день, некстати и не к месту совсем — да потому что телят выгонять надоть, заходила к Верке напарница по дойке и суседка — через два шага шагнуть. Которая разом одним, как ступила с холодком из сеней на дверной приступок, так и подивилась, глядучи на тряпку в руках у неё:

— Ну, Верк, ну ты чево эт, а? Ума што ль у тя нету, я гляжу, — поддаживаться взялась Клавдия сходу на гладкую табурету, без никакого дела видать, и незнамо ещё на какую пору. — Хватя зазря тута тереть-то тебе всё — завтря же небось так жа будя.

У Веруньки, ежели умом особо-то перед людьми не крутить, худо ли бедно, а по-людски досюдова к Вуколе взятою, из другого сельца и из засиделых девок, охоты возиться и не было. Но белотелые после зимы и заголённые руки, сами схватились нынче и образили всё в нутрях удомишка, стоящего оконными стеклами супротив к пруду, махнув веником и поснимав паутину. Да по сверху стареющих и ладных дощечных кивотов, повесила на иконы в переднем углу чистые и глаженые покрывальца — беленькие ризицы:

— А чё жа мы здесья? Пушай хочь и не в Аглии живем там какой-то, а — не хужея других! С моим-то живем, не хужея авось — а то чево же? — приговаривала она позавсегдашнему таково, как для умного складу, почитай, что во все разы, вот это вот — «а то чево же». А с су-

* Печатается в авторской редакции.

седкою Клавдией, живущей без мужика на деревне, каковую пору уже, и лишенкою — самой по себе, не сыскавшей нужную пару как для резиновых сапог, хлюпающих на коровнике — они посидели. Но обмякнувшая бабьими ногами в жиллом тёплушке, Клавдья поскрипывала табуретными рассыхающимися ножками, и напоследок ещё топталась на Веркиной постилке в дверях, держась за косую скобу:

— А вчерась ещё эта, я даве те забыла сказать...

— Ну, ладно Клашк. Ну, ты эта — давай там, эт самое, — повернулась к ней Верка собранными на затылке волосьями, ужатыми роговой гребёнкой, и сходу ступая к посудной лавке, смекая чего бы ещё поделать, — мне тут эта — неколи мне, — взялась обычливо она ходить при ней по дому, как и одна совсем, подыскивая делишки кой-какие. А когда освободившись совсем от суседки и поделавши кой чего нужное, сполоснулась маленько и сама, руки окунувши в жестяной таз с засто-лой водой.

Но это когда с налаженной и ездовой дороги, подошёл бригадир к домушке о трёх окнах, когда над обмызганным Вуколиным колодезем, скользучим под галошами, со вздёрнутым журавлём кверху и над жестяным тазом с водой, лопушились на дереве лозиновом липкие почки.

— Вукола, ты края-то в стакане — знай, — подошёл к переду рубленого дома бригадир, поджарый из себя от ходячих дел видать, ставший к забору и прилётши к штaketинам с кольями, наподобие колодезного журавля со вскинувшемся носом своим:

— Завтра же сеять уже — начин нужно делать!..

— Ну, тэк — законно же. Чево ж...

Но Вукола, когда обгуливался опосля хмельного одоления и ходил округ своих окон как малоумный, он завсегда был в законной нужде у бабы Лидии, бывшей колхозной учётчице при весах на зерновом току, как и прижившиеся видать вместе с зерновыми запахами, скребущиеся в подполе мыши у неё; где бы взять-то нынче, как ежели не у бабки Лиды? Живущей домишком низким с ветляком зарастающим, у пруда через плотину, ежели идти к ней, у которой каждая крошка шла в дело со стола. А Христовские пасхальные три дня, обычливо и друг за другом, отваливались от деревушки с редующими в конце штaketинами, над которыми распустились лозиновые ветки в молодую зелень — через пахотные поля взлохмаченными облаками. Сути которых и толку путного, как не крутили они по-соседски в ухватистых пальцах, державших стакашки над столом с закускою, так и недопоняли до конца-то: «В Пасхе-то в этой самой и в яйцах этих с не скovyрывающей-ся никак скорлупой — смысл-то в ей хоть какой?» — скока не заводили они охотливые об этом деле языки свои. Ни Вукола, завсегда и по-хозяйски

готовый занюхать кусочком покупного хлеба, мужичок сам питуший, колупавшийся с яйцом и плохо чистя красную корку, с восьмью класами своими, дотянутыми еле-еле. — А-а-а, — мол вот, — ну и ладно тут, чё там? Ума-то всё рвн нету у нас ни у которых. Ну и чё ж об этом-то? — Ни бабёнка Верка, невразумливая и охотливая тоже на это дело, упревающая в тепле от выпитого и жующая один хлеб с ним; а стало быть, как и сама худая умом, и — ну хоть убей её, смолоду не слухавшая бабкины прибаутки об этом божецком деле.

— Дэт знамо оно уж, так вить оно и есть — а то чево же? — как и бывалоче, поужавши малость бабий рот, чевокнула она самой себе лишь, кивая головой и стукаясь стакашком заодно. Ни Клавдеюшка-суседка, обретающаяся по-свойски и сидевшая в самом притыке, встряхивая хвостиком волос на голове, примостившаяся к столу и сметливо оглянувшая его. Да по-бабски эдак-то топорща от стакана прямой мизинец, поглядывающая в окно и не гребующая из Вуколиной руки откусанным мочёным яблоком. — Не то дожжок-то будя у нас на днях-то, не то нет ли? — сидючи у побеленной, да никак тока летось тем стены, с выгертым мелом возле неё, наваливалась она мягкотельми руками на край стола с клеёнкой. Да такмо ничего путного наружи тогда и не увидавши, оставили покудова они в гадёже, стукая дверьми ослабшими руками, подкопчённую сковороду на суднолавке с холодной и недоеденной картошкой.

— А ну-ка-ся мне — вон отсюдава усе. Кыш-ш, заразы такие! — слыхать было Вуколке потом, откуда-то из-за двора, лежащему в доме с журналом «Работница», попавшем ему под руку. И слюняво перемагнувшему картинку чудную там одну — богиню Афродиту эту самую, в самой прям середине — листок жёлтый. Как назади хозяйского гумения, громко и шумливо, стукнулась без удержу и с размаху, дощаная и сухая дверца; отчего встrepехнулись и захлопали пёстрые курицины крылья. Аж как прямо от дунувшего с чёрной пахоти ветра они скакнули, гоняемые курицы оттуда — от хлопнутой там дверцы; отчего бежмя и побежали — от Вуколиной Афродиты шебутной этой, у которой дел по горло в доме — а она там чего-то: «стряпать-ся-то она хоть будя ноне — ай нет?» Богиня-то эта самая, придурочная, из журнала затрёпанного, которую и придумали, видать, как от не хрена делать; где вылезает она на берег вся, прямо-таки голышмя, из воды морской на фиг. И Вуколке тепериче в лежачую пору, ворочаясь на кровати, сдавалось сильно, сдвинувши журнальчик в ноги, что дурачат им головы всем этой хреновиной, что никто и николи не видал эту богиню-то, как она там выныривала-то из воды и вылезала. Но шумливую всякий раз бабёнку Верку, резкую на язык, малость тока с дурцою, задавшую трёпку ку-

рям, услышал он, аж и с гуменья. Когда она по делу выходила, откуда надо было выходила, хлопая дверцей, — из дощатой и пригнутой уборной с вихляющимся вертлюжком. В колыхающемся от бабьей ходьбы сноровистом платьишке, на худоватых плечах, как на яблоньке не родящей никак почему-то. И с попавшейся прямо под галоши к ней первую корявой палкой, взятой в руки, туряющей с огорода курей своих; а чтобы не рыли они капусту у ней, тока на днях посажённую:

— Ну, хватя кудахтать-то! Ишь-ь мне заразы! — попёрла она курей оттудова с маху одного, почесавши в затылке на ходу, согнутым пальцем одним, лежалые и встряхнутые волосья у себя — пошла она дале себе.

«Ёлки зелёные, ну бл-и-н — то ли как позавчера что ли ещё Пасха-то была у нас — тока-тока же сидели ещё, — Вукола в слабой памятиности и в утрешнем сумнении, только и знал себе, лежал на железной кровати с качающимися и скрипящими спинками, — а то ли же можть ещё и позней...». Не допетривал никак он и ворочался на суконном как из солдатской шинели покрывале, лежащем на ватном и голом матраце, упоминая главное чего-то в уме. Чего подчистую тогда всё и кончилось у них — в аккрурат всё и до капельки; и приставлено было с краю под ножку стола. Когда ослабший в ногах Вуколка, опираясь о липучий стол с клеёнкой, хотел было отодвинуть ситец от окна, но только лишь глянул тогда за ситцевую занавеску. За которою ветер поддувал со стороны магазина в развешанные штаны после стирки, и где в полуяви, начинал отлетать от подсыхающего пруда на глазах у него — камышовый и белесый пух.

А в нонешний день, опосля упойного того — аж в лоскуты затяжно-го питья, было хреновато и плохо помнилось. После самогонной и налаженной Веркиными руками гоньбы, из сахарной свеклы ещё с прошлого лета, хватившей на половину бидона в этот раз; отчего голову отымать от свычной для него подушки, скулами умятой, страсть как не хотелось ему. В бревенчатом и отцовском домушке, где слышать было тепере одни лишь Веркины твёрденькие и тукающие шаги, прямо пятками по половицам:

— Ну, доколе ж ты будешь тут колготиться-то, а? — поворотил он сперва голову с тягостью, сколь можилось ему, в сторону скрипу затолоченных половиц от ходьбы, — во-о-т и ходя она туды и суды. Вот и...

— Да ничё я ни хожу тута — я дела делаю.

Вуколка облизнул трещинку на сухой губе, и видючи такое дело, с трудом встал, почесавши белесый волос на груди под незнамо скока дён ношенной майкой. Надёрнул пиджак с рубахой на выпуск и вышел наружу дома, где Чернушка возле угнутой и пёсией конуры, завидевши

у крыльца родимый пиджачок с висящей пуговицей, завияла сноровисто хвостом. И где наездившийся ещё с самого колхозу, пусть хоть какого и никакого, один лишь «Белорус» тракторный с барахлившим жиклёром и прицепом тележным, молчуном стоял на своём месте. Умóреннýй уже в конец, видать от ездки — аж до смерти, и приткнутый к забору, неподалёку от дому, на подвёрнутых колёсах у штaketника, где на одном из колеёв сохли насунутые резиновые сапоги. Вукола делово прошмурыгал мимо насунутых и резиновых сапог в сучковатый сад, отпустил побегать Чернушку с верёвочного привязу и прямиком, мимо «Белоруса» с прицепом, как и не своего совсем, пошмыгал по делам. Не глянувший даже ни одного разу, выйдивши из дому наружу, для виду хотя бы пусть, в надетой фуражке из-под козырька — на настенные с гирьками часы: подтягивал ли он их нынче или же нет ли? На которых переставлять наладили, наказывая по «ящику», для чего-то в каждую вёсну, время на один час назад: «А куды ешшо познее-то? Дальши-то некуды уже. Тоже мне ещё все — укащ-щ-и-ки...» — с сухостью во рту, никого не слухая и идучи через плотину, нажимал к торчащему ветляку, видному ему издаля; потому что Вукола завсегда, как бывал по старинке и «законно», вышпимший в поддник свой и хорошо — так и:

— Ну, да-а-а — а мне на што оно это самое, время-то ихнее? Я время свою знаю, — бурчал он делово под нос себе, шурша по землястой дороге, да ботинком пихая пустую консервную банку. — Да пошли они все там в тра-н-ду — в энту самую! — шедший вблизи от берега перед плавающими утками и осокой. — Сеять им вишь ли — успеется. А поколе я сам се хозяин и вс-ё-ё, и — буду пить.

Да и вправду, по делу ежели кому и сказать, нужды и не было ни у кого, что назавтра ему хуже́й бывало в живучих ещё нутрях, об чём он знал заранее и завсегда. Но взятая взаймы нынче у бабки Лидии, стукнувшись в воротца к ней, деньжонка нужная ему, как и завсегда — бумажным стoльником сунулась в пыльные штаны его и открыла ему рот — дала вздохнуть: — Баб Лид, ну ты чево эт, а? Да штоба я б тебе да ни отдал когда? — ударял он чёрствым кулачишком в растёгнутый пиджак всегда на переду у себя — для духу. — Да штоба я, да так исделал тебе, а? А штожа эта мне — у мене и совисти нету? — тыкал он в грудь себя как в плоское и сухое поленце — двумя пальцами в тёмном и едком мазуте, в замызанную и отвислюю на нитках пуговицу. Да только вот сколь, не щурилась туда баба Лидия в ношеной кофтёнке, поддетой под фартук, глядучи перед передом своим и, обтирая досуха сырые руки об стряпный подол, так ничего и не увидала у него: «Ну да авось там хоть, когда и никогда, а на Беларусе своём, зимою жому свекольного для овец подвезёт — аль ещё чего-нибудь». Бросила она из закатанных по

сухощавые локти вытертых рук, подол уступчивого и повисшего на животе фартука: мол — ну и нехай.

Ну и пуцай долгишки там кой-какие, друг за дружкой цеплялись к мятым внизу штанинам, как и репы по дороге, куда он заходил, но тока он своим обычливым ходом подшмыгивал знал себе по дороге к магазину. Идучи мимо завидевшейся впереди него школы-восьмилетки, где он учился, закрытой и никак насовсем тепериче, на тёмный и висячий замок, похожий с дороги и издаля как на дохлую лягушку — а некому стало ходить туда. Мимо которой теперь идучи, кидал глазами на дымчатые и сиреневые кустарники, похожие на купола цветущие, за задами у школы; за которыми один разок он даже, оцарапавшись о сучья, схватил Юльку улыбчивую, хоть и понарошку пусть. Да в седьмом ещё, кажись-ка, ерундил там, перед ней всё — как кузнечик зызыкал — прямо за руку, дёрнувшуюся тока один раз от него, и стоял — не знал, чего делать? Штакетника школьного и облезлого тогда от вишенной краски, с шелушеньем похожим, как на ранишний и слезающий загар после купаний — там уже не было. А у торчащих теперь редких сухих кольев, с жердями вислыми одними, сидели выпущенные дворовые гуси с уткнутыми носами в прижатые серые крылья, греющие клювы под собою; возле которых один белый гусак там как дурачок какой-то, ходил как с геройскими замашками и топорщился крыльями.

А над цементными и обсыпающимися ступенями от стучающихся сапог, над картузами у мужиков под вывеской «Сельмаг», гладкой и плоской, как из-под утюга, держащейся на гвоздях с треснутым стеклом, синелись табачные дымки. Где деревенские мужички кой-какие, покуривали и повёртывали головами из конца и в конец деревни, пуцая под треснутую вывеску и под карнизик крыши синеватые дымки.

— Здоров были, мужики. Ну и как тама ноне-то — есть чё?..

— Ды е-е-сть, ну, а как жа? — один из топтавшихся на одном месте курцов, вынул примушную сигарету изо рта и, отворотившись в бок маленько, приткнувши палец к ноздре, высморкался в землю и подал руку. Вукола без останову особливого, с каждым хлопнувши ладонями, зашёл к продавщице в отпахнутую створку и затеребил пальцами перед собою на бутылочную белоголовку с винтовой закруткой. Сдвинувший без разговоры к продавщице и бабьему пузатому животу, мужицкой и нутряной ладонью, по клеёнке прилавка как не своё и стока, скока надоть было — ушмыгнул оттуда, ужавши рукой у внутреннего кармана пиджака кой чего — чего было нужнее и посевной и жиклёров. Окромья лишь тока одного-то и путёвого мужичка на все дворы, ежели скрозь пройти, на самом конце деревни, по питейному делу... Николашки Бирюкова другана, не обабившегося покамест ещё и обитавше-

го одинок в домушке, стоящем на отшибихе маленько. И с Колюхой, выскочившим наружу под самый перёд к нему, встрепенулись у ворот они и, как по-солдатски — из сенцев и в избу сразу. Сгрудились за столом и почали поставленную поллитровку, сидючи у оконья с задвинутой занавеской на скотиньи двory и пахотное поле с комьями. А малость лишь тока одну и погодя, в один раз поддакнув друг другу «ну-у дык — само-собой», в складчину и соопча, смахали ещё разок в местный Сельмаг — и хватили ещё одну пол-литруху за пазуху присунувши; откуда уже ворочаясь назад к себе на отшибок, отпугнули Колюхиного пёстрога кочета от воротец.

— Сеять им ещё вишь ли, а? Ну ты мне скажи Колян, а? — тянул Вуколка полусогнутую руку со стаканом налитым по самым краям в накат — в середину Колюхиной груди куда-то. — Да усю жизнь ты на их гнёсси-гнёсси, бл-и-н, ни за понюх... То вишь ли ты, отцы наши — на колхозы энти, скока помню ся, то теперича... — Бр-р-ры! — опрокидывал Вукола тока лишь одним махом в пустой рот стакан свой до самого дна. — Ёш-ш-ь твою, макарёк. — И потрясал лишь тока сидел худыми скулами тракториста со щетинами тёмными, от бритвы позавчерашне-го, оставшейся от отца ещё опасной бритвой. Да и Верка бы с мужичками, ежели бы к месту сидела, вздрогнула б тоже плечиками тощими, вместе с висящею у Колюхи занавеской на окне, схожей на серый лоскут. Но тока вот не-е-ту-ти, бре-ше-те, братцы мои акробатцы, ни фи-га — не Колюхина рука в надёге и силе, никогда не обносящая и чуящая для нутра пользитильное дело: — Спаку-ха — Вукола. Я жа эта — работник лабрато-о-рии тибе, — подымал он палец кверху давно белёной потолочины с трещинами, знающий дело с посудой. Который цельных два месяца отработал по найму в районной поликлинике, где на тележной каталке громыхливой, баночки развозил там в ячейках всякие; а тепериче вот разливая незнамо уже и по какому разу:

— Та-а-к, ну ко-ро-че, я те так скажу... — поставил он деловито бутылку стоймя к глубокой чашке в притык с квашеной капустой, стукнувши на столе посудным звоном.

— Не-не-не, я всё, я — капут, — Вукола вдруг встряхнулся пиджачком с громыхнувшей мелочью в кармане, и привстал даже от стола почти в один мах, вместе с качающейся занавеской в глазах, разглядывая у Колюхи съехавшие с худых щиколоток носки. От которых он мужичком спотыкливым, как по землистой пахоти, повдоль грунтовой дороги с качающимися чужими штaketинами, пошебуршил домой на своих ногах, и залёг в подушку со слежавшимся козьим пухом. Лбом дурацким как ведром пустым, не чуящим вообще ничего, лишь на ощупь уткнувшись в подушечную и слабую мякоть так, что бы — тока-тока спать

и боль ничего. Что бы тока-тока Вуколе тепериче в мёртвую на фиг залечь и не знать ничего; да так что и Архангелову Гавриилову оглашенную трубу, каковой пужали, крестясь, старые бабки, мог и не учуять он ушами с торчащим изнутри волосом. Которая должна же когда-то вдруг и откуда-то с рыхлых облаков, налезавших друг на друга — подымать всех; и «живех и мертвых даже», на самый Страшный Суд тот; но которую он вообще — мог и не услышать:

— Вукола, блин, ну ты чё жа эта тута — вставай, давай, — должна же подымать она когда-то всех за свои дела тута; и — за Веруныкину руготню, опять без дела на него, да не в тую пору, и за — выпившего мужика её, видать, сильно-сильно вчерась:

— Вукола, да ну те на хрен совсем! Ну, я каму ж буду гворить и ско-разов ещё, а?

Но Вуколкиной уткнутой головёнке было нынче тягостно совсем, как от тархтевшего трактора его — хоть под подушку лезь ото всех; ни до каких страстей ему было нынче и ни до каких Архангеловых и медных труб заржавелых; в мякоть шершавую материной и слежавшейся подушки, тока лишь сунувшись ничком, лежал он и не чуял ничего; только одни лишь скрыпы на весь дом по усохшим половицам — прямо в уши его с волосьями. И Веруныку одну брехливую в резиновых и глубоких галошах с байковой и стёртой подкладкой изнутри у них; да ну их на хрен совсем нынче, а? на кой же они ему? Которые и впрямь-таки тут нониче как — поперёк нутра стояли возле кровати, чёрт бы их всех, вместе с Веркою — в чёрных рейтузах трикотажных, сразу из-под юбки и перед глазами опять, с курями ейными лупоглазыми — это хужей всего:

— Эй, Вукола, Вукол гворю — вставай, давай, — тянула она лежачего мужичка за штанину, как за тряпичный хвост, толкая на кой-то чёрт, в суховатое плечо с маечной тесёмкой наизнанку. Бабёнка его окаянная и фермерская работница за доярку в скотьем и навозном хлеву, ходившая туда кажинное ранишнее утро доить не слушающихся коровёнок, ступающих ногами на говённые места. В «Хозяйстве» тепериче вдруг как за здорово живёшь, сделавшимся акционерным в один день; а може как ещё и не в «Хозяйстве» даже ни в каком и не в «акционерии» этой самой не нашенской. А може как даже ещё и в колхозе, «живее всех живых» — «Путь Ильича»; который сразу же и начинался когда-то у съезжающего к ближним домам грунтового большака — столбушком деревянным и ошкуренным, где на самом юру там у дороги, табличка ещё висела его — скока могла.

— Ну, што тебе? Чево ты... — отваливаясь лишь вполовину и неохоче на худоватый бок, подымаясь плечом кверху, уткнувшись на локоть

один, махнул он рукою ей. — Ну, будя те, я сказал, — и ухватясь за голую спинку у кровати, свесил ноги на самый край ползущего покрывала к подметённому полу, опустивши вниз обмякшие, как тёплым пластилином плечи. А усевшись на кроватном и умявшемся месте как в ямке, уставясь в прорезины половичные, взялся вспоминать в голове смутное чего-то от примятой и налёжанной подушки; сон какой-то ему нехороший, с бегающей и твякяющей собачкой чьей-то. Почудившейся дюже сильно ему во сне и похожей тепериче так на Чернушку, отвязанную вчерась ещё им на ночь, которая будить хотела его, как на вроде бы.

— Да ты не штокай мне тута, понял? Што-о ещё, вишь? Ты чево ж эта ушёл вчерась и курям ничё не посыпал, а?

— Хто, я што ли? Курей што ль твоих?

— Хто-хто? Не придуряйси мне тута. Дед Пихто — вот хто, — хлопнула Верка не сдерживая сердца дверцей крылечной, и пошла наружу из дому с лицом умным самой себе, сымать постиранную одёжку, засевающую всю дорогу насупротив дома. Развешанные штаны и майки на дрогливой проволоке под тряскою рукою, и с задранной кверху головой класть их друг на дружку в отставленную руку. Повёрнутой топыркою одной к отпахнутым наружу воротцам, мимо которой Вуколка пошаркавший к колодезю, едва лишь не задел её.

— Ды я пшана в ларе не нашёл. Иде она у тя?

— Иде-иде? Тока и знаишь себе — иде. В сельпе знать — вот иде!

Повдоль стоящих друг за дружкой домов в один ряд, по грунтовой дороге и по пустой улице проехал мимо кто-то на мотоциклетке, резко газуя: ерь-ь-ь да ерь-ь-ь! Он даже и не похотел угадать рыкающую мотоциклетку эту самую — заразу, и кто там хоть на ней сидел и ерькал-то; не поглядел туда:

— А сама-то чево же, а?

Нагибаясь головой со слежавшимися на затылке волосами к колодезному и полусогнутому ведру, налитому лишь наполовину, отхлебнул сырой воды, дуя и отгоняя от пересохшего рта соринки. И пошёл себе далее по делам каким-то на хозяйское задворье, за которым давно зачинался день, а по небу над головой его плыли опухшие и молчаливые облака. Да по-над скотьем и осевшим двором, крытым лежалой и серой соломой, тянуло запахом дёгтя от перевёрнутой садовой тачки с колёсами кверху. А назади обдуваемого ветром гуменя, у чёрной пахоти самой и у крайнего кола торчащего, ковырялись и ходили одни лишь курицы, и клевали траву.

— Верк, слухай-ка, а тама эта... Как её — нацот этого-то...

— Мово ничё нету. Так и знай — надоть идтить. — У крылечной и не захлопнутой никем дверцы, уткнутой в самый задок угловой, и у не-

скобленных с натоптанной грязью дощаных порожков, стояли резиновые снятые галоши, с синей и мягкой байкой изнутри. Вукола сидел вблизи глубоких галош этих на нескобленных порожках, где в середине апреля, перед прилётом на вёсла скворцов, у ступеней крылечных высунулись жёлтые цветы. И вялыми сухими пальцами сидел и щупал нутряные карманы у мятых штанов, доставая с трудом из одного оттуда лежалый «Казбек» с табачными крошками, и над жёлтыми табачинами сидел и чиркал надломленной спичкой. Дымом табачным возле хмурого своего лица, пыхая и раскуривая крепкую и хрусткую казбекскую папиросу, обогреть силился малость, пшикая сиплой спичкой, холодноватый покамест ещё май; потому что из-за далища тёмного и из-за распаханных и тянущихся полей, наволоклись тучи.

Верка по-деловому пришла, как положе с дальнего концы деревни, стукнувшая в сенцах дверью, где достала там кой чего им нужное как до зарезу — чтобы дела наладить; и из тёмной большой бутылки, в печное и тёмное горло, на рубленные чурки прыснула пахучего керосину. Затопила стылую печку в самую первую руку, старыми и шуршащими в скрутку газетами; и до полночи они елозили на табуретках, бубнили и пили самогонку. Покудова у печной и тёплой ещё от топки трубы, не приткнулась громыхливая чугунная заслонка, и покамест Вукола не стукнулась затыком об отвислую у табурета, с заду него, гирьку у часов.

— Слы-ш-ь-ка, эта — Верк. А иде эта спички-то хочь у нас, а? — дюже было как выпивший, оглянулся на месте, да так ничего и не услыхавший, отвалил книзу тяжкую голову. — Ты не видала? — разминая плохими шевелящимися пальцами хрустящую папиросу, и, угнувшись к полу и сбитым носкам, взял смятый коробок:

— Э-э-э, Верк, ну ты чё там? — поворотился он на табурете округ себя, шатко вставая, и неслушающимися совсем пальцами, шуркнул по выключателю на стенке, как у умершего закрывая веки. А, уже впотьмах совсем, нащупавши рукою по сверху кровати шерстистое сукно, свалился кулём на спину, протянул плашмя ноги на покрывале и вялыми губами затянулся...

А через тёмную и земляную дорогу, насупротив домушка и поодаль у осыпного берега, покачивался и сохнул на ветру один лишь тощий камыш. Как сторожем ночным одним лишь стоял по самые щиколотки в воде, изо всех сил, в тинистом пруду и качался; он и увидал-то из холодной воды — как в тёмном оконце с усевшего угла, где была печка с плитой и стряпной, появились красные блики какие-то — ни с того и ни с сего. И как камышовый и дрогливый пух, с початок рыжеющих у него, ни с того и ни с сего, полетел к другим домам, вдаряясь в тёмные стёкла окон — да не услышал никто его. Когда в очухавшемся уж было дому,

полном невылазного дыма, треснуло стекло у окна и надсадно, раз за разом заперхал кто-то, по-овечьи будто бы — как в запертом закуте — и как затихло. И как раздуваемые в жилище и изнутри, будто кузнечными мехами, шипящие искры отгудова стали снопом валить и подыматься над шиферной и трескучей крышей, окутывая лозиновые ветки над горящим домом, и лететь через дорогу, падать на камыши и гаснуть.

А через один день из районного моргу — на весь жилой люд, к раскоряченным грудью чернеющим брёвнам, на грузовой машине с бортами громыхающими, привезли два оструганных по-деревенски, заколоченных гроба, из тесовых досок. А Чернушка одна, бегающая с ремённым ошейником, ни разу и не залезшая в пахнущую соломой и дымом конуру, завидевши издаля чужую и гудущую машину с тупым носом, стала тыкаться в мнущиеся шины колёс. Где Вукола с Веркою, со сложенными руками по-смёртному за закрытыми сосновыми досками и за звякающими бортами в сколоченных гробах, на чужую и скорую руку — не слышали, видать, и не чуяли её; потому что вытьё собачье забивал запах дощаной и струганной сосны.

И погоревших обоих отвезли за деревню на кустистое кладбище к вёглам зеленеющих посадок и положили в землю к скупливой дороге, где ветер переворачивал прошлогодние сухие листья. А погорелое место то, аж до чёрной черноты и — до самого печного поддувала, с этих пор стало пустое; и только ветер покачивал насупротив того не хоженое место, на обгорелых и торчащих тёмными суками яблонях, привязанную Вуколом заместо бельевой верёвки, оголённую проволоку. Мимо которой тепериче и бабка Лидия, идучи куда-нибудь по земистой дороге, с тукающей и сухой палкой, поглядывала за всякие разы, покачивая головой в подвязанном ситцевом платке. В котором вроде бы как попрекала про себя Вуколу-то, палкой в руках попадая в комочки сухие и тряся завязками платка; а вроде бы как, и нет — кто ж её знает. Да только и собака с хвостом понурым, нагнувши голову с мокрым носом, обнюхивала по краюшку головешки и в сумерки глядела мутными глазами поверху тёмных домов — на появляющиеся ввечеру звёзды. Похожие собою там дюже сильно, наверху и издаля — на пёстрых и белых курочек, не кормленных с этих пор, видать, клюющих там чего-то — как на вроде бы там пшено рассыпали. И будто бы где-то рядом у тракторного и ржавеющего плуга, приткнутого в землю лемехами, услышавши вдруг чего-то такое, она подымала лопатками чуткие уши; где чудилось ей как живое и тутошнее — житейское:

— Вуко-о-ла, ты курей-то кормил — ай нет?..

Чернушка теперь нигде не обитавшая и никому не нужная, как потерявшая в глазах все дворы, где и какие есть, кажинными днями, с не-

нужным ошейником, унюхивала на дорогах от галош резиновых запахи с навозцем сухим. А к ночи с ослабелым животом, подходила на пустые зады двора сгоревшего дома и ложилась на холодную землю. Ставшей для неё тепериче подстеленной дерюгой, у самого края чёрной и рыхлой пахоти; и никуда не уходила — она была родом с этого места; где валялось тепериче порожнее и колодезное ведро с дужкой, откинутое тогда и никому не нужное. И вместе с плужными и тёмными лемехами, глядела водянистыми глазами на камышовые и молчаливые листья, да по-над крышами чужих домов ещё — на звёздки. Откудава позаправдашнему совсем чудилось ей, как с потолочины белёной известью, что Вуколка даже и в темнеющем небе жмурит глаза свои на Веруньку и спорит и спорит всё с нею: ну и кто же это таково удумал из них обоих и до нужней поры в печи, покамест не утишилось сопенье, взял и затворил печную вьюшку у отдушника? А-а? Кто же это давеча-то из них двоих, был выпимши видать как сильней и более, так что и — не учуял едкого дыму под носом своим: сам ли он никак это — иль же она?

Чернушка озябшая, водившая носом от ветра и на ветер, незнамо теперь, чего и хотевшая, подымала кверху морду и уши и тянула носом — на белые пятнышки:

— Ну, а хто-хто? А ништо вот — так нада, видать... — слышался ей и чудился где-то в траве сухой шорох.

III

НЕИЗДАННАЯ
КНИГА

Эта книга могла выйти в конце 1990-х годов.
По разным причинам — не получилось.
Теперь она печатается здесь, в «Альманахе 2012».

Авторы

Виктор САНЧУК

ПОЭТ

Там, где забрана вечность в железа:
в цепи, в наручни, в башни часов,
тебе в душу чужина залезла
вороватыми пальцами слов.

Но под шрифт фиолетовой ночи,
как бумажною кипой — снега,
ляг, читающий тишь многоточий,
успокойся, как речек шуга.

Удивись: мол, в колодах и ларях —
беглецами на волю свою,
Ах, зачем, Гейзерих и Аларих,
затруднили вы память мою.

Тот, который единственно родствен,
как тебе в услужении там,
где в земной у зимы в производстве
ты конторе приближен к верхам?

Не споткнулся б, календ переписчик,
високосные строя круги.
В чистой мысли о завтрашней пище
забывайся, спасайся, беги.

Каменей, оглянувшись на шепот:
это мерзло срастаемся мы, —
я — твой будущий мартовский опыт,
ты — канун вековечной зимы.

Там у мира на сизых задворках —
холод страха, летящая вниз
гололедицы детская горка, —
повторись еще раз, повторись.

1984

Как внутренность большого шара, пуст
полночный город, и касанья ветра
случайные, как давешняя грусть,
его бесшумно вкатывают в лето.

Где вдалеке — туманом над рекой —
мерещится всезначимое что-то,
когда идёт на цыпочках покой,
чернеют окна, как пустые соты,

прильнули звёзды к тонкому стеклу:
мы все живём внутри большого шара.
Он в брешь рассвета выпускает мглу,
как от реки — клубы седого пара.

1983

Алисе Целковой

Приди из прошлого. Когда-нибудь
в каморку дня шагни из Зазеркалья,
из той страны, где серебро и ртуть,
ещё не загустев, стеной не стали.
И потому, откуда б ни смотреть,
взгляд не вернётся памятью напрасной:
есть только жизнь, а дальше — просто смерть.
И мы на пару этому причастны.

Там отсветы не рушатся из мглы
на годы, как нарушенная клятва, —
на двух замкнувшихся миров углы, —
на два катрена, множенные на два.
Там есть близнец для каждого числа.
Из прошлого в оконницу печалей
шагни. Ещё я верю в чудеса:
нам восемь лет. И жизнь ещё в начале.

...Боевой вертолёт...

Из русского перевода Оруэлла

Свет не бьётся ещё в пограничье потёмок,
Как под крышкою неба сентябрь-воронёнок.
И безмолвно за теньями следует Аргус
Вечным стражем. Мне страшно. Кончается август.

Я усну. Поплывёт золотой островок
Вольным морем. И вдруг словно выкликнет кто-то:
Это крестит широкого неба зевок,
Чертит знаки навыворот винт вертолёта.

И куда он правит, невидимый ас, —
Тенью, что над древесной пучиною скачет,
Строже Аргуса мёртвый радаровый глаз
Сторожит мою лёгкую душу. И значит,

В жестяной, изнутри запираемый дом
Колотись, — маскировкой теряй оперенье
И, как плешь, рассекречивай аэродром
В безобидных полесьях, пернатое время.

Близорукая юность, припомни меня,
От цыплячьих сезонов зооэкспедиций
В лобовое стекло наступившего дня
Виновато стучась замерзающей птицей.

По инерции долгий верша оборот,
Здесь по кругу земли ходит призраком сизым,
Словно лопасть пропеллера, движется год
Надо мной, как над выключенным механизмом.

Это сон: словно к солнцу тяжелую дверь
Из полуночной мглы кто-то медленно отпер,
А за ней — неба светлую акварель
Месит в двух плоскостях боевой вертолёт.

Так много лет колёса и майдан, —
судьба проводника из скорого состава.
Вдруг стало близким, как он пестует титан
водою серою, смотря куда-то вправо.

Там, верно, ночь. Всевластная вода,
вокзалов шум ворочая, как грузчик,
раздвинет, отодвинет города,
все дни мои — былые от грядущих.

И знаю, где и сколько виноват —
как на торгах, — уже переитожил.
И помню путь. И не свернуть назад.
И незачем. И всё-таки, и всё же

не разводите, я прошу вас, мост:
я слышу словно шестерни в часах,
я вижу берег: милицейский пост
уходит вниз, как гирька на весах.

Всё правда здесь. И всё — наоборот.
Бьёт в доски стен всегда неверный послух.
Спешит река, ночная тень плывёт.
И голоса расплёскивают воздух.

Но тихо-тихо ухо приложив,
где сердца звук, как стук колес — всё ближе...
мне только бы почувствовать, что жив.
Что время — ночь. Что дождь идёт по крыше.

Там в глубине неторопливой павою
плывёт авто в глухую пропасть зим.
Я пережил себя, прожил, я стар,
я падаю.
Мне этой ночи груз невыносим.

Уже не уведёшь и не удержишь, —
как ношей, я обременён душой —
тяжелой, как издёргавшийся дервиш,
в блаженном сне, пропахшем анашой.

Еще июль — зелёный рай ислама, —
как суры, судьбы спутаны. Но я б
рискнул сказать, какой стезёй грядёт

возлюбленных, и недругов, и само-
убийствами отмеченный ноябрь.
И скучно знать, что знаешь наперёд.

Он под Гончими Псами летит, словно во поле волк, —
долгий призрак, гонимый укушенной насмерть державой.
Быют жестянки подков — Святополк, Святополк, Святополк —
по серебряной с чернью весне да по осени ржавой.

Двух отцов непутёвый, от блуда заблудивший сын,
Потьмы князь без престола, в отечестве — братоубийца,
там, где вышли Карпаты к столу азиатских равнин, —
пустит ночь под крыло, как большая двуглавая птица.

Или полднем морозным белёсую ленту снегов
он наложит на узкую полосу низкого неба,
развернёт — вдоль по зимнику — флагами двух берегов
и подпачкает смешанной кровью Бориса и Глеба.

И не этой ли красною жижей, зрачком налитым
никуда не прикаянный он, ниоткуда не званный,
вдруг провидит татарскую лютость в родстве Калиты
и опричную гордость падучей безумца Ивана.

Бьётся сердце в груди, словно в бредне холодный осётр,
там, где рек кутерьма и бессрочна тюрьма небосвода.
И, на круп осадив, будто вместе он с пашенком, Пётр
давит медную желчь из покуда незрячего года.

А ещё — это Павловский ополоумевший полк
заведёт скакунов — ни присяги, ни брата, ни стяга, —
только долгий галоп — Святополк, Святополк, Святополк —
вечный призрак, летящий по бледному следу Варяга.

Да старик-крестьянин, на какой-нибудь к дому версте
завернув на большак, пошатнётся — ни мёртвый, ни пьяный
и, полжизни убогой едва ли пребыв во Христе,
тычет в князя перстом и крестится, шепча: окаянный!

Там по ночам свистели поезда.
Там над судьбой поставлена привычка —
в предместьи, где жизнь невесть куда
размеренно течёт, как электричка.

Самозабвенью в комнате простой
власть покоряться, данная немногим...
В строении на улице пустой,
совсем в конце, у кольцевой дороги

я жил тогда. Я думал, что умру.
Я ощутил рукою острый холод
в гранитных зёрнах ночи. И к утру
я пересёк злосчастный спящий город.

Здесь осень — область леса и тоски.
Здесь старый мир с бесстрастностью усталой
рассыпался на ржавые куски,
точно кумир, упавший с пьедестала.

Смотри на всё чуть-чуть со стороны,
по временам играй в свободу слова —
в республике Октябрь, где все равны,
как будто ты пришёл на Востряково.

1984

Я прошептал: останься неизменной,
как только даль придуманной страны, —
поклонницею терпкого глинтвейна
над городом вокзалов и шпаны.

Чужих квартир уютom горьковатым
до низких туч наполнившийся дом...
Как сладко быть больным и виноватым,
словно слова оставив на потом.

И как легко уйти, припоминая
уже как будто бывшие во сне —
и эту дрожь прощальную трамвая,
и циферблат в заснеженном окне.

Но мчаться вновь, как догоняя вора
незримого на улицах пустых,
и путаться в автобусах и скорых
вагонах, словно в истинах простых —

чуть горьковатых, точно дым табачный, —
влекущих нас к законному концу,
как поздний мой, полупустой прозрачный
троллейбус «Б», ползущий по кольцу.

Мой Господи, скажи мне, что со мною:
негаданно, как будто бы во сне,
забытое, ничтожное, святое
нежданно отзывается во мне.
Кто нищий, тот не может пробросаться.
Зачем же вечно у меня в крови,
как золото, растворено богатство
чужой, во мне очнувшейся, любви.

Как медленно плывут под ливнем люди.
Мне странный страх покоя не даёт,
что срок придёт, но ничего не будет, —
и минет день, и обновится год.

Как цифирки, имён не переставить.
Теперь, теперь, пришедшему сюда,
мне жутко так, как если бы представить
живую жизнь без Страшного Суда.

Дрожит рука. Скользящей жизни звенья
никак цепочку фактов не замкнут, —
как будто это серые мгновенья
в просветах меж вагонами встают
и падают. Я глаз не поднимаю,
но знаю: мир приземист и безлик.
Забыл, забыл, забыл! — не понимаю, —
как будто птиц дробящийся язык.

Теперь уже совсем, совсем немного,
и мимо чёрных дачек и лесов
в ночь канторова железная дорога
по тысяче потащит адресов.
Тогда меня по крохам соберите.
Мне много лет. Нет времени шутить.
Я вас любил. Простите мне, простите:
Я всех любил. Мне больно говорить.

1984

Не то чтоб мы с тобою торопились,
Как будто кадры старого кино,
Но данные нам лета округлились
В тот странный год, как цены на вино.

Ударится летучими шарами
Былое о шершавый небосвод
И поплывёт знакомыми дворами,
В чужой перекочёвывая год.

Всё успокоится, уймётся там,
Всё разберётся по своим местам:

Гул голосов на лестницах морозных,
Игрушечные радости зимы.
Как медленно от нас уходит воздух.
Как долго пустотой объята мы.

Порою так близко, как только на склоне, —
над спуском отвесным, — над бездной полей.
Вот детство, вот птица запуталась в кроне,
вот ворох тумана — как пух с тополей.

Посмотришь, заплнёшься на отсветах новых,
и руку поднимешь, — и из-под руки, —
как будто с каких-нибудь гор Воробьёвых, —
туда, за тугую излуку реки.

И надо б вернуться. Но, может быть, снится...
И берег отлогий на той стороне...
Случилось ли детство? Не ворон ли птица?
Так долго и смутно, — как падать во сне.

Так близко порою, что был или не был —
неважно, — вмещаешься в крике одном.
Вот где-то внизу отражается небо,
как будто бы мир перевернут вверх дном.

Ты канул. Ты сгинул. Не зная прощенья.
Но всё-таки помня, а значит, любя.
И может быть, смерть — это лишь возвращенье
туда, где во снах окликают тебя.

Александрю Сопровскому

С другом проехали Волхов в полночь —
Снова ко дням черновым от праздных.
Где-то гулял здесь Булак-Балахович,
сволочь, — с ребятами —
к белым от красных...

Он засмеётся. И шаткий мост
рухнет, залившись водою тёмной, —
в ватный туман, как последний тост, —
в вечность прощанья. Притихни, дом мой, —

Слышишь, на пальцах ключи бряцают:
воздух жилья рассекает с отмашкой.
Так же вот звонко — кто понимает —
можно работать булатной шашкой.
Или не знаешь? — за боль любить,
путники вспять, к золотому плену, —
мы бы и жизнью могли платить.
Если б она здесь имела цену.

1985

Друзья мои, подруги дорогие,
вы, дочери отчизны и сыны,
у нас у всех на счастье аллергия —
недуг неприспособленной страны.

Вот тяжкое кирпичное наследство —
соседство стен и арок проходных —
холодный хлам, — давнишнее из детства
уверенно коснулось рук моих.

И сумерки, как торопливый кролик,
нырнули в ночь, или, точнее — как вор,
и разложил меланхолический дворник
дворовый архаический костёр.

Дул северный, и вымерзало время,
и только пламя обретало стать.
...где и поныне обитает племя,
которому не больно умирать...

И, пленником из медленной неволи,
освободив из темноты ладонь,
я в первый раз не понимая боли,
смотрел на подымавшийся огонь.

Как вечеру впору двух окон оправа, —
следить, близорукому, тихо за мной.
А я, постигавший германское право,
был забран в осаду славянской зимой.

И, пленник, когда неотвязна, как похоть,
тоска в окруженье безлюдных лесов,
я бережно трогал за маленький локоть
«Дюаль» — повелительницу голосов.

И к помыслам строгие, в правильном строе,
как чёрные буквы на чистом листе,
ожившие звуки нуждались в просторе,
в сплошной, как январская даль, пустоте.

Чтоб думать: в полночном расслабленном мире
лишь власти нетленной круплицу найди,
какая превыше любви Валькирий
смерть ставит над жизнью, как точку над i.

Не буковок бусы, но звёздная сетка —
кольчугой планиде. Гремел граммофон,
где окон оправа, и ветер, и ветка,
как чья-то рука, прогонявшая сон.
Чтоб я заучил, — как бы климата фактор
на Север войною собравшийся враг —
Да здравствует Вагнер.
Да здравствует Вагнер.
Да здравствует Вагнер.
Да здравствует мрак.

Ты приобрел ремесленника навык,
словно школяр от знания устав.
Как бы волна, положенная на бок,
покатится по насыпи состав.

Там в перекур за дверцею вагонной
словно приставлен ты — который год —
смотреть сквозь ливень, как волной зеленой
вагоны покрывают поворот.

Так возвращается домой с работы,
должно быть токарь, ковырявший сталь.
Старатель снов, ты мастеришь пустоты —
сырые, как над Балтикою — даль

И смытая наплывами металла,
как чья-то жизнь, уйдет в небытие
пивная привокзального квартала —
с умершими стояльцами ее.

Тебя преследуют луча пылинки,
уже и сами делаясь тобой.
Так вытесняет темноту в бутылке
из недр зеленых столбик водяной.

Так набегают волны на песчаник,
с него нечаянный стирая след.
Так шепот плещется в щитах жестянок:
куда? кому? — в слепую щелку свет

словно бросает желтою рукою
двугривенники липкие колес,
чтоб наше время влагой золотою
в ничто сплошного прошлого лилось.

1985

О ГЕНЕРАЛЕ ПЕПЕЛЯЕВЕ

Море Охотское, наконец, растаяв,
из себя являет как бы свинец или сталь.
Генерал-лейтенант А.Н.Пепеляев
бинокль наставляет и смотрит вдаль.

И конец зиме, а все одно не видно
прогала, и снега белей вода.
Генерал-лейтенанту слегка обидно,
потому, что война проиграна навсегда.

Красноватым — из-за Камчатки — солнце
выплывет флагом, что рыбий глаз.
И между пальцев сопок снуют японцы,
плоскодонный налаживая баркас.

И как братики, сопки русоволосы.
Но рассыпался стяг, что из боя — в бой:
сзади красные, спереди — море белесое,
только синее небо над головой.

Ну и правильно, может. Знать, небу — надо.
В летний снег канет глухой якутский марш.
Лишь взовьется утром штаңдарт микадо.
И ночь будет звездной, как знамя САСШ.

А того, что плескалось среди трезвонов —
нет. Тевтон шрапнелями погромсал.
То ли сразу, когда погорел Самсонов,
то ли, когда Брусилов в прорыв бросал, —

или может, когда оставляли Галич...
О былом полагает, припомнить тщась,
генерал-лейтенант Анатолий Николаич,
за восемь лет прошедший шестую часть.

И теперь на краю, в этот полдень летний,
глянув на север ли, на восток ль,
генерал Пепеляев — из всех последний —
видит белое, серое, и опускает бинокль.

Но постойте, оставьте! На дно каньона
вас не брошу, — вернусь к вам — и сам покаян.
Да и что мне, с матерью их японы,
или янки — простые будто Аян.

И когда здесь ринется лето — выжечь
жаром севера тело коротких трав,
и когда в сердце речек рванется кижуч,
весь подобием сплавленных бревен став,

и из года в год — положите благом
видеть тридцать дурацкий девятый год
и еще пятьдесят, чтоб под белым флагом
на Москву пройти в победный поход.

Это я вас зову к золотой победе.
Я лелеял вас, словно цветка росток,
разгробал в могилах энциклопедий,
вспоминал сквозь давний Дальний Восток.

Нынче властью мне данной — чутьем поэта,
вас, кто в жизни не выжил, кто канул за кант.
И кто сопок главнее. Прошу за это,
выпейте стопку, генерал-лейтенант.

Потому, как и вы календарей шире
жили, а чтили — один Престол.
И черно-красный враг ваш — Каландаришвили —
нехай тоже садится за этот стол.

1989

От бронзового косогора
безвольно падает река,
словно уставшего боксёра
опущенная вниз рука.

Когда от птичьей песни звонкой,
как гул неведомых побед,
уже в четыре горизонта
нас ограничивает свет.

Как будто мир — прозрачный кубик
в канатах ринга, чтоб над ним
блистающего неба кубок
так долго был недостижим.

Вернись тропинкою нагорной:
там чёткая — точно хрусталь —
листов причудливую формой
прикрыта солнечная даль.

И дни чуть тёплые бессильны
в себе сентябрь перебороть
и трепетны, как древесины
наполненная пульсом плоть.

— Как жизни огненный остаток
среди развенчанных дубрав,
где шёпот поражения сладок,
как привкус крови на губах.

Где всё высоко и весома,
я всё до последнего там
тебе, — словно горского дома
священному гостю — отдам.

И нищего дола соседство,
и в золоте утренний луч,
глухое прибежище сердца,
и пульсом колеблемый ключ.

И голос ущелий и впадин,
где вечность — хозяйкою слов,
и мир, как в стекле виноградин,
качнувшийся в окна домов.

Уходишь! — помедли, послушай:
где жизнь как минута одна —
поверь мне, я отдал бы душу,
но мне неподвластна она.

Город белою влагой испарины
выпускал обозримое мною.
В забытыи я дошёл до окраины,
где уже начиналось иное.

И налитые током, жужжащие
провода в тембре рвущихся строчек,
и цепляющиеся шипящие,
и значенья немых многоточий...

И тогда, изжитой и дробящийся,
город рухнул, как столп или идол —
за спиной. И над пылью клубящейся
в пустоте я узнал и увидел:

вверх уходит былое, как облако.
И уже по периметру года —
только речь, как колючая проволока:
Если вырвешься дальше — свобода.

Алексей ПРОКОПЬЕВ

«Когда не тает на дорогах лёд...» —
Или «когда он на дорогах тает»,
И солнце бьёт в оконный переплёт,
И ветер веткой витражи листает,

И целый мир, отправившись в полёт,
Весь день в доверчивой душе летает,
И падает, и снова упадёт,
И вновь темнеет, снова рассветает,

Из года в год — идёт за годом год,
Идёт прохожий, и собака лает,
И брешет в брешь свалившихся невзгод, —

Я утверждаю: Рождество не ждёт:
Всё повторится вновь: и расцветает
Неповторимо бледный небосвод.

АЛЬБА

Поднимайся, звезда, что в чуланной пыли обитала.
Что земля мне, что круглое небо — всё мало и мало.

Детский страх перерос допустимые возрастом шутки.
Нам отпущены сутки на все между сном промежутки.

Между сном и любимой — туман, пелена снегопада.
Я прошу эти звёзды не падать, не надо, не надо.

Поднимайся, звезда, и в глазах растворяйся до блеска.
Кто-то бьёт по утрам, как отчаявшись, ломом в железку.

Оттого не забыть, сколько этих железок минуло,
Что железное утро нас весело перешагнуло

И пошло куролесить по лестницам, скверам, площадкам.
Поднимайся, звезда, проигравшая детским лошадам.

МЕТАМОРФОЗЫ

Я стану прозрачным от мыслей, от их свеченья,
когда надо мной закачается виолончельный
мятущийся воздух густой; и, уже безучастный
к обиженным ближним, увижу: из листьев сочатся
туманные капли.

Мы все понемногу ослепли.

С момента рождения — в дымные падаем петли.
И всё же, за воздух держась, ни на что не надеясь,
на что-то надеемся, то есть: сжигая, как ересь,
отцветшие звуки и жёлтые запахи, помним
о прежних препонах. В пруду отражаются сонмом
всё те же обиды. Войду в эту темную воду,
и деревом выйду, и встану от леса поодаль.

Мой горестный день. Кем я только за жизнь свою не был —
и хлебом, и камнем, и зверем, и рыбой, и небом,
но все превращения пели мне болью в ключицах,
немым удивлением, горьким осадком на лицах.
И больше ничто не случится. Я знаю наверно.
Дорога спиной своей в сторону дёргает нервно —
и лес расступается.

Птица

упасть не боится.

Грохочет вдали колесо и блестят его спицы.

Ведь это не блажь — постоянно пить свет из миражей,
не приступ отчаянья и не обязанность даже.

А только на что ж это может быть странно похоже?
Кто бархатной ветошью водит по съёженной коже?

НОЧНОЙ СТОРОЖ

*Кричат мне с Сеура: сторож! сколько ночи? сторож! сколько ночи?
сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь.*

Исайя, XXI, 11-12

«Не гай мне Бог сойти с ума!

Александр Пушкин

«Nachtwaechter ist der Wahnsinn, weil er wacht...»

Райнер Мария Рильке

Боже, о дай же совсем не сойти с ума.
Кукла, игрушка, не сплю, ничего не делаю.
Знаю, живу на земле, сторожу дома.
Тела не знаю — Луна похитила тело неспелое.

В лад этой музыке спрятались сонь и синь.
Лунные струны звенят на пустынной равнине.
Две воробьиные клавиши — соль и си.
Утро. Надтреснутый свет. Он горит и поныне.

Сделаю что-нибудь, встану, огромная тень,
Слово скажу, чтоб услышали, жив ещё, жив ещё,
Боже, о дай же мне голос глухих деревень.
В час, когда только собаки летают над крышами.

Плавучий отблеск — сумрачный собрат,
Тебе милее отмели и нети.
Проходит катер с надписью «Боград».
Бог рад всему. Так радуются дети.

Взахлёб. За всех. За новизну утрат.
За краткий день. За то, что я в ответе
За них за всех. Иных ведь нет преград.
В иных мирах — иные ставят сети:

На ангелов. На братьев. На сестёр,
Судьбу судеб читающих по нотам.
И влажный на губах цветёт костер:

Сорняк, сиянье, осень, или что там? —
Гори, печаль моя. Её не стёр
Ни поцелуй, ни вздох по звёздным сотам.

И её ты отдашь за стихи?
За стихи не отдам... но за голос
голых сосен... за стоны ольхи...
день един — золотящийся волос...

лёгкий пух... и его ты отдашь?
тонкий слух... да пойми — всё едино.
День един золотящийся наш.
Так слуга убивал паладина.

Так ольховый король совлекал
сына мёртвого с мёртвого дуба —
Ты к губам подносила бокал
и стекло было плотское грубо:

как сравнить его с телом души,
с милым телом мелодии белой?
я не вижу — и ты не дыши...
не услышу — и ты б не сумела.

Чтобы имя твоё не вымолвить всуе,
Я буду плыть над самим собой,
Перевёрнутый мир тонким телом рисуя —
Для того и дано оно мне в прибор,

И тогда неминуемо, всё знаменуя,
Ты очнёшься, как будто и не умерла:
Сердце Ноя, на новых губах — аллилуия,
Мысли льва, человека, змеи и орла.

ДЕРЕВЕНСКАЯ БАЛЛАДА

Едем полем — я с отцом
бабым летом сухопарым
от тепла кудрявый холм
слухом полнится и паром

серебро в лесу блестит
узкий нож в болоте тонет
лошадь острая в кости
натянула длинный повод

ну-же ну иди смелей
трогай милая не бойся
мох трещит как старый клей
в колесе сверкают оси

топи чавкают во тьме
рвёт медведь беду в малине
смерч сбивает с листьев медь
в дереве ржавеют клинья

раскрутилось колесо
до горячки до озноба
из орнамента лесов
в пустоту не занесло бы

бесы нижут бусы так
словно слово с губ снимают
я один шумит сорняк
солнцу чёрному внимает

ЛУНА

Когда Луна запутается в шторах
среди зелёной медленной зимы
какое небо в каменных просторах
как мы огромны в лабиринтах тьмы

то городом их называя гордо
то фьордами заблудшего ума
где в круге зренья чайка чертит хорду
и зрением становится сама

под ней громады варварского Рима
мазут казарм и казематов грязь
чугунный торс реки непримиримой
и лик серебряный влекут лиясь

в люк водостока! но с теченьем спора
ночная лампа — жёлтый батискаф
плывёт в каком-то безысходном море
среди бесцветных и бесшумных трав

блаженный спутник городов-гигантов
ты пламя электрических ночей
ты сторож их ты кладбище талантов
мерцает свет на дне твоих очей

в твоих морях какие царства сплыли
в твоих песках их лёгкий прах и пыль
а на Земле свечение лунной пыли
подчас одно оправдывает быль

Кто с историей шутит по-свойски —
Понимающе дышит, как лес.
И стоят в алфавите, как в войске,
Буквы с копьями наперевес.

Но в глазах, овладевших азами,
Хоронится угрюмый тиран,
Указующий солнцу глазами
Схорониться за контуры стран.

Грех гордыни — дорожные знаки.
Покаянием горбится дом.
Звёзд пылающих красные маки
Разгораются долго, с трудом.

О небесной стыдливости азбук,
О смущении дальних писем
О смягчении красок хоть раз бы
Разузнать у невидимых стен.

Не скрижали тверды — это воздух
С долгим скрежетом ходит у дна.
Словно свёрла алмазные — в звёздах —
Имена, имена, имена.

На язык положу, наизусть я,
Назубок, навсегда затвержу:
Это долгое жаркое устье,
Это Волга впадает в баржу,

Это небо свернули, как свиток,
Это время скатали в чулок.
Это млечное царство улиток.
Это вечное варварство в срок.

Тот блажен, кто не сам по себе.
В робе, в кителе, в гробе, в ходьбе,
Зависая над бездной — страховкой
Связан с сетью висячих мостков,
Под туманящий звон молотков,
Горд походкой, подкованной, ловкой.

Кто бы ни был — строитель, солдат,
Призрак предка — хранителя дат,
Альпинист, постовой, проститутка, —
Всем знаком этот страх высоты,
Дно вселенной — сухие кусты,
Ты убит и лопочешь, как утка.

Но земля, приближая лицо,
Вырывает из пальцев кольцо,
И рыдает надорванным альтом.

Кто в могиле был — встанет, горбат,
Милых ангелов рой — медсанбат,
Полетят каблуки над асфальтом.

Оттого все становятся в строй,
Что не страшно быть брату с сестрой,
А труба позовёт — и повзводно
Побегут в небеса, на снега,
На незримого ныне врага,
И куда будет ветру угодно.

Стая, цепь, вереница, табун,
Аккуратные ёлки трибун,
Пирамиды, столпы, зиккураты, —
Мёртвых больше, чем ждущих черёд,
Город мёртвых уже не умрёт.
Тем спокойней круги и квадраты.

Камень только и чувствует связь
С тем, что будет ещё, и, боясь
За течение в Волге и в Каме,
Весь дрожит, хоть не видно ни зги,
И тогда наступают шаги,
И по сердцу звенят каблуками.

Кругом бело. Всем ясно видно всех.
И только звёзд сквозной серьёзный смех,
неслыханный. Но я не понаслышке
о нём твержу и лёд крошу, всердцах —
в самом себе, за совесть и за страх,
без отдыха, без сна, без передышки.

Неслыханно приходит время жить.
Нечаянно, негаданно, нежданно
надтреснет лёд, и от предсердья нить
морозной веткой голубеет, Анна.
Свет милосердья — тихо, бездыханно.

Тогда я слышу смех. Кругом бело.
Я лёд крошу. Весь город замело.
Тем явственнее сторож видит утром
окрест земли пылающий оркестр
и на регистрах сыгранный реестр
неявных жизней в крахе поминутном.

Но мало, мало. Среди прочих всех
морозной веткой голубиный мех
растёт, клубится, розовеет, тает.
Светаёт. Что же, не сердись опять
на боль родства, на дорогую пядь.
А жизнь идёт. И жизни не хватает.

ЗАМЫСЕЛ

Маленькая поэма

1

Люблю тебя, моя страна,
страна распаханного дна,
каналов, ямбов, катакомб,
бумажных одеяний сна,
фрамуг, распахнутых, как ромб,

когда отняв у простыни
свет, форму, цвет, сиянье, запах,
окно навалится двойным
стеклом, и станет в череп капать

чернилами черней вины,
настоем тёплым бузины,
раствором мёртвых насекомых,
вином и плесенью войны,
застоем, затхлостью, знакомым —
как стены — запахом запоя.
Заходит солнце над покоем.
Мы пьём за здоровье страны.

2

Не приведи Господь людей,
люблю страну в вечернем свете
окна, как сон без лошадей,
как сон в огне, как сон об этом
окне, в безвестности моей.

Но бьёт в висок тяжёлый рок,
холодный круг, стеклянный срок,
как поцелуй — чеканный — жук,
серпом по ёлке белка — скок,
в глазницах умирает стук
и вздрагивает потолок.

И солнце — бог, и месяц — бог,
откуда этот мрак, клубок
из слов кружавшихся, из букв,
лежащихся хвостом у ног.
Истоптанный народный слог,
потеха, ярмарка, лубок.

А терем страшен и высок.

3

И — дальше — наступает сбой:

я говорю с самим собой
темно, безгубо, простодушно;

и можно вылить, но не нужно,
души отравленный гобой
как философию искусства
на мир придуманный, чужой,
на ложь, на ложи, на пустой
зал с насекомыми, на строй
их голосов (умейте слушать!),
на корни высохшего русла.

Я говорю себе: забудь!
когда картину тащат внутрь
непонимающего тела —
как быть, как выжить как-нибудь,
как впечатлению вернуть
азарт и очумелость мела?

4

Мы вырастем из темноты,
кустом цветущим обозначим
узоры, линии, черты
моей страны, моей удачи,
твоей горячей красоты,
царапающей стёкла дачи;

скрипят шаги, плывёт и плачет
колючий ветер, как скрипач,
нахохлившийся храбрый грач.

Мой Моцарт плачущий, мой царь:

черёмуха, темней лица,
шагает в небо от крыльца
и молчаливого соседства:

здесь два медлительных борца
заслушались движений сердца.

5

Речь в паутине. Ночь мила
неразличимостью для глаза,
где наши губы обмела
трескучая сухая фраза.

Сгорает спичка. Ночь темна.
Шарахаетсямышь летучим
шершавым страхом. Спит страна
и веки накрывает тучей.

Спит, словно старая жена,
под толстым ватным одеялом
погоды, непогоды, малым
довольствуясь — здоровьем сна.

Нажмёшь на кнопку — ночь черна —
свет зажигается — чинарик,
и поднимается как шарик
Земля и голубеет над
таким обманчивым пожаром
волос, переходящих в сад.

6

Как простота, как воровство:
сосны заворожённый ствол —
болт корабельный, белки хвост —
дрожащей лампы волшебство.

Дары приносятся на стол
наитьем, пляшут слуги-ноги.
В лесу языческие боги
разбужены оркестром в сто
скрипок, рвущих зги дороги.

Сто скрипок рушат пустоту,
гремящую в стакане света, —
вот вам фонарь, а мысли где-то
перевалили за черту,
где чёрт не слушает совета.

1981

Облако зашедшее за облако
жизнь свою попробуй удержи
талой ртутью утреннего столбика
растекаясь в грязь под гаражи

расцелованы прилюдно бублики
разыгрался чёрный кобелек
пусть звенит на радость гиблой публике
серебристой речью кошелёк
но на грех всё грезишь про загробное
циником глядишь на ремесло
так легко взойти на место лобное
чтоб опять куда-то понесло

так светло на площади покатое
не метлой умытое окно
ты не жизнь а пятое-десятое
клятое-проклятое кино

так тепло приглядываясь к имени
терпкому и кислому на вкус
слепо выдохнуть: о да веди меня
пёс Анубис больше не боюсь

DE PROFUNDIS

Перед лицом — перед зеркалом — перед отцом
не понимающим кто я откуда взываю
напоминаю что не был доньне лжецом
пусть перережет глаза полоса грозовая
Ибо: зверёк натянувшийся в нервах моих
суслик встающий сторожко на задние лапы
свистнет — и катится солнце в отравленный жмых
в чёрное плачево нечеловечьего сапа
Слышишь создатель моих повседневных забот
стоит чуть-чуть задержаться у тонкого края
гулом и дымом осенних работ поплывёт
мир из-под ног
и лицом как обломком играя
бьётся заросший кугою
фальцет
голосок
чувство грядущей
как утро горячей
утраты

переливается свет
и сочится песок
необретённая жизнь
и крути и квадраты
лёгкая как геометрия
обнажена
чистому взгляду
и тает в пространстве
покуда
жизнь обретённая спит как родная жена
и холодильник на кухне белеет как будда

Будто и не было болью пропитанных брызг
эй научи меня быстро во что превратиться
только не в птицу — они разбиваются вдрызг
в свист разбиваются в дым что растёт и клубится

Дмитрий ВЕДЕНЯПИН

ОДУВАНЧИК

Жизнь моя в столбе бесплотной пыли,
В облаке, расплывшемся от слез,
В зеркале, которое разбили,
А оно очнулось и срослось.

В комнате, как в солнечном осколке
Озера, сверкающего сквозь
Листья и ослепшие иголки,
Пляшут пряди солнечных волос;

Рыбаки спускаются по склону
По траве, блестящей от росы;
Папа говорит по телефону,
Обреченно глядя на часы.

Даже в зимней обморочной давке,
В стеклах между варежек и губ
Тонкие секунды, как булавки,
Падают, не разжимая губ;

Но не зря в серебряном конверте
Нас бесстрашно держат на весу —
Как от ветра, спрятавшись от смерти,
Одуванчик светится в лесу.

В толпе веселых палочек, в плену
Зеркальных сквозняков балетной школы,
В прозрачности от потолка до пола,
Придвинувшейся к самому окну.

На улице, в кольце цветного слуха,
В лесу, где память бьется на весу,
Вибрируя, как золотая муха,
Похожая на добрую осу

Над яблоком в купе, когда часы
Стоят, прижавшись стрелками к рассвету, —
Две полосы серебряного цвета
Над черным краем лесополосы.

Разбившись насмерть в пелене тумана,
Мы гладим хвою в глубине пробела,
Где голоса летают над поляной,
Проделав дырку в зеркале Гизела;

Вдоль сосняка, сквозь сумеречный дым,
По кромке дня пробравшись без страховки,
Мы наяву стоим у остановки
На воздухе, оставшемся пустым.

ДЕТСТВО

Шагнуть в окно, свалиться со стола,
Открыть сервант и своровать лекарство,
И понимать, что даже пастила
В сто раз важнее любого государства.

Любовь и смерть пока еще одно,
Конец еще не потерял начало,
И умереть не страшно — все равно,
Что с головой залезть под одеяло.

ЗИМА

Шел снег. На улице ругала мама сына.
Он дулся, всхлипывал, канючил, «не хотел».
Его жалела ржавая машина,
И он ее без памяти жалел.

Брел мимо них старик с облезлой палкой,
Шла женщина в малиновом пальто —
Ему их всех в тот вечер было жалко,
Его тогда не понимал никто.

Луна желтела также безучастно,
И снег все так же падал кое-как ...
Он понял вдруг: все взрослые несчастны;
И это, в самом деле, было так.

Шуршат, обмякнув, крылья одеял;
Хрустит трава; в огромной ветхой раме,
Едва не падая, качается над нами,
Как зеркало белеющий овал.

На нем написано, что каждый прошлый год,
Мелькнув, совсем не может раствориться,
Что будущее в прошлое глядится,
И жизнь, как сон, бежит наоборот

И, может быть, еще вернется к нам,
И мы навстречу кинемся из мрака ...
Так в коридор бросается собака,
Хозяев узнавая по шагам.

Е. Л. Ш.

*Сделай себе пару очков,
которые называются «очками смерти»,
и через эти «очки смерти» смотри на все.
Савонарола*

1

Есть мир и Бог; мир, человек и Бог;
Открытость миру и открытость Богу;
Есть камень у развилки трех дорог
И путник, выбирающий дорогу.

... Погибли все — и тот, кто захотел
Разбогатеть и поскакал направо,
И кто свернул туда, где власть и слава ...
Лишь тот, кто выбрал смерть, остался цел.

2

Есть лес и снег, пустыня и вода,
Крут Зодиака, воздух, время года,
Земля и небо, слава и свобода,
Отчаянье и память, «нет» и «да».

Есть ад и рай с его рукой-лучом,
Пророки, маги, звезды, птицы, листья,
Художник, гравирующий мечом,
Боец-монах, сражающийся кистью:

Зеленый север, желтый юг, восток
Белее снега, красный запад, синий
Слепящий Центр; молитва, пепел, иней
И человек, который одинок.

3

Я полюбил тебя, бессонный человечек.
Огромный коридор наполнен тишиной.
В окне стоит зима, и черно-белый вечер
Похож на зеркало основой ледяной.

В колодце темноты скользят смешные люди.
Прижавшись лбом к стеклу, не разжимая век,
Тот мальчик видит все, что было, есть и будет.
Над эллипсом катка порхает редкий снег.

Есть только то, что есть; он встанет на колени,
И двор под окнами, каток, асфальт, подъезд
Окажутся на дне почти прозрачной тени
Пространства-времени, похожего на крест.

Есть только то, чего как будто нет.
Внутри другой зимы я выбегу из школы,
И он подарит мне очки Савонаролы,
Чтоб я смотрел сквозь них на разноцветный свет.

К далекому, как бабочка — к стеклу,
Прижмусь, припоминая понемногу
Пустую деревенскую дорогу,
Акации и солнце на полу,

И на траве нелепый красный стул,
И серый пляж, и девочку Марину ...
Как бы затылком на язык продвину
Невесть откуда налетевший гул.

И ничего не зная наперед,
Увижу вдруг, собрав остатки веры,
Что жизнь моя, как дни до нашей эры,
Из темноты к рождению течет.

ФОТОГРАФИЯ

В стеклянном воздухе торчит железный прутик;
Асфальт, как солнце, светится, дрожа.
На высоте седьмого этажа
Минута прилепляется к минуте,

Выстукивая светло-серый лес
С травой и перевернутой листвою,
Тропинкой, пустотой и дождевою
Сквозящей кляксой пасмурных небес.

И в этот лес, как будто в никуда,
Уходит неподвижный человечек
В плаще и с целлофановым пакетом,
Бесцветным и блестящим, как вода.

Его спина по цвету, как асфальт,
И как бы безотчетно совмещает
Прозрачный лес, который все прощает,
И этот острый воздух из стекла.

И нужно все расставить по местам,
Уменьшившись до двух сплетенных свечек,
Чтоб выяснить, что милость только там,
Куда уходит фоточеловечек.

ОБЛОМОВ

Не нужно отвечать, не выслушав вопроса ...
Не нужно «рваться в бой» — игра не стоит свеч!
Подправим частокол, подсыпем курам проса,
Нальем водички псу, достанем папиросы,
Покурим, помолчим и ляжем спать на печь.

К утру начнется дождь; за окнами заплещет
Блестящая листва, и в нас очнется миф:
Как ивы над рекой, стоят надежды наши,
Плакучие крыла печально преклонив.

Река, что значит жизнь (согласно мудрым мифам)
Теряется вдали, желтея на бегу;
А детские мечты, помеченные грифом
«Изнанка памяти», грустят на берегу.

Но в каждый миг река, несущаяся мимо,
Вбирает их в себя, и, значит навсегда
Запоминает то, чем неисповедимо
До устья с этих пор отравлена вода.

Ты навсегда лесник с косматой бородою
С двустволкой за спиной и финкой в сапоге,
Под уханье совы и крики козодоя
В зеленых сумерках бредущий по тайге.

Ты вечный экскурсант, живущий словно в сказке,
В которой все не так: другие облака,
Другие запахи, и шорохи, и краски,
Другие площади и самая река

Другая; в ней дрожат, зеркалясь вверх ногами
И в карей глубине ломаясь пополам,
Другие радости с печальными глазами,
За здорово живешь подаренные нам.

Человек подходит к микрофону.
Утро отражается в реке.
Женщина летает над газоном,
Полулежа в красном гамаке.

Сонная Австралия. Зеленый
Летний день. Залитый солнцем джип.
Смуглый фермер, с детства умудренный
Тайным знаньем бабочек и рыб.

Не спеша потягивая виски,
В кресле у окна сидит старик.
Не спеша потягивая виски,
В зеркале сидит его двойник.

Девочка играет с обезьяной.
Негр в очках копается в саду.
Над зеленогрудюю поляной
Вьется белоснежный какаду.

Если радость — это чувство света,
Выстрели из фотопистолета
В это небо, полное тепла,
И оттуда с серебристым звоном
На поляну рядом с микрофоном
Упадет Кашеева игла.

В трухлявой Аркадии, в царстве прогрызенных пней,
В компании гусениц и сизокрылых громадин
Жуков, в лабиринте сосновых корней,
На шишках, присыпанных хвоей, нагретшейся за день,

Под стрекот кузнечиков, возле дороги, почти
У остановки, но с той стороны, у забора,
Ведущего к пляжу, мы ждали автобус, который
Приходит из города в пятницу после шести.

И он приходил, и, нагнувшись, я видел в просвете
Над черным асфальтом и пыльной дорожкой за ним
Ботинки, сандалии, кеды приехавших этим
Вечерним автобусом солнечно полупустым.

Потом громыхало, стрижи рисовали грозу,
Но нас не давали в обиду бессмертные боги.
Мы были живыми на этой зеркальной дороге,
Бегущей вдоль сосен над речкой, блестящей внизу.

Наткнуться в сумерках на солнечную нить,
Похожую на луч, пробившийся сквозь время,
Где радужная взвесь в полупрозрачной теме
Порхает тихая, не в силах не светить.

Увидеть, как во сне, что явь и значит свет.
Беззвучный, сказочный, внезапный и несчастый;
Экклезиаст сказал: «Все суета сует»,
Нам нечего сказать Экклезиасту.

И не о чем просить, пока не давит даль
И ужасы не встали на дороге,
И колесо плашмя не рухнуло под ноги,
И не разбит кувшин, и не зацвел миндаль;

И темь не обернулась темнотой,
И на конце луча, как бы в волшебной точке,
Сверкает серебро серебряной цепочки
И золото повязки золотой;

Пока кузнечик не отяжелел,
И стерегущий не окаменел,
И у коня не лопнула подпруга,
И глубина воздушна и упруга,
И высота мерцает, как свеча ...,
Пока ты сам на острие луча,
Как сеть дождя внутри лесного круга.

ГОЛОС

Сквозь ватное время, сквозь воздух, мелькая,
Как бабочка в елках над тенью от стула,
В затянутых наледью стеклах трамвая,
В густых спотыканьях невнятного гула ...

Внутри треугольников и полукружий,
Сквозь блики на поручнях, в точке покоя
Нам было предсказано что-то такое,
Что все остальное осталось снаружи.

Осталось спокойно держать на весу
Снопы и царапины света на грани
Пустой пустоты, в черно-белом лесу,
Среди отражений цветов на поляне.

Осталось стоять, как живой человек,
В трамвае, гремящем то громче, то тише
Сквозь ватное время, танцующий снег
И голос, которого тут не услышишь.

Слова стоят, как стулья на песке.
В просветах между ними видно море,
И тишина висит на волоске
На волосок от гибели, в зазоре
Зари, в пробеле воздуха, в пустом
Приделе на потрескавшемся фото,
На небе, перечеркнутом крестом
Пушистыми следами самолета
И наведенной радуги; прилив
Шуршит волной, серебряной с изнанки,
И мальчик в туго стянутой ушанке
Сквозь снегопад у дома на Таганке,
Не отрываясь, смотрит в объектив,
Как в форточку в пространство пустоты,
Где прыгают бессолнечные спицы,
Как в зеркало, где — против всех традиций
Магического знания — если ты
Не призрак, — ни пропасть, ни отразиться.

Лес порхает, кружится — на синь и сень
Рассечен вдоль просек по вертикали
Световыми ширмами; кося в тень
Отступает солнечными прыжками.

Это как прозрачная дверь — пока
Музыка звучит и даль притерта
К зелени и ряби березняка,
Это место встречи живых и мертвых.

«Мы вас вправду любим», — земле, золе
Шепчут изменившие, боясь проснуться
(Лампа отражается в ночном стекле),
Встретиться и все-таки разминуться.

Нырря, ломаясь, гудя
В луче под фонарною плоской,
Булавки-иголки дождя
Блестят, как железные ножки
Стола на попа подшофе
Среди перевернутых лавок
В закрытом открытом кафе
Под градом иголок-булавок.

ЧАСЫ И ЗЕРКАЛО

...уже не шум.

И. Бродский

... Я назвал их отражениями ...

... Поэты пишут не для зеркал ...

И. Анненский. (Книги отражений)

Настоящим можно не пытаться —
Отраженных стрелок не догнать.
На стене одиннадцать пятнадцать,
В зеркале двенадцать сорок пять.

Поддень равен полночи — закон
Тождества, любезный Мандельштаму,
Дважды в сутки помещенный в раму,
В промежутках просто отменен.

Стрелки то спешат, то отстают.
Время тоже зеркало и книга.
В области оптического сдвига
Мы еще не там, уже не тут.

Как будто рай, а приглядишься — ад,
Вокзал — и тот похож на одиночку.
А между тем, никто не виноват,
Что жизнь умеет съезживаться в точку.

Не можете служить двум господам ...
Дремучий лес — не то же, что столица;
Роднит их лишь одно: и там, и там,
При случае нетрудно заблудиться.

Метро гудит, как море-океан;
В прострации ты едешь на работу,
Уставившись в окно, как тот баран —
Вот именно — на новые ворота ...

И можно на ходу перебирать
(Так в спешке ищут метку на постели):
Буфет, букет, браслет, портплед, кровать,
Отель, мотель, бордель, дуэль, качели,

Трофей, шалфей, хорей, пырей, плебей —
Перечисленью ни конца, ни края ...
Проделай сокращение дробей,
Увидишь, что внутри — одна вторая.

Идет война, и, сдерживая дрожь,
Солдат уходит в ночь походным шагом ...
Так вот, пора понять, под чьим ты флагом,
Кому ты служишь и за что умрешь.

Там хорошо, где нас нет:
В солнечном лесу, в разноцветной капле,
Под дождем, бормочущим «крибле-крабле»,
В зелени оранжевой на просвет.

На краю сиреневой пустоты
Человек, как черточка на бумаге.
Летчик, испугавшийся высоты,
Открывает глаза в овраге.

Воздух скручивается в петлю
По дуге от чужого к родному.
Человек произносит: «Люблю!»
И наощупь выходит из дому.

Ночь, как время, течет взаперти.
День, как ангел, стоит на пороге.
Человек не собьется с пути,
Потому что не знает дороги.

Остался лес, остался дом, остался сад,
Осталось шествие по выцветшему склону ...
Улитка держит путь на звездопад
В луче от фар, скользящем по газону.

Осталась женщина в кафе, в слезах дождя,
В ресницах елок, в зеркале, у моря ...
Попасть из лука в шляпку от гвоздя
Равнялось избавлению от горя.

Дракон, разинув огненную пасть,
Носился в небесах, как угорелый;
И было слишком просто не попасть,
Но гвоздь как будто сам магнитил стрелы.

Надев пальто, старик выходит в сад,
Припоминая смех, походку, шею ...
Он сам мишень и лучник, и закат,
Горящий, как солома от Матфея.

ОБЕЩАНИЕ

Агент, убитый в телефонной будке,
Встает с колен в гостинице во Львове.
Луна в окне желтеет в промежутке
Между стеклом и пойманным на слове
Пространством, обещавшим всем, кто в нем
Смотрел с холма на медленную воду
Сквозь зелень сада — там теперь у входа
Дежурит ангел с пламенным мечом
Вращающимся; пламя, ударяясь
О пустоту (сосну давно сожгли),
Рассыпавшись на искры, рикошетом
Уходит на террасу, притворяясь
Лучом, застрявшим в зеркале, букетом
Иван-да-Марьи в солнечной пыли ...

ПОД РЫЖИМ АБАЖУРОМ

Мир просто был. В троллейбусной оправе,
Как в комнате, казавшейся огромной,
Струился свет ни ясный и ни темный.

По проводам и вытянутым склонам,
Сжимаясь в запотевшей полуяви,
Пульсировал продолговатый воздух,

Как ватный гул, плывущий по салонам
Вдоль стекол в ледяных цветах и звездах
Над прячущимися в махровых гнездах.

Неправда в обобщениях. Язык,
Как волк, не поддается дрессировке.
Я вижу папу в бежевом пальто.

Все умерли. За площадью на хмуром
Торце высотки — тени птиц. Никто
Не умер. «К водным процедурам»

Нас приглашает радио; зато
И день с утра похож на решето
Сквозь белый снег под рыжим абажуром.

ВСТРЕЧА

Это просто слова, немота перевернутых слов,
Неподвижное зеркало озера в мятом овраге
Негустой темноты, в окруженье чернильных стволов,
Тут – расплывшихся в кляксы, там – вырезанных из бумаги.

За кинотеатром «Зарядье», на пасмурно-белом холме,
С наступлением сумерек в комнатах с видом на горе,
Мы тонули, темнея, в просторной, как небо, зиме
Между светом и снегом на брейгелевском косогоре.

От предчувствия встречи слова начинают летать,
Как жонглерские мячики, мир превращается в птицу
Между снегом и светом, где, чтобы родиться опять,
Недостаточно права, достаточно просто родиться.

Что-то было обещано:
Прилетев из-за туч,
Луч, родившийся женщиной,
Превратившейся в луч,

Трепетал и приплясывал,
Расширялся и гас;
Ветер мял и подбрасывал
То ли тюль, то ли газ.

Время было не связано —
Расплеталось назад;
Что-то было предсказано:
То ли снег, то ли град;

Что-то было отмерено:
Сколько лет, сколько мук;
Что-то было потеряно:
То ли свет, то ли звук.

ANGELICA SYLVESTRIS

Я падаю, как падают во сне —
Стеклянный свет, железная дорога —
В темно-зеленом воздухе к луне,
У входа в лес разбившейся на много

Седых, как лунь, молочных лун, седым,
Нанизанным на столбики тумана
Июльским днем — как будто слишком рано
Зажгли фонарь, и свет похож на дым

И луноликих ангелов, когда
Они плывут вдоль рельс в режиме чуда —
Откуда ты важнее, чем куда,
Пока куда важнее, чем откуда —

Белея на границе темноты;
Вагоны делят пустоту на слоги:
Ты-то-во-что ты был влюблен в дороге,
Ты-там-где-те кого не предал ты.

Игорь БОЛЫЧЕВ

И — никогда... И больше — никогда...
Ладонь царапнув, вспархивает птица.
И в собственных объятиях вода
Бессмысленно под берегом кружится.

Вернуть? Догнать? Вопрос стоит не так.
Жизнь только в том, чего не быть не может.
И это вечно юное «тик-так»,
Боюсь, уже небытие итожит.

Они сошлись — начала и концы.
И на столе, меж скомканных бумажек —
Четыре желтых лужицы пылицы
От некогда стоявших здесь ромашек.

Еще тепло словам в твоих руках.
Еще дождит над пятой частью суши.
Еще звучит, но где-то там, в веках, —
Нежнее, безнадежнее и глуше.

Снова осень за окнами плачет.
Мокнут липы, скамейка и стол.
Ничего это больше не значит,
Жизнь твою этот дождик иначе
И смывает в холодный подзол.

На дорожке овальные лужи,
Человеческой жизни года —
Мельче, глубже, пошире, поуже.
Да, конечно, бывало и хуже,
Но бессмысленнее — никогда.

В низком небе гудят самолеты.
Льется с крыши на землю вода.
Капли, паузы, брызги, длинноты —
Русской музыки тихие ноты —
Ниоткуда летят никуда.

Я любил только вас. Под напев тишины,
Никогда мной не слышимой прежде,
К вам, на ситцевый лут только вашей спины
Мои руки спускались с надеждой.
Только вам я дарил торжество георгин
И ромашки, хмельные от лета,
И когда засыпал, только вам говорил:
Я умру, не дождавшись рассвета.
Только с вами я пел, не боясь, что сорвусь
С высоты неберущейся ноты,
Только вы превращали отчаянье — в грусть,
Тошноту — в ощущение полета.
Только вы, только вам, только вас, только... Все,
Все хранит обнищавшая память,
Кроме вас.

В темном парке гремит колесо
Карусели пустыми цепями.

Эти узкие желтые листья,
Этот мокрый асфальт подле дома,
Эта осень с ухмылкой лисьей,
Этот ясень, докучно знакомый, —

Все похоже на жизнь без начала,
Так... Вторая глава, содержание...
Дождь идет... Только этого мало...
Жизнь идет... И опять подражанье.

Отчего мне так сиром с собою,
Отчего еще старорежимней,
Чем в тринадцатом перед войною,
Милый мой, расскажи, расскажи мне.

Укажи мне такую обитель,
Где бы... что? Ах, довольно об этом...
Хорошо быть простым, как Спаситель,
Хорошо быть хорошим поэтом.

А еще хорошо... Хорошо бы...
Ты все топчешься молча на месте.
Да и мне ведь не хочется, чтобы
Нас с тобою увидели вместе, —

Ну, пока... И я снова и снова
Тороплюсь от тебя откреститься.
Засыпаю. Но знаю, приснится:
Этот мокрый асфальт подле дома,
Этот ясень, докучно знакомый,
Эта осень с ухмылкой лисьей,
Эти узкие желтые листья.

НАЧАЛО ОКТЯБРЯ

Виктору Санчуку

Так блистательно было...
И вдруг в одночасье не стало...
Что-то кончилось вдруг — отпылало и отговорило.
Только солнце по странной забывчивости еще ало.
Только сердцу из странной привязанности это мило.

Вот, листвою шурша, в скудном свете октябрьского парка
Алый мальчик идет с пистолетом из красной пластмассы.
И в руке малыша рукоятке пластмассовой жарко...
Мальчик станет поэтом, влюбившись в каком-нибудь классе.

Эту скудость осеннюю,
выспреннюю бессловесность,
эти Бог его знает о чем разговоры с собою,
эту гулкую безлюдь московского воскресенья,
эту грустную честность, —
когда б говорил о другом, то назвал бы судьбою.

Так блистательно было,
и вдруг в одночасье не стало
ничего. Пресловутый ущерб вымирающей расы.
Алый мальчик — он станет инакосердечным поэтом
и напишет про ночь и про серп,
лунный серп из пластмассы.

Алый мальчик... Меж веток кленовых зияют пустоты,
солнце тускло и осень бесцветна, промозгла и стыла.
Только сердцу из странной привязанности это мило...
Так блистательно было,
и вдруг этот мальчик...
Ну что ты...

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

I

Все как-то странно, даже дико,
Мир — точно храм для иноверца,
В руке — увядшая гвоздика
Еще вчера живого сердца.

Ну вот и все. Мороз по коже
Воды мазутной у причала.
Ну вот и кончилось, похоже,
То, что нельзя начать сначала.

Твоя рука искусной лепки.
И мраморная струйка дыма.
Меланхолические щепки
Плывут, покачиваясь, мимо.

Бог дал, Бог взял. И над водою,
И на душе, и в целом свете —
Светло и пусто. Бог с тобою...
Июль. Причал. Гвоздика. Ветер.

II

Живешь — все плачешь и умрешь — заплачешь...
Почто уж так она неискупима, —
Живешь — все платишь и умрешь — заплатишь —
Вот эта жизнь, танцующая мимо.

Какой-то рок: некстати распаяясь
Меланхолично привычкой русской,
Лет в шестьдесят глядеть, как удаляясь,
Она проходит в серой юбке узкой.

Противный дым привычной сигареты
И пепел на засаленной брючине.
На берегу в мазутных пятнах Леты
Негоже плакать умному мужчине:

И тут и там — одни увеселенья, —
Плыви на допотопном пароходе
Глядеть с той стороны Реки Забвенья,
Как тут она по набережной ходит.

III

Алая ленточка в русой косичке,
Выгнутый стебель руки загорелой.
Скучно и страшно писать по привычке —
Черным уменьем на пламени белом.

Все это выйдет спокойней и глуше —
Книжка и полупустая кошелка —
Полуразмытыми пятнами туши
На белоснежной поверхности шелка.

Залитый светом вагон электрички,
Неудовимое слово «дорога».
Смерть и рождение — сухие кавычки
Меланхолического монолога.

Пестрая ласка московского лета
Тоньше и тоньше — до исчезновенья
В тихой гармонии белого цвета,
В мраморных звуках произнесенья.

Точно вышла на кухню теребить у окошка
контрабандно подстриженных жестких волос
непослушную прядь...
Ночь как сирая кошка
тычет в серые окна влажный бархатный нос.
Как озябшие птицы, эти вещи впервые
неуютно глядят с насиженных мест.
Неподвижного платья цветы полевые.
И зима по снежинке слетает с небес.

Как хороши истертые размеры,
Какой-то в них платоновский изыск —
Монеты нет, остался только серый
В метафизическом кармане диск.

Как тихо тает льдинка на ладони,
И между пальцев, точно между строк,
Сочатся войны, страны, люди, кони,
И остается формы холодок —

Взгляни на русла высохшие линий,
Зажми в кулак многоголосый пар.
Планеты нет, остался только синий
В метафизическом пространстве шар.

Ничего не слышно над землею.
Страшная такая тишина.
Может быть, она перед зарею.
Может быть, посмертная она.

Пляшут тени лунные по соснам.
Молча ветер травы шевелит.
Может быть, увидеть довелось нам,
Как творенье божие лежит,

Брошено бессмертной душой,
Превращаясь медленно в скелет.
Ничего не слышно над землею.
Ничего на свете больше нет.

А теперь, когда падает снег —
Аккуратно, снежинка к снежинке —
Это кровь превращается в свет —
Аккуратно, кровинка к кровинке.

Это все, кто когда-то страдал
Безызвестно и неотмщенно,
Упадают на Фрунзенский Вал
Отрешенно и просветленно.

Потому и спокоен, как храм,
Древний город в сознании новом,
Что не видно зияющих ран
Под сияющим белым покровом.

Видно, вышел отмеренный срок —
Больше кровь не взывает о мщеньи.
Это нас, может быть, самый Бог
Осеняет холодным прощеньем.

*В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря.*

Мы становимся горькою памятью черных ветвей,
Узким серым кольцом в этом влажном стволе поколений,
Мутной каплей дождя на щеке загорелой твоей,
Убегающей прочь полосой придорожных селений;

Мы становимся, в сущности, неистребимым «ничем»,
Прорастая кривою березой на брошенной крыше.
Ты ведь знаешь куда и, наверное, знаешь зачем
Устремляется взгляд умирающих выше и выше.

Отчего эта грусть? — Отчего вопросительных слов
Не становится меньше с течением тысячелетий?
На горящих полянах апокалиптических снов
Обрывают винты вертолетам железные дети.

Это было уже — чуть потравленные лепестки,
Желтоглазое «любит-не-любит» в красивой матроске...
У шипящей реки уходящие в воду мостки,
Серый пар изо рта и блестящие черные доски, —

Мы уходим по ним, худосочные богатыри
В чешуе потускневшей реликтовых тысячелетий.
Под сомнительный вальс — раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три —
Обернется на берег по пояс в воде тридцать третий.

Дай мне руку. Все прожито. Дым на аллее пустой.
Восходящее солнце скрежещет о голые ветки.
Жалкий отзвук безумия — облачко пара: постой,
Дай мне руку, прохладная длинная тень человека.

Дай мне руку. Все выжито медленно, тихо, до дна —
По деньку. Как сонет, ты цитируешь запах на память.
Эта женщина в черном всегда почему-то одна;
Только рыженький гравий скрипит у нее под ногами.

Протяни же мне руку, скажи мне, о чем я, о ком,
Обними меня, Господи, как эта жизнь одинока...
Эта женщина в черном и этот заброшенный дом,
Это детское счастье ответченного урока.

Протяни же, ведь если не ты, протяни же мне, дай...
И на черном подоле серебряная паутина
Все дрожит и трепещет, цепляясь за медленный рай;
Только рыженький гравий скрипит под подошвой ботинка.

Сатанинская гордость: родился в таком-то году.
Отлетает с ладони клочок сероватого дыма.
Начинается все голубой хризантемой в саду,
А кончается страшно, бессмысленно, непоправимо.

Ноябрь и холод белых хризантем
тугие стебли и притихший город
ты снова думаешь что родился затем
чтоб долгий звук продлить за клетку слова
и вновь узнать как горек лунный свет
увидеть то чего нельзя разрушить
и быть спокойным и надменно слушать
как падает на землю снег
ноябрь и листья темные цветов
как руки зябнувшие ломкий зимний воздух
ты дышишь холодом и думаешь о том
что теплится в твоих руках подзвездных
искристый снег и в свете фонарей
как хризантема бел вечерний город
на каждом лепестке судьбы твоей
ноябрь и холод

Я всего лишь осина у русской реки,
неизменная год от году.
И во мне оживают чужие стихи,
чтоб осыпаться осенью в воду.

Я всего лишь ребенок в коротком пальто
и в коричневых мокрых ботинках.
Я беру красный лист, чтоб пристроить его
на своих рисовальных картинках.

Я всего лишь коричневым карандашом
заштрихованная дорога.
И по мне, дребезжа на ухабах штрихов,
едет танковая колонна.

Я всего лишь чуть-чуть перекошенный дом
на обочине этой дороги.
Надо мной завитой аккуратным жгутом
чёрный дым поднимается строгий.

Я всего лишь зелёный носатый танкист —
неубитый, небритый и в шлеме...
Я всего лишь засохший осиновый лист
в чьем-то детском далеком альбоме.

О.Т.

То вздох
то дым
то долгий взгляд без слов
то ласточка стрельчатая у Фета
звук звук и звук —
в движенье облаков
в песках верлибров Нового Завета

То дым
то вздох
в смешенье языков
то крик младенческий
то шелест умиранья
звук звук и звук —
в одышке городов
в разрывах бомб
в руинах созиданья

Звук звук и звук —
мерцающая кровь
в холодных жилах ясного сознания
звук звук —
неразделенная любовь
к создателю
заблудшего созданья

То вздох
то дым
то станет вдруг неловко
словам срифмованным от странного соседства
поэзия
о божия коровка
десятилетней девочки кокетство

Это дым касается слегка
Неба в белых облачных заплатах,
Это гладит теплая рука
Спины русских слов продолговатых,

Это воздух августовских дней,
От воспоминаний загустевший,
Превращается в руке твоей
В красные июньские черешни, —

Это длится, длится долгий вдох —
Вплоть до дней, пока еще размытых,
О которых знает только Бог,
За которыми начнется выдох.

ОКТАБРЬ 1987

Вот и зимний пейзаж, только разве что снега в нем нет.
В городском октябре на исходе есть что-то воронье:
Та же важность в походке и тот же мундировый цвет,
Эмигрантская верность поверженной царственной кроне.

Что тут скажешь... Молчи и смотри, как безрукий циркач
Зависает на миг в апогее увечного сальто.
Барский бархатный хохот и детский бессмысленный плач,
И струится холодный песок по морщинам асфальта.

Обреченность бывает не только не страшной, но и,
Как бы это точнее, какой-то пророческой, что ли.
Увязают по локоть во времени руки твои,
Застываешь, как муха в стекле, и не чувствуешь боли.

Что тут скажешь... Мы стали уж слишком поспешно умны,
Слишком цивилизованны, чтобы жалеть человека.
Серый плащ циркача над октябрьским безлюдьем страны,
Горделиво кичащейся званьем избранницы века.

Этот миг апогея продлится не дольше, чем миг.
Удивленье на лицах сменилось холодной тоскою.
В октябре на исходе худой долгополый старик,
Опираясь на палку, стоит над Москвою-рекою.

Вот и зимний пейзаж, только разве что снега в нем нет.
В поумневшей вселенной спокойно, но как-то нечисто;
Та же музыка в сферах и тот же сияющий свет;
На лице циркача юродивое счастье артиста.

Что тут скажешь... Похоже, река обращается вспять.
Черный дым против ветра из белой трубы теплохода.
Все становится ясным, когда ничего не понять.
Туш немного оркестра. Увечное сальто. Свобода.

На этот мир ложится мгла ночная.
Похоже, что и вовсе нет иного.
И все же жизнь — холодная такая —
Красива, точно стиховое слово.

Казалось бы: возьмем, к примеру, осень —
Ну просинь, просесть, золото, багрец там...
Пожар листвы, вечнозеленость сосен...
А пахнет — пахнет обморочно — детством.

А детство... О, тут есть где развернуться —
И сам не знаешь из каких вселенных
И страх, и тонкость, и слова вернутся,
Как толпы интернированных пленных.

Чуть помолчат, обнимутся, заплачут.
И, привыкая вновь к своей отчизне,
Заговорят, задумают, заплачут
О Пушкине, о доблести, о жизни.

И будет так, как будто не бывало
Бессмысленной, изолганной чужбины,
И будет так, как жизнь предназначала —
Сентябрьский ясный день рябины...

И тут...

И вдруг:

всех будто не бывало.

И ветер листья по асфальту носит...

О чем бишь мы?.. Ночь. Хриплый пульс вокзала...

Ах, да, все то же: просинь, просесть, осень.

Ты ли, другой ли... Осталось-то — горсточка слов.

Серый орел расправляет гранитные крылья.

Пыли и боли взыскующий плебс городов

В клетоте века становится болью и пылью.

Черной вселенской коростой становится то,

Чьи торопливые жабры сосали из слизи

Воздух и волю... Накинь на супругу пальто,

Дочь научи исполнять без ошибок «Элизе».

Сим победиши, продравшись сквозь перхотный страх,

Жизнью заплатишь за эти слюнявые крохи.

Груды имперской Венеры торчат в небесах

-ическо-оческо-атско-флективной эпохи.

Так называется то, что, вообще говоря,

И пожирает тот воздух, которым мы дышим.

Звука хрустальный корабль, оборвав якоря,

Тает в бессмысленном небе, на солнце горя,

Ржавые звенья согласных роняя по крышам.

Красивовато?.. Но в этом спасительный яд —

Теплый, целующий, полурасборчивый шепот...

Не отличающий чуда от яда солдат

К солнцу вздымает рифленный распоротый хобот.

Как он трубит! Как манит его царственный бюст!

Как он хрипит и скребет эту землю ногтями...

Свет из окна. Сизо-пестрый сиреневый куст.

Дождик. Жена на веранде хохочет с гостями.

Что ты застыл, как ипритом пропитанный глаз,
Мертвый от всех этих завтра, вчера и сегодня?
Встань и иди. Да сними этот противогоаз.
Встань и иди. Он не нужен тебе, ты свободен.

Эпоха кончилась. Эпоха умерла.
Ты проводил ее под ручку до угла,
Небрежно бросил на прощание «пока».
Кто ж мог подумать, что вот это — «на века».

Ты не любил ее. За пошлую тоску,
За прядку потную, прилипшую к виску,
За туфли сбитые, за мучениц-княжон.
Ты был эстет, ты был пижон. Ты был смешон.

Она ушла. И не осталось ничего.
Ни от тебя, ни от нее, ни от кого.
Пустые рамочки на выцветшей стене.
Свобода совести в бессовестной стране.

ТАК...

Вымокнешь. Высохнешь. Жмешься поближе к костру.
В мертвенном небе пугающе облако движется.
Купишь билет, чтоб уехать обратно в Москву
С узкой платформы со странным названием «Жижца».

Тут уже можно б и кончить... Вот, разве что, — дым
Из-за оград в тишине деревенского вечера.
Так иногда восхитительно быть молодым,
Так... Но боюсь, что добавить, пожалуй что, нечего.

Детская залита желтым светом.
Ногу на ногу заложив,
Моя гувернантка с тисненым Фетом,
Делая на ударных нажим,
Диктует рассеянно: «Непогода.
Осень. Куришь...» Лисенок-перо
Выводит смешные в четыре года
Круглые «О».

Если это и было где-то,
То, конечно, не здесь.
Если это было где-то,
То, наверное, есть.

IV
ЭССЕ

Андрей ГОЛОВ

ТРИ ПЕТРА И ПАВЕЛ

Мессианский, мистический смысл исторического Бытия русского народа находит свое подтверждение и выражение на самых разных уровнях и в самых неожиданных проявлениях. В этом отношении неслучайность появления трех императоров, носивших имя Петр, и одного Павла приобретает почти онтологическую вертикаль.

Три Петра в русском осьмнадцатом веке, если продлить аналогии с апостолами Петром и Павлом, знаменует собой троекратное отречение ап. Петра от Спасителя. Русь в лице трех своих монарших тезоименитов ап. Петра также троекратно, цепenea от ужаса и отчаяния, отрекалась от семи первых веков своего христианского служения православию, от прежних этических и семейно-бытовых ценностей, и, наконец, от прежнего самоосмысления и самовыражения на уровне государственности. И отречение это было куда более резким и трагически-долгим, чем у ап. Петра, а раскаяние было подменено целым комплексом государственных мифов и увенчалось мученически-апостольским венцом событий начала XX века.

Император Павел же был столь же непостижимо-цельной и инакой фигурой среди императоров, как и ап. Павел — среди апостолов. У обоих духовная мощь личности проявилась после резкого, почти катастрофического перелома. Ап. Павел, воспитанный в духе ортодоксального, фанатического иудаизма и бывший неумолимым гонителем первохристиан, пережил, в сущности, прозрение и перерождение, когда ему на пути в Дамаск явился Господь, и стал поистине духоносным и непревзойденным адептом и истолкователем Нового Завета, неофитом, вершина духовного ведения которого о Господе осталась в последующие двадцать веков Христианства столь же недостижимой, сколь и одинокой.

Император Павел, выпестованный сторонником аристократической фронды Паниным в духе конституционного рыцарственного служения, в течение двадцати пяти лет день за днем, унижение за унижением, переживал переоценку преподносимых ему данностей и ценностей, ту невыносимую пытку двойственностью своего положения, которая, наконец, выразилась в ментально-волевых порывах, более всего напоминающих детский каприз по поводу желанной игрушки, с той лишь разницей, что в данном случае роль игрушки выполняло царство. Но, наконец-то вступив на престол, Павел все свое недолгое царствова-

ние посвятил упрямому и непреодолимому убеждению всех и в первую очередь себя самого, что он один знает, умеет и видит за всех, но не в силу личных заслуг, ибо при всей гипертрофированной самонадеянности Павел был человеком негордым, а в силу убежденности в том, что он любым своим поступком творит не свою волю. Знаменитое изречение ап. Павла «Не нам, не нам, но имени Твоему», выбитая на русских рублевиках Павловского царствования, лучше всего объясняет и его цельность при всех антиномиях, и религиозную истовость. Обычно историки обходят молчанием глубокую и искреннюю религиозность Павла. Между тем разграбление и закрытие русских монастырей, процветавшее при Екатерине под предлогом секуляризации, при Павле было немедленно прекращено, и одним из первых деяний его на посту министра-протектора Мальтийского ордена, стало перенесение христианских святынь (мощей и первоявленных икон) в Россию. В то же время поведение Павла отнюдь не вписывалось в традиционные русские представления о православном царе и не могло создать ему достаточно много сторонников в народе, что еще более усугубляло трагизм его личности. «Бедный Павел!» — вздохнула о нем тень Петра, явившаяся ему, тем самым создав аналогию-контроверзу явлению Спасителя ап. Павлу.

Трагические и поистине безвременные кончины всех трех Петров и гибель императора Павла еще более усиливают онтологический параллелизм с крестной смертью апостола Петра и Павла, придавая ему надчеловеческое, метаисторическое содержание, проникнуть в которое так же трудно, как и не замечать его или считать случайностью.

Китайские иероглифы, в сущности, совсем не знаковая система, как обычно принято полагать. Иероглиф передает информацию не только своими элементами, но и просветами между ними, зиянием Великой Пустоты. В известной мере иероглифы — изысканная рама, манерная оправка и даже кованный бронзовый витраж, единственная цель которых — донести до зрачков и подсознания островки и частицы Великой Пустоты, благоволившие уместиться в них. Сложность иероглифа обусловлена не количеством его элементов, а тем, что он сопрягает в своем витраже частицы Великой Пустоты, несущие знание о различных реальных и ментальных понятиях, дает одновременно и символ, и его истолкование, и даже мнение о нем миллионов духовных существ, прикасавшихся к нему кисточкой и судьбой.

Лампа с абажуром, творящая конфуциански-архиерейский обряд стояния на столе, самодостаточна, как проповедь дуализма и амбивалентности, и непричастна ни к благоговейной мудрости, ни к сладострастно-потягивающейся мерзости, излагаемой перед ней на любом земном алфавите. Ее вольфрамовая спираль, делающая технократический реверанс в сторону спирали бытия, высокомерно отказывается от старомодных свечей и тем паче — масла, но ее никогда не поднимут над и перед своей явью девы благоразумные, шагнувшие на порог вечности встречать Жениха, грядущего в полночи.

Розанов, разглядывая лежащие на ладони пантикапейскую дидрахму или свейский ефимок с признаком, испробованный на зуб кем-то из окружения Василья Шуйского, и используя их как отправную точку для своих медитаций о сравнении иудейства и христианства, был так же далек от осознания сущности денег, как и те, для кого их роль исчерпывается зиянием номинала. Эстетический путь к постижению этой сущности, воплощенный в монистах на шеях султанш арабского мира или гибельных цыганок, более логичен, но так же бесполезен. Но трактаты Адама Смита или штудии Маркса, поглядывающие на сущность денег искоса и свысока, в сущности, ничего не проясняют, ибо по-настоящему деньгам деньгово воздает только притча о денарии Кесаря.

В сущности, будущее — великолепная возможность раскаяться в прежних грехах и промахах и особенно в том, что успел совершить их слишком мало для того, чтобы рассчитывать на полное прощение.

Будущее обыкновенно становится прошлым куда раньше, чем мы соберемся как следует испугаться и как следует встретить его. Прошлое — это бывшее будущее, и хотя бы в силу одного этого заслуживает если не прощения, то хотя бы права свидетельствовать о себе и быть выслушанным.

Голландские натюрморты XVII века со всеми их часами, виноградниками и крабиками, имеют гораздо большее право назваться трактатами по метафизике и даже оккультизму, чем сочинения Якоба Беме и Сведенборга. Сочетание реалий из разных плоскостей бытия, предлагаемое Тарборхом и Хедой, Ван Бейереном и знаменитым Снейдерсом, удручающе прекрасно, невыносимо изысканно, если забыть, что любая из этих реалий и предметных данностей имеет смысл и значение только как символ и рама для знания, сквозящего между ними и сквозь них. Ближе всего они подходят к китайской Великой Пустоте — Сюйдао, с той только разницей, что пустота как бы выталкивает предметы из себя и позволяет им непринужденно заполнить пространство, чтобы еще нагляднее оттенить ее величие, тогда как вещицы и существа на натюрмортах ведут между собой некий, почти эротический, диспут, убеждая и помогая друг другу потесниться или принять более естественную позу в едином немом хоре, воспевающим «Теггем» Неведомому им самим Богу.

Противоположности, как отмечали еще римляне, имеют привычку сходиться в самых неожиданных плоскостях, проливая с китайских свитков шань-шуй (горы-воды) и из оссиановских водопадов Макферсона целые потоки аргументов в пользу того, что Запад и Восток в определенном смысле находятся куда ближе друг к другу, чем, скажем, Франция и Германия. Японская эстетика бликов луны в озере, корейские сиджо с их первозданной и негармонизированной мощью горных водопадов и лесов, уже упоминавшиеся китайские пейзажные медитации в жанре шань-шуй по одну сторону пространства и времени и кельтские, особенно оссиановские, попытки надления дикой природы собственным бытием, придания ветрам, водам и дубравам самодостаточной информативности и сюжетной ценности — по другую — представляют собой, по существу, данную на разных языках и алфавитах запись одного и того же монолога природы, убеждающей человекoв не исказить ее мистический смысл или хотя бы полюбоваться им на прощание.

Идеал абсолютной статики, постоянства, сохранения всех тех религиозно-государственных идей и ценностей, которые были унаследованы Византией от Рима и апостолов, так неуклонно и обреченно воплощавшиеся ею в течение одиннадцати веков, был предрекан и зафик-

сирован уже в самом названии ее столицы. Константинополь — град Константина, город постоянного и постоянства, подобно магическому кристаллу, вбирал в себя ослепительно-совершенные и привлекательно глубокие лучи самых разнообразных учений, художественно-философских систем и т.д., доводил их до почти маньеристического совершенства, до вершины акме и упоенно любовался ими. Но взор его повергал в гипнотическую летаргию все, на что он обращался, ибо, завораживая, «замораживал» и уже в силу этого обеспечивал долгое сохранение святынь, административно-военных структур, ритуализированных государственных актов, и т.д., в то же время почти начисто лишая оберегаемые ценности возможностей внутреннего развития. Авторитет василевсов и патриархов удостоверял, что все истины уже явлены и поняты, все пути к Господу открыты и указаны, и константинопольское постоянство есть та абсолютная вершина, выше которой по эту сторону реальности подняться человеку невозможно и незачем.

Но магический кристалл Византии обладал онтологическим трагизмом, ибо, вбирая лучи, он не проецировал их ни во времени, ни в пространстве, а лишь ревниво оберегал точку их фокуса, видимую лишь посвященным. В этом смысле Византия поистине построила «царствие не от мира сего», и ее игемоны и логофеты были не меньшими мистиками, чем афонские исихасты. И когда ушли те, кто обладал даром видения этого царства и молитвенного охранения его, оно просто перестало существовать. Византия в известном смысле была видением, ментально-энергетической сущностью, во всей полноте постигаемой только верой. Видением тем более мощным и реальным, чем большее число отдельных человеческих волей и отдельных народов верит в его подлинность.

Ни в одной из цивилизаций прошлого евнухи не играли столь видной и важной роли, как в Византии. Логофеты дрома, протеспафарии, стратеги и даже патриаршие протосинеллы, избавленные от бремени пола в Армении, Киликии или Македонии, не тратя времени и жизненных сил на покорение Евиных дочек и тем паче на пестование отроков и отроковиц, завоевали для Константинополя новые провинции и деспотии, возвышали дух внутренним деланием, привозили во влахернский храм омофор и посох Пречистой и были носителями активного государственного начала в этом царстве абсолютной статики, но тоже подали свои высокие диаконтовые голоса в пользу мнений о творческом бесплодии Византии.

Фразу надобно принимать как дар, как нерукотворную молекулу знания. Но, чтобы приобщиться к высшему ведению, надобно набраться отваги и помочь словам начать цепную реакцию распада линейного смысла, перехода звучания и значения в новое, непредставимое прежде, качество, которым новая реальность пытается утвердиться в мире.

ЕКАТЕРИНА МАЛАЯ,

или достопамятные мемуары о княгине Екатерине Романовне Дашковой, урожденной Воронцовой, кавалерственной даме и двух российских академий возглавительнице

«Какая женщина! Какое сильное и богатое существование!» — писал о ней Герцен.

А вот слова подружки ее старости, англичанки Катрин Вильмот: «В ней все оригинально. Она учит каменщиков класть стены, помогает делать дорожки, кормит коров, сочиняет музыку, пишет статьи, знает до конца церковный чин и поправляет священника, если он не так молится, знает до конца театр и поправляет своих домашних актеров, когда они сбиваются с роли; она доктор, аптекарь, фельдшер, кузнец, плотник, судья, законник. Она, не задумываясь, говорит разом по-французски, по-итальянски, по-русски, по-английски.

Она родилась быть министром или полководцем, ее место — во главе государства».

Трудно поверить, что все это относится к одному человеку, тем более — женщине, тем более — жившей в XVIII в. И тем не менее это далеко не полный перечень талантов, занятий и увлечений знаменитой «Екатерины малой» — Екатерины Романовны Дашковой, едва ли не единственной русской энциклопедистки. Не случайно ею интересовались Дидро, Вольтер и европейские монархи, а Екатерина Великая в письмах к Дашковой называла себя ее преданным другом. Дашкова — активная участница переворота 1762 г., возведшего Екатерину на русский престол.

Екатерина Романовна Дашкова, урожденная графиня Воронцова, родилась в 1743 (1744?) г. в семье, принадлежавшей к олигархическому барству. Ее восприемниками при крещении были императрица Елизавета и великий князь Петр Федорович, будущий император Петр III, тот самый, в низложении которого крестнице суждено было сыграть такую яркую роль. Ее мать умерла рано, и Дашкова воспитывалась в семье дяди, великого канцлера М. И. Воронцова. Забавно, что, владея четырьмя языками, она не говорила по-русски, и выучила родной язык

лишь после замужества, стремясь угодить свекрови. Предоставленная самой себе, девочка много читала, к 15 годам собрала богатейшую по тем временам библиотеку (более 900 томов). Но романы мало занимали ее. «Любимыми моими авторами были Бейль, Монтескье, Вольтер и Буало», — признается Дашкова в своих «Записках». — «Глубокая меланхолия, размышления над собой и близкими... изменили мой живой, веселый и даже насмешливый ум».

Лекарство от меланхолии не заставило себя долго ждать. Конечно, это была любовь.

Дашкову трудно было назвать красавицей. Не отличаясь особой грацией, она даже в юности сторонилась балов и наотрез отказывалась румяниться и пудриться. Зато в другой красоте, очаровании ума и блеске остроумия, соперниц у нее, если не считать Екатерину, почти не было. В Дашковой рано пробудилось сознание своей неординарности, инакости. Она жаждала дружбы и любви. «Все ее привязанности отличались полнотой и какой-то законченностью: она всякому чувству отдавалась вся», — писал о ней историк Д. Л. Мордовцев.

В своих «Записках» Дашкова вспоминает, как однажды, поздно вечером возвращаясь из гостей, она увидела гвардейского офицера, статного красавца, и с первого взгляда полюбила его. Он отвечал ей взаимностью, и 15-летняя графиня Воронцова вскоре стала княгиней Дашковой. Романтическая идиллия, да и только!

Другая версия, принадлежащая перу К. Рюльера, секретаря французского посольства в Петербурге, выглядит иначе. Как-то раз неотразимый красавец князь Дашков наговорил юной графине массу вольных любезностей. Она выслушала их и позвала дядюшку: «Князь делает мне честь, он просит моей руки»... Дашков не посмел признаться великому канцлеру, что он вовсе не имел в виду этого, и повел племяннику вельможи под венец. Свадьба прошла скромно: болела жена канцлера, кузина императрицы Елизаветы.

Как бы там ни было, мужа она любила горячо и преданно. Молодые поселились в Москве. Через год у них родился ребенок, а еще через год, вновь беременная, Дашкова узнает, что ее муж тяжело заболел, и его перевезли в дом тетки. В этот момент у княгини начались схватки, но она, несмотря на все уговоры, решила отправиться к мужу. Пройдя несколько улиц и из последних сил поднявшись по лестнице, она увидела, что муж жив, и потеряла сознание. Спустя час у нее родился сын Михаил.

«Женщина, которая умела так любить и так выполнять свою волю вопреки опасности, должна была играть большую роль в то время, в которое она жила, и в той среде, к которой принадлежала» — писал об этом эпизоде Герцен.

В июне 1761 г. Дашковы перебрались в Петербург. Великий князь, крестный Дашковой, пригласил их к себе в Ораниенбаум: родная сестра Екатерины Романовны, Елизавета, была его официальной фавориткой. Со своей женой, будущей Екатериной Великой, Петр обходился довольно резко и холодно, а Дашкова буквально влюбилась в нее. Екатерина, стремясь заручиться поддержкой в аристократических кругах, преувеличенно пылко отвечала на ее дружбу. Они вместе мечтают о славе, сочиняют стихи и статьи, переписываются. Дашкова искренне обожает свою старшую подругу, впавшую в немилость, а та скорее играет в чувства и слова. Ее письма к Дашковой — расчетливые жесты умного психолога, вербующего себе сторонников в борьбе за престол.

В Рождество 1761 г. скончалась императрица Елизавета. На трон вступил Петр III, намеревавшийся сослать Екатерину в монастырь и жениться на Е. Воронцовой. Надо было действовать. И Дашкова бросается агитировать друзей в пользу Екатерины, создает нечто вроде кружка заговорщиков, подготавливая «революцию», как она ее называла — тот самый переворот 1762 г., после которого престол перешел к Екатерине. 18-летняя Дашкова наивно верит, что действительно держит в руках нить событий. А осторожная Екатерина за ее спиной организует настоящий заговор, вербуя гвардейских офицеров и влиятельных сановников. Увы, кружок восторженной «Екатерины малой» был лишь романтической ширмой для готовящегося переворота. 28 июня 1762 г. Петр III был свергнут, а через несколько дней убит в Ропше братьями Орловыми.

Вскоре императрица наградила Дашкову орденом и назначила ее мужа командиром Кирасирского полка, полковником в котором считалась она сама. По ее настоянию Дашковы поселяются во дворце, и у них часто бывает государыня. Дочь Дашковой впоследствии рассказывала, что ее отец, князь Михаил, был влюблен в Екатерину.

Дашкова считала, что Екатерина обязана короной именно ей. Но когда на первый план вышли истинные заговорщики, особенно Г. Орлов (а именно его княгиня особенно невзлюбила), ставший фаворитом императрицы, оказалось, что Дашковой среди новых приближенных места нет. Затем последовало и резкое охлаждение со стороны Екатерины. Владыки не любят чувствовать себя обязанными кому бы то ни было. Наступило горькое разочарование. Много лет спустя Дашкова писала: «Знаю только два предмета, которые были способны воспламенить бурные инстинкты, не чуждые моей природе: неверность мужа и грязные пятна на светлой короне Екатерины». А пятен этих с годами становилось все больше... Увы, незадачливый Петр III как в воду глядел,

говоря своей крестнице: «...безопаснее иметь дело с честными простачками, как я, чем с большими умами, которые выжмут из вас сок, а потом, как апельсинную корку, выбросят за окно...»

Настало время испытаний. В Москве умер сын Дашковой, а вскоре ее ждал новый тяжелый удар судьбы — смерть мужа. Дашкова, которой едва исполнилось 20 лет, осталась вдовой с двумя детьми и кучей долгов мужа. В будущем ее руки добивались многие, но она навсегда сохранила верность первой любви и больше замуж не выходила.

После кончины мужа Дашкова на 5 лет поселяется в деревне, а в 1769 г. отправляется в свою первую заграничную поездку.

Маршрут ее странствий — Кенигсберг, Данциг, Берлин, Ганновер, Берлин, Бельгия, Англия, Швейцария и, конечно, Париж. В Кенигсберге произошел забавный эпизод. На стене гостиницы, где остановилась Дашкова, висела картина, изображающая раненых русских солдат, просящих пощады у пруссаков. Оскорбленная этим, Дашкова покупает краски и перекрашивает мундиры солдат. Теперь уже поверженные пруссаки просят пощады у русских, и удовлетворенная княгиня продолжает путь. Она всюду чувствовала себя прежде всего русской.

И еще эпизод, показательный для характера Дашковой. Во время одного из ее путешествий с запяток кареты сорвался слуга, и его переехали два экипажа. По правилам медицины XVIII в. главным средством в таких случаях считалось кровопускание. Врача, естественно, не было, и никто из мужчин не решался взять в руки ланцет. И тогда княгиня твердой рукой вскрыла несчастному вену, и ему сразу стало легче...

В Англии Дашкова осматривает Лондон и Оксфорд, где русские студенты и вице-канцлер устраивают ей пышный прием. В Париже она встречается с самим Дидро. Знаменитый философ очарован редкой эрудицией и остроумием княгини. А в Швейцарии другой властитель умов Европы, легендарный Вольтер, рассыпается перед Дашковой в любезностях. Из Швейцарии княгиня через Германию возвращается на родину после более чем двухлетнего отсутствия.

Вернувшись домой и так и не дождавшись приглашения ко двору, Дашкова несколько лет проводит в своем имении. Живет почти уединенно. Правда, есть косвенные данные о ее причастности к несостоявшемуся заговору Н. И. Панина. Панин, кстати, родственник Дашковой по мужу и воспитатель наследника престола — Павла, намеревался возвести его на трон, узурпированный Екатериной. Один из участников заговора оказался предателем и написал донос, да и сам Павел, ис-

пугавшись, рассказал обо всем матери. Но никаких репрессий не последовало. В 1775 г. Дашкова, выдав замуж дочь, вновь, на этот раз — на долгие 8 лет, уезжает в Европу. Официальный предлог — образование сына. С нею едут и дочь с мужем.

Теперь Дашкова направляется в Шотландию и поселяется в Эдинбурге, в королевском замке. Ее сын учится в знаменитом университете, а она заводит знакомства в кругу ученых, слушает ораторов, много читает и даже сочиняет музыку. В церкви Дублина (Ирландия) и в Эссексе (Англия) проходят концерты из ее произведений.

В 1779 г. сын Дашковой Павел заканчивает университет, но княгиня не торопится на родину. Она отправляется в Голландию, Швейцарию и Италию, где со всей своей свитой целые дни проводит в музеях, галереях и библиотеках, поднимается на Везувий, осматривает Геркуланум и Помпеи. В Ватикане она встречается с папой Римским. Наконец из Петербурга приходит милостивое письмо от Екатерины, и в 1782 г. Дашкова спешит в Россию.

Здесь ее ждут новые милости. Екатерина, которой, по словам Потемкина, «надоели дураки», в начале 1783 г. назначает Дашкову директором Петербургской академии наук, а осенью того же года — председателем Российской академии. Дашкова с присущей ей энергией успевает буквально все. Она издает журнал «Собеседник любителей русского слова», где помещает свои статьи и пьесы сама императрица. Дашкова тоже сочиняет и стихи, и пьесы. На сцене Эрмитажного театра идет ее комедия «Тойсеков, или Человек бесхарактерный». Дашкова вновь занимает одно из первых мест в окружении Екатерины. Но в 1794 г., после публикации Дашковой антимонархической трагедии Я. Б. Княжнина «Вадим Новгородский», ее отношения с императрицей вновь ухудшаются, и княгиня получает двухгодичный отпуск. Екатерина Великая прощается с Екатериной малой подчеркнуто холодно.

Известность Дашковой к тому времени достигла США. По рекомендации Б. Франклина она была принята в члены Филадельфийского философского общества.

В 1796 г. после смерти Екатерины на трон вступает Павел. Он увольняет Дашкову со всех постов и отправляет в ссылку в Новгородскую губернию. Все недолгое царствование Павла княгиня провела в деревне, много читая и работая в оранжерее.

В 1801 г. новый император Александр I снимает с Дашковой опалу, и та поселяется в Москве. Увы, отношения с сыном и особенно дочерью у нее не сложились, и в последние годы она сильно тяготится одиночеством. Ее компаньонками становятся англичанки сестры М. и К. Вильмот. В 1805-1806 гг. они активно помогают Дашковой в рабо-

те над ее «Записками». В 1807 г. ее ждет последний удар судьбы: на 42-м году внезапно умирает ее сын. А в 1810 г. скончалась и сама Екатерина Романовна.

...в Санкт-Петербурге высится величественный памятник Екатерине II. Его пьедестал украшают изваяния «екатерининских орлов» — сподвижников российской Минервы: Орловых, Потемкина, Суворова, Румянцева. Среди прославленных полководцев и государственных мужей выделяется статуя блестящей дамы. Вы правы: это княгини Дашкова.

ОДА ДАО

заметки в форме акафиста

Прекрасное не может быть огромным, во всяком случае — для японца. Прекрасное — это скорее россыпь знаменитых зернышек нэцкэ, чем монумент высотой в десятки метров. Огромное (океан) пугает и отталкивает, крошечное (островок из единственной каменной глыбы, на которой угнездилась икебана из карликовых сосен) пленяет и притягивает. Япония — единый поток культуры, почти не впадающей в элитарность и примитивизм и неудержимо тяготеющей к миниатюризации.

Это — отражение островного (ибо островов — многие тысячи) сознания в эстетике. Эстетике, доведенной до маньеристической утонченности, не перестающая быть живой и дышащей, словно купол Фудзи на гравюрах Хокусая.

Ямато — уникальный сад островов посреди океана.

Ямато — самурай, делающей клетки — но не для птиц и обезьян, а для сверчков.

Ямато — миниатюризация стиха (трех- и пятистишия) с раз и навсегда заданным числом знаков. Но чем больше ограничений, тем заметнее мастерство.

Ямато — длинный блик на хамоне меча, узоры закалки на клинке которого похожи на застывший поток лавы. Первое излияние энергии произошло под молотом кузнеца, следующее — в каждом бою.

Ямато — столько же сект, сколько и кланов, и вариантов буддизма, возвышенных или адаптированных почти для каждого.

*

Японская готовность впитывать все лучшее (или кажущееся таковым) из культуры европеоидно-американтропового Запада — не знак собственной слабости и недостаточности, а наоборот, проявление глубинной уверенности в своем внутреннем стержне, древней исторической самости, которую не поколеблют никакие заимствования.

Только в Японии с ее минимумом пространства мог возникнуть такой архаический гапакс, как сумо. Сумист — миниатюризация наоборот, родовое тело клана в одной телесной оболочке, которому необходимо — или достаточно — вытеснить другое родовое тело за пределы поля боя, совпадающие с границами бытия.

*

Ямато — сразу несколько систем письменности, имеющих социальную, историческую и даже гендерную привязку.

Ямато — уникальность женского служения, покорность, вышедшая из чувства собственного превосходства и — забывшая возвратиться в него, залюбовавшись белой хризантемой.

Ямато — дзэновский коан, двойное пророчество действием о судьбах императорской России: меч самурая, вскользь рассекший кожу на виске будущего Николая II, и мечи пушек японской эскадры, надрубившие в Цусиме и Порт-Артуре первоцвет российского колониализма.

Ямато — самоубийство как последний аргумент в споре или при невозможности воспользоваться другими. Самоубийство, которым восхищаются и описывают, словно исполнение завета бусидо: из всех путей выбирай путь, ведущий к смерти.

Ямато — девочка, вырезающая бумажных журавликов. Но журавлики улетели, а белые шарики одолели красные.

*

Поистине уникально религиозное мировидение синто (Путь богов) с его способностью объявлять kami — одновременно божеством и обитателем божества — и примитивные предметы быта (гребни, ножи, зеркала и пр.), и сложные философские абстракции, и даже богов чужих пантеонов. Отсюда понятна возможность объявить kami и православные иконы, что в глубинном смысле (будучи диаметрально противоположными) почти не противоречит христианскому учению.

Отсюда же — японская открытость нескольким волнам христианизации (португальцы, голландцы, иезуиты), и исступленная ярость в их

истреблении. Исключение — проповедь православия, с которой в Ямато подвизался св. Николай (Касаткин), апостол и первый православный епископ Японии. Поэтому японцы нередко называли православие «Никола-до», то есть «Путь Николая» или, проводя параллель со стилями боевых искусств, «школа Николая». Никола-до подвергся суровому испытанию в годы русско-японской войны, ибо многие воины-самураи и просто солдаты, принявшие православие, оказались перед трудным выбором: что предпочесть — новую веру или верность родовым корням и императору. Но св. Николай снял это затруднение, благословив новообращенных выполнять свой долг перед императором. Может быть, поэтому японцы не добивали, а спасали раненых русских после постыдной увертюры к краху империи, сыгранной стволами японских линкоров и броненосцев под Цусимой и в Чемульпо.

*

Ямато — собрание мириад листьев, десятки тысяч красавиц, дюжина эпох, несколько сёгунатов и мегаполисов и одна-единственная династия, никогда не прерывавшаяся, как луч от жемчужины, упавшей с неб.

Ямато — божественный ветер камикадзе, потопивший две флотилии монголов и защитивший беззащитных воинов, чтобы те не отвлекались на внешние призраки и более целенаправленно истребляли друг друга.

Ямато — буддизм в облике Бодхидхармы, с почтительной презрительностью кивнувший богам синто и согласившийся (ради выживания и успеха проповеди) считать своих будд и бодхисатв аватарами синтоистских kami высшего ранга.

Ямато — непостижимая для европейских колбасников Укэмоти, богиня еды, существование коей можно ощутить лишь генетической памятью полуголодных, наедавшихся досыта всего несколько раз за последние двадцать поколений.

Ямато — десять тысяч (!) погребальных курганов и бессчетное множество глиняных фигур в них, превосходящее терракотовую армию Цинь Шихуанди из соседнего Китая — вечного объекта подражания, цитирования и влюбленной ненависти.

*

Феномен литературы. Мужское дело — стихи, женское — проза. Воин (даже сёгун) не мог себе позволить слишком долго утруждать

кисть и, не расставаясь с вакидзаси (малым мечом), скупо набрасывал 19 (хокку) или 31 (танка) слогов о чем-нибудь миопийно-медитативном, так что исписывать свитки повестями (моногатари; кстати — звучит почти как монография) и лирическими дневниками приходилось господам внутренних покоев.

Еще — ворота, за которыми (за исключением освященного пространства) нет ничего материального. Два столба и непропорционально-тяжелая крыша-свод, изнемогающая от груза архаической символики — вполне достаточные элементы храма, где можно предаваться созерцанию и совершать ритуалы. Это своего рода сакральный проем для входа в иной мир, аскетически роскошный аналог триумфальных арок Древнего Рима.

*

Ямато — архаичный запрет крестьянам вкушать мясо во время посадки риса. Но положить кусок мяса в канаву у поля, чтобы вода разносила кровь из него по всем полянкам — вполне благочестивый обычай.

Ямато — загадочные векторы миграции, приносившие на Острова избыток генофонда не только из Кореи и Китая, но и из Новой Гвинеи, Полинезии и Океании, чтобы соединить все это в фантазмагорическом синтезе цивилизации синто.

Ямато — два меча, большой и малый, первый из коих оставляли при входе в дом, а со вторым не расставались даже во время трапезы и занятий любовью.

Ямато — циклопическое явление Куросавы, кино, невольно показавшее захолустное убожество Голливуда, его априорную вторичность, особенно заметную, если смотреть с самого верха ворот Расёмон и тем более — со скалы почти у вершины Нараямы.

Ямато — Три имперских сокровища (зеркало, меч, яшма) — три стези общения с дольным и горним миром. Зеркало — отражение космоса и приглашение богам войти в зазеркалье. Меч — душа война, молния, изливающая небесную волю. Яшма, или ожерелье — оберег, защита, стабильность.

*

Япония — попытка ворелигиозить априорно внерелигиозное сознание, создать синтез синто и буддизма, а еще лучше — универсальную религиозно-философскую «пилюлю» (по выражению одного мыслителя XIX в.), компонентами которой могут быть и конфуцианство, и христианство, и местные доязыческие верования (по принципу — «что-ни-

будь да подействует»). В итоге — чисто эстетический подход к религиозным обрядам: поминовение предков — в синтоистском святилище, созерцательное прикосновение к вечности — в буддийском дацане, бракосочетание — в христианском храме.

*

Ямато — цивилизация воинов, мечтающих одерживать победу, не извлекая меча из ножен, ибо обнаженный меч может вернуться в них, лишь омывшись кровью.

Ямато — неотвратимая (мотивированная только традицией) готовность отведать кусочек смертельной сырой рыбы и в случае неудачи перепоручить более успешную попытку своей следующей инкарнации.

Ямато —

Ямато —

Ямато —

Александра КОЗЫРЕВА

...ПО ТРАВЕ, ПО КАМНЯМ, ПО ПЕСКУ...

(о книге стихов Ивана Макарова)

Пишущий эти строки автор имеет основания отнести себя к категории читателей всё читаемое в момент различающих на литературу подлинную и, так сказать, одноразовую. И если вторую (за исключением косвенной, редакторской либо литературно-критической нужды) никогда впредь не захочется взять в руки, то первой душа зачитывается, напрочь выпадая из пространственно-временного континуума. Именно таковой оказалась для меня и книга стихотворений Ивана Макарова. И хотя ряд его стихов были известны и любимы и ранее, переход их количества в качество самой книги стал моментом безусловной поэтической убедительности.

Не потому ли с таким несколько досадным опозданием появилась в печатном мире нынешней русской поэзии эта книга, что образы ее стихов, кажущиеся подобранными (ахматовское: «когда б вы знали, из какого сора...») из незначительной будто бы обыденности мегаполисной окраины создают в итоге неповторимую драгоценную ткань, подобную результату труда — равно титанического и ювелирного — золотошвейки? (Впрочем, человеческое ли это дело — судить о сроках?) Само название книги — «...По траве, по камням, по песку ...» выглядит случайной ниткой, наспех выдернутой из волшебной этой ткани. Перечитывая книжку, в мысленном диалоге с автором, не раз хотелось предложить ему переименовать ее другой строкой — настолько неизмеримо много их в книге — ярких и яркостью своей завораживающих. Но, наверно, он все же не совсем не прав в своем выборе — это «босоногое» название может послужить импровизированным тестом на внутреннюю чуткость вероятного читателя. Ведь сказал же кто-то неглупый: странно пленяться строчками книжной поэзии, если ты не способен плениться лоскутом неба в окне с чудом плывущего по нему облака. Да и первая спонтанно возникающая ассоциация (при полном, впрочем, несходстве поэтик двух авторов) — строки Высотского: «поэты ходят босиком по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души». По моему тоже несомненно, что категории обнаженности души, открытости миру, ранимости миром — определяющие для различения в авторе: *поэт* — не *поэт*. «Я не лекарство, я — боль» — столетием раньше скажет о себе другой поэт, Иван Бунин.

Поэтическое кредо Ивана Макарова — «говорить горячо и неясно» (стихотворение «На железной дороге»). Он как будто опасается чрез-

мерной определенности поэтического высказывания («...то ли нас изучает природа, / то ли мы изучаем ее...») Но «неясности» и неопределенности этого рода сравнимы с псевдонебрежностью кисти импрессионистов. Результат того и другого — равно вдохновенные и пленительные стихи и живописные полотна.

Вообще удивительно, как бесприютный Верлен свежеестроенных предместий мегаполиса — лирический герой стихотворной книги — возвращает этим самым предместьям (не очень-то, согласимся, гармоничным по самому своему замыслу) полноприродное бытие — где «цветущий тополь стар, пушист и светел», где «из-за крыш выглядывает серо / небо, неразлучное с душой», где обитают «крайности любви и постоянства / в полусвете полутемноты».

Щедрость и спонтанная вдохновенность образов поэзии Ивана Макарова такова, что я решительно затрудняюсь определить цвет своей зависти к автору, читая такие, к примеру, строки: «Мы смотрим в пыльное окно, / Там, как живая, перед нами / Степь проплывает, как кино / И как поверженное знамя». Или: «Уходят от нашего берега / Под шелест напутственных слов / Подобия чрева и черепа / Эскадра воздушных шаров...». Но вдохновенной мастерской зарисовкой автор не ограничивается: кода стихотворения разрешается, увы, похоже, вечной русской трагедией: «Летят невесомы как будто бы. / Летят: ни отстать, ни остыть.../ Внизу Коммунарка и Бутово, / Суханово, сосны, кресты...» Трагедийно разрешается и потрясающее стихотворение о невинном символе советского мещанства — каменных слониках («Дни скакали огненными львами...»)

Позволю себе несколько продолжить поразительный образный ряд стихотворений Ивана Макарова: и уже упоминавшиеся шары — «воздушные, как привидения, / неловкие, как индюки», «темной рыбой в ловчей сети / отдаленное село», даже такое, на первый взгляд поэтическое «неудобье» железнодорожных железок: «помнит железо: огнем его жгли, / лили рекой нестерпимого жара. / помнят колеса: как лавой текли / и озаряли собой сталевара», и саму железную дорогу, как метафору жизни: «мы на станции будем сидеть, / как язычески-местные боги, / и сухими глазами смотреть / на железо железной дороги. / а потом от свистка до свистка / говорить горячо и неясно — / то о том, что она коротка, / то о том, что она не напрасна».

И, конечно же, незабываема поразительная светотеневая пластика стихов книги: «Свет бежит, обгоняя машину / и торопится спрятаться в тьму» и: « В темноте мелькающих поселков / Золотые, зыбкие огни...»

Разумеется, главное (ибо — неповторимое) в поэте — **как** он пишет. Будем надеяться, литературоведы грядущих эпох разложат по полоч-

кам все особенности поэтики Ивана Макарова. Пока же следует отметить, что его поэзия — анти-дидактична, анти-пафосна, это лирика в ее приближении к максимально-возможному воплощению в слове. Стихи Ивана Макарова — назидательный пример органической близости собственно-поэзии и философии.

В одной из своих статей Мераб Мамардашвили говорит о драматическом пребывании редких точек звездного света в толще окружающей их непроглядной тьмы — и чем ярче свет такой точки, тем плотнее сгущается вокруг нее тьма. Но это не основание для того, чтобы переставать светить, — добавляет потом философ. В довольно представительной (по поэтическому объему) книге Ивана Макарова всего ничего стихов, которые можно было бы пусть с натяжкой, пусть условно, но все же отнести к числу оптимистических. Но закончить ее коротенький обзор почему-то хочется именно одним из них: «Заслон унынью и убытку! / Еще мы жизнью не убиты! // Деревья, улица, калитка, / Окольный путь самозащиты. // Не время лгать, не надо плакать, / Весенний сад уймет отчаянье, / Он лепестками будет плавать / В твоём окне, в моём стакане. // Все будет честно, по порядку. / Наш долг преодолеть упадок. // Ты приведи себя в порядок, / И мы с тобой пойдем вприсядку».

10.08.06

Сергей Федякин

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЧЕРНОВИКА

На бумажных клочках

ПРЕВРАЩЕНИЕ ЧЕРНОВИКА

«Оправдание черновика», — быть может, слова эти были произнесены не напрасно. Часть своих «Комментариев» Георгий Адамович даже публиковал под таким названием. Значит чувствовал, как близко стоят его отрывки к черновику, этому странному литературному явлению, которое скромно пряталось в бумагах писателей в минувшие времена, в их письменных столах, и вдруг в XX веке — стало настойчиво проситься наружу.

Впрочем, черновик — это чтение не для всех. Как грустно и сиротливо выглядели последние, невыкупленные тома полных собраний даже во времена, когда классиков расхватывали. Они расходились медленней, достадались тем, кого мучит в писателе не внешнее (романы, повести, рассказы), но — внутреннее, интимное: письма, дневники, записные книжки, «подготовительные материалы» и даже «варианты», — целый неисследованный архипелаг. Обычно на эту литературу смотрят только как «приложение» к тому или иному автору: «письма Пушкина», «дневники Толстого», «записные книжки Чехова» и т.д. О письмах, как о жанре, — кое-что сказано, о дневниках — тоже. Но о «записных книжках» (не «записных книжках такого-то», а о «записных книжках вообще») — мало, почти ничего. А уж «подготовительные материалы» (или, как в ПСС Достоевского — «рукописные редакции») — это уж совсем нечто непроницаемое. А ведь и это — жанр, загадочный, странный жанр.

На черновики мы привыкли смотреть свысока: некий недоработанный текст, который содержит — в результате авторской правки — разные «слои». Но стоит увидеть творчество — как часть жизни писателя (а не уныло — привычкой испорченным глазом специалиста — только лишь как «момент работы» над произведением), стоит увидеть в этих черканиях, вставках (со стрелочками), клеенных-переклеенных листах живой трепет мысли, боль, торжество, ликующее

чувство: «получилось!» — черновик раздвинется, превратится в огромное литературное явление. Для XIX и XX века черновик — норма, вещь, без которой обойтись можно, но мало кто обходится. (Паустовский рассказывал, что Гайдар сочинял «в голове», а не на бумаге, запоминая слово за словом, абзац за абзацем, а потом садился — и переписывал сочиненное набело. Но когда видишь, что и у Гайдара какие-то вещи имели ранние рукописные редакции, нет-нет, да и усомнишься, настолько ли Гайдар мог обходиться без бумаги).

Но если писатель изо дня в день ведет записные книжки, составляет планы, обдумывает роман и — на полях «промежуточных», клочковатых рукописей — выцарапывает пометки, реплики, «нотабены» (как Достоевский записывал) — значит все это черновое хозяйство — тоже литература, другая («для себя»), но — литература.

Черновик пишется особым языком. «Батюшки (очерк) (коклеты, черт возьми, попик, студент и проч.)» — абракадабра (пойми-ка, что тут наговорил писатель!) из подготовительных рукописей к «Подростку». Только сам Достоевский и способен был понять свои «Батюшки...». Да и «Князь-Христос» понятен только потому, что уже прочитан «Идиот» и знаком Лев Николаевич Мышкин. Исчезни роман (не написал; написал, но сжег; не сжег, но потерял рукопись) — и фраза была бы столь же непоницаема, как «Гамлет-христианин» (из другого замысла).

Черновик деспотичен: одна лишь фраза, а чтобы понять — нужно прочесть роман. А когда нет романа — всплывают какие-то неясные смыслы, туманные, клочковатые, принимающие один образ, другой, третий (восклицание «батюшки!»; «батюшки» православные, в рясах; сельцо или деревенька «Батюшки», как есть «Сергейки», «Прудцы»; артельное прозвище). И несть им числа, пока не пригреет дневной свет, и они, дети странного сплетения твоего и чужого (Достоевского) воображения, — не рассеются в свежем воздухе мира ясных смыслов, который только и способен остудить (остыдить) разгоряченную фантазию, образный бред, порожденный погружением в смысловой «колодезь» черновика.

Почти по Выготскому... Зима. Стоишь на остановке, ждешь троллейбуса («Б»), ногой о ногу постукиваешь, притоптываешь, чтобы не заоченеть. И рядом — толкуются другие, измученные морозом. Помал-

кивают, — шевелиться не хочется, — сопят, кто-то дышит паром на онемевшие руки. И вдруг старичок в каракулевом пирожке:

— Троллейбус «Б», что идет в сторону Смоленской площади, которого мы ждем, — идет.

«Ну и псих!» — первое, что придет в голову. (Нормальный человек или бросит: «Идет!» — или, еще короче: «Б!», а сокрее всего — промолчит и лишь чуть двинется ближе к шоссе, и само движение будет «словом», «репликой».)

Ситуация, жест — договаривают многое, устная речь обрывочна, — сплошная импровизация (включающая, правда, много всяких «клише») и недомолвки (что понятно с полуслова, можно и недоговаривать). Человек (старичок в каракулевом пирожке), вздумавший досказать «все до конца», — нелеп, дик («сумасшедший!»), невероятен.

Письменная речь — старается договаривать (не только «сказать», но и «воссоздать ситуацию», «внесловесный» контекст).

Речь внутренняя («речь для себя», в ней рождается человеческая мысль) — как разговор на уровне: «Б», «Б», «Б»... «Мы понимаем уже по самому намерению, какое слово мы должны произнести» (Л.С.Выготский), синтаксис и фонетика — «сгущаются».

Психологи изящно поделили человеческую речь: письменная, устная, внутренняя. И никто не сказал о черновиках. «Батюшки (очерк...)...» из рукописей Достоевского — чем не «внутренняя речь»? Разве что — написано. Но для не-автора — столь же непроницаема, как и «мысль в чужой голове».

Бывают особые черновики: пишется «вскользь», «пунктиром», только самое главное — и видится будущая книга (роман, рассказ, статья). Пишется «для себя», но уже чувствуется читатель на том «краю» текста, и выходит — как у Бахтина — набросок: «Текст живет, только соприкасаясь с другим текстом (контекстом). Только в точке этого контакта текстов вспыхивает свет, освещающий и назад и вперед, приобщающий данный текст к диалогу. Подчеркиваем, что этот контакт есть диалогический контакт «оппозиций», возможный только в пределах одного текста (но не текста и контекстов) между абстрактными элементами (знаками внутри текста) и необходимый только на первом этапе понимания (понимания значения, а не смысла). За этим контактом контакт личностей, а не вещей (в пределе). Если мы превратим диалог в один сплошной текст, то есть сотрем разделы голосов (смены говорящих субъектов), что в пределе возможно (монологическая диа-

лектика Гегеля), то глубинный (бесконечный) смысл исчезнет (мы стукнемся о дно, поставим мертвую точку)».

Невероятное обилие скобок. Если читать, мысленно вычеркивая «скобочный текст» — все будет предельно четко и ясно. Со скобками — проступает вдруг оттенок неуверенности («так ли?»), — постоянное самоперебивание, самоуточнение.

«Контакт личностей, а не вещей (в пределе)...», «...глубинный (бесконечный) смысл исчезнет...» — явный «диалогизм», спор с неизвестным. Будто высказывает мысль, «слышит» возможное возражение и спешит уточнить, чтобы сделать мысль менее уязвимой.

В наброске оживает «диалог», «спор с неизвестным»; туманная фигура Несогласного — встает в сознании автора, рождается с каждым написанным словом, почти в каждую букву тычет злым, прокуренным пальцем: «А, может быть, и не так!.. А этим что вы хотите сказать?!» Он вырисовывается все четче: сначала потребовал уточнить что-то о «тексте и контексте», потом о «значении и смысле», о «голосе» как «голосе субъекта» и плюхнул, наконец, какое-то тяжелое замечание о Гегеле. И с этой фигурой — рождается драма, бахтинский «контакт оппозиций».

«...глубинный (бесконечный) смысл исчезнет...» Ну что стоило вычеркнуть «глубинный», оставив лишь «бесконечный смысл»? — Но сразу улечутится и замечательное «мерцание» смыслов. И в самой фразе (о глубинном смысле) — «глубинный (бесконечный) смысл исчезнет» и «мы стукнемся о дно»... В каждую фразу — вдавливаются две: до и после реплики Несогласного. Два определения на месте одного — рожают смысловой «объем». Слово наливается тяжестью, накапливая внутреннюю энергию. Плотность высказывания — не удваивается, но, создавая образ «незримого оппонента» — учетверяется («я», «он», наш обоюдный спор).

К концу жизни (уверяют очевидцы) Бахтин предпочитал жанр таких «заметок». Еще бы: набросков (опубликованных) — на тонкую книжечку, «количество энергии» мысли — если развернуть каждую «спиральку» внутреннего диалога в линию — хватило бы на несколько увесистых томов. Идея «диалога», одна из ведущих в творчестве Бахтина, проникла внутрь текста, в его Слово. Монологическая речь одномерна, тут же — пространство N-измерений (N — в зависимости от числа «говорящих»).

Бахтин, как мыслитель, его «диалогические отношения» (как идея) — сейчас «одолевают» Гегеля и его диалектику. Гегельянство (даже в материалистическом, марксистском варианте) — это претензия думать от

имени Абсолюта, имени Господа. Бахтина (человека верующего) коробило от всякого «грандиоза», он шел от человека, от человеческой способности мыслить, причем и уважил каждого, поскольку каждый «субъект» в его картине мира — это микрокосм, столь же неприкасаемый, столь же суверенный, как и Универсум. Бог — всеобъемлющ, его акт творения — «внутри». Человек — творит «во вне». Но прежде, чем произнести слово — он рождает слово «внутреннее», действуя «по образу и подобию». Черновик — отражение сокровенного слова, интимного и священного в писателе: в нем — акт зачатия и рождения, который всегда свят. И потому слова «оправдание черновика» — о живом, «не всуе» сказаны, не напрасно.

РОЗАНОВ И ДО... РОЗАНОВ И ПОСЛЕ...

Нет иногда ничего более точного в своей неточности, чем взгляд иностранца (= «с другого берега»). Розанов... «Писатель с большим именем, и нужно быть благодарным за английский перевод его книги... Он принес некоторое разочарование. "Уединенное" состоит из "pensees", но ни глубина мысли, ни способ ее выражения в английской передаче не оправдывают похвал, расточаемых Розанову русскими критиками»... (Маленький пассажик неведомого англоязычного рецензента, напечатанный в крошечной анонимной заметке «Розанов в Европе» в эмигрантском «Звене»).

Конечно, первое, что пришло европейцу в голову — «Pensees» («Мысли») Паскаля. И это, когда в первых же строках «Уединенного» (когда пахло ветром, зашелестело листьями) обозначилось: «полу-мысли» (и «получувства»).

Конечно — не без Паскаля. Но мысль — всегда ограничена, ей далеко до ясности откровения, и потому мыслить — больно. Паскаль, как никто до него, выразил эту боль, т.е. ощутил момент рождения мысли, саму боль родов. Но шагнуть глубже, в «интимное», в зачатие (то, что до мысли) — тут нужен был особый опыт.

Что-то витало в воздухе. Откроешь «Листопад» Рцы (написал на 20 лет раньше Розанова!) и ахнешь: да вот же, вот!.. — в том же розановском духе: «Сеятель», «Жнец» (название частей); «Черновые наброски», «Письмовник», «Записная книжка» (названия разделов) и даже подраздельчик «На ходу» (т.е. по сути — «Мимолетное»). И по-

сле этого столько говорить о «вянущих» «Опавших листьях», когда шел уже «свежий» «Листопад»?

Иллюзия рассеивается с первой строкой. Тянуть-то «туда» — тянуло, а вместо черновиков — обычная публицистика или заметки в газету. «Записная книжка» у Рцы (как и знаменитая «Старая записная книжка» Вяземского) — без «укромного», без тайны молчания. Есть фрагментарность (не такое уж и новшество), но нет этого говорения «в себе» и «в себя», этого «бормотания в голове», этих недоговоренных, невыраженных — и не мыслей даже, а именно «полу-мыслей», — еще не рожденного, зачаточного. У Розанова — полу-слово на грани «вот-вот», не мысль, а ее «потенция». (Хотел Василь Василыч после толстого «О понимании» написать и «О потенциях» — да «промолчал» книгу; она, — ненаписанная, — и просочилась во всю его литературу, в каждую статью, строчку, слово, словечко, буковку, — все недоговорено, незакончено, «клочковато» по мысли, а по форме — «клочковато» сначала в его беглых комментариях (в разных книгах), а потом и — в «Уединенном», в «Листьях» и далее... Ненаписанные книги вообще сильнее преображают автора (давят постоянно). Написал — пережил, — отошло. Не написал — мучает, не отпускает. Написанная книга — «этап творчества», ненаписанная — само творчество, — заставляет думать о невоплощенном, «вечная мука».)

Уж коль «мысль изреченная» далека в своей подлинности от мысли неизреченной, то и мысль «напечатанная» далека от полумысли, мелькнувшей в голове и истаявшей уже в следующее мгновение. Розанов воюет даже не с Гутенбергом (и печатным станком), а с той неизбежной «обработкой» текста (и, соответственно, — мысли), которая сопровождает любую публикацию. Писатель, работая «на публику» (в печать) становится поневоле неискренним («мое «я» только в рукописях»). Отсюда и розановская любовь к *частным* письмам. Тут — хотя бы возможность («потенция») искренности. Но и письмо ставит «пределы» — в самой адресованности *другому*. Безоглядная честность — лишь наедине с собой («Удивительно противна мне моя фамилия»). И только такое, «интимное думание» приоткрывает дверку в тайное тайных (= сокровенное «я») человека (та же проблема понимания, с которой Розанов начал «разматывать» свою неожиданную и «разветвленную» мысль). *Выйти* за рамки литературы, записать «неописуемое», — подзаголовок к «Уединенному» («почти на праве рукописи») и намекает на главное это жаровое отличие его произведения от «эссе».

Самое пронзительное в этом мыслительном бормотании (внутренней речи) — «звучащая пауза» («...и лишь молчание понятно говорит...»). Сказать пару слов, намеком — и от них в разные стороны брызнут лучики смыслов.

Он может бросить мимоходом фрагментик совсем микроскопический: «Даже неинтересно...», оставляя читателя в недоумении («что неинтересно ему?»). Но — при полной смазанности смысла — в читательском сознании застывает словесный жест (нежелание договорить, нежелание фразу дописать), и за ним — встает живое лицо автора с «огорченными» складочками у губ: «Даже неинтересно».

В таком самопортретировании через жест (а не только описание, вроде: «Лицо красное. Кожа какая-то неприятная...») — Розанов виртуоз, заставляет звучать даже произнесенное — и звучать почти как термин.

«...Ты тронь кожу его», — искушал Сатана Господа об Иове...

Эта «кожа» есть у всякого, у всех, но только она неодинакова. У писателей таких великодушных и готовых «умереть за человека» (человечество), вы попробуйте задеть их *авторство*, сказав: «Плохо пишете, господа, и *скупно* вас читать», — и они с вас кожу сдерут...»

«Кожа» — сначала выделяется курсивом (т.е. просто ткнул пальцем: смотри!), потом — кавычками (колдует, «отрывает» слово от первоначального смысла, «остраняет» его), потом оно звучит уже неназванным («кожа писателя» — лишь подразумевается и — как это удалось? — приобретает черты не просто образа, но странного, чудаковатого термина), и финал манипуляций: «кожу сдерут» — устоявшееся речение (без всякого ударения на «кожу»), и — в этом стертом, обыденном выражении — вспыхивает самый неожиданный смысл. Слово (на наших же глазах) превращается в термин-заклинание (нечто вроде: «степень психологической защищенности человека», только покривее да позатейливее), и, поскольку тронутые за чувствительную «кожу» сомнения писатели — по Розанову — готовы с обидчика «кожу содрать», на «термин» «накручивается» и мораль.

Скобочки, кавычки, курсив (= всего лишь «способ записи») — и по тексту многоголосым эхо пробегают обертоны смыслов.

Значения слов у него не «стоят», не «запечатлены», а — «пляшут». Брякнет торжественно, «высоким штилем»: «Живи каждый день так, как бы ты жил всю жизнь именно для этого дня», и добавит ремарочку (курсивом и в скобках): «в дверях, возвращаясь домой», — подкра-

сив афоризм чем-то пародическим. Мысль никогда и не рождается «от мысли» (понятие — от понятия, как у Гегеля и пр.), а всегда — в дрызгах и нелепостях обыденной жизни («когда бы знали, из какого сора...»), лезет из житейского навозца, иногда чрезмерно даже «запашистого» (ремарочки: «перебрав в пепельнице окурки и вытряхнув из них табак в свежий табак» или совсем неприличное «в ват...» — т.е. «в ватерклизете»). А уж коли думаем «из дряни и сора» — то к чему и «продумывание до конца», не честнее ли собрать «противоположные» листья (в один момент подумалось «так», в другой — «этак») и — вывалить их из короба кучей: разбирайся сам читатель, если пожелаешь.

«Приличные», напомаженные ученостью господа должны были нос от него воротить: «Фу, как нехорошо!» А после выхода «Уединенного» — и скрытое ликование: «Ага, обнажился нововременец!» И тут же — за перья, строчить «умный» вздор, как в сумасбродной рецензии Мокиевского с застарелой писаревщиной: «Когда происходит раздробление сознания...», «...кто обладает духом исследования, не пропустит ни одной букашки, ни одной козявки, не направивши не нее своей лупы естествоиспытателя...»

И что за кичливость? Что за нелепая мания величия: «Я — естествоиспытатель». Уж куда «пытливей» и «естественнее»:

«...И маленький Розанов, где-то запутавшийся в его персях. И вечно сосущий из них молоко. И люблю я этот сосок мира, смуглый и благовонный, с чуть-чуть волосами вокруг. И держат мои ладони упругие груди, и далеким знанием знает Главизна мира обо мне и бережет меня».

Всегда чувствовал себя «под Богом». Черновики ведь были и у других. Но чтобы «выдать в свет» такие «обрывки» — надобна внутренняя «санкция». Будет ли понятно другим? «Свой» читатель поймет, прочим — сказать: я пишу «без читателя». Можно не писать научных трактатов «О понимании» и достичь большего понимания (себя — собой, и своего слова — читателем). Бог же «поймет» все, поймет язык твоих мыслей быстрее тебя самого. С «Главизной мира» можно общаться одними намеками. И твоё «даже неинтересно» Ему понятнее более, нежели тебе самому. Ведь и сама внутренняя речь (после Розанова вдруг понимаешь) — не просто самопонимание и «сжатие» диалогической устной речи, «переход» ее во «внутренний план» (школа Выготского), а это ворочается в нас семечко, брошенное Словом, которое «было Бог».

Чувствуя «Главизну» над собой, Божье око — не стыдно ничего: ни опубликовать черновики «почти на праве рукописи», ни противоречить

себе на каждом шагу и в каждом слове, ни даже записывать клочки свои «в ват...» (и объявить это во всеуслышанье). И через такое выворачивание души своей наизнанку можно достичь подлинной глубины, если Он (Бог) — с тобой. Как в отдельном фрагменте можно не вымолвив слова — произнести его («кожа писателя»), так и в книге может жить *непроизнесенное*, и, тем не менее, *сказанное*. Содержание «Уединенного» и того, что написано после — и шире, и глубже «суммы содержаний» составляющих книгу «клочков». В кусочке — юродство, афористика «на ходу», детское ползание, «не ха-чу» и «бо-бо», анекдотцы и ватерклозет. В книге — и боль, и осанна, и — просветление.

Когда сокурсники Скрябина (виртуоза педали) вытаращив глаза смотрели на его летающие по клавиатуре руки, профессор сердился:

— Куда вы смотрите! Смотрите на его ноги!

Когда, читаешь «Уединенное», «вытаращив глаза» смакуешь розановские словечки, словно слышишь окрик: — Куда, куда смотришь! Гляди на знаки препинания! «П.ч.» — вместо «потому что», сглатывание слов — это не только наследие внутренней речи (не договаривать то, что и так понятно). Здесь, помимо умолчания, и — звучание: вместо громоздкого, чисто «технического» пассажа — легкий «форшлаг».

И курсивом Розанов пользуется — как Скрябин педалью: выделил слово (фразу) — и его значение звучит отчетливей и дольше, смысловые «блики» этого слова ложатся (курсивом) на последующие фразы:

«Ах, добрый читатель, я уже давно пишу «без читателя», — просто потому что *нравится*. Как «без читателя» и издаю... (*нравится*...) Просто, так нравится. И не буду ни плакать, ни сердиться (*нравится*...), если читатель, ошибкой купивший книгу (*нравит*...), бросит ее в корзину (*нра*...) ...»

Продленное и медленное таяние звука («нравится») — как скрытое многоголосие (у Баха, Букстехуде и пр.), как «органный пункт». Кавычки — это что-то более жесткое, решительное: необязательность, случайность, иногда и неправильность выражения: «ни для кому», — слово «вырывается» из иного контекста. Скобки — замедление, «сбой» ритма (иногда — «синкопированность»), и — уточнение, «договаривание на ходу», «договаривание между прочим» (нота-бене), реплика «в догонку».

И везде — «диалогические отношения»: на уровне внутренней речи (курсив), поскольку и вся внутренняя речь (Выготский убедил) — есть «свернутый» диалог; разговор контекстов, общение с иным речевым строем (кавычки), — чужое речение (и его значение) Розанов «природняет»; диалог на уровне конкретных реплик, почти как спор с Неизве-

стным в заметках позднего Бахтина (Розанов, правда, более «небрежен», даже «фамильярен» по отношению к мысленному оппоненту: «я добавлю, а захочешь ли ты согласиться — мне все равно»).

Ремарки в скобках (этого никто из тех, кто был «после», не смог ни повторить в полную силу, ни возместить чем-либо иным) — не просто расширенное обстоятельство (места: «в вагоне», времени: «глубокой ночью», образа действия: «перебирая окурки», причины: «смотря на портрет Страхова: почему из «сочинений Страхова» ничего не вышло, а из «сочинений Михайловского» вышли школьные учителя, Тверское земство и множество добросовестно работающих, а частью только болтающих лекарей» и пр.), поясняющее сам факт рождения «полумысли». Фрагмент — реплика для себя, ремарка-каденция — для читателя (чтоб оттенить первичную «для-себятость»). Ремарки — это и фон мышления, и «подсветка» мимолетности того, что в сознании мелькнуло, и «снижение» высокого тона, когда скажет фразу, рассчитанную на вечность, а ремаркой сведет все до «случайно в голову клюнуло» («в дверях, возвращаясь домой», — и тон афоризма, изречения, незримая поза оракула — вдруг подменяется позой рассеянного писателя, застывшего у порога, черкающего случайную мысль на клочке бумажки). Здесь (в ремарках) и «доказательство», что мышление — из будничного сора (а «чистое мышление» философов — фикция, претензия на Божью мудрость: человек «кусочен», «неполон» и не может не только «системы строить», но иногда и просто связно мыслить и связно говорить). В ремарке же — высший пилотаж розановского стиля — отклик из «ныне» на прошлую (уже) мысль, умение подчеркнуть «зияние» между мыслью и моментом ее рождения: «Да, они славные. Но все лежат». — О ком это? Что он имеет в виду? — И как в музыке диссонанс разрешается в консонанс, седьмая ступень — в тонику, невольный читательский вопрос разрешается в ремарке (в скобочках): «вообще русские». Суждение началось со сказуемого, с «предиката», и когда ошеломленный «читающий» завопил: «О чем вы тут говорите!» — ему ловко, после хитрой паузы, создающей напряжение (способ «драматизировать» бессюжетное почти произведение) подсунули и «субъект» (подлежащее).

«Секрет писательства заключается в вечной и невольной музыке в душе». — «Музыка», как некое размытое, многосмысленное полупонятие

(и полуобраз), — прошла через весь «серебряный век», проявляясь то в слишком «густых» аллитерациях Бальмонта («простейший» вариант), то в мистическом слухе Блока, то в «полумыслях-получувствах» Розанова.

Его «музыка» — естественнее «музыки» Андрея Белого (в «симфониях»). Там — покорное следование за музыкальной формой, здесь — полиритмия пульса, дыхания, мышления, многомерный контрапункт: внутри текста (выделение слов), внутри фрагмента («афоризм» и — супротив — реплика в скобках), внутри книги (полифония разноречивых фрагментов). И музыка эта оказалась заразительна...

После революции Розанов мистической тенью пронесся по русской литературе. Энергетическая вспышка, которая взорвалась в его «Апокалипсисе», ударила своими лучами и в тех, кто так или иначе был ему близок. Черновик — хлынул. И Зинаида Гиппиус, кричавшая об «Уединенном»: «Нельзя! Нельзя! Не должно этой книге быть!» — пишет мучительный дневник: вместо словоохотливой «Синей тетради» (с войны 1914-го), — «Черная тетрадь» (большевистский Петроград), мрак, апатия («Шла дама по Таврическому саду. На одной ноге туфля, на другой — лапоть»), и всплески ругани, издевок («святая злоба», но в духе анти-«Двенадцати»). Тетрадь кончается, остался кусочек места «на корке» (сжатие «писчего» пространства) — приходится писать пунктиром, по-розановски:

«При свете ночника»... (розановская ремарочка, но в начале фрагмента, а не в конце). «Странно, такая слабость, что почти ничего не понимаю. Надо стряхнуть. Последние дрова. Последний керосин (в ночниках). Есть еще дрова, большие чурки, но некому их распилить и расколоть. Да и пилы нету».

Старается уместить многое — в нескольких словах, и словно уловив, как изменился стиль, — вспомнила Василия Васильевича:

«Как ни мелко писала я, исписывая внутреннюю часть переплета моей «Черной книжки», — книжка кончается. Не буду, верно, писать больше. Да и о чем? Записывать каждый хрип нашей агонии? Так однообразно. Так скучно. Хочу завершить мою эту запись изумительным отрывком из «Опавших листьев»...»

...И Цветаева. Ее «дневниковая проза», начиная с 18-го — безумный ритмический напор, сглатывание слов (эллипсы) и — в этой словесной пляске — отзвук розановских «клочковатых» воплей: «Трое суток — ни

с кем ни звука. Только с солдатами, купить газет. (Страшные розовые листки, зловещие. Театральная афиша смерти. Нет, Москва окрасила? Говорят, нет бумаги. Была, да вся вышла. Кому — так, кому — знак). (А несколько лет назад Розанову, начитавшись его до опьянения, отправила почти интимное письмо).

И Ремизов, — он и всегда писал «устной речью», а тут, в «Кукхе» (о Розанове), — сам герой подтолкнул, — и он печатает сновидческую скороговорку своих блокнотов.

И Горький, чутко «всасывавший» Розанова, — в «Заметках из дневника» (где о революционном времени) пустил не очерки, а «клочки» сюжетов, и перед глазами ошеломленного читателя — не портреты (к чему уже приучил), а хаотическая горлающая толпа.

Это было лишь веяние «невольной музыки в душе», не новое «Уединенное», а — «из записных книжек». Вполне по-розановски размахнулся Федор Жиц («Секунды»): но Розанов душит его (постоянный «комплекс Розанова»), порабощает волю:

«Розанов смелее меня. Я еще «не смею» высказать всего того, что знаю, что сказать должен. Чего-то «стесняюсь» и острый мазок часто зализываю «приличной» точкой.

Но чувствую, что и я скоро «разденусь» и крикнув с циничной святостью: «наплевать», — обнажу себя «до дна»...

Все интересное — не свое, «от Розанова», «отсебятина» пахла тусклым ницшеанством. И главное — неестественность, поза. (Осознав жанр — поневоле начнешь подлаживаться, имитировать, убивая этот самый живой пласт «творчества не на показ»). (Еще невнятной, напыщенной и тоскливей («заезжая» банальность) прозвучали «Облетевшие листья» Вас.Немировича-Данченко: «Все крушит и уничтожает время. Но счастье так редко, так мимолетно, что и время бесильно перед памятью погасшей любви. Оно остается в руинах души и светит голубую улыбкой в одинокую розетку над щебнем и мусором жизни...»)

«Уединенное» — шаг в черновик, т.е. как бы в не-литературу. Этот мотив пронизывает жанр, питает его, создает. Парадокс не в том, что «не-литература» — вдруг оборачивается литературой. Трагедия «уединенного» (как жанра) — в неизбежном отрицании, хотя не стать другой литературой — этот жанр не может; «уединенное» другого писателя (как не назови он книгу, хоть бы и «Комментарии») должно оттолкнуть вместе с прочей литературой и традицию «уединенного».

Повториться — погубить жанр («Ж-жиц!» — и мимо). И нужно — ради подлинности — суметь «изобрести велосипед», что и уловил Георгий Адамович с его «абсолютным литературным слухом».

Он подступал к «Комментариям» уже в начале 20-х, называя их — то «Комментарии», то «На полустанках» (ремарочка «по-розановски», вроде: «в вагоне», «на извозчике», — вынесенная в заголовок), то «Литературные размышления»... И все — обрывалось, не могло длиться: Розанов мешал. Позже — признается: «было время, когда был он для меня писателем чуть ли не единственным, «властителем дум»...», — и если так пропитано сознание этим говорочком «Уединенного» и «Опавших листьев», то как подступиться к своему «оправданию черников», к своей «апологии записных книжек»?

Отторжение шло с мукой, но — резко: «Розанов в конце концов все-таки — гениальный *болтун*, писатель без тайны, без божественного дара умолчания, сразу вываливающий все, что знает и думает. В таких писателей можно влюбиться, но им трудно остаться верными...» — и далее, далее... «Розановский стиль есть действительно чудо. Но чего достиг он этим чудом? Повторяю: в конце концов только скуки. Может быть, у другого беднее была душа, суше ум. Но другой не вывернул себя на изнанку, и что-то в нем осталось неведомым. Остался — по розановскому выражению — «просвет в вечность». Со всем своим богатством Розанов покажется рядом грубоват и плосковат».

Тут не стоит и возражать: трудно ли привести многочисленные примеры розановских «умолчаний», доказать, что без этой «бессовестности» Розанов не смог бы и родить «Уединенное»? Отрицая литературу за неискренность, Розанов должен был в своих книгах быть откровенным и искренним именно «до неприличия».

Но поражает в этом горячем монологе неожиданный «другой», у которого и душа «беднее», и ум «суше», но за которым — «недоговоренное», и «просвет в вечность»: стать как Розанов, объявить «оправдание черников» и отказ от литературности, но быть «совершенно наоборот».

Да это же автопортрет! Фантастична лишь дата: 16 января 1927 г. В 207-м номере «Звена» Георгий Адамович нарисовал себя уже как автора «Комментариев» (и не отдельных фрагментов, — они «по-настоящему» начнутся с 1930-го, с первого номера «Чисел», — а всей книги, вошедшей многолетние публикации, вышедшей в 1967 году).

«Комментарии» — шаг от «бесстыдного» «Уединенного» — к стыдливым «Мыслям» (назад, к эссе). Но набросочность, момент «зачатия» мысли, разговор с самим собой — все осталось. И Адамович так же пребывает собственную мысль, предчувствуя чужую реплику, как и Розанов, как и Бахтин в поздних заметках. Здесь меньше скобок (ритмические «кляксы» Розанова), но больше запятых и тире — изящные ритмические виньетки посередине периода:

«Тайна писательства, по-видимому, заключается в ощущении веса слова. Не только в составлении фразы, где тяжесть имеет огромное значение и при даровитости пишущего интонационно приходится там, где поддержки требует смысл. Не только в способности согласовать это распределение веса с естественным течением речи.

Но еще и в том, — больше всего в том, — что слово падает на точно предчувствуемом (нельзя было бы сказать «точно отмеренном») расстоянии, не давая ни перелета, ни недолета, описывая ту кривую, которая ему предназначена. Слишком близко — оно безжизненно, слишком далеко — оно пусто, и оттого, пожалуй, настоящие писатели так редко бывают многоречивы, что напрасное разбрасывание слов им претит».

В «Уединенном» нельзя не писать о литературе (коли она отрицается). В «Тайне писателя...» — не просто рефлексия. Здесь высвечивается не только идеал «подлинного стиля», не только подсказка читателю, в чем сила писателя Адамовича. Но и сам строй фразы в отрывке подчинен именно описанному в нем закону. Читая фрагмент, ощущаешь траекторию мелькнувшего в глазах слова и его точное попадание в ту часть текста, где и быть ему надлежит.

Адамович — «нежнее» Розанова: не требует от читателя согласия (по крайней мере — не настаивает на нем), но его проза полна намеков и «полунамеков», разнообразных «чуть-чуть», с которыми поневоле приходится считаться.

Здесь ничего нельзя переставить, заменить или сократить. Стоит, например, убрать вставное (и потому, казалось бы, лишнее) «по-видимому» из первой строки, и мы нарушим архитектуру фразы (где нужен этот «сбой ритма»), испортив, тем самым, и все словесное строение Адамовича.

Но в этих почти зримых траекториях «падающих» слов (а «увидеть» их можно в любом фрагменте «Комментариев») чувствуется не только мастер. За «линией» текста стоит личность писателя, в конечном счете — его судьба, судьба петербуржца «до мозга костей» («На земле была одна столица, все другое — просто города»).

«Провинциал» (по рождению и мироощущению) Розанов в «Уединенном» и «Опавших листьях» — непричесан, гениально-аляповат, сидит в домашнем халате, окурки в пепельнице перебирает. Петербуржец Адамович (хоть и родился в Москве, да «воспитался» в северной столице) с читателем — накоротке, но всегда «в сюртуке» и всегда «застегнут на все пуговицы». Никакой цветистости, никаких излишеств: предельная скупость выразительных средств, здание книги держится на ритме фразы и словесной графике, никакого интимничанья — и, в тоже время, предельная искренность. Отсюда и «трудное» отношение Адамовича к многослойному, с постоянно «перемигивающимися» смыслами слову Розанова: дух литературного аскетизма не терпел никаких «сверх» — лишь самое необходимое, «без чего нельзя было бы дышать».

Но разница не сводится к антиномии «Москва» — «Петербург». Розанов — нумизмат с лупой, его стиль «пестрит», потому что сам он приглаживается. Георгий Адамович — на стихах воспитан, он прислушивается: не столько видит (потому и красок нет), сколько слышит (в каждой фразе — ритм, ритм, ритм, в книге — признание: «Не «стиль — это человек», а ритм — это человек, интонация фразы — это человек...»).

«Конец литературы» — об этом Адамович не мог не написать.

Это неизбежная тема всякого «Уединенного». Традиционная литература умереть в тебе должна, чтобы потянуло вдруг к своему-своему, до невозможности откровенному. И как странно, «с разных концов», приходит это ощущение. Для Розанова: «Не ха-чу! Пра-тив-но», «обездушились в печати!» Литература задавила жизнь, и это — нецеломудрено («...и литература сделалась мне противна»). Хочется не-литературы, «почти на праве рукописи».

Для Адамовича (при всех оговорках, в самом тоне «Комментариев»): литература уже невозможна, умирает. Книгопечатанье никто не отменит, но нынешние книги — уже не литература, а «так». И пробуждается ностальгия по литературе, по невозможному. Адамович не отрицать хочет, а вспомнить, «подышать» литературой. В ней была подлинность, тогда как жизнь была «всякая»; в литературе — «духовное свечение», здесь же — винегрет (и высокое, и пошрое, и никакое).

Мотив — тот же: «конец литературы». Сыгран (гениально) обоими. У одного — издевка и рыдания, рвет волосы на голове, и плюется, и молится. Другой — вздыхает: «...отошла без возврата, да святится имя

Твое!» — и пишет последнюю литературу, которая почти уже не литература, а записка неизвестно кому, неизвестно зачем, — запечатать в бутылку да — в волны нахлынувшей не-литературы. Быть может доплывет?..

И — после гудошника Розанова, скомороха «с приплясцем», святого юродивого, калики перехожего («Вы люди наученья-я-я, от Господа избранныя-я-я...»), — «строгий стиль», воспоминание о русском знаменном пении и европейском григорианском хорале.

Объяснять «оправдание черновиков» (как у Г.Адамовича) тем лишь, что в них не обязательны «связки» («В предыдущей главе мы указывали...», «из вышеизложенного следует...» и т.д.) — это только дразнить читателя. Было и глубинное влечение к литературному аскетизму: ничего лишнего. И «парижская нота», вслушиваясь в своего мэтра (пусть будет если не шедевр, то ценный человеческий документ) — шла за ним, и писала суховатые, скупые на слова стихи-документы.

«Документ» — прибежище не-гениев: попытка оставить после себя что-то значительное, не имея большой «энергии таланта». Недостаточность духовной силы замещается самодостаточной силой факта.

К факту «припал губой» и Вересаев. Но Адамович, при всем своем аскетизме, излучал и свою энергию. Вересаев — старательно выжимает свое «я», сводя фрагменты к протоколу.

Его и всегда-то тянуло к «запискам» («...врача», «...о японской войне»), к «невыведанности» (и уверен был, что его коллаж цитат-свидетельств, из которых построил книги о Пушкине и о Гоголе — есть «объективное изображение», а не проекция подлинного образа великого писателя на плоскость узкого зрения современников).

Теперь — так же «дешево и сердито» начал он сколачивать книгу «Без плана» (мысли, заметки, сценки, отрывки из дневника, воспоминания и пр.), из которой вылупились «Невыдуманные рассказы» и «Записи для себя», — и желание «объективности», «невыведанности» уплотнило речь до языка ремарок в драме:

«Петербург. Краина. Узкие ломовые сани, на них высоко громоздились деревянные ящики с гвоздями. Поклажа кренилась в сторону».

Из микросюжетов и цитат (выписок: чужих наблюдений и чужих афоризмов) он и начал строить «Записи для себя». Но то, что «для себя»

— не терпит педали «на объективность», и как кубики не складывай (попытался «по темам» фрагменты распределить) — дом все равно развалится. Розанов мог «листья» набросать как попало, и его «я» склеивало прозаические обрывки прочнее любого сюжета. Вересаев рассчитывал расположение «кирпичиков» с докторской пунктуальностью, а книга (здание) — «не достроилась», и даже то, что он успел воздвигнуть — распалось, рассыпалось, разлетелось...

Его несчастье (он и сам не подозревал) — извечная тоска позитивиста-рационалиста по иррациональному началу. Эклектический ум, вечно пытавшийся соединить квазимарксизм с квази-бергсонизмом, строил и «по плану» (тематический подбор фрагментов), и «без плана» (изначальное название книги), т.е. вставлял куски случайные, потому лишь, что «это интересно само по себе». И в этой-то рыхлости книги отразилось то самое авторское «я» (его природная эклектика), которое так старательно Вересаев прятал от читательского глаза, прибегая к протокольному стилю и цитатам.

У Розанова — наблюдательность нумизмата, «ласкающего глазом» монету, у Вересаева — наблюдательность врача, холодная пальпация: чует только «хворь». Хворь и поглотила его литературное детище: оно утратило даже приятную в обычных записных книжках немотивированность фрагмента, разноголосицу записей.

И все же в этом невольном «саморазоблачении» — больше подлинности, чем в слепом следовании Розанову Федора Жица. Каждый, кто приближается к столь нетрадиционному жанру, обращается к своим записным книжкам, книга вырастает из своего черновика. В стиле каждой записи — и стиль мышления (у каждого — свой). И подражать — также нелепо, как думать не своими мыслями.

Пришвин, вот кто имел достаточно силы, чтобы превратить свой «черновик» в книгу. Но он свое «я» всегда находит во вне (в природе), поэтому и дневники его — не черновики, но — уже литература. Его мысли — идут не вглубь себя, они обращены «к другу». И вместо ключоватого «Уединенного» — округлые «Глаза земли».

«Уединенное» — трудный жанр. Не взять насकोком. Тянет многих, выходит мало у кого. Обычно — «записные книжки». Но у Розанова — не только «записные книжки», поток кратких заметок. Это не просто

«напечатать черновики»; «книга для себя» — тоже произведение, она — с внутренней драматургией.

У Вересаева — не сложилось, у Пришвина — сложилось, но без признака черновика, скорее — поэма, «стихотворения в прозе», лирический трактат. Судьба указала на Олешу, и он — в «Ни дня без строчки» — действительно «переоткрыл». И критики заговорили. Заговорили так («он подошел к открытию»), будто никогда и не было никакого Розанова. (Чтобы заново родить «уединенное» — нужно или оттолкнуться от предшественника, как Адамович, или — забыть. И — почти забыли).

«Как художник, проявил я в Кавалерове наиболее чистую силу, силу первой вещи, силу пересказа первых впечатлений. И тут сказали, что Кавалеров — пошляк и ничтожество. Зная, что много в Кавалерове есть моего личного, я принял на себя это обвинение в ничтожестве и пошлости, и оно меня потрясло». Посколькузнувшись на «Зависти», он заосторожничал: критики и друзья-читатели каждую фразу твою перещупают, «сделают выводы». И он принялся щупать сам, каждую фразу, каждое слово.

«Первое, что я помню, — это меня несут, взяв из ванны. Меня несет женщина со старыми, вяло свисающими локонами... Кто она? Тетя? Как я могу помнить, какие у нее локоны? Как я могу знать, что они старые? Да еще вяло свисают? Что-то я придумываю сейчас, на ходу. Но почему же я придумываю именно это, а не что-нибудь другое? Почему эти картины рождаются одновременно? Какая-то причина этому есть! Очевидно, какой-то частью сознания я схватил и ту картину, которая кажется теперь придуманной».

Раньше, в эпоху «Трех толстяков», фантазия Олеси летала легко и неожиданно, как его герой на воздушных шариках. Теперь — и простое воспоминание разведается сомнениями. Тогда достаточно было бросить метафору (как философ дает определение, «необходимое и достаточное»): «Кошка шлепнулась, как сырое тесто». Теперь это тесто метафоры он будет мять пальцами, рассматривать, терзаться: так ли? Пианист, который хочет не только сыграть произведение, но и обдумать, как он ставит каждый свой палец, как толкает им клавишу, чтобы добиться нужного звука (сила удара, движение кисти), — может вдруг испугаться: разучился играть! И писатель может ужаснуться: «Все более убеждаюсь, что эти записи ничего не стоят. Я болен; у меня болезнь фразы: она вдруг на третьем или четвертом звене провисает... Я почти конкретно вижу это выгнувшееся книзу брюхо...»

Но пианист не может процесс работы сделать произведением. Писатель — может (с каким изяществом, с каким мастерством вылеплены эти строки).

Его мучают кошмары. «От того, что я писал не курия, тяжело стучало сердце... Помню, в Голицыне, написав фразу, я вскакиваю, выбегаю на эту дачную, пыльную, зеленую с гусями и козами дорогу. Какая мука! Боже мой, какая мука! Доходило до того, что я писал в день не больше одной фразы. Одна фраза, которая преследовала меня именно тем, что она — одна, что она короткая, что она родилась не в творческих, а в физических муках. Казалось, она, подернутая рябью, бежит за мной, зацепляется за дерево, разглаживается на шерсти козленка, опять бежит, наклеивается этикеткой на четвертинку. Это был бред, это было разговаривание с самим собой, мука, жара — некурение и утрата владения письмом...»

Чудо литературы! Если муку неписания описать, если она отвердет в слове — неписание становится темой «писания» и рождает книгу.

И как некогда Розанов бросал свое «Даже неинтересно...» (непонятно о чем), так Олеша вдруг начинает всматриваться в неясную (для читателя) галлюцинацию, и она — как плывущее облако — меняется на глазах:

«Навстречу мне идут три слепых музыканта. Один несет флейту, завернутую в зеленый фартук, другой — скрипку, сильно отражающую солнце, у третьего на боку гармоника... Нет, вижу, это не гармоника, нет! Показалось! Это жилетка на музыканте, лихая, расстегнутая красная жилетка, расшитая серебряными пуговицами!»

Зрение «плывет», воспоминания разъезжаются, писать — это мука, но та мука, о которой нельзя не написать. «Я пишу о том, что я пишу о том, что я пишу о том, что я пи...» — Пропать сознания, втянувшая писателей XX века. Можно исчезнуть в этой бездне (непоправимо). Розанов спасся «Главизной мира» («бережет» тех, кто ее чувствует). Олеша — из несчастных, потерявшихся в истории, тех, что поглядывают в бездну («пишу о том, что пишу о том, что пи...»). Спасает отрывочность. Прервался — отступил от края с мутной головой, в которой вихрь образов, один — в другом, в третьем (бесконечная матрешка), а за всем — «непоправимо белая страница», словно подsunутая Георгием Адамовичем: «Я, — конечно, я воображаемый, — еще могу написать то, что все вы пишете, но я уже не хочу этого».

Словно прочитав эту фразу из «Комментариев» (он не мог ее прочитать, книга Адамовича еще не вышла!), Олеша вторит: «Уже почти не о чем писать. Я, конечно, мог бы писать романы с действующими

лицами..., но мне делать это было бы уныло». (Поражался сходством своим с Жюлем Ренаром, а мог бы подставить имя неизвестного ему Георгия Адамовича и повторить: «В разных концах мира одно и то же приходит в голову»).

И воспоминание — и процесс воспоминания, и писание — и процесс писания. Воспоминания сливаются с дневником, прошлое — с настоящим. Книга, как и у Розанова, — рождается сейчас, сию минуту: строка, по которой водишь глазами, — только что написана. Но Розанов — колюч, скоропалителен («сейчас в голову взбрело»), Олеша — элегичен, мысль его то и дело теряется в дымке прошлого.

Все они — каждый в свое время и по-своему — ощутили, что литература «кончилась». (Воздушный шарик хорош, когда он нов, когда он круглый. Но он сморщился, высочился воздух, — и уже нельзя фантазии «летать», и противно играть: в героев, в диалоги, в сюжеты и фобулы.)

Поворот «Уединенного» — прост: за каждой «репликой» — еще влажные чернила. И лицо писателя, которое обычно — «по ту сторону» текста, настолько запечатлевается в каждом изгибе фразы, что становится центром произведения. Фрагмент — отрывочен, незакончен. Но фрагменты — связаны незримыми силовыми линиями («пишу о том, что пишу о том, что...»). Отрывочность и высвечивает жест, мимику, образ автора, она и рождает целостность книги, которая — всегда единственна и неповторима.

Они — разные, и по «степени» (гениальность — только талант), и по изобразительности. Розанов — «маслом» пишет, резкими мазками, Адамович — график, тонкое перо каллиграфа, Олеша — акварель с графикой пополам: «Безусловно, была осень и падали листья... Безусловно, проплывая мимо меня, они поскрипывали боками, как корабли. И как корабли они описывали, оплывая меня, круг — два-три витка спирали и тихо садились на асфальт...»

А полные отчаяния вопли? («Зачем я все это пишу? Чистая графомания!..») Писатель отказался от «романов с действующими лицами», и вместо сюжетного напряжения — создает иное: обнажает драму творчества.

Человек пишет — и меняется. Кончится работа над книгой — кончатся и сопутствующие ей черновики. Книга, вобравшая в себя черновик, процесс своего создания, — не может окончиться. И потому за «Уединенным» Розанов писал «Опавшие листья», «Сахарну», «Мимолетное». (И это была все та же, единственная книга). И у Адамовича отрывки писались и писались, и не все попало в «Комментарии». И Олешу прервала только смерть. Человек-творящий — он «по образу и подобию», он не может остановиться. Фрагменты могут продолжаться и продолжаться: творчество само по себе — вечно и беспредельно. Любой конец — насильственен, внешен, как «внешняя» любая смерть. Там — остановится время, творчество перестанет «тянуться», оно «станет». Здесь — как нельзя остановить перо, так нельзя завершить жанр.

V

ИСТОРИЯ

ВОСПОМИНАНИЯ ГЕОРГИЯ ИВАНОВА И ЕГО ПОСЛЕДНИЙ МЕМУАРНЫЙ ОЧЕРК

Как мемуарист Георгий Иванов начинает печататься с 1924 года на страницах парижского еженедельника «Звено» (Париж). Первый цикл назвался «Китайские тени». Издательство «Гиперборей», «Бродячая собака», намеренно нелепые стихотворные жанры «бродячесобаачьего» шутовства, петербургские редакции, меценаты, графоманы... Подзаголовок, сопровождавший каждую публикацию «Китайских теней», — «Литературный Петербург 1912-1922 гг.» — многое объяснял. Похоже, Иванов сразу поставил задачу воссоздать самый воздух эпохи. Потому и писал более не об именах, но о явлениях. И все же, волей-неволей, имена появлялись: Гумилев, Игорь Северянин, Борис Садовской, Мандельштам... — либо те, кого хорошо знал и любил, либо те, кто был столь необыкновенен, «колоритен», чудакват, что самим образом жизни высветил характерные черты всего «странного десятилетия»...

Первые публикации — это воспоминания «на ходу», беглые, зарисовочные, словно писались с главным желанием — удержать былое в памяти, пока время еще не стерло последних его следов. Но понемногу перо «успокаивается», первоначальная беглость оборачивается «изящной легкостью», за которой — много воздуха, света. Проза холодноватая, в ней много «зимнего мерцания»: очертания лиц и предметов чуть призрачны. Проглядывает и «улыбка». Не ирония, нет, она-то как раз — иллюзорна. В насмешливых нотках Иванова, — если не вылавливать отдельные эпизоды, но читать очерк за очерком, — все отчетливей ощущима нотка горечи: это не он «подшучивает» над своими современниками, это история «шутит» с людьми, с жизнями, судьбами, с целой эпохой.

Цикл «Китайские тени» печатался в «Звене» с 1924-го по 1928-й, в 1925-м появляются публикации в газете «Дни» — «Гумилев» и «Поэты». С января 1926 года здесь начинается печататься второй мемуарный цикл, «Петербургские зимы». В очерке «Поэты» наметилась особая литературная форма «микрорепорта». В «Петербургских зимах» они преобладают. Каждый очерк вмещает иногда до 3-х сюжетов.

Летом 1926-го воспоминания Иванова перемещаются из «Дней» в «Последние новости». Название очерков часто говорит само за себя: «Ахматова», «Кузмин», «Блок», Но и многосюжетные очерки не забыты. Возобновлены «Поэты», появляется очерк «Туман» (будущая IV глава из книги «Петербургские зимы»), где ему удалось схватить не только «персонажей», но самую душу Петербурга.

С конца 1926 «Последние новости» — из месяца в месяц — начинают печатать третий мемуарный цикл Иванова, «Невский проспект». Картины прошлого вставали одна за другой. Воспоминание затвердело и появилось в виде газетного подвала, который мог легко превратиться в законченную главу. Но часто один и тот же эпизод перемещался из одной статьи в другую. 15 ноября 1925-го в очерке «Поэты» (газета «Дни») появится мимолетное изображение Блока. В августе 1926-го, к пятилетию со дня смерти поэта, оно превратится в целую статью (газета «Последние новости»). В сентябре 1926-го в очерке «Поэты» («Последние новости») мелькнут лица Рюрика Ивнева и Леонида Каннегиссера. Менее чем через год в рижской газете «Сегодня» «Рюрик Ивнев» появится в «полный рост». Образ же Каннегиссера будет проступать в разных очерках несколько раз, прежде чем автор «соберет» эти осколочные изображения в единый портрет.

Год 1927-й — это по преимуществу «Невский проспект» в «Последних новостях», изредка перебиваемый «Китайскими тенями» в «Звене» и другими разрозненными публикациями. А 1928-м Иванов подведет черту под своей мемуаристикой — выпустит книгу «Петербургские зимы». Главы, ее составившие, — это два очерка из «Китайских теней» (Северянин и Садовской), один из «Петербургских зим» (Лозина-Лозинский и Скалдин), еще один отрывочек оттуда же (о Василии Комаровском). Все остальное — портретные очерки из «Последних новостей» и переработанный «Невский проспект». В целом, книгу вряд ли вошла и половина из написанного. Возможно, он подумывал собрать воедино и оставшуюся часть, «Невский проспект» бросать не хотелось. 28 июля 1928 года последний очерк из этого цикла опять опубликуют «Последние новости». И он более походит на первую главу мемуаров, нежели их завершение: «Я «вступил в литературу» осенью 1910 года...»

Но с этим найденным «началом» цикл прекратился. Воспоминания, столь настойчиво посещавшие Георгия Иванова с 1924 года, начали отступать. В октябре 1929 года он попытается продлить первый свой цикл, «Китайские тени». В «Последних новостях» под таким названием появится статья о Константине Фофанове, еще через несколько месяцев — очерк о Мандельштаме. На этом «энергия памяти» иссякла. С 1929 года Иванов будет печатать куски романа «Третий Рим» и разрозненные новеллы. Новые мемуарные очерки в газете «Сегодня» — это зачастую уже переработка или просто перепечатка опубликованного, из того, что не попало в книгу.

Настоящий очерк стоит в ряду мемуарной прозы Иванова несколько особняком. Главное место действия — не Петербург, не Россия, но

Париж. Поводом для этих мемуаров стало событие, которое случилось утром 25-го января 1937 г. в Булонском лесу.

Герой настоящего очерка Дмитрий Сергеевич Навашин (1889 — 1937) был сыном известного биолога, профессора Киевского университета Сергея Гавриловича Навашина и дальним родственником выдающегося ученого-эллиниста, переводчика Софокла, Фаддея Францевича Зелинского. В 1909 году он познакомился с В.Я. Брюсовым. Дебют начинающего автора, — стихотворения и рассказ «Морской разбойник», — состоялся в альманахе «Северные цветы на 1911 год», был встречен неодобрительными отзывами известных писателей, что, возможно, и побудило его отойти от литературной деятельности. Своей карьерой во многом обязан масонскими связями. Был вице-председателем Российского Красного Креста при Временном правительстве. В 1920-е годы — видный финансовый деятель в Париже, который со временем занял пост директора Коммерческого банка для Северной Европы, созданного советским правительством для зарубежных операций. Дмитрий Навашин был застрелен во время прогулки утром. Нападавший нанес жертве еще несколько ударов кинжалом. Загадочное происшествие широко обсуждалось в прессе. По одной версии Навашин был убит агентами НКВД как невозвращенец, по другой — французскими монархистами-кагулярами, как неугодный финансовый деятель и эксперт.

Очерк «Навашин» был напечатан в рижской газете «Сегодня» (1937. 25 дек. № 354; 27 дек. № 356). Это — всего вероятнее последняя довоенная публикация мемуарного характера. После неё, в следующем году, Георгий Иванов выпустит одно из самых известных своих прозаических произведений «Распад атома», написанное совсем в ином жанре.

Сергей Федеякин

Георгий ИВАНОВ

НАВАШИН

(ИЗ «ПАРИЖСКИХ ПОРТРЕТОВ»)

Кто не жил до 1789 года, тот не знает, что такое «прелесть жизни». Знаменитая фраза Талейрана удивительно легко поддается перелицовке, и перелицованная каждый раз звучит с той же убедительностью. «Кто пожил до мировой войны»... — говорили недавно. «Кто не жил до кризиса»... — твердят в наши дни. И, судя по всему происходящему на земле, — в новых, все новых вариантах того же вздоха о безвозвратно канувших «счастливых временах» еще долго не будет недостатка. Мы или уцелевшие от новых войн, революции, кризисов, не знаю чего еще, — наши современники, вероятно, успеют еще не раз элегически вздохнуть: «кто не жил»... И будут также правы или так же неправы, как прав или неправ был Талейран.

Докризисные годы. Уже далекое прошлое. Уже «история». Почти легендарные, буколические времена легкой наживы, шальных денег, золотой волны призрачного, но головокружительного «просперити», — как самум закружившегося в послевоенной Америке и переплеснувшего в Европу.

В те докризисные, послевоенные годы в Париже появилось много «новых богачей» особого послевоенного докризисного образца. Они появились на поверхности неизвестно откуда, уже совсем готовыми «царями жизни» при всем кинематографическом антураже — роскошных особняков, необычайных автомобилей, собственных банков, коллекций, сумасшедших ресторанных счетов. Они плодились и переполняли Париж. Когда кто-нибудь из них проваливался — бежал за границу или садился в тюрьму — на его месте вырастало пять новых — еще более великолепных. Они процветали, давали праздники и балы, покупали черные жемчуга и картины футуристов, держали скаковых лошадей и хвастались дружбой с министрами. Как-то раз один такой миллионер задержал на завтрак все столики в отеле Риц и, разумеется, оплатил все счета. Завтрак был такой: сам миллионер сидел в углу зала один на один с Тардье — подливая ему вина и брагурно величая его «мон шер ами». — Остальные, разыгрывая «совер-

шенно посторонних людей, занятых едой», любовались этим зрелищем, — для этого они и были приглашены.

Теперь все это, как известно, давно кончено. Рольс-Ройсы и картины проданы с молотка за двадцатую часть стоимости. Особняки заколочены, а их бывшие хозяева или ютятся в дешевых квартирках, или отсиживают в тюремной камере свое недавнее слишком блестящее прошлое. Что-то переменилось в мире. Может быть в преисподней, разочаровавшись в серийном производстве Стависских, занялись чем-нибудь другим, посерьезней, например, подготовкой новой мировой войны. И машина, штамповавшая до кризиса всех этих людей, их психологию, их аферы, их автомобили и кутежи, — валяется где-нибудь в адской кладовой, ржавая и покрываясь пылью.

Но тогда машина работала во всю — блестящее прошлое было блестящим настоящим. В свежестроенных особняках и ультра-модернизованных квартирах шла кинематографическим темпом шальная жизнь — тоже какая-то кинематографически-ненатурально-роскошная, неестественно-элегантная жизнь. Я бывал в одном из таких домов. Не скрою — «бывать» там было довольно приятно.

Приемы на 200-300 человек устраивались два раза в месяц. «Мелкие» обеды и ужины человек на двадцать с икрой в неограниченном количестве, шампанским и наполеоновским коньяком были не в счет. На этих приемах и обедах смешанное, очень «смешанное» общество веселилось, мало обращая внимания на хозяина. Но больше всех веселился именно сам хозяин. Он так и сиял от кончиков своих лакированных туфель до лацканов фрака и надушенного редеющего пробора. Вся его фигура выражала счастье и торжество. Он, казалось, никак не мог очнуться от восторга, что он действительно миллионер, действительно хозяин этого сверхмодного дома со студиями, залами, баром, устроенным как каюта океанского парохода, смирскими коврами, зеркальными столами... Что он муж этой — тоже свехмодной женщины в свехмодном и свехдорогом изумрудном колье. Что это его гости, пьющие его шампанское, купленное на его деньги. Что все здесь принадлежит ему, ему, «который»... Это многозначительное «который» терялось в тумане, никто его не произносил вслух и не пробовал уточнить, но оно веяло и чувствовалось во всем — в улыбке хозяина, в электричестве, даже в пузырьках шампанского. Чем он, собственно, был раньше, этот миллионер? Гости явно этого не знали и еще меньше этим интересовались. Но как-то само собой ощущалось, что прошлое у всего окружающего

блеска было двусмысленное, темное, очень возможно, преступное, и сам он — этот гостеприимный хозяин — вероятно хорошо его помнит, вряд ли когда-нибудь сможет забыть и, должно быть, просыпаясь утром в белоснежной кровати, в шелковой пижаме, он удивляется каждый раз полету своей судьбы.

К гостям здесь относились с тем же восторженным удивлением. Конечно, если у гостя был фрак и он не просил денег в долг. Если у него вдобавок имелось какое-нибудь, даже плохонькое имя, решительно все равно в какой области, — только бы годилось для упоминания в светской хронике, — хозяин буквально был «готов на все». К людям искусства он был особенно неравнодушен. Как-то раз привезли к нему известного французского писателя, славящегося так же своим буйным нравом. Писатель прибыл уже навеселе. Проведя часок в баре, отделанном под океанскую каюту, он напился окончательно. Маленькие карие глаза по свиному округлились, у углов узкого рта появились зловещие складочки беспричинного бешенства.

Тут как раз счастливый хозяин разлетелся к нему показывать свои редкости. Писатель со зловеще-вежливым поклоном последовал за ним. Но глаза его еще больше округлились и складки у рта стали резче.

Начали с коллекции картин. — Вот это голубой Пикассо. А это розовый. Это Сутин — он обошелся мне... Портрет моей жены работы Ван-Догена. Роден, Майиль...

Осмотрев картины, перешли к фарфору. Вдруг писатель до того чинно и молчаливо следовавший за хозяином, круто повернулся да каблуках:

— Это что?..

— Веджвуд. XVIII века... Редчайшая вещь. Мне удалось получить ее, благодаря...

— Какая мерзость!..

Пьяный, но сильный взмах руки. Прежде чем окружающие могли что-либо сообразить, огромная ваза лежала на полу в черепках. На грохот вышла хозяйка дома.

— Месье X. нечаянно разбил вазу, — растерянно лепетал ей муж.

Но писатель перебил его:

— Нечаянно? Напротив — нарочно! Вот так, — пояснил он непридуманно, и вторая, парная ваза с грохотом рассыпалась в куски у ног хозяйки...

Один из гостей, экзотический дипломат, присутствовавший при этом, осведомился, сколько скандалисту лет.

- Тридцать пять.
- Целых тридцать пять? У нас в Чили он так долго бы не прожил.
- Почему не прожил?
- Очень просто — убили бы раньше.

Эта острота с избытком вознаградила хозяина дома за разбитый фарфор. Захлебываясь, он ее повторял каждому и лицо его так и сияло.

Должно быть, он так рассуждал: «Известный писатель разбил две веджвудских вазы. Вазы стоили десятки тысяч. Все это было на блестящем приеме, — очень блестящем: икра без отказа и ни одного гостя в смокинге... Дипломат, настоящий дипломат, которому сам президент пожимает руку, — отпустил по этому поводу острое крылатое слово. И это его гости, его вазы, в его доме, налкавшись его шампанским! Его, «который»... Его, «которому»... Как чудесно, как пышно, какой полет судьбы...

Знакомство с этим докризисным миллионером (я теперь встречаю его иногда — в потертом пальто, сутулый, не всегда бритый, он с кошелькой в руках толчется на улице Пасси, прицениваясь где подешевле зелень, где сегодня «оказьон» мяса), — столкнуло меня однажды с другим человеком.

Его имя недавно было у всех на языке. Загадочный Д. С. Навашин, ученый «экономист», «казначей троцкистов, убитый в Булонском лесу», был тогда директором советского банка...

Однажды около двенадцати ночи я переходил через Пляс Пигаль на Монмартре. Намерения у меня были самые честные: сесть в автобус и ехать домой. Покойный барон Н. Врангель, законодатель петербургского эстетизма, любил повторять: «Во всем надо соблюдать стиль». Я и соблюдал его — после вечера, проведенного в кинематографе, собираясь отправиться спать.

Но судьба судила иначе. На самой середине площади, у знаменитого фонтана, в котором тогда чуть ли не каждый день собирался купаться или топиться очередной ошалевший от радости «мокрого режима» американцев, я столкнулся с кучкой приятно возбужденных людей с сигарами в зубах и в пальто на распашку.

Мой знакомец-миллионер обнимал за талию кинематографическую актрису. Русско-французский делец, хорошо известный в свое время и в Москве, и в Петербурге, теперь состоящий на посылках при «разных великих мира сего», почтительно вел под руку сверхмодную жену миллионера. Молодая балерина из Опера, смуглым тонким лицом напоминаю-

щая Карсавину. Писатель, тот самый, что бил вазы, теперь очевидно успевший приручиться... Еще несколько человек, которых я не знал...

Меня обступили с тем повышенным оживлением и радостью, с которыми подвыпившие люди встречают попавшегося им трезвого знакомого. Конечно, я им был ничуть не нужен и нисколько не интересен — просто пьяная энергия искала выхода, вот как у американцев, лезших топиться в фонтан. Но энергии этой было так много, освобождалась она так бурно и стремительно, что я даже не успел опомниться, как мои намерения ехать спать были забыты, и «стиль» тихого вечера непоправимо нарушен. Я еще отнекивался и собирался улизнуть, но уже стоял у стойки какого-то кафе, и ко мне тянулись со всех сторон руки с расплывающимся шампанским.

— Коньяку ему! — командовал миллионер, и кто-то услужливо лил коньяк прямо в мой еще недопитый стакан...

Короче говоря, через десять минут после этой встречи я уже сидел в черном бесшумном Паккарде, мчавшемся по ночному Парижу. Фонари и дома мелькали в окне. Огоньки сигар светились вокруг. Я сидел на коленях у русско-французского дельца. Напротив меня — молодая балерина, похожая лицом на Карсавину. Случайно я поймал ее тревожно-пристальный взгляд — взгляд влюбленной женщины, как мне сразу показалось — на моем соседе справа.

Ему было лет сорок пять. Лицо с мягкими приятными чертами смутно белело в сумраке. На носу поблескивали круглые очки без оправы. Луч фонаря осветил его на мгновение: полузакрыв глаза, он улыбался застывшей улыбкой доброго китайского идола. Качнуло на повороте — я толкнулся в его плечо. Пальто было необыкновенно мягкое, шелковистое — есть такие особенные дорогие шотландские ткани — и под пальто точно не было человека — та же эластичность, та же шелковистая податливость, только чуть-чуть поплотней...

Шел спор, куда ехать. Одни хотели в Версаль, другие настаивали на Рамбуйе. Мой «шелковистый» сосед, до того молчавший, заговорил. Заговорил он плавно, округленно, степенно, с придаточными предложениями, точно делая научный доклад или произнося речь. Голос у него был барственно-ленивый, акцента почти не чувствовалось, но старомодная изысканность языка сразу выдавала русского, бывлой барской закваски. Интонации этого голоса были очень важными и серьезными, что не особенно подходило ни к месту, ни к подгулявшей аудитории, ни к тому, что мой сосед говорил. Он не одобрял Версаля и не видел ничего хорошего в Рамбуйе. Он предлагал какой-то особенный кабачок на окраине Парижа и важно, не торопясь, советовал ехать именно туда. Он особенно настаивал на петухе, которого там подают, необыкновен-

ном петухе в белом вине, от которого в восторге «мой друг де Монзи». Говоря все это, он улыбался — привлекательно и странно — неподвижной улыбкой добродушного идола из-под круглых стекол очков.

Ресторан, «от которого в восторге де Монзи», оказался смесью корчмы (по обстановке) и дорогого ночного кабаре (по ценам, представленным в меню). Хозяин без воротничка и в кепке, — хлопает гостей по плечу.

Грязноватая прислуга расстилает на простом столе пеструю скатерть... Рассчитано на снобов и сначала им нравится. Но через четверть часа все начинают скучать, а сверхмодная жена миллионера очень явно злиться. Знаменитый петух в белом вине варится бесконечно долго и когда, наконец, его торжественно подают, — никому не хочется его есть.

Я наблюдаю за Навашиным. Я не имею никакого понятия, кто он, — кроме того, что он толст, очень хорошо, хотя как-то нарочито небрежно одет, и что-то в нем внушает к нему симпатию. Может быть то, что он русский? Ни одного русского слова я еще от него не слышал, — но сомнений нет: из кармана его пальто торчит книжка довоенного московского альманаха «Северные Цветы». Да и вся вообще его повадка русская и когда он впервые заговорит на чистом московском слегка «окающем» языке, да еще стихами, меня это несколько не удивит.

Но это потом, позже, уже в другом ресторане. Здесь он по-французски уговаривает нас остаться, уговаривает отведать петуха. «Нигде во всей Франции вы не получите такого, разве только в Туре, у знаменитого Шамбреля, мага кулинарии, чудесника гастрономии»... Но его цветистая речь несколько не действует на жену миллионера. Она брезгливо кривит губы, кутаясь в свою соболью шубку. Она не может проглотить здесь ни одного куска! Здесь грязь, гадость, ей противно, ей холодно, у ней от всего этого сейчас начнется мигрень... На лице Навашина еще плавает благосклонно-благодарная, обычная улыбка, но сквозь нее все ясней проступает растерянность.

Я смотрю на него. Сейчас в этом толстом человеке, буржуазном, бабованном, вероятно, богатом и привыкшем распоряжаться, — явственно проступает ребенок. Даже нос его морщится как-то по-детски, когда он, оборвав какую-то свою закругленную тираду о гастрономии и де Монзи, видя ее бесцельность, встает. Вся его фигура, пальто, шарф, ослепительный галстук явно выражают неподдельное детское разочарование: «А я так хотел всем угодить». Он отвечает обиженному владельцу корчмы изысканный, прямо придворный поклон и уходит вслед

за нами, шумно вздыхая — «Ах, как неприятно»... Так вздыхает, точно в самом деле пережил что-то очень тяжелое.

В другом, настоящем ресторане, — с румынскими скрипками, коврами и хрусталем — Навашин оказывается рядом со мной. Напротив нас устроилась смуглая балерина, по-прежнему не сводившая с Навашина пристального взгляда. Рядом писатель, бывший вазы, заводит ни с того, ни с сего речь о большевизме. Жена миллионера начинает с ним капризно спорить.

— Ничего нет, не было и не будет прекрасней учения Ленина, — с пафосом кричит писатель. — Христианство? Вздор ваше христианство! Искусство? Палец Маркса выше всех Рембрандтов и Гёте вместе взятых! — Он размахивает руками, горячится, приводит, тихо какие-то цитаты и вдруг, помолчав, веско, с глубоким убеждением, даже с какой-то меланхолией в голосе говорит:

— Да чего объяснять? Съездить в зубы как следует — будет и без объяснений понятно!

Наступает неловкое молчание. Прерывает его Навашин. Не обращая ни к кому, не заботясь, что кроме меня и бывшего дельца никто не понимает по-русски, он начинает импровизировать стихи:

Пришли мы в ресторан не для того,
 Чтоб спорить о христианстве, большевизме,
 А попросту, друзья, чтоб закусить
 На языке обычном выражаясь,
 Иль, коль к высокому прибегнуть слогу,
 Который более уместен тут,
 Чтоб таинств гастрономии изведать...

Пятистопные ямбы льются из его рта длинно, гладко, без запинки. Процесс импровизации не доставляет Навашину по-видимому никакого труда и переполняет его удовольствием. И хотя стихи довольно плохи и большинство присутствующих, кроме того, их не понимает — что-то детское, располагающее к себе, уютное, наивно ожидающее похвал распространяется от его улыбки, голоса, позы. И все действительно почему-то довольны, все сочувственно аплодируют, улыбаются. Цель достигнута — страсти улеглись, неловкость прошла. Даже буйный желавший только что кому-то дать в зубы писатель кивает и говорит: «Силлабический стих имеет преимущество над тоническим: он обостряет слух у рыб». Это, несомненно, с его стороны одобрение и даже комплимент. Высказав его коснеющим языком, писатель опускает буйную голову в тарелку с недоеденной икрой и засыпает.

Утро. Черный миллионерский Паккар развозит нас по домам. По-немногу он пустеет. Вот нас осталось в автомобиле только трое: Навашин, биржевой делец и я.

Под конец вечера я с Навашиним немного разговорился. Собственно говорил он один — мне только изредка удавалось вставить слово, в ответ на которое лился новый поток бесконечных, гладких, округленных фраз, произносимых все с тем же наивным самодовольством, с тою же добродушно-застывшей улыбкой. Мне было скучно, но как-то физически-приятно. Какое-то уютное, «шелковистое» тепло распространялось от этого незнакомого мне человека.

Он и теперь в автомобиле продолжал о чем-то рассуждать. Мне страшно хотелось спать. Временами я даже как будто спал. Во сне кто-то развернул предо мной книгу, старомодно изящно отпечатанную, в сомовской грациозной обложке... «Северные цветы на 1910 год». Альманах под редакцией Валерия Брюсова. В отделе стихов — целый цикл, стихотворений десять, с подписью: Д. Навашин. Я пробегаю их. Да, помню, — я их когда-то читал. Помню даже в Петербурге поэты спрашивали друг друга, кто этот Навашин, которого так «по-генеральски» напечатал разборчивый Брюсов...

Нет, мне это не снится. Передо мной действительно книга и стихи, и подпись Навашина. И он сам, все с той же детской хвастливостью поясняющий мне: «Да, в свое время... подавал надежды, как говорится... Сам Брюсов, старик Державин, нас заметил, в некотором роде... Горжусь, не скрою. Хотя вздор — не вышло бы из меня поэта. Зря Брюсов хвалил. Но все-таки приятно вспомнить. И как раз сегодня — такая удача — случайно у букиниста купил».

Черный Паккар останавливается. Навашин прощается с нами. «Удивительно приятно провел вечер. Совсем, как в доброе старое время у Валерия Яковлевича в Художественном кружке. Очень, очень рад». Он с чувством трясет мне руку. Рука у него мягкая, «шелковистая», податливая — кажется, будто в ней нет костей... Странный все-таки какой-то человек, хотя очень славный, удивительно уютный. Но кто собственно этот Навашин?

Этот вопрос я повторяю вслух, когда наш Паккар двигается дальше. Голубые «фарфоровые», ласково угодливые глазки большого биржевого воротилы — теперь миллионерского прихлебателя, смотрят на меня с удивлением.

— Кто? Да разве вы не знаете? Шишка! Правая рука Пятакова. Директор советского банка.

Навашина я больше в миллионерском доме не встречал. И был искренне рад этому. Глупо в самом деле — дружески проболтать с человеком несколько часов — шарахаться от него потом, как от зачумленного. Но и поддерживать такое знакомство было бы по меньшей мере странно.

Спустя год или полтора после этого вечера я опять столкнулся, уже совсем в другом месте, с молодой балериной напоминавшей лицом Карсавину. Она первая заговорила о Навашине. И едва заговорила, сейчас же характерный налет влюбленности, скрываемой, должно быть безнадежной, проступил в тембре ее голоса, повороте красивой головы, в том, как — едва заметно и предательски — задрожала в ее руке золоченая вилочка для пирожных.

Это было смешно, было прямо невероятно. Молодая, тоненькая, очаровательная парижанка, восходящая звезда «Опера» и грузный нелепый Навашин с его стихами и подозрительной репутацией. И в то же время, где-то на дне души, я отчасти понимал, почти сочувствовал ей. Должно быть, это тайное сочувствие как-то передалось ей и вызвало ее на откровенность.

— Ах, оставьте вашу идиотскую политику, какое мне до нее дело! Я спрашиваю, как он вам понравился сам, вне всего!

— Вы влюблены в него? — не удержался я.

— Ах, вы ничего не понимаете. Он мой друг. Нет, больше, гораздо больше, — глаза ее стали странными, — он... мне подруга, — прошептала она.

Я засмеялся. Но она не обиделась — должно быть ей было необходимо поверить свои чувства кому-нибудь.

— Неужели он мог не понравиться вам? Как странно! Он всех очаровывает, всех, кого хочет. Да, просто нельзя бороться. Неужели вы не почувствовали? И он такой добрый, великодушный, благородный человек. Знаете, мы раз ехали с ним. На мосту стоял нищий. Я только сказала: вот бедный, и он остановил автомобиль и вылез, а ведь он толстый, ему трудно, и дождь шел — вылез и дал нищему сто франков.

— Не так уж страшно, чтобы произвести впечатление на вас, а денег у него ведь много.

— Ах, не спорьте! Его все любят, даже чужие собаки на улице подходят ласкаться к нему.

— Если уж собаки, то действительно не поспоришь.

Но она не слушая продолжала:

— Конечно, он мне больше чем друг и ближе чем сестра. Я ему все рассказываю. И он все, все понимает. И знает, что он только кажется таким старым и толстым. В душе он совсем молодой, как подросток, он

таким и чувствует себя. А банк, политика, карьера — так, внешне... Он рассказывал мне, что когда встает и смотрит утром в зеркало, он всегда первую минуту не верит, что этот старый человек действительно он. И каждый раз огорчается. И еще он рассказывал, что во сне он бывает женщиной, совсем молодой. Разве не очаровательно? Оттого он все так хорошо понимает. И оттого он такой застенчивый. Да, страшно застенчивый, хотя этого совсем не видно, хотя он кажется важным, самоуверенным. Это все напускное — от застенчивости, для самозащиты. И вы знаете, — зашептала она, — хотя этому никто не поверит, он совсем не умный. Совсем. Но зачем ему ум — он такой очаровательный. Вы помните его улыбку? На что он похож, когда улыбается?

— На китайского божка, — сказал я.

Она покачала головой. — Вы находите? Может быть, немножко. Но гораздо больше знаете на что? На большую добрую собаку и ребенка. Сразу на обоих. Ребенок возится с большой собакой, запустил руки в ее шерсть, садится на нее верхом. И они вместе взятые — он, Навашин...

Заблудившись немного на утренней прогулке, я пошел наугад через Булонский лес и оказался не у себя в Пасси, а километра на два левой у самого ипподрома.

По пустой широкой аллее, напоминающей лесную просеку, шел Навашин. На нем было то же или такое же шелковистое пальто, клетчатый шарф небрежно подвязан вокруг шеи, круглые стекла очков блестяли на утреннем солнце. Он что-то ритмически бормотал под нос и улыбался.

Выждав под деревьями пока он меня минует, я пошел поодаль за ним по направлению к остановке моего автобуса. Навашин шагал довольно быстро для своего тяжелого тела. Собака перебежала ему дорогу. Он остановился, подозвал собаку и потрепал ее по спине. У пустой сторожки стоял нищий. Навашин сунул ему монету. Мальчишка на велосипеде, нагруженном бутылками молока, радостно приветствовал его: «Бонжур, мсье!» — «Бонжур», — важным благодушным голосом ответил Навашин, и церемонно, точно перед равным, приподнял перед мальчишкой из молочной шляпу...

Это было утром в той части Булонского леса, которая пышно называется Парк де Прэнс. Ничего «княжеского» здесь нет. Место довольно глухое, особенно по утрам. Деревья большие, тенистые. Кругом разросшиеся кусты, аллеи, аллейки, закоулки, тропинки...

Как раз в такой утренний час, в этом самом месте к Навашину — сначала директору советского банка, потом невозвращенцу, сперва — по слухам — агенту Г.П.У., а потом казначею троцкистов, подошел кто-то другой. Случайный прохожий услышал короткий вскрик и побежал сквозь кустарник на помощь.

Было уже поздно. Темные счета были уже навсегда сведены. Рядом с трупом Навашина лежали его очки, сбитые в лица, растоптанные в борьбе. Удар стилета пришелся в самое сердце. Тонкое, холодное лезвие должно быть легко, как по маслу, проскользнуло к цели, — сквозь ту рыхлую, шелковистую уступчивую преграду, которая еще секунду назад была грудью Дмитрия Навашина.

ПРИМЕЧАНИЯ

Кто не жил до 1789 года... — Фраза французского дипломата и министра иностранных дел при трех режимах Шарля Мориса де Талейрана (1754 — 1838) о предреволюционной эпохе во Франции, когда он мог позволить себе не отказывать ни в каких удовольствиях.

«Кто не жил до кризиса»... — Имеется в виду мировой экономической кризис, который начался в 1929 г.

...головокружительного «просперити»... — имеется в виду период экономического подъема в США после первой мировой войны (от англ. prosperity — процветание).

...один на один с Тардьё... Андре Тардьё (1876 — 1945) — французский политик, который трижды был премьер-министром Франции.

Может быть в преисподней, разочаровавшись в серийном производстве Стависких... — Ставиский Александр (1886-1934), уроженец Киева, ставший знаменитым парижским финансовым аферистом, который имел широкие связи в политической элите Франции. Самая знаменитая афера Ставиского, — банк «Муниципальный кредит», выпускавший ценные бумаги, не подкрепленные никакими активами, — закончилась его смертью (по официальной версии — самоубийством) и политическими потрясениями во Франции, едва не приведшими к власти профашистов.

Это Сутин... — Хаим (Хаим Соломонович) Сутин (1893 — 1943) — известный парижский художник-экспрессионист, уроженец России с 1912 года обосновавшийся во Франции.

Портрет моей жены работы Ван-Догена — Кес (Корнель Теодор Мари) ван Доген (1877-1968) — известный французский художник голландского происхождения.

Роден, Майиль... — Огюст Роден (1840-1917) и Аристид Майоль (1861 — 1944), известные французские скульпторы.

Веджвуд. XVIII века... — знаменитый фарфор британкой фабрики, доступный только состоятельным коллекционерам, среди которых были многие королевские семьи Европы. Сочетал в себе «прозрачность» с особой прочностью. Основатель фабрики (1759 г.) — Джозай Веджвуд (1730 — 1795).

...где сегодня «окаэзон» мяса... — от французского «occasion» (случай), — место, где сегодня можно купить дешевое мясо.

Покойный барон Н. Врангель... — Врангель Николай Николаевич (1880 — 1915) — искусствовед, критик, организатор художественных выставок, сотрудник журнала «Аполлон».

Молодая балерина из Опера... — имеется в виду Гранд-Опера.

...от которого в восторге «мой друг де Монзи». — Анатолий де Монзи (1876 — 1947), преуспевающий парижский адвокат, публицист, французский сенатор

и министр просвещения. В 1932 г. написал предисловие к двухтомнику Навашина «Кризис и экономическая Европа», изданному по-французски.

«Северные цветы на 1910 год». — Д.С. Навашин был опубликован в альманахе «Северные цветы на 1911 год».

Сам Брюсов, старик Державин, нас заметил... — отсылка к знаменитым строкам из пушкинского «Евгения Онегина» (гл. 8, строфа 2): «Старик Державин, нас заметил / и, в гроб сходя, багословил...», которые стали иносказательным выражением известной ситуации, когда писатель старшего поколения приветствует младшего собрата по перу, как продолжателя его дела.

Правая рука Пятакова. — Пятаков Георгий (Юрий) Леонидович (1890 – 1937) — видный советский партийный и государственный деятель. С 1927 руководитель торгового представительства СССР во Франции, с весны 1929 по октябрь 1930 — Председатель Правления Государственного банка СССР. Был арестован в 1936 году по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра» и в 1937 году расстрелян.

*Публикация Н.О. Тамарович,
вступительная статья и комментарий — С.Р. Федакина.*

Наталья Корниенко

ПРОЛЕТАРСКИЕ ПИСАТЕЛИ

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ И ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ

Тема «Платонов и его современники» (по аналогии с классической серией «Пушкин и его современники») является наиважнейшим направлением современного платоноведения.

К числу забытых современников Платонова относится Демьян Бедный. В 70-е годы Мария Александровна Платонова вспоминала Демьяна Бедного как блистательного рассказчика и интересного собеседника, вспоминала, правда, без связи с фигурой Платонова. В те годы вопросы, которые сегодня реально обозначились к заявленной теме, у нас не возникали. Казалось, как можно ставить рядом с Платоновым классика партийной литературы Демьяна Бедного?! К тому же, и фигура Демьяна Бедного тогда уже ушла из актуального поля исследований русской советской литературы. В 2005 г. Демьяна Бедного вспомнила невестка Платонова Тамара Григорьевна Зайцева, рассказывая об их с Платоном Платоновым свадьбе, на которую был приглашен Демьян Бедный. Появление на свадьбе Бедного Тамара Григорьевна объясняла просто: хотели пригласить известного писателя. Столь же простоудушно она отвечала и на вопрос, дарил ли Платонов внуку Александру свои книги: дарил, но книги с дарственными надписями не сохранились, потому что она не знала, что Платонов — великий писатель. Тамара Григорьевна вошла в семью Платоновых после возвращения Платона из сталинских лагерей, и была далека от творческих исканий Платонова. Казалось, тема «Бедный и Платонов» исчерпана. Однако выявленные нами в архивах РГАЛИ материалы второй половины 1930-х гг. о встречах Платонова с Бедным позволяют вернуть фигуру Бедного в идеологические контексты изучения творчества Платонова, в тот контекст политической и литературной повседневности, в который погружены его тексты, хранящие память об эпохе в мельчайших ее деталях. Начинать разработку этой темы, на наш взгляд, необходимо с 20-х годов. Мы остановимся лишь на некоторых сюжетах этой чрезвычайно увлекательной темы в понимании не только фигуры Платонова, но и в целом истории русской литературы первых советских десятилетий. Лишь заметим, что в составленных в последние годы Историях русской поэзии советского периода имя Бедного практически отсутствует. В реальной же истории — все было по-другому.

О ПРОЛЕТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ГАРМОШКЕ

Первая половина 20-х годов отмечена постоянным возвращением к вопросам пролетарской литературы, к которой причислял себя не только «первый пролетарский поэт» Демьян Бедный¹, но и Андрей Платонов. Демьян Бедный говорил от имени пролетариата из Кремля, где он жил, и наблюдал его жизнь, путешествуя по СССР в собственном — «протекционном вагоне»². Для Платонова рабочий класс оставался его «родиной»³ — и биографически, и политически, и эстетически. Поэтому в разгоревшейся осенью 1923 г. дискуссии о пролетарской литературе их позиции были близки, но не тождественны. Старт дискуссии был дан статьями Л. Троцкого по вопросам пролетарской культуры и партийной политики, опубликованными в «Правде». Напомнив о ленинских негативных оценках теорий пролетарской культуры (дискуссия в «Правде» 1922 г.) и первоочередных для пролетариата задачах «культурничества», Троцкий подверг жесткой критике платформы пролетарских группировок, призвал рабочих-пролетариев к конкретной производственной работе и указал, что лидер попутчиков А. Воронский проводит «линию партии», потому что у пролетариата «есть культура политическая, но очень мало художественной». И вывод: «... "созерцательная" интеллигенция больше могла бы дать и дает в области художественного отражения революции, — хоть и с кривизной, чем пролетариат, который ее совершил»⁴. Обиделись на Троцкого за его выступления многие: Общество старых большевиков, группа «Рабочая весна», левовцы, «Кузница», напостовцы. Хитрее всех оппонировал Д. Троцкому Бедный, начав свой «ответ» Троцкому с признания в искренней дружбе («Не утаить, как ни таи / (Признаньем дружбы не нарушу?) / Мне Льва Давидыча статьи / Как кислота разъели душу») и построив свой выпад на защите «пролетарского молодняка» — от «орд попутчиков беспутных»: «Наш пролетарский молодняк / Сконфужен собственным обличьем. / Зло-символический Пильняк / Пред ним смердит гнилым величием»⁵. Платоновские оценки попутчиков были не менее уничижительными, чем у Демьяна или же на страницах «На посту» (первый номер журнала вышел летом 1923 г. и имел скандальный успех):

«Под предводительством именитого графа Алексея Толстого путешествуют эти господа по страницам единственного петроградского гонимого толстого журнала.

Каждый путешествует по-своему.

Граф, как и подобает графу, описывает места культурные, где варваров-большевиков не имеется, — Парижи. И, конечно же, на то он и русский барин, описывает в том же Париже ужасных апашей»;

«... "племя младое, незнакомое" не только не пошлет Н. Никитину «привет», но, пожалуй, пошлет (уж не ему, а по его адресу) несколько слов более крепких, чем "привет"»⁶.

В отличие от выступления Бедного, в целом вписывающегося в размежевания в стане «кремлевской критики» (С. Маршак)⁷ осени 1923 г. (Троцкому тогда опшониrowал нарком иностранных дел Г. Чичерин), политическая позиция Платонова в поддержку пролетарской литературы, особенно концепции «производственничества» «Лефа», подвергнутой критике Троцкого за «утопическое сектанство»⁸, осложнена вопросами новой эстетики. Именно новой эстетики Платонов не находил ни только у попутчиков и напостовцев, но даже у теоретиков левого искусства, в адрес которых он отпускает не менее иронические инвективы:

«Почему это — мы накануне оживления романа тайн, и причем здесь все Белые и других цветов покойнички — Шкловский не объясняет (речь идет о статье В. Шкловского "Техника романа тайн" в № 4 «Лефа». — Н. К.). А без доказательств — такое "положение" весьма... сомнительно. В общем же статья беспартийна... до скуки».

«Пока вопрос о парглинии в искусстве ставится практически, напостовцы рассуждают трезво — нельзя поддерживать Пильняков и Алексеев Толстых, Ахматовых и Ходасевичей. Это стало триумфом.

Но когда вопрос переходит на принципиальную почву — понимания искусства — дело становится хуже. Тут раскрывается трогательное единение "постников" и с т. Воронским, и с т. Троцким, и даже с самим т. Луначарским. Искусство все-таки оказывается "познанием жизни", да еще каким...»⁹.

У Бедного подобных сложных эстетических вопросов не было. Как заметил Е. Добренко, « "литературщиной" Демьян Бедный называл все, что выходило за пределы его стилового поля»¹⁰. Общим для Бедного и Платонова оставалось политическое поле и обостренное внимание к текущему политическому моменту. Демьян без устали (иногда, правда, и устывая, о чем он признавался в доверительных письмах Сталину) растолковывал для масс партийные документы и постановления самых разных уровней (решения съездов, пленумов, выступления вождей, резолюции различных наркоматов и т.п.). Тексты Платонова не в меньшей степени насыщены, иногда, кажется даже, перенасыщены этими же исходными материалами политической реальности. Написанное Бедным образует одну из самых авторитетных энциклопедий партийно-политической жизни России, правда, при условии, что тексты его произведений будут читаться (и анализироваться!) по текущей периодике, а не по поздним, исправленным как самим Демьяном, так и редакторами. Энциклопедический «Котлован» Платонова является не только политиче-

ским памятником эпохи «года великого перелома»¹¹, но литературным памятником. Еще раз подчеркнем, политический статус текста относится не только к насыщенным политическими аллюзиями «Чевенгуру», «Впрок», «Котловану», но и казалось бы к безобидной героине рассказа «Фро», особо нелюбимой советскими писателями, а также к мирным детским рассказам второй половины 30-40-х гг., вполне адекватно оценивающимся советской критикой как полемический выпад Платонова против общего направления советской детской литературы.

В отличие от Бедного, который вряд ли заметил дебютные книги нового пролетарского писателя Платонова — «Епифанские шлюзы» (1927) и «Сокровенный человек» (1928) — справедливости ради, отметим, что их практически не заметила и критика, Платонов неплохо знал тексты Демьяна и его выступления по самым разным вопросам, включая вопросы низовой культурной политики, обогативших интертекстуальное поле его произведений. Остановимся лишь на одной теме, вокруг которой в 1926-1927 гг. развернулась полемика Платонова с Бедным, по горячим следам запечатленная в его прозе.

Исследователям эпохи первого советского десятилетия хорошо известно, что программы низовой культурной политики нового государства во многом были сформулированы в выступлениях Л. Троцкого 1923 г. по вопросам «старого» и «нового быта», и если в литературных кругах главной оставалась его книга «Литература и революция» (1923), то на этом направлении культурной работы таким стратегическим документом являлись его статьи, вошедшие в книгу «Вопросы быта. Эпоха "культурничества" и ее задачи» (1923). Изучение рабочего и крестьянского быта должно быть подчинено главной культурнической задаче: провести революционное преобразование «консервативного по тысячелетним своим традициям» быта народа — «до самых глубоких его основ»¹², преобразовать его, используя для этого все возможные средства, понятные народу. Таким самым, может быть, понятным для масс инструментом в крестьянской России считалась гармонь. До середины 1920-х гг. гармошка проходила в череде символов старого крестьянского быта — народной стихии, разгула «ватаги» и ее бунта, что нашло отражение в поэзии А. Блока, П. Орешина, С. Есенина. Пролеткультовцы первыми хотели приспособить гармошку для дела мировой пролетарской революции, однако исполнение на гармошке «Интернационала» (гимн СССР с 1918 до 1944 гг.) успеха не имело. Даже более того — дискредитировало гармошку в глазах мирового пролетариата (классические мелодии гармошки — плясовая, частушки, страдание), закрепив за ней статус «похабного инструмента», недостойного занять свое место в пролетарской музыке. Комсомольские поэты, идущие в авангарде борьбы за «новый быт», первыми попытаются сломать сложившееся

представление о гармошке, создав образ комсомольского гармониста и «красной гармошки», исполняющей естественно новые революционные песни — «Марсельезу» и «Интернационал» (поэмы «Гармонь» Н. Кузнецова и А. Жарова). У Жарова в финале поэмы возникает почти чевенгурско-котлованный гротесковый образ поющих «Интернационал» деревьев: «Звенит гармонь / И вместе с молодежью / Леса поют "Интернационал"»¹³. (В сцене с деревьями «Чевенгура», а затем в «Котловане» Платонов реализует метафорический смысл заключенный в словах гимна, как они звучали в те годы: «Весь мир насилия мы **разроем** до основания...».) В 1926 г. мероприятия по перевоспитанию гармошки сопровождаются новой кампанией — борьбой со старым песенным репертуаром и созданием для народа новых песен (проект «Комсомольской правды») и выводятся на новый государственный уровень. По всей стране летом проводятся конкурсы гармонистов и даже специальные конференции комсомольцев-гармонистов. Сообщения о проводимых мероприятиях по перевоспитанию гармошки носят экзальтированный характер: «И гармошка выступила на конференции, как оратор, как главный докладчик», гармонь — «это пролетарский поэт, инструмент трудящихся»¹⁴. Особенно много информации о конкурсах дают крестьянские издания (отметим, что Платонов в 1926-1927 гг. сотрудничал с журналом «Жизнь крестьянской молодежи», в 1928 г. — с «Крестьянской газетой»). «Рабочая газета» (также внимательно читалась Платоновым) поместила осенью 1926 г. следующее официальное заключение сотрудника Государственного института музыкальной культуры: «Признание гармонике со стороны комсомольских и прочих организаций состоялось в 1926 году. Она признана могущественнейшим орудием в продвижении культуры в массы. Признана роль гармониста, как организатора молодежи»¹⁵. В декабре в Москве прошел 1-й конкурс гармонистов, которые «потребовали узаконить гармошку, как инструмент, доселе подпольный, но имеющий все права выдвинуться на первое место»¹⁶. Высокий государственный и культурный статус конкурса подтверждает состав жюри: А. Луначарский (нарком просвещения), Вс. Мейерхольд, Л. Сосновский (партийный критик), профессора Московской консерватории. Патетическое слово о гармошке на открытии конкурса произнес А. Луначарский: «Гармошку нужно разбудить и сделать ее проводником музыкальной культуры». Менее романтичным было выступление Л. Сосновского: «Вас поразит однообразие тех песен, которые будут исполняться на гармонике, все эти "цыганочки" и "коробочки" — печальные итоги музыкальной жизни нашего народа под гнетом многовекового рабства. Нынешний конкурс надо расценить как зачаток расцвета будущей музыкальной культуры»¹⁷. Сосновский лишь подтвердил очевидные результаты 1-го конкурса гармонистов, о которых не раз сообщали газеты:

да, в репертуарах гармонистов появились новые песни, но их не так много, а в низовой массе продолжают петь под гармошку отнюдь не революционные песни, а прежние мещанские страдания, «шальные махновские частушки» или ставшую популярной особенно в рабочей среде песню П. Германа «Кирпичики»¹⁸ (эта незатейливая мещанская песня воспринималась тогда как откровенная и вызывающая пародия на героиню известного романа Гладкова «Цемент» Дашу Чумалову, устроившую гражданскую войну в семье).

Обратим внимание на дату конкурса — декабрь 1926 г., без которой, очевидно, не понять политического и полемического пафоса выступления Д. Бедного на страницах «Известий» — с разоблачением и конкурса гармонистов, и самой затее по перевоспитанию любимого масса музыкального инструмента. Действительно, на фоне ожесточенной политической борьбы с «новой оппозицией» (она оформилась в конце 1925 г., когда Л. Троцкого поддержат ранее критиковавшие его бесценный глава Петрограда-Ленинграда Г. Зиновьев и руководитель Москвы Л. Каменев), объявленной в сентябре 1926 г. государственной программой борьбы с хулиганством, а главное, жгуче острых дискуссий на 7-м расширенном пленуме ИККИ (Исполнительные комитет Коммунистического Интернационала), публикуемых в «Правде» с 9 ноября по 22 декабря, — вся эта затея с гармонистами и гармошкой выглядела, на первый взгляд, действительно «делом от безделья» (характеристика Бедного). При этом само «стихоплетение» (Вяч. Молотов о стихах Демьяна в письме Сталину) Бедного по поводу гармошки и новых песен, в создании которых он принимал самое активное участие, звучало не менее политически двусмысленно, к примеру: «И визжит, и гнусит, и грохочет. / Доконать песню русскую хочет». У Бедного получилось, что именно гармонь в деревне является чуть ли не главным препятствием ее культурного просвещения:

Когда станет богаче наша страна,
Музыкально-культурною станет она,
А повысится наша культура,
Умолкнет гармошка, визгливая дура...¹⁹
Твердо веря в приход *симфонических гней*,
Когда новые звуки нам будут родней
И когда молодежь будет фыркать, глаза,
На гармонь, экспонат бытового музея:
«И подумать... играли когда-то на ней!»²⁰

Старт государственной кампании борьбы с «есенинщиной» = ху-

лиганством уже дан — статья сомневающегося в перевоспитании гармошки Л. Сосновского «Развенчайте хулиганство» опубликована в «Комсомольской правде» 19 сентября 1926 г. Об этой кампании Бедный хорошо знал и принял в ней самое активное участие. Л. Сосновский не просто один из критиков, он работник Агитпропа ЦК, партийный критик, с которым Бедного связывали дружеские отношения. Сосновский являлся автором одной из первых монографических статей о Бедном и первым редактором выходящего 13-томного Собрания его сочинений (вышло 12 томов, издание было остановлено в 1928 г., два редактора — Л. Сосновский и Г. Лелевич были исключены из партии в декабре 1927 г. за связь с оппозицией). В логике Сосновского-Бедного декабря 1926 г. воспетый Есениным образ тальянки — «За былую силу, гордость и осанку / Только и осталась песня под тальянку» («Сыпь, тальянка, звонче, сыпь, тальянка, смело!..», 1925) — является символом «печальных итогов музыкальной жизни нашего народа под гнетом многовекового рабства» и хулиганства (Сосновский).

Высокие в сравнении с народной гармонью «симфонические дни», думается, навеяны Демьяну двумя источниками. Первый источник: это патетический финал «заключительного слова» И. Сталина на расширенном пленуме, в котором вождь на разные лады варьировал слова Ленина о республике Советов как «факеле международного социализма»: «Я не сомневаюсь, что вы примите все меры к тому, чтобы факел этот горел и освещал дорогу всем угнетенным и поработанным»; «Я не сомневаюсь, что вы примите все меры к тому, чтобы пламя этого факела раздувалось вовсю на страх врагам пролетариата»²¹. (Образ ленинско-сталинского «факела» революции осветит не только экспозиционные строки романа Платонова «Счастливая Москва», но и жизнь революционной чевенгурской коммуны.) До того, кажется, далекий от воспевания мировой революции, Бедный берет на себя в некотором смысле не свойственную ему ранее миссию по созданию песен о мировом значении русской революции. И это где-то понятно, опять же в партийно-политическом контексте развенчания главного идеолога мировой революции — Троцкого, чьи идеи питали многих поэтов этого десятилетия, да и сама фигура «вождя» революции была им ближе и роднее, чем даже Ленин, не говоря о Сталине. Бедный не видел в крестьянстве источника для новых песен о мировой революции. Русская деревня, по Бедному, вообще, ничего, кроме чертополоха, не родила: «Питомцев кабака, разгульного кружала / Деревня русская рождала»²². Вторым источником «симфонических дней» у Бедного является портрет Ленина, слушающего «Appassionata» Бетховена (очерк «В. И. Ленин» М. Горького). Этот источник подтверждает стихотворение «Оправдание», написанное Бед-

ным вслед декабрьским стихам о гармошке. Можно сказать, что в созданном в этом стихотворении образе Ленина Бедный превзошел «нечеловеческой музыкой» (Горький) все написанное до него об исторической России: «Ты в муках гнула, пропадала! / И разоренная дотла, / Свой жребий тем лишь оправдала, / **Что миру – Ленина дала!**»²³. Понятно, что ничего подобного, как ее не перевоспитывай, гармонь не может исполнить, как не давались ей и симфонические мелодии.

Симптоматично, что выступление Бедного против официальной государственной кампании перевоспитания гармонистов и гармони не будет никак откомментировано властями. На него отзовутся лишь участники кампании:

Я сегодня видел,
Как играл на тальянке
Деревенский малый
«ИНТЕРНАЦИОНАЛ».

Дни прошедшие в узел связав,
Под гармонь
Зашагаем мы быстро.²⁴

В 1927 г. выбранное направление культмассовой работы подтвердит Н. Крупская (председатель Главполитпросвета при Наркомпросе): «И прав комсомол, когда обращает на это дело особое внимание. Совершенно прав, когда устраивает конкурс гармонистов, когда добивается, чтобы на гармошке, доступной и близкой деревне, игрались не пьяные, похабные песни, а песни красивые, песни революционные»²⁵.

Взгляд Бедного на гармошку с высоты «симфонических дней», не доступных восприятию массы, как и вся кампания 1926 – 1928 гг. (в январе 1928 г. пройдет 2-й всесоюзный конкурс гармонистов, будет принято решение о создании рабочей консерватории) по перевоспитанию гармонистов и созданию нового репертуара для гармони – найдет филигранно точное и детальное описание в прозе Платонова. Правда, в отличие от Бедного, сюжеты с гармоникой написаны Платоновым с позиции прямо противоположной – позиции «отсталого рабочего» (самоаттестация Платонова 1932 г.). Про гармонь Платонов знал не мало. Гармонистом-самоучкой (слухачом) был его отец слесарь Воронежских мастерских Платон Фирсович Климентов и воронежский друг М. Бахметьев, собиравший частушки. Ему посвящено стихотворение Платонова «Песня» (1921), выполненное в ритме частушки и плясовой: «Рыжий дернул на гармошке, / Девки взвыли в голос, / Застрадали про Ермошку – / За-

скорбела волость»²⁶. Выросший в пригородной слободе и колесивший по губернии Платонов неплохо знал репертуар современных гармонистов. Гармошка у Платонова — часть современного русского ареала: «В бараках торфяников пела гармония, над Москвой летали аэропланы и стоял газ напряжения ее машин и людей»²⁷ («Демьян Фомич — мастер кожного ходового устройства», 1926). В «Сокровенном человеке» (1927) гармоника исполняет веселое «Яблочко»; ничего нового не прочитывается и в репертуаре встреченного Пуховым «гармониста-мастерового»: «...тянул волынку», «...заиграл унылую, но нахальную песню»²⁸. Не без полемики с Демьяном Бедным включается в повесть фрагмент песни красноармейцев, крамольно-смешные слова которой («Как родная меня мать / Провожала, / На дорогу сухих корок / Собира-ала!»²⁹) оспаривают пафос исполняемых под гармошку знаменитых «Проводов» Бедного («Как родная меня мать провожала / Как тут вся моя родня набежала...»), а также десятков созданных на мотив «Проводов» оптимистических песен (большинство этих текстов, кстати, включалось в массовые песенники). Гармошка занимает почетное место в жизни Чевенгура. Именно через образ есенинской тальянки, на которой играет «прочий», обретает свой голос сокрушенная идеологами нового города «душа»: «На околице Чевенгура заиграла гармоника — у какого-то прочего была музыка, ему не спалось, и он утешал свое бессонное одиночество. Таковую музыку Копенкин никогда не слышал — она почти выговаривала слова, лишь немного не договаривая их, и поэтому они оставались неосуществленной тоской»³⁰. В «Чевенгуре» Платонов проецирует на исторические события 1921 г. (время действия в романе) не только политическую дискуссию 1927 — 1928 гг. (время работы над романом), но и песенно-музыкальную, освященную борьбой вокруг гармошки. Об этом свидетельствует структура воссозданной в романе ситуации «среди музыки», когда привезенная из города Пиусей «музыка» (гармошка) исполняет весь новый репертуар: 1) туш в честь прибытия женщин в Чевенгур; 2) «торжественный марш»; 3) «Варшавянку»; 4) «предварительный марш, взволновавший всех отдельных прочих»; 5) «что-то из нотной музыки»; 6) «марш, где чувствовалось полковое движение: песен одиночества он не уважал и совестился их играть»; 7) «музыкальный марш»; 8) «Яблоко»³¹. В портрете Пиуси-гармониста подчеркнуты черты сознательного гармониста 1926 г.: «Пиуся принес хроматический инструмент и с серьезным лицом профессионального артиста сыграл товарищам "Яблоко". Копенкин и Пашенцев взволнованно плакали, а Пиуся молча работал перед ними — сейчас он не жил, а трудился»³². Кульминацией сюжета «среди музыки» и одновременно ее преодолением является песня Пашинцева («Давно пора нам смерть встречать...»), она исполняется под гармошку — «вслед

музыки», на «протяжную» мелодию, и представляет импровизацию на заданную тальянкой мелодию последнего стихотворения Есенина («До свиданья, друг мой, до свиданья...») ³³.

ОТ «НАСЛЕДНИКОВ» ЛЕНИНА К «ОТЦУ НАРОДОВ»

Во внутривластной борьбе 1925 – 1927 гг. Бедный сразу занял однозначную позицию поддержки Сталина, никаких «дружеских» чувств к Троцкому теперь в его писаниях нет, он даже о них не вспоминал: «Стальной слон нашего фронта единого / Не задрожит от рычания львиного» ³⁴. Правда, с переводом событий партийной борьбы на язык понятной массовому читателю басни даже у Бедного не всегда получалось. Так, двусмысленной и политически «мутной» по содержанию оказалась басня «Лесные звери» (1926), где аргументы внутривластной дискуссии 1925 г. были переведены на язык зверей. Басня не понравилась членам Политбюро, увидевших в ней «плохой симптом» для творчества Бедного ³⁵. Однако пока никаких больших проблем с Демьяном не было, текущая политика остается главной для публикуемых в «Правде» и «Известиях» фельетонов и «эпопей» Бедного. Приведем очень характерный фрагмент письма Бедного Сталину от 7 марта 1929 г., в котором он жалуется, что «Правда» задержала публикацию его фельетона:

«Я, как агитатор, чувствую, что тут под ногами горит. И сам горю. Подхватываю тему, гоню в «боевую» газету боевой фельетон – в триста строк. Объясняю, что производственная вялость, «порча рабочего нрава» у нас потому, что в рабоч<ую> среду «просочилась мужичья отрава». Заканчиваю громадный фельетон патетически:

Да, кто же, черт побери:

Богатыри

Или блохи,

Недостойные нашей эпохи?

Трудовой мы класс или озорное охлестье?

Пролетарский авангард или мужицкое охвостье?...» ³⁶

Как отмечают комментаторы письма, уже на следующий день после письма Сталину весь подвал страницы был отведен фельетону Бедного «Кто же мы?», текст придержали вовсе не за идеологию, а за его большой объем. Таковы были отношения с вождем, просто приятельские, да и текст «Кто же мы?» вполне соответствовал генеральной линии партии по подготовке «года великого перелома» (его потом не будут включать в

посмертное собрание сочинений за очевидную связь с крамольными «Богатырями»). Впервые Бедный ошибся в 1930 г., опубликовав в «Правде» и «Известиях» цикл фельетонов; фельетон «Слезай с печки» вышел с иллюстрациями отдельным изданием, с подзаголовком «Памятка ударнику» — для массового читателя. Ничего нового в этих произведениях нет, Бедный в очередной раз виртуозно клеймил русского «мужика» со всеми его историческими пороками, клеймил в полном соответствии с идеологическим курсом «года великого перелома» (название статьи И. Сталина, опубликованной в «Правде» 7 ноября 1929 г.). Однако в официальном пропагандистском дискурсе в течение полугода происходят радикальные изменения, определяемые статьями Сталина «Головокружение от успехов» («Правда», 2 марта), «Ответ товарищам-колхозникам» (3 апреля) и «Постановлением ЦК ВКП(б) о борьбе с искривлениями партийной линии в колхозном движении» (15 марта). Партийная критика фельетонов Бедного вписывается именно в контекст весны 1930 г., когда было объявлено о борьбе с «искривлениями и их носителями», с «опьяненными успехами товарищами», которые «стали сползать с пути наступления на кулака на путь борьбы с середняком».

Ситуация с Демьяном не была уникальна для литературной жизни 1930 г., отмеченной не только борьбой с «буржуазными», «кулацкими» писателями, с перевальцами-попутчиками, но и очередным расколом внутри пролетарского движения, где в мае оформилась группа «Литфронт», занявшая радикально левую, политическую и эстетическую, позицию по отношению к руководству РАППа. На развернувшуюся на страницах «Литературной газеты» схватку между РАППом и «Литфронтом» Платонов откликнулся в незавершенной статье «Великая Глухая» (в конце 1930 г. «Литфронт» будет распущен, рапповцы также публично признают свои ошибки). Летом 1930 г. Платонов приступает к работе над «Котлованом» и, конечно, он не прошел мимо главных событий 1930 г. на пролетарском фронте литературы: самоубийство перешедшего в РАПП Маяковского; раскол в самом РАППе; публичная критика Бедного. Кроме современных политических реалий, текст Платонова всегда напоминает реалии культурной и литературной жизни, можно даже говорить о литературных прототипах героев повести. На наш взгляд, одним из литературных прототипов активиста является Бедный. Не знавший о переписке Бедного и Сталина (декабрь 1930 г.), Платонов в образе активиста, который читал «каждую новую директиву <...> с любопытством будущего наслаждения, точно подглядывал в страстные тайны взрослых, центральных людей», желающего «уже сейчас быть подручным авангарда и немедленно иметь всю пользу будущего времени»³⁷, — филигранно точно описал психологическое состояние

первого пролетарского поэта Демьяна, неукоснительно и энтузиастически проводившего линию партии по ликвидации кулачества. У Платонова катастрофой для преданного генеральной линии партии активиста стала «свежая директива», которой его деятельность была признана «маложелательным явлением перегибщины, забеговщества, перусердщины и всякого сползания по правому и левому откосу с отточенной остроты четкой линии»³⁸, а он сам и возглавляемый им актив колхоза имени Генеральной Линии «забежал в левацкое болото правого оппортунизма»³⁹. Описание состояния обреченного активиста выдержано в стилистике плача, в этой же стилистике выдержано и письмо Бедного Сталину: «Пришел час моей катастрофы. Не на "правизне", не на "левизне", а на "кривизне". Как велика дуга этой кривой <...> Я неблагополучен. Меня не будут почитать после этого не только в этих двух газетах, насторожатся везде»⁴⁰ и т.п.

Платонов, несмотря на уже поступившие сигналы (недовольство Сталина по поводу рассказа «Усомнившийся Макар», 1929), в 1930 г. бесстрашно раскапывает тему наследников Ленина. В «Котловане» ее транслирует девочка Настя в письме Чиклину: «Да здравствует Сталин, Козлов и Сафронов! Дядя Чиклин, Сталин только на одну каплю хуже Ленина, а Буденный на две» (в первых изданиях повести на Западе и в СССР второе предложение будет купировано, а в первом Сталин заменен на Ленина; правка проведена в 70-е гг.), однако сирота Настя еще не додумалась до темы обретенного в Сталине отца («заместителями» отца выступают полюбившие девочку-сироту пролетарии). Подступы к этому образу, вошедшему в язык литературы в 1936 г., Платонов наметил во второй редакции «Впрок» в эпизоде о товарище Крушилове (в окончательной редакции — Упоев). Основой этого эпизода послужил рассказ 1929 г. «Наследник Ленина», текст которого Платонов дописал в первой редакции повести (весна 1930) и переписывал в машинописи. В первой редакции на разные лады варьируется идеологическая тема наследника Ленина, во второй — эта тема дополняется новым содержанием, которого не было в «Котловане», что позволяет предположить, что Платонов перерабатывает «Впрок» после завершения работы над «Котлованом». Сравним:

Первая редакция:

«... и не могу почувствовать, кто ему будет равен».

«... Ленин действительно позаботился о своем помощнике и наследнике».

Вторая редакция:

«... и не могу почувствовать, зачем я остался на свете».

«...действительно позаботился о своем наследнике и его сиротой не оставил»⁴¹.

Казалось бы, Платонов, как и требовали читавшие первую редакцию редакторы, ослабил педалирование темы наследников, убрал политически двусмысленное развитие темы наследника Ленина (кто в этом сомневался в 1930-м?), при этом он углубляет тему политической преемственности, связывая ее с главной темой «Чевенгура» — «безотцовщины».

История публикации «Впрок» (реакция Сталина и последовавшая за ней погромная критика Платонова) сегодня уже документирована. На письма Сталину 1931 и 1932 г. Платонов ответа не получил (лишь только Бедному Сталин ответил тогда большим письмом, см. Приложение). Однако тема Сталина не уходит из творчества Платонова («Мусорный ветер», 1933; «Счастливая Москва», 1933-1935). Правда, сироты «Счастливой Москвы» еще не ведают, что у них есть самый лучший в мире отец. В портретной галерее Божко мирно уживаются три портрета: вождей революции и мирового пролетариата Ленина и Сталина и родоначальника эсперанто профессора Заменгофа; не тоскуют по отцу Сталину и другие герои романа, а также отправившийся на свою родину герой повести «Джан» Назар Чагатаев (январь-март 1935). Тема «отца Сталина» появляется при доработке повести в конце 1935 — начале 1936 г. Платонов, можно сказать, спасает повесть, вводя в текст буквально со страниц текущей периодики новый образ Сталина как отца народов (сталинские фрагменты будут купированы в изданиях повести 1970 — 1980-х гг., а портрет Сталина, который встречается на станциях Назар заменен на портрет Ленина). Одинокий Платонов работает с мифологией отца Сталина, идя чуть ли не по лезвию эстетического и мировоззренческого риска, но выигрывает в глубине, ибо рассматривает только еще складывающийся советской литературой массовый сталинский миф как явление не только политическое, а явление мировоззренческого и религиозного кризиса в русской и европейской культуре XX в. Примечательно, что практически те немногие художественные тексты Платонова второй половины 1930-х гг., в которых он выходил к теме Сталина как обретенного отца («Воодушевление», «Отец», «Избушка бабушки», «Голос отца») не будут приняты к печати. Платонов не только первым приступил к разработке темы отца Сталина, но уже в «Джан» он ее закрыл: преодолел миф о сироте, спасенном

Сталиным. Как Назар в финале повести приходит к мысли, что «помощь к нему придет только от другого человека», так и Платонов, особенно в детских рассказах ведет своих героев-сирот не к отцу Сталину или другому «дальному человеку», а к дому, родным матери-отцу.

Аналізу темы Сталина в современной литературе Платонов посвятит в 1938 г. две статьи: «Творчество советских народов» (рецензия на книгу «Творчество народов СССР», 1937) и «Джамбул», в которых по сути дела объяснит истоки зарождения темы отца Сталина в традиционных культурах (эти статьи никогда не включались в посмертные издания литературной критики писателя 1960 — 1980-х гг.). Именно в поисках материала к комментарию этих статей мы обратились к фонду редакции издания «Творчество народов СССР», платоновских материалов в фонде мы не выявили, однако произведений Бедного о Сталине там великое множество. Об этом ниже.

Возвращение Платонова в советскую литературу в 1934 — 1936 гг. (публикации рассказов «Такыр», «Семен», «Нужная родина», «Бессмертие» и др.), конечно, частично объясняются революционным поворотом в официальной идеологии этих лет. Политический старт к смене вех советского искусства был дан постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О преподавании гражданской истории в школах СССР» (от 15 мая 1934; опубл. в «Известиях» 16 мая), положившем начало критике школы М. Н. Покровского, до того главного историка СССР и заместителя наркома просвещения. В 1936 г. закрыты знаменитая Комкакадемия, распущено Общество эсперантистов СССР. В литературе этот революционный поворот закреплен в дискуссии о формализме и натурализме (январь 1936). Венцом борьбы за народность стало принятие новой Конституции (ноябрь 1936, VIII чрезвычайный Всесоюзный съезд Советов). В новом Законе страны снята преамбула конституции 1924 г. о том, что после революции 1917 г. мир разделился на два лагеря и что борьба между ними завершится победой СССР и созданием Мирового Союза Советских социалистических республик. В докладе Сталина о проекте Конституции получила свое завершение и тема русского мужика: «Советское крестьянство — это совершенно новое крестьянство, подобного которому еще не знала история человечества»⁴². В дни обсуждения и утверждения Конституции прозвучали новые политические установки: «Это — Конституция победившего социализма»⁴³; «Страна назвала свою новую Конституцию сталинской, потому что Сталин — отец советских народов, вождь нашей свободы, организатор могущества социализма».⁴⁴

Именно на этом историческом повороте начинает свой закат звезда Демьяна Бедного. 1936 год начинался для Бедного вполне благополуч-

но. В мае широко отмечается 25-летие его творческого пути, он получает приветствие от ЦК ВКП(б), правительства, Правления ССП; ведущие критики пишут об уникальности феномена Бедного и, конечно, о Бедном как русском народном поэте⁴⁵ и т.п. Однако завершился 1936 год для одного из самых благополучных советских поэтов постановлением Политбюро ЦК ВКП (б) о запрете пьесы «Богатыри» (от 14 ноября), разгромной статьей одного из руководителей и идеологов Пролеткульта, а в эти годы председателя Комитета по делам искусств при СНК СССР П. Керженцева «Фальсификация народного прошлого (о "Богатырях" Демьяна Бедного)» («Правда», 15 ноября) и широкой кампанией критики и пьесы, и самой фигуры Демьяна за антиисторическое изображение русской истории⁴⁶. Если в мае руководитель секции критики ССП В. Кирпотин в апологетической статье лишь слегка пожурил Бедного за стихотворение «Слезай с печки» и заверил читателя, что Бедный «осознал» и «исправил свою ошибку», потому что у поэта «между поэзией и политикой не было и нет никакого противоречия», а его поэзия «проста, народна, нужна народу», поучительна для всех советских писателей и являет «один из примеров социалистического реализма в поэзии», то осенью и зимой говорили и писали о другом и по-другому. Оказалось, что самый народный поэт и «мастер большевистской агитационной поэзии» «оплевывывает народное прошлое», издевается над героями русского национального эпоса, неверно трактует крещение Руси, изображая его в виде «пьяного шабаша полоумных дуралеев»⁴⁷; у Бедного — «концепция русской истории на манер клеветнической теориейки о «нации Обломовых»»; «вольное и безответственное обращение с исторической правдой, в корне враждебное принципам реалистического искусства, требованиям социалистического реализма»⁴⁸ и т. п. Почти двадцать лет так и принято было писать о русской истории и прошлом русского народа. Этот канон социалистического реализма создавался в полном согласии с установками главного исторического учебника М. Покровского: крещение Руси — «перемена обряда», религиозность народа — «дикари», национальный эпос — «сказки» для «плохих исторических книжек»⁴⁹ и т. п.

Идущие с 60-х годов (книга «Воспоминания о Демьяне Бедном», 1966) и до настоящего времени попытки представить Бедного чуть ли не борцом со Сталиным опровергаются его творчеством конца 1935—1937 гг. — величальными стихами и одами об «отце Сталине», в большом количестве представленных в фонде редакции «Творчества народов СССР». Это был второй, после «Беломорско-Балтийского канала» (1934), коллективный литературный труд. Демьян пришел работать в редакцию одним из первых. До начала кампании осени 1936 г. его переводы (этим при-

емом Демьян часто пользовался и раньше, выдавая собственные тексты за переводы) оценивались редколлегией тома как образцовые. «Замечательная вещь, великолепный перевод! Может быть, лучшая вещь в сборнике, каждое слово поет. Править сильно приходится лишь потому, что переводчик не учел одной детали: разности стилей русского и мордовского <...> Снимаю также излишние лирические завитки. В целом же поэма вышла изумительно!»⁵⁰, — написала редактор Адалис (поэтесса Серебряного века, ученица В. Брюсова) на машинописи «Материнского завещания» (перевод Бедного с мордовского; раздел «Жить стало лучше...»). На машинописи имеется также заключение еще одного редактора: «Принять». Ничего собственно мордовского в тексте нет, сюжет строится вокруг «мудрого слова», озарившего предзакатные дни старой матери. Это слово мать узрела естественно в новой книге, которую читает ее дочь, а книга та открывается портретами Ленина и Сталина: «Были их [лики] лица / Солнцу подобны, / Руки — лучам, / Глаз их сиянье / Солнечным было, — / Братья родные / Вроде б они, / Из наилучших / Лучшие дети / Родины нашей, / Руководители / Мудрые наши...». Естественно, что сталинское «жить стало лучше, жить стало веселее» увязывается теперь, как и положено в советской народности, не с мировым пролетариатом, а с заветными мечтаниями предков: «Дед мой и бабка / Мне предвещали: / — Жить будешь легче, / Жить будет слаще, / Свет [*народится*] разгорится / Новый, [*особый*] веселый / Миром невиданный / [*Радостный*] Утренний свет»⁵¹ (курсивом в скобках дается первоначальный текст, полужирным — редакторская правка; в приведенных примерах правка принадлежит Адалис). Этот образцовый текст, правда, в книгу не вошел. Полностью от переводов Бедного редакция просто не могла отказаться. Да и сам пролетарский поэт слал в редакцию все новые и новые переводы «здравниц» Сталину: «СТАЛИН! / Вождь наш великий, / Учитель наш мудрый, / Отец наш родной, / Безмерно любимый»⁵²; «Вождь и учитель народов, / Ласковый ты и отважный, / В схватке — орел быстроскрылый / Победоносный Сталин».⁵³

Последнее произведение Бедного, присланное в редакцию, это большая поэма с узбекского «Да будет славен Ленин!», датируется по сопроводительному письму 1 июля 1937 г. (письмо на именном бланке: «Демьян Бедный. Москва. Кремль»).⁵⁴

В фонде редакции хранится огромный свод материалов Бедного, как вошедших, так и не вошедших в книгу. У некоторых стихотворений редколлегия изменит заглавия или поместит их в другой раздел. Так стихотворение «Никогда так не было. Украинская песня» печатается под названием «По-иному светит солнце. Перевод с украинского» в разделе «Сталин» (первоначально — раздел «Жить стало лучше»). Это

действительно образцовое «народное» стихотворение о Сталине. История его подготовки — тому яркое подтверждение. Сначала «украинскую песню» перевел Д. Бродский, однако в редколлегии были не довольны результатом и просили продолжить работу (виза на первом варианте: «Поработать»). Бродский еще не раз переписал текст, однако окончательную доработку понравившейся украинской песни провел Бедный, за которым и был закреплен перевод. Сравните:

Перевод Д. Бродского

Ой, как стало зелено,
 Зелено — светло,
 Ой, как стало радостно
 Да на все село.
 Жить стало весело,
 Весело — тепло,
 Никогда так жито
 Густо не цвело.
 Ярче светило нам
 Солнце на земле, —
 — Или впрямь у Сталина
 Гостило в Кремле?

Столько вод не катит
 Дон-река сама,
 Сколько есть у Сталина
 Светлого ума.
 Столько звезд не видано
 В небе синеве,
 Сколько есть у Сталина
 Мыслей в голове.
 И как дубу мощному
 Побегу родны —
 Так и мы у Сталина
 Дочки и сыны.⁵⁵

Перевод Д. Бедного

Никогда так не было
 В поле зелено.
 Небывалой радостью
 Все село полно.
 Никогда нам не была
 Жизнь так весела.
 Никогда досель у нас
 Рожь так не цвела.
 По иному светит нам
 Солнце на земле:
 Знать оно у Сталина
 Побыло в Кремле.

Не вмещает вод стальных
 Ширь Днепра сама,
 Сколько есть у Сталина
 Светлого ума.
 В небе столько звездочек
 Нету в синеве
 Сколько дум у Сталина,
 В светлой голове.
 Как вокруг дуба молоди
 Не видать конца,
 Так и мы вокруг Сталина —
 Дети вокруг отца.⁵⁶

Бедный принимал участие и на последнем этапе работы над томом весной 1937 г. (ему поручалось сделать новые переводы или отредактировать представленные тексты).

Имена переводчиков упоминаются во всех документах подготовки труда, что вполне понятно: если указывают имя сказителя и певца, то

почему же не назвать имя переводчика. Однако в первых макетах разделов, подготовленных к весне 1937 г., имена переводчиков уже не упоминаются. В подобном решении редколлегии был свой резон. Работа над изданием приходится на время политических процессов в стране 1936-37 гг. С процесса по делу «троцкистско-зиновьевского террористического центра» (19-24 августа 1936) идут разоблачения «отщепенцев» и «двуррушников» в Союзе писателей. Печальный опыт «Беломорско-Балтийского канала», изъятый в 1937 г. из библиотек⁵⁷, подсказывал, что лучше имен поэтов-переводчиков не называть. Тем более, что в одним из главных переводчиков «Творчества народов СССР» оказался Д. Бедный, работавший в проекте с самого начала, т. е. с 1935 г. В отличие от других переводчиков этого проекта, выпустивших свои сталинские тексты-«переводы» отдельными книгами (на 1937 – 1938 гг. приходится огромное количество изданий песен о Сталине и посланий «отцу народов»), провинившийся Демьян подобного сборника так и не выпустил, хотя «переведенного» им набралось бы ни на одну книгу.

В 1937 г. стихотворение Бедного «Борись или умирай» получает отрицательную оценку редактора «Правды» Мехлиса и уничтожительную Сталина — «литературный хлам»⁵⁸. Подобных сталинских оценок художественного уровня произведений Бедного накопилось к этому времени не мало, пока — только в письмах, скажем, к Л. Кагановичу: «Стихотворение Демьяна не читал и не собираюсь читать, так как уверен, что не стоит читать. Тоже фрукт: лезет в политику, а вихляет более всего именно в политике» (письмо от 29 сентября 1931); «Удалось, наконец, прочесть пьесу Демьяна Бедного "Как 14 дивизия в рай шла" (см. "Новый мир"). По-моему, пьеса вышла неважная, посредственная, грубоватая, отдает кабацким духом, изобилует трактирными остротами. Если она и имеет воспитательное значение, то скорее всего отрицательное» (письмо от 7 июня 1932); «Насчет оценки "Демьяновой ухи" с Вами полностью согласен. Я прочитал и новую и старую вещь, новую он сделал еще более грубо и халтурно. Для того чтобы быть народным, пролетарским писателем, вовсе не требуется приспособленчества к отрицательным сторонам наших масс, как это сделал Демьян Бедный. Я удивляюсь прямо, как Ворошилов мог быть в восторге от этой вещи, тем более что у Демьяна в пьесе много двусмысленностей» (письмо от 12 июня 1932)⁵⁹.

Однако до поры до времени Демьяну прощались и его «двусмысленности», и откровенная литературная халтура, и даже семейные скандалы в кремлевской квартире. Не только партия была нужна Демьяну, но и он для авангарда сделал немало — на самых разных агитпроповских направлениях: писал антирелигиозные стихи и поэмы (кто здесь с ним

сравнится?!), боролся за новый быт, переложил в стихи практически все решения пленумов и съездов, воспел всех вождей, в общем, изменялся вместе с линией партии и т. п. И поэтому, несмотря на уничтожительные характеристики в письмах творчества первого пролетарского народного поэта, именно Сталин рекомендует в письме Кагановичу и Жданову (от 30 августа 1934) включить Демьяна в список президиума Первого съезда советских писателей⁶⁰.

Был ли Сталин также эстетически щепетилен при чтении «Творчества народов СССР», как в оценке Бедного, — «литературный хлам», или же он исходил из политической целесообразности труда? Провели ли его помощники атрибуцию произведений тома, открывающегося ойротской легендой — «Вечная слава» (перевод Д. Бедного)? Как в целом оценил Сталин посвященную ему величальную книгу? Арестованный в ходе политического процесса 1938 г. один из редакторов «Творчества...» руководитель агитпропа ЦК ВКП(б) А. Стецкий в ходе допросов дал показания на Бедного, как их воспринял Сталин (книга «Творчество народов СССР» не была изъята из библиотек, имя Стецкого на титульном листе тщательно вымарали)? На эти вопросы может ответить только архив Сталина: анализ тома «Творчества...» и связанной с ним литературы в библиотеке Сталина (его еще предстоит провести). Очевидно лишь, что Бедного не спасло участие в этом труде, представляющем грандиозную панораму фальсификации фольклора народов СССР, в котором самое активное участие приняли советские писатели⁶¹. 13 июля 1938 г. Бедный был исключен из партии, с формулировкой: «за моральное разложение». К такой формулировке бурная семейная жизнь Бедного давала все основания, но все-таки, думается, причины лежали в другой плоскости — политической. Демьян не внял «достаточно ясному ответу» Сталина 1930 г. (см. Приложение): несмотря на свои былые заслуги перед партией творчество Бедного будет оцениваться партией так же, как и творчество его современников.

Для Платонова 1937 год закончился погромом его народных рассказов 1935 — 1936 гг., вошедших в книгу «Река Потудань». И если в 1931 г. критика клеймила его как «классового врага», то теперь главным стало обвинение в антинародности (статья А. Гурвича «Андрей Платонов» в №10 журнала «Красная новь» за 1937 г.). В апреле 1938 г. на писателя обрушивается самый страшный удар — арест школьника-сына.

КТО – ЮШКА?

Рассказ Платонова «Юшка» в настоящее время датируется нами ус-

ловно — 1938 г. В некотором смысле заглавный герой рассказа кроткий и добрый Юшка является ответом Платонова на критику Абрама Гурвича. В опубликованном в «Литературной газете» (20 декабря 1937 г.) ответе Гурвичу с характерным названием «Возражение без самозащиты» Платонов отказался от борьбы с уничтожившим его критиком: «Я бы тоже сумел ответить Гурвичу в его же стиле и интонации, но не стану это делать, — не потому, что мы, очевидно, литературные противники, а потому, что мы с ним члены одного общества и одной страны»⁶². Рисунок защиты тот же, что у героя рассказа, терпеливо сносящего «злобу и глумление» над ним окружающих — «безответно терпевшего всякое чужое зло, ожесточение, насмешку и недоброжелательство»⁶³. Лишь после смерти Юшки все вдруг понимают, что «без Юшки жить людям стало хуже», узнают про добрые дела Юшки-Ефима и его отчество: Андреевич. Просторечное имя Юшка является распространенной формой двух имен — Юрия и Ефима. У Платонова же получилось — настоящее имя Бедного (Ефим Алексеевич Придворов), а отчеством Андреевич он делает героя своим литературным сыном. Жизнь героя рассказа совсем не похожа на жизнь Бедного, а скорее — на мученическую биографию самого Платонова. Бедному-Юшке скорее всего подходит областное значение слова Юха, к которому восходит «юшка»: «ухо-парень, пролаз, бойкий, продувной»⁶⁴. Платонов щедро поделился именем своего героя с когда-то вельможным, а теперь забытым и гонимым его партийно-литературным окружением Демьяном.

Читал ли Бедный рассказ «Юшка», то нам пока неизвестно. Документальным подтверждением встреч Платонова с Бедным является письмо Платонова к А. И. Вьюркову от 27 августа 1939 г.

Имя литератора и секретаря Группкома издательства «Советский писатель» Александра Ивановича Вьюркова впервые было введено в литературный контекст жизни и творчества А. Платонова в публикации Е. Д. Шубиной.⁶⁵ В этой публикации письмо Платонова 1939 г. приводилось в сокращении. Воспроизведем его полностью:

«Здравствуй, дорогой Александр Иванович!

Оба твоих письма получили, и благодарим за них. Рады, что ты отдыхаешь. Тебе отдых, как ты сам знаешь, совершенно необходим. В последнее время — мы замечали — у тебя временами было совсем белое, даже зеленое, лицо, что говорило о каком-то глубоком недомогании.

"Бублика" не видели ни разу, — очевидно, у твоей подруги появилась серьезная, строгая Муза — Государственная Служба.

На Дмитровке есть некоторое прояснение, виделись с главным шефом учреждения. Но наше дело едва ли пойдет быстро, так что мы не надеемся на быстрый результат. Сегодня или завтра приедет Михаил

Ал<ександрович>, буду с ним видаться. Он кое-что для меня сделал, — увижусь и поговорю, а там видно будет.

Книжка моя (сборник статей) вышла: на днях будет тираж, книжку пришло тебе, придумал даже надпись (из твоего же рассказа):

"Тебе — я". Митрофанову позвоню и все попытаюсь сделать. Живу по-прежнему в жаре и в пыли Тверского бульвара и занимаюсь сочинениями на бумаге. Работы делается почему-то все больше и больше, так что можно никогда не вставать из-за стола.

Жму твою руку, посылаю сердечный привет и передаю слово одной Особе.

Твой А. Платонов
27/VIII.

Приедешь — поедем на денек к Старому Юшке. Будешь ему писать — сообщи, что я приветствую этого труженика, что существует где-то в Мамонтовке, охраняемый одним сонным кобелем».

К письму Платонова имеется приписка, сделанная «одной Особой» — женой писателя Марией Александровной:

«Здравствуй, милый мышьяк!
Спасибо за память, за привет.

Очень хорошо, что работаете, а дурака валяйте между прочим, после работы, а то сборник еще не выйдет сотню лет.

О делах Юшка все написал, пока утешаться нечем, все — надежда. Хочу увидеть Бублика, но так заматываюсь за день, что вечером никуда не хочется идти; на днях увидимся.

Ремонт — ни с места, не то бюрократизм, не то еще что-то — не пойму. Надежда только на Вас.

Поправляйтесь хорошенько.

Как-то не хватает вас в Москве, вероятно, это многие чувствуют: отныне Вы мо жете подписываться: я — Бодрость!

Целую!

Мария Крашенина. 28/ VIII 39».⁶⁶

Платоновы отвечают на вопросы писем Вьюркова, отосланных им из Дома творчества «Малеевка» (Старая Руза), где он в то время отдыхал. Из двух писем Вьюркова, о которых идет речь, сохранилось только одно письмо, от 24 августа (хранится в фонде Платонова РО ИРЛИ⁶⁷), письмо, в котором, очевидно, речь идет о Старом Юшке, не сохранилось. Документы фонда Вьюркова позволили установить место службы Бублика, жены Вьюркова Анны Васильевны: «Главлесоохрана»⁶⁸. Книжка, о которой идет речь, это сборник статей «Размышления читателя», о выходе книги в день написания Платоновым письма (27 августа) сообщила газета «Вечерняя Москва»: «Издательство "Со-

ветский писатель" выпустило книгу публицистических и критических статей Андрея Платонова»⁶⁹ (тираж книги был уничтожен). Мажорный стиль письма Платонова, отчасти, объясняется этим, а также надеждой на помощь Михаила Александровича (Шолохова) в освобождении сына из лагеря. Упомянутый в письме прозаик Александр Митрофанов работал редактором отдела прозы в издательстве «Советский писатель», где с 1939 г. Вьюрков пытался опубликовать книгу рассказов о старой Москве. Кстати, еще один забытый современник Платонова, с которым он общался с 1930 г., автор рассказов и повестей о рабочем классе; на повесть Митрофанова «Ирина Годунова» Платонов написал положительную рецензию...

Именно разработка материалов фонда Вьюркова позволила распознать имя «старого Юшки» в приписке Платонова. Им оказался Демьян Бедный. Юшка в приписке Марии Александровны — это, естественно, сам Платонов, alter ego заглавного героя рассказа. В альбоме Вьюркова о предполагаемой встрече со «старым Юшкой», о которой пишет Платонов (как следует из письма — не первой), посвящена отдельная страница, снабженная развернутым комментарием. 28 августа 1939 г. датировано присланное Вьюркову стихотворное послание Бедного «Эх-ма!», написанное в Мамонтовке; приведем этот текст в сокращении:

У окошечка сижу,
Карандашиком вожу.
Эх-ма!

Три деревни, два села.
Как работка весела!
Эх-ма!

Любо-дорого смотреть
Дописать осталось треть*.
Эх-ма!

Я не помню ничего,
Потому что был...тово...
Эх-ма!

Тож рассказчик под хмельком
Чуть ворочал языком.
Эх-ма!

А «Морока»-то ведь «он»**.
Вот где пес — хамельон!
Эх-ма!

Больше новенького нет.
Мой сердечный Вам привет!

Каждый день писать Вам лист,
Наш хитрющий новеллист!
Эх-ма!

Время, значит, к сентябрю.
Приезжайте ж, говорю!
Эх-ма.

28/VII 39 Е. Придворов
Мамонтовка

* Поэму «Горная порода».

** Лохматая собачка «Морока», пол которой вызывал много сомнений⁷⁰.

На послании Бедного имеется поздняя запись Вьюркова: «Письмо получил от Д. Бедного в Малеевке, где я был на отдыхе». О получении «письма в стихах» Ефима Алексеевича Вьюрков сообщил Платоновым в письме от 8 сентября 1939 г.⁷¹

Дневниковые записи Вьюркова о посещении Бедного позволяют понять причины жизнерадостного стиля стихотворного послания Бедного. Все лето 1939 г. он перекладывал в стихи сказы из книги П. Бажова «Малахитовая шкатулка» (вышла в Свердловске в 1939 г.), будучи свято уверенным, что Бажов являлся простым собирателем уральских сказов. Торжественные записи в дневнике Вьюркова:

8 сентября 1939 г.: «7 сент. 1939 г. в 5 ч. дня Демьян Бедный кончил свою эпопею (1 часть) в 12.000 строк. Начал он ее 22 июня. Вчера мы с ним подсчитали, что фактически он работал 74 дня, не считая дней выходных, неск<олько> дней болезни и поездок в Москву. С 28/VI он сидел буквально без выезда в Мамонтовке на своей даче, где и писал эпопею. Были у него намерения назвать ее, т.к. эпопея состоит из круга ряда рабочих сказок, "Терновый венок", потом "Золотой венок", но вчера он остановился на названии "Горная порода". Эпопея состоит из опозитизированных рабочих сказаний Урала, кот<орые> записал и издал отдельной книгой П. П. Бажов под названием "Малахитовая шка-

тулка". Вчера я был у Демьяна и горячо поздравил его с окончанием работы. Я был первый, кто его поздравил»;

28 ноября 1939 г.: «Сегодня Демьян Бедный кончил свою эпопею «Горная порода» и сдал ее завед<ущему> изд-вом "Гослитиздат" г. Чагину. Чагин приезжал за ней лично. Прочитал 3 сказа и введение и расцеловал Демьяна: — Вы превзошли себя, — сказал ему»⁷².

Очевидно, Платонов с Върковым были одними из первых слушателей эпического полотна Бедного — «Горная порода». В альбоме Вьюркова имеется поздний комментарий (вклеенная машинопись), сделанный уже после войны и реабилитации Бедного, в некотором смысле также поясняющий приписку Платонова и в целом сюжет общения литераторов:

«В годы "опалы" Демьяна Бедного, когда он развелся со второй женой Лидией Ник<олаевной> Назаровой и вернулся к первой — Вере Руфовне, мы с ним жили, это лето 1939 г., на его даче в Мамонтовке <...>. Приезжали к нам, навестить «опального вельможу» — А. А. Жаров, А. А. Сурков, В. Катаев, сватавшийся, по словам Демьяна, к его дочери, Н. Н. Накоряков. Жили вдвоем. Наезжала и сама Вера Руфовна. Бывали его дочери от нее, сыновья и живала дочь от первого брака (до брака с Верой Руфовой) — Людмила Ефимовна. Здесь-то, в Мамонтовке, он и начал свою поэму "Горная порода", об Урале. Тут он ее и закончил. <...> Мы попросили ее (Веру Руфовну. — Н. К.), чтобы она, так как дача и усадьба были большими, прислала из Москвы собаку, если не волкодава, то овчарку. И вдруг, домработница, привозит маленькую, лохматую-прелохматую собачонку! Посмотрели мы на нее разочарованным взглядом, и, не видя от нее никакой пользы, махнули рукой. Собачка была настолько лохматая, что домработница так и не определила пола. "Будет вам от нее морока", — сказал Демьян. «Как же нам ее называть?» — спросила она. — "Ну, «Морокой» и зовите". Так и стал наш "страж" — "Морокой". В августе я поехал в дом отдыха в Малеевке, где и получил от Демьяна письмо»⁷³.

Примечательно, что в списке посещавших Бедного летом 1939 г. осторожный Вьюрков не называет Платонова, что позволяет утверждать, что этот комментарий сделан не ранее 1947 г. (начало кампании критики Платонова за рассказ «Семья Иванова»): рядом с реабилитированным и ушедшим из жизни Бедным вспоминать о гонимом и непредсказуемом Платонове Вьюрков не стал. Однако текст приведенного выше письма Платонова свидетельствует, что он не раз бывал в 1939 г. на даче Бедного.

В 1935—38 гг. семья Бедного имела правительственную дачу в Горках-10. Новая большая усадьба Бедного в Мамонтовке (см. фотогра-



ДАЧА Д.БЕДНОГО В МАМОНТОВКЕ. 15 АВГ. 1939Г.

фию), а также четырехкомнатная квартира в центре Москвы, в которую семья Бедного-Придворова будет выселена из Кремля в 1933 г., свидетельствуют, что жизнь гонимого Демьяна протекает во вполне комфортных условиях и совсем не похожа на жизнеописание Юшки в одноименном рассказе, да и на жизнь самого Платонова. Своеобразным примечанием к квартирно-дачной теме жизни Бедного является тема ремонта квартиры Платонова, о котором упоминает Мария Александровна в приведенном выше письме Вьюркову. Ярчайший документ жизни Платонова-Юшки сохранился в фонде Вьюркова — это акт обследования его квартиры, составленный 28 июля 1938 г.:

«В квартире пол ходит под ногами и Платоновы рискуют каждую минуту провалиться. В кухне и уборной пол уже провалился. Стена в большой комнате висит над опустившимся полом. Крысы бегают, не боясь присутствия людей. Возня их и писк слышны днем и ночью. В общем впечатление такое: вот-вот рухнет стена, а за ней потолок. Наступает зима. Квартира вообще холодная, зимой же будет еще холоднее. Необходимо срочно приступить к ремонту квартиры и вынести из нее сооружения МОГЭСа электробудку. Чтобы обеспечить т. Платонову творческую обстановку и создать нужные ему для работы удобства, мы считаем также необходимым перенести в квартире на другое место ванную, уборную и переставить стену в кухне»⁷⁴.

В машинопись акта вписана рукой Вьюркова новая дата — 20 июля 1939 г. Летом 1938 г. в связи с арестом сына Платоновым явно было не до ремонта. У Платонова, в отличие от других его современников, дачи не было никогда, квартира в Доме Герцена (Тверской бульвар, 25) также была очень маленькой и практически лишенной удобств. Однако, и в 1939-м ситуация с ремонтом разрушающейся квартиры практически не изменилась. Об этом свидетельствует письмо председателя Группкома Г. Тарпана Вьюркову от 5 сентября 1939 г., представляющего к тому же любопытную зарисовку из жизни писателей в Доме Герцена:

«О Платонове не знаю, как ремонт. Но вообще капитальный ремонт по дому будет проводиться в мае 40 года, так сказали в Литфонде. А пока ремонтируют себя. Ну, ребята пьют по-старому. На днях Кауричев, Чернев и еще один — завалились к Новикову, а там уже с Платоновым шла "смычка". Все насмыкались. Кауричев там же уснул, а Чернев ушел домой, держась за стенки и заборы.

Я говорил с Черневым, сказал, что сообщу в ССП о нем и Кауричеве. Может что получится. Кауричев пьяный ругал всех в Издательстве, в том числе и Ярцева. Меня там не было в это время. В общем мне эта лавочка не нравится»⁷⁵.

Добавим, что именно из подобных посещений и «встреч» с Платоновым рождались доношения в НКВД о нем его современников; неразговорчивый Платонов только в этой ситуации (по русской поговорке: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке) проговаривался на самые запрещенные и крамольные темы современной политической и литературной жизни. Из упоминаемых в цитируемом письме трех писателей, дружескими у Платонова оставались отношения с воронежцем Андреем Новиковым (арестован и расстрелян в 1941) и Николаем Кауричевым (арестован в январе 1940 г., расстрелян в 1941); оба в доношениях на Платонова в НКВД упоминаются как близкие приятели писателя⁷⁶. В библиотеке Платонова хранится книга Кауричева с дарственной надписью, а альбом Вьюркова сохранил замечательный автограф этого еще одного забытого советского писателя и современника Платонова:

СОНЕТ

Тасует карты ловкая рука,
 Пропахшая работою и водкой,
 Орава грузчиков под старой лодкой
 Играет в подкидного дурака.
 Белеет в море парус рыбака.
 Висит покой над тихою слободкой
 И пароход натруженною глоткой
 Торжественно гудит издалека.

4/II-36. Н. Кауричев

Конец допишу в следующий раз. [Подпись]⁷⁷

Письмо от Тарпана Вьюрков получил в Малеевке, и его крайне встревожил рассказ руководителя Группкома о писательской пирушке у Платонова. Об этом свидетельствует его письмо Платонову от 8 сентября. Вьюрков вскользь сообщает Платоновым о ремонте, которому собственно посвящено письмо Тарпана, и ни слова — об информации Тарпана: посещении Николаем Кауричевым и Ильей Черневым (настоящее имя — Александр Леонов) Дома Герцена. Однако именно сообщение Тарпана крайне встревожило Вьюркова, и он посвящает основное содержание своего письма увиденному накануне сну. Этаким литературный прием для построения назидательного рассказа, обращенного к Платонову:

«А вчера видел тебя и Марию Александровну. Сидим это быт то <sic> мы и пьем чай украдкой. Вдруг в дверь стук. Ты кричишь: — Мария, убирай посуду! Я в угол. В один, в другой. Все углы заперты! Мечусь по комнате и вдруг поднимаюсь вверх к потолку! Ты меня за ноги. — Стой! —

кричишь. — Не пугайся. Это Кауричев с Черневым. — Я смотрю на тебя и удивляюсь. На лице твоем такое спокойствие — не испугался ты их. Я тоже взял себя в руки. А Мария Александровна стоит и вся, бедная, от страху дрожмя дрожит. Гляжу у ней в руках в одной три рубля, в другой пятиалтынный. И сует она эти деньги Кауричеву и кричит: — Изыди, изыди, окаянный! А Сашка, как злой, длинный дух, стоит сзади него и улыбается. А улыбка добродушно-сладко-ехидная! Ты, конечно, стоишь. Растерялся. Я — тоже. И берет эти 3-15 Колька в руки, глядит так на нее, на Марию Александровну, строго и что-то сказал. Я разобрал одно только слово: — Пока. Проснулся и не мог понять, простался он этим словом или намекнул, что он за остальными зайдет. Проснулся весь в поту. Думая, слава богу! Сон. Теперь они к нему уже не таскаются, он работает и не треплют они по Москве твое имя со своими одиозными именами»⁷⁸.

Другими документами о встречах Платонова и Бедного, кроме приведенных выше, мы в настоящее время не располагаем. Неизвестно, ездили ли Платоновы в сентябре 1939 г. в Мамонтовку и в Малеевку, куда их звал Вьюрков (цитируемое выше письмо от 8 сентября 1939 г.). Через три дня после отправки оптимистического письма Вьюркову (от 27 августа) Платонов получает тревожное сообщение из издательства «Советский писатель» (датировано 1 сентября) о том, что выход обеих его литературно-критических книг приостановлен: «Н. Островский» задержан Главлитом и передан в ЦК, а из книги «Размышления читателя» снята статья «Пушкин и Горький»; 10 сентября в «Литературной газете» печатается большая статья В. Ермилова «О вредных взглядах "Литературного критика"», в которой Платонов-критик обвинен в антипатриотизме, антинародности, «клевете на русскую литературу», М. Горького и прочих идеологических пороках; выступление газеты с критикой «антимарксистских размышлений» Платонова поддержит партийный журнал «Большевик» (редакционная статья «О некоторых литературно-критических журналах», 1939, № 17) и т. д.

В 6 номере журнала «Детская литература» за 1940 г. за подписью Человекова печатается рецензия Платонова на свердловское издание книги П. Бажова «Малахитовая шкатулка. Уральские сказы» (1939). Основной темой рецензии является тема «соавторов» уральских сказов, «сложенных поколениями уральских рабочих». В высокой оценке литературной работы Бажова, «органического строя речи» в «Малахитовой шкатулке», думается, запечатлелась подлинная реакция Платонова на создание уральской эпопеи Бедного (при жизни Бедного «Горная порода» не была опубликована).

Бедный и Платонов будут встречаться на страницах дневника любопытного Вьюркова, регулярно обходившего писателей по профсоюз-

ным делам, и не только (он мечтал написать книгу о жизни писателей, собирал писательские автографы в альбом, который он составлял с 1936 г.). По дневнику мы узнаем, как складывалась история с публикацией эпопеи Демьяна «Горная порода», которой Вьюрков не устаёт восхищаться: из издательства Бедный получал вплоть до апреля 1940 г. исполненные восторга отзывы и обещания в скорой публикации; Демьян то запивал (пил он коньяк), то вновь ободренный обещаниями приступал к работе над новыми «эпопеями» — об Алтае, Сибири... В записи от 7 марта 1940 г. указано, что на столе Демьяна лежит журнал «Русская старина»⁷⁹. Дневниковую запись от 18 марта 1940 г. мы позволим привести полностью. В этот день Вьюрков посетил не только Бедного и Платонова, но и других советских писателей, оставив нам замечательную зарисовку на тему, как жили советские писатели:

«Вчера зашел к Демьяну. Сидит один. Никто у него не бывает. Скучает. Похудел от болезни. На столе книги. Готовится к новой работе — Сибирь-матушка, будет она называться. От него пошел к Платонову. 22 обещали ему вернуть сына. Станный он человек! Как будто вся наша жизнь проходит мимо нее (очевидно: него. — *Н. К.*), как длинная, длинная процессия и он ждет, когда она пройдет. Ни разу не заговорил со мной о ней. Ни порадовался, ни повосхищался. И скучно, скучно ему от всей сутолоки. Стало тоскливо и мне и я от него скорей домой. Что у него привлекательно — это Марья Александровна, собирающаяся уйти от него. Душно и ей. Сегодня утром пошел в Лаврушинский. Надо было получить подписи под заявлением в ВЦСПС, чтобы наши группкомы оставили по-прежнему.

Захожу к Пришвину. Счастливое лицо. Светится старец. Ему 67 лет. Оказывается влюбился и разводится с первой женой. Она, сыновья стыдят его. Ничего не помогает. Люблю ее и баста! Вот что делает Жень-шень!. — От него пошел к Луговскому. Очень приветливый человек Вл. А. От него к Пастернаку. Расцеловались, потолковали о том, о сем, а больше о его новой работе — о Гамлете, которую он только что закончил. Полюбовался на картины его отца и вниз к Никулину. — Ой, боже! Ск<олько> важности у этого писаки и какой человечностью, благородством и чуткостью светится Пастернак в сравнении с этим надутым. Был у Виктора Гусева, принял меня в богатом карельской березы кабинете. Славный парень, но обстановка не по нем. Проще надо. Не такое оперение нужно. Представьте себе извозчика за роялью и получите Гусева в чьем-то чужом, из какого-то барского дома, кабинете. Евг. Петров на Финляндском фронте. Не вернулся еще.

Живут товарищи писатели хорошо, винно, блинно и оладисто. Квартиры такие, что многим и во сне не снилось. Ну и пусть живут. Лю-

бопытно, что никто из них, мне, маленькому писателю, ответственному секретарю их Группкома, кроме милого Пастернака, не предложил стакана чаю!.. И никто не сказал — дескать, А. И., заходите как-нибудь. — Обстановка у всех, скупленная в комиссионных магазинах, сохранившаяся от прежней буржуазии, с бора и с сосенки, напомнила мне бывших разбогатевших купчиков, а т.к. претендовать на них всех грех, я и не претендую»⁸⁰.

Писательский дом в Лаврушинском переулке с квартирами улучшенной планировки (именно его посетил Вьюрков) был построен правительством в 1937 г. Без искажений Вьюрков набросал и портрет Платонова. Как сообщалось в донесении в НКВД 1939, Платонов много работает, «почти все время проводит дома и старается всех от себя оживать»⁸¹. После публикации писем Платонова к Марии Александровне⁸² также не являются секретом сложные, порой драматические отношения с красавицей-женой. Свое восхищение Марией Александровной Вьюрков выразил в стихотворном послании «В день рождения милой Марии Александровны Платоновой» (1939)⁸³.

Во второй половине 1940 г. Платонов и Бедный участвуют в грандиозной кампании по включению в план издательства «Советский писатель» на 1941 г. книги рассказов Вьюркова о старой Москве («Москва-матушка»). Кампанию поддержки организовал сам автор, собравший более 10 положительных отзывов о своей книге (подобного количества рецензентов не имела ни одна книга). Платонов и Бедный написали свои отзывы в поддержку издания в форме письма автору; отзыв-письмо Платонова Вьюрков передал в издательство⁸⁴. Отзыв Бедного Вьюрков перепечатал, заверил подпись, однако в издательство не представил⁸⁵, исходя из простой житейской логики (вряд ли имя Бедного в 1940-м могло ему помочь). 6 апреля 1941 г. «Литературная газета» сообщит о принятом редакционным советом издательства решении включить дополнительно в план 1941 г. девять новых книг, среди которых названы книги рассказов Вьюркова и Платонова⁸⁶. В этот же день Вьюркову позвонил Демьян:

«6 апреля. Воскресенье. <...> Сейчас мне позвонил Демьян и зачитал анонс в "Литгазете", где среди книг принятых из-вом «СП» к изданию значится и моя "Москва-матушка". — Меня некот<орые> лица упрекали все, что я дружу с вами, с каким-то гавном (стиль Д. Б.). Пусть теперь они прочтут. А в вас я верил и верю. Работайте»⁸⁷.

Информацией о звонке Бедного Платонову с аналогичным поздравлением мы сегодня не располагаем (возможно, какой-то материал дадут записные книжки Бедного этого времени; фонд Бедного в ОР ИМЛИ находится сейчас в разработке). Работа над изданиями книг Платонова и Вьюркова была прервана войной.

В 1941-м Вьюрков больше общается с Демьяном, описывая в дневнике его бурную семейную жизнь: Демьян постоянно разводился и сходил со своими женами; переезжал в новую квартиру на главную улицу Москвы — улицу Горького (Тверскую). Только одна запись (от 6 июня 1941) в дневнике творческого порядка, свидетельствующая о том, что Демьян наконец-то получил от власти социальный заказ: «Был сегодня Демьян. Пишет маленькие антирелигиозные новеллы»⁸⁸. Для автора знаменитой эпопеи «Евангелие. Новый Завет без изъяна евангелиста Демьяна», публиковавшейся на страницах газет «Правда» и «Беднота» (апрель-май 1925), тема борьбы с религиозными предрассудками народа оставалась родной и органичной для всего его творчества. Очередная волна жесткой антирелигиозной кампании конца 1930-х гг. была вызвана во многом результатами переписи 1937 г., показавшей, что 57 процентов взрослого населения СССР оставались верующими: две трети населения в сельской местности, в городах — не менее одной трети. Это свидетельствовало, что программа второй «безбожной пятилетки», призванной окончательно решить религиозный вопрос, была провалена (данные переписи были засекречены)⁸⁹. Правда, развернуться в полную силу на антирелигиозном направлении Бедному не удалось: началась война, и уже в первые месяцы войны была реабилитирована и Русская Православная Церковь, и религиозная тематика (правда, не надолго, до 1943 г.). Для Демьяна, поднаторевшего в годы опалы в освоении народности, теперь уже не было творческих проблем с написанием пропагандистских стихов, которые начинают публиковаться в центральных газетах уже в первый месяц войны. Наконец-то он был прощен властью.

В 1941 г. Вьюрков редко встречается с Платоновым. Запись в дневнике от 20 апреля 1941 г.:

«Был у Щепкиной. <...> В 6 ч. ушел от ней и зашел, по пути, в дом Герцена (Тверской бул., 25) к Платонову А. П. Сидит дома один. Мрачный, озабоченный. — Работаю, — ответил мне. — Не стал ему мешать пошел домой»⁹⁰.

Однако Платонов, можно сказать, повинится перед Вьюрковым за неласковый прием и через несколько дней оставит в его альбоме свой автограф. Запись выполнена в привычной для Платонова интонации и стилистике не только эстетического (смехового) остранения, но и этического отстранения от бурной литературной жизни второй половины 30-х гг., запечатленной в альбоме Вьюркова (конечно, он полистал альбом):

«Александру Ивановичу Вьюркову —

На память о почерке прозаика Платонова.

А. Платонов

4/V41.

Скромные, достойные, трудящиеся люди уходят молча под зеленую траву, — нам же, как доказывает эта тетрадь, обязательно хочется на- следовать после себя на свете.

4/V41. А. П.»⁹¹

Последний документ в фонде Вьюркова, где упоминаются Бедный и Платонов, это открытка Марии Александровны Вьюрковым в Киров, куда было эвакуировано 23 августа учреждение, в котором служила су- пруга секретаря группкома:

«Андрей здесь, пока. Он призван в инженерные войска, вызывали несколько раз, но еще дома. <...> О своей «бесталанности» не кокетни- чайте, придет время и книга ваша выйдет в свет, а автор ее получит за- служенный долгожданный успех и признание. Конечно, нужно вы- ждатель время, — сейчас не об этом нужно думать, — и нужно работать, — а не отчаиваться. Демьян блещет, чуть ли не ежедневно, стихами в га- зетах (неважными) и видимо, снова зазнался. Один раз позвонила, хоте- ла поздравить попросту, но у телефона уже сидит тигрица, которая мне невесть что нагородила. Есть люди, которых ничто не исправляет»⁹².

Открытка датируется по штемпелю августом 1941 г. Возможно из-за военной цензуры Мария Александровна не сообщает, что в июле по на- правлению Политуправления Наркомата путей сообщения Платонов был на Ленинградском фронте. В его записной книжке об этой поездке только факты: о бомбежках Тихвина, технических и людских потерях, а также записи о беженцах⁹³. На писательском столе в августе 1941 — рукопись первого рассказа военных лет: «Божье дерево» (впервые опубликован в 1943 г. под названием «Дерево Родины»). Бытовые зарис- овки в письме Марии Александровны (о жене Бедного) свидетельст- вуют, что общение с Бедным продолжалось, однако, кажется, главным инициатором его оставался не Платонов, а его супруга.

Безусловно, мы располагаем не всем необходимым документаль- ным материалом к разработке темы современника Платонова — Демья- яна Бедного. Впереди — обследование архивных фондов Д. Бедного, детализирование проблематики интертекстуальных связей произведе- ний Платонова с публикациями и биографией Бедного.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См.: *Сосновский А.* Первый пролетарский поэт Демьян Бедный // На по- сту. 1923. № 1.

2. См.: Большая цензура. Писатели и журналисты в стране Советов. 1917–1956. Документы. М., 2005. С. 103, 107, 109.

3. Из письма Платонова Горькому от 24 июля 1931 г.: «... я хочу сказать вам, что я не классовый враг, и сколько бы я ни выстрадал в результате своих ошибок, вроде «Впрока», я классовым врагом стать не могу и довести меня до этого состояния нельзя, потому что рабочий класс это моя родина и мое будущее связано с пролетариатом. Я говорю это не ради самозащиты, не ради маскировки — дело действительно обстоит так. Это правда еще и потому, что быть отвергнутым своим классом и быть внутренне все же с ним — это гораздо более мучительно, чем сознать себя чуждым всему, опустить голову и отойти в сторону» (А. Платонов: Воспоминания современников: Материалы к биографии. М., 1994. С. 279).

4. Троцкий Л. Пролетарская культура и пролетарское искусство // Правда. 1923. 14-15 сент.; Партийная политика в искусстве // Там же. 15 сент. Формулу Троцкого о «созерцательной интеллигенции» Платонов использует в автобиографии 1924 г., предложив иную мотивацию своего ухода из литературы: «Засуха 1921 г. произвела на меня чрезвычайно сильное впечатление и, будучи техником, я не мог уже заниматься созерцательным делом — литературой» (Платонов А. Возвращение. 1989. С. 6).

5. Бедный Д. Обида // Правда. 1923. 16 окт. С. 1.

6. Платонов А. <Рецензии, опубликованные в журнале «Октябрь мысли»> // Платонов А. Сочинения. Т. 1. Кн. 2. М., 2004. С. 259 — 268.

7. Название стихотворения С. Маршака («Кремлевская критика») 1924 г., запрещенного к печати цензурой. В эпитафье стихотворения («Наркомы Троцкий, Осинский, Луначарский, Чичерин пишут критические статьи и рецензии») названы руководители советского государства, принимавшие самое активное участие в литературных дискуссиях 1922-1923 г.: Л. Троцкий (нарком по военным делам), А. Луначарский (нарком просвещения), Г. Чичерин (нарком иностранных дел), Н. Осинский (заместитель наркома земледелия). Портреты главных представителей «кремлевской критики» выполнены в пародийно-сатирической стилистике: «Забыв про сухую политику, / Про школьно-бюджетный вопрос, / Берется за драму и критику / Порхающий Наркомпрос. // Расправившись с белозелеными, / Прогнав и забрав их в плен, — / Критическими фельетонами / Занялся Наркомвоен. // Палит из Кремля Московского / На тысячу верст кругом / Недавно Корнея Чуковского / Убило одним ядром. // Болота и степи бесплодные, / Возделав, как некий Эдем, — Рецензиям время свободное / Теперь отдает Наркомзем» (Чукоккала. Рукописный альманах Корнея Чуковского. М.: Русский путь, 2006. С. 357..

8. Троцкий Л. Футуризм // Правда. 1923. 25 сент. С. 1.

9. Платонов А. Сочинения. Т. 1. Кн. 2. С. 259 — 269. Подробно о политическом и литературном контексте данных рецензий см. комментарии Н. Корниенко (Там же. С. 429 — 466).

10. Добренко Е. Формовка советского писателя. Социальные и эстетические истоки советской литературной культуры. СПб., 1999. С. 215.

11. См.: *Дужина Н.* Путеводитель по повести А. П. Платонова «Котлован». М., 2010.
12. *Троцкий Л.* Вопросы быта. Эпоха «культурничества» и ее задачи. Третье издание. М., 1923. С. 41 – 42.
13. Впервые: *Жаров А.* Гармонь // Комсомольская правда. 1926. 1 сент.
14. *Стальский Л.* За комсомольскую гармошку // Жизнь крестьянской молодежи. 1926. № 13 (июль). С. 11.
15. *Строгова Е.* Гармонь // Рабочая газета. 1926. 14 нояб.
16. Конкурс гармонистов // Прожектор. 1926. № 23 (дек.). С. 26.
17. От гармошки к гармонии // Экран. 1926. № 50. С. 9.
18. *Кольцов М.* Наше веселье // Красная газета. 1926. 23 нояб. С. 3.
19. *Бедный Д.* Гармонь, или Дело от безделья // Известия. 1926. 19 дек.
20. Он же. Музыка прошлого // Там же. 1926. 25 дек.
21. Цит. по: *Сталин И.* Сочинения. Т. 9. М., 1952. С. 151.
22. *Бедный Д.* Чертополох // Жизнь крестьянской молодежи. 1926. № 19 (окт.). С. 1.
23. *Бедный Д.* Оправдание // Ленинградская правда. 1927. 21 янв. Полужирно обозначена строка, выделенная у Бедного.
24. *Добровицкий Н.* Гармонь (Ответ Д. Бедному) // Жизнь крестьянской молодежи. 1927. № 2 (январь). С. 14.
25. *Крупская Н.* Религия и женщина // Антирелигиозник. 1927. № 2 (февр.). С. 5.
26. *Платонов А.* Сочинения. Т. 1. Кн. 1. М., 2004. С. 322.
27. Там же. С. 88.
28. Цит. по.: *Платонов А.* Взыскание погибших. М., 1995. С. 142.
29. Там же. С. 133.
30. *Платонов А.* Чевенгур. М., 1991. С. 303.
31. Там же. С. 375 – 382.
32. Там же.
33. Подробно о развитии сюжета гармошки в творчестве Платонова 1920-1930-х гг. см.: *Корниенко Н.* Песенно-музыкальные сюжеты у Платонова (Литературные и иные контексты) // Творчество Андрея Платонова. Исследования и материалы. Кн. 3. СПб., 2004. С. 93 – 120); *Корниенко Н.* «Котлован» А. Платонова и дискуссии о песенном репертуаре рубежа 1920-1930-х годов // Zentrum und Peripherie in den slavische und baltischen Sprachen und Literaturen. Bern, 2004. С. 77 – 96.
34. *Бедный Д.* Чья «Правда» правдистее // Правда. 1924. 8 янв. С. 1 // Большая цензура. С. 118.
35. Большая цензура. С. 119.
36. Там же. С. 140.
37. *Платонов А.* Котлован. Текст, материалы творческой истории. СПб., 2000. С. 67 – 68.

38. Там же. С. 106.
39. Там же.
40. Власть и художественная интеллигенция. Документы. 1917 – 1953. М., 1999. С. 132 – 133.
41. Подробно см.: *Корниенко Н.* История текста и биография А. П. Платонова // *Здесь и теперь.* 1993. № 1. С. 154 – 158.
42. Доклад тов. И. В. Сталина о проекте Конституции Союза ССР // *Известия.* 1936. 26 ноября. С. 1- 2.
43. Речь В. М. Молотова // *Известия.* 1936. 30 нояб.
44. Сталинская конституция. [Редакционная статья] // Там же. 24 нояб.
45. См.: *Селивановский А.* Поэт революционного народа // *Литературная газета.* 1936. 20 мая. С. 2; *Плиско Н.* Поэзия героических лет // Там же. С. 3; *Кирпотин В.* Политика и поэзия в творчестве Д. Бедного // Там же. 24 мая. С. 4.
46. См.: *Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) – ВКП(б), ВЧК – ОГПУ – НКВД о культурной политике. 1917 – 1953. М., 1999. С. 333 – 341; Большая цензура. С. 431 – 440.*
47. *Керженцев П.* Фальсификация народного прошлого (о «Богатырях» Демьяна Бедного) // *Литературная газета.* 1936. 20 нояб.
48. Извлечь необходимое [Редакционная статья] // Там же. С. 2.
49. Там же. С. 2.
50. РГАЛИ. Ф. 1521, оп. 3, ед. хр. 34, л. 40.
51. Там же. Л. 46 – 48.
52. Кабардинская здравица // Там же. Ед. хр. 72, л. 7 – 17.
53. Партии вождь. Армянская песня // Там же. Ед. хр. 34, л. 99.
54. Там же. Ед. хр. 72, л. 1.
55. Там же. Л. 57 – 61.
56. Там же. Ед. хр. 72, л. 83; *Творчество народов СССР. М., 1937. С. 105 – 106.*
57. Книга попала в список изданий, «не подлежащих распространению и рекомендованных к изъятию из библиотек общего пользования»; запрет на распространение продлевался в 1948, 1961 и был снят только в 1989 г. (*Блюм А.*) Запрещенные книги русских писателей и литературоведов. 1917 – 1991: Индекс советской цензуры с комментариями. СПб., 2003. С. 210, 387. Среди «врагов народа» политических процессов 1936-1937 гг. оказались редакторы книги: критик Л. Авербах, начальник строительства Беломорско-Балтийского канала, зам. начальника ГУЛАГа С. Фирин, писатели Б. Ясенский и С. Буданцев (книга открывалась большим списком писателей, принявших участие в ее создании).
58. Большая цензура. С. 476 – 475.
59. Сталин и Каганович. Переписка. 1931 – 1936. М., 2001. С. 119 – 122, 149, 164.
60. Там же. С. 465.
61. Подробно об истории создания этого труда см.: *Корниенко Н.* Государственный литературный проект «Творчество народов СССР» (по материалам

фонда редакции) // Текстологический временник: Русская литература XX века. Вопросы текстологии и источниковедения. Вып. 2. М., 2012. С. 878–940 (в производстве).

62. Платонов А. Фабрика литературы. М., 2011. С. 172.

63. Платонов А. Счастливая Москва. М., 2010. С. 524.

64. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 тт. Т. 4. М., 2003. С. 670.

65. См.: Платонов А. <Письма А. И. Вьюркову> // Андрей Платонов: Воспоминания современников: Материалы к биографии. М., 1994. С. 434–436.

66. РГАЛИ, ф. 1452, оп. 1, ед. хр. 165, л. 1–2 об.

67. РО ИРЛИ. Ф. 780, ед. хр. 45, л. 2-2 об.

68. Удостоверение, выданное Вьюркову в августе 1941 г. (РГАЛИ, ф. 1452, оп. 1, ед. хр. 208, л. 9).

69. Вечерняя Москва. 1939. 27 августа. С. 3. Без подписи. Подробно об истории издания сборника статей Платонова «Размышления читателя» см.: Корниенко Н. История текста и биография А. П. Платонова // Здесь и теперь. 1993. № 1. С. 246–260; История одной «погибшей книги». Статья и публикация Н. Корниенко // Архив А. П. Платонова. М., 2009. С. 660–672.

70. РГАЛИ, ф. 1452, оп. 1, ед. хр. 223, л. 8 об. Авторизованная машинопись стихотворения вклеена в альбом.

71. РО ИРЛИ, ф. 780, ед. хр. 45, л. 5.

72. Там же. Ед. хр. 47, л. 12, 13.

73. Там же. Ед. хр. 223, л. 8а.

74. Там же. Оп. 1, ед. хр. 208, л. 3.

75. Там же. Ед. хр. 178, л. 5.

76. См.: Андрей Платонов в документах ОГПУ-НКВД-НКГБ. 1930–1945 // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. Вып. 4. М., 2000. С. 853–877.

77. РГАЛИ, ф. 1452, оп. 1, ед. хр. 244, л. 25.

78. РО ИРЛИ, ф. 780, ед. хр. 45, л. 5.

79. РГАЛИ, ф. 1452, ед. хр. 47, л. 14.

80. Ед. хр. 47, л. 17–18.

81. Андрей Платонов в документах ОГПУ-НКВД-НКГБ. 1930–1945 // Указ. изд. С. 865.

82. См.: Архив А. П. Платонова. М., 2009. С. 377–578.

83. См.: РГАЛИ. Ф. 1425, ед. хр. 50, л. 1.

84. Оpubл.: А. Платонов. Воспоминания современников: Материалы к биографии. С. 435.

85. РГАЛИ. Ф. 1425. Ед. хр. 105, л. 1-2. Отзывы других рецензентов, включая Платонова, имеются в фондах Вьюркова и издательства «Советский писатель» (РГАЛИ, ф. 1234, оп. 5, ед. хр. 3).

86. Новые книги // Литературная газета. 1940. 6 апр.
87. РГАЛИ. Ф. 1425. Ед. хр. 47, л. 29 об.
88. Там же. Л. 36 об.
89. Подробно об этом см.: *Синицын Ф.* «Волков бояться, в лес не ходить». Провал антирелигиозной политики СССР в конце 1930-х годов // *Родина*. 2011. № 6. С. 123 – 126.
90. РГАЛИ. Ф. 1425. Ед. хр. 47, л. 31 об.
91. Там же. Ед. хр. 223. л. 47 об.
92. Там же. Ед. хр. 166, л. 1.
93. См. *Платонов А.* Записные книжки. Материалы к биографии. М., 2000. С. 215 – 247, 395 – 396.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Д. БЕДНЫЙ – И. В. СТАЛИНУ

8 декабря 1930 г., Москва

8 декабря 1930 г.

Иосиф Виссарионович!

Я ведь тоже грамотный. Да и станешь грамотным, «как дело до петли доходит». Я хочу внести в дело ясность, чтобы не было после нареканий: зачем не сказал?

Пришел час моей катастрофы¹. Не на «правизне», не на «левизне», а на «кривизне». Как велика дуга этой кривой, т. е. в каком отдалении находится вторая, конечная ее и моя точка, я еще не знаю. Но вот, что я знаю, и что должны знать Вы.

Было — без Вас — опубликовано взволновавшее меня обращение ЦК². Я немедленно его поддержал фельетоном «Слезай с печки». Фельетон имел изумительный резонанс: напостовцы³ приводили его в печати, как образец героической агитации, Молотов⁴ расхвалил его до крайности и распорядился, чтобы его немедленно включили в серию литературы «для ударников», под каковым подзаголовком он и вышел в отдельной брошюре, — даже Ярославский, никогда не делавший этого, прислал мне письмо, тронувшее меня (см. приложение)⁵. Поэты — особенный народ: их хлебом не корми, а хвали. Я ждал похвалы человека, отношение к которому у меня всегда было окрашено биографической нежностью. Радостно я помчался к этому человеку по первому звонку. Уши растопырил, за которыми меня ласково почешут. Меня крепко дернули за эти уши: ни к черту «Слезай с печки» не годится!! Я стал бормотать, что вот у меня другая любопытная тема напечатана. Ни к черту эта тема не годится!

Я вернулся домой, дрожа. Меня облили ушатом холодной воды. Хуже: выбили из колеи. Я был парализован. Писать не мог. Еле-еле что-то пропищал к 7 ноября.

7 ноября мы с Вами встретились. Шуточно разговаривая с Вами, я надумал: дурак я! Зачем я бездарно излагаю ему в прозе план фельетона, когда могу написать этот фельетон даровито и убедить его самим качеством фельетона.

Я засел за работу. Работал каторжно. Тяжело было писать при сомнительном настроении, да еще в гриппу. Написал. Сдал в набор. Около 12 ч[асов] ночи в редакции произошла заминка: Ярославский считал, что вводная часть, будучи слишком исторической, ослабляет вторую, агитационную, не выбросить ли эту вводную часть? Я не со-

противлялся. Но Ярославский, увидя, должно быть, по моему огорченному лицу, что мне этим причиняется боль, сказал: но все же пусть идет, раз набрано и сверстано. Ярославский уехал. Я остался со своими раздумьями. Я знал то, чего он, Ярославский, не знал: у меня будет придирчивый читатель в Вашем лице. А вдруг не удастся мне покорить этого читателя?

Подумавши, я категорически заявил Мехлису и Савельеву⁶: снимаю первую часть! Пошел переполох, так как позднее время, а тут переверстка. Дали знать Ярославскому. Тот меня вызвал к телефону и настойчиво предложил «не капризничать», как ему казалось. Пусть идет весь фельетон. Уговорить меня было не трудно.

Вот и все!

Живой голос либо должен был мою работу похвалить, либо дружески и в достаточно убедительной форме указать на мою «кривизну». Вместо этого я получил выписку из Секретариата. Эта выписка бенгальским огнем осветила мою изолированность и мою обреченность. В «Правде» и заодно в «Известиях» я предан оглашению. Я неблагополучен. Меня не будут почитать после этого не только в этих двух газетах, насторожатся везде. Уже насторожились информированные Авербахи⁷. Охотников хвалить меня не было. Охотников поплевать в мой след будет без отказа. Заглавия моих фельетонов «Слезай с печки» и «Без пощады» становятся символическими. 20 лет я был сверчком на большевистской печке. Я с нее слезаю. Пришло, значит, время. Было ведь время, когда меня и Ильич поправлял и позволял мне отвечать в «Правде» стихотворением «Как надо читать поэтов» (см. седьм[ой] т[ом] моих соч[инений], стр. 22, если поинтересуетесь). Теперь я засел тоже за ответ, но во время писания пришел к твердому убеждению, что его не напечатают или же, напечатав, начнут продолжать ту политику по отношению ко мне, которая только согнет еще больше мою кривую и приблизит мою роковую катастрофически конченную точку. Может быть, в самом деле, нельзя быть крупным русским поэтом, не оборвав свой путь катастрофически. Но каким же после этого голосом закричала бы моя армия, брошенная полководцем, мои 18 полков (томов), сто тысяч моих бойцов (строчек). Это было бы что-то невообразимое. Тут поневоле взмолишься: «отче мой, аще возможно есть, да мимо идет мене чаша сия»!

Но этим письмом я договариваю и конец вышеприведенного вопроса: «обаче не якоже ан хощу, но якоже ты»!

С себя я снимаю всякую ответственность за дальнейшее.

Демьян Бедный

Печатается по: Власть и художественная интеллигенция. Документы. 1917 – 1958. Составители: А. Артизов и О. Наумов. М., 1999. С. 132 – 133.

1. 6 декабря 1930 г. было принято «Постановление Секретариата ЦК ВКП(б) «О фельетонах Демьяна Бедного «Слезай с печки», «Без пощады «», опубликованное в центральных газетах:

а) ЦК обращает внимание редакций «Правды» и «Известий», что за последнее время в фельетонах т. Демьяна Бедного стали появляться фальшивые нотки, выразившиеся в огульном охаивании «России» и «русского» (статьи «Слезай с печки», «Без пощады»); в объявлении «лени» и «сидения на печке» чуть ли не национальной чертой русских («Слезай с печки»); в непонимании того, что в прошлом существовало две России, Россия революционная и Россия антиреволюционная, причем то, что правильно для последней, не может быть правильным для первой; в непонимании того, что нынешнюю Россию представляет ее господствующий класс, рабочий класс и прежде всего русский рабочий класс, самый активный и самый революционный отряд мирового рабочего класса, причем попытка огульно применить к нему эпитеты «лентяй», «любитель сидения на печке» не может не отдавать грубой фальшью.

ЦК надеется, что редакции «Правды» и «Известий» учтут в будущем эти дефекты в писаниях т. Демьяна Бедного.

б) ЦК считает, что «Правда» поступила опрометчиво, напечатав в фельетоне т. Д. Бедного «Без пощады» известное место, касающееся ложных слухов о востанах в СССР, убийстве т. Сталина и т. д., ибо она не могла не знать о запрете печатать сообщения о подобных слухах».

2. Имеется в виду опубликованное 3 сентября в «Правде» обращение ЦК ВКП(б) ко всем партийным и хозяйственным, профсоюзным и комсомольским организациям с призывом к мобилизации сил на выполнение производственной программы третьего года пятилетки.

3. От названия журнала пролетарской критики «На посту», представляющего радикально левое направление пролетарской литературы.

4. Молотов Вячеслав Михайлович (1890 — 1989) — партийный и государственный деятель.

5. Ярославский Емельян Михайлович (1878 — 1943) — партийный деятель, идеолог борьбы с религией, редактор антирелигиозных изданий, председатель Союза безбожников СССР. В письме от 14 октября 1930 г. Ярославский, в частности, писал Д. Бедному: «Пользуюсь случаем, чтобы сказать тебе несколько теплых товарищеских слов. У тебя за последнее время были превосходные вещи: о Троцком, «О Темпах», «Слезай с печки!» <...> Уверен, что ты и впредь будешь давать примеры того, как надо поднять на большую высоту революционную тему, дав ее в наиболее доступнейшей массам форме» (Власть и интеллигенция. С. 750).

6. Мехлис Лев Захарович (1889 — 1953) — партийный деятель, главный редактор газеты «Правда». Савельев М. А. — редакционный работник. Редакция «Правды» в письме Сталину и Молотову иначе интерпретировала события. «Около часа ночи тов. Демьян заявил Мехлису, что ввиду имеющихся возраже-

ний со стороны тт. Ярославского и Мехлиса, он готов снять первую часть, ввиду чего Мехлис отдал распоряжение о переверстке номера. <...> отказался от своего согласия на снятие первой части, сделав в ней только ряд поправок. Тов. Ярославский после объяснений Демьяна <...> дал согласие напечатать первую часть. Что касается тов. Мехлиса (т. Демьян представляет дело так, будто Мехлис, чтобы избежать переверстки, согласился печатать), то он все время, и после внесения поправок заявлял, что остается при особом мнении — что печатать первую часть (I и II главы) фельетона не следует» (Власть и интеллигенция. С. 750).

7. Авербах Леопольд Леонидович (1903 — 1939) — генеральный секретарь РАПП (Российской ассоциации пролетарских писателей).

И. В. СТАЛИН — Д. БЕДНОМУ

12 декабря 1930 г., Москва

12 декабря 1930 г.

Т[овари]щу Демьяну Бедному.

Письмо Ваше от 8.XII получил. Вам нужен, по-видимому, мой ответ. Что же, извольте.

Прежде всего о некоторых Ваших мелких и мелочных фразах и намеках. Если бы они, эти некрасивые «мелочи», составляли случайный элемент, можно было бы пройти мимо них. Но их так много и они так живо «бьют ключом», что определяют тон всего Вашего письма. А тон, как известно, делает музыку.

Вы расцениваете решение [Секретариата]* ЦК, как «петлю», как признак того, что «пришел час моей (т. е. Вашей) катастрофы». Почему, на каком основании? Как назвать коммуниста, который, вместо того, чтобы вдуматься в существо решения [исполнительного органа] ЦК и исправить свои ошибки, третирует это решение, как «петлю»?

Десятки раз хвалил Вас ЦК, когда надо было хвалить. Десятки раз ограждал Вас ЦК (не без некоторой натяжки!) от нападков отдельных групп и товарищей из нашей партии. Десятки поэтов и писателей одергивал ЦК, когда они допускали отдельные ошибки. Вы все это считали нормальным и понятным. А вот, когда ЦК оказался вынужденным подвергнуть критике Ваши ошибки, Вы вдруг зафыркали и стали кричать о «петле». [Почему], на каком основании? Может быть, ЦК не имеет права критиковать Ваши ошибки? Может быть,

*Здесь и далее в квадратных скобках текст письма, изъятый при его частичной публикации в 13-м томе Собрания сочинений И. В. Сталина (М., 1952. С. 23–27).

решение ЦК не обязательно для Вас? Может быть, Ваши стихотворения выше всякой критики? Не находите ли, что Вы заразились некоторой неприятной болезнью, называемой зазнайством? Побольше скромности, т. Демьян.

[Вы противопоставляете т. Ярославского мне (почему-то мне, а не Секретариату ЦК), хотя из Вашего письма видно, что т. Ярославский сомневался в необходимости напечатания первой части фельетона «Без пощады», и лишь поддавшись воздействию Вашего «огорченного лица» — дал согласие на напечатание. Но это не все. Вы противопоставляете далее т. Молотова мне, уверяя, что он не нашел ничего ошибочного в Вашем фельетоне «Слезай с печки» и даже «расхвалил его до крайности». Во-первых, позвольте усомниться в правдивости Вашего сообщения насчет т. Молотова. Я имею все основания верить т. Молотову больше, чем Вам. Во-вторых, не странно ли, что Вы ничего не говорите в своем письме об отношении т. Молотова к Вашему фельетону «Без пощады»? А затем, какой смысл может иметь Ваша попытка противопоставить т. Молотова мне? Только один смысл: намекнуть, что решение Секретариата ЦК есть на самом деле не решение этого последнего, а личное мнение Сталина, который, очевидно, выдает свое личное мнение за решение Секретариата ЦК. Но это уж слишком, т. Демьян. Это просто нечистоплотно. Неужели нужно еще специально оговориться, что постановление Секретариата ЦК «Об ошибках в фельетонах Д.Бедного «Слезай с печки» и «Без пощады»» принято всеми голосами наличных членов Секретариата (Сталин, Молотов, Каганович), т.е. единогласно? Да разве могло быть иначе? Я вспоминаю теперь, как Вы несколько месяцев назад сказали мне по телефону: «оказывается между Сталиным и Молотовым имеются разногласия. Молотов подкапывается под Сталина» и т. п. Вы должны помнить, что я грубо оборвал Вас тогда и просил не заниматься сплетнями. Я воспринял тогда эту Вашу «штучку», как неприятный эпизод. Теперь я вижу, что у Вас был расчет — поиграть на мнимых разногласиях и нажить на этом некий профит. Побольше чистоплотности, т. Демьян...

«Теперь я засел, — пишете Вы, — тоже за ответ, но во время писания пришел к твердому убеждению, что его не напечатают или же, напечатав, *начнут продолжать ту политику по отношению ко мне***, которая только согнет еще больше мою кривую и *приблизит мою роковую катастрофически конченную точку*. Может быть, в самом деле, *нельзя быть крупным русским поэтом, не оборвав свой путь катастрофически*».

** Здесь и далее курсив автора.

Итак, существует, значит, какая-то особая политика по отношению к Демьяну Бедному. Что это за политика, в чем она состоит? Она, эта политика, состоит, оказывается, в том, чтобы заставить «крупных русских поэтов» «оборвать свой путь катастрофически». Существует, как известно, «новая» (совсем «новая»!) троцкистская «теория», которая утверждает, что в Советской России реальна лишь грязь, реальна лишь «Перерва». Видимо, эту «теорию» пытаетесь Вы теперь применить к политике ЦК в отношении «крупных русских поэтов». Такова мера Вашего «доверия» к ЦК. Я не думаю, что Вы способны, даже находясь в состоянии истерики, договориться до таких антипартийных гнусностей. Недаром, читая Ваше письмо, я вспомнил Сосновского...

Но довольно о «мелочах» и мелочных «выходках». Их, этих «мелочей», такая прорва в Вашем письме («придирчивый читатель», «информированный Авербах» и т.п. прелести), и так они похожи друг на друга, что не стоит больше распространяться о них. Перейдем к существу дела.] В чем существо Ваших ошибок? Оно состоит в том, что критика обязательная и нужная, развитая Вами вначале довольно метко и умело, увлекла Вас сверх меры и, увлекши Вас, стала перерастать в Ваших произведениях в клевету на СССР, на его прошлое, на его настоящее. Таковы Ваши «Слезай с печки» и «Без пощады». Такова Ваша «Перерва», которую прочитал сегодня по совету т. Молотова.

Вы говорите, что т. Молотов хвалил фельетон «Слезай с печки». Очень может быть. Я хвалил этот фельетон, может быть, не меньше, чем т. Молотов, так как там (как и в других фельетонах) имеется ряд великолепных мест, бьющих прямо в цель. Но там есть еще ложка такого дегтя, который портит всю картину и превращает ее в сплошную «Перерву». Вот в чем вопрос и вот что делает музыку в этих фельетонах.

Судите сами.

Весь мир признает теперь, что центр революционного движения переместился из Западной Европы в Россию. Революционеры всех стран с надеждой смотрят на СССР как на очаг освободительной борьбы трудящихся всего мира, признавая в нем единственное свое отечество. Революционные рабочие всех стран единодушно рукоплещут советскому рабочему классу и, прежде всего, русскому рабочему классу, авангарду советских рабочих как признанному своему вождю, проводящему самую революционную и самую активную политику, какую когда-либо мечтали проводить пролетарии других стран. Руководители революционных рабочих всех стран с жадностью изучают поучительнейшую историю рабочего класса России, его прошлое, прошлое России, зная, что кроме России реакционной существовала еще Россия революционная, Россия Радищевых и Чернышев-

ских, Желябовых и Ульяновых, Халтуринных и Алексеевых. Все это вселяет (не может не вселять!) в сердца русских рабочих чувство революционной национальной гордости, способное двигать горами, способное творить чудеса.

А Вы? Вместо того, чтобы осмыслить этот величайший в истории революции процесс и подняться на высоту задач певца передового пролетариата, ушли куда-то в лощину и, запутавшись между скучнейшими цитатами из сочинений Карамзина и не менее скучными изречениями из «Домостроя», стали возглашать на весь мир, что Россия в прошлом представляла сосуд мерзости и запустения, что нынешняя Россия представляет сплошную «Перерву», что «лень» и стремление «сидеть на печке» является чуть ли не национальной чертой русских вообще, а значит и русских рабочих, которые, проделав Октябрьскую революцию, конечно, не перестали быть русскими. И это называется у Вас большевистской критикой! Нет, высокочтимый т. Демьян, это не большевистская критика, [а клевета на наш народ], *развенчание СССР, развенчание пролетариата СССР, развенчание русского пролетариата.*

И вы хотите после этого, чтобы ЦК молчал! За кого Вы принимаете наш ЦК?

И Вы хотите, чтобы я молчал из-за того, что Вы, оказывается, питаете ко мне «биографическую нежность»? Как Вы наивны и до чего Вы мало знаете большевиков.

Может быть, Вы, как человек «грамотный», не откажетесь выслушать следующие слова Ленина:

«Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою родину, мы больше всего работаем над тем, чтобы ее трудящиеся массы (т. е. 9/10 ее населения) поднять до сознательной жизни демократов и социалистов. Нам больше всего видеть и чувствовать, каким насильям, гнету и издевательствам подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты. Мы гордимся тем, что насилья вызывали отпор из нашей Среды, из Среды великоруссов, что эта Среда выдвинула Радищева, декабристов, революционеров-разночинцев 70-х годов, что великорусский рабочий класс создал в 1905 году могучую революционную партию масс, что великорусский мужик начал в то же время становиться демократом, начал свергать попа и помещика. Мы помним, как полвека тому назад великорусский демократ Чернышевский, отдавая свою жизнь делу революции, сказал: «Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу — все рабы». Откровенные и прикровенные рабы — великороссы (рабы по отношению к царской

монархии) не любят вспоминать эти слова. А, по нашему, это были слова настоящей любви к родине, любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения. Тогда ее не было. Теперь ее мало, но она уже есть. Мы полны чувства национальной гордости, ибо великорусская нация тоже создала революционный класс, тоже доказала, что она способна дать человечеству великие образцы борьбы за свободу и за социализм, а не только великие погромы, ряды виселиц, застенки, великие голодовки и великое раболепство перед попами, царями, помещиками, капиталистами» (см. Ленина «О национальн[ой] гордости великороссов»).

Вот как умел говорить Ленин, величайший интернационалист в мире, о национальной гордости великороссов. А говорил он так потому, что он знал, что: «Интерес (не по холопски понятый) национальной гордости великороссов совпадает с социалистическим интересом великорусских (и всех иных) пролетариев» (см. там же).

Вот она, ясная и смелая «программа» Ленина. Она, эта «программа», вполне понятна и естественна для революционеров, кровно связанных с рабочим классом, с народными массами.

Она непонятна и не естественна для вырожденков типа Лелевича, которые не связаны и не могут быть связаны с рабочим классом, с народными массами.

Возможно ли примирить эту революционную «программу» Ленина с той нездоровой тенденцией, которая проводится в Ваших последних фельетонах?

[Ясно], что невозможно. Невозможно, так как между ними нет ничего общего.

Вот в чем дело и вот, чего Вы не хотите понять. Значит, надо Вам порочивать на старую, ленинскую дорогу, несмотря ни на что. [Других путей нет.]

В этом суть, а не в пустых lamentациях перетрусившего интеллигента, с перепапу болтающего о том, что Демьяна хотят якобы «изолировать», что Демьяна «не будут больше печатать» и т. п. [Понятно?

Вы требовали от меня ясности. Надеюсь, что я дал Вам достаточно ясный ответ.]

И.Сталин

Печатается по: Власть и художественная интеллигенция. Документы. 1917 – 1958. С. 134 – 137.

А. ПЛАТОНОВ – И. В. СТАЛИНУ

8 июня 1931 г. Москва

Товарищ Сталин.

Я прошу у вас внимания, которого делами пока еще не заслужил. Из необходимости беречь ваше время, я буду краток, может быть, даже в ущерб ясности дела.

В журнале «Красная новь» напечатана моя повесть «Впрок». Написана она более года тому назад¹. Товарищи из рапповского руководства оценили эту мою работу, как идеологически крайне вредную². Прочитав свою повесть, я многое передумал; я заметил в ней то, что было в период работы незаметно для меня самого и явно для всякого пролетарского человека — кулацкий дух, дух иронии, двусмысленности, ухищрений, ложной стилистики и т. д. Получилась действительно губительная работа, ибо ее только и можно истолковать во вред колхозному движению³. Но колхозное движение — есть самый драгоценный, самый, так сказать, «трудный» продукт революции. Этот продукт, как ребенок, требует огромного, чуткого внимания, даже при одном только приближении к нему. У меня же, коротко говоря, получилась какая-то контрреволюционная пропаганда (первичные намерения автора не меняют дела — важен результат). Вам я пишу это прямо, хотя тоска не покидает меня. Я увидел, что товарищи из РАППа — правы, что я заблудился и погибаю.

В прошлом году, летом, я был в колхозах Средне-волжского края (после написания «Впрока»)⁴. Там я увидел и почувствовал, что означает в действительности социалистическое переустройство деревни, что означают колхозы для бедноты и батраков, для всех трудящихся крестьян. Там я увидел колхозных людей, поразивших мое сознание и там же я имел случай разглядеть кулаков и тех, кто помогает им⁵. Конкретные факты были настолько глубоки, иногда трагичны по своему содержанию⁶, что у меня запеклась душа, — я понял, какие страшные, сумрачные силы противостоят миру социализма и какая невероятная работа нужна от каждого человека, чья надежда заключается в социализме. В результате поездки, в результате идеологической помощи ряда лучших товарищей, настоящих большевиков, я внутренне, художественно отверг свои прежние сочинения, — а их надо было отвергнуть и политически, и уничтожить или не стараться печатать. В этом было мое заблуждение, слабость понимания обстановки. Тогда я начал работать над новой книгой⁷, проверяя себя, ловя на каждой фразе и каждом положении, мучительно и медленно, одолевая инерцию лжи и пошлости, которая еще владеет мною, которая враждебна пролетариату и колхоз-

никам. В результате труда и нового, т. е. пролетарского, подхода к действительности, мне становилось все более легко и свободно, точно я возвращался домой из чужих мест.

Теперь рапповская критика объяснила мне, что «Впрок» есть вредное произведение для колхозов, для той политики, которая служит надеждой для всех трудящихся крестьян во всем мире. Зная, что вы стоите во главе этой политики, что в ней, в политике партии, заключена забота⁸ о миллионах, я оставляю в стороне всякую заботу о своей личности и стараюсь найти способ, каким можно уменьшить вред от опубликования повести «Впрок». Этот способ состоит в написании и опубликовании такого произведения, которое бы принесло идеологической и художественной пользы для пролетарского читателя в десять раз больше⁹, чем тот вред, та деморализующая контрреволюционная ирония, которые объективно содержатся во «Впроке».

Вся моя забота — в уменьшении вреда от моей прошлой литературной деятельности. Над этим я работаю с осени прошлого года, но теперь я должен удешевить усилия, ибо единственный выход находится в такой работе, которая искупила бы вред от «Впрока». Кроме этого главного дела, я напишу заявление в печать¹⁰, в котором сделаю признание губительных ошибок своей литературной работы — и так, чтобы другим страшно стало, чтобы ясно было, что какое бы то ни было выступление, объективно вредящее пролетариату, есть подлость, и подлость особенно гнусная, если ее делает пролетарский человек.

Ясно, что такое заявление есть лишь обещание искупить свою вину, но не само искупление. Однако я еще никогда не делал таких заявлений и не сделал бы, если бы не был уверен, что выполню.

Товарищ Сталин, я слышал, что вы глубоко цените художественную литературу и интересуетесь ею.

Если вы прочитали или читаете «Впрок», то в вас, как теперь мне ясно, это бредовое сочинение вызовет суровое осуждение, потому что вы являетесь руководителем социалистического переустройства деревни, что вам это ближе к сердцу, чем кому бы то ни было.

Этим письмом я не надеюсь уменьшить гнусность «Впрока», но я хочу, чтобы вам было ясно, как смотрит на это дело виновник его — автор, и что он предпринимает для ликвидации своих ошибок.

Перечитав это свое письмо к вам, мне захотелось добавить еще что-нибудь, чтобы служило непосредственным выражением моего действительного отношения к социалистическому строительству. Но это я имею право сделать, когда уже буду полезен революции.

Глубоко уважающий вас — АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ.

8 июня 1931 г.

Впервые: Новая газета. 1999. 1 – 7 марта. С. 21. Публикация Т. Дубинской, Т. Джалилова.

Печатается по копии Архива Горького ИМЛИ (ПТА 12-113-1).

Оригинал письма, с которого была сделана копия, не выявлен. На копии имеется запись ближайшего помощника Сталина И. П. Товстухи: «т. Горькому А. М. По поручению т. Сталина посылается письмо Платонова. [Подпись]».

Сталин впервые заметил Платонова в 1929 г., прочитав рассказ «Усомнившийся Макар» в № 9 журнала «Октябрь» за 1929 г. О его реакции известно из доверительного письма А. Фадеева, в то время исполнявшего обязанности ответственного редактора журнала, Р. С. Землячке (декабрь 1929 г.): «... я прозевал недавно идеологически двусмысленный рассказ А. Платонова «Усомнившийся Макар», за что мне поделом попало от Сталина, — рассказ анархистский; в редакции боятся теперь шаг ступить без меня» (Фадеев А. Собр. соч. Т. 5. С. 304). Негативная оценка «Усомнившегося Макара» Сталиным была отработана в статье генерального секретаря РАППа Л. Авербаха «О целостных масштабах и частных Макарах», опубликованной не только в журналах «На литературном посту» (1929, № 21/22) и «Октябрь» (1929, № 11), но и в газете «Правда» (3 декабря). В «Октябре» публикация статьи сопровождалась заявлением редколлегии журнала: «Редакция разделяет точку зрения т. Авербаха на рассказ «Усомнившийся Макар» А. Платонова и напечатание рассказа в журнале считает ошибкой. А. Серафимович, А. Фадеев, М. Шолохов» («Октябрь» № 11. С. 164). На самом деле, члены редколлегии разделяли точку зрения Сталина на рассказ. Платонов вполне адекватно воспринял этот выпад, что нашло отражение в печальном завершении судьбы Макара Ганушкина (рассказ «Отмежевавшийся Макар», 1930). Повесть «Впрок» Платонов предлагал в журналы «Октябрь» и «Новый мир», однако там отказались от ее публикации. Повесть напечатана в № 3 журнал «Красная новь» за 1931 г. Этот номер вышел под грифом ФОСП с обновленной редакцией, ответственным редактором журнала являлся А. Фадеев. Журнал с публикацией «Впрок» вышел в апреле и тут же попал на стол Сталина, который внимательно прочитал повесть, оставив на полях следующие оценки автора: «Дурак», «Пошляк», «Балаганщик», «Беззубый остряк», «Это не русский, а какой-то тарабарский язык», «Болван», «Да, дурак и пошляк новой жизни», «Мерзавец; таковы, значит, непосредственные руководители колхозного движения, кадры колхозов?! Подлец». Маем датирована записка Сталина в редколлегию журнала:

«К сведению редакции «Красная новь».

Рассказ агента наших врагов, написанный с целью развенчания колхозного движения и опубликованный головоотяпами-коммунистами с целью продемонстрировать свою непревзойденную слепоту.

И. Сталин.

Р. С. Надо бы наказать и автора и головоотяпов так, чтобы наказание пошло им «впрок»» (Власть и художественная интеллигенция. С. 150).

Наказание редколлегии ограничилось принятием резолюций пленума МАПП (4 мая) и специальным решением комфракции секретариата РАПП от 26 июня 1931 г.: «Отметить грубую политическую ошибку т. Фадеева, пропустившего в «Красной нови» «Впрок» Платонова, получивший достаточную оценку на страницах партийной печати;... отметить, что причины фактов подобного рода могут лежать только в ослаблении классово-партийной настроенности наших редакций» (*Шешуков С.* Неистовые ревнители. Из истории литературной борьбы 20-х годов. М., С. 246). В истории публикации повести «Впрок» вопрос редколлегии «Красной нови» весьма значим. До № 3 состав редколлегии был иной: критик И. Беспалов (ответственный редактор), критик Вл. Васильевский, прозаик Вс. Иванов, представитель агитпропа ЦК ВКП(б) С. Канатчиков. Именно номер с публикацией «Впрок» вышел как орган ФОСП с обновленной редакцией, в которую, кроме оставшегося в ней прозаика Вс. Иванова, вошли еще два прозаика: Л. Леонов (от ВССП) и А. Фадеев (от РАПП), а также некий А. Горохов (очевидно, из агитпропа ЦК). Кроме Вс. Иванова, в первой редколлегии были только рапповцы, причем, из левой группы «Литфронт», находящейся в оппозиции руководству РАПП. Одним из идеологов Литфронта являлся И. Беспалов. Не исключено, что именно кто-то из прежней редколлегии журнала, выступавших за боевую партийность пролетарской литературы, и положил № 3 с повестью Платонова на стол Сталина. 6 июня бывший член редколлегии журнала С. И. Канатчиков сообщал в письме к Сталину об обсуждении публикации «Впрок» на заседании Политбюро, а также некоторые подробности публикации повести Платонова в «Красной нови»: «Вызывая на это заседание меня и т. Васильевского, как бывших редакторов журнала «Красная новь», меня почему-то не нашли, хотя я находился в момент вызова вместе с тов. Васильевским. Во избежание всяких кривотолков считаю своим долгом заявить: я считал и считаю этот рассказ возмутительно издевательским, контрреволюционным. При обсуждении его я категорически протестовал против его напечатания. Ныне по редакциям журналов путешествует такой же возмутительный рассказ об ударничестве того же автора. Боюсь, что найдется «великодушный» редактор, который его напечатает» (Власть и художественная интеллигенция. С. 751). В статье секретаря РАПП и члена редколлегии «Литературной газеты» А. Селивановского «В чем «сомневается» Андрей Платонов» редколлегии «Красной нови» был посвящен последний абзац: «»Бедняцкой хроникой» открывается № 3 «Красной нови», на котором впервые поставлена марка органа Федерации советских писателей. Нет, Федерация не может иметь ничего общего с «душевным бедняком» типа сегодняшнего Платонова. Редакция «Красной нови» совершила грубейшую ошибку. Будем ждать ее исправления» (ЛГ. 1931. 10 июня. С. 3). Однако никаких оргрешений по редколлегии «Красной нови» не будет принято. Весь удар критики обрушится на Платонова, это было удобно еще и потому, что он не был членом РАПП.

Ситуация вокруг публикации «Впрок» широко обсуждалась в московских литературных кругах. 11 июля 1931 г. осведомитель ОГПУ сообщил о рассказе П. Васильева: «Потом сообщил, что СТАЛИН прислал письмо в «Красную Новь» из трех слов: «Дурак, идиот, мерзавец» — это относилось к ПЛАТОНОВУ. ВАСИЛЬЕВ сказал, что ПЛАТОНОВ может быть кем угодно, только не дураком. Такие дураки не бывают. <...> Потом он опять вернулся к ПЛАТОНОВУ, сказал, что ПЛАТОНОВ это предсказатель, что он гениален <...>» (Андрей Платонов в документах. С. 851). История с «Впрок» использовалась также как один из аргументов в литературной борьбе 1931 г., как внутри РАПП, так и между различными писательскими группировками. 4 июля 1931 г. В. Полонский (редактор «Нового мира») записывает в дневнике: «Вчера статья А. Фадеева о повести Платонова «Впрок». Повесть он и печатал в «Красной нови». Повесть оказалась контрреволюционной. Когда рукопись эта была у меня, я говорил Платонову: «Не печатайте. Эта вещь контрреволюционна. Не надо печатать». Фадееву нужен был материал для журнала — он хотел поднять «Красную новь» до уровня, на котором она была «при Воронском». Ну, — взял, может быть, рассчитывал на шум в печати — поднимет интерес к журналу. Но «Впрок» прочитал Сталин — и возмутился. Написал (передает Соловьев) на рукописи: «Надо примерно наказать редакторов журнала, чтобы им это дело пошло «впрок». На полях рукописи, по словам того же Соловьева, Сталин будто бы написал по адресу Платонова: «мерзавец», «негодяй», «гад» и т. п. Словом — скандал. В «Правде» была статья, буквально уничтожившая Платонова. А вчера сам Фадеев — еще резче, еще круче, буквально убийственная статья. Но, заклеив Платонова как кулацкого агента и т.п., — он ни звуком не обмолвился о том, что именно он, Фадеев, напечатал ее, уговорил Платонова напечатать. В статье он пишет: «Повесть рассчитана на коммунистов, которые пойдут на удочку...» и т.д. Кончает статью призывом к коммунистам, работающим в литературе, чтобы они «зорче смотрели за маневрами классового врага» и «давали ему своевременный и решительный большевистский отпор». Это все превосходно — но ни звука о себе, о том, что он-то и попался на удочку, он то и не оказался зорким и т. д. Это мерзительно, — хочется нажить даже на своем позоре» (*Полонский В.* «Моя борьба на литературном фронте». Дневник. Май 1920 — январь 1932 / публикация, подготовка текста и комментарии С. В. Шумихина // *Новый мир.* 2008. № 5. С. 140). При этом, являясь давним оппонентом РАППа и «Красной нови», после того как журнал был захвачен раповцами, тот же Полонский не преминул использовать идеологический промах журнала с публикацией «Впрок» в выступлении на дискуссии о творческом методе в сентябре 1931 г.: «Ему (журналу «Новый мир». — *Н. К.*) предъявлялись различные обвинения, он подвергался такой придирчивой <...> критике, как никакой журнал. И тем не менее «Новый мир» в последнее время дал ряд передовых произведений попутнической прозы. <...> Все это происходило в то время, когда другой журнал (речь идет о «Красной нови». — *Н. К.*) <...>

находившийся фактически в руках напостовцев, был на деле журналом, отражавшим правое реакционное крыло попутничества. Разве «Впрок» был напечатан в «Новом мире», а не в «Красной нови»?» (Новый мир. 1931. № 10. С. 149).

1. Повесть «Впрок» была написана весной 1930 г., в октябре 1930 г. обсуждалась на заседании рабочего редсовета ГИХЛ (см.: Первая редакция повести «Впрок» / Статья и публикация Н. Умрюхиной // Архив А.П.Платонова. Кн. 1. М., 2009. С. 81 – 82). В донесении в ОГПУ, датированном 10 декабря 1930 г., приводится следующая оценка Платоновым повести «Впрок»: «Платонов работает над этой рукописью с тем большей неохотой, что не придает ей большого значения. Он не считает ее и правильной, но говорит, что она имеет для него значение завершения определенного периода развития и начала нового. <...> Платонов рассказывал об изменении своей политической позиции. Он сам говорил о задачах, которые ставил перед собой как писателем раньше так: показать, как много сволочей населяют землю, сколько их и какие они в Советском Союзе, и как они вредят правительству социализма. Ошибкой своей он считает то, что говорил только о моментах отрицательных» («Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. Вып. 4. М., 2000. С. 851).

2. 4 июня пленум МАПП принимает специальную резолюцию по публикации «Впрок»; повесть аттестуется как «активизация враждебных элементов на литературном участке идеологического фронта» (На литературном посту. 1931. № 22. С. 2. Редакционная статья). Первый печатный отклик на публикацию «Впрок» датирован 10 июня. Автограф статьи А. Фадеева «Об одной кулацкой хронике» датируется 9 июня. Не исключено, что Платонов встречался с Фадеевым (об этом в 1970-е гг. говорила М. А. Платонова).

3. См. прим. 1. Платонов прекрасно осознавал политическую несвоевременность публикации повести, написанной весной 1930 г. Ее публикация весной 1931 г. совпала с новыми политическими процессами разоблачения последних «правых» (открытый процесс по делу «вредительской партии» меньшевиков и закрытый процесс по делу Крестьянской партии), а также широким обсуждением в газетах итогов «второй большевистской весны», разоблачениями «наглых вылазок классовых врагов» и кулацкого террора в деревне, а заодно с ними и представителей «кулацких чайний» (Есенина, Клюева, Клычкова) в советской литературе... Все это была артподготовка к принятию 12 июня 1931 г. постановлений пленума ЦК ВКП (б) 12 июня по колхозному строительству. На пленуме был заслушан доклад Средневожского крайкома партии (именно этот край Платонов посещал весной 1930 г.; материалы по ходу коллективизации этого района печатались в центральных газетах в марте-апреле 1931 г.) и доклад наркома земледелия Яковлева. Формулировки принятой пленумом резолюции представляют партийно-политический контекст, определивший реакцию Сталина на повесть «Впрок», последующую ее критику и в целом политический ста-

тис «Бедняцкой хроники» Платонова. В резолюции отмечалось, что в итоге весны 1931 г. колхозное движение одержало «решающие победы в большинстве районов и областей по основным отраслям сельского хозяйства» — на 80% завершена коллективизация в основных зерновых районах страны, что не позже весны 1932 г. коллективизация будет завершена по всей стране, и политический вывод: «Все это означает, что темпы коллективизации, намеченные решением Центрального комитета партии от 5 января 1930 г., решениями XVI съезда партии и VI съезда советов, уже *превыжены*» (Правда. 1931. 12 июня. С. 1).

4. Летом 1930 г. Платонов находился в командировке в совхозы Нижней и Средней Волги. Маршруты и материалы этой поездки сохранила записная книжка 1930 г. (см.: Платонов А. Записные книжки. Материалы к биографии. М., 2000. С. 46 — 57, 334 — 338).

5. По материалам поездки написаны очерки, посвященные коллективизации в районах Средневолжского края: «За большевистского счетовода в колхозе!» (опубл.: Платонов А. Записные книжки. С. 295 — 301) и «По заволжским МТС» (опубл.: Там же. С. 302 — 309).

6. В записной книжке 1930 г. нашла отражение кампания раскулачивания лета 1930 г., в которой лозунг осени 1929 г. «ликвидации кулака как класса» дополнился разоблачением «нового в тактике классового врага» — «загримированного кулака», «раскулаченного кулака», на которого теперь возлагается вся ответственность за срыв сплошной коллективизации и выход середняков и бедноты из колхозов: «*О кулаке*. Кулак сейчас скрывается в колхозе, — и выходит из него последним, стравив на выход других» (Указ. изд. С. 48); «% коллективизации 45%» (Там же. С. 51); «Кулак стал религиозником» (С. 52). Платонов делает запись и о двух крестьянских восстаниях 1930 г., вызванных перегибами в проведении коллективизации: «Восстания в 2-х селах. Это дало дрожь по всему району. Было это в марте. Сев. Население против МТС, против колхоза, против сов<етской> власти. Ходят толпами. Все враз вышли из колхоза. Осталась номинальная группа бедняков и комсомольцев. МТС не сдалась: она послала тракторные отряды под охраной в эти бушующие села. В трактористов начали бросать топоры. Одного поранили. Директора избивали. Трактора все же вспахали. Настроение изменилось» (Там же. С. 54).

7. 28 июня 1930 г. Платонов подписал договор с издательством «Молодая гвардия» на небольшую книгу (6 п. л.) с условным названием «Пятилетка в полях» (срок сдачи — 1 декабря 1930 г.), которую должны были составить колхозные очерки на тему «как техника вооружает бедноту и середняков для борьбы с кулачеством и подъема сельского хозяйства» (см. договор: РГАЛИ, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 15, л. 4). Судьба этого издания неизвестна. Летом 1930 г. Платонов начинает работать над повестью «Котлован», осенью пишет пьесу «Шарманка», зимой — производственные сценарии («Машинист», «Турбинщики»). О том, что радикальной мировоззренческой перестройки у Платонова не произошло, сви-

детельствует донесение в ОГПУ от 6 мая 1931 г.: «ЗЕЛИНСКИЙ сказал мне, что последние вечера он проводит с Андреем ПЛАТОНОВЫМ <...> ПЛАТОНОВ производит на него впечатление совершенно гениального человека. <...> ЗЕЛИНСКИЙ сказал, что ПЛАТОНОВ читал ему и АГАПОВУ пьесу, в высшей степени интересную, которая однако никогда не сможет быть напечатана и поставлена, ибо политическая ее установка по меньшей мере — памфлет. Вообще, сказал ЗЕЛИНСКИЙ, у ПЛАТОНОВА множество рукописей, которые никогда не смогут быть напечатаны. Замечу, что мне лично известны две таких рукописи: колхозные очерки, отвергнутые «Федерацией» и «Октябрём», и сценарий, отвергнутый ф<абри>кой Культурфильм...» («Страна философов». С. 850 — 851).

8. В копии: «работа»; очевидно, опечатка.

9. Речь идет о пьесе «Объявление о смерти» («Высокое напряжение»).

10. 9 июня Платонов направил в редакцию «Правды» и «Литературной газеты» письмо, в котором признавал свои ошибки и отрекался «от всей от всей своей прошлой литературно-художественной деятельности, выраженной как в напечатанных произведениях, так и в ненапечатанных» (письмо не было опубликовано; впервые: Русская литература. 1990. № 1. С. 230 (в составе статьи В. Перхина «Два письма Андрея Платонова»)).

Р. С. В то время, как в печати разворачивалась антиплатоновская кампания, Демьян Бедный переживал новое восхождение к вершинам литературного и политического успеха. В начале 1931 г. рапповские критики выбрасывают лозунг «одемянивания поэзии». 20 мая 1931 г. все центральные газеты отводят целые полосы под материалы, посвященные празднованию 20-летия активной работы первого пролетарского поэта. На первой страницы «Правды» 20 мая печатается стихотворение Бедного «Вытянем!!», посвященное магнитогорским строителям. Эпиграфом к нему взяты строки из приветствия Сталина, опубликованного в той же «Правде» 19 мая (!).

Не прошло и полгода после партийного постановления о фельетонах Бедного, но о них уже никто не вспоминал. Критики соревновались в красочных метафорах: «Художник-партиец»; «Выдающийся мастер художественного слова и выдающийся культурный работник»; «Боевому краснознаменцу и культурмейцу»; «Ударник большевистской литературы»; «Двадцать лет на боевом посту» (За коммунистическое просвещение. 1931. 20 мая. С. 2). Демьян выступает на пленуме Всероссийского объединения ассоциаций пролетарских писателей (ВОАПП) с программной политической речью о пролетаризации всех смежных с литературой областей искусства (т. е. «одемяниванием» не только поэзии, но всего и вся): «... ряды пролетарских писателей множатся. <...> Разбиты контрреволюционные, буржуазные группировки и «едино-

личники», обезврежены их мелкобуржуазные подголоски «справа» и «слева», упорно вычищается, по меткому выражению Ф. Кона, «щетками классового сознания» весь хлам, проникший в те или иные поры ВОАППовского организма, куется единство пролетарских литературных колонн» (За генеральную линию партии (На пленуме ВОАПП) // Там же. 28 мая. С. 4). Почти все газеты известили читателя о выходе 17 томов Собрания сочинений и о завершении подготовки еще трех томов... В колоннах пролетарской литературы Платонову не было место. Власть и литературная общественность никогда не простят ему «Бедняцкой хроники».

VI

ВОСПОМИНАНИЯ

Марина Литвинова

ВОСПОМИНАНИЯ*

Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Сергей Есенин

«Произведения всех авторов автобиографичны, автобиографичны в том смысле, что все, чем их произведения наполнены, — события, детали, пейзажи, вечера, сумерки, рассветы и т. д. — когда-то происходило в жизни самого автора. Не в той последовательности, в какой описано в рассказе или в романе, но автор это должен был пережить сам».
Юрий Казаков.

«Материалы для жизни художника огни: его произведения. Будь он музыкант, стихотворец, живописец — в них найдете его дух, его характер, его физиономию, в них найдете даже те происшествия, которые ускользнули от метрического пера историков...»
В. Ф. Одоевский.

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Самое недостоверное — исповедь человека. Достоверно только «непрямое высказывание», где не может быть ни умолчаний по стыдливости, ни рисовки «поднимай выше». И самое достоверное в таком высказывании то, что неосознанно, что напархивает из ничего, без основания и беспричинно, а это то самое, что определяется словом «сочиняет», — писал Алексей Ремизов в книге о Гоголе «Огонь вещей» (глава «Хвостики»). Скажу другими словами: исповедь, воспоминания — недостоверны, зато в романах, рассказах — «непрямых высказываниях» — всегда найдутся отзвуки событий из жизни автора, о которых он никогда не решился бы упомянуть в автобиографии или мемуарах. На-

* Журнальный вариант. Книга выйдет в издательстве АСТ.

писанное мной — не исповедь, а воспоминания. Но и воспоминания не достоверны. И в них есть «умолчания по стыдливости», от этого не уйти, но поползновений на рисовку у меня нет. Когда-то мне хотелось написать роман, в основу которого легли бы пять лет жизни и странствий с Юрием Павловичем Казаковым (июнь 1960 — июнь 1965). Но эту мысль я отвергла. Мне хочется до конца осознать те далекие годы, они были важны и в моей и в его жизни.

Юрий Казаков написал тогда несколько лучших своих вещей: «Осень в дубовых лесах» о нашей жизни под Тарусой летом 1960 года (об этом он несколько раз упоминал в своих письмах — в 1964 году в письме из Алма-Аты, и в письме 13 июня 1970 года из Киева), «Двое в декабре», «Нестор и Кир», часть «Северного дневника». Были еще написаны «Зависть», «Адам и Ева», «Проклятый Север», «Плачу и рыдаю», детские рассказы и многое другое. Можно сказать, это был самый плодотворный период во всей его творческой жизни. За следующие семнадцать лет написаны восемь рассказов, так он называл и свои рассказы, и очерки. Среди них два потрясающих, посвященных сыну Алёше — «Свечечка» (1973) и «Во сне ты горько плакал» (1977), большой очерк о Тыко Вылке. Еще несколько прекрасных очерков-рассказов для «Северного дневника», включая «Мужество писателя», написанных во вторую половину шестидесятых годов. И удивительный, поздний рассказ-аллегория «Розовые туфли». Последние десять лет он многое начинал и бросал.

Мои достижения за те пять лет были иного свойства. Перевела два романа, несколько рассказов, сочинила поддюжины собственных рассказов. Конечно, копился опыт словесного творчества. Но, главное, — из пустоголового романтика превратилась в романтика думающего. Спустилась с небес на землю, к счастью, не потеряв связи с небом.

Через год после нашего разрыва и у меня начался новый этап, который длится и по сию пору. Я вышла замуж за физика младше меня на четырнадцать лет, вернулась преподавать в мой институт, родила дочь. Много ездила, добралась даже до Гавайских островов. Занялась изучением Шекспировского вопроса, жизнью Фрэнсиса Бэкона и графа Ратленда, что Юрой было категорически запрещено. «Или я или Шекспир» — сказал он ранней весной 1963 года. Перевела несколько хороших книг и написала свою — «Оправдание Шекспира», которая писалась двадцать лет и вышла в 2008 г.

Есть и ещё одна причина, почему пишутся эти воспоминания. Пять лет наших с Юрой странствий были для него переходным периодом. От бедной, в какой-то мере скитальческой жизни к обеспеченной, материально и семейно устроенной. Большие деньги принес роман Абдижа-

мила Нурпеисова «Кровь и пот», первую часть которого Юра переводил, когда мы жили зиму 1964-1965 года в Алма-Ате, сначала в доме отдыха ЦК компартии Казахстана, а потом в санатории Совета Министров, на берегу горной речки Алматинки, немного ниже известного высокогорного катка Медео. Я туда прилетела накануне Нового года, спустя какое-то время приехала мать Юры Устинья Андреевна. И мы уже втроем прожили там январь и февраль. А через три с половиной месяца мы с Юрой расстались. После чего довольно скоро у него началась совсем другая, стабильная, семейная, жизнь.

Он женился, купил дом в Абрамцево, родился сынок Алёша. Вся его дальнейшая судьба хорошо просматривается, где бывал, с кем ездил, есть документы, есть описания его дома, там бывали писатель Домбровский с женой Кларой и другие известные люди, о своих поездках за границу он писал сам. А пять предшествующих, самых плодотворных, лет — темное пятно. Это и были те пять лет, когда мы с Юрой странствовали по России. И, наверное, только я одна знаю, как Юра жил и писал в самые творческие по насыщенности годы.

Литературный критик Игорь Сергеевич Кузьмичев пишет в книге «Юрий Казаков: набросок портрета»: «Когда Казаков обрел долгожданный свой приют в Абрамцево, шестидесятые годы шли к закату, — а именно они, эти годы, в особенности первая их половина, стали периодом расцвета и блистательного самоосуществления казаковского таланта. За короткое время, всего за пять-семь лет, Казаков написал большинство своих известных рассказов, и его имя приобрело такую притягательную силу в литературных кругах, что позже критикам казалось, будто и все-то его творчество — лишь один порыв, одно мгновенное и мощное усилие, не получившее затем обещанного завершения». (Л.: Сов. писатель, 1986, с. 118)

В. Турбин, например, после смерти Казакова утверждал: «Казаков был человеком первого шага, дебюта... Творчество Казакова — дебют, длившийся несколько лет. Он перестал писать? Замолчал? Смею думать: он замолчал потому, что весь он выложился в дебюте, в шестидесятых годах — годах отличных литературных и социальных дебютов, начал, начинаний, которые не всегда, далеко не всегда находили столь же яркое продолжение». (Послесловие к посмертному изданию рассказов «Юрий Казаков. Рассказы», изд. «Известия», Москва, 1983 г., с. 474).

Вот так судят маститые литературоведы о творческом пути писателя: весь выложился в дебюте в те годы, когда в стране полно всяких дебютов, начинаний, и они не всегда получали яркое продолжение. Это или от нежелания, или от непонимания того, что жизнь писателя, как говорил Герцен, — самая лучшая иллюстрация к его произведениям. Вникните в еже-

дневное, ежечасное бытие автора, во всей его переплетениях, только это может объяснить всю уникальность развития его творческой судьбы.

В интервью журналу «Вопросы литературы» (1979. № 2) Юра сказал: «Люблю свой дом в Абрамцеве, но и жалею, жалею, что купил когда-то, очень держит дом — ремонты всякие, — не стало прежней легкости, когда за полдня собрался и был таков! Хочу на Валдай! Хочу опять стать бродягой, думаю все время, как я когда-то одиноко ездил, никому не известный, никем не любимый... Чем не жизнь? Хочу ехать на пароходе. Можно бродить ночью по палубе. Говорить с вахтенными матросами, слушать машину. Можно проснуться на рассвете от тишины, — потому что стоишь возле пристани у какой-нибудь деревеньки, — и жадно увидеть и увести с собой какую-то милую подробность. Чтобы потом вспомнить». («Две ночи», М., «Современник», 1985 г., с. 329-330). Но он никогда одиноко не ездил. А если окажется один, шлет телеграмму — немедленно приезжай. Вот его письмо из Киева 13 июня 1970 года, канун моего дня рождения:

«Ну вот, милая здравствуй. Приближается и ударяет твой день рождения. Я бы и не стал об этом говорить, ибо, как я понимаю, ты меня забыла прочно, но в одном твоём письме была приписка «пиши» — вот я пишу.

Итак, десять лет! Господи, как подумаешь, какой срок! Сколько людей перемерло, родилось и стало уж школьниками с того дня — помнишь? — с того жаркого душного дня в самом начале июня, когда все у нас пошло поехало. А какой был день! Какой, в общем-то горький день — умер затравленный Б.Л.[Пастернак], и мы, как-то стыдясь, съехались в Переделкино, как ты вызвалась провожать, как я выпил пива и мне совсем стало нехорошо, как я почувствовал, что в такой день не вмоготу мне оставаться одному, как мы схватили такси, купили бутылку коньяку и помчались в Голицыно и гроза прошла, принесся облегчение — помнишь?

Всё-таки, как я теперь думаю, не зря свела нас судьба, много было хорошего всё-таки у нас. Плохое — оно мелкое, и это плохое, так сказать, принадлежит всем, случается у всех — ну разозлился, ну поклялся не встречаться и т.д., а хорошее, которого было много, было только у нас, только у тебя и у меня, только у нас с тобой! Ну скажи на милость, с кем бы ты, к кому бы помчалась в Таллин, в Крым, в Кемь, в Мурманск, в Печоры, в Алма-Ату?

Какая география! И еще есть Вилково и Таруса. А еще если пойти вглубь, есть Романовка, наша палатка на берегу Таруски, костерок, дымок... А?

И вот уже десять лет прошло и твой маленький сынок уже студент! Боже мой!

И ведь есть же Марфино, ведь я день за днем могу восстановить нашу тогдашнюю жизнь, ежеутренние наши походы за водой к роднику, первое в моей жизни отдельное житье. Помнишь этот внутренний дворик, где я рубил хворост, а в один прекрасный день зарубил курицу? Помнишь ли ты совершенно волшебные ощущения лёгкости, счастья, обособленности от всего остального мира, помнишь ли ты то счастье, которое охватывало тебя, когда ты шла за водкой в Трубецкое? Счастье не оттого, что шла за водкой, а оттого, что с дороги видны были потрясающие дали, осенние холмы с зелеными озимыми и оранжевыми лесами. Помнишь наши разговоры о Ганди? Неужто ты все это забыла? Почему же ты так уж гордо заявляешь мне, что не хочешь уподобляться нагибинским женам — да разве я тебе это предлагал? Разве я, говоря о том, что нагибинские жены встречаются, предлагал тебе встретиться с моей теперешней женой? Нет же!

А просто я думал, почему бы нам с тобой не повидаться? Ну почему? У тебя ребёнок и у меня, ты замужем, я женат. Что ж дурного, если мы повидались бы? Я же не зову, например, тебя приехать в Киев, как в былые времена. Но хоть раз в год нам с тобой было бы хорошо встретиться.

Я тут сижу, пишу сценарий по «Гол. и зеленому» для киностудии Доженко. Из окна моего номера видны Владимирский собор и Киево-Печерская лавра. Странно глядеть на них и думать, что все, что было христианского у нас на Руси — было после Киева.

Знаешь, во мне есть одно хорошее качество, может быть всё остальное плохое, но одно-то хорошее есть: я не забываю счастливых дней и мест, где счастье меня посетило. И этой весной отправился я в Поленово глядеть на небывалый, великий разлив реки. Не скрою, была у меня мысль позвонить тебе, пригласить разделить эту радость, но потом я решил, что ты наверняка откажешься, и поехал с мамой. Ещё поехал с нами Ю.Б. Горбатов — он тебя помнит, он был частым гостем Мих Мих. (мы оба были на похоронах М.М.). Так вот, чтобы не томить тебя, сразу скажу: вода в Тарусе поднялась так высоко, что плавали на лодках по площади, причаливали к торговым рядам и к госбанку, ну и к гостинце! Знаешь, в Тарусе наверное плохо жить — разные бытовые неудобства и проч. — но приехать туда на два-три дня — наслаждение!

Стоит взойти только на Воскресенскую горку и глянуть направо и налево, чтобы душа твоя воспарила. И я поеду в конце июня туда, доберусь, между прочим, и до места, где мы с тобой жили не тужили — на берегу Таруски — не в Романовке, а выше, возле Ям-Крестов. Помнишь там ездила раз в день на телеге с молоком одна прекрасная фея и наливала нам молоко бесплатно? Последний раз я был там с Васей Росляко-

вым (крестным моего Алёшки) в 67 году и опять было безмолвно, и опять раз в день глухо стучала ее телега по корням и мы бежали встречать её, пили молоко и с полным битончиком шли к себе. А костёр наш горел точно на том месте, где горел он в 61 году и позднее, и палатка стояла на том же месте, и так же свечками стояли лесные фиалки, а по ночам мерцали светляки. И я иногда поплакивал от избытка чувств.

А ты знаешь, что по «Осени» делают постановку на телевидении? Ведь это наша осень. Ведь это я тебя встречал десять лет назад, и зажигал фонарь и дрожал от предстоящего счастья.

Чувствую, что если продолжать письмо, то можно писать все дни, отведенные мне на сценарий, а поэтому закругляюсь, но м.б. ещё напишу отсюда [не написал]. Кланяйся твоим маме и папе. Напиши мне в Абрамцево [не написала]. Ире и Мише привет. А я тебя люблю и да хранит тебя господь!

Киев 13 июня 1970».

[Офография и пунктуация Ю.Казакова]

Перечитываю это письмо через сорок лет — 4 сентября, 2010 год, — и щемит сердце. Как могли мы не сберечь такую прекрасную жизнь? Не ценили ее, что ли? Перечитала еще раз, через год, темным, теплым августовским вечером 2011 года. И обратила внимание на строчку, которая как-то ускользала от моего внимания: «Ну скажи на милость, с кем бы ты, к кому бы помчалась в Таллин, в Крым, в Кемь, в Мурманск, в Печоры, в Алма-Ату?» и сравниваю со словами «Люблю свой дом в Абрамцеве, но и жалею, жалею, что купил когда-то, очень держит дом — ремонты всякие, — не стало прежней легкости, когда за полдня собрался и был таков! Хочу на Валдай! Хочу опять стать бродягой...». Такими бродягами мы были четыре с половиной года, до жизни в Алма-Ате.

И вот передо мной последнее письмо, Виктору Конецкому, взятое из книги И.С. Кузьмичева, биографа Ю.П. Казакова.

«Дорогой Виктор! Лежу я себе на койке в госпитале, думаю невеселую думу, — и вдруг прекрасная девица вкатывает в палату столик на колесиках, столик с книгами и журналами. Предлагает то и это. И вдруг говорит: вы писателя Конецкого знаете? вот возьмите новую его повесть в журнале «Звезда»...

Ну, я взял.

А лежу я, брат, товарищ и друг, в центральном военном госпитале по поводу диабета и отнимания ног. За окном то туман, то дождик, то снег выпадет, то растает — чудесно! Я себя за последние лет шесть так воспитал, что мне всякая погода и всякое время года хороши, одеться только нужно соответственно. Конечно, ноябрь проклянешь, — выгони тебя на улицу босого и без штанов, а если потеплее одеться, то счастье и счастье.

Вот только этим я теперь и утешаюсь, сидя возле батареи в кресле и глядя на туман и снег. А вообще-то настроение — хуже некуда. Диабет ведь пожизненная болезнь, а тут еще ноги болят и дергаются в судорогах и немеют, и в весе теряешь и проч. прелести. Лечат меня тут всяко, аппаратура самая лучшая, заграничная, да толку пока мало, единственно, что больницу совсем не напоминает, а похоже на санаторий, только что в палате не кюрю, выхожу вон.

Жалко мне бесконечно тебя, да и себя, что не приехал ты ко мне на дачу! Славно бы поработали, очень для этого все было готово: и природа, и тишина в доме, отключенность ото всего...»

И дальше Казаков продолжал: «Надо, надо нам с тобой встретиться, поговорить надо, жизнь такая настает, что, во-первых, уже не в молодом задоре, как когда-то, а всерьез можем мы друг друга называть старыми хренами, того и гляди помрем, ну а, во-вторых, время нынче очень уж серьезное и надо бы нам всем, хоть напоследок, нравственно обняться... Хочется мне после больницы, если выберусь я отсюда подобру-поздорову, махнуть на срок-другой в Переделкино и тихо заняться литературой...»

«Пульс у меня в последнее время 120, давление 180/110, — делаю приписку Казаков, — сегодня утром чуть сознание не потерял, говорят, спазм в мозгах, за грудиной боль схватывает раза 2 в день... Так что, на всякий случай, прощай, друг мой, не поминай лихом. Твой Ю. К.»

Спустя семь дней Казакова не стало. Ранним утром 29 ноября он скончался в госпитале от кровоизлияния в мозг.

Письмо Конецкого, спешно посланное ему в ответ, — письмо со словами: «Прекрасно и, как всегда у тебя, просто написал ты, что настает время, чтобы нам всем нравственно обняться», — вернулось обратно в Ленинград, не доставленное адресату.

«Тихо заняться литературой...» «Надо бы нам всем нравственно обняться...»

Об этом он думал перед смертью, в те последние дни, когда изнемог от терзания сердца своего поистине чрезмерно...

Смерть Казакова отозвалась скорбью, недоуменной досадой на судьбу, мало что добавив к разгадке его жизненной трагедии.

Даже для тех, кто был рядом, она оказалась неожиданной». (Кузмичев, с. 135).

Сравниваю два письма. Загадка его жизненной трагедии. Не знаю, есть ли моя вина в том, что не получилось восстановить наших отношений после ссоры в Звенигороде в начале июня 1965 года. Хотя я пыталась. Осенью того же года Юра позвонил — есть разговор. Заехал за

мной. И в Сокольниках, в просторном, пустом и холодном кафе — летний сезон давно кончился — сказал мне, что хочет жениться и перед ним выбор, который он должен сделать. Я говорю: «Юра, я согласна быть вместе, только с одним условием, надо лечиться от пьянства». На что Юра, усмехнувшись, ответил: «Вот ты как заговорила». На этом разговор кончился. У меня уже не было той ликующей, всё прощающей любви, а было чувство долга, ответственности. Я бы вернулась, но при одном условии — Юра должен перестать пить. Это была последняя наша встреча. Больше Юра не звонил, думаю, почувствовал, что той, прежней, любви во мне больше нет.

После нашей встречи в Сокольниках он скоро женился. Судя по письму правнука Толстого, которое Юра получил в Алма-Ате (Юра давал мне читать все его письма, я давала ему свои), его жена Тамара тоже очень, очень любила его. И была счастлива принять его таким, какой он есть на тот час его жизни. И, думаю, ее семейная жизнь была еще труднее моей.

В 60-м году Юра уже пил, но не так безобразно. Когда я поняла, наверное, в 1963 году, что это алкоголизм (отец Юры был запойный пьяница), я пошла к главному психиатру Москвы (когда-то давала ему уроки английского языка), и он мне сказал: если есть хоть малейшее подозрение, что муж пьет, бейте во все колокола. И я поехала к Устинье Андреевне, его матери, надеясь найти поддержку. Она очень расстроилась, но ничего вразумительного не сказала. Юра тогда где-то путешествовал. Вернулся сначала на Арбат, потом ко мне, на Черняховского. И очень был сердит. «Ну, и чего ты добилась! Мать почти ослепла. Говорит, вот ты твердишь, она тебя любит, а она считает тебя алкоголиком. Мать и без того тебя еле выносит». Так и завершилась моя попытка побороть Юрино пристрастие к спиртному. И только в Алма-Ате Устинья Андреевна поняла, что дело плохо, и даже вынимала у него из кармана деньги. Когда мы с ней встретились после его смерти, я не удержалась и напомнила ей тот давний разговор, сказала, что надо было тогда безотлагательно Юру лечить. А она мне горестно ответила: «Знаешь, как трудно поверить матери, что сын пьет».

Сейчас Юрий Павлович становится мифом. И, как всегда, это уже не живой человек из плоти и крови, а некий мифический образ, таинственный, одинокий, безмерно талантливый и безмерно несчастный, который есть и будет материалом для написания работ о нем, для поклонения, создания легенд. Он, конечно, заслуживает восхвалений. Это был человек, наделенный боговдохновенным даром, унаследованным от предков. Но божьим ли промыслом, или по воле случая полный мощных соков побег вылез из коры не на том дереве, и не в ту эпоху.

Цель моих воспоминаний — показать в житейских подробностях, как жил и работал Юрий Казаков в те пять лет. Они, возможно, прольют свет на эту, еще одну трагическую судьбу писателя. Любовная драма и жизненная трагедия — вот содержание моих воспоминаний. Попытаюсь осознать, почему, по каким объективным и субъективным причинам Юрий Павлович Казаков, наделенный, по моему мнению, гениальным живописным писательским даром, фактически перестал писать рассказы к концу шестидесятых годов. (Только рождение сына всколыхнуло в нем великий творческий порыв, и он оставил нам еще два великолепных рассказа. Всего два за семнадцать лет, рассказ «Долгие крики» был задуман и начал писаться еще в первую половину шестидесятых. И где-то уже в самом конце аллегория — «Розовые туфли»). Любые мысли, эпизоды, островки природы, пейзаж, были и небылицы, словом все, что отпечатывалось в памяти и воображении, без натуги стекало с его пера в совершенной словесной форме. Были у него любимые эпитеты («нежный», «тугой»), любимые синтаксические конструкции (повторы). Но были еще и любимые мыслительные приемы. Описывая какое-то место точно и живописно, он любил перенестись от него за тысячи километров, погадать, что делают там люди — близкие и совсем далекие, заглянуть в седую старину, красочно поведав трогающую душу, достоверную историю. Или даже в лучезарное будущее — «Калевала» (1962 г.):

«Назад мы идем пешком по каменистой гряде. И когда поднимаемся, когда начинает овевать нас теплый, нежный ветер, когда кругом видна, кажется, вся страна с синими озерами, с нагромождениями камней и маленькими редкими деревеньками, — я думаю: придет время, и ничего этого не будет, не станет дикости, пустынности, на берегах озер возникнут стеклянные дома — тут ведь особенно любят свет! — и побегут шелковистые розовые и желтые и голубые дороги, и среди лесов будут краснеть острые черепичные крыши ферм, отелей и городов — тогда забудется многое, забудется бедность и приниженность избышек, бездорожье, одно не забудется — не забудется Калевала, выпеваемая старыми голосами и великий дух Вяйнемейнена, осеняющий эту прекрасную страну, и имена сказителей, несших этот дух сквозь столетия». («Северный Дневник», с. 180-181). Это было написано весной 1962 года, вскоре после «Осени в дубовых лесах» и «Двое в декабре», когда Юра не был одинок, и мироощущение у него было светлое. Даже можно сказать оптимистичное, хотя это слово ко всему его творчеству мало подходит.

И еще не могу не сказать: русский язык Юрин не только красив, сочен, богат, — он везде русский, никаких влияний иностранного синтак-

сиса, никаких иностранных калек. В том числе и поэтому уже к началу шестидесятых годов проза Казакова считалась выдающимся явлением в русской художественной литературе.

В статье «Бесспорные и спорные мысли», опубликованной в «Литературной газете» в мае 1959 года накануне писательского съезда, Паустовский писал: «Особенно глубока, прозрачна и берет за сердце правдой и силой эта народная струя в рассказах Казакова и Никитина... Достаточно прочесть хотя бы два рассказа Казакова «Никишкины тайны» и «Арктур — гончий пес» и рассказ Сергея Никитина «Вкус желтой воды», чтобы прикоснуться к заветным источникам народной жизни и поэзии. Воздух огромной и любимой страны, дыхание изумительной нашей Родины струится из этих рассказов».

Тогда же прозу Казакова высоко оценили такие не похожие друг на друга именитые литераторы, как В. Шкловский, Ф. Панферов, И. Эренбург, М. Светлов. Ф. Панферову в августе 1959 года Казаков писал: «Вы по-настоящему помогли мне в самую мою злую, трудную минуту — и это не забудется. Мне особенно радостно, что рассказ [«Отщепенец»] все хвалят, меня поздравляют, и выходит, что я уже как-то отблагодарил Вас как редактора. Мне было бы хуже, если бы рассказа не заметили. И мне очень хочется принести Вам еще что-нибудь настоящее, хорошее, чтобы Вам понравилось, чтобы еще и еще оправдать Ваше доброе внимание ко мне...» (Цитирую по книге И. Кузьмичева.)

Американский философ Сантаяна писал, что современные европейские языки не обладают синтаксическими возможностями, как было с языками в античности, позволяющими писать поэтическую прозу, и посему писатели сейчас наполняют ее психологией. Это замечание точно относится к современной американской литературе. А вот проза Казакова поистине поэтична. Замошкин, как рассказывал Юра, самой большой помехой для него считал то, что ему слишком легко пишется. Он не испытывал сопротивления материала. Действительно, Юра садился за машинку (печатал он тогда двумя пальцами, указательными) и печатал безо всяких помарок. Отведет руки от клавиатуры, заведет глаза кверху, немного подумает и пишет дальше. И сразу начисто, никаких потуг писать красиво, точные по смыслу и благозвучию слова сами изливаются на бумагу. «Нет мук сильнее муки слова» — Юра этой муки в начале шестидесятых не знал. Я помню, как в Марфино, где он работал над «Северным дневником», ему в голову вдруг вступил сюжет детского рассказа «Красная птица». И он написал его за один день, не чувствуя сопротивления языка. У него было врожденное чувство прозаического ритма и абсолютного благозвучия, чувство словесной и структурной соразмерности. Такой был талант к словесному сочинительству.

Дело, наверное, все-таки не в «синтаксических возможностях языка», а в поэтических возможностях автора. Правда, язык тоже имеет какое-то значение, если говорить о современной американской литературе. У американской нации нет единого национального языка, уходящего корнями в прошлое, хранящего исторические — народные и литературные — лингвистические богатства, с помощью которых только и можно писать поэтическую прозу. Примеры такого языка — английский, французский, словом, все языки, на которых говорит не изготовленная в плавильном котле нация, а народ, объединенный не только территорией, а общей историей, языком, культурой (музыка, литература, живопись). У классика современной американской литературы, прекрасного романиста Джона Ирвинга в его психологических и гротескных романах нигде нет поэтического описания природы. И тут, наверное, дело в какой-то степени и в языке. Почему иностранцам так трудно ощутить красоту произведения, написанного на чужом языке? Мэри Хобсон, переводчица на английский язык Пушкина и Грибоедова, рассказывала мне, что один из ее знакомых, наслушавшись похвал Пушкину и выучив русский язык, почитал его стихотворения и не нашел в них ничего прекрасного. Ощутить красоту стиха, прозы может только лингвист, да и то, только тот, кто имеет специальную подготовку, для кого иностранный язык предстает во всей своей исторической полноте. А между тем, когда Пушкина читает русский, слышащий с рождения родной язык, выросший в среде, где говорят на богатом и чистом народном наречии, начитанный в русской классической и фольклорной литературе, то у него от красоты пушкинских строк захватывает дух. Американский вариант английского языка в устах американца, имеющего французский, голландские, немецкие, латиноамериканские корни, не может быть инструментом для создания истинно поэтического произведения, которое рождается, как рождаются песни певчих птиц. Язык должен быть родным до сего поколения.

Возможно, в Юре проявился ген поэтической прозы, дремавший в его генетическом древе. «Позже, когда стал он признанным прозаиком, его художественная культура воспринималась порой как врожденная, наследственная, делались даже попытки объяснить ее «секретами» далекой казаковской родословной, — и в этом слышалось уже что-то от легенды», — пишет Кузьмичев в его литературной биографии (с.7). Мне Устинья Андреевна рассказывала о семейной легенде. Я ее помню, вот вкратце ее суть.

Предки Устиньи Андреевны были крепостные крестьяне князей Мещерских. Деревня была на Смоленщине. Миловидную крестьянскую девушку взяли в барский дом в качестве горничной. В доме был

молодой князь, обрюхатил ее. И девицу выдали замуж за бедного помещика-однодворца. Устинья Андреевна была не то ее внучка, не то правнучка. Я слышала это из ее уст. А в роду князей Мещерских был ген литературной одаренности, один из князей по материнской линии был внуком Н.М. Карамзина. Среди князей были писатели — драматурги и романисты, поэтические переводчики. Хорошо было бы сравнить их портреты с Юриными фотографиями. Но и до сравнения можно сказать, что черты его лица, форма головы, маленький размер ноги при довольно высоком росте изобличали в нем породу. В его внешности ничего не было от простолюдина, он не был похож ни на мать, ни на отца.

Юра оттачивал природное дарование чтением русской классики — поэзии и прозы. Помню, мы прилетели в деревню Пялица на Терском берегу Белого моря. И сразу отправились в библиотеку. Большая пустая комната, на полу длинные книжные полки в три яруса, на них толстые журналы и русская современная и классическая литература. Мы взяли, оставив в залог три рубля, «Анну Каренину». Делать в деревне нечего (мы ждали самолета), и Юра стал читать мне этот роман, чуть-чуть заикаясь. Он был очень внимателен к слову, точному его значению. Любил Бунина, Чехова, Паустовского.

Но к ученым сочинениям его не тянуло, работа ума не прельщала. Почитайте Юрины статьи — в них глубокие мысли в прекрасной словесной оболочке. Но если вчитаться, то новых, неожиданных поворотов мысли нет нигде. Есть только блестящее изложение превосходных идей и чувств, высоко благородных, общечеловеческих, которые и прежде неоднократно высказывались, но никогда так красиво и чувствительно. Возьмите любой абзац из статьи «О мужестве писателя»: «Когда писатель сел за чистый белый лист бумаги, против него сразу ополчается так много, так невыносимо много, так все зовет его, напоминает ему о себе, а он должен жить в какой-то своей выдуманной жизни. Какие-то люди, которых никто никогда не видел, но они все равно как будто живы, и он должен думать о них, как о своих близких. И он сидит, смотрит куда-нибудь за окно или на стену, ничего не видит, а видит только бесконечный ряд дней и страниц позади и впереди, свои неудачи и отступления — те, которые были и будут, — и ему плохо и горько. А помочь ему никто не может, потому что он один» (Юрий Казаков, «Северный дневник», М., 1973, «Советская Россия», с. 199). Мне хочется чуть не всю статью переписать здесь, чтобы показать, как точно, изящно, проникновенно описывает он труд писателя, вызывая понимание, участие и восхищение.

Перечитываю свой текст через год, вношу стилистическую правку и наталкиваюсь на это утверждение. Оно не точно. В Юриных писаниях

звучит и собственная мысль, так, в дневнике 1955 года (6 апреля) читает: «Ненавижу, когда говорят: «Не люблю Толстого. Не люблю Гоголя. Не люблю Горького»... Можно не любить колбасу, редьку, постное масло, но гениями надо гордиться. Даже не любить их надо, а ощущать всегда в душе. Они теперь входят для нас в понятие родины» (Юрий Казаков, Избранное, ИТРК, М., 2004, с. 735). Пожалуй, точнее сказать, что, когда Юра задумывался о людях искусства, их труде, отношению к миру, этическим понятиям, его мысль всегда работала самостоятельно, и, разумеется, всё им высказанное всегда звучало в унисон с общечеловеческими ценностями. Но и то верно, что всё, относящееся к душе человека, было хоть кем-то когда-то высказано. Повторение здесь неизбежно.

Еще одна черта писательского мастерства Казакова — герои его писаний трогают сердце, как живые люди, от его строк всегда веет живой дух. Читаешь рассказ, и такое чувство, что ты сам чуть не вчера общался с его героем. Он, конечно, умел вызвать участие читателя к своим персонажам и в очерках и в рассказах.

И еще у Юры было врожденное чувство русского слова. Вот как он сам об этом сказал — с мистическим пониманием: «Это еще раз доказывает [выше Юра называет свой рассказ «Звон брегета» «деланным» — его герои говорят «напряженно и слишком изысканно»], что к речи надо иметь вкус, слово чутьем находить. И беда, когда писатель не видит спрятанный свет слова, не чувствует его заглушенный запах, когда в ладонях слово не отогревается, не начинает дышать и жить. Тогда дело совершенно безнадежно. Значит, это в тебе самом нет того изначального, единственного и настоящего слова». («Единственное родное слово». Беседа с корреспондентом «Литературной газеты», 1979, 21, XI. Цитирую по книге «Две ночи», Юрий Казаков, Москва, 1983, «Современник», с. 313.) Это было сказано ровно за три года до его смерти. У Юры это чутье было, как ни у кого. Д.В. Псурцев, поэт и переводчик, доктор филологических наук, настаивавший на том, чтобы я написала о Юре, как-то сказал мне, что Виктор Шкловский, преподававший несколько лет в Литературном институте, где-то написал, что за годы преподавания у него был среди студентов только один истинный писатель, и это — Юрий Казаков.

Обладая таким поэтическим даром, можно писать о любом пустяке и дарить читателю эстетическое наслаждение. Но это короткие штанишки, из которых писатель обязан вырасти. И Юра это чувствовал, когда писал очаровательные вещицы, например, «Оленьи рога». Прелестно, но достаточно об этом одного такого рассказа. Чтобы писать и писать дальше, должны раздвигаться умственные, психологические, исторические горизонты. Для этого у Юры было всё, но почему-то не

суждено ему было взглянуть в самые затаенные уголки человеческой души, в подспудные силы, бродящие в обществе и двигающие историю. А если бы это случилось, какая великолепная проза была бы подарена русскому и мировому читателю! В. Турбин говорит, что Юра «был человеком первого шага, дебюта». Так почему же не было дальнейших шагов? Точнее сказать, за последние пятнадцать лет жизни талант его выплеснулся всего дважды, зато как никогда сильно. Это, как я уже говорила, два рассказа о маленьком сыне Алеше «Свечечка» и «Во сне ты горько плакал». Рождение сына, великое новшество в его жизни, всколыхнуло врожденную силу таланта, и появились, пожалуй, самые лучшие рассказы отца о сыне в русской литературе XX века. И, конечно, еще один всплеск — «Розовые туфли», но о нем позже.

Оставленное им наследие невелико, но так полнокровно, так дышит жизнью всего живого под солнцем. Пусть написано мало — мал золотник, да дорог. Что же прекратило дальнейшее развитие творчества? Легкость писания не выработала привычки приклеиваться к стулу на многие часы на протяжении месяцев, лет. Он писал в упомянутой статье «О мужестве писателя»: «настоящий писатель работает по десять часов в день». Но сам он десять часов подряд никогда не сидел за машинкой. А, закончив рассказ или длинный очерк, стремился вырваться из дома — на лыжах, на байдарке, или совсем из города — в Вилково, на Валдаи, куда угодно. Путешествия давали материал для его чувственного, живописного творчества. Мой учитель, замечательный переводчик художественной литературы, Ольга Петровна Холмская, называла его «медиум». Она говорила, рассказы у него получаются сами собой, он всеми фибрами души ощущает красоту природы, он — безупречный словесный посредник между ней и читателем. Отвечая на вопрос анкеты, розданной журналом «Вопросы литературы» (Ответы помещены в №9, 1962 г.) молодым писателям, Юра говорит: «Я много езжу, и после каждой поездки выходит у меня рассказ, а то и два, — иногда много времени спустя после поездки. Но это выходит как-то само собой».

И вот такой баснословно одаренный писатель в силу самых различных факторов отдал дань губительной русской привычке — служению Бахусу, говоря высокопарно. Я ни у кого не встречала упоминания того, что Юра много и тяжело пил. Это тягостное обстоятельство его жизни исследователи стыдливо обходят молчанием. Напрасно, исследование причин пьянства гениально одаренных людей, не только погубившего их талант, но и сведшего в могилу, вскрывает социальные и биологические корни заболевания, губельного не только для человека, но и для целого народа, и, конечно, выявляет особенности социальной среды, в которой происходило становление и развитие таланта.

Позволю себе сделать еще несколько выписок из биографии Ю.П. Казакова, написанной исследователем его жизни И. С. Кузьмичевым («Юрий Казаков. Наброски портрета». Изд. Советский писатель. Ленинградское отделение, 1985 г.). Эти выписки имеют прямое отношение к дальнейшему повествованию.

«Прочитав казаковские рассказы на всероссийском семинаре молодых прозаиков в Ленинграде в ноябре 1957 года, В. Панова отозвалась о них так: «Юрий Казаков — талант очень большой, таящий в себе возможности неограниченные. Представленные им рассказы поражают силой эмоции, законченностью и стройностью, это — произведения большой литературы. В лепке характеров, в слове, ритмике, композиции, в искусстве создания настроения нам нечему учить молодого Казакова, он с не меньшим правом может взяться учить нас» (с. 47).

«Весной 1961 года «Северный дневник» — в рукописи он назывался: «Тихие герои. Северные путевые заметки» — был опубликован журналом «Знамя», и Казаков наверняка не предполагал, что этот «проклятый» очерк откроет собою книгу, которая окончательно сложится и выйдет отдельным изданием лишь в 1973 году.

Сюжет очерка «Северный дневник» ограничен летней поездкой шестидесятого года — из Архангельска до Мезени на пароходе «Юшар», потом на сейнере «Белужье» в деревни на Зимнем берегу Белого моря. Вместе с тем повествование пропитано всякого рода воспоминаниями, перемежается эпизодами и впечатлениями прежних северных поездок автора; самые неожиданные ретроспекции прихотливо переплетаются здесь, и в результате «время проживания» в очерке приобретает куда больший объем, нежели хроника месячной поездки» (с. 64).

«Окрестности Тарусы Казаков хорошо знал, исколесил их на мотоцикле, мечтал приобрести здесь собственный дом. И не только восхищался пейзажами, по крайне дорожил культурными традициями этих «милых художнических мест», дорожил кругом тех интеллигентов старой закалки, о ком довелось ему здесь узнать из первых уст и с кем повеселилось самому общаться». (с. 91)

«Еще в марте 1962 года он делился с Конечким: «Я сейчас в Тарусе, и за десять дней написал очерк про Закопане — так себе, пустычок — и рассказ. Рассказ небольшой, но препоганый. Я, знаешь, насколько раньше был непоколебим и уверен в себе, настолько сейчас закис и раскис и не знаю, что делать. Как-то тянет меня на высокое и важное, а высокого и важного что-то все не подвертывается, и то, что делаю я сейчас, совершенно мне не в жилу... А тут еще... Взял Толстого «Испо-

ведь», почитал и совсем закручинился. Неотразимо пишет старик...». (с. 127).

«Мысль о счастье пронизывает один из самых, по-моему, дорогих для Казакова рассказов — «Осень в дубовых лесах» (1961), — где противостояние северной и среднерусской жизни оказывается художественным лейтмотивом.

«Осень в дубовых лесах» можно назвать рассказом о счастливой любви. Не той любви, что увенчана брачными узами, что дарит семейное благополучие, душевную стабильность и прочность домашнего очага, — нет, это рассказ о другой любви: зыбкой, призрачной, растворяющейся в письмах и снах, и все-таки — любви, приносящей счастье. Оттого, что любовь эта лишена традиционных атрибутов и надежной уверенности в своем будущем, героиня рассказа так боится ее утратить и так дорожат каждым ее часом» (с. 93).

Полвека отделяют меня от тех давних событий. Думаю о них, как будто вспоминаю сюжет любимой, давно не читаной книги.

НАЧАЛО. ЛЕТО 1960-ГО – ЛЕТО 1961-ГО. ПОХОРОНЫ ПАСТЕРНАКА

Январь 1960 года. Бегу морозным январским днем по центральной улице подмосковного посёлка Голицыно, спешу на московскую электричку. Мне тридцать лет, я давно развелась с мужем, у меня семилетний сын. Мы живем у моих родителей, где есть ещё моя младшая сестра и брат, который родился 22 июня 1941 года в четыре часа утра, как раз когда немцы бомбили наши пограничные города. Я еду в Москву, у меня дела в институте, я преподаю перевод в МГПИИЯ (Московский государственный педагогический институт иностранных языков, бывший «Инъяз»), бывший «Мориса Тореза», теперь Московский государственный лингвистический университет) на переводческом факультете, с которым будет связана вся моя взрослая жизнь, скорее всего, до последнего часа.

Навстречу идет молодой, грузного вида мужчина в меховой шапке пирожком, с красивым неулыбчивым лицом, кожа под носом (там, где усы, как у Чарли Чаплина) покраснела от стужи. Он замедлил шаг, посмотрел на меня близорукими голубыми глазами, наверное, хотел поздороваться, вдруг кто-то знакомый, и меня как током ударило. Увидев, что ошибся, он пошёл дальше. А я поспешила на электричку.

В доме творчества живет моя учительница, вернее сказать, Учитель, Ольга Петровна Холмская, которая учит меня переводу уже десяток лет. И не только переводу, это очень умный, саркастический, но благородной души человек. Людей с таким пронзительным умом встречается мало, к тому же она, родившаяся в 1896 году, - объективный свидетель исторических событий всемирного значения, о которых я знала только из книг и рассказов бабушки, работницы ижевских оружейных заводов. Так, она однажды сказала мне, что первые годы после революции были в истории России самыми свободными. Даже церковь освободилась от гнета Синода. Примером своей жизни Ольга Петровна учила меня благородству человеческих действий, устремлений, поступков.

Я неслучайно оказалась в числе её подопечных. Письменный перевод на русский язык у нас в институте начинали преподавать тогда во втором семестре второго курса. Нашим преподавателем была очаровательная (внешностью и благовоспитанностью — потомственная дворянская женская грациозность) немолодая женщина Наталья Матвеевна Соловьева. Наталья Матвеевна была ещё и внимательный учитель. Она отличала мои домашние переводы из английской классики — я с упоением переводила заданные на дом отрывки. Сидела дома в большом разлапистом кресле в окружении словарей Даля и Ушакова, и «творила», не зная никаких правил, не имея понятия, что эти часы за письменным столом — тоненький ручеек, который превратится через десятилетия в полноводную реку — профессиональное занятие литературным переводом. Выросла я в семье, где не было ни писателей, ни переводчиков, и писательское дело представлялось мне сверхчеловеческим действием, а писатели — обитателями Олимпа, куда простым смертным доступа нет. У нас была большая библиотека, и писатели обитали для меня не в жизни, а под корешками книг.

Студенты не знают закулисной для них стороны преподавательской работы. По окончании учебного года на последнем заседании кафедры (мне это рассказывала потом Ольга Петровна), Наталья Матвеевна попросила О.П. Холмскую взять на следующий год нынешнюю 206 группу, так как в этой группе, по её мнению, три человека могли бы в дальнейшем переводить изящную словесность на русский язык. Так я и попала к Ольге Петровне, была сначала любимой ученицей, а потом другом, помощником и коллегой.

Ольга Петровна Холмская часто жила не у себя дома. В послевоенные годы ее домом была комнатка «сапожок» в студенческом общежитии, что в Петроверигском переулке, позже — двухкомнатная квартира в писательском доме у метро Аэропорт, улица Черняховского, дом 4, квартира 106; какое-то время и я там жила — Ольге Петровне было не-

уютно одной. Обычно она уезжала в Голицыно — жила в Доме творчества писателей, или снимала комнату у местных обывателей. Я приезжала к ней и тоже останавливалась в Доме, если бывала свободная комната, или что-то снимала. Отношения у меня с О-Пе-Ха, как звала её Евгения Давыдовна Калашникова, еще одна переводчица из группы кашкинцев, были как у мастера и подмастерья. Ольга Петровна учила меня мастерству перевода, а я, чем могла, помогала ей. Она плохо видела, и вот мы сидим у неё в комнате, она, полулежа на кушетке-кровати, читает вслух свой перевод «Тайны Эдвина Друда» Чарльза Диккенса, а я слежу по английскому тексту, чтобы поймать пропуск или неточность. По ходу дела Ольга Петровна разъясняет, почему она перевела какое-то место именно так. Это была великая школа.

В тот раз, во время студенческих каникул, я снимала комнату у древней, но живой и весёлой старухи в такой же древней халупе, тёмной внутри и снаружи, недалеко от Дома творчества, где я обедала за небольшую плату. Так я оказалась среди молодых писателей, которые стремились в небожители, но были совсем обычные молодые люди. Кроме одного — Юрия Павловича Казакова. Это его я встретила по дороге на станцию тем морозным январским днем. Среди обитателей дома, кроме молодежи, — писатель-юморист Ардов, Зинаида Шишова, написавшая прекрасную детскую книжку про Колумба «Великое плавание» (побольше бы сейчас таких книг), переводчица Воннегута Рита Райт-Ковалёва. Ещё помню дочь поэтессы Вероники Тушновой Наташу, писателя Иосифа Герасимова, друга Казакова, и фронтовика Марата, сына Шишовой. Обедали на застекленной отапливаемой веранде, за продолговатым овальным столом. За окнами снег, заиндевшие кусты и деревья. А на веранде тепло, аппетитно пахнет едой, свежим черным хлебом. Старинный вид ей придает обширный резной буфет, в котором держат столовую посуду. На обед приглашает горничная: стучат писатели на машинке и слышат: «Кушать, пожалуйста», «Кушать, пожалуйста». Ардов, идеально красивый мужчина, приходил на обед с очень маленьким металлическим чайником и рассказывал смешные истории, правда, иногда не очень смешные. У него, в квартире на Большой Ордынке, жила, наезжая в Москву, Анна Ахматова. Рита Райт, маленькая старушка с овечьим подбородком, рассказывала о своих встречах с Маяковским. После обеда собирались в небольшой уютной гостиной с книжным шкафом, велись разговоры, совсем не помню о чём, но в них не было ни особой учёности, ни остроумия. После ужина, тепло одевшись, шли гулять по морозным, освещенным тусклыми фонарями улочкам, меня провожал домой Оська Герасимов [писатель Иосиф Герасимов]. А Юра Казаков ходил с Наташей Тушновой, милой девушкой-школьницей, у неё были зелёные глаза

с карими крапинками. Наташа мне потом рассказывала, что он нежно ухаживал за ней, но она была влюблена в своего школьного учителя истории и Юрия Казакова отвергла.

Ольга Петровна сказала мне, что Юрий Казаков — начинающий молодой писатель, как говорят, очень талантливый. Попросила взять в институтской библиотеке его нашумевшую книжку «На полустанке». Уйдя на пенсию, Ольга Петровна больше в институте не работала. Последний год я посещала все ее занятия. Чтобы получать полноценную пенсию, Ольга Петровна перешла на полную ставку, но тянуть такой воз не могла — институт находился в нескольких зданиях, одно в Ростокинском проезде, куда надо добираться на трамвае от метро Сокольники. Это здание институт получил, когда Сталин «разоблачил» Марра [Николай Яковлевич Марр, русский и советский востоковед и кавказовед, филолог, историк, этнограф и археолог, автор «яфетического учения», развенчанного в 1950 году], и Институт востоковедения, находившийся в нём, был закрыт. Мне доверили её полставки (я была аспиранткой Ольги Петровны), и половину нагрузки с неё сняли. Разумеется, я не взяла у нее той половины денег, что она получала за полную ставку (она, естественно, предложила их мне): ведь я ходила на все её занятия и училась не только переводить, но и преподавать.

И я взяла в библиотеке книжку Казакова — маленькую, беленькую, невзрачную. Сначала ее прочитала Ольга Петровна, потом уже я. Книжка меня восхитила, такого ясного, чистого, невязкого, даже поэтического языка я не встречала ни у одного современного писателя, разве что у Паустовского. Я сказала это Ольге Петровне. Она подумала, подумала и говорит: «Казаков пишет под влиянием Бунина, так же сочно и живописно, да и жизненный материал, и отношение к нему — бунинские. Впрочем, это свидетельствует, скорее всего, о сходстве натур». Я подумала, что это, наверное, правда.

Кончились каникулы, и я вернулась в Москву. А весной, в марте, Ольга Петровна опять поселилась в Голицыне, она любила жить поближе к природе. У неё было поддомика в Звенигороде, но там некому было готовить. И она зимой жила в голицынском Доме творчества. Ольга Петровна позвонила мне оттуда. Попросила привезти что-то и сказала, что можно пожить в доме дней пять между моими уроками в институте, свободна крохотная комнатка на втором этаже. Я приехала, заплатила в местной конторе за пять дней, вошла в дом и в сенях на вешалке увидела темно красный шарф Юрий Павловича. Сердце моё чуть не выскочило из груди. На этот раз среди писателей был великий Юрий Домбровский. Он дружил с Ольгой Петровной, однажды она взяла меня в Переделкино, к нему в гости. Я уже тогда сомневалась насчет авторства Шек-

спира. А Домбровский написал о Шекспире книгу «Смуглая леди сонетов». Мы пришли к нему в комнату. Беспорядок там царил страшный, везде, на кровати, на стульях, — книги, рукописи, бумага. Он был великокопен. Высокий, тощий, на голове копыта черных волос, и очень добрые цыганские глаза. Я не осмелилась вымолвить свои сомнения в авторстве Шекспира, и он нам долго рассказывал, как ему самому виделся ещё более великий (хотя кто его знает, с позиций вечности) Шекспир.

И вот теперь здесь и Домбровский и Казаков. Помню два эпизода. Сидим мы как-то с Домбровским в гостиной-библиотеке, и он вдруг ругнулся матом, я в тот же миг размахнулась и ударила его по щеке — не сильно, конечно. До сих пор моя ладонь чувствует мягкую дряблость кожи его щеки. Домбровский не обиделся, сказал только «простите». Спустя шесть лет я встретила его в Доме Союза писателей, в пристройке к Герценовскому дому, он узнал меня и спросил:

— Вы та дама, которая за мат дала мне пощёчину?

Я кивнула и попросила у него прощения. Он ответил:

— Так мне и надо, — и засмеялся.

Больше я никогда его не видала.

А второй эпизод связан с Юрием Павловичем. Он дал мне прочитать коротенький рассказ о Ленинграде, где описано разведение мостов. Кажется, это рассказ «Пропасть», только он был короче и без трагической нотки. На другой день после обеда мы сели с ним в укромном местечке, и я сказала ему, что думаю об этом рассказе. В нем нет глубины, неповторимости чувств, он даже чуть-чуть пошловат. Но очень похвалила описание разведения в Ленинграде мостов. Ни слова не сказав, Юрий Павлович взял свой рассказ и ушёл к себе в комнату на первом этаже. Как же я себя ругала. Сама, сама разрушила крошечный мостик, который стал между нами возводиться. Но на другой день во время общего разговора в гостиной Юра вдруг сказал, чуть заикаясь: «А мне нужна такая жена, как Марина, чтобы неравнодушно читала мои рассказы». Я не отнесла этих слов к себе, восприняла их как обобщённое заявление. Речь шла не обо мне, а об определенном женском характере. Таким гигантом, особенно по сравнению со мной, представлялся мне Юрий Павлович. Чего он, конечно, не подозревал. И сам в себе, как в человеке, не ощущал олимпийского величия. Но силу своего таланта понимал, чувствовал свою исключительную незаурядность. И хотел, чтобы для близкого человека он был самый великий писатель. Это я поняла позднее.

Кончились мои пять дней, я опять вернулась в Москву, не имея никаких надежд на неслыханное блаженство — быть вместе с любимым человеком. И хотя я как будто покорилась невозможности счастья, воспитывала сына, с увлечением переводила, читала Достоевского, гото-

вилась к занятиям, но, когда в мае Ольга Петровна, которая всё ещё жила в Голицыно, сказала, что там опять поселился Юрий Павлович, и, кажется надолго, я рванула туда, и наша встреча меня согрела. Он был явно рад меня видеть. В доме опять жила Рита Райт-Ковалёва со своей дочерью длинноногой Маргаритой, умной, целеустремленной, с большим каштановым пучком на затылке, доброжелательной, но не очень красивой, похожей на мать. Я увидела, что Юра не безразличен ей. Рита Яковлевна говорила о нём с восторгом и как бы уже о близком её семье человеку. Май был очень теплый. Юра позвал меня покататься на лодке на голицынский пруд. Я согласилась. Взяли лодку, купаться он не думал, но было так жарко, что он стянул свои выцветшие бумажные штаны, и в синих семейных трусах нырнул в воду. Юра не потерял для меня ранг небожителя, но становился как-то более своим, что ли. Я вернулась в Москву, ни о чем важном для себя не поговорив с Юрой. А у Маргариты умерла бабушка, она поехала хоронить её и попросила меня по возвращении не приближать Юру к себе. Я ей обещала.

А 1-го июня умер Борис Пастернак. Какая-то столичная газета, кажется всё-таки «Литературная газета», поместила позорно короткое сообщение в малюсенькой траурной рамке: «Умер член литфонда, поэт Б. Л. Пастернак». Поэт и переводчик Андрей Сергеев, мой приятель и коллега (мы вместе переводили роман Томаса Гарди «В краю лесов») позвал меня поехать в Переделкино, почтить память великого русского писателя. Подошли к дому, калитка открыта, на дорожке к крыльцу — еловые ветки, вступили в светлую комнату, никого, на столе покойный поэт, кто-то тихо играет на фортепьяно в соседней комнате, кажется, Рихтер. Андрей наклоняется к мертвому лицу и целует в лоб. Я смотрю, стараясь запомнить смертную маску. Не запомнила. Всегда в воображении Пастернак, каким нарисовал его Анненков.

Похороны на переделкинском кладбище через день. Я не сомневаюсь, Юрий Павлович придет на похороны. И я там увижу его.

В этот раз поехала в Переделкино одна. Улица, ведущая к кладбищу, заполнена вся медленно движущейся темной лентой пришедших проститься. Мне удалось подняться на возвышение почти к самой могиле. Народу — море. Опускают гроб, с сильным деревянным стуком падают первые комья. Вспоминаются поразительно точные стихи Марины Цветаевой «И первый ком о крышку гроба грянет». Растет гора цветов, меняются один за другим чтецы. Гениальный «Гамлет» из «Доктора Живаго». Да, Пастернак — небожитель. А мы, неспособные придумать ничего подобного — пигмеи. И всё же я счастлива — живу в столетие, когда в России расцвел величайший поэтический цветник. А если бы меня угораздило родиться раньше, скажем в XVIII веке, я не знала бы

стихов, считанных с небес в последующие века, не читала бы Пушкина, Лермонтова, Тютчева. Каких радостей была бы лишена моя жизнь.

В том дне для меня сплелись два мотива — прощание с великим поэтом, претерпевшим страдание от невежества, обернувшегося агрессивным злом, и предчувствие, казалось бы, невозможного счастья — встреча с писателем, у которого потрясающее поэтическое перо. Это я сейчас так перевожу на язык смысла обуревавшие меня тогда чувства. А тогда я всё время искала взглядом грузноватую фигуру с неласковым лицом. И я увидела его, недалеко от себя, он был один в плотной толпе прощавшихся. Был уже конец траурной церемонии.

— Юра, — окликнула я его с забывшимся сердцем.

— Привет, милая, ты одна?

— Одна, Андрей Сергеев был здесь позавчера. Сегодня не мог приехать.

— Поедем ко мне в Голицыно, помянем гения. Ты свободна?

— Свободна.

Любовь — это помрачение рассудка, мозг отключается, грудь распирает сладчайшее блаженство. Помянуть великого поэта с любимым — такое не могло присниться даже в самом счастливом сне. В моей жизни до сих пор всегда было так: тебя любит тот, кого ты не любишь, а ты любишь того, кто не любит тебя. Наверное, потому, что я всегда влюблялась не в ровню себе, а в того, кто меня чем-то превосходил, во всяком случае, мне так казалось.

Мы пошли не на станцию Переделкино, от которой доехали бы до Киевского вокзала, оттуда на метро до Белорусской и в Голицыно. Юра сказал, что от писательского поселка всего несколько километров до Баковки, что на Белорусской железной дороге. Пройдемся по лесу. А там на электричку, до Голицына всего полчаса. И мы двинулись в путь, понятия не имея, сколько нам предстоит идти. Сначала шагалось легко, начало лета, пешеходная дорожка шла лесом, яркая, свежая зелень застилает солнце, веет прохладный ветерок, перешли мостик через ручей. Говорила больше я, рассказывала о трудностях художественного перевода, о русском языке.

— Миленькая, — вдруг сказал Юра, — брось ты свои переводы, давай говорить о вечном. Как поживает Оська?

— Какой Оська?

— Уже забыла? Герасимов.

— А-а, Герасимов. Я его с тех пор не видела. С ним что-то случилось?

— Да нет, ничего. Он мне сказал тогда, что ты с ним трахалась.

— Что за чушь! Он мне не нравится. Я даже целоваться с ним не могла бы.

- Странно!
- А когда он это сказал?
- Да тогда и сказал. В январе, в Голицыно. Ты ведь с ним ходила.
- Да, он меня провожал один или два раза. Потом уехал в Москву, а когда вернулся, через два дня, кажется, уехала я. У меня даже его телефона нет.
- Это правда, старуха?
- Я, Юра, уже тогда только о тебе думала.
- А что же молчала?
- Так ведь ты был влюблен в Наташу, дочку Тушновой.
- И то правда.
- А Наташа как поживает?
- Я ее тоже с тех пор не видел. Она мне рассказывала, что вторилась в своего историка.
- Юра, а Маргарита сейчас в Голицыно?
- Нет, уехала. Рита Райт, её мать, провела со мной беседу. Попросила без серьезных намерений ее дочь не трогать, это неблагоприятно. Я испугался и стал с ней холоден.

Лес кончился. Давно перевалило за полдень. Было очень жарко, мы шли, шли, а конца дороги все нет. Попался деревенский магазинчик, Юра выпил пива, купил бутылку коньяка. Спросили, сколько еще до Баковки. Оказалось, километров пять. Он устал, идти ему было тяжело, взяли такси и поехали в Голицыно, не подозревая, что едем к нашему будущему, которое продлится ровно пять лет.

Вернулась я домой на другой день. Когда сейчас говорят, что в Советском Союзе не было секса, это ошибка. Секс, конечно, был, другое дело, что всё было не так, как теперь. Отношение к этой стороне жизни у мужчин и женщин по биологическим причинам — различны. М.М. Пришвин писал в своем дневнике, что у мужчины половой акт всегда связан с деторождением, а у женщин нет. Меня сперва это удивило. Но, подумав, я поняла, что он прав. Очень точное замечание. И, наверное, этим объясняется такая мощная похотливость мужчины. Природа (или Создатель) предусмотрительна: чтобы род человеческий не вымер, мужчина снабжён механизмом оплодотворения, который работает бесперебойно — изо дня в день, из недели в неделю — на протяжении почти всей его жизни. Мужчина в плену этого механизма. И если лишить его руля и ветрил, то общественная жизнь людей превратится в ад. Сейчас главная узда — семья (раньше была еще церковь), где должны быть все условия, чтобы этот мужской механизм мог действовать с той частотой, какая предусмотрена свыше. Неженатый тридцатилетний мужчина в некоторых странах считался угрозой для общества, и, если он не выказывал брачных на-

мерений, его не приглашали в общество, в семью, где есть молоденькие девушки (XIX век, Англия). Совсем иной детородный механизм у женщин. На миллионы сперматозоидов мужчины приходится в течение жизни семсот (плюс-минус пятьдесят) яйцеклеток, ждущих оплодотворения. Оно может происходить раз в месяц, тогда как мужчина может оплодотворять женское яйцо не только каждый день, но и несколько раз на день. Создателю надо было (почему-то), чтобы род человеческий не прекращал существования. Он и наделил мужчин, в своих целях, столь мощным производительным потенциалом. По-видимому, кроме религиозных увещаний, нет иной силы, способной обуздать похоть, или, вежливее сказать, вожделение. В семье мужчина удовлетворяет похоть, сколько душе угодно. А холостяку, вне семьи, приходится худо. И потому мужчины, в общем, хотят жениться. Такая избыточная и необоримая жажда размножения вызывает у женщины жалость к любимому мужчине. И довольно часто у женщины по этой причине, скорее всего, подсознательно, рождается к мужчине материнское чувство. Жена с материнским чувством к мужу простит ему измену, потому что пожалеет его. Но так это не у всех женщин.

В Советском Союзе у мужчин было столько же сперматозоидов, сколько и в других общественных формациях. Поэтому было так же много романов, измен, соитий до брака и вне брака. Но в СССР был инструмент, наказывающий слишком активных мужчин, — Коммунистическая партия Советского Союза. Из-за этого случались страшные трагедии. Это я к тому, что любовных историй и в те семьдесят лет было предостаточно. Другое дело, что произведения искусства в то время воспевали целомудрие. Впрочем, целомудренной (по форме) была в царское время и вся русская классическая литература. Целомудренная по форме, хотя бесконечно щедрая в улажении читателя любовными коллизиями. Правительство СССР понимало, памятуя, наверное, судьбу Римской империи, которую погубили не только варвары и христианство, но и абсолютное развращение нравов, что непотребное поведение полов губительно для государства. И строго следило, чтобы на экраны и на страницы художественных произведений не проникала порнография. Так что судить о любви при советской власти по кинофильмам, романам, повестям, — зряшное дело. 25 марта 2008 года была посмертная передача о Георгии Гачеве [Георгий Дмитриевич Гачев — российский философ, доктор филологических наук, культуролог, литературовед и эстетик; ведущий научный сотрудник Института славяноведения и балканистики РАН; автор концепции ускоренного развития литературы], посвященная его памяти. Гачев сказал как-то, обращаясь к школьникам: «Не верьте, что вам внушают сейчас эти

бесмысленные люди. Все эпохи одинаковы, в каждом времени есть своя чума. И при Сталине и при Гитлере люди влюблялись, ходили в лес, катались на коньках». Я сначала подумала, что он не прав. Но, подумав, уразумела его правду. В каждом времени есть своя чума и свои радости. В сталинское время чума — Лубянка и Гулаг, радости — трудовая стабильная жизнь простых людей, как, например, жизнь моей семьи. В гитлеровской Германии — гестапо и концлагеря, а вот радости, если и было, то очень недолго и то лишь для природных германцев. В наше время чума — безмозглые и бессердечные рыночные отношения, которые убивают стариков, спаивают мужчин и отправляют на панель женщин, выброшенных из созидательного труда, не находящих применение в общественном трудовом устройстве.

Но вернемся в тот, такой далёкий, июнь 1960 года. Мы с Юрой были свободные от брачных обязательств люди, могли отдаться чувствам, никого не обманывая. Особого привкуса, существующего в отношениях между любовниками, имеющими семьи, у нас не было. Для меня Юра скоро стал родным человеком до последней клеточки его ума и тела.

Провожая меня на станцию, Юра взял у меня телефон. «Позвоню, когда буду скучать», — сказал он, прощаясь, некоторые его фразы я до сих пор наизусть помню. 14-го июня — мой день рождения, мне тридцать один год, выгляжу я молодо, судя по фотографиям того времени. Мои родные — на даче в Барвихе. Я дома в большой четырёхкомнатной квартире одна. Вечером пришел мой школьный друг еще с довоенной поры — В.С. Он литературовед, научный сотрудник Института мировой литературы Академии наук СССР. Умница, и теперь уже можно сказать трагической судьбы. Он не женат, волочится за мной, я дружу с его матерью и сестрой. Мы вечно спорим о литературе, о роли Ольги Петровны в моей жизни. Он считает, что мог бы больше делать для моего творческого развития, чем она. Вдруг телефонный звонок, беру трубку.

— Привет, миленькая, — слышу Юрин голос. — Что ты делаешь?

— Ничего.

— Давай будем ничего делать вместе, — говорит Юра, слегка заикаясь. — Приезжай на Арбат, дом 30, квартира 29, жду.

— Еду, — говорю я.

Время час ночи, но не очень темно. В.С. знает про Юру. И понял, кто звонит.

— Еду к нему сию минуту, — бросаю я.

— Поезжай, конечно. Но не сомневаюсь, очень скоро мы с тобой весело посмеемся над этим приключением.

Не посмеялись. Хотя друзьями остались на всю жизнь.

Метро уже не работает. Я живу в Покровском-Стрешневе. Тогда ходить ночью по Москве было нестрашно. Дошла до Ленинградского шоссе. Подхожу к метро «Сокол». Возле меня тормозит грузовик. Шофер лет пятидесяти приветливо спрашивает, далеко ли иду. Говорю, на Арбат.

— Садитесь, довезу, со стороны Смоленской.

— Мне надо как раз туда, — отвечаю я, — дело спешное.

Сажусь к нему в кабину, и через полчаса он остановился у Смоленского универмага. А еще через пять минут я в объятиях Юры, он ждал меня на Арбате у своего дома. Не помню, какой этаж, но лифта, по-моему, не было.

И вот я первый раз, на цыпочках, чтобы не разбудить соседей, вхожу в комнату, где живет Юра с родителями. Сейчас их нет, они у кого-то на даче. Очень хорошо помню эту комнату, могу даже нарисовать ее. Комната четырехугольная. Напротив двери узкое высокое окно. Комната, как войдешь, чуть левее, поделена двумя глухими шкапами, перпендикулярно к двери, на две половины, левую и правую. Между шкапами неширокий проход в левую, спальную половину, там стоит изголовьем ко второму такому же узкому окну высокая широкая кровать с металлическими шарами, где спят родители. Угол за изножьем кровати заставлен какой-то рухлядью. Обои мутно-зеленоватые, на них рисунок, напоминающий подводное царство, — силуэты водорослей, во всяком случае, такое у меня ощущение. В правой половине, куда ведет дверь из коридора, у стены ближе к окну та самая кушетка, которую мне было обещано завещать, перед ней, у той же стены, небольшой стол, что-то еще под окном, не помню. Вот и вся обстановка. И вот что я хочу сказать. Никакого стеснения за такую скудность у Юры не было. Он был естественный человек, воспринимающий внешние атрибуты жизни, как неизбежное, но не позорящее данное, и оценивал их только как «удобно» или «никуда не годно», а не как возвышающий или принижающий признак социальной лестницы. В этом мы с ним были похожи. Он понимал, испытывал на себе, что его жилище скверно. Но все же крыша над головой. Так мы и начали жить, время от времени, в этой комнате. По утрам за окном громко гулили голуби. Я ходила в Смоленский универмаг за едой. Обед не готовила, нельзя было из-за соседей появляться на кухне. Юрина комната находилась, как войдешь, сразу же первая дверь налево. Мусор складывали в продуктовые бумажные пакеты и, уходя, брали с собой.

Так вышло, что наша вторая ночь любви выпала на мой день рождения. Повторю, мы были два свободные человека. У меня не было ни мужа, ни любовника. Мне они были не нужны. Мой брак не открыл мне,

что брачные отношения могут давать наслаждение и женщине. Подруга моей дочери в двадцатипятилетнем возрасте говорила «зачем мне это сомнительное удовольствие». И, наверное, у большинства русских женщин было тогда к сексу именно такое отношение. А шла женщина на это «сомнительное удовольствие», когда ее постигала великая любовь. Если бы у Юры не было такого таланта, я не влюбилась бы в него с силой солнечного удара. Но если бы такой же талант был облечен не Юриной плотью, я бы тоже не полюбила его. Что ко мне чувствовал тогда Юра, не берусь судить. Он хотел видеть меня, сказал однажды (в самом начале), что со мной в постели ему очень удобно, а с К. всё что-то мешает. Я могла жить без мужчины, работа (преподавание и перевод), сын, семья (родители, сестра, братья), книги, музыка, друзья, — все это до отказа наполняло мою жизнь. А Юра не мог быть без женщины, женщину требовало его мужское естество. И из всех окружающих его женщин выбор пал на меня по каким-то неведомым мне причинам. Я знала за собой четыре положительных свойства: у меня нет зависти, я не кокетка (во мне нет жеманства), я не стяжатель. И я никогда не предаю. Но не этими свойствами женщина влюбляет в себя мужчину. Вот такими были наши отношения в июне 1960 года.

Так встретились и полюбили два человека. Были они в чем-то схожи. Но в одном совершенно разные.

Когда мы с Юрой познакомились зимой 1960 года, мы оба принадлежали к одному поколению, оба жили в Москве, у того и другого — рабоче-крестьянское происхождение, высшее образование, занятие литературой. Но до чего разные были у нас шлейфы прошлого. Какими разными путями шли мы к своим тридцати годам. Эти пути друг друга нам были не ведомы. И мы воспринимали один другого каждый со своей колокольни. Что могло выйти из соединения таких шлейфов?

Неслучайно название одной из частей так и не состоявшейся Юриной повести о войне — «Разлучение душ». Очень перекликается со строчками Евтушенко: «Со мною вот что происходит, / Совсем не та ко мне приходит [...] О, кто-нибудь, приди, разрушь чужих людей соединенность и разобщенность близких душ». Мы были «близкие души», и все-таки нам суждена была разобщенность. Так не были ли ее причиной наши разные предыстории? Живя с Юрой бок о бок пять лет, я никогда не задумывалась, какими диаметрально противоположными были у нас детство, отрочество и юность. О своем детстве я всегда думала словами Льва Толстого: «Счастливая, счастливая неповторимая пора детства, как не любить, как не лелеять воспоминания о ней».

А Юра не любил говорить о детстве, не касался его и в своих рассказах. В одном из писем Игорю Кузьмичеву он писал, что детство у

него было «весьма и весьма бедно событиями (если не считать войну, да войной кого удивишь?)». И Кузьмичев комментирует: «... в детстве его еще не пробудившееся сознание словно бы окутывала душевная дрёма; было в его житейских обстоятельствах что-то сковывающее, какая-то подавленность и сирость, что-то мешавшее ему дышать полной грудью; и даже читать тогда доводилось мало, и книжек в родительском доме имелось негусто». И далее: «В хмурые военные годы все, по его словам, упиралось в заботы «о хлебе, одежде», о том, как обменять карточные талоны на продукты, жилось тогда голодно и тяжело и, чтобы хоть как-то помочь семье, не терпелось поскорее обрести самостоятельность, получить профессию, определиться при деле. Словом, после восьмого класса, в 1944 году, Казаков поступил в московский Архитектурно-строительный техникум, а в 1946-м — в Музыкальное училище им. Гнесиных.

Военное отрочество, послевоенная юность — глухая, безрадостная полоса в биографии Казакова.

Много лет спустя в письме к Эдуарду Шиму он жаловался: «А вообще-то грустно, как начнешь перебирать юность, не знаю, как у тебя, — у меня это самое печальное время. Хоть брось!..» (Цит. по И. С. Кузьмичев «Юрий Казаков. Наброски портрета». Изд. Советский писатель. Ленинградское отделение, 1985 г.)

В рассказе «Зависть», который редко включается в его книги, есть краткое, но подробное описание тяжелых военных лет: «А я опять ушел, но уже дальше, в ту первую свою московскую ночь, когда я стоял на крыше под бомбежкой. Я увидел опять убитых и раненых и заваленные кусками стен улицы. Я увидел октябрь в Москве — баррикады, жирные тучи аэростатов по бульварам, редкие, отчаянно громыхающие, битком набитые трамваи. Пепел летал по улицам, временами где-то рвались снаряды. Листовки, как снег, с неба, и в листовках обещания сладкой жизни. И мы на загородных полях, за Потылихой, ранние морозы, закаменевшая земля, необрунные вилки капусты, морковь, которую выковыривали палками. Противотанковые рогатки всюду, железобетонные колпаки, амбразуры в подвалах, патрули — полупустой город. Замерзающие дома, мрущие старухи, холод в квартирах, железные печки, и всю зиму потом темнота, копилки, лопнувшие трубы водопровода и бледные грязные лица. И все эти годы изнурительная работа грузчиком — дрова, уголь, рулоны бумаги, кирпич, потом слесарные мастерские, потом снег на крышах... Телогрейка, старые штаны. Разбитые сапоги. И постоянный голод. [...] Я смотрел в те годы картину «Серенада Солнечной долины». Я смотрел на экран, как на тот свет, мне не верилось, что люди так могут жить где-нибудь. Потому что каж-

дый раз после кино я шел домой в свою темную грязную конуру» (Две ночи, Юрий Казаков, М., «Современник», 1986, с. 90-91). Этот рассказ очевидно автобиографичен, в нем есть наша первая ссора в Тарусе, и Юрина поездка на маленьком теплоходе в Марфино. Написан рассказ зимой 1963-64 года. В нем его отрочество, ранняя юность и первые годы четвертого десятилетия жизни.

А вот что пишет Юра о себе в дневнике летом и осенью 1951 года, 8 августа ему исполнилось 24 года. Запись 29. VII. 51г. «Сегодня приехал из Солги. Гостил у отца. Там сейчас находится мама. С легкой душой оставил я Солгу. Не очень-то понравилось мне там. Но вот приехал в Москву, и что-то тяжело на душе. Там остались мои родители. Очень тяжело складывается жизнь». Затем 24. VIII. 51г. «Как и следовало ожидать, я никуда не попал. Почему, спрашивается? Неужели я такой уж неспособный чурбан? Не думаю. Нет. Просто все еще слишком легко отношусь к жизни. Это в мои-то годы! Когда Добролюбов 24 лет умер знаменитым. Лазо 23 года командовал фронтом. Что же это за люди? То ли гении, то ли люди с железной волей, которая все сокрушает на своем пути!»

Из следующей записи ясно, что он провалился на экзаменах в трех вузах. И он никого в этом не винит, кроме себя. А мог бы в личном-то дневнике написать о том, что у него нет блата, вот его никуда не приняли. Нет, виноват он сам, нужна воля, сокрушающая все на своем пути. Юра ощущал в себе зреющую жемчужину, мечтал, конечно, о славе, признании, богатстве. И он позже проявит эту волю.

А через два дня, 26 сентября, пишет: «Когда я с таким позором провалился в трех институтах, передо мной встал вопрос: что делать дальше? И вот я начинаю искать работу. Ищу, ищу... И по сей день ищу. Правда, мне довелось пробоваться в театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, но вряд ли из этого выйдет что-нибудь путное.

В общем, неутешительная картина для меня и для моих близких, особенно матери.

Но есть и небольшая, правда, но отрадная сторона в моем существовании. Это то, что я разрешился наконец от своего годового почти писательского кризиса. Удивительно, как влияет на творчество (я говорю о себе, конечно) неудача. В прошлом году я написал пьеску. Небольшую по размеру и скромную по таланту. Написал я ее, и пошла она, бедняга, мыкаться по редакциям. И брать не берут — и отказывать не отказывают. Так до сих пор и блуждает. Правда, пока она нашла себе пристанище в «Трудрезервиздате», и мне даже пообещали ее напечатать, но дело опять застопорилось, и, вероятно, снова возвратят. Вот это-то и отбивает охоту писать еще что-нибудь.

Итак об отрадной стороне. Я все-таки понемногу сейчас разрешаю от молчания и начинаю пописывать. Пишу пьесу (одноактную) и два очерка о природе. Пишу тяжело, по многу раз исправляя написанное, но все же пишу. Природа и рассказы о ней — старая моя страстишка. Вот и сейчас закончу запись и начну снова копаться в рассказах, ворошить слова и переделывать фразы. Интересно, так ли пишут свои вещи большие писатели?» [Пунктуация Ю.П.Казакова].

Какая искренняя, изящная, живая и точная проза! А сам Юра еще не подозревает, что именно для писательства он и рожден на свет Божий.

Его отец Павел Гаврилович то ли был в ссылке в то время, то ли в тюремных лагерях. И Устинья Андреевна постоянно к нему ездила, иногда ездил к отцу и Юра. Он как-то сказал мне, что его не брали играть в оркестре театра, потому что он был сын осужденного. А театры посещают высокопоставленные зрители, и сидевший в яме музыкант может совершить террористический акт. Потому и не брали. Двадцать четыре года, один в Москве, работы нет и никаких перспектив, хотя есть уже музыкальная специальность. Помогал ему дядя Федя, брат матери. Он и устроил его на курсы работников многотиражки, которые открылись у него на заводе. Все-таки это было занятие, близкое к тому делу, которое сидело в Юре, как Буратино в полене папы Карло. И все время давало о себе знать. Интересно, что в тот год он писал «тяжело», «ворошил слова, переделывал фразы». Это и было его настоящее писательское ученичество — усердствовать, пока фраза не зазвучит так, что сам себе скажешь — «вот, наконец, именно то, что надо». Через шесть лет, когда начались наши с ним странствия, Юра уже писал легко, как поет птица.

Запись 22. X. 51г. «Начал писать повесть. Интересно узнать бы, как работают над крупной формой писатели. У меня что-то плохо клеится. Черт знает как ее писать. Очень трудная штука — повесть. Много действ, лиц, и всех их нужно обрисовать. Показать развитие характеров и т.д. Кроме того, нужно воплотить в повести какую-то идею. А как это сделать? Ну ладно, узнаю еще. Не все ведь сразу. Я успокаиваю себя мыслью о том, что и крупные писатели работают над повестью или романом несколько лет.

Временами же мне кажется, что я вовсе не способный к этому делу человек, и тогда наступает вялость мысли и вообще не хочется браться за перо.

Пробовал устроиться грузчиком на ф-ку «Красный Октябрь». Ничего не получилось. <...> Что же теперь делать? Ох, деньги, деньги! Деньги — это эквивалент счастья. Под счастьем в данном случае я подразумеваю удобства, хорошую одежду, обильное питание и т.д., и т.п.

Хотел бы я пожить немного, не думая каждодневно: «Где взять денег на хлеб, на квартиру, на питание?» Деньги и средство их добывания — вот что пока занимает меня непрестанно.

Мать пока еще не приехала из Солги. Безобразие!»

От этой записи такое впечатление, что Юра уже начал академически изучать литературное дело. Появились профессиональные слова «крупная форма», «развитие характеров», «воплотить идею». И звучит надежда, что его скоро всему этому обучат. Значит, наверное, было где. Но самое сильное, страшное, впечатление от нее — жизнь молодого человека двадцати четырех лет в Москве пятидесятых, имеющего профессию и не знающего, где взять деньги, чтобы не умереть с голоду. И счастье для него тогда (он понимает, что это «на данный случай») — хорошая одежда, обильная еда, и чтобы не думать ежедневно, где взять деньги на хлеб и жилье.

В те девять лет, что отделяют эти записи от нашего знакомства, Юра окончил Литературный институт. И постепенно втягивался в литературную деятельность, среду. Это вживание имело две особенности. Во-первых, он сразу объявил себя не заурядным и бесспорным талантом, вызывающим почтение и зависть, и, во-вторых, этот талант не приносил ему материальной обеспеченности. Но к июню 1960 года отчаянного положения сороковых и начала пятидесятых уже не было. Вот такая Юрина предыстория. Вот что было у него в анамнезе. И это, конечно, окрашивало в жесткие, несветлые тона его восприятие окружающего мира. Серенады Солнечной долины в его мире не было.

Совсем другими были для меня война и послевоенные годы. Весна 1943 года. Мой отец, инженер-подполковник, кандидат технических наук, после разгрома немцев под Сталинградом принял непрерываемое решение вернуть в Москву всю свою большую семью, которая жила в эвакуации в Свердловске. Там жилось тесно и голодно, но любовно и дружно. Нас приютила мамина сестра, инженер-энергетик, у нее крошечная двухкомнатная квартирка в частном деревянном двухэтажном доме, в ней девять человек на восемнадцать квадратных метрах — бабушка, тетя, ее трехлетний сынок и нас шестеро, с нами была еще наша верная домработница. И вот родители решили, что надо возвращаться в Москву. Отец выхлопотал для всей семьи пропуск, первого апреля мы простились с дорогими родными и сели в поезд Свердловск-Москва. На вокзале отец повел нас в офицерскую столовую и по сэкономленным талонам накормил все семейство — мама, папа, домработница Маруся, две дочки, два сына — куриной лапшой, ничего вкуснее я не едала, зима была голодная. В Свердловске у меня появилась подруга, тоже эвакуированная москвичка, Алла Коллегаева. Ее отец был академик, и в Сверд-

ловске их поселили в хороший дом, в трехкомнатную квартиру со всей мебелью и даже с роялем. Они были прикреплены к академическому распределителю и в Москву не спешили. Мы с ней расстались, дав друг другу клятву обязательно встретиться в Москве. Алла училась в училище Гнесиных по классу фортепьяно. Продолжала учиться музыке и в эвакуации. Я часто бывала у них в гостях, она много мне играла. И я любила классическую музыку. Уже в Москве мы с ней часто ходили в консерваторию. Так пополнялась моя личная культурная копилка.

Приехали мы в Москву в начале апреля. Помню, отец запаса для нас несколькими связками сушек, они висели на стене в кухне. Мама тут же устроилась на работу. Ее однокурсник по Институту красной профессуры Н.Г. Гончаров заведовал кафедрой педагогики в Институте иностранных языков, ему нужны были преподаватели, и он пригласил маму читать курс истории педагогики. Мама защищала диссертацию «Педагогические взгляды Ушинского», а теперь ей предстояло окунуться в историю европейской педагогической мысли. И она с увлечением взялась за дело. Готовилась к лекциям, учила немецкий язык. Отец раз в полгода подавал заявление об отправке его на фронт. Он был кандидат физико-технических наук, их отдел занимался всеми, какие ни есть, баллонами, в Советской армии. И был постоянно в командировках, но все время просился на фронт. После войны начальник управления вызвал его к себе, подал ему пачку его заявлений и сказал: «Я не давал им хода, у тебя четверо детей, мал мала меньше. А ты и здесь был нужен».

У моих родителей чисто рабоче-крестьянское происхождение. Мамина мама, Мария Филипповна Юдина, работала на ижевском оружейном заводе, воронила стволы, ее свекор был «кафтанщик», он на том же заводе проработал 54 года без штрафов и прогулов и был пожалован цилиндром и шитым золотом кафтаном, его портрет до сих пор хранится в Ижевском краеведческом музее. Отец из бедной крестьянской семьи, из деревни Семикино Тамбовской области, его фамилия была Федяев, отчество Иванович, и был он тогда Дмитрием Ивановичем Федяевым. В Гражданскую войну пятнадцатилетнем парнем попал в бронепотряд, которым командовал украинец Архип Григорьевич Литвинов, который усыновил его и отправил в Москву на рабфак. Туда же отправили и мою маму, которая была лучшей в Ижевске пионервожатая 1924 года. Ей на лето дали отряд из тридцати мальчишек и девчонок, детей рабочих, и одного беспризорника. Дали мешок гречневой крупы и большую бутылку подсолнечного масла. И с этим отряд поехал жить в лес. Читали, пели песни, учились маршировать, готовили еду, хлеб им подвозили, собирали грибы, ягоды. Все делали сами, у мамы была всего одна помощница, женщина лет сорока, на которой лежали хозяйствен-

ные хлопоты. На детском параде перед началом учебного года мамин отряд занял первое место. И она получила путевку в Москву на тот же рабфак, куда ехал отец. Там мои родители и познакомились. Они оказались и прилежными и очень способными. После рабфака — институт. У отца — Московский институт инженеров транспорта, у мамы — Второй университет, отделение русского языка и литературы. После окончания института отца призвали в армию, и он стал военным инженером железнодорожного транспорта. Мы колесили с ним по всей России, жили на Дальнем востоке, на Кавказе, в Свердловске, потом его перевели под Москву, где он преподавал в военно-железнодорожной школе сопромат и защитил диссертацию. Росла семья, мама воспитывала нас, как она говорила «по Песталоцци». Не знаю, что это значило. Но наставления были такие: всегда говори правду, скажешь правду, половина вины долой, больший, лучший кусок отдай другому, помогай слабому, не обижай меньших, много читай и не бойся никакого труда. Мы с братом читать научились рано. Моя первая книжка в четыре года — «Барышня-крестьянка» Пушкина.

Тогда как Юра в годы войны, чтобы хоть чем-то питаться, работал грузчиком, чернорабочим, мы с братом Димой ходили в школу, делали дома уроки, читали; меня учили музыке, Дима занимался спортом, уже в войну работали в Москве детские спортивные школы при спортивном обществе Красной армии. Брат записался в футболисты, ребятам выдали бесплатно спортивную одежду и обувь, и они учились играть в футбол с опытными тренерами. Отец читал лекции о международном положении и о положении на фронтах, за которые ему платили небольшие деньги, а, главное, давали иногда продукты. Помню, после лекции на овощной базе отцу презентовали несколько банок арбузного меда.

В доме еще не работал водопровод, не было электричества, отопления. Воду приносили из колонки, и во дворе была общественная, чистая и удобная уборная, почти никто из жильцов еще не вернулся. Но в кухне имелась большая плита, которую топили короткими чурками. Уроки делали в кухне. Да и весна вступила уже в свои права. Наш дом построили перед самой войной, и вокруг него у подъездов оставалось еще много строительного мусора. Мама бросила клич — расчистим двор под огород! Выбрали все кирпичи, доски, гвозди, камни. Получились отличные участки и со стороны улицы и во дворе. Посадили картофель, сажали его верхушками и глазками, посеяли морковь, свеклу, капусту, горох, укроп, вырастили даже огуречную рассаду. Летом ездили за грибами, ягодами, солили грибы, варили варенье. И две следующие зимы голодными не были. В квартире шестиметровая комната, ее всю на метр засыпали картошкой, выросшей на наших участках. Нам повезло,

мы жили на окраине Москвы. Москва нашим военным городком кончалась, можно было хоть целое поле засеять картошкой.

Правительство издало постановление, что все школьники старше 14 лет должны во время летних каникул месяц отработать на каком-нибудь предприятии. Лето 1943 года я работала месяц в ЦИЭМ'е, институте экспериментальной медицины, который находился в получасе ходьбы от нашего дома на берегу Москвы-реки. Шла война. Нужны были лекарства, особенно те, что излечивают инфицированные ранения. Пенициллина тогда еще не было, но наши медики изобрели грамицидин, исцеляющий гнойные раны. Его и производили в ЦИЭМ'е. Меня зачислили в лабораторию, где готовили бульон для выращивания субстрата, из которого производилось это лекарство, обсеменяли этот бульон, разливали в узкие двухлитровые бутылки и укладывали их для созревания в термостаты. Вот я и укладывала эти бутылки. В термостатах было 40°, они были довольно тесные, и взрослый человек в них залезть не мог. В них были специальные полки, встроенные под углом, куда я и укладывала бутылки. Женщины все были добрые и веселые, нам полагалось за вредность молоко, мой рабочий день должен был длиться шесть часов, но я всегда задерживалась до конца смены. Я гордилась этой работой. Производство не прекращалось ни на один час, работали в три смены. Летом 1944 года наш класс месяц работал в деревне. Пололи и мотыжили картофельные поля, капустные, бесконечные грядки лука и других овощей. Жили в помещении школы, кормили нас наваристыми мясными щами. Зимой 1943-44 года в школы и на предприятия присылали «американскую помощь»: одежду и обувь. Мне досталось модное серое демисезонное пальто и серо-синий шерстяной костюм. Так что на осень и весну я была одета. Писать о войне можно без конца. Эти четыре года у каждого своя особая страница жизни. В Свердловске было голодно, но немощко еды все же было, покупали на рынке дешевую мороженую картошку, терли ее и варили кашу, довольно противную, но сытную. В Москве — посещение госпиталя, чтение раненным писем, писание писем, помощь санитаркам. Бомбежек я не видела, и все годы войны мы с братом верили в победу и ждали ее, понимали, что нынешнее всеобщее неустройство рано или поздно окончится. Эта детская вера жила в нас благодаря оптимизму родителей, учителей, воспитателей детского дома. Первый год войны мы с братом провели в детском доме, у мамы на руках четверо детей, младшим в первый день войны: сестре — год и семь месяцев, братцу один день от роду. И они с отцом решили отправить нас в эвакуацию с детским домом, организованным маминим учреждением Наркомпросом — Народным комиссариатом просвещения.

Сегодня я сравниваю первый год войны — Юрин и мой. Юра в четырнадцать лет видел, как немецкая фугасная бомба разрушила театр Вахтангова, как гибли люди, видел октябрьскую панику; худой, голодный подросток разгружал машины, платформы, слесарничал, жил в промозглой, нетопленной комнате. А мы с братом в первый год обитали в крошечном городишке Оса на берегу Осинки, притока Камы. Плыли мы туда по четырем рекам, на двух пароходах; в Горьком, ныне Нижний Новгород, нас, детей от трех до пятнадцати, пересадили с одного парохода на другой, которому предстояло плыть по Каме. Жизнь наша изменилась, река, трюм, темно, полки, но много детей, и с нами замечательные педагоги, научные сотрудники московского государственного института дефектологии, люди добрые, педагогически грамотные и ответственные. В Осе среднюю группу — 3 и 4 классы — поселили в одноэтажный деревянный дом, просторный и теплый. Меня, я перешла в пятый класс, зачислили в старшую группу, которую разместили в темноватом кирпичном двухэтажном здании, неудобном и, как мне показалось, холодном. Оно мне не понравилось, наверное, потому, что нас с братом разъединили, поместив в разные группы. Я очень редко плачу, а тут заплакала. Подошел Георгий Николаевич Воронов, высокий, похожий на актера Черкасова, с добрым внимательным лицом. Я плача сказала ему, что не хочу расставаться с братом.

— Этому горю можно помочь, — улыбнулся он, и меня тут же отвели через базарную площадь во второй интернат к брату. И потекла удивительная жизнь. Мы ходили в местную школу, расположенную в здании, бывшем до революции острогом. Об этом напоминали только квадратные окна раструбом, проделанные в очень толстых стенах. А какие были учителя, они преподавали еще в дореволюционных школах. Помню учительницу русского языка Павлу Дорофеевну, худенькую, уютную, лет шестидесяти. Она первая показала мне, каким должен быть учитель. Писали диктант, в нем было слово «чересполосица». Весь класс сделал ошибку, вместо «с» написали «з». И оценка «отлично» была только у меня. Я по рассеянности пропустила эту букву. Павла Дорофеевна говорит:

- Зная твою рассеянность, я поставила тебе пять.
- Но я бы тоже написала «з», — краснея бормочу я.
- Вот за это признание «отлично» останется.

У меня до сих пор тепло на сердце, когда я вспоминаю ее. Прекрасная учительница была и по математике, помню только, что имя ее было Лидия. После школы в интернате шла жизнь, полная интересных занятий. Сначала, конечно, уроки, потом пение, уроки музыки; издавали газету, мальчишки рисовали наших солдат, пушки. Танки, как они бьют немцев. Был у нас драмкружок, мы готовили для госпиталей — их в Осе четыре — постановку сказки Пушкина о спящей царевне. Я была веду-

щей, читала наизусть пушкинский текст, мой брат был царевич, Галя Пушкина — царевна, актеры учили роли, остальные готовили декорации, хрустальный гроб, цепи, изображения ветра, солнца, месяца.

Я мечтаю когда-нибудь более полно написать обо всем этом. Погрузиться в дорогие воспоминания. До сих пор почти наизусть помню эту прекрасную сказку. В детском доме мы пробыли ровно год. Когда мама с детьми переехала из Кирова, первого места эвакуации, в Свердловск к своей сестре, они все на семейном совете решили взять нас из детского дома, хотя он еще работал потом целый год, до лета 1943 года. После чего все дети возвратились в Москву в свои семьи. Вот так отличался мой и Юрин первый год войны. В мою память, в мое сознание запали образы добрых, умных, справедливых людей, готовых придти на помощь другим по первому зову.

Кончилась война, в 1947 году я окончила школу. И сразу поступила на подготовительное отделение Института иностранных языков (МГПИИЯ), где работала мама. Естественно, проблем с поступлением у меня не было. Но училась я всегда хорошо. Школу окончила с двумя четверками, по физике и сочинению. Меня всегда осеяло доброе расположение к себе Судьбы, Небес, Создателя. И главное везение в юности — мой преподаватель Ольга Петровна, которая развила во мне заложенные еще дома ростки любви к русскому языку, родной русской литературе, русской природе. Ко времени знакомства с Юрой у нас накопилась прекрасная семейная библиотека, и вся классическая литература XIX и XX веков давно стала моим постоянным чтением, да и та зарубежная, которую в то время можно было найти в переводах.

У нас с Юрой было, действительно, много общего. Мы были искренни, не лицемеры, любили русскую культуру, простых русских людей, русскую природу. Но мироощущение и восприятие людей у нас было разное. Мое мироощущение светлое, Юрино — мрачное. Что объясняется совершенно разными условиями протекания наших детских лет и юности. И, конечно, Юра был наделен великим поэтическим даром, а у меня этого дара не было. И для меня этот дар был великим сокровищем и достоинством, перекрывавшим все остальные качества человека. И вот эти двое принялись, очертя голову, сплетать свои жизни.

ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА В ПЕЧОРЫ

Юра собирался ехать с друзьями на Север. Это была командировка для какого-то журнала. Он собирал материал для «Северного дневника». А мне пришлось на несколько дней отлучиться из Москвы. Я лета-

ла в Ставрополь за семилетним сыном, который жил у второй своей бабушки, матери его отца. Мы с Юрой договорились: когда он вернется с Севера, я буду в Москве. И мы отправимся куда-нибудь, где он будет писать, а я переводить.

У меня остались от тех пяти лет письма и телеграммы, билеты на поезд, самолеты и даже на один пароход. Есть дневник, какие-то заметки, ноты, моя запись его рассуждений. От 1960 года сохранилось несколько писем, записок и телеграмма. Вот такое письмо, например, я получила от него 26 июля:

«Койда 26 VII 60

Милая моя! Я живу хорошо. Отсюда будем двигаться в сторону Архангельска. Теперь у меня вот какая идея. Когда мы закончим наш voyage, ребята уедут, и я останусь один. Так вот, не сможешь ли ты приехать, скажем, в Онегу или еще куда-нибудь, и дальше мы пожили бы с тобой вместе или поехали бы напр. в Карелию? Напиши мне на Архангельск. А я, когда туда приеду, еще тебе позвоню. Будет это числа 5-8 августа. Или ранее. Вот так. Будь здорова. Я тебя вспоминаю. Иногда. Целую. Твой Ю. Казаков [роспись].

Если ты выберешься ко мне, это будет гениально».

Не помню, ответила ли я на это письмо. Наверное, ответила. Разумеется, ехать или нет, вопроса для меня не было. На крыльях бы полетела. Я ведь и сама люблю путешествовать, в 90-е годы дважды летала из Нью-Йорка на Гавайи.

Но потом планы у Юры изменились, и 5-го августа получаю такую телеграмму из Ручьев: «письмо телеграмма москва д-98 второй жуковский проезд дом 4 кв. 25. литвиновой марине = приеду наверное двенадцатого хочу поехать псковскую область Печоры и Михайловская не хочешь ли ехать со мной имей [дней] на 10-12 телеграфируй в архангельск на главпочтамт салют = юрий».

Наверняка телеграфировала, что согласна. Потому что через несколько дней по его приезду мы уже ехали на автобусе в Псков. В книге «Две ночи», изданной в 1986 году, через четыре года после Юриной смерти, есть отрывок, начатый в 1963 и незаконченный. Юра очень точно описывает, как он жил в Печорах во вторую его поездку туда, уже со мной. Была еще и третья, осенью 1962 года, и четвертая. Пишет он только о себе: «И вот на другой год, проболтавшись полтора месяца на Севере, я ехал домой, и мне хотелось писать о рыбаках и обо всем, что я там увидел, и тут я вспомнил Печоры, и мне захотелось туда. [...] И вот через три дня я сел в автобус, всю ночь мчался, начало только смеркаться, я приехал в Псков, тут же нашел машину и поехал в Печоры». Заканчивается отрывок таким абзацем: «В каком году это было? Да в 1960-м — во второй половине авгу-

ста, значит, уже два с половиной года прошло, а мне иногда кажется, что двадцать, и очень захотелось рассказать про этого М.М.». (с.133-137). [М.М. Белянин — хозяин дома, в котором мы останавливались].

В приведенном выше письме 1970 года есть упоминание о нашей поездке в Печоры. И есть еще одно письмо, где говорится об этом городке на границе с Эстонией. Вот что Юра писал из Поленова 14 сентября 1960 года. Приведу письмо почти полностью.

«Хэлло, старушка!

Я получил твое письмо, спасибо, что не забываешь и / вероятно ради моего спокойствия / расписываешь все свои дни.

Насчёт всякой рыбы и прочего ты заблуждаешься — ни рыбы, ни чего бы то ни было — нет! Ибо я питаюсь в доме отдыха, а живу совсем один / Федя [Поленов] уезжал в Тулу / в холодной комнате. Вот. Поленово само по себе, разумеется, прекрасно. Но это понятие отвлечённое, потому что я почти целый день высиживаю дома.

Знаешь ли ты, что такое писатель, особенно такой, как я? Это самый что ни на есть занюханный человек. Это человек, который живёт в мире эфемерном, в мире, выдуманном им самим, в мире своих воспоминаний. Это человек, подменяющий реальность гнилым идеализмом. Этому человеку надо морду бить.

Никому я своего ничего не читаю, и тебе напрасно читал, потому что этого вовсе не нужно — нужно закончить вещь и остаться с ней наедине, нос к носу, а потом отнести в редакцию, чтобы её напечатали, а потом будет видно, хороша она или нет. И если хороша, то ладно, если нет, то надо помотать головой и приниматься за новую.

А Печоры я помню. Я ложусь, закуриваю и вспоминаю. И я всё помню, почти каждый день. А ты помнишь?

Помнишь, как я опаздывал — до того, что даже стал равнодушным — надоело волноваться. Помнишь первую остановку возле туалета? Когда стояла пасмуренькая погода и мы ходили от автобуса и назад? Помнишь автобусную станцию с тусклым светом и страшными уборными и еще кто-то спал на лавке, а я даже вздохнул, потому что знаю, что значит спать на лавке?

А Валдай [остановка в Валдае] — его тёмный, освещённый одной лампочкой возле ресторана кусочек и какие-то дома, по-видимому, хорошие, его мостовые? И как мы с тобой поднялись на второй этаж и выпили старки [...] и как я тебя хотел в ту ночь, когда автобус мчался и в нём было темно?

А Новгород с его соборами, с серебристыми луковицами на них, с их древностью, уууух какой древностью — Новгород ночной, пустой и освещённый? И его станцию-вокзал?

А дорога в Печоры и то первое, почему-то солнечное утро на Рабочей улице, Михал Михалыч, ворота, калитка его дома, комната и его вид, когда он сказал, что сто рублей? И как я, узнав, что магазины торгуют, тотчас побежал в магазин за выпивкой и как я боялся, что ты станешь по бабскому обычаю канючить и говорить, что, мол, не надо и всё такое, но ты не канючила, а наоборот сама вышила и как я был тебе благодарен за это, потому что, наверное, я бы возненавидел тебя, если бы ты тогда начала мне действовать на нервы?

[...]

Ах, как я жалел, что мало денег, что надо считать и рассчитывать и в чём-то прижиматься и что нельзя было купить например коньяку и т.п.!

А дороги в Эстонии! Господи, боже мой, какие там дороги, какие были поля со скирдами, какие хутора, озёра и реки и вообще — как это человечно всё было! Тебе м.б. и не понять, а я-то перед этим шлялся по нашим русским «палестинам», по северу, по дичи и глуши — и вдруг нечто божественное по разуму, по порядку, по труду — потому что эти поля и скирды это же не само собой родилось, а было создано руками людей!

А потом наши прогулки в лес, грибы и то, как ты жадничала и прятала грибы в карман, какие я хотел выбросить, и как я тебя всё хотел в лесу трахнуть, но не вышло как-то — то дождь был, то вообще мы больше не успели уже пойти.

Я не знаю, я очень боюсь, что теперь пойдет всё вниз, к худшему, потому что мне сейчас трудно представить себе, чтобы опять так было. Но это неважно, надо как-то верить что ли, надо к этому идти и путь для этого — автомашина. Я ещё не отказался от неё, я её хочу, я жажду её и ты мне в этом помоги, если придётся. До весны след. года у нас должна быть машина, а там посмотрим: может быть ещё и не то будет, что было.

Я не знаю, когда я приеду. Здесь я начал переписывать всё, что сделано в Печорах — это для разгону, так как сперва у меня ничего не клеилось. Ну а теперь уж я втянулся в это дело. С перепиской всё хорошо и работы ещё дней на пять, а там начну дописывать конец. И если пойдет так же, как шло в Печорах, то и кончу, как предполагал — числу к 24-25.

Завтра поеду в Тарусу, отвезу плёнку, которую снимал в Печорах. Отдам проявить и отпечатать, а тебе потом пришлю снимки.

Будь здорова, всего тебе доброго. Постарайся работать так, чтоб потом можно было взять отпуск.

14 Сент. Поленово

Ю. Казаков. »

В письме опущены очень личные подробности. Мне не хочется, чтобы их читали посторонние глаза. Три с половиной месяца мы с Юрой вместе, но уже плотно поселились в уме и сердце друг друга.

Перечитываю сейчас это письмо и с новой силой восхищаюсь его талантом писать. И пытаюсь решить вопрос, который мучил еще Гамлета: сам человек волен распоряжаться своей судьбой, или он во власти рока, судьбы, Провидения?

А тот отрывок, который помещен в сборник «Две ночи», Юра писал, думается, в апреле-мае 1963 года. В конце марта в Тарусе мы серьезно поссорились. Мы тогда жили на берегу Оки в доме Большакова, бывшего замминистра кинематографии. Я покинула дом утром, когда он ушел в магазин за водкой. Это подробно описано в рассказе «Зависть». Юра тяжело пережил мой уход и, сев писать о нашей жизни в Печорах, думаю, в сердцах не стал упоминать свою спутницу.

У меня до сих пор есть билеты в Петцери — так называлась тогда станция, где выходили из поезда пассажиры, ехавшие в Печоры. До города идти от станции три километра. Мы жили в этом городке на границе с Эстонией не один раз. В первый раз отправились туда на автобусе. Я попросила своего брата Володю, того, что родился 22 июня 1941 года, купить два билета на автобус до Пскова. Автобусная станция находилась тогда на Ленинском проспекте, отправление около двух часов или чуть позже. Я приехала, когда большой междугородний автобус (конечно, без современных удобств) был уже подан. Володя ждал меня с билетами. Пять минут до отхода автобуса, Юры нет. Три минут, две минуты, я прошу водителя подождать. Ведь ничего не стоит нагнать в пути минут десять-пятнадцать. Показываю ему билеты. Он соглашается, не очень охотно. Юра появился с опозданием в несколько минут. Он так боялся опоздать, что даже «перестал волноваться». Наши места во втором или третьем ряду правой стороны, Юра сел у окна. День был солнечный, яркий, начало августа 1960 года.

Через год Юра напишет рассказ «Вон бежит собака». В нем есть кусок об этой нашей поездке в междугороднем автобусе: «Давно погас высокий рдевший летний закат, пронесли, остались позади мертво освещенные люминесцентными лампами пустоватые вечерние города, автобус вырвался, наконец, на широкую равнинность шоссе и с заунывным однообразным звуком: «ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж», с гулом за стеклами, не повышая и не понижая скорости, слегка поваливаясь на поворотах, торжественно и устрашающе помчался в темноту, далеко и широко бросая свет всех своих нижних и верхних фар. / В салоне сперва говорили, шуршали газетами и журналами, потихоньку, прямо из бутылки выпивали, закусывали, ходили вперед курить, потом начали успокаиваться, откидывать кресла, отваливаться, гасить яркие молочные лампочки, стали сонно покачивать головами на валиках, и через какой-нибудь час в теплом, сложно пахнущем автобусе было темно, все спали, только вни-

зу, в проходе, горел над полом синий свет, а еще ниже, под полом, струилось намащенное шоссе и бешено вращались колеса. / Не спали только Крымов и его соседка.» (Российская проза на рубеже XX — XXI вв. Юрий Казаков, М., ИТРК, 2004, «Вон бежит собака», с. 197). Это описание не только превосходно из-за живописной точности воспроизведения происходящего, оно показывает, какая отличная память была у Юры на самые мелкие подробности виденного в жизни. И еще оно обнаруживает силу его впечатлительности, воображения. Я не запомнила синей подсветки внизу салона, в проходе. И, перечитав рассказ, как будто опять очутилась в том быстро мчавшемся автобусе, увидела, услышала, учуяла то, что видела, слышала, чуяла тогда. Какое же великое счастье быть рядом с таким необычайно одаренным человеком. И как бывает иногда трудно с ним именно из-за его таланта.

Юрино письмо из Поленова коротко и емко излагает нашу жизнь в Печорах — события и размышления. Как живописно, без единого лишнего слова описал он увиденную Эстонию — ее пейзажи и рождаемые ими мысли и чувства. Я добавляю несколько подробностей нашей поездки.

На станцию «Валдай» мы приехали поздно вечером. Рядом ресторан в двухэтажном доме, на втором этаже. Поднялись, народу никого, сели за столик, выпили старки по одной рюмке, закусили холодными котлетками. Ехали мы всю ночь, хотелось спать, а спать в автобусе неудобно, как в самолете. Приехали в Псков рано утром, замученные почти бессонной ночью. В памяти сохранились псковские белые крепостные стены. Нашли такси. Проехали Изборск, старинный русский городок, где до сих пор по преданию существует древняя могила Трувора, одного из трех варяжских братьев, позванных княжить на Руси. Решили непременно ее посетить. Не получилось ни в тот раз, ни в другие. Вот что пишет Юра в неоконченном очерке: «А до этого [до Печор] меня захватило вдруг необычайно сильное ощущение русского, а это не везде случается, но тут эта моя сыновность вдруг объявилась, еще когда мы ехали мимо Изборска с его крепостью в развалинах, с круглыми башнями из серого камня, а потом пошли поля с бабками сжатого хлеба, с желтой стерней, с хуторами там и сям разбросанными в островках берез и осин, — и такая древность была в этой псковской земле, что я только вздыхал» (Юрий Казаков, «Две ночи», М. 1984 г., с.135-136). Исторически кровную причастность к этим русским местам мы ощущали оба. Это роднило нас.

В 2007 году два моих студента-дипломника совершили путешествие на своей машине по тому же пути, сделали фотографии и показали их мне на компьютере. И Изборск и Печоры. Доживи Юра до нашего вре-

мени, не поссорься мы с ним в июне 65-го, сколько удивительных путешествий было бы сделано, сколько отснято снимков. С сегодняшней-то техникой, транспортом, туристскими маршрутами. Но тогда не было бы наших детей, родившихся почти одновременно, — Алеши и Маши, не было бы моих внука и внучки. А что если наш разрыв обусловлен небесной предопределенностью их появления на свет?

Но вернемся в Печоры — небольшой городок на границе с Эстонией. До 1939 года он принадлежал независимому государству Эстонии, созданному по декрету В.И. Ленина. В 1939-м по соглашению с Германией городок отошел вместе с прибалтийскими странами к Советскому Союзу. Михаил Михайлович Белянин, старик, у которого мы остановились, рассказывал: «В 1939 году нас оккупировали советские войска, в 1941 году немцы освободили нас, а в 45-м Советский Союз опять присоединил к себе». Говорил он об этом беззлобно, просто излагал факты. В облике Печор сохранились старинные русские черты (одноэтажные домики русской провинции), но наружные двери домов были иного фасона. В Кимрах двери, выходящие в палисадник, украшены деревянной резьбой — петухи, подсолнухи. А здесь в середине входной двери идет сверху до половины застекленная щель шириной сантиметров пятнадцать, изнутри занавешенная пестрой шторкой. Таких дверей ни в одном русском провинциальном городе я не видела.

В городке есть Свято-Успенский монастырь, основанный в 1473 году. Особенно усилился монастырь во времена Ивана Грозного при его управляющем игумене Корнилии. С ним связано такое предание. Иван Грозный милостиво разрешил обнести монастырские земли каменной стеной. Корнилий попросил дать ему кусок земли размером в лошадиную шкуру. Царь согласился. Корнилий разрезал шкуру на один бесконечно длинный тонкий ремешок, и обнес стеной столько земли, сколько этот ремешок опоясал. Позже Иван Грозный осердился на Корнилия за помощь непокорным псковитянам и приехал в монастырь творить расправу, Корнилий вышел ему навстречу, и царь, по преданию, сам отрубил ему голову, но тут же раскаялся, поднял голову и отнес ее в монастырь, поэтому дорога от главных ворот Никольской башни до главной площади монастыря называется «кровавый путь». Интересно, что легенда жива до сих пор, я слышала другой ее вариант: святой мученик сам отнес в монастырь свою голову. В монастыре есть пещеры, как в Киево-Печерской лавре (отсюда и название городка: «пещеры» — на старорусском «пещеры»). Там происходили захоронения знатных и богатых людей на протяжении столетий, там похоронены родственники А.С. Пушкина. Монастырь пользовался сельскохозяйственными угодьями и при советской власти, половина населения Печор корми-

лись, работая на монастырских пажитях. После смерти Сталина Хрущев отнял у монастыря земли, и люди лишились сезонных заработков. Настоятелем был в те годы деятельный и суровый отец Алипий, очень сердитый за это на советскую власть. Он многое сделал для монастыря, и уже в семидесятые годы добился возвращения монастырю части его сокровищ, вывезенных немцами во время войны в Германию.

Таксист высадил нас у монастыря. Мы пошли искать жилье. Неподалеку начиналась Рабочая улица. В первом, угловом, доме никого не было, из второго к нам вышла старуха в синем фартуке, она жильцов не пускала, но посоветовала подождать прихода Михал Михальча, он может к себе пустить. М.М. появился скоро, ходил на рынок. Это был почтенных лет худощавый мужчина с лысой яйцеобразной головой и добрым, по-старинному интеллигентным лицом. Жена и дочь его отдыхали на юге. У дочери лет в шестнадцать был полиомиелит, у нее отнялись ноги, и отец каждый год отправлял ее на море, надеясь на улучшение. Ему нужны были деньги, и он пустил нас в свою большую комнату с окнами на улицу и на монастырь. Окна большие, комната светлая. У окна большой стол, напротив кровать, этажерка с книгами. За этим столом Юра и писал Северный дневник. Был еще маленький столик, за ним я переводила роман Голсуорси «Усадьба». У меня сохранился клочок бумаги, на котором Юра дал свой перевод нескольких предложений из этого романа. Вставить его не было никакой возможности: Юрин слог сильно отличается от моего. Вот предложенный им вариант: «Он нес свечу на уровне груди, свет озарял его белую манишку. Лицо его, освещенное снизу, казалось бульдожьим. Серые налитые кровью глаза его туго блестели от сдерживаемой страсти. Он один дышал, [сверху над «дышал» — «сопел»] неся свет — внизу и наверху, в темноте было тихо». «Казалось» — перечеркнуто крестом. Ему очень нравилось «глаза туго блестели». Это мужской, грубоватый стиль. Голсуорси писал не так.

Каждое утро Юра садился за машинку, а я брала ручку и писала на небольших листах бумаги. Потом готовила обед. М.М. ходил в лес, собирал лисички и продавал их на рынке. Он отличался редкой деликатностью. Когда ему было что-то нужно в его комнате, он застенчиво просил позволения войти, и весь его вид, голос говорили, что он душевно страдает, мешая нашим занятиям. Жизнь его была трудная. Он работал в школе, что-то преподавал. Заработка на больную дочь не хватало. Но он никогда не стонал, не жаловался на судьбу. А судьба распорядилась с ним не очень ласково. Родился он в самом конце позапрошлого столетия в богатой купеческой семье. Окончил Санкт-Петербургский университет. Но тут грянула революция, и семья уехала в Печоры, в отделившуюся от России Эстонию. М.М. продолжал дело отца, торговал

зерном, жили зажиточно. После 1940 года, когда Эстонию присоединили к Советскому Союзу, он все потерял — свой магазин, склады, но сам как-то уцелел. Женился, родилась дочь. Началась война, немцы очень скоро захватили Эстонию. Как жили при немцах, М.М. не рассказывал. После 45-го жизнь понемногу наладилась, грех жаловаться. Если бы не полиомиелит дочери, так бы и жили, не ведая забот. Полиомиелит пошатнул благосостояние семьи. Но М.М. не впал в отчаяние. У него был редкий дар — не злиться на удары судьбы. Он ни кому не завидовал, не тужил о былом богатстве. В следующий наш приезд мы не смогли опять поселиться у старика, вся его семья была в сборе. А когда приехали в третий раз (мимолетно заглянули, едучи из Таллина в Москву), Михаила Михайловича уже не было на этом свете. Мы посетили его уютную могилу на тихом, зеленом кладбище, где на могилах лежали яблоки. Юра хотел написать бытие этого страстотерпца, не сложилось.

В Печорах Юра писал Северный дневник. Писал с наслаждением, получалось у него потрясающе. Иногда вечерами читал написанное. Я первая услышала замечательный кусок про поморского рыбака Титова. На похоронах Юры писатель Федор Абрамов сказал: «А незабываемый Титов, помните, что он пил...» — и замялся. Забыл слово, и я подсказала ему: «Пуншик». Вот что с восторгом читал тогда Юра:

« — Вот и побеседуем сейчас! — радостно говорит Титов и ставит на стол бутылку, и мы сразу понимаем причину его хорошего настроения. — Я ее так не люблю, а вот пуншик уважаю, — говорит Титов, подразумевая под пуншиком водку, разбавленную наполовину крепким горячим чаем. — Вы меня спрашивайте, я вам обскажу, потом можно записать, как обскажу про наше дело

— Как у вас тут ветры называют? — спрашиваю я для начала.

— А вот слушай! — Титов прихлебывает пуншик, двигается по лавке и закуривает. Кофейные глаза его радостно блестят. — Вот, скажем, так, начнем с севера. Север — он так и будет север. Это ветер дикой, с океана холодный и порато сильный! Дальше идет полуношник, это тебе будет северо-восток. Этот тоже дикой, еще, пожалуй, похуже севера. Пойдем дальше. Дальше будет восток, восток, значит. А еще обедник — этот как бы юго-восток. Эти ветра ничего, хорошие... Дальше будет летний, южный, с гор идет, волон у нас возля берега почти не дает, этот тоже ничего. Шалоник, юго-запад, тот дует днем, ночью стихает, так и знай! Запад — он и по-нашему запад. Ну и последний тебе ветер — побережник, как бы сказать северо-запад. Тот дикой, холодный и взводень большой роет, худой ветер!» (Северный дневник, 80-81). Юра с наслаждением произносил названия ветров, многократно повторял их, как будто смакуя. А какое прекрасное опи-

сание заката: «Навожу бинокль на солнце — оно мрачно-красное и, срезанное наполовину горизонтом, похоже на громадную каплю расплавленного жидкого металла. Капнула капля, расплылась по морю, дрожит и потихоньку тонет, окутываясь красными облаками.

Приходят мне на память рассказы о зеленом луче, ярко блистающем будто бы иногда в последнюю секунду, когда солнце совсем уходит, и я терпеливо жду — не увижу ли? Жду десять минут, пятнадцать, двадцать... И вспоминаю закаты, которые видел на Черном море, — там солнце проваливалось мгновенно, на глазах, и сразу наступала ночь со звездами» (С. д., с. 87).

В первой части «Северного дневника» описано путешествие от Пинегги до Мезени на пароходе «Юшар», с борта которого Юра послал мне телеграмму, она цела, лежит в Юрином архиве. (Она-то цела, а Юры уже почти тридцать лет как нет). С берега этой части Белого моря виден в ясный день Кольский полуостров. Юра пишет:

«Я поднимаюсь опять на угорье и шарю биноклем по горизонту. На десятки миль хватает глаз, но парохода все не видно. Зато я замечаю вдруг то, чего не видел раньше, какую-то призрачную голубую холмистую полосу на горизонте. Берег ли это? Далекий остров? Или облака? Я всматриваюсь до боли в глазах, но не могу решить. Тогда я запоминаю форму этой холмистой полоски, похожей на идущие, поднимающиеся из-за горизонта синие тучи, и на время отвлекаюсь. Минут двадцать я рассматриваю по очереди белух, выступающих далеко в море, и чаек, парящих близко, почти на одном уровне со мной. Потом снова взглядываю на загадочную полосу. Нет, форма холмов не изменилась. Значит, это не облака...

Я начинаю спускаться вниз, время от времени останавливаясь и взглядывая на синюю полосу. На нее почему-то очень хочется смотреть.

— Видна ли какая-нибудь земля с горы, — спрашиваю я внизу.

— А! — говорят мне. — Так это Кольский полуостров. Терский берег...

— Далеко ли до него?


— Километров восемьдесят, тут у нас само узко место на море...

Так вот что я видел, Кольский полуостров!» (113-114).

Написав про Кольский, Юра оторвался от машинки и говорит, что тянет его с тех пор на Терский берег. «Махнем туда, старушка, следующим летом, если будем живы?» И ведь махнули.

Радостно Юра писал в Печорах очерк о Севере. Какие-то местные словечки часто срывались с его языка. Название ветров, название тюленей, и вот еще слово «Агой», ставшее для Юры, а потом и для меня, призывом в дорогу:

61

Министерство  Связи СССР

МУРМАНСК КОМСОМОЛЬСКАЯ 3 ОБЩЕЖИТИЕ
ТЕЛЕГРАММА
ОБКОМА ПАРТИИ БЕЛОСЕЛЬСКОЙ

15 06 25

ПРИЕМ: _____ ГО. Ч. М. _____ Бланк № 27 Пошла: _____	ПЕРЕДАЧА: _____ ГО. Ч. М. _____ № связи: _____ Пошла: _____
---	--

Адрес: _____

МУРМАНСКУ МРМ 190/2 РТ 38 НР 234 23 14 2145 ЗАМ РАДИО —

Службы: _____
Отметки: _____

**ВСЕ ПОРЯДКЕ ЗАВТРА БУДЕМ МУРМАНСКЕ 12 ЧАСОВ ДНЯ РТ 38
УТОЧНИ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ВСТРЕЧАЙ У ПОРТА = ЮРИЯ - 0122**

Тип: 11 УИИ ЛСНХ

6. ТГ 12

Министерство  Связи СССР

Т Е Л Е Г Р А М М А

ПРИЕМ: _____ ГО. Ч. М. _____ № 085 Пошла: _____	ПЕРЕДАЧА: _____ ГО. Ч. М. _____ № связи: _____ Пошла: _____
--	--

**ПИСЬМО-ТЕЛЕГРАММА МОСКВА
Д-98 2 ШУМИНСКИЙ ПР ДОМ 4
№ 25 ЛИТВИНОВОЙ МАРИНЕ**

ТААЛИНА 1/16902 50 19 1930

Службы: _____
Отметки: _____

**МАРИНОЧКА ПРИЕЗЖАЯ СКОРЕЕ НЕ МОЖЕШЬ ЛИ ВЫЕХАТЬ ПЯТНИЦУ
ВЕДЕЬ ПОЕЗДА ИДЕТ В ШЕСТЬ ВЕЧЕРА ТЕЛЕГРАФИРУЯ МНЕ ТАК
ТААЛИН ОБЩЕЖИТИЕ НК ПАРТИИ ОЧЕНЬ ТЕБЯ ЖДУ ПОШЛИ ТЕЛЕГРАММУ
СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ Я ПОЛУЧУ ЕЕ ЗАВТРА УТРОМ ПРИЕЗЖАЯ СКОРЕЕ
ЦЕЛУЮ=ЮРИЯ-**

А5 4.1V-62 г., тпр. 5/9000×100

г. Кострома; тин. им. М. Горького, зав. 2907

«Агой!» — «Прощай!» — говорили в старину моряки земле.

«Агой! Агой!» — говоришь и ты, взбираясь на подножку вагона и последний раз оглядываясь на станцию. «Агой!» — говоришь, садясь верхом, умящаясь в седле, уже чувствуя под собой перекатывающиеся мягкие толчки нетерпеливо переступающих лошадиных ног. «Агой!» — твердишь, видя отходящую пристань, людей, машущих тебе шапками и платками, слыша в глубине пароходного корпуса непрерывную мощную дрожь двигателя» (с. 65). Куда только мы не ездили, не летали, и когда расставались пусть и с недолго обжитым местом, срывалось с языка это прощальное слово.

Быт сладился легко. Мы покупали у М.М. лисички, варили суп, жарили с картошкой. В Печорах был замечательный базар, покупали там овощи, яблоки, а главное, копченное эстонское сало. Такого вкусного я нигде потом не едала. Вторую половину дома Мих. Мих. сдавал одинокой молодой женщине. У нее в саду росли огромные, как лопухи, садовые опята. С ее разрешения мы их рвали — жареные они очень вкусные. Закончив каждый свою порцию писания, мы с Юрой шли гулять. Первым делом — в крошечную лавчонку, где Юра пил стакан портвейна и закусывал шоколадными конфетами «пилот» — шесть — семь штук на сто грамм.

Печоры совсем маленький городок, пятнадцать минут и ты уже на окраине. А дальше с одной стороны поля, с другой — лес. Выходим к железной дороге. Вдоль полотна заросли малины, собираем ее, рвем крупную, сладкую землянику, хотя время ее давно прошло. Железнодорожное полотно нас удивило: одна его часть аккуратно засыпана мелким гравием, потом, как по линейке, черта, за которой начинается неухоженная часть — ни песка, ни гравия между шпалами и вдоль рельс. У меня есть фотография с этим феноменом. Мы не могли найти ему объяснение. Как вдруг увидели пограничный столб с дощечкой, на которой слева написано «Эсти», справа — «Россия». От «Эсти» убегала вдаль ухоженная часть полотна, а от «России» начиналось довольно неприглядное зрелище.

В доме М.М. в большой пустой комнате жила молоденькая девушка Аня, она прислуживала в монастыре. Однажды она угостила нас постным супом из сметков. Вот что написано о ней в моем дневнике того времени (великая жалость, что начало нашей любви — единственное время, когда я писала дневник):

«В доме, где мы остановились, живет девушка по имени Аня. Вчера мы провели вместе удивительный вечер. Комната у неё большая, пустая совсем, если не считать в левом углу у окна небольшого стола, заставленного фотографиями-иконками, заваленного книгами религиозного содержания, (на столе же пузырек с фиолетовыми чернилами, ку-

да Аня макает вечное перо, переписывая и одновременно переводя с древнеславянского писания) и небольшой лавки. Больше из мебели в комнате нет ничего. Спит она на полу у правой стены, на соломенном тюфяке. Аня завесила окно черным халатом, мы с ней сели на пол, на ее постель и она стала рассказывать:

— Бог — это воздух, тончайший воздух, или эфир, эфир этот самый легкий и тонкий воздух, бог это не существо, а естество. Бог создал себе ангелов, таких же, как он сам. Сам Бог безначальный и никем не сотворен. Среди ангелов был один — денница. И т.д. Интересно, бог не велел есть яблоко Адаму и Еве, не потому что это было какое-то особое яблоко, а потому что он хотел их послушания. А люди, которые уже были существа, а не естества, слушались Бога и не могли помыслить ослушаться — ведь они были безгрешные. И ещё: Бог, быть может, и помиловал бы людей, нарушивших его приказ, если бы они покались. А Адам сказал: это меня Ева научила, а Ева сказала: это меня Змей научил. И ещё: Адам оттого отведал от яблока, что ему жаль стало Евы, с которой с момента творения всё жил вместе, он любил её и понял, что гнев Божий на неё обрушится. Вот он и решил разделить с ней гнев, и тоже отведал яблока».

Эта Аня сама была тонкая и легкая, как эфир. Мы подружились, но куда она потом делась, не знаю.

Меня тогда волновали вопросы религии не в смысле необходимости верить, это чувство у меня врожденное, мое собственное (мои родители и даже бабушка — атеисты). Меня волновала связь религии и нравственности. Вот какая выписка имеется в том моем дневнике. К сожалению, не помечено, откуда она:

«Нет духовного наставника и руководителя, который непогрешительно указал бы путь спасения. Мы крайне слабы, и окружающие нас соблазны умножились, усилились, чрезмерно притягивают ум и сердце, отвращают от Бога. Мы столько подчинены соблазну, что даже руководство словом Божиим нами оставлено. Оно требует вести самую внимательную жизнь, чуждую рассеянности, а наша поврежденная воля требует совсем противоположного. Мы устремились к вещественному преуспеянию, к преуспеянию мира; нам нужны изобилие и роскошь, рассеянность и участие в наслаждениях мира. Чтоб достигнуть этого, мы исключительно озабочены развитием нашего естества. Самое понятие об обновленном естестве нами утрачено, Евангельские заповеди пренебреженны и забыты. Делание душевное нам вовсе неизвестно, а телесным деланием мы заняты настолько и с той целью, чтоб казаться перед миром благоговейным и святым, и получать от него возмездие его. Тесный и прискорбный путь спасения оставлен нами, идем широкой дорогой и пространному пути. ...

К концу мира соблазны должны столько увеличиться и расплодиться, что по причине умножения беззакония иссякнет любовь многих».

Вот чем мы тогда были озабочены. Впрочем, эта озабоченность жила и поныне. Так случилось, что в конце шестидесятых годов мне предложили прочитать курс лекций на Курсах переводчиков ООН при нашем институте (ныне МГЛУ): «Перевод английских библеизмов на русский язык». В те годы не только Библию, но и любую объективную просветительскую литературу о религиях достать было невозможно. Она вся хранилась в специальных фондах библиотек. Но, как оказалось, была вполне доступна. Ясное дело, что и я, как все другие, не имела почти никакого представления о предложенном мне предмете. Но я, на счастье, отношусь к тем людям, которые никогда не следуют самой вредной для действия формуле: «да, но...». В том случае я могла бы ответить: «да, но где взять материал для таких лекций, да и вообще подобных исследований не существует». Психологи считают этот подход очень вредным для человеческой деятельности, он убивает инициативу. В таких ситуациях, по-моему, неплохо следовать максиме Ленина: «сначала ввяжемся в дело, а там посмотрим». И я поехала в Новодевичий монастырь, в редакцию журнала «Московская патриархия». Главный редактор Карманов дал мне замечательные книги. Два тома «Библейской истории» Лопухина конца XIX века, и еще переводную с французского на ту же тему. А проректор по науке нашего института не очень охотно, но все же подписал отношение в Ленинскую библиотеку с просьбой допустить сотрудника Института иностранных языков в спецхран. Меня с удовольствием допустили, и я получила возможность читать в Ленинке все, что вздумается. Так я и начала излагать моим слушателям библейские сказания, обогатившие европейские языки фразеологизмами, и на примерах из художественной литературы объяснять, как надо их переводить. Преподавание всего, что связано с Библией, было до такой степени засекречено, что на доске расписаний, вместо названия курса, стояла моя фамилия. Ключевский писал: Россия спасается не законами, а Божьим произволением. Это как раз тот случай. Библейский курс я читала двадцать лет.

Псково-Печорский монастырь расположен необычно, он не на возвышении, а в широком распадке. Передняя и задняя часть монастырских стен очерком напоминают два белых крыла чайки: если стоять лицом к задней стене, то слева она полого сбегает вниз и затем также полого бежит направо и вверх. Монастырь мужской, по его центральной площади то и дело снуют молодые и средних лет монахи в черном, деятельные, как муравьи. Очень красивы главные входные ворота с надвратной церковью. Много паломников, почти все женщины. Вот как описывает Юра:

«Этот монастырь в Печорах — странный какой-то монастырь. Все надо идти вниз и вниз, в овраг, а там внизу — древность, чистота, обилие цветов, там перемешана архитектура новгородская, псковская и киевская, там много церквочек и церквей и одна из них в пещерах — выведена только передняя стена и купола сверху, внутренность церкви в пещере — темнота, хотя и стоял день, только рубиново и зелено мерцали лампы, только жарко и желто горели нестройные ряды и пучки свеч».

Были мы и в пещерах с открытыми захоронениями. Находятся они в древней церкви. В конце XV века православный священник Иван вырыл в склоне песчаного оврага церковную пещеру, которую освятили в 1473 году. Позже пещеру скрыла возведенная стена с входом. И пещера приобрела вид настоящей православной церкви. Паломники ходят туда группами с провожатым. Вступаешь в темноту, тускло освещенную свечками. Очень прохладно. Температура всегда +5 градусов. Длинный мрачный проход, в конце маленький алтарь. На нем горят лампы и свечи. Слева и справа на уровне лица небольшие квадратные окошки, занавешенные черной тканью. Откидываю одну занавеску, внутри темно и штабели черных гробов, или кажущихся черными. Запаха глени нет, наверное, выветрился за столетия. Но от этих гробов, полных истлевшей плоти, мурашки по коже. Здесь, почти до самой революции, покупали себе место захоронения очень богатые люди, не желавшие стать едой для червей.

Аня познакомила нас с очаровательной женщиной Ниной Ананьевной, она из Ленинграда, у нее погиб на войне муж, умер сын, и вот она поселилась здесь под сенью этих старинных стен. Она потом стала моей крестной матерью. Нина Ананьевна познакомила меня со старцем Лукой, монахом Валаамского монастыря еще с царского времени. Вот о нем странички из дневника:

«2.9.60. [Боже мой, ровно полвека назад! Пишу летом 2010 года]

Сегодня второй раз была у старца, игумена Луки. Господи, каким покоем от него веет и счастьем. Вот предо мной две дороги и обе дадут мне счастье. Я ничего сама не буду делать, чтобы выбирать, все в руках Божьих. Одно только я знаю, что сперва пойду по первой дороге — буду всегда, всегда верна душою и телом моему господину, мужу, любовнику, все, что было раньше, уничтожено и сгорело, а когда приму православие, так та жизнь вовсе в счет идти не будет. Я верю, что если и предопределено что для меня промыслом Божиим, так это быть всем Юре, быть тем, что ему нужно. Теперь я знаю, что мой характер формировался не зря, все было для чего-то. Есть у меня теперь силы, спокойствие, незлобивость, любовь, терпение и я даже не могу написать «прощение», потому что Юра ничем никогда, что бы он ни сделал, не будет виноват

передо мной, он для меня всегда прав. Была я у старца. Келья у него большая, голубой занавесью перегороджена на две части. Вторая, меньшая часть, нечто вроде тамбура, куда выходят две двери: одна в кухню, другая в келью к старцу Михаилу. Большая часть комнаты так выглядит: посреди комнаты стол, накрытый в оранжевую клетку клеенкой, завален, заставлен пачками печенья, сахара, свечками, деньгами, сторублевые бумажки и меньшего достоинства, тут же пакет с мукой. Посреди стола букет цветов — астры, георгины и мои любимые флоксы.

(Сейчас Аня сказала, что, когда она вернулась с работы, Юра говорит ей: куда вы дели мою жену. Идите и приведите ее сейчас же. Господи, как я люблю его, я ведь там всё была неспокойна, всё нервничала, как-то он тут. Я его люблю до самой маленькой косточки, и если бы была моя воля, я бы служила ему всю жизнь. Вернее ангела-хранителя).

Ну вот. В комнате очень пахло флоксами, увядающими, и в ней было сумрачно. Окна старца выходят на веранду. Прямо у стены кровать полированная, застланная красивой тканью с лиловато-оранжевыми узорами — цветами и ветками. Эта ткань — одеяло, к нему подшит пододеяльник в головах откинутый, так что его видно. Пододеяльник ослепительно бел. Две подушки. В углу иконы, очень красива эмалевая икона. Под иконами шкафчик вроде тумбочки с книгами стопкой, пустыми конвертами и тетрадями. У изголовья тумбочка с молитвенниками. Толстые, потрепанные книги с крестом на переплете. У окна небольшое кресло в белом чехле. В другом, ближнем к двери правом углу — печка, круглая, белая, железная, до потолка на четырехугольной тоже железной подставке. Налево на стене грамота отцу Луке за беспорочную службу Господу. Абажур шелковый, зеленый, над ним люстра из трех светильников. Я чувствовала себя неловко. Непривычно, а оттого и неловко было называть его «батюшкой». Для меня это слово живо только в «батюшка ты мой», как ласково говорила моя бабушка, обращаясь к брату, когда жалела его или подсмеивалась, любя, над ним. Отец Лука согбенный, в седых, настоящее серебро с чернью, волосах, свисающих с головы, щек, подбородка, и верхней губы. Глаза как будто сперва голубые, а по ним карим пущено, так что каемочка (ободок) образовалась голубая вокруг райка. Губы красные, и не видно сквозь усы и бороду, улыбкой ли они складываются или неудовольствием. Глаза цепкие. Щечки, та часть, что не скрыта волосами, сморщенные, смуглые с легким румянцем, но не сухие. Руки трудовые с длинными узловатыми пальцами, под ногтями земля. Одет в черное платье, на рукавах запятанное, в рукаве виден трогательный обшлаг шерстяной нижней бежевого цвета кофточки. Плечи платья выгорели. Подпоясан широким черным поясом. Меня к нему отвела очень милая и набожная

старушка Нина Ананьевна, много выдавшая и пережившая, и нашедшая успокоение в религии. Хорошо, сказала она, когда нет у человека своей силы воли. Он живет по воле Божьей и ни о чем не горюет, ничего не хочет, ни на что не ропщет. Прекрасное утешение женщине, пережившей мужа и сына. Я ей говорила, как я отношусь к людям, как стараюсь не сердиться, когда мне причинят боль, и даже наоборот, жалею тех, кто другим делает плохое, потом говорила свои мысли о суетности. И она вдруг из всего сделала вывод, что я избранница Божья, что на мне особая Божья благодать, поскольку мне заповеди господни открылись, когда я не крещена и не в религии. Просто они не понимают. Она даже считает, что я — это еще одно чудо. Господи, прости меня, прости мне эти суетные мысли. Ты один знаешь, какая я страшная грешница, Господи, прости меня. Я даже не знаю, хватит ли у меня сил идти по той дороге, что я избрала сейчас. Что это я. Хватит сил. Только воля моего земного господа может прекратить мой путь. Если окажется, что я ему не буду нужна и, наоборот, буду помехой, вот тогда я и сойду с первого пути и встану на второй (*the best but not the least*) — уйду в религию, буду служить только своему господу небесному. А как хорошо старцу, как покойно, интересно только, не тешит ли он гордыню свою, принимая столько людей, благословляя их, говоря слова напутственные. По-моему, нет, он очень простой, добрый, даже простодушный. Он очевидно сознает себя угодным Богу, как орудие в руках Бога, как посредника. Мне он очень интересно рассказывал про Валаам — откуда он сюда приехал. До революции в том монастыре было 1200 человек. Были свои лошади (80), коровушки, гостиница, мастерские всевозможные, переплетная, часовая, резьбы по дереву, медная и т.д. кузница, пекли свой хлеб. Хлеб мешали в квашне, куда входило 9 мешков муки пятипудовых, в середине квашни стержень, на котором лопасти-крылья и поперечная перекаладина. Человек шесть монахов становились к этой перекаладине и ходили вокруг квашни, замешивая тесто. Выходило 70 хлебов. Этого зимой хватало на день. Летом, когда приезжали верующие, пекли две квашни, варили щи, супы, каши, кормили всех. В гостинице было III класса. Пускали не за плату (кто сколько мог, тот столько и давал на монастырь), а по виду, если вид приличный — I класс, а крестьян в III. Мужчин и женщин врозь. Вместе пускали только тех, кого знали. В I мировую войну взяли сперва 500 послушников, а потом еще 200 молодых на войну. А после революции Валаам отошел к Финляндии. Там им жилось хорошо, только притоку монахов не было, и монахи стали вымирать. К 1940 году от 500 человек осталось 200. Там началась война с Россией. Финляндия взяла монахов к себе. Дали им денег, они купили поместье, какое хотелось. А после войны семь чело-

век уехало в Россию. Думали, что им отдадут Валаам. Ну а в Валааме инвалидный дом. Сейчас от тех монахов осталось только 70, и только десять из них пятидесятилетние. Отец Лука не ропщет, но сказал: «Откровенно говоря, жалею. К этому месту привыкать надо. Думали, что в Валааме будем, ведь Валаам, как Родина». Я спросила, не был ли он в Валааме. Говорит, не был, там теперь разор и оскудение, а он хочет, чтобы в памяти у него жил Валаам богатый, веселый, в расцвете».

Еще, помню, отец Лука сказал мне, что они вернулись в Россию, надеясь, что их, семерых валаамцев, не разлучат. А их разослали по разным монастырям. А разговор начал с того, что рад побеседовать не с паломниками, а с мирским человеком. Это ему теперь редко доводится. Показывал мне толстый альбом с фотографиями, иллюстрирующими жизнь дореволюционного монастыря Валаама, в том числе и ту, на которой изображена огромная круглая квашня, летом стоявшая под открытым небом. Когда Нина Ананьевна привела меня к отцу Луке, он принимал паломников, и попросил меня сесть в этой комнате, подождать. Паломники приносили ему свои подношения и просили благословить, целовали ему руку, а он осенял их крестом. Запомнилась мне одна немолодая женщина из Казани. «Батюшка, — говорила она, — дочка у меня выходит замуж за татарина. Ладно ли это, он ведь не нашей веры?» — «А жених-то хороший человек?» — спрашивает Лука. — «Хороший, батюшка». — Ну, дак и пусть выходит». — «А это не грех, батюшка?» — «Какой же грех». — «Благословяете, батюшка?» — «Благословляю, благословляю». Человек пятнадцать было с просьбой благословить на дорогу. Мне пришлось ждать около часа. А потом еще долгий разговор с батюшкой. Вот Юра и заволновался.

У меня сохранилось письмо, написанное рукой отца Луки к одной его московской знакомой с просьбой помочь крестить меня в православную веру. Трогательная орфография. Но я приняла крещение не в Москве, а в следующий наш приезд в Печоры. Крестной матерью была Нина Ананьевна. Мы с ней переписывались. А потом она перестала отвечать. Отца Луку я больше не видела, но в душе у меня осталось к нему родное чувство. Прожив после того августа полувековую жизнь, полную всяких событий, горестных и счастливых, я жалею, что избрала тогда первый путь, который оборвался спустя пять лет, в общем, по воле «моего земного господя» (мне сейчас смешно писать эти слова), а не второй. И не осталась жить в том чудном полурусском-полуэстонском городке среди тихих осколков прежней и нынешней жизни, под многозначительный звон церковных колоколов. Я тоскую по тому чистому времени.

Особенно хороши были наши прогулки в тех окрестных местах, где на поверхность выходит красный песчаник, образуя по берегу неболь-

шой речки скалы и пещеры. С обрыва открывались пунцово пылающие закаты. В дневнике есть такая запись: «Вчера было так. Нет, не описать. Только помню (помню всё — все виденные картинки: речка, скалы с пещерами, остатки старой плотины), но особенно помню небо. Как оно меняло тона. От нежных жемчужных с теплым желтоватым, как хорошо растертый гоголь-моголь до фиолетовых, оранжевых, когда солнце совсем село. Интересно, что ночь, по мере того как солнце садится, сперва отступает перед вечерней зарей, которая, разгораясь вечерними красками, охватывает больше половины неба, и ночь оказывается притиснутой зарей к востоку, от этого синий цвет ночи интенсивен, сдавлен, а потом ночь берет свое, расправляется, как туго сжатая пружина, и затопляет чернотой с красными звездочками всё небо. [Но особенность печорских закатов — именно ярко алое полыхание].

Когда шли вчера, справа виднелся сосновый лес, чернел зубцами по густо синему небу, лес спускался по косогору и сосны были видны каждая отчетливо в свете зари. И тогда я почувствовала вдруг, что от моих ступней, которые касаются податливой [«мягкой» зачеркнуто] прохладной песчаной дорожки, тянутся к этим соснам тонкие корешки и что я крепко связана со всей этой милой тихой природой, и что не поворачивать их и что я хочу вернуться к ним».

Однажды с нами случилась поистине чудесная история. Перпендикулярно Рабочей шла Ивановская улица. Она вела в лес, до которого мы ни разу не доходили. Мы любили гулять по ней. Однажды идем и говорим о музыке.

— Знаешь, миленькая, — говорит Юра, — я очень люблю второй концерт Рахманинова. Помнишь, как он начинается? Гениальный колокольный звон.

— Да, — отвечаю, — я тоже люблю этот концерт. И первый, и третий, но особенно второй. Потрясающий перезвон колоколов.

И в эту самую минуту воздух, а уже смеркалось, гулко наполнился колоколами второго концерта Рахманинова.

Это было чудо. Иначе не назовешь. Музыка доносилась из темневшего вдали леса. Мы поспешили туда. И вот что оказалось. В этом лесопарке был ленинградский пионерский лагерь. Он уже закрылся — последние числа августа. В нем временно остался пионервожатый, ленинградский студент, который тоже очень любил это концерт Рахманинова. Поставил пластинку и пустил звук на полную мощность, для величавости. Мы восприняли это чудесное совпадение как благословение свыше.

В Печорах я еще не заметила пристрастия Юры к спиртному. Он выпивал почти каждый день стакан красного вина. Несколько раз поку-

пал водку. Денег у нас было мало, после вечерней выпивки утром опохмеляться ему не требовалось. Но на одно я обратила внимание: много выпив, Юра впадал в мрачное, подозрительное настроение. Начинаясь ревность к моему «прошлому». Почему меня бросил муж? Я, наверное, изменяла ему. Почему я вышла замуж, не дождавшись встречи с ним? Как жаль, что у меня сын, у его жены первым должен быть его ребенок. Все это грубо, даже оскорбительно комментировалось. Уговаривать его в такие минуты бессмысленно, уговоры не помогали, а еще только поддвигали масло в огонь. У него было сильное воображение, сильная впечатлительность, надолго сохранявшая в памяти пережитое. И еще он был очень ревнив.

Юра как-то рассказал мне такую про себя историю. В 1959 году он был влюблен в умную и красивую журналистку. Их отношения дали Юре материал для рассказа «Адам и Ева». Чувство у него к ней было очень сильное. Летом она уехала отдыхать на юг. Юра ехать не собирался, но скоро соскучился, и, не телеграфировав, полетел к ней. Идет по набережной в предчувствии встречи. Впереди него пара, мужчина с девушкой, он держит руку на ее талии. Юра сразу ее узнал, обогнал их, она шла с красивым, южного типа брюнетом. Этого он ей простить не смог. Он сказал мне, что, когда увидел ее с другим, к горлу подступила рвота. Она приезжала к нему в Голицыно мириться. И тут же уехала, он ее не простил. Я ее видела, красивая молодая женщина с правильными чертами лица.

Вот как я писала тогда в дневнике о своих чувствах к Юре:

«31. 8. 60. Я так себе представляю любовь мою с Ю.П. Вот если бы я была его мать или сестра, то стала бы я дуться, обижаться на него, затаивать мстительные чувства, злобу, ревность? Ясно, что нет бы. И вот что интересно, я, не силясь, не делая над собой efforts, не принуждая себя, ни разу не обиделась за всё время, злобно не ревновала, если иной раз мне и было грустно, так оттого, что мне казалось, что я в тягость Ю.П. Я знаю, что не могу быть в тягость, если отношения дружеские, но вот любовные? Все женщины, которых Ю.П. знал, были очень хороши собой, либо целиком, либо были у них красивые глаза или фигуры или цвет лица и т.д. А я что. Я только знаю, что такой второй любви ему не встретить. Потому что я не к себе его люблю, а к нему. Это точно и это мне странно. И мне очень, очень горько, что я не красавица писанная и не могу петь и оттого не могу дать ему тех радостей, какие дают обольстительные женщины».

Моя мама, доцент педагогических наук, чтобы не развить во мне самолюбования, говорила мне в детстве, что я некрасивая, у меня маленькие глазки и большой рот. Я с таким мнением о себе и росла. Но я ни-

когда из-за этого не отчаивалась, и в моих отношениях с молодыми людьми это мне не мешало. Могла посетовать, но в унынье никогда не впадала. Унынье мне генетически несвойственно.

После разрыва я ни разу не читала дневник. Собрала все письма, телеграммы, билеты, газетные вырезки, письма его друзей, сложила все это в толстую папку и спрятала на полати в квартире моих родителей. Когда Юра умер, я спросила сестру, на месте ли Юрины письма. Она сказала, что не знает, кажется, их выбросили. Но через год она их нашла и отдала мне. Я спрятала письма в большую коробку из-под конфет. Остальное, в том числе и дневник, опять убрала в толстую папку. Так они и путешествовали со мной с места на место. Читать мне их было недосуг. Перечитывала несколько раз только его письмо от 13 июня 1970 года, приведенное в начале этих воспоминаний. Было еще одно позднее письмо. Куда-то оно задевалось, там он пишет о нашей жизни в Алма-Ате. Задевался и оригинал письма к моему дню рождения 1970 г., но я, зная, как легко теряются вещи с переездами, попросила свою первую невестку Лену Белосельскую (первую жену моего сына) переписать его, а оригинал отдала на хранение моей американской подруге Шарлоте Сайковски, московской корреспондентке газеты «Крисчен Сайенс Монитор». После смерти Юры она мне его вернула. Где-то оно схоронилось в моих бумажных завалах. Не теряю надежды его найти. Вообще-то я очень не люблю писать письма, но Юре я писала с большим одушевлением.

Судя по моим записям, Юра в Печорах бывал несправедливо груб, только находясь в подпитье. В 60-е годы до сексуальной революции у нас в России было еще далеко. Тридцатилетняя разведенная женщина в глазах Юры должна быть гнездилищем порока. Он мне рассказывал, что молодые женщины, редакторы его книг в издательствах, были все готовы по его кивку лечь с ним в постель. Оттого у него и срывалось иногда: «все женщины — стервы». К тридцати годам у него сложился определенный круг знакомых молодых женщин — журналистки, редакторы, поэтессы, дочери литературных дам, всё это, как правило, милые, добрые женщины. Я, наверное, первая принадлежала к иному кругу. Отличительной чертой женщин и мужчин этого круга было любимое дело, к которому они относились с самозабвенной серьезностью, видя в нем служение национальной культуре. Это были члены секции художественного перевода Союза писателей СССР — Н.М. Любимов, И.А. Кашкин, О.П. Холмская, Н.Л. Дарузес, М.П. Богословская и другие кашкинцы, Е.М. Гольшева, а также переводчики с других европейских, восточных и античных языков. Все это были русские интеллигенты, носители старой дворянской и разночинной культуры. И неотъемлемым их качеством была высокая нравственная планка. Но и ханжества у этих людей не

было и в помине. Мне повезло, я и по рождению принадлежу к сословиям, где нравственные начала передавались из поколения в поколение. Прадед по материнской линии - герой труда, проработавший на Ижевских оружейных заводах пятьдесят четыре года без штрафов и прогулов, прадед по отцовской линии — государственный крестьянин из Тамбовской области, местный колдун, проживший до ста лет, заговаривал сибирскую язву, как рассказывал мой отец. А в двадцать лет, на третьем курсе института я попала в руки замечательного человека, о котором уже не раз упоминала — Ольги Петровны Холмской. У нее было два главных жизненных правила: «Никогда не делай другому того, чего не хочешь себе» и «Никогда ничего не делай во имя принципа, только во имя целесообразности». А лучшим человеческим качеством она считала искренность, отсутствие двоедушия. И внушала мне это не словами, а всей своей жизнью. Великая ей за то благодарность. Путеводной звездой нашей тогдашней жизни были идеалы, художественно провозглашенные классической русской литературой XIX века. Поэзии Серебряного века я еще не знала тогда — мои наставники, разумеется, знали. Поэзию Марины Цветаевой мне открыла Ольга Петровна, а позже познакомила и с ее сестрой Анастасией. В Голицыно мы читали непубликуемые тогда произведения Бунина, книги Шульгина. Кто-то привезет, и пока все, кому интересно, не прочитают, книга хозяину не возвращалась.

Вспоминая по прошествии полувека тогдашние мои чувства, я пытаюсь анализировать их. Страницы дневника написаны искренним пером, я изливала на бумагу свои чувства. Не только в описании природы и бытовых подробностей старалась изо всех сил быть как можно более точной. Такие чувства простительны лет в шестнадцать, в тридцать, кажется, поздновато. Но мне они и сейчас понятны. Влюбляясь в юности, человек влюбляется в свою мечту, а не в реальное существо, с которым его свела судьба. Так, мой первый муж, отец моего сына, был для меня тургеневским героем, наподобие Лаврецкого. А в жизни от Лаврецкого в нем ничего не было. Это был достойный, уважаемый человек, но не Лаврецкий, и тем более не Рудин. Разлад действительности и мечты и послужил подспудной причиной развода.

Но любовь к Юрию Павловичу родилась не из мечты. На моем пути встретился человек из сегодняшнего дня, осененный призванием Божиим, одаренный талантом, равным таланту Чехова, Бунина. Это боговдохновенный дар, в прямом смысле слова. Я это осознала, прочитав его первую значительную книжку, а ощутила — в самую первую встречу на голицынской улице. От его лица, голубых глаз исходила эманация истинного таланта, которую улавливали и другие женщины, любившие его. Он был уполномочен свыше сочинять рассказы в традициях русской класси-

ческой литературы. (Но подчеркиваю еще раз, без Юриной плоти равный ему талант не породил бы любви в моем сердце). Он для меня был гарантом того, что русскому читателю опять повезло — его опять будут радовать прекрасные поэтические страницы прозы. Как-то осенью 1960 года мы шли по Остоженке, возвращались от его дядюшки, где он познакомил меня со своими родными, я несла несусветную, но вдохновенную чушь о развитии писательского творчества. После рассказов наступает пора романа. И он обязательно напишет роман. Юра молча выслушал мои разглагольствования, а потом сказал: «Зря ты согласилась выпить водки, когда тебе предложили, подумают, что ты выпиваешь». А я согласилась, потому что почла невежливым отказаться и только чуть-чуть пригубила.

Вернулись мы из Печор в начале сентября. Мне надо было приехать к 1-му сентября, я сообщила, что опаздываю на неделю, и меня заменили. Такие вольности мне в институте сходили с рук. Я была ученицей «кашкинцев» и продолжателем их практической и теоретической деятельности. И у меня ладно шла преподавательская работа. Разъехались по своим домам, я в Покровское-Стрешнево. Юра к себе на Арбат.

Юра сейчас же уехал в Поленово, письмо 14 сентября — оттуда. Там он продолжал писать «Северный дневник».

Я восстанавливаю эпизоды нашей жизни по Юриным письмам, которые сохранились не все, по своим письмам, которых всего пять-шесть штук, по телеграммам, конвертам, разглядывая даты на почтовом штемпеле, по сохранившимся билетам. Кое-что удалось восстановить об осени и зиме 1960 и о 1961 годе. В сентябре Юра писал мне из Поленова:

«Хэлло, старушка! Гоод моооорнинг! Сюда тебе показываться не стоит. Тут плохо. Во многих смыслах. Во-первых, я живу в самом поленовском доме, в комнате без печки, но с умывальником зато. Во-вторых как-то я себя чувствую не в своей тарелке — гость, чорт меня побери! В третьих, Поленово мне в этот раз не показалось. Вышел сегодня, походил, позевал и назад. И целый день спал. С 12 до 7.

Не работается. Я знаю, почему: перебил состояние. Понимаешь? Не надо было мне, дураку, уезжать из Печор, а там и добивать очерк. А теперь как-то зеваётся мне от него.

Вообще я тут долго не насижу. Всё-таки постараюсь кончить очерк, а потом домой. И никакой октябрь я здесь не буду.

Это, конечно, в том случае, если я вдруг не очаруюсь вновь Окой.

Грибов здесь полно. Но мне их не надо, и собирать не хочу — нечего мне с ними делать.

Напиши мне что-нибудь весёлое. Я тут взял почитать Д. Лондона, видал рассказ «Маленький счёт...» и даже немного обрадовался, будто тебя увидел. Белосельская! О господи!

Слушай, выбери-ка теперь ты городок, чтобы удобно было до него добраться и быстро. Я приеду с очерком, распишаю его куда-нибудь и мы с тобой закажемся, а?

Ну всего хорошего. Жму твою лапку. И целую, конечно, раз ты так этого хочешь.

Ю. Казаков (подпись от руки).

11 сент. Поленово».

И дальше от руки:

«Я тебе не послал письмо сразу, лень было идти. А теперь и рад — дела налаживаются, начал работать. И Ока вроде ничего. Но все равно в Поленово тебе — ни-ни! Тут плохо. Я вот выберу время смотаюсь в Марфино или в Тарусу, погляжу и тогда вот как: я тут дописываю очерк, потом еду в Москву, дня за 2, за 3 устраиваю его, а затем обратно и жду тебя уже где-нибудь — в Тарусе, Марфино, еще где-нибудь... Вот. А м.б. и вместе поедем.

Ну auf Wiedersein. Да, это будет лучше всего.

Ты помнишь Печоры? Закаты? Поля, красные обрывы?»

А потом было письмо от 14 сентября, которое приведено выше.

В письме Юра упоминает мою фамилию по первому мужу — Белосельская. Этой фамилией я подписывала свои переводы, чтобы отличаться от дочери М.М. Литвинова [Максим Максимович Литвинов (1876-1951), революционер, советский дипломат и государственный деятель] Татьяны Максимовны Литвиновой, которая тоже переводила с английского и позже редактировала для приложения к журналу «Огонек» мой перевод рассказа Стивенсона «Олалла». Татьяна Максимовна была редкой души человек. Для Юры моя фамилия по мужу была наказанием господним. Сколько раз он говорил мне: «Почему, почему ты не дождалась меня, ты должна была знать, что я когда-нибудь появлюсь». Он говорил это с истинным огорчением в подпитье, и с юмором, когда был трезв.

МАРФИНО

Юра поехал в Поленово. А я у себя дома на Щукинской готовилась к своим занятиям, помогала делать уроки сыну. И писала Юре письма в ответ на его послания. Вот первое письмо (не первое, но из тех, что у меня есть, первое), по-моему, ответ на Юрино письмо от 14 сентября. Оно очень длинное, наверное, помещу здесь не всё. Это черновик, чистовика у меня нет:

«12. Понедельник. 9.60.

Добрый денек, дорогой мой! Позавчера только отправила тебе письмо, а сегодня не могу, чтобы не написать. Так привыкла к нашим разговорам. Помнишь, сколько мы всего обговаривали. Вчера читала в Брокгаузе статьи про Ивана Златоуста, Ивана Грозного и Ивана Антоновича (Иван 6). Слушай, тебе надо писать историческое. Любви к русскому и России у тебя довольно, так что будет в твоих вещах и патриотизм, который необходим. Об Иване Грозном я читала еще у Ключевского. Это был удивительный характер. Я его очень понимаю. Вот послушай, то что я сейчас напишу. Это мои собственные соображения. По природе Иван IV человек добрый, умный и понимающий чужое страдание, ум у него более созерцательный, чем деятельный (это не мое наблюдение), но характер составлялся в страшно сложных условиях. Вообрази себя царем всея Руси да еще с властью божественного происхождения. Как может при этом характер исказиться! Здесь есть материал для размышления. Но я сейчас о другом. Иван Грозный имел ум наблюдательный, глубокий, сочувственный, гибкий, и поэтому привлекал к себе людей интересных, талантливых, Сильвестр, Алексей Адашев, Курбский. Но ум у него к тому же был не полностью здоров. Была в нём червоточина — недоверчивость. Причем эта недоверчивость не была врожденной, а родилась в слабом мозгу, подверженном маниакальности. А произошло, по-моему, это вот как. До 1553 года (царю тогда было 23 года, и он царствовал уже 6 лет), никаких грозных деланий за Иваном IV не числилось. В 1553 г. он тяжело занемог. Он хотел, чтобы присягу принесли его сыну. Младенцу. А окружающие, в том числе, самые близкие Сильвестр и Адашев высказались против сына Ивана IV за его двоюродного брата. Вот тогда и было брошено в больной мозг Ивана Грозного первое семя недоверчивости. А могло бы случиться, что болезнь по какому-нибудь иному поводу могла бы принять иное направление. Да и сам братец, которого Иван любил и которому очень доверял, изменил ему, составив партию и метя на трон. Причем, учти, к брату Иван не изменился, узнав о его измене, очевидно, Иван встал на место брата и понял, как велик был соблазн стать царем по смерти его, Ивана. А потому, когда брат присягнул его сыну, он зла на него не затаил. И наоборот назначил его опекуном при своем сыне на случай своей смерти. А вот приближенных своих он понять, а потому и простить, не мог. С его точки зрения им действительно не было оправдания. И только когда болезнь — подозрительность приняла очевидные формы, стала очевидной болезнью, в Иване вспыхнуло недоверие, и он казнил брата страшно, со всей семьей. Это случилось уже в 1560 или 70 году.

А болезнь его развивалась, по-моему, так. Он приглашал к себе кого-нибудь, а так как в часы, свободные от роковой подозрительности, был добр, справедлив и умен, к тому же был царь, то на первых порах ему служили с охотой, причем среди приближенных были люди двух разных толков. Это, во-первых, образованные, просвещенные, великодушные люди, такие по прошествии некоторого времени, убедаясь, что Иван Грозный (не подозревая его больным, а может быть и зная, и от этого еще больше боясь царственного безумца) переменчив, а при смене настроения жесток до кровопийства (при другом воспитании и другом окружении в детстве жестокость могла бы и не вырасти до таких ужасных форм), и безрассуден, и, не видя средств поправить дело, изменяли ему, и при счастливом стечении обстоятельств давали тягу. И с каждой такой изменой Иван становился еще более недоверчивым, а отсюда жестоким, и эти его действия вызывали очередное недовольство и снова измена и т.д.

Видишь, какая страшная трагедия. И как страшно мучился сам царь, не веривший никому, кроме тех некоторых (вторая группа), потерявших облик человеческий, которые по его велению, не раздумывая, с беспримерной жестокостью, были всегда готовы расправиться с неудобными. (Это Малюта Скуратов, Василий Грязной). А царь был безумен, но не тем безумием, при котором человек полностью лишен разума, а тем, когда человек во всем здрав, рассудителен и только в одном не имеет силы справиться с собой, не понимает, что надо справляться. Хотя и раскаивается в своих жестокостях, кровавых действиях, и мучается страшно, но возлагает всю вину на казнимых. Не видит, что у него в душе и оттуда надо начинать, а начинать потому не может, что мозг слаб. Это и есть болезнь. Как говорят, попал под колесо.

Это, конечно, мои собственные размышления. Меня страшно волнует наша история. Подумай, в тех самых местах, на той самой земле (хотя это все очень относительно — и земля парит где-то уже за тридевять земель от того места, где она находилась при Иване, и сама земля уже не та, и кругом все другие. Чудно. Как человек каждую секунду меняется, теперь он не то, что был минуту назад и состоит из других веществ, а форма все та же. И эта форма, содержание которой ежесекундно меняется, постоянно остается. Юрий Павлович Казаков и М.Д. Литвинова не разрушаются от постоянной смены содержимого. Так и место. То, да не то). Сто, триста, пятьсот лет жили люди, наши с тобой соплеменники со своими муками, счастьем, безумием. И мук все-таки, по-моему, было больше. Разные были царствия на Руси. Иваново правление было страшное. А вот Алексея, отца Петра, царствие было прекрасное, тишайшее. Об этом в другой раз.

Дома все без перемен. ОПХ сняла снова ту же комнату в Голицыно, в среду или четверг будем перебираться. У нас дома тоже царствие тишайшее. Вот уж истинно островок в этом мире. Вчера вечером я сижу у себя, (жаль, что ты не был у меня и не видишь моей комнаты) за машинкой. (Написала, между прочим, рассказ. Наверное, пошлю тебе). Димка [сын] лежит на диване и читает. Папа в столовой за круглым столом готовится к занятиям. Володя [брат] чертит. Степка [пес породы «боксер»] храпит во всю. Таня [младшая сестра] приехала с дачи. Ездили за грибами, и она — подонок — забыла очки и ни одного гриба не нашла. Вернулась свежая, прохладная, щеки красные, глаза синие. В брюках, стройная. Хорошая у нее жизнь, наша была труднее. Ну, завидовать нечего, пока ты у меня есть. Крепко тебя целую. Очень скучаю по тебе. Марина.

Я бы к жизни Ив. Грозного такой эпиграф написала:

Лучше быть доверчивым, чем подозрительным.

Лучше обмануться тысячу раз, чем пролить кровь одного невинного человека».

Вот такой черновик. Не знаю, что я оставила в чистом варианте. Но про Ивана точно там было, как явствует из Юриного ответа. Я не без интереса перепечатывала это письмо. Прежде всего, это «дикое историческое» письмо, как выразился Юра, писалось любимому человеку. Я, как видно, представляла его себе таким, какой была сама. И думала, что подробности русской истории должны и его так же сильно волновать. Это только сейчас я понимаю (поняла лет тридцать назад) что художественная, поэтическая одаренность только в сопряжении с гениальным умом готова углубляться в историю, психологию, географию, ботанику и пр. При этом важно еще, чтобы гениальный поэт попал в обучение гениальному мыслителю, хотя это и не обязательно. У нас в России поэтический гений, любивший историю, — Александр Сергеевич Пушкин. В Англии Шекспир — Ратленд, имевший учителем великого мыслителя Фрэнсиса Бэкона. Я потом не раз встречала талантливого художника в широком смысле слова, у которого щупальца таланта не в силах дотянуться до сокровенных глубин человеческого бытия. И еще вспомнилось, что уже в тридцать лет я очень любила историю. Правда, тогда русскую. У меня на полках многотомные русские истории Соловьева и Ключевского. Наверное, поэтому, занимаясь Шекспиром, я сразу начала с того, что старалась уразуметь, увидеть историческую обстановку, в которой появился и творил великий англичанин «Уильям Шекспир».

А 17 сентября Юра прислал мне из Поленова письмо, написанное от руки:

«Meine liber Meri!

Я по тебе тоже соскучился. А ты мне пишешь какие-то дикие письма про Ивана Грозного. Я например страшно рад, что живу не в его царствование. Вот и все мое мнение о нем.

Теперь о нас. У меня дело застряло. Мне надоели очерки. И я поклялся, что больше ни за что, кроме рассказов, не возьмусь. Мне в этом пример Чехов и Бунин — они молодцы, знали свой шесток и не лезли в публицисты. Хотя у Бунина есть «Путевые поэмы»... Но это другое.

Так вот — я застрял. И наверно не уложусь в срок. Поэтому я решил так — в ближайшие дни съезжу в Марфино и договорюсь. Потом, допитавшись здесь, (я заплатил за питание в д/о до 22-го) перебираюсь в Марфино и буду жить до победного конца, т.е. до середины октября. Там будет печка, и деревня, и баня, и осень. И все такое. Молоко, яйца и проч. И там я буду «наблюдать на природу», как говорят кишиневские евреи. И там я буду работать по утрам. Господи! Там я буду плевать на всех и работать, чтоб заработать моральное право мотануть потом в Пицунду валяться на солнце есть виноград и кричатеть.

А вообще я подонок — у меня все планы летят к чорту. Я хотел ехать бражничать в Тбилиси. Ну фиг с ними. Так вот. Ты работай, брось все свои побочные дела, работай по-коммунистически, т.е. набирай часы. К концу сентября — началу октября ты должна быть свободна. И не меньше, чем на 15 дней. А то одно расстройство будет. И бери какой-нибудь перевод. Будешь по утрам потихоньку переводить, чтобы не мешать мне.

А в полдень мы будем надевать сапоги и плащи и выходить. Только обязательно достань настоящий плащ с капюшоном [последние четыре слова подчеркнуты]. Отними у мамы или у Тани [моей сестры — прим. автора] или у кого хочешь. А то я тебя убью.

Вот и все. Я потом тебе позвоню или напишу и все растолкую (расписание пароходов, как ехать и пр.) и буду встречать на пристани, прокопченный деревенским дымом и пропахший навозом и молоком.

Телеграмму получил, спасибо. У меня такое чувство, что я помер; а там где-то продолжается жизнь и печатают то, что когда-то было у меня в сердце и башке.

Очень я пережил смерть Панферова. Хороший был человек. Писатель плохой, но человек — редкий. «Октябрь» теперь пойдет на нет.

Ну, будь здорова!

Ю. Казаков

Поленово 17 сент.

P.S. Я намазал сапоги дегтем и теперь у меня в комнате стоит душу очищающий запах. Я вот капну на лист, а ты понюхай. Это здоровый

6/1. сест

Meine liebe Meri!

Я по тебе тоже соскучиваюсь. А ты мне пишешь какие-то дикие письма про Ивану Трофимову. Я например совершенно рад, что пишу не в его черкешовские. А ты и все мне пишешь о нем.

Писала о нас. У меня уже закончил. Мне кажется эти письма, и не помню, но думаю не за год, трое писем, не больше. Мне в том номере есть и бумага — они хорошие, даже есть шесть и не знаю в каком номере. Хуже у Фрунзе "сест. Дневные письма"... не так хороши.

Ты же вот — я радостен. И думаю не только в духе. Абсолютно я решил так — в ближайшее время еду в Марджан и жить в нем. Думаю, занимавшее время (я заманил за неделю в 9/0 за 22 руб) встретиться в Марджане и буду жить за потерю денег, т.е. до середины октября, там будет перекладка, и сработ. и один, и один, и все так же плохо. Денег и нет. И там я буду, как и раньше на приезде как только кончатся все дела. И там я буду работать по утрам. Засоби! Там я буду писать не все и работать, но заработав больше денег можно купить много в Марджане валиды на улице его выиграл и крикнет. А валиды и паромы — у меня все больше лет к году. Я хотел ехать в Ташкент в Ташкент. Ну фиг с ними. Так вот. Ты работаешь, дела все свои поможешь мне, работай

русский посконный сермяжный запах, а не какой-нибудь там пудры или духов. Я тебя буду мазать дегтем и любить за твою сермяжность».

Когда я сейчас читаю это письмо, я знаю, что было потом, какой конец уготован нашей любви, и мне грустно и горько. А тогда, получив его, я ощутила неслыханное счастье. Может, потому, что я родилась в деревянном доме с русской печкой и не раз жила там до восьми лет, или потому что мой отец был крестьянин, я люблю русскую деревню, парное молоко, запах цветущего картофельного поля, лес, полный грибов и ягод. И возможность пожить с любимым «вдали от шума городского» была для меня таким же счастьем, как и для Юры. Юра писал очерки не очень охотно. Но, получив командировку от журнала или газеты — это давало верные деньги (других верных доходов не было): его очерки публиковали сразу, — тут же по возвращении садился за машинку и писал живые зарисовки виденного. Так появились «Северный дневник», «Калевала», «Белуха». И еще про Вилково.

Я работала в институте. И надо было отпроситься, чтобы в конце сентября и в октябре пожить с Юрой в деревне на Оке. Но я не отказывалась и от другой работы. Делала литературную правку плохих переводов, точнее сказать, подстрочников, которые подстрочниками официально не назывались. И моя работа была их редактированием, точнее, переписыванием. Разница в оплате была большая. Переводчик получал за один тираж сто рублей, плюс потиражные. А редактор — двадцать или, в лучшем случае, — тридцать и без потиражных. Я переписывала с английского, итальянского (сказки Джанни Родари), с испанского и даже с японского и индонезийского. У меня это получалось быстро и складно.

А 20 сентября Юра пишет из Поленова же такое письмо.

«У меня вчера тоже был хороший вечер: получил газету с Брегетом, получил твое милое письмишко и окончательно договорился насчет своего дальнейшего жития.

Ты кричала как-то, что меня любишь, и еще кричала о «делании». Так вот, настала пора деяний. Вот я тебе задам!

Я снял целое поместье на Оке, этакую усадьбу. Там многое есть, но кое-чего нету и это все чего ты должна будешь привезти.

Перечисляю по пунктам:

Коньяк 3 зв. /одну бутылку/.

Простыни и наволочки /штуки по четыре/. [Вычеркнуто ручкой]

Масло сливочное /1 кг./

Кофе молотый /полкило/

Чай /самый лучший — пачки три/

Хлеба белого /побольше/

Колбасы, ветчины и т.п. /побольше/

Патронов охотничьих, заряженных /30 штук/. О калибре я тебе потом напишу особо. [Вычеркнуто]

Кофейник /Может быть, не надо, я тебе напишу/. [Вычеркнуто]

Ленту для пиш. маш. чёрную 13 мм. /Вычеркнуто/

Сахару /2 или 3 кг./

[Неразборчиво] и убытки за мой счет.

Вот кажется и все. Впрочем, наверняка, я что-нибудь забыл, я тебе потом напишу или позвоню.

Это письмо я отправлю тебе из Тарусы, я туда еду сегодня — за карточками, к Паустовскому и позвонить тебе.

Теперь как сюда ехать. На сей день по Оке идут из Серпухова три парохода: один рано утром, часов в пять, второй днём — я не знаю во сколько, на пристани узнаю и напишу тебе, третий в 5 часов вечера. Если будешь ехать с пятичасовым, то из Москвы надо выезжать с тем поездом, с каким выезжал я. На вокзале бери такси, до пристани 12 рублей. Билет на пароход надо брать до Егнышовки. Здесь я тебя встречу. Можно ехать и на машине. Серпухов — Таруса, из Тарусы по большаку до Трубецкого, а оттуда в Марфино. Если будешь ехать на машине, то в Марфине последний дом направо — мой. Но насчёт машины это я на всякий случай, м.б. тебе неудобно будет затруднять отца, или м.б. он будет занят или м.б. вообще ты не захочешь, чтобы он стал участником [«участником» зачеркнуто, сверху ручкой написано «свидетелем»] всей нашей мрачной жизни [«жизни» зачеркнуто, сверху — «любви»].

Осень настанет великолепная. Я тебя очень прошу: бери отпуск на максимально возможный срок, чтобы потом не рыдать у меня на груди, что мало пожила. Да, вот ещё: с 1 октября остаются два парохода из Серпухова: 5 утра и 5 вечера.

Я хочу купить себе тут дом, так мне нравится в Марфине. Понимаешь, как здорово? Такие дали, такие детали, что ай люди! Я дрожу. Дом сдали мне москвичи. Там есть печка — русская. Буду топить и сушить грибы. Грибы ещё есть — белые. Рыба есть — в реке. Дичь есть. Ах, ах!

Теперь относительно рассказа [«Звон брегета»]. Рассказ плохой. Там только одно место хорошее — это когда Лерм. на Зимней канавке и снег идёт. Всё остальное ненатурально и следственно литературно. Но всё равно я его люблю, и если мне будут говорить о нём плохо, я стану рычать и драться. Этот тип из Комсомольца написал мне, что беспрерывно звонят читатели и спрашивают, где можно достать мои книги.

А ты обратила, старуха, внимание на мою фамилию? Она набрана такими аршинными буквами, что это дело даже несколько компенсирует для меня те 600 руб. кот. я получу за рассказ. Никогда в жизни фамилию мою так не наберут. Счастье мгновенно и единично в нашей жизни.

1961 20 сент.

У меня вчера тоже был хороший вечер: получил газету с Брегетом, получил твоё милое письмико и окончательно договорился насчёт своего дальнейшего жития.

Ты кричала как-то, что меня любишь и ещё кричала о "делании". Так вот настала пора деяний. Вот я тебе задам!

Я снял целое поместье на Оке, этакую усадьбу. Там многое есть но кое-чего нету и это кое-чего ты должна будешь привезти.

Перечисляю по пунктам:

1. Коньяк 3 зв. /одну бутылку/.
2. Простыни и наволочки /штуки по четыре/.
3. Масло сливочное /1 кг./
4. Кофе молотый /полкило/
5. Чай /самый лучший - пачки три/
6. Хлеба белого /побольше/
7. Колбасы, ватчины и т.п. /побольше/
8. Патронов охотничьих, заряженных /30 штук/ 0 калибре я тебе потом напишу особо.
9. Кофейник /Может быть, не надо, я тебе напишу/
10. Ленту для пил. мащ. чёрную 13 мм.
11. Сахару /2 или 3 кг/

~~Простыни и наволочки за мной снеси.~~

Вот, кажется, и всё. Впрочем, наверняка я чего-нибудь забыл, я тебе потом напишу или позвоню.

Это письмо я отправляю тебе из Тарусы, я туда еду сегодня - за карточками, к Паустовскому и позвонить тебе.

Письма ты пишешь мне гнусные - какие-то литературно-исторические. Ну да бог с тобой.

Я тебя прощаю.

Адрес мой теперь такой: Калужская область, Тарусский район, дер. Марфино. Мне.

Да, я вспомнил, пароход /второй/ приходит в Поленово в 11-08, значит из Серпухова выходит он часов в девять утра. Это тебе не подходит, очень рано. Так вот, значит, останется только один пароход: 5 часов вечера. В Марфино он приходит часов в 9 вечера. Из Москвы ты помнишь поезд - 2 часа 4 минуты, кажется.

За день или за два тебе нужно меня известить телеграммой о дне своего въезда.

Вот и всё пока. Будь здорова.

Митя

20 сент. Поленово.

* А вешалки - стилизованные!

Я тебя жду в конце сентября или в начале октября. Но если ты сможешь освободиться раньше, то это будет вообще такой бенц, такой бенц, что я помру.

А за водой надо ходить глубоко вниз, к Оке, к роднику, а потом, высунав язык, карабкаться вверх. Я так замучился с этим делом, что вот уже дня четыре ничего не пишу. Очерк мой завяз окончательно. И вообще я помираю без тебя. Нету, понимаешь ли, — как это слово, симптомов*, что ли? Ну, в общем сверхзадачи.

Письма ты пишешь мне гнусные — какие-то литературно-исторические. Ну да бог с тобой.

Я тебя прощаю.

Адрес мой теперь такой: Калужская область, Тарусский район, дер. Марфино. Мне.

Да, я вспомнил, пароход /второй/ в Поленово в 11-08, значит из Серпухова выходит он часов в девять утра. Это тебе не подходит, очень рано. Так вот, значит остается только один пароход: 5 часов вечера. В Марфино он приходит в 9 вечера. Из Москвы ты помнишь поезд — 2 часа 4 минуты, кажется.

За день или два тебе нужно меня известить телеграммой о дне твоего выезда.

Вот и все пока. Будь здорова.

Юрий

20 сент. Поленово.

*А вспомнил — стимулов!»

В этом письме — отклик на одно из моих посланий, в котором есть такие строки: «Сегодня утром, отправив Димку [сына], я легла досыпать и не уснула, а долго тебе рассказывала, как по-доброму я к тебе отношусь. И все хорошие слова точно соответствовали тому, что имеется в душе. А эти слова, оттого, что они означают хорошие человеческие чувства, приобрели от своих значений привкус наигранности, сладости, неискренности и сентиментальности, но других-то слов нет. Я приуныла. А потом вот что поняла: всякое чувствование душевное обязательно материализуется. Оно, если только оно в самом деле имеется, не удовлетворится тем, что ему соответствует, как вывеска, почетное слово (любовь, доброта, верность и т.д.), — а обязательно проявится в «делании». И вот по «деланию»-то и надо судить о том, что в душе. Темно что-то я пишу, только ты пойми, что я хочу сказать».

Судя по Юриному письму, он понял мое понимание «делания», взывая ко мне, чтобы я осуществила его.

Мне удалось договориться с кафедрой и деканатом, и меня отпустили на месяц, до ноября. Числа 24 я отправила Юре такую телеграмму

(черновик на телеграфном бланке): «Калужская обл Тарусский район дер Марфино Казакову Юрию Павловичу

Сбиралась выехать воскресенье [25 сентября] отпуск дают задерживает книга Гарди Кажется придется переводить с Андреем Сергеевым роман Вудляндеры 24 листа условия хорошие Все окончательно выяснится в понедельник или вторник Тоска сидеть в Москве однако делать нечего напиши что еще захватить Целую Марина»

В тот год осень была чудесная. Я выехала из Москвы, наверное, в среду или четверг — 28 или 29 сентября. Было очень тепло. Хорошо помню, как ходила по залитому солнцем Серпухову в поисках коньяка три звездочки, и помню доброго продавца в маленьком магазинчике, который радовался, что у него нашлась последняя бутылка именно такого коньяка. Все остальное было куплено в Москве. Юра нервничал, что пароход, на котором я поплыву, не остановится по просьбе пассажиров у Марфина. 26 сентября один вечерний пароход не остановился, он даже написал жалобу в речное пароходство. И получил такой ответ:

«Тов. Казакову Ю.

26 сентября в 13—10 пристань Егнышевка проследовал теплоход М—251 на вахте находился капитан тов. Шевченко.

Вторично даём указание всем капитанам пассажирским судам по требованию пассажиров производить остановку Трубецкое.

Капитан т/х М— Капитан т/х М—251 тов. 251 тов. Шевченко предупрежден.

Зам. Начальника

Серпуховской РББ [роспись] /Макарёнков/

5—X—60г.»

Я благополучно добралась до пристани, люблю путешествовать по незнакомым местам. В тот день на теплоходе — это был совсем маленький кораблик, белый, с верхней палубой и нижним помещением для пассажиров — плыло всего два пассажира: немолодой аккуратного вида мужчина и я. Помню, мы с ним разговорились о местном житье-бытье, но о чем точно был разговор, запаматовала. Помню, что разговор был душевный. И капитан оказалась приветливым и сочувствующим человеком. Конец сентября, темнеет рано. Мы плывем, плывем, час, другой, третий. Я беспокоюсь, что Юра не получил мою телеграмму и не выйдет меня встречать. Как я доберусь до его дома? Берег по правую руку, где находится Марфино, высокий, порос дубами. Я вышла на палубу. В воздухе сильно пахнет опавшими дубовыми листьями, запах как от стружек химического карандаша. Сказала капитану о своем беспокойстве, и он утешил меня. В том месте, где теплоход причалит, на

половине склона стоит домик бакенщика, я его сразу увижу. У него можно переночевать, такое бывало. А утром бакенщик проводит меня до деревни.

И вот, наконец, теплоход стал разворачиваться. Крошечная пристань, темно, хоть глаз выколи. Кажется, на ней никого нет. На носу у теплохода прожектор. Его сильный луч, поворачиваясь, высвечивает Юрину фигуру. В руке у него фонарь, но не зажженный, он побоялся, что меня на теплоходе нет, а капитан, завидев свет фонаря, подумает, что надо взять пассажира и напрасно причалит. Но я там была, попрощалась с капитаном, спутник мой уже давно сошел, и соскочила на дощатый причал.

Ночь, сильные запахи реки, осеннего леса. Теплоход прощально загудел, повернул и скоро слился с чернотой ночи. И мы с Юрой зашагали по береговому склону наверх. В одной руке у него ведро, в другой мой чемодан. Я несу сумку и фонарь. Мы следуем к нашему первому жилью — снятому деревенскому дому. Он точно описан в «Осени в дубовых лесах». А вот как я описала на листке из амбарной книги (откуда она там взялась?):

«Мы живем в деревне. Наша изба на самом краю. За ней начинается большое озимое поле, изумрудно зеленое и ярко свежее, с двух сторон его окаймляют аллеи старых лиственниц, которые уже пожелтели и стоят пушистые, лимонного тона. Напротив нашей избы птичник длинное, сложенное из почернелых от сырости бревен, укрепленных на красных кирпичных стояках, крыша соломенная. Наша крыша тоже соломенная, подернута мхом, мох покраснел — осень. Живописно. На птичнике работает тетя Дуся, в ее распоряжении 1100 цыплят, белых, черных и пестрых. Раз по пять на день она скликает свою живность и тогда слышен певучий с подъемами и падениями, протяжный, всегда одного ритма крик; у — рю — рю — ю, у — рю — рю — рю — ю». За цыплятами прилетает коршун». Вот, к сожалению, и все.

Прожили мы там, наверное, дней пятнадцать, потому что уже 19 ноября Юра пишет письмо из Гагры. Вот оно:

«Здравствуй, Мариночка!

Я приеду 26-го в два часа (или в 3) дня, это, кажется суббота, ты, пожалуйста, сиди дома я тебе позвоню и мы пойдем в «Прагу» и выпьем и чего-нибудь слопаем. Только ты не ешь, а голодай, чтобы вкусить всего со сладостью.

Я тут не работал совсем, обстановка не располагал. Но есть идеи. Одна из них: поселиться наподобие Р. Райт в Голицыно на всю зиму. Ходить на лыжах и работать.

Чтоб ты не скучала, я посылаю тебе песню, которую сам сочинил. Ее можно петь на слова «Я безумно тебя люблю» или «жестоко ранен тобой»

Вот она

Allegro Moderato (довольно быстро, с джазовым оттенком)

[Дальше идут ноты]

Сейчас тут шторм, ветер, пахнущий розами из Турции. Машину — ту, которую тебе предлагали — к чертям. Я покупаю новый Москвич т.е. новой модели.

Привет!

Гагра (?) XI 60г.»

У меня есть еще одно письмо Юры из Тарусы, написанное 9 сентября, а какого года — неизвестно:

«Ну вот я и сподобился и опять побывал в Марфино.

На этот раз мы нырнули правее деревни, если заезжать в нее со стороны холмов, это мы сделали, чтобы миновать Терентьевых [хозяева дома, который мы снимали осенью 1960 года].

Ночью был мороз, утром иней, туман. До девяти часов нельзя было выехать, ничего не было видно, хотя и видно было, что наверху солнце, и пароходы гудели предостерегающе внизу. Зато потом какой зацвёл день! Мы ехали вверх и вниз между золотых лесов, зелёных озимых по скатам, паутина сверкала, и всё летела, летела навстречу — эти длинные нити, упругие, толстые, так что мы головы невольно пригибали, когда что-то блестящее протягивалось вдруг перед глазами.

А в лесу, когда мы проехали по аллее / не той, кот. ведет вниз к роднику, а по той, по которой мы ходили за грибами/, вывернули в поле, съехали вниз — опять, как и тогда, сидели грибы и ждали нас. И так же шумели под ногами листья и проглядывалась внизу река, и звуки идущих катеров доносились оттуда. Мы обошли эти бесчисленные параллельные овражки, которые начинаются еще в поле и идут к реке, нашли много белых и хороших подберёзовиков. Было так тепло, что мы разделись, а я всё припоминал и говорил «вот там должны быть грибы» и шёл туда и там они были. И ещё, когда мы проходили под дубами, то так много было на земле, под листьями, желудей, что они хрустели у нас под ногами. И как это я забыл про этот слабый звук и не упомянул о нём в «Осени в дуб. Лесах»?

Вот так я пока и живу — ковыряюсь дома в словесах и езжу почти каждый день за грибами то туда, то сюда, всё по старым местам. И осень теперь в самой поре, в самом своем накале — раньше было много зелёного, позже начнёт «с печальным шумом обнажаться» — теперь ночами холодно, утром туманы, днём совсем тепло, и сколько это еще продержится, так и ждешь, вот-вот оборвется, дожди пойдут, сырость и мрак, и станет пакостно.

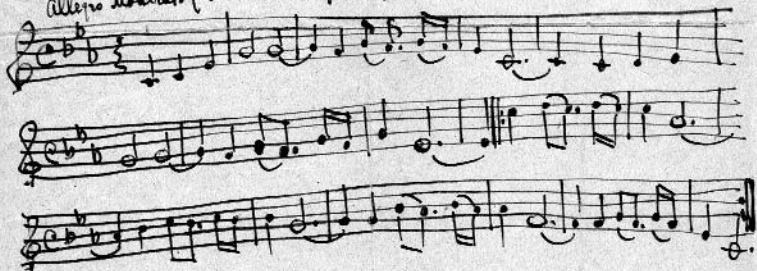
Здравствуй, Мариинка!

И музыку 26^ю в 2 часа (или 3) дня, до концерта,
свобода, тишь, помалкивай, иди дома и тебе музыка
кто и как пойдешь в "Транс" и в общем и про-небось
словами. Главное ты не спи, а работа, чтобы звучать
всего со старостью.

И тут не работа сейчас, а работа не работа
но с ее ужен. Вдруг и так: поспити на работе в. разит
в Поминание на всю жизнь. Худит на работу а работа.

Тут ты не играешь, а работа тебе некуда, потому
сам смотри. В работе не на слова, а работа
тебе некуда или "тебе некуда"

Вот это
Allegro Moderato (только не быстро, а умеренно)



Сейчас ты не играешь, а работа тебе некуда, потому
сам смотри. В работе не на слова, а работа
тебе некуда или "тебе некуда"

Привет!

Твой В.Д.

музыка 19 (?) № 60.

Засим — прощай. Наверно скоро наведаюсь я в Москву, я тогда тебе позвоною может быть накануне. Как ты там?

[Подпись рукой] Юрий»

Печальное письмо, если не сказать горькое. Причем горечь не от злости на меня, а от осеннего печалования. Думаю, думаю и не могу отнести это письмо ни к одному году из наших пяти.

Я долго вспоминала, о какой машине идет речь. Мне, помнится, никто никаких машин не предлагал. И вдруг в памяти всплыл один фантастический для тех времен эпизод, который, кажется, имеет отношение к словам «ту, которую тебе предлагали». Об этом эпизоде я недавно слышала мимолетное упоминание с экрана телевизора, а он был мощный и симптоматичный. Вдруг прошел слух, что строится где-то на Украине завод дешевых малолитражных автомобилей. Слух был упорный, говорили о таком неслыханном счастье — дешевый автомобиль, и по всей Москве ходили отпечатанные типографским способом листовки с рисунком этого автомобиля. Об этой малолитражке я, наверное, и написала Юре в одном из писем.

Вспоминая свою жизнь, лучше узнаешь себя. В юности я отличалась сильной застенчивостью. В институте стеснялась делать на семинарах обязательные доклады, вместо них — писала сочинения. Так для семинара по английской истории написала про начало английского рабочего движения в конце XIX начала XX веков. До сих сохранились в памяти два первых рабочих лейбориста в английском парламенте, ничего не попишешь, таков ход истории. Фамилии преподавателя, интеллигентного ученого старика, не помню, но помню, что он жил на Вспольном переулке, куда я отнесла ему мою работу за день до экзамена, узнав в деканате его адрес. Это было на первом курсе, 1948 — 49 учебный год. Нашему поколению, конечно, повезло, у нас были замечательные преподаватели, носители дореволюционной культуры. За этот доклад он поставил мне пятерку по истории Англии без экзамена.

Застенчивость у меня проявилась еще в детские годы. Мой отец преподавал в военно-железнодорожной школе в Лосиноостровске, попросту говоря, в Лосинке. Сотрудникам школы дали несколько путевок в Артек для детей-первоклашек. И одна путевка досталась отцу. Детей было четверо, с нами поехала мама одной девочки. Путевки были в Верхний лагерь. Пионерский лагерь Артек делился тогда на три лагеря: Верхний, Нижний и Сууксу. Верхний был на горе, Нижний на море. Сууксу тоже на море, во дворце, где в огромной столовой на первом этаже одна стена вся зеркальная, отчего столовая казалась еще больше. Изначально было два детских лагеря — Верхний и Нижний. В Сууксу отдыхали ответственные партийные работники. Но однажды в лагерь приехал член правительства

В.М. Молотов, и артековцы спели ему песню «У Артека на носу приютился Сууксу, / Наш Артек, наш Артек, не забудем тебя век». Молотов расчувствовался, и правительство постановило отдать пионерам и дворец.

По приезде в лагерь, нас повели в приемное отделения, и я по дороге потерялась. Долго бродила между строений, спустилась вниз к морю. Кто-то обратил на меня внимание, взял за руку и отвел в группу малышей с путевками в Сууксу. Там я и осталась. Нам выдали матросские бушлатки и фланелевые лыжные костюмы. Дело было в конце декабря, и легкая одежда даже в Крыму не годилась. Наш отряд был девятый, председателем выбрали самую красивую девочку Тома, а меня, Муру (так меня тогда звали) Литвинову, назначили ее заместителем. Тут и определилась моя дальнейшая жизненная роль — быть всегда на втором месте. Тома заболела, отдавать рапорт на утренней линейке предстояло мне, и оказалась, что из-за застенчивости это мне не по силам. Площадка для линейки была прямо перед дворцом. Девять отрядов выстраивались вокруг мачты с флагом, который поднимался каждое утро, и старший пионер вожатый, стоя у мачты, принимал рапорты всех председателей отрядов. Надо было выйти из строя, подойти четким шагом к пионервожатому, отдать ему пионерский салют и сказать следующие слова «Товарищ старший пионервожатый, голосует девятый отряд. В отряде по списку числится двадцать человек, на линейке присутствует девятнадцать, одна больна. Отряд к работе готов, заместитель председателя отряда Мура Литвинова. Рапорт сдан». Тома всегда произносила слова звонко и без запинки. А я, хотя до сих пор помню их наизусть, стала запинаться, заикаться, старший пионервожатый смотрел на меня ласково и сочувственно, и, не дождавшись конца моего лепетанья, сказал «Рапорт принят», и я с позором побрела в строй. Пионервожатая нашего отряда после этого меня невзлюбила.

Но когда дело шло о важном мероприятии, которое лично меня не касалось, и было общественным мероприятием, мою застенчивость как рукой снимало, я умела выступить перед публикой, отстаивая правоту дела. Не помню, как случилось, что все заинтересованные в покупке дешевого автомобиля — несколько тысяч человек — собрались в один прекрасный день на огромном поле на окраине Москвы для обсуждения плана действий. (Это было уже позже того письма из Гагры). Весть об этом облетела столицу молнией. Мы встречались на этом поле не один раз, дисциплина была идеальная, милиция не вмешивалась. Был организована инициативная группа, в которую выбрали и меня. Наша цель — выяснить все подробности создания нового автомобиля и начать предварительную регистрацию очереди на его приобретение.

Трое из группы, в том числе я, отправились ходить по вышестоящим инстанциям: ЦК Партии на площади Ногина, в Центральный комитет

профсоюзов (кажется, он не так назывался) на Ленинском проспекте, и в общесоюзное министерство, ведающее строительством автомобильных заводов. В них была совершенно разная трудовая атмосфера. Нашей целью было не только выяснить, действительно ли строится завод, но и довести до сведения важных начальников необходимость производства для народа общедоступной легковой машины. Начало шестидесятых, настроение боевое. Среди инициативной группы были влиятельные люди (один — полковник), и нам удалось получить пропуск в ЦК партии. В ЦК было чинно, никакой суеты, длинный, темноватый, пустой коридор, пропуска и паспорта проверены с любезной строгостью. Принял нас спокойный, внимательный человек, выслушал, подробно расспросил, сказал, что о строительстве проверит, согласен с нами, что народу нужны дешевые автомобили и посоветовал обратиться в ЦК профсоюзов и в министерство. С тем мы и ушли.

Совсем другая атмосфера царила в профсоюзном штабе. Полные солнечного света широкие коридоры, добрый привратник, который и смотреть-то не стал наши паспорта, пропуск туда не нужен. Выслушав, по какому делу мы пришли, он отправил нас в какую-то комнату на втором этаже. В коридорах тоже пусто, двери в некоторые кабинеты открыты, там сидят профсоюзные чиновники, читают книги, пьют чай. Делом явно не обременены. Нас принял в просторной светлой комнате приятного вида мужчина, обрадованный вторжением людей, разогнавших его скуку. Мы опять долго рассказывали, показали картинку автомобиля, назвали предполагаемую цену. Сумму, к сожалению, не помню, и то сказать, события полувековой давности. Он очень хвалил нашу инициативу, обещал, если понадобится, содействие. Мы, разумеется, понимали, что все это треп.

По-настоящему деловую атмосферу мы встретили в министерстве. Там по коридорам сновали серьезные люди с бумагами. В открытые двери кабинетов виделись с жаром беседующие сотрудники, с нужным нам человеком мы говорили почти что на ходу. Он остановился, сказал, что у него мало времени. А когда мы ему вкратце все изложили, опять показали плакат с автомобилем, он расхохотался. «Даже внешний вид раздобыли! Откуда?». Названную нами цену отверг. Сказал, что машина, действительно, задумана. Она будет дешевая, но не до такой степени. Хотя и доступная. Никаких сроков не сказал, и где будет делаться, не сказал тоже. Очередь создавать рано. Составленные нами списки не действительны. Но разговаривал с нами с интересом и уважительно. Дело в том, что мы, действительно, представляли собой хорошо отлаженную, самостийно возникшую организацию из нескольких тысяч людей. Тысячи были разделены на сотни, сотни на десятки, во главе

каждой сотни — сотник, во главе десятки — десятский. Были составлены списки, у меня в архивах сохранились, кажется, написанные разными почерками листы с фамилиями. Я возглавляла тысячу, и у меня долго хранились все эти листы с тысячами имен и фамилий. Было принято решение, для функционирования инициативной группы (поездки, бумага и т.д.), собрать по рублю с каждого участника. Но деньги собрать, к счастью, не успели. В каком-то из этих трех учреждений, скорее всего в министерстве, удивились, как это власти не обратили внимания на такое скопище народу. А если бы еще был сбор денег, уголовного дела инициативной группе было не миновать. Об этом мы не подумали — так силен был тогда воздух свободы. На этом эпопея с дешевым народным автомобилем закончилась.

Но вернемся в Марфино. Вошли в избу, я достала привезенную снедь — хлеб, чай, масло, колбасу, конфеты, коньяк. Из русской печки достали горячий чайник. Юра заварил чай. Мы были так рады друг другу, очутившись в четырех бревенчатых стенах, отделявших нас от всего света.

Широкие сени, слева большой крытый двор. Известное словосочетание «удобства во дворе» к этой усадьбе неприменимо. Удобств вообще нет — ни во дворе, ни в сенях. Это еще усиливало неповторимость марфинской жизни. Справа вход в избу, состоявшую из одной комнаты. По левую руку большая русская печь, под печью неглубокая выемка, где лежат ухваты и кочерга. Справа к ней примыкает широкое ложе с подушками, накрытое одеялом, дальше пустой промежуток, ограниченный стеной, противоположной входной двери. В ней в середине — окно, перед ним стол, который стоит не вплотную, между ним и окном старенькое кресло. За этим столом, спиной к окну, Юра стрекочет на машинке свои сочинения. В правой стене тоже окно, в углу под низким потолком висит на ремнях допотопный радиоприемник. А шагах в четырех от стола в сторону двери легкая сквозная перегородка из планок, которая отделяет кухонное пространство от «кабинета». Тут есть стол, где я готовлю и смотрю сквозь широкие щели, как Юра пишет. Он еще в Печорах сказал, что никогда не мог работать, когда кто-то есть в комнате, а со мной, оказалось, может.

Так мы и зажили в русской деревне на берегу Оки. Две недели, полные до краев счастья. Мне даже не верится, что жизнь эта длилась всего две недели, такие они были насыщенные.

В доме есть все для любви, работы и чтения. Нет только главного для поддержания жизни — запасов еды и отхожего места. Со вторым мы справлялись просто. Ходили каждый день в лес, и, разойдясь в разные стороны, отдавали дань природе — в чащобе. Если же погонит вечером,

когда сидишь в доме, возьмешь саперную лопатку, идешь в огород, роешь ямку и оправляешься. В общем, с этой естественной надобностью особых затруднений не было.

Хуже было с едой. Рынка в деревне нет. Решено идти по домам, осень, урожай собран, наверняка кто-нибудь продаст нам картошки и овощей. Деревня маленькая, несколько домов. Постучались в один — никого нет, постучались в другой, вышла здоровая за сорок, справная женщина. Просим ее продать нам морковки, свеклы, картошки. И получаем отказ. Сейчас цены на овощи очень дешевые, продавать невыгодно, не то, что зимой, а по зимним ценам продавать стыдно. Так и не продала. Очень расстроенные, постучались в следующий дом. Замечу, что заборов в Марфине нет. Дом этот был очень большой. Вышла старуха лет под семьдесят, приглашает войти. Большая светлая горница, лавки особые — с подлокотниками и спинкой. Особый, недеревенский, дух, говорящий о былом достатке. Спрашиваем, ни на что не надеясь, не продает ли она овощей.

— Зачем продавать, — отвечает она, — я вам и так наберу. — И ведет нас во двор, к погребу. Это такая глубокая круглая яма в земле, сверху прикрытая дощатым сооружением, вроде двери. Открывает ее, берет Юрин рюкзак, спускается по лестнице вниз. И минут через пять вручает Юре его большой рюкзак, полный картошки, моркови, свеклы, лука. Спустилась еще за кочаном капусты. Мы — благодарить ее, предлагаем деньги. Не взяла.

— За что, — говорит, — деньги? У меня столько всего этого, что и не убавилось.

Мы потом с Юрой подумали, что людям свойственно делать добро. А тем более в такой глуши. Небось, старуха ляжет сегодня вечером спать, вспомнит свое доброе дело, и, сладко вздохнув, уснет. На чем я готовила, не помню, кажется, на керосинке. В лесу мы собирали валежник и топили печь. Юра научил меня тушить на сковородке в подсолнечном масле овощи — нарежешь свеклу, морковку, капусту, картошку, лук, и тушишь все это часа полтора. Вкусно, пальчики оближешь. Ходила я в соседнее село Трубецкое. Там была маленькая сельская лавка, в ней, кроме водки самого низшего качества — «сучка», который, как поговаривали, гнали из опилок, — были только макароны, подсолнечное масло, рыбные консервы с крупой и килька в томате, ну и, конечно, сахар, соль и спички. В день полочки вокруг лавки (она стояла посреди небольшой площади, поросшей зеленой травкой) веером лежат вусмерть напившиеся мужики. Я туда ходила за сахаром и маслом. Дорога идет полями, одни ярко зеленеют, другие, под паром, уже присыпаны первым снежком и похожи на гречневую кашу с молоком.

В первые дни мы собирали в лесу грибы, в основном волнушки, я их солила по рецепту Юриной мамы. Юра захватил с собой гвоздику; чеснок и укроп дала добрая марфинская старуха, которую потом прочитав в Тарусе «Матренин двор» Солженицына (рассказ тогда назывался «Не стоит село без праведника»), я отнесла к солженицынским праведникам. Скоро у Юры кончилась бумага. Достать ее можно только в Тарусе. И я решила отправиться туда на попутках. Вышла из деревни по большаку, ведущему на шоссе. Иду, слякоть ужасная, я в резиновых сапогах, чавкая по лужам, особенно глубокие обхожу. И тут меня нагоняет грузовичок, на нем везут в больших бидонах молоко с фермы. Останавливается рядом со мной, шофер спрашивает, куда это я иду. Отвечаю, в Тарусу. И они туда же. Втащили меня в кузов. И покатали по выбоинам, под звяканье бидонов. Была уже глубокая осень. Ядреная, бодрящая свежесть. На фоне темно сизого низкого неба тонкие белые ветви березы походят на нервы человека, как их рисуют в анатомических атласах. Мне тогда много приходилось ездить осенью, и это сравнение всегда приходило в голову. Купила в Тарусе бумаги, колбасу, сыр, конфеты и тем же днем вернулась, опять на попутках. Опять шла по слякоти и поняла, почему сапоги — русская национальная обувь: их шить дешевле, чем строить дороги.

Юра каждое утро работал, я читала Томаса Гарди, которого предстояло переводить для Госиздата. Работал он до обеда, после обеда прогулка в лес, последние дни грибы встречались только замерзшие. Теперь-то я знаю, что и из них можно суп варить, а тогда мы ногами сбивали звонкие ледяные подберезовики, и одно блюдо из нашего рациона выпало. Юра тут написал «Красную стрелу» и почти закончил «Северный дневник». Я тоже пыталась что-то писать. Юра это мое стремление не одобрил, сказал, в семье двух писателей быть не может. А когда мне в голову приходил сюжет (один был из жизни советских литературоведов), он говорил: не пиши, испортишь, я это сам напишу. Но не написал. У него было тогда много жизненного материала для своих сюжетов.

Грибы грибами, но без мяса-то скучно. И опять мы отправились в деревню, на этот раз за курицей. Нашлась хозяйка, которая продала нам живую курицу, но наотрез отказалась порешить ее. Принесли курицу в избу, она стала летать по дому, потом забилась под печку и не выходит. Юра говорит: рубить ей голову будешь ты. Я категорически сказала — нет. И он понял, что я буду твердо на этом стоять. Мне до сих пор больно вспоминать эту историю про курицу. Юра хотел куриного супу, мяса. Для этого надо было убить. Как мы гонялись по избе за этой беднягой, понявшей, что пришел ее смертный час! Юра тоже на всю жизнь запомнил это печальное происшествие. Ощипали мы ее, свари-

ли, она оказалась старая, тощая и жесткая. И суп был почему-то невкусный. Так нам и надо.

В Трубецкое я ходила и за водкой. Она там была отменно плохая. А однажды и ее не оказалось. Мужики мне сказали, надо плыть в Егнышевку, там водка всегда есть. Вернулась с пустыми руками домой, говорю Юре, надо плыть в Егнышевку. Егнышевка прямо напротив Марфина, на нашем берегу притулилась лодка, на которой из надобности можно сплавать туда и обратно. Ока здесь не очень широкая и течение не сильное. Подошли к лодке.

— Ну что, — говорит Юра, — поплывешь? (Не надо забывать, что Юра заикался, когда приходилось о чем-то просить, и старался избегать таких ситуаций).

— Поплыву, — смело отвечаю я, хотя не гребла никогда в жизни. Подтащили лодку к воде, я села в нее, Юра спихнул ее в воду. И я погребла, Юра потом со смехом рассказывал, каким кривым был мой путь по воде на тот берег, в одном месте на середине меня так развернуло, что чуть не поплыла обратно. Берег в Егнышевке пологий. Подхожу к магазину, на двери пудовый замок. Какой-то мужик подошел, тоже за выпивкой. Я ему говорю, что я из Марфина, приплыла на лодке и мне обязательно нужна продавщица. Он показал ее дом. Продавщица легко согласилась прервать свой обед, пошла со мной в магазин и продала две бутылки. Окрыленная успехом я благополучно доплыла до своего берега.

Я вот сейчас пишу это и думаю, почему я тогда не воспротивилась Юриным возлияниям. Он пил немного, перед обедом, и пьяным никогда не был. Но уже тогда это все же могло походить на пристрастие. Еще в Голицыне он мне рассказывал, что они как-то странствовали на Севере с поэтом Юрием Коринцом, и Коринец приучил его к водочке перед обедом. Но я никогда еще не сталкивалась с алкоголиками, с алкоголизмом, знала, что писатели много пьют, это у них в обычае. И не было страха, что эти рюмки — угроза Юриному таланту и жизни. А из-за любви я готова была исполнить любую его просьбу, лишь бы его порадовать.

В доме оказалось несколько хороших книг. И среди них «Год на Севере» русского бытописателя Максимова. Во второй половине XIX века был издан царский указ объездить российские земли и описать их быт, нравы, обычаи, занятия, фольклор. Максимов поехал на Север, прожил там год и выпустил замечательную книгу, в которой прекрасным русским языком описаны жизнь, труд и охота поморов. Юра с восторгом читал из нее вслух целые страницы. И решил взять эту книгу в Москву. Хозяева тоже ей дорожили. И пришлось с ней расстаться. Я отвезла ее, объяснив, что мы взяли книгу, чтобы Юра мог многое из нее выписать. Он хотел вставить эти куски в Северный дневник.

Прошло много лет. Мы с мужем едем в центр купить мне туфли. Мои прохудились, и моя бабушка, Мария Филипповна, дала мне на новые тридцать рублей. Зашли в переулок, где МХАТ, а там букинистический магазин. Вижу на полке маленькие зеленые книжки — полное собрание Максимова.

— Сколько? — спрашиваю.

— Тридцать рублей.

— Покупаю.

— Мариша, а как же обувь? — беспокоится муж.

Продавщица выкладывает томики на прилавок. Сбоку подходит покупатель.

— Максимов? Сколько стоит?

— Уже куплено, — отвечаю и обеими руками прикрываю богатство. Это было, действительно, бесценное приобретение.

Юра был счастлив жизнью в деревне, приливом творческих сил, и тем, что рядом любимая женщина. Эту жизнь — наши пять лет — я сравниваю теперь с морем. Она была то тихая, умиротворенная, то бурная, штормит, а потом успокоится и опять ласковая. И мы в ней всегда вместе.

Мне было хорошо, радостно. Юре тоже. Дай Бог всем испытать хоть раз в жизни подобную счастливую общность души и тела. Именно Марфино и родило рассказ «Осень в дубовых лесах».

Этот рассказ начинается так:

«Я взял ведро, чтобы набрать в роднике воды. Я был счастлив в ту ночь, потому что ночным катером приезжала она. Но я знал, что такое счастье, знал его переменчивость и поэтому нарочно взял ведро, будто я вовсе не надеюсь на ее приезд, а иду просто за водой. Что-то слишком уж хорошо складывалось у меня в ту осень». Советую, читая эту часть воспоминаний, взять этот, один из лучших, рассказ и прочитать. В нем поэтически описано всё, что окружало нас в тот далекий октябрь.

У рассказа есть своя история. Через полгода, в середине мая я получила от Юры письмо из Крыма, из поселка Планерное, написанное от руки:

«Дорогая Маринка! Ты небось сейчас в Звенигороде? [У Ольги Петровны в Звенигороде на той улице, где стояла липа Чехова, было полдома с большим садом. В нем была комнатка для гостей, и я там часто жила. Но в то лето я сняла по соседству две комнаты с верандой, надеясь, что Юра будет туда наезжать]. Завидую, ибо сейчас у вас там (вернее у нас) майские жуки, березы, зори, прибывающее тепло и всякая прочая штуковина, и всего этого я лишен поневоле.

Это первое. Второе — ура! — только что разогнул спину, кончил рассказ 22 стр. называется «Осень в дубовых лесах» про долгожданную

встречу некоего мужика с некоей бабой. Заглянул я на одну, на другую страницу и все мне показалось омерзительным и фальшивым. Ну да авось это просто авторское... Завтра посылаю все это в Знамя и в Калужский сборник [«Тарусские страницы»])

У меня вот только что родилась гениальная идея (серьезно мне надо было быть управдомом) По приезде в Москву [«в Москву» вставлено сверху] и при отъезде в Тарусу, я еду не через Серпухов, а через Калугу. Там я иду в Калужск. отд. Союза писателей, становлюсь на колени и бью челом насчет того чтобы они вошли в Калужское земство чтобы оно мне разрешило построиться в Марфино Ух! А оттуда я лечу самолетом и сажусь напротив Тарусы на берегу Поленова.

Вот так. А ты будешь жить в своем Звенигороде и чахнуть. За Звенигород меня не агитируй, я его знаю и бывал там в Поречье и в Дунине у В.Д. Пришвиной. Перед Окой и Марфиным это чепуха (прошу прощения). А смотри, что я написал в своем рассказе — плохо это или хорошо? — «Телята с наслаждением паслись на седых озимых и часто мочились, задрав хвосты и расставив курчавые в паху ноги. И там, где они мочились, появлялись изумрудные пятна мокрой молодой ржи».

Здесь я просижу еще числа до 22-3, ответить ты не успеешь, а если очень захочешь, то пошли письмо-телеграмму из 60 слов по след. Адресу Крым, Судакский р-н Планерское Дачная 22 для Юрия Казакова.

В Москве я буду числа 25-26 ты тоже постарайся быть, вернее лучше позвони сперва из Звенигорода спроси меня или маму и если я приеду тогда тоже приезжай.

Привет!

Послала ли ты два №№ Знамени Мих. Мих. в Печоры?

Твой Юрий

13 мая 61. вечер.»

Опубликованный в журнале «Знамя» рассказ «Осень в дубовых лесах» отличается от рассказа, вышедшего в сборнике рассказов 1962 года. У меня сохранилось письмо Георгия Семенова, посланное в Тарусу 29 мая 1962 года (штемпель на конверте). Вот что он пишет (на машинке):

«Юра!

Никак я, понимаешь, не мог связаться с Бочаровым, а потом, когда попросил Мулю Дмитриева это сделать и когда он поговорил с Бочаровым, с Толей, как он его называл, потому что Бочаров его хороший приятель, так вот, когда я узнал от Мули каковы дела с твоим рассказом, мне стало очень досадно и я никак не мог взяться за перо: все медлил и медлил. Прости меня пожалуйста.

ОНИ, т.е. Бочаров и, вероятно, редактор сборника, взяли для издания «Ни стуку, ни грюку», а потом НЕКТО запротестовал и, как я по-

нял, рассказ не вошел в сборник. Я тогда сказал Муле, чтобы он передал «Толе» твои слова об «Осени в дубовых лесах». Он это сделал, и, тот, кажется, должен предложить рассказ редактору.

Вот такие, понимаешь ли, смутные дела на этом фронте. По-моему все это мерзко. И хочется после всего этого с кем-нибудь поругаться и обозвать кого-нибудь заслуженным словечком.

А я ездил в Новгородскую область охотиться. Приехал домой с тремя кряковыми селезнями и вальдшнепом. Приехал радостный, а тут еще твое письмо меня дожидается. Я очень люблю твои письма, Юрка! А сам писать ленюсь. [...]

Вот и все.

Крепко жму руку.

Г. Семенов [подпись ручкой и дальше приписка от руки] Юра, пришлось распечатывать конверт. Вчера узнал, что твой рассказ «Осень в дубовых лесах» вошел в сборник. Все отлично! А мой «Тростниковые заводи» выкинули, черти! Ну да ладно».

Письмо шло в Тарусу три дня, получено там 31 мая 1962 года.

Рассказ в сборнике отличается вот почему. Лето, 1962-й год. Мы в доме на Арбате, телефонный звонок. Редактор толстого тома «Рассказ 1962 года» говорит Юре, что «Осень в дубовых лесах» прекрасный рассказ, но короткий, Юра немного за него получит, у него есть еще возможность дописать несколько страниц, Юра и прибавил тот кусок, где автор и поморка бродят по Москве ночью в поисках пристанища. Помню, как он очень быстро отстучал на машинке вставку, и рассказ удлинился страниц на пять. Этот рассказ — разительный пример того, как писатель сплетает события из жизни с выдумкой. Не зря Юра писал: «Произведения всех авторов автобиографичны — автобиографичны в том смысле, что все, чем их произведения наполнены, — события, детали, пейзажи, вечера, сумерки, рассветы и т.д., — когда-то происходило в жизни самого автора. Не в той последовательности, в какой описано в рассказе или в романе, но автор это должен пережить сам. Каждый рассказ, который мною написан, имеет свою историю, свое начало и конец и свою судьбу» («Опыт, наблюдение, тон» / «Вопросы литературы», 1968, № 9 /, цитирую по книге «Две ночи», Москва «Современник», 1986, с. 302).

У меня хранится рисунок художника (не помню его имя) к этому рассказу: Юра стоит на берегу с фонарем в руке. Долго думала, написать ли, что однажды сказал Юра, давая интервью газете. Не помню, какая это газета, не помню, кто лет семь-восемь назад дал мне ее. Она где-то затерялась среди бумаг. Корреспондент спросил про «Осень в дубовых лесах»: была ли та женщина у него в жизни. Он коротко ответил:

Юра!

Никак я, понимаешь, не мог связаться с этим Бочаровым, а потом, когда попросил Мулю Дмитриева это сделать и когда он переговорил с Бочаровым, с "Толей", как он его называл, потому что Бочаров его хороший приятель, так вот, когда я узнал от Мули каковы дела с твоим рассказом, мне стало очень досадно и я никак не мог взяться за письмо: все медлил и медлил. Прости меня пожалуйста.

ОНИ, т.е. Бочаров и, вероятно, редактор сборника, взяли для издания "Ни стуку, ни гроху", а потом НЕКТО запротестовал и, как я понял, рассказ не вошел в сборник. Я тогда сказал Муле, чтобы он передал "Толе" твои слова об "Осени в дубовых лесах". Он это сделал, и тот, кажется, должен предложить рассказ редактору.

Вот такие, понимаешь ли, смутные дела на этом фронте. По-моему все это мерзко! И хочется после всего этого с кем-нибудь поругаться и обозвать кого-нибудь заслуженным словечком.

А я ездил в Новгородскую область охотиться. Приехал домой с тремя ряковыми салазнями и вальдшнепом. Приехал радостный, а тут еще твое письмо меня дожидается. Я очень люблю твои письма, Юра! А сам писать ленюсь. Хочется увидеть тебя.

Познакомился я тут с Георгием Владимовым. Думаю о нем по-всякому и хорошо, и не очень хорошо... Если скоро увидимся с тобой, расскажу, почему так.

С "Молодой гвардией" я, кажется, подписал договор на свою книжку. Они мне обещают златые горы.

~~Крепко жму руку.~~

Вот и все.

Крепко жму руку.

В. Семенов

*Юра, мулюлю расчитал конверт.
Вчера удумал, что тебе рассказ "Осеня в
дубовых лесах" вложить в сборник. Все отлично!
А мой "Трагические случаи" выкинуть, перече! Ну*

«Да, я ее любил всю жизнь». Понимаю, этому могут не поверить. Но даю слово чести, такое интервью было, и Юра эти слова сказал. Почему эти слова так и канули в небытие? Ведь это ключ к одной из загадок его жизни. Надо было искать эту женщину. Я прочитала эту газетную статью в Зарайске, мне уже было за семьдесят. И я снова жгуче ощутила свою вину, что не смогла, не хватило сил, характера, да и помощников, спасти Юрия Павловича от пагубной болезни.

Обратно мы ехали, поймав на шоссе машину. Потом электричка, метро. Таруса, Серпухов и снова Москва.

МОСКВА. 1960–1961, ОСЕНЬ, ЗИМА, ВЕСНА

Вернувшись домой, я стала искать квартиру, чтобы было где жить, когда Юра в Москве. Мне в жизни встречались поистине замечательные люди. Одна из них — Вера Ивановна Прохорова, из семьи известных русских промышленников Прохоровых и близкий друг Рихтера. Она преподавала английский язык на педагогическом факультете нашего института в тех самых группах, в которых я учила студентов переводить. Мы часто возвращались из института вместе, шли пешком до метро Сокольники через большой лесопарк. Я как-то спросила у нее, не знает ли она кого-нибудь, кто сдает квартиру или комнату. Оказалось, что ее родственники живут в Норильске, у них есть в Москве две комнаты, и они одну, наверное, могут сдать. Она с ними списалась, и к декабрю у меня была маленькая, метров десять комната в старинном кирпичном доме на Пионерской улице, что у Павелецкого вокзала. В ней был стол у большого окна, выходившего на крыши соседних домов, высокая старомодная кровать, книжный славянский шкаф, где была пустая полка, ставшая полкой для посуды. На окно я повесила бежевую тюлевую штору с длинной бахромой, стало красиво и загадочно. В доме на первом этаже был продовольственный магазинчик, куда я бегала за хлебом и вареньем, из чего и состоял, главным образом, мой завтрак и ужин. В институте у меня было много часов, я все еще переводила Томаса Гарди и давала уроки английского языка в институте судебной медицины имени Сербского, который находился недалеко от Ингъяза, так в народе назывался мой институт МГПИИЯ. И готовить мне было некогда.

Время от времени Юра наезжал в Москву, мы гуляли по Садовому кольцу, той его части, которая начинается от Павелецкого вокзала. Это широкая улица, на которой почему мало прохожих. Мы гуляли по ней в конце зимы, когда уже веяло весной. Часов около пяти начинало темнеть — сначала будто кто капнул в светлый день лиловую каплю, мало-

помалу воздух лиловел, лиловая синь густела, зажигались желтые фонари — наступал вечер. Мы шли домой, пили — я чай, Юра — горячительный напиток. Я все еще понятия не имела, какая опасность ему грозит. Мне никогда не приходилось сталкиваться с пьянством, как с социальным явлением. И потому я не била во все колокола.

В новый, 1961-ый год Юра прислал мне теплую новогоднюю открытку — заснеженный домик в лесу, ночь, звезды, луна, синица на суке, в окне огонек, и бегут, взявшись за руки, два зайца. Открытка послана из Москвы 30, 12, 60 года, «Литвиновой Марине» на адрес моих родителей — «2 Щукинский пр. д. 4 кв. 25». Вот ее содержание:

«С Новым Годом!
 Да будет он для
 тебя похож на этот
 домик — такой же
 симпатичный и милый.
 Будь здорова
 И счастлива
 Ю. Казаков»

Это — почтовая открытка, поздравление слева, справа адрес.

А в феврале поучаю длинное письмо, от «18, II, 1961». Диаметральное по настроению. Вижу, как настроение меняется у него, пока он пишет. Тогда я поняла это послание, как «сержусь, но не насовсем». Хотя оно длинное и мелким почерком, переписываю его целиком:

«Здравствуй!

Когда ты будешь миллионершей, тогда купишь яхту из красного дерева с мотором и поедешь на Средиземное море.

Пока же тебе придется удовольствоваться байдаркой. У меня раньше твоего родилась идея — байдарка, палатка, ружье, киноаппарат — и два месяца путешествия с озера Лаче до Кеми. До июня я буду жить в Дубулгах, а в июне поеду, и если мы дотудова не поругаемся, то м.б. поедем вместе.

Здоровье у меня сносное, только вот уже дней десять как онемела рука — мышцы и безымянный пальцы и дальше понизу к локтю. Что это такое никто не знает — м.б. нервное, м.б. микроинсульт, аллах ведает. Надо бросать курить, а я все не могу и очень злой поэтому. Твое письмо (особенно последнее) какое-то очень искусственное — какое-то оно сочиненное.

Я был в Голицыне у Коринца. Там славно, очень ко мне все хороши были, и много старых лиц; Гусев с женой [секретарь Льва Николаевича Толстого, у него в Голицыне был свой домик, ему тогда было восемьде-

сят лет, это красивый бодрый старик, вегетарианец, он как-то сказал: «я все еще помню запах жареного гуся»], Славин, Лебедев и проч. Назад ехали на машине Рита Райт, Вероника Тушнова, Коринец и я.

Заходер перевел сказку А. Милна Вини-Пух, купи ее своему Димке, сама прочитай, и да будет вам всем стыдно, что вы не удосужились перевести эту книгу. Вышла она в 1925 году и по значению равна таким как Алиса в стране чудес. И проч.

У Заходера же есть чудный киноаппарат, дорогой очень, японский, стоит 550 руб. но я наверное куплю.

И еще есть у меня намерение, которое, слава богу, встретило полное одобрение мамы. Ты не угадаешь, я тут подумал, что стыдно писать о своих мечтах пожить простой жизнью, а жить все время в Малеевках и в Дубултах, так вот я хочу этим летом завербоваться сезонным рабочим куда-нибудь на лесосплав и месяца два-три поработать, не говоря никому, что я писатель и все такое прочее. Думаю, что месяца на два меня хватит, да и для здоровья м.б. будет полезно поишачить на свежем воздухе. Вот такие планы у меня до осени.

А там Коктебель. В Крыму я не был, беру байдарку, маску и ласты и еду.

Писать в этом году не буду ничего, врачи не велют. М.б. только в Дубултах кое-что поковыряю.

Ты привыкай жить одна (если способна на это), так как мы будем редко теперь видеться (до лета во всяком случае.) Здоровье у меня не ахти какое, настроение поэтому — тоже, в Москве я почти не буду, только приехав отсюда, тотчас уеду в Румынию, и вернувшись оттуда в Дубулты...

И вообще как-то после того телефонного звонка что-то у меня по отношению к тебе сломалось. Я не верю, конечно, что это был розыгрыш, как ты говоришь, все это шито белыми нитками и дурно пахнет.

Да и вообще, если ты заметила, в последние месяцы я очень изменился, я сам в себе это ощущаю, постоянная почти хандра разные мелкие и крупные болезни, неохота писать, и пр. и пр.

Я тебе было написал тут, чтоб ты не писала мне больше, но не послал, а вот сейчас сижу и думаю и вижу, что как ни кинь, все клин.

Словом, летом определится, поедем ли мы вместе или нет.

Хожу на лыжах, в лесу хорошо, тихо, следы лосей, зайцев и лис. И опять меня привлекает охота, которую я когда-то любил больше всего, хочется снова ружье, забраться погуще и походить м.б. снова потрястись выстрелом, запахом дыма и счастливой усталостью.

Я все тут думаю, что не правильно живу, и что жизнь моя хотя внешне свободна, однако и не свободна внутри почему-то. И наверное вино-

ват в этом один я. Так вот этот год я хочу заняться своим что ли высвобождением.

Ну пока, будь здорова. Я м.б. приеду в Москву вскорости, а приехав очень просто могу забрести к тебе попозже к вечеру прямо так, без звонка — ты ведь наверное все больше на Павелецкой?

Ю. Казаков
18 II 1961.»

Конечно, я правильно поняла тогда главный посыл: жди, я все же вернусь, хотя мне и больно. Не помню, откуда это письмо. Может быть, из Малеевки? Конверт не сохранился.

Я в то время преподавала на пятом курсе переводческого факультета, на четвертом педагогического и на курсах повышения квалификации при нашем институте. Слушатели курсов были тридцатилетние люди, мужчины и женщины разных специальностей — врачи, инженеры, редакторы. Группа дружная, и у меня сложились с ними теплые отношения. Я дала старосте свой телефон на Пионерскую, на всякий случай: они иной раз просили перенести занятие, а иногда устраивали групповой поход в театр и приглашали меня. И когда я давала телефон, у меня екнуло сердце. Вдруг староста позвонит, когда Юра будет дома. Я уже боялась его ревности. Так и случилось. Юра сидел за столом, пил, и вдруг телефонный звонок. Звонил по каким-то делам староста. Юра был уже крепко пьян. Говорю в трубку, вы не туда попали. Голос в ответ:

— Марина Дмитриевна, это я, Петров (фамилию не помню). У меня к вам дело...

Я перебиваю его:

— Говорю вам, вы не туда звоните, — и кладу трубку.

— Кто это? — требует, заикаясь, Юра.

— Не знаю.

— Нет, знаешь, я по тебе вижу.

— Наверное, чей-то розыгрыш, мало ли идиотов развлекается по телефону.

Не стоит добавлять, что я в который раз сказала, что он для меня свет в окошке. Кого можно сравнить с ним, с его великим талантом. До ссоры дело не дошло. Но телефонный звонок, как видно, все же засел в его памяти.

Юра первые годы никогда в письмах не жаловался на здоровье. Это февральское письмо — исключение. Думаю, он подсознательно хотел возбудить в моем сердце жалость к нему и беспокойство о нем. Теперь я понимаю — повод для ревности имелся. Одно дело я жила в семье родителей, с сыном, никакой мужчина не мог остаться у меня ночевать. А тут я одна, свободная молодая женщина, довольно привлекательная на

вид (это я теперь так вижу себя тогдашнюю), окружена молодыми слушателями, соблазн-то велик. Конечно, здравый смысл мог бы ему подсказать: я люблю его, это ясно, к тому же много работаю, готовлюсь к занятиям, перевожу, езжу к сыну. И вообще не из тех, кто изменяет любимым людям. Трезвый, Юра понимал это. Но, выпив, оказывался во власти демонов ревности. Разжалобив меня в письме «разными мелкими и крупными болезнями», Юра изложил свои будущие планы — путешествия, работа в Дубултах и фантастическое желание поехать на лесосплав под чужим именем. Но мостов сжигать не стал, обещал заглянуть невзначай в комнатку на Пионерской.

Из письма видно, как Юра любил свою мать, и как важно было для него ее мнение и согласие во всех его делах. Понимая, какие негативные чувства может вызвать у меня Устинья Андреевна (она однажды навязала на ручку входной двери снаружи, на улице Черняховского, заговоренную тряпочку, чтобы отколдовать от меня Юру), он как-то сказал мне: «Я ее люблю. Она выкормила меня своей толстой сиськой». Главное ее возражение против меня был мой дорогой сын, наследник моего скудного имущества. Устинья Андреевна лечилась в поликлинике Литфонда, которая находилась в нашем доме (куда я переехала в 1963 году). И как-то зашла ко мне. Посмотрела на книжную полку, на трюмо, на новый стол, потрогала шерстяное зеленое китайское одеяло и спрашивает:

— Это всё твое?

— Моё, — говорю.

— Да, но у тебя есть наследник, — вздыхает Устинья Андреевна.

Ну и, конечно, примешивалась материнская ревность. Юрина мама ходила с нами в поход под Тарусой, ночевали в палатке, Юру положили в середину, с одного бока я, с другого она. Я не злилась на нее, никогда с ней не ссорилась, Юра просил, делай все, чтобы она лучше к тебе относилась. Я и делала, приезжала к ней на Арбат, когда Юра где-нибудь странствовал. Привозила еду. Она была ЕГО мать.

Устинья Андреевна рассказывала мне кое-что из истории их семьи. И я знала, какую тяжелую жизнь она прожила, какое сделала когда-то доброе дело. Я понимала: Юра для нее — собственный, родной, луч света в ее темном царстве. В ранней юности, в революцию она с тяжеленными мешками ездила в переполненных поездах, чтобы раздобыть для семьи пропитание, особенно соль. Я мало что помню, но отдельные эпизоды выступают в памяти отчетливо. Иван Гаврилович, Юрин отец, был политический арестант, как именно он, простой рабочий, им стал, ни Юра, ни Устинья Андреевна ни разу не обмолвились. Она узнала, что на запасных путях какого-то вокзала стоят вагоны с арестантами, их

вот-вот отправят, и среди них ее муж. Взяла Юру и в холодный осенний день поспешила туда, вдруг увидят его, возможно, в последний раз. Когда они подъехали, там было много женщин, вдоль состава стоят готовые к отправке заключенные. Женщины бросились к ним, в руках свертки, кошелки. Устинья Андреевне дала Юре сверток и послала его найти отца и отдать передачу. Но конвоиры никого к арестантам не подпустили. И еще один рассказ. Поздней осенью 1941 года было голодно. Она с сыном ездила на подмосковные капустные поля, собирали верхние жесткие капустные листья, оставшиеся после уборки урожая. Привозили домой мешками, мыли в ванне, квасили. И из этой квашеной капусты варили щи. Детство и отрочество были у Юры горькие, о них он не вспоминал. Юра в одном из рассказов писал о замерзших кочанах капусты и моркови, которую приходилось выкапывать палками.

У Юры была сестра, жила под Москвой, работала зоотехником в совхозе. Там она вышла замуж. Приехала вместе с мужем в Москву. И ее муж, молодой парень, назвал Юру братом. Юра сказал мне, что это ему было смешно. Откуда взялась сестра, мне рассказала Устинья Андреевна после Юриной смерти. Как-то они с мужем ехали в поезде, возвращались домой с курорта. На какой-то остановке произошел несчастный случай, погибли муж и жена, их попутчики. Осталась в вагоне девочка, их дочь. Устинья Андреевна взяла ее себе и удочерила. Так и получилась у Юры сестра. Жили все в одной комнате. Девочка кончила семь классов. Ее послали учиться в подмосковный сельскохозяйственный техникум на зоотехника, при техникуме было общежитие. Там она жила и училась. Получила распределение в совхоз. Но часто приезжала к приемной матери, и та к ней ездила. Это я к тому, что Устинья Андреевна была по-своему отзывчивый человек, в критические минуты готовый придти на помощь и умевший преодолевать казалось бы непреодолимые трудности.

Юра не рассказывал мне о тяжелом детстве. От него я слышала другие истории. Один раз, когда совсем нечего было есть, они с другом поехал за город, украли висевшие во дворе простыни и продали их на рынке. Ему было совестно это вспоминать даже спустя много лет. И вторая история. Юра не кончал средней школы. Аттестат об окончании десятилетки купили ему на рынке в Мытищах. Это было после войны, в конце 40-ых годов.

И еще одна история. Когда Юра был в доме творчества в Дубултах, там жил Константин Эдуардович Паустовский. Юра, волнуясь, дал ему только что вышедшую книгу «На полустанке», очень дорожил его мнением. Паустовский каждый вечер играл в шахматы. Юра на другой день несколько раз прошел мимо него, будто бы случайно. Но Паустовский как

не видел его. А на третий день подозвал и сказал ему: «Мне нечему вас, Юра, учить. В России появился еще один замечательный писатель». Я пишу эти слова, и меня охватывает волнение, как и тогда, когда Юра мне это рассказывал. По его словам, это был самый счастливый день в его жизни.

Февральское письмо было первым, вылившимся на бумагу всплеском беспричинной Юриной ревности. Но он сумел с собой справиться. В марте Юра путешествует в Румынии, Польше и Чехословакии, и шлет мне оттуда добрые письма. Вот открытка из Бухареста (я часто живу у родителей, на 2-ом Щукинском проезде):

«Милая Маринка! Я был в Карпатах и этот вид который я тебе посылаю (Дунай) ни в какое сравнение не идет с Карпатами. У всех головокружение и разбитые от восторга сердца. У меня тоже. Завтра утром едем в Констанцу, потом в Бухарест, а потом и в Москву. В Карпатах сплошные джазы, горные хижины (отели) американцы, немцы и проч. шведы. Там снег, а в Бухаресте весна, как у нас в мае. Всю пленку я потерял уже. Привет! Ю. Казаков март 1961. Бухарест».

Открытка у меня сохранилась.

Есть еще одно письмо из Бухареста, без даты.

«Здравствуй, Марина!

Все пошли в театр, а я забастовал, сижу в отеле и пишу письма, а то не очень-то распишешься, день загружен целиком с раннего утра и до 2-3 ночи. Сейчас отсыпался за все прошлое.

Очень все занято, многое как у нас — много наших автомашин (москвичи, победы, волги) — но есть и здешнее, которые разделяются как бы на две струи: румынское и вообще западное. Румынское, это некоторые лица, одежда — высокие бараньи шапки, вышитые рубахи, расшитые душегрейки. А запад — это рестораны.

Первый раз запад открылся мне вечером в ресторане нашего отеля, когда вошел я в дымный зеркальный зал и услышал милые моему сердцу звуки джаза. Я уже ничего не мог видеть, а смотрел только на музыкантов, а они играли все лучше, входили в экстаз, выскочили две девочки, сестры Думитриу, с серебряными волосами и стали петь у микрофона, перебирали ногами, качались и т.д. потом пошли танцы, весь народ почти встал из-за столиков и теснясь, топчась на одном месте, качались и поводили плечами, и сквозь гул и шум ног и одежды все время с завораживающим однообразием вскрикивал саксофон.

Потом был блистательный ресторан отеля «Лидо» с красивой подсветкой, с постепенно темнеющим залом, потом бар «Melodi» в подвале с низким потолком, современный с прекрасной программой, с дымом как на вокзале, с женщинами, и наконец вчера нечто совершенно удивительное и экзотичное: Жан Якубеску приятель и ученик Лещенко,

говорящий по-русски, пел специально для нас русские песни на западный манер, пел очи черные, прощай мой табор, умирал ямщик — и свистел румынскую дойну так, что мурашки по коже шли. И мы, подвыпив, ходили в антракте целоваться с ним! Господи, мне иногда казалось что и я эмигрант, так больно и сладко было и чего-то хотелось — русских изб и грачиного крику.

А днем поездки на заводы и в музеи и шляние по городу. Много здесь хороших вещей но цены высокие раза в 1,5-2 раза выше чем у нас, а лей нам дали всего 240. Вот мы и терзаемся. Тут есть изумительные французские кофточки по 450 лей. Ах! Думаю о матери и тебе — что бы вам привезти и ничего не придумаешь.

Завтра или послезавтра уезжаем в Карпаты, потом в Трансильванию, оттуда в Бухарест, в Констанцу, снова в Бухарест и 21-го домой. Будь здорова! Приеду все расскажу. Ю. Казаков». На левом поле строчка: «Живем мы в хороших номерах, но мука с лифтерами».

Затем получаю письмо из Кракова. Я решила, подумав, полностью давать на этих страницах его письма. Перепечатаваю и не только заново переживаю, но и по-новому понимаю их. Да и для исследователей его творчества, его характера, да и вообще той жизни, наверняка, интересна каждая его строчка. Юра пишет:

«Прошем Пани!

Я в Кракове. Это совсем иной город нежели Варшава. Варшава была вся разбита и теперь выстраивается снова. Краков уцелел и поэтому кругом сплошное средневековье.

Очень все устали и вымотались потому гляди сама: надо 1) совершить все предусмотренные программой походы. 2) надо походить по городу самому 3) надо пойти вечером в какой-нибудь бар и слушать джаз.

Я тут как-то не очень возбужден, а так... так себе. И смотрю с умилением на байдарку берегу ее пуще глаза.

Впереди у нас Закопане, а там Чехословакия. Завтра поедем в Освенцим. Много конечно интересного, но сейчас как-то сумбур в башке, неохота рассказывать, пишу потому только что накупил конвертов и открыток и надо их расходовать. Все-таки эти турпоездки, да еще с такой бешеной программой как у нас очень тяжелы и мало интересны. Буду теперь ездить только со спецгруппой. Или один.

Теперь вот что — вернусь я числа 18-17 в Москву и числа 29-го надо выехать в Тарусу. Я купил себе тут хорошую лыжную куртку, а штанов нету м.б. в Закопане попадут. Или в Чехословакии.

Ну вот и все, обнимаю! Купи себе за ради бога что-нибудь элегантно к лыжам. Я хотел да не выходит надо мамаше кофточку

Целую и обнимаю. Напишу из Чехословакии».

Мне и маме Юра все же привез из-за границы по шерстяной кофте. Устинье Андреевне — бордовую мохеровую, она ее потом не сняла. Мне светло бежевую, вязанную из тонкой шерсти, я в ней ездила чуть во все наши походы. И еще большую круглую коробку со светло розовой пудрой, одну на двоих. Я отсыпала себе половину. Главное его приобретение — байдарка «саламандра», серебристая, с двумя небольшими веслами. А я тем временем купила двухместную брезентовую палатку бутылочного цвета. Она еще долго жила в моей семье, но потом куда-то сгинула. Сохранилось мое письмо, где я пишу о ее покупке.

В апреле Юра поехал в Ялту, в дом творчества. Был его телефонный звонок, а писем всё не было, и я послала ему 30 апреля такое письмо:

«Здравствуй, Юра! Ну что же ты ничего не пишешь? Хотя бы написал несколько строк, что здоров и работаешь и вспоминаешь меня.

Я купила двуспальную палатку. Они бывают редко. Это хорошая палатка. Легкая. У нее пол и марлевое окошечко. Очень портативная. Я так давно мечтала о доме, а теперь он лежит свернутый в нашей комнате между дверью и шкафом. Такой славный дом, взвалил его на плечи и ступай, куда глаза глядят.

У нас холодно. Сегодня утром вышла, вижу пух летает редкий, удивилась, неужели лопнули коробочки у тополя. Вроде рано еще. А это снег. Послезавтра 1 мая. Буду дома [на Щукинской, у родителей], как всегда. Будут наши любимые Митюшины [боевой генерал, артиллерист Владимир Георгиевич Митюшин и его жена Ольга Ивановна, друзья нашей семьи].

Сегодня говорила с твоей мамой по телефону. С легкими у нее все в порядке. Рентгеновский снимок готов и ничего страшного не показал. Слава богу.

Но что-то еще, что она по телефону не сказала. Завтра вечером буду у нее, расскажет. Тогда напишу.

Тут о тебе по радио говорили. Я не слыхала. Но будто бы очень что-то хорошее, про очерк. Да, очерк, верно, получился.

Работа у меня не иссякает. Но она дает деньги. А с деньгами веселее. Большие надежды возлагаю я на это лето и в смысле работы и в другом смысле. Надо будет оформить в систему все мои рассуждения и взгляды, которые определяют мою жизнь и все мое поведение. Это все надо будет записать. Потому что я льщу себя мыслью, что жизнь моя самая правильная и потомки, ознакомившись с тем, что руководит мною, будут начинать свою жизнь сразу хорошо, без тех поисков, провалов, мучений, которые сопутствовали мне в первом десятилетии моей взрослой жизни. Вот.

Целую. Марина».

Через неделю получаю от Юры письмо, написанное от руки, которым отвечает на мое предыдущее, несохранившееся:

«Здравствуй, милая! Письма твои я получил, очень грустно, что всё так выходит — видно не каждый год подваливает человеку счастье. Буду перепланировать теперь все. От поездки я не откажусь, конечно, она мне слишком нужна и слишком долго я о ней думал. А решим, наверное, так: я буду шляться по Северу сколько смогу, а затем, когда прекращу движение, — отправлю все свои шмотки домой и тогда м.б. ты приедешь просто так нюхнуть Севера.

Здесь хорошо, но срок моей путевки истекает, в продлении мне отказали, а мне надо бы еще здесь остаться, так что я верно буду перебираться еще куда-нибудь получше — в Судак или в Коктебель... И проживу здесь до начала июня.

Будь здорова береги себя. Не забудь послать журналы с очерком в Печоры.

Целую твой Юрий
Ялта 2 мая 1961»

Приписка «береги себя» не случайна. Весной со мной произошла в институте драматическая история. Конечно, время было не сталинское, но идеологические запреты были сильны. Кафедра перевода была тогда общая, объединявшая все языки. Заведовал кафедрой переводчик с французского языка В.Ю. Розенцвейг. У меня была очень большая нагрузка. Особенно тяжелые пять недель с 7-го февраля по 15 апреля. Во втором семестре начинались занятия по переводу на 4-м курсе педагогического факультета в Сокольниках, и все еще (до 15 апреля) продолжались занятия на 5-м курсе на Метростроевской. В общей сложности нагрузка составляла 32 часа в неделю. Мое положение на кафедре хотя и было прочное, но отношение ко мне было не у всех преподавателей однозначно. Преподавать перевод можно по-разному. Первый вариант: давать студентам правила, как переводить то или иное явление языка, и согласно этим правилам переводить. Обычно так преподавали те, кто не был профессиональным письменным переводчиком. А такими были все преподаватели с английским языком, кроме меня. Я же учила переводу, следуя методу Ольги Петровны Холмской. Принцип был такой: надо знать очень хорошо иностранный язык, его систему, и так же хорошо, а может, и лучше, — родной язык. И руководствоваться следует не правилами, а стремлением к естественности, легкости звучанья русского текста, при соблюдении полной передачи смыслового и стилистического замысла автора. И, конечно, преподаватель должен всегда грамотно объяснить, почему надо переводить именно так. Я была белой вороной еще по одной причине. Все преподавате-

ли кафедры могли учить переводу и на родной язык и на иностранный. А я не могла вести перевод на английский язык и категорически отказалась. Из-за этого лаборантке кафедры было трудно составлять мою нагрузку, что было помехой и для составления расписания.

Однажды в Сокольниках, идя по широкой лестнице со второго этажа, я разговорилась с одной преподавательницей, моей коллегой. Она была старшим преподавателем четвертого курса и спросила меня, какой текст я сегодня давала студентам. Я показала ей — коротенькая информационная статья из английской коммунистической газеты «Morning Star» об опальном поэте Пастернаке. В ней не было ничего криминального. Но самое имя было тогда одиозным. Мое начальство обрушило на меня громы и молнии: Пастернак! Марина! Это политическое дело! И я заплакала. Я вообще-то редко плачу. Только когда смотрю трогательные фильмы. А тут плачу, плачу, и не могу остановиться. Пошла в поликлинику, к врачу-невропатологу. Та сказала, что это не по ее части, надо обратиться в психиатрический диспансер. Я напрямик туда. Меня приняла внимательная милая женщина в огромной комнате. Стол ее стоял в нескольких шагах от стены, а стол медсестры справа в углу, сразу как войдешь. У меня, не кончаясь, текут слезы, и я ей рассказываю, что со мной приключилось. Она спросила, большая ли у меня нагрузка, и люблю ли я свою профессию преподавателя. Я подробно описала нагрузку и сказала, что люблю и преподавать, и переводить, и это у меня хорошо получается.

— Как приятно вас слушать, — улыбнулась врач, — в кои-то веки принимаешь нормального человека. - И спросила про мою семейную жизнь, я сказала, что с мужем развелась, одна ращу сына. Тут медсестра, сидевшая за моей спиной, заплакала и говорит, всхлипывая, что тоже растит ребенка одна. Врач поставила диагноз:

— У вас сильное переутомление, поэтому задевший вас разговор с коллегой оказал такое действие. Вам даже никаких лекарств не надо, всего только хорошенько отдохнуть. В отличие от других врачей, я имею право дать вам бюллетень на месяц. Через месяц придете.

Через месяц я сказала врачу, что чувствую себя лучше, но полностью в себя не пришла. Был уже май, оставалось до конца года совсем немного, и врач продлила бюллетень еще на месяц. Мне совестно об этом писать, и тогда было немного совестно. Я могла бы выйти на работу, но оправдывала себя тем, что нагрузка у нас, действительно, невыносимая, пусть теперь меня заменяют. Вернулся из Крыма Юра, и мы решили, что мне надо из института уходить. Я отдала заведующему кафедрой бюллетень и вместе с ним заявление об уходе по состоянию здоровья. Увидев меня в здравом уме и твердой памяти, В.Ю. Розенцвейг [заведующий кафедрой] удивился, ему кто-то сказал, что у меня

душевное расстройство и я в психиатрической больнице. Моя мама была огорчена уходом из института. Жизнь ее дочери складывалась, по ее мнению, не лучшим образом. Она мне сказала, чуть не плача:

— Как ты будешь жить дальше, мужа нет, работы нет, диссертацию не защитила?

Я училась три года в аспирантуре, но писать диссертацию по дурацкой, на мой тогдашний взгляд, теме не стала, правда, весь кандидатский минимум сдала. Мне было жалко маму, она, как мать, боялась за судьбу своего первенца. Сама же я никакого страха не ощущала. Обожаемый сын жил у моих родителей, семья была дружная, большая; любили его не только дедушка с бабушкой, но и дядя с тетей, мои брат и сестра. Деньги на жизнь я зарабатывала переводами.

Никакой трагедии не видела и Ольга Петровна Холмская. Я уже съехала с квартиры на Пионерской. И скоро должна была поселиться в ее двухкомнатной квартире. Ее соседке, вдове писателя Ажаева, Союз писателей дал однокомнатную квартиру. В опустевшей комнате поселился Андрей Сергеев, ожидая своего кооператива. И Ольга Петровна предложила мне поселиться у нее, когда Андрей съедет. В отличие от мамы, для которой ходить на работу было непреложной необходимостью, Ольга Петровна полагала, что на вольных хлебах я смогу зарабатывать больше. Так жил весь писательский дом на улице Черняховского, который писатели между собой называли «желтое гетто».

Нашла свое письмо без даты и конверта, оно относится к моей жизни на Пионерской улице. Наверное, я его не отправила, у меня несколько неотправленных писем. Вот оно: «У нас с твоей мамой был недавно один разговор. И знаешь, мне как-то были очень далеки мысли и рассуждения твоей мамы. Я тебя очень люблю. И, конечно, то, что говорила твоя мама, не может иметь для меня первостепенного значения. Но мне страшно, что ты можешь тоже так думать. Я не могу написать тебе подробно. Причем я не перечила твоей маме, и она даже не поняла, что меня огорчили эти ее суждения. Так что мы по-прежнему с ней дружны. Только страшно, если и в тебе это есть. Это не только для меня плохо, но в первую очередь для тебя. Ум и сердце должны быть очень образованны. Еще поэт может позволить себе роскошь быть неумным, мелким человеком. Он поет как птица. Писатель должен быть [два слова вымараны] могучим умом, и чувствами, и характером. И благородным.

Получила за Мозма 200 руб. (2000). Скоро еще получу за М.Т. и за албанца.

На Павелецкой я пробуду числа до 15 мая. Там дней десять проживу в Покровском, и оттуда в Звенигород. Но если ты приедешь в мае в

Москву, тогда нет смысла отказываться от комнаты с 15. Тогда надо ее оставить до 25 мая, т.е. до дня переселения загород. Ну вот пока все. Целую. Марина.

Да, была у Блинова в ин-издате. Говорит наведаться в мае. Может, будет интересная работа». На левом поле: «Маме своей ничего не пиши про этот наш с ней разговор. см. на обороте». На обороте написано: «Я ведь понимаю ее хорошо, и откуда у нее такие взгляды. Только не надо, чтобы и у тебя такие взгляды были. Ты живешь в другой обстановке, тебя окружают иные люди. Потом я тебе все объясню подробно. Да, это тебе третье письмо, но второе я тебе не отправила. Лежит запечатанное у меня на столе».

Возможно, и это письмо не было отправлено. Оно в конверте с адресом, но на нем нет марки. Устинья Андреевна, как многие русские крестьянки, была выдернута революцией из деревенской жизни и кинута в городскую жизнь на самое ее дно. В ней генетически были заложены нравственные устои, на которых держалась жизнь русской крепостной деревни. Парень должен жениться на честной девушке, не запятнавшей себя добрачными связями. Да, мужик может жениться и на вдове. Но разведёнка, да еще с довеском, для Юры не годится. Рассуждала она спокойно, уверенно, не сомневаясь, что я с ней согласна. Для кого другого я бы, может, сгодилась, но не для Юры. Они ищут ему девушку, моложе его, без ребенка, ведь сам он не женат, и у него нет наследников. Я в смятенье слушала Устинью Андреевну и не возражала ей. Да и что я могла ей возразить. В ее системе ценностей такие женщины, как я, не могли и думать о замужестве с ее сыном, великим писателем. (Спустя годы отношение ее ко мне изменилось, об этом позже). Но сердце у меня к ней не лежало. Как-то я шла по тихой Пионерской улице, обставленной высокими темными домами, и думала о ней. Думала плохо, пожелала ей смерти. И в то же мгновение, как эта мысль вступила мне в голову, сверху с крыши упал кирпич и красными осколками обрызгал мне ноги. Еще бы шаг, и он упал бы мне на голову. И я сказала себе, что никогда никому не буду желать смерти.

ЛЕТО 1961 Г., СЕВЕР

В конце мая или в начале июня Юра вернулся в Москву и засобирался на Север. У него был намечен план путешествия, начиная от Кемми и кончая Мурманском. Я в это время переводила для Гослитиздата несколько писем Диккенса, и уезжать не было никакой возможности. Но и отказаться от поездки я не могла. Нашла своего бывшего студен-

та Игоря Гаврилова и вместо себя предложила этого способного юношу. Издательство согласилось на замену — он справился с работой прекрасно. Так что душа у меня была спокойна. Юра к этому времени уже уехал в Кемь. Надо было его догонять. Получаю 21 июля такое письмо-телеграмму: «звенигород московской красноармейский тупик 5 литвиновой / выезжай мурманским экспрессом кемь вещей бери минимум я уезжаю ухту жди меня гостинице о невозможности выезда телеграфируй ухту калевала — пленки не нужны ухте буду дня два три целую = юрий». Через два дня, 23 июля, еще одна телеграмма, сердитая: «сейчас же телеграфируй ухта калевалы приедешь или нет = юрий». Телеграмму о выезде я отправила, сохранилась ее крошечная квитанция «КВИТАНЦИЯ в приеме телеграммы №634 в Ухту Казакову Колич. Сл. 16 Общая плата 58 Принята (разобрать невозможно) Подпись (тоже невозможно)». Телеграмма из Звенигорода. Пришлось бросить свою дачу, в ней поселились родственники моей подруги. И я отправилась в Кемь. Билет в Кемь через Ленинград сохранился, даже с квитанцией об оплате. На нем число, пробитое компостером, — 27 VIII.

Приехала я на станцию Кемь на другой день к вечеру. Юра уже вернулся из Ухты и ждал меня. Он был очень красив. В штормовке, в серой ковбойке, темная многогранная кепка с лаковым козырьком. Мы отправились смотреть город. Ходит легенда о происхождении названия «Кемь». Сюда при Петре I ссылали попавших в опалу подданных. Петр якобы писал на бумаге «сослать к е.м.» Так и получилась Кемь. В Кемь есть замечательная достопримечательность — громадный храм, построенный из дерева. Он оловянного цвета. И белой ночью кажется сделанным из сгустившегося до непрозрачности серого воздуха белой ночи. Гостиницы не было, а, может, в ней не было мест. Ночевать пришлось на станции, прямо на полу. Наутро мы должны были взять такси и ехать на пристань, откуда в одиннадцать (может быть, в двенадцать) отходил катер на Соловецкие острова. Юра пил до полуночи, скверно ругался, в нем опять пробудились демоны ревности. Потом он заснул. Я тоже кое-как заснула, притулившись к нему.

Тем летом у меня была замечательная и неожиданная встреча. Моя дорогая институтская подруга Ирочка Смелли (позже Сапронова) работала в проектно-институте, который строил в Индии промышленные предприятия. Он находился в конце Комсомольского проспекта. Там она переводила технические термины на ватманских листах, на которых были чертежи отдельных строящихся узлов. Частенько по дороге домой я заглядывала к ней в обеденный перерыв. Как-то она говорит мне: «Зайдем к моей приятельнице Гале Павловой, она у нас работает

редактором русских текстов. Прекрасная женщина, русскую поэзию знает как никто». И на меня вдруг повеяло сладостным теплом из детства. А вдруг та самая Галя Павлова?

Отец привез нас из эвакуации, из города Свердловска, в начале апреля 1943 года. А летом меня и брата отправили в пионерский лагерь Министерства обороны, где отец работал в инспекции котлонадзора. Лагерь находился недалеко от станции Лобаново, среди полей и лесов, на берегу крошечной речки. Средние и старшие отряды жили в длинных одноэтажных дощатых домиках, в окружении высоких вековых лип, — мальчики слева, девочки справа, если стоять лицом к речке, которая текла под косогором. Внизу же была и уборная — длинное строение, левая часть для мальчиков, правая — для девочек. Туда вели две деревянные лестницы, и там было очень чисто. Умывальники были в спальнях домах. Младшие отряды жили в доме со всеми удобствами на центральной территории лагеря, там же и комнаты пионервожатых. Еще были столовая и эстрада, перед которой несколько рядов скамеек, темными вечерами там показывали кино. Не помню, была ли танцплощадка. В четырнадцать лет танцы меня не интересовали. В палате рядом со мной спала высокая, красивая, чуть полноватая девушка, старше меня на год, с пшеничными косами. Она очень любила русскую поэзию, у нее была толстая общая тетрадь со стихами ее любимых поэтов. Среди них Пушкин, Лермонтов, Тютчев и даже Апухтин. Мы уходили с ней на опушку леса, садились на траву под молодой березой, и она читала стихи из своей тетради. Она была очень добрая, и я тогда воспринимала ее как свою старшую сестру. Мы очень подружились, разъехались в конце смены по домам, и я больше никогда ее не видела. Но вспоминала часто. И вот приятельница моей институтской подруги и оказалась той самой Галей Павловой. Она тоже меня помнила. Расстались мы с ней детьми, а встретились тридцатилетними женщинами. Мы обнялись, расцеловались, не могли наговориться. Она очень изменилась внешне. Тоненькая, изящная, теперь я казалась старше ее. Я сказала своим подругам, что еду к любимому человеку на Север. И Галя посоветовала мне изменить прическу, чтобы стать ему более интересной. Взяла ножницы и аккуратно выстригла мне челку. Я никогда с челкой не ходила, получилось что-то ужасное, тем более еще потому, что волосы у меня волнистые, склонны завиваться, и челка моя закрутилась колечками.

Увидев меня, Юра был потрясен. «Ты с ума сошла, ты похожа на проститутку». Я рассказала ему про Галю, про ее совет стать для него более интересной. Он посмеялся. А когда напился, ревность опять выстрела. И досталось, конечно, челке. Проснулся он в Кеми поздно. Выпить было негде и некогда. Взяли машину и поехали на причал. Было

очевидно, что мы опаздываем. Юра гнал таксиста, но из разбитого драндулета много не выжмешь. Высадил он нас у самой воды, и мы увидели метрах в ста от причала дымок катера, уплывавшего на Соловки. Мне было очень досадно, опоздали на каких-то десять минут. Юра на Соловках бывал, он хотел, чтобы и я посмотрела исторический монастырь. Он был трезв, чувствовал свою вину. И все наше дальнейшее путешествие было прекрасно.

Из Кеми мы поехали поездом в Кандалакшу. Там в морском вокзале пришлось ждать до утра грузопассажирского парохода. Отплыли мы рано утром 29 июля. Плавание было спокойное, у нас были билеты третьего класса (мой билет сохранился), но капитан любезно пригласил меня в кают-компанию, чтобы я могла поспать на узком, длинном, но мягком диване. Отдохнув, я вышла на палубу, солнце стояло низко, и его лучи насыщали воду густым оранжевым цветом. Вода колыхалась, и казалась тяжелой, непрозрачной, похожей на расплавленный металл в тигле. Сравнение точное, этот образ до сих пор у меня в глазах.

Мы плыли в Умбу, поселение на Кольском полуострове, где люди занимаются рыбной ловлей, разведением рыб и обработкой плавника. Приплыли к вечеру, причала для большого судна не было. Спустили для нас трап, мы попрощались с капитаном, — всегда грустно прощаться с добрым человеком, которого никогда больше не увидишь, — и осторожно сошли в приставший к борту карбас. Карбас — это обычная сельская, довольно большая лодка.

В Умбе был лесозавод и рыбозавод, где разводили привезенную с Дальнего Востока горбушу. Вот как Юра пишет про Умбу: «Со стоном и шумом течет река Умба в Белое море. У самого устья разбивается она на два рукава. На главном рукаве лежит деревня — так и называется Умба, — сопки прижали ее прямо к реке, и в воде на сваях стоят амбары, бани, к сваям причалены карбасы, а дома, где люди живут повыше». Эти строки взяты из детского рассказа «На помощь», опубликованного, кажется в «Мурзилке», у меня только страницы с этим рассказом: 11 — 13. Гостиницы там не было, нас поместили в длинный барак, общежитие сезонных рабочих, в большую, пустую, с несколькими кроватями комнату. На крыльце сидела женщина, мыла и чистила на обед рыбу. У всех женщин-поморок красивые и приветливые лица. Она научила меня, как быстро счищать с рыбы чешую. Надо облить ее крутым кипятком, тогда чешуя слезет сама. Умба расположена на каменистом склоне сопки. Ее улицы и площадь вымощены досками цвета светлого меда, идешь по ним — от шагов характерный деревянный постук. И смолисто пахнет свежими опилками. Мы посетили рыбозавод, гуляли в окрестностях. Древний ледник оставил на этой земле много своих сле-

дов. Среди редкого, невысокого леса объемные камни-валуны, которых называют лбами. Некоторые достигают в высоту двух-трех метров. На один я взобралась, наверху, на гладкой темно серой поверхности выемка в виде большого блюдца с теплой прозрачной водой, на которой плавал желтый листок. Я ей умылась.

Из Умбы путь лежал дальше, на Терский берег Кольского полуострова, в поморскую деревню Чаваньгу. Летели мы туда на маленьком самолете. У меня до сих пор сохранился на него билет. Когда поднимались в воздух, и самолет делал круг, я глянула вниз: на воде, окружавшей Умбу с трех сторон, как будто рассыпаны спички — так видится сверху сплавленный сюда лес. Большую часть года эти дребезжащие при посадке самолеты — единственное средство сообщения между поселками. Одна из местных женщин именно этим — в шутку, конечно, — объяснила большое количество детей в поморских семьях: вечно из-за нелетной погоды опоздаешь с абортom.

В Чаваньге на летном поле нас встречал председатель сельского совета, он получил телеграмму о нашем прилете. Это был высокий красивый помор с норвежского типа чертами лица, с высокими (не широкими) скулами, твердого очертания ртом и умеренно длинным, не широким носом. До этих мест татары не доходили, и «носы, — как говорила моя мама, — им не испортили». Нос у поморов не кончается картофелиной. Улица, по которой мы шли, называлась «Пионерская», а буква «я» была написана как «А» с перпендикулярной полоской вниз от середины перекладки. Так писалась буква «я» в древнерусском языке, этого написания я не могла найти среди компьютерных символов. Председатель повел нас к себе домой. Дома в деревне высокие, жилые помещения стоят на подклети. К дому примыкает крытый двор, он ниже жилой части дома, в нем держат скотину. Из сеней сбоку тянется над двором длинная узкая галерея, которая заканчивается уборной: большое, чистое помещение, крытый дощатый ящик с овальной дырой посередине. Человеческие испражнения падают вниз, их время от времени засыпают коровьим навозом. По весне чистят эти «авгиевы конюшни» и содержимым, перемешанным с соломой, удобряют мало пригодные для земледелия земли. Дом и мебель построены без единого гвоздя. Лавки не такие, как в средней полосе России, они шире, с подлокотниками и спинкой. Правда, вспомнилось, я видела подобную лавку в деревне Марфино, у старухи, каких Солженицын назвал «праведниками» в рассказе «Матренин двор», кончающийся словами «Не стоит село без праведника». Я читала этот рассказ в Тарусе, он ходил тогда в рукописи. Его нам дала Елена Михайловна Гольшева, а писателя назвала «Рязанский», пояснив, что это его псевдоним.

В доме просторные светлые комнаты с большими окнами, нас накормили отличным рыбным обедом и пирогами с морошкой, и отвели к соседке, которая приютила нас на две-три ночи. Этот дом был иного свойства. Не большой, тесноватый, нам отвели закуток, что-то вроде спального отсека без окон. В нем широкая постель без простыни, две подушки в ситцевых наволочках в цветочек, одеяло без пододеяльника, засаленное испарениями человеческого тела. Мы проспали там две ночи, и ничего плохого с нами не случилось. На Севере в воздухе совсем нет микробов, им в тех широтах неуютно. И люди не болеют, но в каждой семье есть хотя бы один утопленник, с морем шутки плохи. Но в августе, когда мы там были, штормов не бывает.

Устроившись с жильем, двинулись к морю. Вышли на песчаный берег, широкий, уставленный шестами, между которыми сушатся растянутые сети, и я тогда поняла, откуда в пушкинских сказках море. Это было точь-в-точь то море, тот берег, где «жили-были старик со старухой». Деревня стоит на берегу порожистой речки. В домах есть электричество, дает его местная крошечная электростанция на этой речке. Все время слышится мерный стук работающего движка. Заметили и одно досадное обстоятельство. В один из дней причалил грузопассажирский пароход. Он привез, кроме нужных товаров для местного магазина, ящики со спиртом в бутылках без этикеток, с выпуклыми стеклянными буквами, производство Ленинграда. Народ ожидал этот товар с большим энтузиазмом. Нам это показалось неправильно и вредно для местных жителей.

Но в основном впечатление от Чаванги, да и вообще от Севера, огромное, ничего подобного южнее в русских краях я не встречала. Пахотной земли нет, но угодья для выпаса коров есть. Какая там трава, чем эти коровы живы, не помню. Кто-то, может быть, в шутку сказал, что они очень любят грибы. Коровы дают жирное молоко, из которого делают сметану, она продается в магазине. Такой густой сметаны в средней полосе я не встречала, ее стряхивают с ложки. А грибов там, действительно, много. Растут они в карликовых лесах. Иду я, мне показалось, по лугу, и вдруг вижу, среди зелени под ногами листья на тонких веточках. Как есть березовые, но только размером с трехкопеечную монетку (с теперешнюю двухрублевую). Такие же зубчики, нагнулась, неужели это карликовые березы? Да мы ведь о них в школе учили! Мне было стыдно спросить, но я все же спросила.

— Да, — говорит наш спутник, — это березы и осины, а между ними грибы, выше их ростом.

Грибы там — подберезовики и подосиновики, растут очень быстро из-за длинного светового дня; крупные шляпки лопаются, на них обра-

зуются перемычки, как на панцире у черепахи. Червивых грибов почему-то нет. Мы их собирали, варили суп, жарили на сливочном масле. Попросили у хозяев луковицу. Не допросились. Плодородной земли для огородов нет, ее за большие деньги привозят в пакетах с Большой земли. Высыпают в длинные глубокие ящики и выращивают в них лук. Ну, сколько луковиц можно вырастить в таком ящике? Поэтому каждая луковица на счету. Кормятся там люди рыбой, нас потчевали пирогами с семгой. Много морошки. Чернику собирают широкими деревянными вилами, прочесывая черничные кустики, черника там величиной с виноград. Мясные консервы, крупы, мука — это все привозное.

Нам очень захотелось побывать на тоне. Тоня — это два-три дома в нескольких километрах от деревни, таких тонн по берегу — от деревни налево и направо — несколько. Здесь живут во время лова поморы, иногда вместе с семьями. Привезли нас на ближайшую тоню на карбасе, она километров в десяти от Чаваньги. У рыбаков здесь семьи, бегают детишки. Встретили нас весело и гостеприимно. Только что поймали несколько семужек, при нас вспороли одной брюхо, достали икру, посолили и через полчаса икра готова. Ловить семгу для себя запрещено. Всю выловленную семгу сдают государству. По берегу ходят инспекторы рыбнадзора. И, тем не менее, ловят и едят ее все. Нас угостили пирогами из семги и с морошкой. Так есть морошку не очень вкусно, а вот пирог с ней — объедение, как будто с желтой малиной. Мы на тоне заночевали, постелили нам на берегу оленьи шкуры, прямо на землю, дали одеяла и подушки. Оленьи шкуры оказались мягкие. Волоски на них полые, наполнены воздухом, и поэтому на шкурах так мягко спать. Это были, наверное, самые удивительные дни в моей жизни. Край земли, белая ночь, на самом-то деле, она прозрачно серая. Мы в гостях у добрых, бесхитростных людей. И рядом со мной любимый и очень талантливый человек, отмеченный Богом. Мы не спим, говорим о вечном — о жизни в разных местах земли, о том, какие разные всюду люди. Как занятие, работа, место обитания влияет на характер, привычки, нравы. И какое счастье, что мы очутились здесь, в Заполярье, два человека, слившихся в одно духом и телом.

Карбас в Чаваньгу собирался не скоро. Пришлось думать, как добраться обратно. Кто-то сказал, что на соседнюю тоню завтра зайдет дора (катер с мотором), которая нас туда и подбросит. До соседней тони было, кажется, километра четыре. И мы решили идти пешком. Заблудиться не заблудишься, держись кромки моря и пункта назначения не минуешь. Ну, мы и пошли. В тундре, однако, идти не так просто, это не наезженная колея, и даже не лесная тропа. Что-то похожее на тропу есть, но она то и дело исчезает, единственный ориентир — море. Земля

вся усеяна мелкими и крупными камнями, прямой дороги нет. Чтобы обойти нагромождение камней приходится делать большой крюк в сторону от воды и возвращаться, продвинувшись всего на несколько метров. (Стараюсь писать как можно точнее, чтобы Юра, будь он жив, похвалил меня. Обычно он мои писания критиковал).

Мы шли и шли, и, казалось, конца-края нашему пути нет. Справа — море, слева — плоская, неровная тундра. И вдруг на горизонте замаячила фигура человека. Встретить человека в тундре — большая удача. Людей там мало, злоумышленников нет. Встреча всегда сулит что-то интересное. Человек быстро приближался к нам. Это был высокий, лет сорока пяти мужчина в брезентовом плаще, в высоких сапогах и фуражке. Он тоже спешил на дору. Пошли вместе. И он рассказал нам свою историю. Он специалист-ихтиолог. Много лет назад приехал на Север, чтобы заниматься разведением рыб. В Москве (точнее, в Подмосковье) у него осталась жена, и он каждый год возвращался в отпуск домой. И каждый год думал, что возвращается насовсем. Но поживет немного в суете средней полосы, и что-то начинает его тянуть в низкие широты. И он опять едет на Кольский. Так прошло лет десять. И вот однажды он взял и не поехал в отпуск к себе домой, в Подмосковье. Да так и остался жить на Севере. Эту тягу он объяснил тем, что на Севере в воздухе нет микробов, и организму здесь любо. Потому так сюда и тянет. Значит, ко всему прочему (мало людей, мало начальства), есть еще и тяготение тела. За разговорами мы подошли к тоне. Дора должна придти часа через три. На этой тоне только один дом, и в нем тогда был только один помор. Он нас приветливо принял, предложил нам высокую стопку блинов на большой тарелке, которые сам напек. Мы сели за стол и рассказали ему, что мы из Москвы, собираем материал для журнала. Он обрадовался, полез в печь, достал большую кастрюлю с супом из лосиного мяса. Говорит, принял нас за рыбнадзор. Лосей тоже запрещено убивать, он и решил потчевать нас незапрещенной законом пищей. Затем достал странный сосуд — коричневый эмалированный ночной горшок с ручкой, довольно большой. В нем была брага. Эти посудыны им привозят по разнарядке, а они используют их для своих надобностей.

Скоро подошла дора, приткнулась на мелком месте. Идти к ней надо по колено в воде. Наш спутник подхватил меня на руки — у него были высокие сапоги — и перенес с берега на дору. Юра разулся, и скоро мы удобно устроились на скамье тарахтевшей доры. Я обратила внимание, что любезность нашего спутника не вызвала у Юры и тени раздражения. Дора эта не сразу направилась в Чаваньгу, надо было зайти еще в какую-то деревню — туда как раз плыл наш спутник — и уж потом она пойдет обратно в Чаваньгу.

В Чаваньге стали думать, как добираться отсюда до Мурманска. Кто-то посоветовал лететь в Пялицу, последнее поселение на Терском берегу, который оканчивается мысом Святой нос, разделяющим Белое море и Баренцево. Из Пялицы самолетом в Апатиты, где останавливаются московские и ленинградские поезда, идущие в Мурманск. В Чаваньге мы не стали больше задерживаться и полетели в Пялицу. На этих самолетах летаешь, как будто качаешься на огромных качелях. Только успел самолет достичь высшей точки полета, как опять снижение, посадка, и опять взлет. У меня сохранились билеты в Пялицу. Здесь мы сразу же отправились в местную библиотеку.

Библиотекой заведовала красивая молодая женщина с тонкими чертами лица, с темными гладкими волосами, забранными в пучок. Она пожаловалась, что получает мало новых интересных книг. Классика у нее есть вся, все толстые журналы, а вот с новыми книгами беда. Библиотека — просторная комната. Книги стоят на нескольких стеллажах, журналы на длинных — во всю стену — двух (м.б. на трех) полках, нижняя стоит на подставке, верхняя доходит человеку до пояса. На них, действительно все главные журналы: «Новый мир», «Москва», «Октябрь», и еще какие-то, за несколько лет. Но читать их там некому. Мы взяли под залог в три рубля «Анну Каренину», не помню, где мы ночевали, но читали Толстого допоздна, утром отнесли книгу, попрощались с милой, полной достоинства библиотекарейшей. И полетели в Апатиты. Юра читал Толстого с восхищением и светлой завистью. Он мне тогда сказал, что так он никогда бы не смог сочинить. В поморских селениях не аэродром, а летное поле. Это, и правда, небольшое, поросшее зеленой травкой поле, самолет приземляется, минут пятнадцать выгружает пассажиров, почту, забирает новых пассажиров, билеты они берут тут же. И улетает. Я нашла по Интернету сведения о сегодняшней Пялице. Там сейчас ничего нет, ни клуба, ни библиотеки, ни медпункта, все как вымерло. И живут всего четыре человека. А жаль. Уверена, сохранись советская власть, в усовершенствованном — гуманизированном — виде, сейчас бы это селение процветало. Ходом жизни руководил бы не безмозглый рынок, а стремление к общему благосостоянию. Что-то мы сделали не так двадцать лет назад. Не только человек ошибается, но и сообщества. Надо заглянуть, что об этом говорит Лев Гумилев.

В Апатитах было уже что-то вроде аэропорта. Большое взлетно-посадочное поле. Легкое строение, где продаются билеты, несколько служащих. Нашли попутную машину, которая отвезла нас на станцию. Много железнодорожных путей. Небольшой вокзал с высокой, круглой железной печкой, которая сейчас, разумеется, не топилась. Смеркалось, пассажиры сидят на лавках, сильно пахнет махоркой. Все у нас складывалось

удачно, поезд «Москва-Мурманск» подошел часа через два, мы купили билеты в мягкий вагон и насладились купейной цивилизацией. В часы ожидания на вокзалах мы обычно играли в слова. Брли какое-нибудь длинное слово и из его букв составляли новые слова. Потом сравнивали, у кого больше. Я всегда выигрывала, потому, что у меня была метода. Юра обгонял меня по интересным, редким словам, но по количеству никогда. Я брала первую букву и начинала методично подставлять к ней гласные, имеющиеся в слове. Например, слово «портал», беру букву «п», подставляю к ней первую по порядку гласную из имеющихся в слове букв, к ней такую же согласную, потом опять гласную, потом опять «п» и следующую гласную. И так с каждой буквой по очереди. Система работала безотказно, Юра в шутку сердился, я ему объяснила систему, но ему искать по системе было не интересно. В нем сидели вороха удивительных слов, он их быстро извлекал на свет божий, а копаться со всякой мелочью ему было скучно. У меня сохранилось много таких бумажек.

В Мурманске нас поселили в общежитие обкома партии. Юра пошел в Рыбное управление, узнавать, когда уходит в море ближайший сейнер. Оказалось, что через день. Мы ходили по городу, мужчин на улицах было гораздо больше, чем женщин, особенно моряков. Осмотрели рыбный порт, нам дали туда пропуска. Держу в руках пожелтевшую бумажку размером меньше тетрадного листка:

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«РЫБЬИЙ МУРМАН»

Орган партийных комитетов тралового и сельдяного
флотов и управления рыбной промышленности совнархоза
«16» а в г у с т а 1961. г. Мурманск

№ _____ Тел.: 28-67, 2-75 (АТС рыбного порта)

В БЮРО ПРОПУСКОВ МУРМАНСКОГО
МОРСКОГО РЫБНОГО ПОРТА

Редакция газеты «Рыбный Мурман» просит
выдать разовый пропуск на 16 августа 1961 го-
да внештатным корреспондентам редакции
тг. КАЗАКОВУ Юрию Павловичу и БЕЛОСЕЛЬСКОЙ
Марие Дмитриевне.

РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ
«РЫБНЫЙ МУРМАН»

Б. ФЕДОРОВ

Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой. Правописание как в документе.

В порту стоял сильный рыбно-морской, йодистый запах, приятный, не гнилостный. Просторно, деревянный настил. На автотележках возят большие светлые и темные ящики. У причала десятки судов разных калибров. На одном Юре предстояло уйти на днях на рыбный промысел.

Мы сильно поистратились, путешествуя по Кольскому полуострову. Юра послал телеграмму Коринцу, умоляя выслать пятьдесят рублей. Я — маме и Фриде Абрамовне Вигдоровой с просьбой перевести телеграфом немного денег. Когда Юра отплыл в море, у меня в кармане было ровно семь копеек. Надо было ждать переводов из Москвы. Мама была в это время на даче, и получила мой телеграфный вопль дня через три. Телеграмму ей привезла сестра. И она тут же выслала деньги. Фрида Абрамовна тоже перевела деньги не сразу.

Таким образом, я осталась в чужом городе без рубля в кармане, без единого знакомого, но, правда, с крышей над головой. К полудню мне очень захотелось есть. Я купила у частной торговки возле овощного магазина репу, она как раз стоила семь копеек. Я все это хорошо помню, потому, что часто рассказывала родным и знакомым этот замечательный эпизод. Тогда-то я и поняла на собственном опыте, что без денег и пищи человек может запросто умереть с голоду. Если, конечно, не найдет дороги к спасению. Я зашла в скупочную, предложила свои ручные часы, никакой особой ценности в них не было, и часы у меня не взяли. И тогда я пошла в редакцию местной газеты «Заполярная правда». Мы с Юрой туда заглядывали, Юра познакомился с главным редактором, обещал ему что-нибудь написать. И я направилась прямо к нему. Это был уже молодой человек, с простым и добрым русским лицом. Он и на самом деле оказался добрейшим человеком. Я поведала ему свое бедственное положение. Сказала, что могу делать в редакции все: редактировать, писать, быть корректором. Мне надо заработать немного денег, пока мы не получим телеграфные переводы. По-моему, его звали Николай Николаевич. Он сочувственно выслушал меня, покачал головой и позвонил своей помощнице. Пришла молодая энергичная женщина, он объяснил ей в двух словах ситуацию и спросил, какие у них есть остро важные на сегодняшний день темы, по которым хорошо бы собрать материал. Помощница говорит, самая важная сейчас тема — как маленькие мурманчата готовятся к длинной, без солнечного света зиме. Н.Н. говорит мне:

— Вот вам и задание. Походите по городу, идите в школы, в детские центры при домоуправлениях, адреса вам дадут. Записывайте все, даже если покажется неинтересным, Не беспокойтесь, какой-то материал все рано будет. Если что, поможем.

Дали мне мандат от газеты и взаймы три рубля. Тогда на эти деньги могла прожить день целая семья.

Я на крыльях вылетела из редакции. И первым делом пошла обедать в ближайшую столовую. Поела ухи с рыбным пирогом, выпила чаю. И тут же отправилась по адресам. В Мурманске это действительно проблема. Где-то в октябре начинается полярная ночь, солнце ни на секунду не появляется над горизонтом. И дети возвращаются из школы домой темной ночью, хотя часы показывают два-три часа дня. Задача городских властей, школ, управдомов — организовать интересные занятия для детей, чтобы дневная темень не угнетала их психику. Пошла по первому адресу. Октябрьская улица, ЖКО. Председатель ведет меня в клуб «Веселые дворы для детворы», в комнату отдыха. Телевизор есть, но нет антенны. На стене четыре грамоты за первенство по бегу. Староста Тоня Похотина читает здесь детям газеты «Пионерскую правду», «Комсомолец Заполярья», «Арктическую звезду». Подготовка к зимней работе с детьми идет вовсю. Будут работать кружки по вышиванию, фотокружок. Я все выспрашивала, записывала на четвертушки листа, они до сих пор целы. Будет еще комната затейников, спортивные секции. Судоремонтный завод пришлет инструкторов для кружков — столярного и по морскому делу. Я спросила: может, им нужна помощь от редакции? Нужна, в клубе нет футбольных мячей, достать их трудно и дорого. Я обещала в этом помочь. Чувствовала себя заправским корреспондентом, все было интересно. Клуб организует путешествия. Ходили недавно в сопки за Семеновское озеро, человек двадцать. Собирали камни, цветы. Пели песни «Картошка», «Бескозырка белая», «Наш край», «То березка, то рябина». В другом дворе разговорилась с женщинами. У них в каждом жилом районе женсовет, который тоже принимает самое активное участие в организации детского зимнего досуга. Они мне рассказали одну интересную вещь. По их инициативе было запрещено нанимать на сейнеры женщин, эти женщины (поварихи, медсестры) были большим соблазном для мужской команды, которая проводила в море иногда несколько месяцев. Это, конечно, я записывать для газеты не стала. Побывала в детском центре еще на одной улице. Большая комната отдыха, в ней 265 книг и 192 журнала. Среди книг «Сказки» Пушкина, Маршак, Иосиф Дик, Вальтер Скотт, «Чингиз-хан» В.Г. Яна. Журналы «Огонек», «Вокруг света», «Пионер». В углу телевизор. Есть телеграфный аппарат, уголок здоровья. Висят самодельные гирлянды. Белые занавески, синие шторы, на столе скатерть. На стене монтаж о первом космонавте Юрии Гагарине. И тоже грамоты за спортивные успехи от горкома комсомола. Во дворах готовятся к пионерскому слету в конце августа. Торжественно пойдут к Дому пионеров в пионерской форме. Будет торжественная линейка. Дворовые команды выступят со своей самодеятельностью.

А на другой день я отправилась в городской Дом пионеров. Там как раз готовился праздник цветов в честь нового учебного года. Шьют костюмы, делают венки из ромашек, колокольчиков, васильков. Репетируют самодеятельность, поют. У каждой дворовой команды будет свой пропуск — живой цветок. Круглый год в Доме пионеров читают лекции для школьников. Недавно была лекция о художниках. Ребят пришло много. И в одном дворовом клубе был сделан монтаж из картин Тропинина, Брюллова, Кипренского, Репина. В доме пионеров проходят встречи с иностранными делегациями. Были уже встречи с норвежцами, французами, поляками. Приезжали моряки с Кубы, обменивались с пионерами значками. Намечен поход к пограничникам, пограничники обещают развести костер, ребята готовят самодеятельность. Выделены деньги на сухой поек. В Доме пионеров есть кукольный театр, показывают кинофильмы — бесплатно. Обещают еще теневой театр.

Все это я описала на девятнадцати больших страницах. На третий день пришла в редакцию, Н.Н. отправил страницы перепечатать. Прочитал и говорит: «Неужели это все происходит у нас в Мурманске?». И весь материал пошел в следующий номер «Заполярной правды». Много лет спустя я нашла этот номер газеты в Ленинской библиотеке («Заполярная правда, 1961 год, конец августа») и прочитала свою статью с ностальгическим удовольствием. Мне за нее заплатили двадцать рублей. Я отдала свой долг и мне тут же предложили еще одно задание. Но Юра уже вернулся, и мы засобирались домой. Получили деньги и от мамы, и от Фриды Абрамовны. Да еще мой заработок. И я отказалась от дальнейшего сотрудничества. Честно говоря, с большим сожалением. Мне пришлось по душе работа в газете, да и вообще там понравилось. Москва куда хуже с ее склоками, сплетнями, завистью, подсиживанием. Ничего подобного в Мурманске я не заметила. Конечно, я была в этом городе всего несколько дней, наверняка, и там имелись свои благоглупости. И все же у меня сохранилось сильное чувство, что личная и производственная жизнь поморов гораздо честнее и чище, чем жизнь в метрополиях.

Вот какую телеграмму прислал мне Юра с РТ 38: «мурманск комсомольская 3 общежитие обкома партии белосельской [ниже полоска] мурманску мрм 199/2 ке 38 нр 234 23 14 21 45 зам радио [далее текст] все в порядке завтра будем мурманске 12 часов дня рт 38 уточни диспетчерской встречай у порта = юрий — 0122».

А спустя два дня мы покидали Мурманск. Тогда в некоторых поездах был вагон с двухместными купе, но билеты в такие вагоны в общих кассах не продавались. И Юра послал меня к начальнику вокзала за разрешением ехать в Москву в двухместное купе. В повседневной жиз-

ни Юра не заикался, может быть чуть-чуть, это ему даже шло. Но когда надо было о чем-то просить, заиканье становилось сильнее, и вместо него просила я. Как смутно в памяти проявляется эта моя прогулка к начальнику вокзала. Я обходила какие-то светлые каменные дома, день был ясный, теплый, много спешащих пассажиров, как будто все куда-то опаздывали. Начальник дал разрешение. Спросил только, улыбаясь, откуда мы знаем про эти вагоны. Он главного редактора «Заполярной правды», ответила я. Купе большое, две полки, обе нижние. Вагон-ресторан. И вот мы в Москве. И опять каждый едет к себе домой. И опять нужно думать, куда отправиться, чтобы снова жить вместе.

1961 Г. ОСЕНЬ И ЗИМА. ОПЯТЬ ПЕЧОРЫ. МОСКВА.

Жить в Москве негде, в институте я не работаю, значит, можно опять собираться в поход. В Печоры нас как магнитом тянуло. И вот 17 сентября опять сели в поезд Таллин – Москва, у меня до сих пор сохранились три билета до Петцери. Едем втроем: Юра, я и Устинья Андреевна. Юра так ярко описывал этот прелестный городок, что и ей захотелось на него взглянуть. В тот раз мы приютились не у Михал Михалыча, у него вся семья в сборе. Сняли комнаты в разных домах. Мы с Юрой у одного местного инженера, Устинья Андреевна – у какой-то богомольной старушки. Той осенью комната была не такая уютная. И Ани в монастыре нет. Но Нина Ананьевна была. И стала моей крестной матерью. Крестил меня священник местной церкви, стоящей рядом с монастырем. Я никак не могла выучить молитву «Символ веры». «Отче наш» знала давно, а «Символ веры» почему-то не запоминался, и священник подсказывал мне слова молитвы.

Мои родители были, как я уже писала, атеисты, и все их четыре ребенка – «нехристи». В те годы я была искренне верующим человеком. Началось это еще с войны. Когда мы вернулись из эвакуации (в апреле 1943 года), немецкие бомбардировщики еще два раза прорывались к Москве. Но бомбежек больше не было, и воздушных тревог я не боялась. А вот войны боялась.

Первый год войны меня и брата отправили в эвакуацию с детским домом от Наркомпроса (Народный комиссариат просвещения), где работала мама. Детский дом обосновался в Осе, маленьком городке на реке Осинка, притоке Камы. И там мы ощущали жуткое дыхание войны. Читали в газетах про Зою Космодемьянскую, где были страшные фото, запечатлевшие ее мученическую смерть. Сотрудницы детдома получали похоронки.

В Москве, лежа в постели, перед сном, я горячо молила Бога (тогда Бог был с маленькой буквы), чтобы никто из моей семьи не был убит. Я не знала ни одной молитвы, ничего не знала про Иисуса Христа, Библию. Просто от всего сердца просила Бога, чтобы все мои родные остались живы. Курс библейских лекций читался мной в семидесятые и восьмидесятые годы. В шестидесятые я видела только внешнюю сторону православия, а в Печорах окунулась в чистую, искреннюю веру, дающую людям утешение. К тому же всё было так красиво — монастырь, собор, колокольный звон, и особенно церковное пение. Ощущалось что-то мистическое. Однажды все утро воздух колебали редкие, гулкие и тяжелые, удары колокола. Преставился один из монастырских старцев, и в его память церковный колокол бил на особый лад. И еще я сильно чувствовала, что православная вера — не только священное, но и культурное достояние. Меня тянуло приобщиться к этой вековой, благодатной традиции. И я, не кривя душой, «приняла святое православие» — слова из письма игумена Луки.

Думаю, не случайно не давался мне тогда «Символ веры». Миновали годы, я занялась историей христианства. Углубилась в ту эпоху. Как раз тогда были найдены кумранские рукописи. Мир для меня раздвинулся во времени и пространстве. И у меня появилось свое понятие о Создателе. И хотя слова: «Верую во единого Бога» не противоречат моему понятию, но все же мой Творец отличается от триединого христианского Бога. Наверное, именно поэтому, ничего еще не зная и не понимая в делах духовных, я не смогла выучить «Символ веры», видно, в подсознании зрело зерно будущего религиозного инакомыслия. И все же, полагаю, я могла бы тогда затвориться в келье и жить согласно православным канонам. У каждого народа свой путь к Богу, и, наверное, каждый человек по-своему Его видит. Но я уверена, имея собственное понятие о Творце, можно обращаться к Нему, пользуясь и национальным религиозным инструментом, в моем случае православной верой. В Печорах мы жили среди людей, для которых верить все равно, что дышать. Такими были старец Лука, Михал Михальч, Аня, Нина Ананьевна. Я и сейчас подумываю о монастырской келье, Льва Николаевича Толстого ведь потянуло в Оптину пустынь незадолго до смерти. Отстраненной ото всего тишины хочется, единения с Абсолютом и с собственной заканчивающейся жизнью. Мне сейчас, когда я пишу эти строки, 82 года, столько, сколько прожил Лев Толстой.

Мы опять бродили по окрестностям, и набрали однажды на небольшую деревню, где продавался удивительного фасона дом. Схема его, если смотреть сверху — перевернутая вниз головой буква «Ш» с толстой крышей и короткими ножками. Крыша — длинный коридор, три

короткие широкие ножки — три комнаты. В коридор ведет входная дверь, расположенная с левой стороны дома. Где-то в коридоре размещается уборная и кладовая. Справа, как войдешь, одна за другой три двери, ведущие в комнаты, которые и образуют три ножки. Концы ножек скруглены, это окна в виде фонарика. Снаружи в пространстве между комнатами клумбы с цветами. Никакого забора, да и улицы как таковой нет. Дом стоит на отшибе. Нас он пленил своей необычностью. Мы оба, Юра и я, мечтали о доме в глуши, в деревне. И стали думать всерьез, не купить ли его. Цена небольшая, деньги можно собрать после выхода в свет Юриных рассказов и моих переводов. Даже прикинули, трудно ли добираться от Москвы до Печор. Поезд приходит в Петцери утром, часов в десять, берешь такси до Печор, и пешим ходом минут двадцать до дома. Ничего страшного. Но дальше разговоров дело не пошло, все-таки Печоры — не ближний свет.

Устинья Андреевна много времени проводила в монастыре. Иногда приходила к нам. Однажды спросила меня, ела ли я когда-нибудь овсяный кисель. Я знала, что есть и такой кисель, но никогда не пробовала. И Устинья Андреевна сварила нам это старинное крестьянское кушанье. Сначала замочила сухие овсяные зерна, так они стояли, наверное, сутки, пока не прокисли. Затем отжала их и поставила полученную кислую жижу варить. И получился крутой кисель. Мы его ели с молоком. С молоком есть можно, а так он невкусен.

В тот раз в Печорах я впервые заметила, что Юра как будто слишком привержен к вину. Он опять что-то писал, наверное, повесть «Нестор и Кир». Но утром, перед тем, как сесть за машинку, до завтрака, до прихода мамы, обязательно выпивал стакан вина. И мне показалось, что без этой выпивки начать свой рабочий день он не может. А за ужином, после прогулки, опять возлияние. Мама сердилась, он отшучивался. И однажды я сказала ему: «Юрочка, давай проверим, сможешь ли ты не пить. Ведь если тебя тянет выпить, это может перейти в болезнь. Попробуй одну неделю не пить. Сможешь выдержать, значит, все прекрасно, и беспокоиться не о чем». Я говорила очень мягко, по-доброму озабоченно. И Юра не рассердился. Даже пошел на этот эксперимент. И всю неделю капли в рот не брал. В субботу куда-то отлучился, я стала мыть в нашей комнате пол. Кровать, на которой он спал, была легкая, отодвинув ее, я увидела целую батарею бутылок, пустых и полных. Когда он вернулся, я показала ему бутылки. Он не рассердился, не расстроился. Засмеялся, и говорит: «Не волнуйся, со мной все в порядке, я не алкоголик. Хочется выпить — пью, не хочется — не пью». И дальше продолжал пить, уже не таясь. Тогда я не знала, что это обычное объяснение пьющих людей.

Почему-то среди архивных бумаг я нашла билет на поезд №34 Москва — Таллин, на котором число — 16 октября 1961 г. Значит, кто из нас уехал почему-то в Москву и вернулся. Гадай теперь, откуда взялся этот билет. Есть еще один билет на ленинградский поезд. Из него явствует, что 27 октября, оставив маму в Печорах, мы отправились через Псков со станции Петцери в Ленинград. Точнее, это не билет, а квитанция о доплате к билетам 0762 и 0763 «за купе на двоих». Доплата 2 рубля 80 копеек.

Была поздняя осень. В Ленинград приехали вечером в тот же день и поспешили в Октябрьскую гостиницу, сняли на одну ночь два номера. (Есть два счета, вот как выглядит первый: «Получено в счет расчетов за комнату от гр. Белосельской МД / Дата 27/Х / № комнаты 578 / К-во суток 1 / Сумма 3 / Сумма прописью Три руб.»). Затем поехали в Союз писателей. Там Юру встретили друзья с распростертыми объятиями, и сразу сели пить. Пили долго и крепко, так что в гостиницу в тот вечер мы не поехали, нас пригласил переночевать незнакомый человек, у которого была большая квартира. Наутро пошли ходить по городу. Поздней осенью, когда листья опали, и кроны сквозят, любоваться Ленинградом особое удовольствие. Юра водил меня по местам, которые хорошо знал и любил: Невский, Казанский собор, мосты. Зашли просто так в огромный универсальный магазин, пили кофе в какой-то исторической кофейне. Настроение у меня было скверное. Юра был накануне до неприличия пьян. И у него вид был хмурый. Ночевали ту ночь в гостинице, в разных номерах. И пасмурным холодным утром поехали на Московский вокзал. А, приехав в Москву, опять разъехались по своим домам.

Я опять в Покровском Стрешневе, перевозжу Томаса Гарди. А Юра уехал в голицынский Дом творчества. Голицыно всегда действовало на него угнетающе, он пил, ему вспоминался Иосиф Герасимов, Домбровский — алкогольный бред, а, может быть, и осенняя хандра. И он писал мне горькие и обидные письма. От этого времени осталось только два его письма и несколько моих, не отосланных. Наверное, какое-то мое письмо все же было послано, но у меня его нет.

18 ноября Юра пишет мне такое письмо:

«Во-первых, не пиши мне, что я замечательный писатель.

Во-вторых, не пиши мне исторических писем.

Вчера ночью шёл у нас снег. А сегодня утром было солнце, и на всех ёлках и вообще ветках — на каждой было по шапке снега. А еще Ореон пишется так: Орион [и] подчеркнуто]. Это только пеон /скотовод/ пишется через «е». Я просил у ОПХ денег. Но она, зануда, не дала. Когда я её вижу мне хочется ей сказать: ти-ти-ти-ти-ти... У меня в комнате так

жарко, что я нынче ночью просыпался несколько раз мокрый, какмышь. Как будто я выпил пять таблеток аспирина.

Компания здесь тухлая, одни евреи, невыразительные и скучные, как я, когда просыпаюсь утром с похмелья.

Но приехал я сюда не напрасно, тут снег, а в Москве нету. Тут воздух, а в Москве нету. Тут скука, и рано или поздно я начну что-нибудь писать.

Если тебе в декабре нечего будет переводить, я тебе дам работу. На этот раз твёрдо. Меня приглашал на этот счёт один Акоп /зам. редактора Дружбы народов/, у него есть какая-то повесть листов на восемь. Я возьму и дам тебе.

Не робей!

Хоть я тебя и не люблю больше, но работёнку буду иногда подбрасывать.

Ты мне не звони, а то, как говорит Коринец, я «травмируюсь». Мне сразу хочется выпить и т.д.

Писать тебе я буду каждое первое число нового месяца. А проживу я тут до лета.

Вот так.

Будь здорова, не пей водки. Пей коньяк.

Голицыно. 18 ноября.

[дальше ручкой] Юрий

Конверт я так и быть твой использую на тебя, раз ты его надписала. А бумага пойдет на любовную записку какой-нибудь женщине. Очень хорошая бумага».

Вот такое письмо получила я в конце ноября. Судя по почерку, Юра, когда писал, был в сильном подпитье, — буквы прыгают вкривь и вкось. На него все давило: осень, нет хорошей компании, безденежье и отсутствие хоть какой-то радужной перспективы. До лета в Голицыне на казенных харчах. Хотя кормили в Голицыне неплохо, но это, все же, не домашняя пища. Раздражение против меня, в какой-то мере и оттого, что мы, бездомные, опять врозь. Словом, впереди тьма. Я не обиделась на это письмо, понимала, скверное настроение пройдет, и жизнь вернется в свою колею. А 30 ноября он пишет еще одно письмо. Совсем плохое.

«Марина!

Я только что был во второй комнате на втором этаже. Я там сидел у Юрина-старичка [Коринец]

Поэтому я тебя очень буду просить не писать мне сюда и не звонить. Как-то мне это не доставляет удовольствия, понимаешь? Кроме того здесь Домбровский, который не раз вспоминал тебя в пьяном виде. Как он тебя вспоминал — тебе, надеюсь, понятно.

Несмотря ни на что, я всё же рад, что твоя работа подвигается к концу, и вообще желаю тебе самого лучшего.

Итак, давай сделаем некоторый перерыв в нашем знакомстве.

Привет!

[От руки] Юрий

Голицыно 30 ноября 61.»

Это письмо было для меня шоком. И все же, несмотря на резкий, оскорбительный тон, который должен был бы привести к разрыву, и в этом письме был лучик надежды для меня и лазейка для Юры. Был в них посыл, что не все еще кончено. Я это поняла, и меня больше расстроили не слова «я тебя больше не люблю», а самый факт написания такого письма очень близкому человеку. Я тут же села писать ответ. Написала три письма, но не послала, потому что ни на одном конверте нет почтового штампа. Наверное, было и четвертое, отосланное, но ко мне оно не попало. Вот последнее письмо:

«Юра! Я знала, что твое водворение в Голицыно не принесет ничего хорошего. Но я думала, что это не так плохо. Вот какие мои соображения: либо тебе надо немедленно уехать из Голицына, либо мы с тобой расстанемся и не до мая. А на всю жизнь. Мы с тобой прожили как муж и жена около (3 декабря — ровно) полутора лет. Ты считаешь, меньше, потому что ты не с самого начала относился ко мне, как стал относиться потом. И вот что я скажу. Все это время я была тебе преданным другом, любила тебя так, как редко бывает. И ты сам это знаешь. Не было ни одного случая, чтобы я оказалась для тебя занятой, нездоровой, взамен не требуя решительного ничего; и эти такие насыщенные прекрасным месяцами оказались для тебя ничем по сравнению с одной неделей в Голицыно. Здесь можно сделать один вывод: ты человек больной. И только этим можно оправдать твое злопамятство и неджентльменское поведение, когда ты позволяешь пьянице [имеется в виду Домбровский] чернить меня в своем присутствии (а интересно знать, что он говорит насчет той оплеухи, что я закатила ему за его некорректность). Ни один здравомыслящий человек не станет корить любимую женщину прошлым, если ее настоящее в течение долгого времени безукоризненно. И все твои рассуждения об идеальной женщине, прости меня, бред. Тебе пора понять, что такое идеалы, и для чего они служат, их силу, целесообразность. Я не боюсь того, что ты болен. Я люблю тебя. Но поскольку общение со мной доставляет тебе такие муки, то из чистого человеколюбия говорю, мы должны с тобой расстаться. Мне ужасно плохо сейчас. И писать тебе подобное я решилась только потому, что представила себе, как скверно должно быть тебе, если ты решился написать мне подобное письмо в разгар моей работы, зная, что это здорово выбьет меня из колеи.

Вот и всё. Реши сам как лучше и дай мне знать.

Марина

12.61»

Письмо это, как и два предыдущих, было запечатано в конверт, на этом конверте даже есть марка. Нет только штемпеля. Конечно, такое резкое письмо я просто не могла Юре послать. Посланное, наверное, было гораздо мягче, ничего не было, наверное, про болезнь.

А в самом начале января 1962 года получаю новогоднюю открытку из Голицына, на которой шагает Буратино, держит за руку медвежонка, на плече у него елка, в небе звезды, ели в снегу, на сучке две белки, а впереди летит, распластав крылья, птичка. И вот что на другой стороне написано:

«Марина!

Пусть Новый Год будет для тебя годом радостей, пусть мы с тобой, как эти два хмыря на обороте, пойдем куда-нибудь широкими шагами!

Пусть у тебя будет много переводов, денег, времени, здоровья и пусть у тебя никогда не болит голова.

Будь счастлива, милая старуха и не поминай меня лихом! Твою Ю.К.»

Кончилась черная осень, за окном побелело, вылетел из головы хмель, и Юра стал опять моим дорогим любящим и любимым человеком.

Печатаю я сейчас это Юрино послание, и по щекам текут слезы. Меня отделяют от него полвека. И все еще больно, что не получилось у нас «широкими шагами» идти вместе до конца жизни.

Столько хорошего было в 1961 году, что оно вымарало горечь последних полутора месяца. Начался год 1962-й, и он весь был очень, очень счастливым.

1962 Г. ТАРУСА, ЗИМА – ВЕСНА

Вернувшись из Голицына, Юра решил конец зимы и весну жить и работать в Тарусе. Был, наверное, конец января. И он стал искать какое-нибудь жилье. Он уже бывал в этом милом городке на Оке, где осели по разным причинам люди из тогда еще не очень далекого царского прошлого. С Тарусой его познакомил Ф.Д. Поленов, внук знаменитого русского художника второй половины XIX века Василия Дмитриевича Поленова. Юра гостил в Поленово осенью 1960 года, и Федор Поленов, поехав как-то по делам в Тарусу, взял с собой Юру, о чем пишет в своих воспоминаниях Михаил Михайлович Мелентьев, человек удиви-

тельной судьбы. О нем можно прочитать в Интернете, там же есть его воспоминания, очень интересные, — «Мой час и мое время». Отец его был из купцов, родился он в городе Острогжске. Получил высшее образование, стал врачом. После революции в тридцатые годы был арестован и сослан в город Медвежьегорск, который назывался до 1938 года «Медвежья Гора». Отбыв ссылку, Мелентьев вернулся в Москву. После войны уехал во Владимир. А вскоре купил в Тарусе дом.

Зимой дом пустовал, зимовала в нем его домработница, кроткая старушка по имени Настасья Филипповна. Вот что он пишет в своих воспоминаниях (с. 614): («1960 г. 25 октября) Днем зашел попрощаться молодой писатель Юрий Казаков. Его книжка «Манька» с 8 небольшими рассказами очень мне понравилась. Осень он прожил где-то в глуши. Обслуживал сам себя и работал над второю своею книжкою. Кряжист. Некрасив. Ласковые близорукие глаза. Заикается. Учился музыке. Его в конце лета привел ко мне Федя Поленов. Он же принес мне для прочтения его книгу. Признанья и денег у Казакова еще нет, но я верю, что читать его будут». Вот таким виделся Ю.П. Казаков в свои 32 года старому русскому интеллигенту, проведшему жизнь среди благородных, высокообразованных людей — носителей гуманистической культуры, чуждой по духу той среде, куда их забросил непредсказуемый ход истории. Думаю, что Федор Поленов попросил М.М. Мелентьева дать пристанище на зиму молодому писателю Юрию Казакову. М.М. охотно согласился, пустил нас жить у него в доме бесплатно, попросил только платить зарплату его домработнице. Мы были счастливы, осенняя размолвка забыта.

Начались сборы. Зима в самом разгаре. Значит, можно ходить на лыжах. Юра дает мне задание купить ему и себе лыжи с ботинками. Покупаю в спортивном магазине на Кировской отличные — деревянные, длинные, легкие — лыжи, ботинки к ним и лыжную мазь. К теплой куртке пришиваю серый каракулевый воротничок, не столько для тепла, сколько для красоты. Лыжные брюки есть, еще теплый свитер, голубой фланелевый халат, обшитый по воротнику белой каймой и подчеркивающий талию, и, конечно, толстые шерстяные носки. У Юры тоже есть все для лыжных прогулок и для жизни зимой в загородном доме с печным отоплением.

Едем в электричке, на плечах рюкзаки, в руках лыжи и сумки. Едем надолго, но на этот раз в город, пусть и не большой, — в нем можно купить и еду, и курево, и водку.

Этого дома, к сожалению, сейчас нет. Его снесли в восьмидесятые годы местные власти, завистливые и злобные. Я очень хорошо помню мелентьевский дом-музей. Он находился в центре города, на площади в

более высокой части Тарусы. При нем был фруктовый сад и огород, Доехали на электричке до Серпухова, сели в автобус, идущий в Тарусу, и часа через полтора были на месте.

В доме было уютно и тепло. Михаил Михайлович письмом сообщил Настасье Филипповне дату нашего проезда. Мы заняли две комнаты — большую, где стоял рояль, на котором играл Игумнов, и поменьше — спальню. Была еще комната-музей, кабинет Михаила Михайловича. В ней камелек, в глубине слева — старинный книжный шкаф с застекленными дверцами, полный редких книг дореволюционного издания. На одной из полок бесценная фарфоровая статуэтка балерины Анны Павловой. Еще там были обитый штофом диван на гнутых ножках, и красного дерева небольшой стол со столами-вкладышами, мал-мала меньше, замечательная коллекция миниатюр. Как поднимешься, со двора, по ступенькам, справа — веранда, а войдешь в дом — длинный коридор. Слева вешалка для верхней одежды, затем дверь в уборную — удобства в доме, хотя канализации нет. Это — маленький чулан, в нем к дальней стене примыкают два деревянных ящика с откидывающимися крышками. В левом ведро с золой и небольшим совком, в доме несколько печей и золы предостаточно. В крышке правого — круглое отверстие, под ним ведро, отходы жизнедеятельности засыпаются золой. Раза два в неделю ведро выносится во двор на компостную кучу. В доме от такого туалета нет никакого запаха. Была и мансарда, крошечная темная комната, зимой нежилая. В кухне плита, окно выходит в заснеженный сад. На ветках красногрудые снегири, в маленькую всегда открытую форточку возвращается с гулянья желтовато бурый пушистый кот, глаза у него зеленые, точно такого цвета, как стволы осин, особенно когда их заливает солнце.

С Настасьей Филипповной мы зажили душа в душу. Она стирала наше белье, иногда готовила, питались вместе. К ней приходила внучка-первоклассница, я помогала ей делать уроки. Утром мы работали, Юра в кабинете, я в гостиной. После обеда шли гулять, познакомились с москвичами — семьей Ю.М. Александрова, который был военным врачом, воевал, но бросил лечить телесные хвори и стал писать. Купил в Тарусе дом, обустроил там свою жизнь, у него был даже рояль, он нам играл классическую музыку. Писал он маленькие зарисовки о том, что происходит в природе — о птицах, зверушках. Юра помогал ему устроить их в журнал и на радио. Он и его жена были славные, гостеприимные люди. Жили скудно, только литературными заработками Ю.М., Эва не работала. Иногда он лечил соседей, те платили ему натурой. Мы подружились, ходили друг к другу в гости. Однажды он пригласил нас на обед. Угощал жарким из певчих птиц, помню, одна из них была сойка. Ю.М. питался

даже птичьими яйцами, вынутыми из гнезда. Это было что-то вроде жизни Торо [Генри Дэвид Торо (Henry David Thoreau, 1817—1862) — американский писатель, мыслитель, натуралист. 1845 — 1847 годах Торо жил в построенной им самим хижине на берегу Уолденского пруда (недалеко от Конкорда), самостоятельно обеспечивая себя всем необходимым для жизни. Этот эксперимент уединения от общества он описал в книге «Уолден, или Жизнь в лесу» (1854)].

Солнечным морозным утром Юра иногда решал, что сегодня едем на лыжах. Надевали лыжное обмундирование — лыжные ботинки, теплые носки, брюки, свитер, куртку, натирали лыжи мазью. И шли вверх, за город, и через поле к лесной опушке. У меня есть фотография, мы сидим на поваленном дереве, зима, край леса. Юра хорошо ходил на лыжах, после него лыжня оставалась ровная, а после меня виляла. Идешь, пахнет снегом, хвоей, тихо, на еловых лапах снежные шапки, и кругом ни души.

Возвращаемся, щеки горят, варежки залубенели. Чистим от снега лыжи, разоблачаемся, дома пахнет мясными щами. После обеда читаем, или играем в четыре руки на рояле, меня в детстве учили музыке. Работать не хочется. Идем в гости. В Тарусе много москвичей. Юра еще раньше познакомился с Николаем Давыдовичем Оттенем, о котором упоминает в своей книге «Курсив мой» Нина Берберова, и с его женой, переводчицей с английского, Еленой Михайловной Гольшевой. У них большой дом, точнее, половина дома. Во второй живет вдова первого мужа Елены Михайловны и ее сын Виктор Гольшев, теперь известный переводчик с английского. У Оттенов часто собирается литературная и иная художественная братия. Бывает старший Штейнберг, переводчик и превосходный художник. У него дома висело большое полотно: вдали какое-то селение, а слева на переднем плане — бугор, зима, на бутре раскидистое дерево, а под деревом присел, спустив штаны, мужичонка и задумчиво отдает дань природе. Так задумчиво написан русский мужик, что картина осталась в памяти на всю жизнь. Однажды приехал навестить Оттенов младший сын писателя Леонида Андреева, он работал по каким-то культурным делам во Франции. Но, пожалуй, самым знаменитым гостем был тогда еще совсем молодой поэт Иосиф Бродский. Высокий, рыжеватый, застенчивый, совсем не похожий на того Бродского, которого мы теперь знаем по зарубежным снимкам и телеэкрану. У Елены Михайловны прекрасная библиотека: старинные издания сочинений Владимира Соловьева, В.В. Розанова. И она дает читать книги. Там мы прочитали замечательные статьи Соловьева о Пушкине. И она же дала нам напечатанную на машинке повесть Солженицына «Не стоит село без праведника» (теперь «Матренин двор»). Я с

восторгом прочитала ее, очень хотелось узнать настоящее имя писателя. Но нам так его и не назвали. Я сразу поняла, почувствовала — пишет великий писатель. Восхищенно говорю Юре: наконец-то настоящий классик. Наконец-то появился писатель, равный Чехову, Короленко, Бунину. И Юра вдруг осердился. «Как ты можешь восхищаться другим писателем! Леонид Андреев писал, когда жил Лев Толстой. А его жена Дама-Шура никогда не хвалила Толстого». Я осознала свой промах, как-то на миг забылось, что рядом со мной тоже выдающийся писатель и очень ранимый.

В марте мне понадобилось ехать в Москву: там готовилась шекспировская конференция, и мой институтский коллега с кафедры литературы Абрам Львович Штейн через мою маму пригласил меня на эту конференцию. Еще когда я была в Москве, он посоветовал мне поменять тему диссертации, и заняться исследованием переводов «Гамлета» на русский язык. Советовал посмотреть «Гамлета» в театре Охлопкова и написать свои впечатления. Я посмотрела, начала писать, но что-то у меня не заладилось, и эти несколько страниц завалялись где-то среди моих бумаг. Я уехала из Тарусы на несколько дней — звали еще какие-то дела. Пасха в тот год была рано. Заглянула к Устинье Андреевне, и она дала мне несколько испеченных ею куличей. Была я и на конференции. Увлеченность ее участников подействовала на меня заразительно. И мне очень захотелось заниматься Шекспиром всерьез.

Ехала я обратно нагруженная куличами и любовью к Шекспиру. Весной 1962 года был очень сильный разлив. Протва, впадающая в Оку, разлилась так, что превратилась в широченную реку и затопила мост, по которому ездят в Тарусу. Наш автобус остановился на левом берегу, и нас (несколько человек) посадили в лодку, перевозившую пассажиров на правый берег, там ждал автобус до Тарусы. Переправа была неудобная, но не опасная. И скоро я была в Тарусе, Юра встречал меня на автобусной станции.

Теперь мы жили на другой квартире. Михаил Михайлович сам собирался весной обосноваться в Тарусе. Приехал, посмотрел, как мы живем, и очень расстроился. Чтобы брать книги, стоявшие в шкафу, я убрала с полки статуэтку балерины и бережно поставила ее на стол. Оказывается, этого категорически нельзя было делать. Вдруг бы статуэтка разбилась, а ей цены нет. Ну, словом, пришлось искать другую квартиру, но с Михаилом Михайловичем мы не поссорились. И летом не раз пили у него на веранде чай.

Новое жилье занимало одну половину дома. У нас был отдельный вход, большая веранда, большая комната, и был даже свой двор, где весной Юра сделал небольшую грядку, и мы посадили редиску, укроп и са-

лат. Редиска вся пошла в стебель, а укроп и салат получились хорошие. Хозяйева дали нам кое-какую посуду, Александровы — примус и тоже что-то из посуды. Мы обзавелись полотенцами, постельным бельем. И зажили не хуже, чем в доме М.М. Мелентьева.

К моему приезду Юра приготовил любимое кушанье — тушеную картошку со свининой, луком, перцем и лавровым листом. Он очень хорошо его готовил. До сих пор у меня так вкусно не получается. Но, может, в счастливую пору всё кажется вкуснее.

Я принялась рассказывать о своих московских впечатлениях. И главное впечатление, конечно, Шекспир. Не помню, о чем именно я рассказывала, но тон был восторженный. Юра слушал, слушал и именно тогда сказал: — «Или я, или Шекспир». На какое-то время Шекспир был отложен в сторону, но не забыт.

Сейчас, когда я пишу эти строки (7 сентября 2010 г.), я все еще продолжаю работать над Шекспиром. Точнее, над загадочной пьесой «Троил и Крессида», и уже не в первый раз берусь за нее. Вот что в ней говорит о любви Крессида: «...to be wise and love / Exceeds man's might: that dwells with gods above». (Act III, sc. II, ll. 154-155). (...быть мудрым и любить — / Не в силах мы. То лишь богам доступно). Так считал и Шекспир, эта его мысль — повторение английской пословицы: «you can't be both wise and in love», существовавшей в Англии уже более четырех веков назад. Я напала на эти строки в книге А.Л. Рауза «Уильям Шекспир» (A.L. Rowse, «William Shakespeare. A Biography», «Harper & Row», New York, p. 343). И он еще к ним добавил: «...это значит, что величайший в мире драматург близко подошел к голливудскому пониманию любви: любовь — это природная сила, вид бедствия, которому никто сопротивляться не в силах». Думаю, эти слова для всех людей на земле справедливы из века в век.

Когда сидишь в маленьком городке или деревне подряд несколько времен года, не замечаешь резкого перехода от одного к другому. Смотришь в окно — зима, голые ветки, белый, чистый, уверенный в себе снег. Но, мало по малу, снег начинает оседать, воденеть, ветви краснеют, набухают почки, глянешь в окно — «идет, гудёт весенний шум». А в городе его и не видно и не слышно. На исходе весны вдруг восклицаешь, боже, ведь уже на носу лето. Может, потому, что городская суета мешает видеть происходящее в природе ежечасное набухание нового.

Один мой друг, истинно талантливый писатель, трагически погибший (по моему мнению, подобно герою гоголевской повести «Портрет»), в одном из первых своих рассказов дал потрясающий образ стрелок, стремящихся к двенадцати. Они для него — ножницы, которые беспощадно отрезают у человека дни земного существования. Так и

стрелки наших часов неукоснительно сокращали отпущенные нам пять лет жизни — жизни рука об руку. Мы не ощущали быстроты ее течения, просто жили и жили, радуясь свежей весенней зелени, летней легкости ног, осенним запахам леса, снежной белизне зимы. Все это описано в Юриных рассказах (о зиме в маленьком рассказе «Двое в декабре»). Правда, у Юры изредка бывало предчувствие, что такое счастье долго длиться не может.

В те годы в Тарусе доживали свой век или наезжали окунуться в провинциальную тишь последние могоканы дореволюционной России. Единокровная сестра Марины Цветаевой Валерия Ивановна Цветаева, дочь Марины Цветаевой Ариадна, скульптор Надежда Васильевна Файдыш-Крандиевская, сестра Натальи Васильевны Крандиевской, второй жены Алексея Толстого, Нашатырь, бывший политзаключенный, человек очень добрый и очень образованный. Были еще две старые дамы, они жили в верхней части Тарусы в собственном двухэтажном доме. Занимали внизу две комнаты — не было дров, чтобы топить весь дом. Мы как-то пили у них чай. В комнате полусумрак, темная старинная мебель — шкаф, буфет, стол, стулья, дедовский чайный сервиз. Бедность, от которой щемит сердце, одиночество, но старые дамы веселы и приветливы, угощали нас печеньем, которое испекли сами.

Заходили мы к Валерии Ивановне с кем-то из ее друзей. Это была маленькая милая старушка, лицо со следами былой красоты (мать у нее была красавица), приветливая и гостеприимная. А с Ариадной Сергеевной Цветаевой мы познакомились в доме писателя Н. В. Богданова, о котором речь впереди. Ариадна Сергеевна — высокая, молчаливая женщина с мужскими чертами лица, на котором никогда не появлялась улыбка. Что мы тогда о ней знали? Это теперь, прочитав дневники и письма Марины Цветаевой, воспоминания других эмигрантов, я представляю ее мученическую жизнь и силюсь вспомнить хоть какие-то ее слова. И не могу вспомнить. Она только что издала первый в России поэтический сборник матери — небольшую книжку, и подарила одну нам с Юрой. Я подарила эту книгу моей американской подруге Шарлоте Сайковски, о чем жалею сейчас. Шарлота была московским корреспондентом газеты «Крисчен сайенс монитор». Потом работала в Вашингтоне. Она давно умерла, и где теперь эта книга? Шарлота принадлежала к христианской секте «Христианские ученые», и все свое имущество оставила этой секте. Кому там нужен первый сборник Марины Цветаевой, изданный ее дочерью и с ее автографом? Шарлота помогала мне в работе над Шекспиром, я не один раз жила у нее в Вашингтоне, работая в Фолджеровской библиотеке, лучшей шекспировской

библиотеке в мире. И я не знала, чем отблагодарить ее, у нее все было. Она ведь знала цену этого поэтического сборника Марины Цветаевой. Думаю, если обратиться в вашингтонскую церковь этой секты, то, наверное, его можно найти. На его первом пустом листе написано размашисто, крупными буквами; «Юре и Марине, Ариадна».

Частыми гостями были мы в доме Николая Владимировича Богданова. Его жена Вера Дмитриевна была одна из первых московских красавиц. Она вспоминала: «Когда мы с моим первым мужем, комкором (командир корпуса), ходили в Большой театр и сидели в ложе, муж говорил мне, «Верочка, занавесь лицо, чтобы люди смотрели на сцену, а не на тебя». Она была кузиной известных сестер Синяковых, одна из которых была замужем за поэтом Асеевым, другая еще за каким-то видным лицом. В шестидесятые годы Вере Дмитриевне было уже за семьдесят. Но лицо все еще красиво, открытый чистый лоб, точеный носик, соболиные брови, большие карие глаза. В Москве Богдановы жили в том же, что и Ольга Петровна, писательском доме на улице Черняховского. Большая трехкомнатная квартира, огромный кабинет Николая Владимировича, над его письменным столом портрет Веры Дмитриевны работы художника Корина. Все стены затянуты книжными застекленными полками, Вера Дмитриевна собирала русские журналы восемнадцатого и девятнадцатого века и первые издания русских писателей. О ней и Николае Владимировиче, об их драматической, если не сказать трагической, судьбе будет целая глава в моих воспоминаниях.

Их тарусский дом принадлежал в свое время известному советскому писателю Виноградову, автору книги о Паганини «Три цвета времени». Он был когда-то директором Ленинской библиотеки. Однажды, рассказывала Вера Дмитриевна, к ним в Тарусу приехал интеллигентный молодой человек, сказал, что поклонник Николая Владимировича. Вера Дмитриевна не поверила, но приняла его хорошо — она была очень гостеприимна. И сумела его разговорить. Он оказался сотрудником Ленинской библиотеки. Искали тогда пропавшие письма Натальи Николаевны, жены Пушкина. Ходили слухи, что Виноградов, будучи директором Ленинки, спрятал куда-то эти письма. (К тому времени он уже покончил с собой, убив жену и детей). В библиотеке их нигде нет, но, возможно, он спрятал их в своем тарусском доме. Вот московский гость и приехал сюда на поиски. Искали все вместе, но, конечно, ничего не нашли.

Таруса к Оке спускается террасами. Дом Богдановых стоял на средней террасе. При нем большой ухоженный сад, вдоль забора тянется ровными рядами малина, между рядами тропинка, чтобы удобнее собирать. Под большой яблоней стол, вместо стульев толстые с корой чурба-

ны. Во дворе жило много кошек, одну, совсем простую, серую, звали Чихачев, потому, что она часто чихала. Для них Вера Дмитриевна покупала у местных мальчишек дневной улов — мелкую рыбешку. В доме была застекленная веранда. В полуметре от пола под окнами, вдоль всей стены — белая длинная полка, на ней бок о бок глиняные горшки с цветущей геранью, ее алые соцветия все одной высоты, как по линейке. Это было очень красиво. Однажды Вера Дмитриевна спросила Юру при мне:

— Почему, Юра, вы не женитесь на Марине?

Юра ответил:

— Спросите лучше у Марины, на мне так легко жениться. — На этом разговор был окончен.

В самом деле, почему? Если женщина хочет выйти замуж за кого-то, она, как правило, умеет добиться своего, не мытьем, так катаньем. И вот теперь я думаю, хотела ли я в самой последней глубине души стать женой Юрия Казакова. Помню, жена Евтушенко Галя в разговоре о наших с Юрой отношениях сказала как-то: «Вам ни в коем случае нельзя расставаться. Живя с известным писателем, привыкаешь к такой жизни, к его друзьям, окружению. Нет, расставаться никак нельзя». У меня этого привыкания не было. А жена Смелякова советовала пить с Юрой, чтобы упрочить отношения. Но жизнь моя и за пределами оазиса «Юрий Казаков» была полнокровна. Мои творческие, научные, семейные интересы лежали вне его. Не знаю, что тогда сидело в моем подсознании, какое понятие руководило именно таким устройством жизни. Была любовь, т.е. полное созвучие разнообразных желаний, иногда только огорчали ссоры по причине Юриноho питания.

В рассказе «Двое в декабре» описана одна из наших случайных загородных поездок. Рассказ помечен в сборниках 1962 годом. Написан, похоже, в феврале, в начале марта. В нем есть и воспоминание о Печорах: «[...] он тут же вспомнил, как они первый раз уехали из Москвы вместе. Они поехали тогда в Эстонию, в крохотный городок, где он как-то был по делам. Как они ехали в автобусе, как ночью приехали в Валдай, там все было черно и один только ресторан еще жил, светился; как он выпил стакан старки и опьянел, и ему весело было в автобусе, потому что рядом ехала она и глухой ночью порой дремала, прислоняясь к нему. И как они приехали на рассвете, и хоть была середина августа и в Москве зарядили дожди, здесь было чисто и светло, восходило солнце, беленькие домики, острые красные черепичные крыши, обилие садов, глушь и тишина, и заросшие курчавой травкой между камнями улицы. Они поселились в чистой, светлой комнате, везде там, по подоконникам, под кроватью и шкафу лежали, зрели антоновские яблоки и креп-

ко пахли. Был еще богатый рынок; они ходили вместе и выбирали себе копченое сало, мед кусками, масло, помидоры и огурцы (дешевизна была баснословная). И этот запах из пекарни и плеск крыльев голубей, а главное — она, такая неожиданная, будто бы совсем незнакомая и в то же время любимая, близкая. Какое было счастье, и еще, наверное, не такое будет, только бы не было войны». Точное описание нашей поездки в Печоры и жизни в этом тихом красивом городке.

Есть в рассказе и мечты о летней жизни в Тарусе, о походах с палаткой по окрестностям, плаванье по Оке на серебристой надувной байдарке «саламандра», которая и в самом деле похожа на пирог: «Он и сейчас подумал о лете, о том, как поедет на какую-нибудь речушку. Они возьмут с собой палатку, приедут на эту речушку, накачают байдарку, и она станет, как индейская пирога... Прощай Москва и асфальт, и всякие процедуры, и юридическая консультация».

Упоминает Юра и свое настроение: «Не радостен он был, нет, а просто покоен, и ему было приятно и покойно думать, что на работе все хорошо и его любят, что дома тоже хорошо, и что зима хороша: декабрь, а по виду настоящий март с солнцем и блеском снега, — и, что главное, с ней у него хорошо. Кончилась тяжелая пора ссор, ревности, подозрений, недоверия, внезапных телефонных звонков и молчания по телефону, когда слышишь только дыханье, и от этого больно делается сердцу. Слава богу, это все прошло, и теперь другое — покойное, доверчивое и нежное чувство, вот что теперь!» И дальше: «Он понял вдруг, что совсем ее не знает — как она там учится в своем университете, с кем знакома и о чем говорит. И что она для него загадочна, как и в первую встречу, не знакома, что он, наверное, груб и туп для нее, потому что не понимает, что ей нужно, и не может сделать так, чтобы она была постоянно счастлива с ним, чтобы ей уж ничего и никого не нужно было». Такое настроение было у Юры после двух лет нашей жизни. Так менялся в его представлении мой образ и его ко мне отношение.

А вот что чувствует, по мнению автора, героиня рассказа: «Отчего ей сегодня стало вдруг так тяжело и несчастливо? Она и сама не знала. Она чувствовала только, что пора первой любви прошла, а теперь наступает что-то новое и прежняя жизнь ей стала неинтересна. Ей надоело быть никем перед его родителями, дядьями и тетками, его друзьями и своими подругами, она хотела стать женой и матерью, а он не видит этого и вполне счастлив так». Это было естественное, логичное, согласно простой житейской логике, объяснение неожиданных слез героини рассказа, и Юра, наверное, именно так и думал. Но это противоречило его же словам, сказанным в рассказе немного выше: «она для него загадочна, как и в первую встречу, не знакома, что он, наверное, груб и туп

для нее, потому что не понимает, что ей нужно, и не может сделать так, чтобы она была постоянно счастлива с ним, чтобы ей уж ничего и никого не нужно было». Позже мы бывали в гостях у его друзей — Георгия Семенова, Евтушенко, Трифонова, Рыбакова. А тогда ходили в гости только к его и моим родным, и моим подругам. Внутренний монолог героини продолжается: «Но смертельно жалко было первого тревожного времени их любви, когда было все так неясно, неопределенно, зато незнакомо, горячо и полно ощущения новизны».

Поняв причину слез возлюбленной, герой так размышляет об их отношениях: «Что ж! Первая молодость прошла, то время, когда все кажется простым и необязательным — дом, жена, семья и тому подобное, — время это миновало, уже тридцать, и что в чувстве, когда знаешь, что вот она рядом с тобой, и она хороша, и все такое, а ты можешь ее всегда оставить, чтобы так же быть с другой, потому что ты свободен, — в этом чувстве, собственно, нет никакой отрады. Завтра целый день в юридической консультации писать кассации, заявления, думать о людских несчастьях, в том числе и о семейных, а потом домой — к кому? А там лето, долгое лето, всякие поездки, байдарка, палатка — и опять — с кем? И ему захотелось быть лучше и человечнее и делать все так, чтобы ей было хорошо».

[И последний абзац:] Когда они вышли на вокзальную площадь, горели фонари, шумел город, а снег уже успели убрать, увезти, и они оба почувствовали, что их поездки как бы и не было, не было двух дней вместе, что им нужно сейчас прощаться, разъезжаться каждому к себе и встретиться придется, может быть, дня через два или три. Им обоим стало как-то буднично, покойно, легко и простились они, как всегда прощались, с торопливой улыбкой, и он ее не провожал».

Как по-разному я читаю этот рассказ — сейчас и в 1962 году. Неужели я не поняла тогда, что этим рассказом Юра говорит мне, что любит теперь по-другому, что готов стать мужем, готов все время быть вместе, жить под одной крышей. Чувства и разум подсказывают, что свободная холостяцкая жизнь больше не нужна ему, даже в тягость. Ведь героиня рассказа — я, это со мной Юра ездил в Эстонию, в крохотный городок с красными черепичными крышами. Со мной он будет жить в палатке, плавать на байдарке. Чем трогает этот рассказ? Искренностью и правдой чувств, точностью и красотой описания. Неужели я восприняла этот рассказ только как художественное произведение? В нем сказано, что чувствует тридцатилетний мужчина после двух лет жизни с любимой женщиной. Но ситуация-то не выдумана. В жизни все было точно так же, кроме слез. Слез у меня никогда не было. Я расстраивалась, сердилась, но слез не было. Что надо было делать, прочитав этот рассказ?

Да немедленно связать наши жизни узами брака. Этого не произошло, с моей стороны не было сигналов, что мне это нужно. И от этого меня до сих пор мучает совесть. Может, я подсознательно понимала, что жить с человеком, который так пьет, невозможно, сработал инстинкт самосохранения? Или, может, романтичность наших отношений была так велика, что брачные узы были просто не из той оперы? Трудно сейчас сказать. Но одно ясно, я должна была сделать все, чтобы иметь в паспорте штамп: у меня было бы тогда больше прав бороться с Юриным пьянством. За это я до сих пор виню себя. Ведь Юра был очень уязвим, он болезненно чувствовал и свое заикание, и то, почему в рассказе он говорит о себе «груб и туп». Помню, как однажды мы читали книгу про Луи Арагона и его жену Эльзу Триоле. И Юра мне сказал: «Как благородно относятся французы к своим женщинам, не то, что мы, русские мужики». Пороху у меня не хватило тогда взять на себя эту ношу — Юрия Казакова с его уникальным талантом и тяжелой генетической наследственностью, отец Юры был запойный пьяница. А, ведь, наверное, могла бы справиться. Подействовала бы на Устинью Андреевну, вместе мы бы заставили Юру лечиться.

Как было расположить к себе Юрину маму? Она, в общем, человек сострадательный, нелукавый и неглупый, была для меня как с другой планеты, где надо безжалостно бороться за существование, где простые люди влачат жалкую судьбу, обделены всем — скверное жилье, плохая работа, скудные, или совсем никакие, семейные радости. Ее и моя жизнь были небо и земля. Меня с самого рождения миловала судьба. Отец — военный инженер первого ранга, мать — доцент кафедры педагогики. Четырехкомнатная квартира, светлая и теплая, в военном городке на окраине Москвы. Дружная большая семья — мама, папа и четверо детей: сначала друг за другом сестра и брат, а через десять лет еще сестра и брат с той же разницей в полтора года. В войну все уцелели, дети получили высшее образование. Детство — счастливое, в школе я любимая ученица. В институт поступила без треволений, мама в этом институте секретарь партийной организации. Правда, у нас с ней разные фамилии. Мама в замужестве оставила девичью фамилию, а у меня, как и у всех детей, фамилия отца. И Ольга Петровна Холмская была очень удивлена, когда моя мама, услышав от меня, что Ольга Петровна меня хвалит, подошла к ней в институте и сказала, что у нее учится ее дочь. Ольга Петровна была человек язвительный, да еще не жаловала членов партии. И она резко ответила ей: «у меня Юдиной (мамина фамилия) нет». Мама говорит: «Ее фамилия Литвинова». Ольга Петровна глаза вытаращила: «Марина ваша дочь? Вас можно поздравить с такой дочерью». Потом они подружились, Ольга Петровна приезжала

к нам в гости, и скоро взяла меня жить в свою кооперативную квартиру. Как это произошло — удивительная история, характеризующая административные нравы и человеческие отношения того времени. Но об этом в другой части воспоминаний. Как ни странно, но и дальше все шло почти безоблачно. Бывали, конечно, сердечные страдания и другие неприятности, болезни и смерти родных, но все это в пределах выносимости. Я не могу без сердечного содрогания вспоминать бедствия, которые выпали на долю наших великих поэтов Марины Цветаевой и Анны Ахматовой, вот они попали под колесо истории. Меня эта участь миновала: я так удачно родилась, что моя взрослая жизнь пришлось на послесталинское время, я окончила институт в 1953 году. Родись я раньше, мне было бы, думаю, ГУЛАГа не избежать.

Но главное, что безмятежные годы детства и юности привели к тому, что я очень долго жила в мире иллюзий. Способствовали этому художественная литература и кинофильмы. И не только великие русские классики Толстой, Тургенев, Бунин, Пушкин, Лермонтов, Короленко, замечательная детская литература, но и советские писатели: Александр Грин, Леонид Леонов, Паустовской, Аркадий Гайдар и особенно «Дикая собака Динго или повесть о первой любви» Р.И. Фраермана. В военном городке, где мы жили, был клуб с библиотекой и зрительным залом. В библиотеку я ходила еще до войны, детских книг было много и все они соответствовали пониманию Маяковского «что такое хорошо и что такое плохо». Жажда обогащения никогда не была в них добродетелью, героев волновали любимое дело, процветание родины, забота о ближнем, помощь попавшим в беду. А в зрительном зале мы смотрели фильмы. Новые выходили тогда не часто, и каждый фильм был событием. А это были замечательные ленты: «Семеро смелых», «Доктор Калюжный», «Шесть часов вечера после войны», «Весна», «Верные друзья», «Дом, в котором я живу», да что тут перечислять, их добрая сотня. Объединяла их игра замечательных актеров, мастерская режиссерская работа, а, главное, — неколебимое понимание добра и зла. И оно соответствовало вечным общечеловеческим ценностям. Тем, о которых писал еще Аристотель, различавший два вида моральных ценностей: «А теперь о политической [моральной] справедливости. Существует две ее формы, — природная и обычная. Природная — та, что имеет повсюду одну и ту же ценность, и не меняется под действием того, что мы о ней думаем. Обычная — та, когда нет первопричины, согласно которой справедливо именно это, а не противоположное ему, и устои, ей продиктованные, считаются моральными по достижению соглашения» («Этика», v.7, p. 157). Еще две с половиной тысячи лет назад люди понимали, что есть абсолютные нравственные ценности и преходящие, считающи-

еся моральными по договоренности. О вторых Фрэнсис Бэкон писал: «Истина — дочь времени», о первых можно сказать «Истина — дочь вечности». Герои и книг и фильмов были романтики, да и вся та литература и кино — произведения романтизма. Читала я запоем, новые фильмы смотрела все, и жила в семье, которая, как мне представлялось, была идеальной. И получилось то, что окружающая жизнь виделась мне сквозь романтические очки. Это мировосприятие, наверное, и до сих пор не пропало, но сегодня я почти не ошибаюсь в характерах людей, вижу изъяны, и очень жалею их. Короче говоря, вырос из меня современный Дон Кихот, что не я первая заметила, а наш незабвенный ректор по науке, поэт и ученый Сергей Филиппович Гончаренко, так рано ушедший из жизни. У него есть стихотворение, в котором он прямо называет меня Дон Кихотом. Так что в тридцать лет мне все еще виделась жизнь в розовом цвете, и все люди вокруг были добрые и хорошие.

И вот столкнулись два мира — проведшая жизнь в суровой борьбе за существование почти на самом дне жизни Устинья Андреевна, и я, чья жизнь протекала в щадящей, культурной, состоятельной и сострадательной среде. Притом, что корни у нас были почти одни и те же: у Юриной мамы чисто крестьянское происхождение, а у меня — рабоче-крестьянское. Так что основа для сближения была, что и произошло после Юриной смерти. Хотя первое потепление со стороны Устиньи Андреевны началось в апреле 1965 года, но об этом дальше. А пока я была для нее непонятным и опасным недоразумением. Что такое была для нее любовь? Думая об этом, я вспоминаю пушкинские слова: «И, Таня, в наши лета мы не слыхали про любовь [...] Мой Ваня моложе был меня, мой свет, а было мне тринадцать лет». Жениться надо согласно правилам, заповеданным предками, брать девушку нетронутую. Любовь придет, куда деться. А наша любовь была против ее правил — камнем преткновения был мой первый брак и сын от этого брака.

Перед домом в Тарусе росли высокие липы, в апреле весна зримо заявила о себе — черные ветви лип зарозовели. Почки набухали и стали красные. Юра вскопал грядку, граблями разрыхлил, и мы посеяли редиску, укроп, салат. С наступлением теплых дней начались дальние прогулки. Наш дом находился на верхней террасе, несколько шагов и мы в поле, повернешь налево, и проселок убегает в лес. Ходили далеко, дышали весенними запахами. И все же не так далеко, жалели, что надо возвращаться, манили дальние окрестности Тарусы. Однажды спугнули греющуюся на солнце гадюку, гадюки не нападают на человека, они боятся его, надо только не наступить.

Открылся сезон охоты. Под Тарусой никаких экзотических птиц вроде глухарей, только вальдшнепы. Вышли на охоту часов около пяти.

Довольно холодно, одеты в куртки. Нашли большую поляну, кругом осины, березы, орешник, лес только-только начинает зеленеть. Юра оставил меня на краю поляны и велел стоять тихо, не шевелиться и не двигаться с места, а сам углубился в заросли. Эта охота потом отразится в рассказе «Плачу и рыдаю». На моих глазах постепенно густеют сумерки, сначала ясно вижу на той стороне поляны каждую ветку в кронах деревьев. Очень тихо, ни ветерка. Стою неподвижно полчаса, час, тени удлиняются, воздух становится сизым, начинают гомонить птицы. Заметно темнеет, кроны дальних деревьев перестают сквозить. У меня чувство полного единения с природой, будто я дерево или куст. Вдруг слышу — выстрел, шорох веток, хруст валежника. Из лесу наконец появляется Юра, ружье на перевес. Попал в вальдшнепа, тот упал, но затерялся в кустарнике, так Юра его и не нашел. Молча идем обратно, в душе покой. Опять поляна. Справа вижу какую-то перекладину на довольно высоких столбах, пригляделись — а это лосиха, высокая, с большой головой, повернутой в нашу сторону, а рядом с ней перекладина пониже — лосенок. Юра тихо говорит: «Уносим ноги, старуха. Лосиха, если с лосенком, может напасть». Припустились чуть не бегом, и скоро деревья скрыли нас от коренных лесных обитателей. Больше меня Юра на охоту в Тарусе не брал.

У меня сохранились конверт от письма из Москвы, полученного 14 марта, от кого-то с Ленинского проспекта, адрес напечатан на машинке мелкими буквами: «Таруса, Калужск. обл. Пушкинская ул. 1. Юрию Павловичу Казакову» и клочок бумаги, исписанный Юрой. На конверте, на обратной стороне, список того, что надо купить, написано моей рукой: «Лук 3 кг. Сахар 2 кг. Картошка 5 кг. Аптека, лекарство (викалин). Почта Конверты 10 шт. Чернила для авторучки. Чай 2 пачки. Мыло хоз. и туалетное, масло постное, кислая капуста, хлеб, соль». Ходил за товаром Юра со своим рюкзаком — магазины в центре, а мы жили наверху, на окраине.

А на клочке бумаги слева колонка с надписью «сделано», справа — «надо сделать».

(Левая колонка)	(Правая колонка)
Сделано	Надо сделать
Очерк о ЗакопанеКалевала	
Статья о Паустовском	Март
Перевод с якутского	Оттаяв. Земля
Рассказ «Двое в дек»	Про щенка
	Возраст

Набросано Юриной рукой наспех. Писалось, наверное, в марте, так как 14 апреля Акопян из «Дружбы народов» упоминает «Калевалу».

Стало быть, рассказ «Двое в декабре» был написан в Тарусе, наверное, в феврале, и еще до нашего плавания на байдарке.

Трудно теперь сказать, что было тогда в Юриных замыслах, во что вылились эти названия: «Март», «Оттаявшая Земля» (это, скорее всего, про Север), «Про щенка» (Юра всегда хотел завести собаку. Очень любил стихотворение Бунина, в котором последняя строка «Хорошо бы собаку купить»), «Возраст». Перечитываю начатое им и не конченное, и не нахожу ничего, что соответствовало бы этим названиям. Не очень много начатого, но все прекрасно. Вот хотя бы «Смерть, где жало твое?». Помню, Юру очень волновали эти слова. Мысли, настроение не соответствуют ни одному году из наших пяти. Хотя, возможно, «Возраст», — условное название для антивоенной повести, которую Юра задумал тогда писать. Ему тридцать четыре года. Он пишет Конечному из Тарусы, что повесть «очень выходит необычная — с философией, прошлым, настоящим и будущим и называется так: «Возраст Иисуса Христа». Герою теперь тридцать три года, герой этот, — признавался Казаков, — в большой мере — я. О ком же писать кроме?». Хорошо помню куски, которые Юра давал мне читать. Но написал он тогда только зачин — о тринадцатилетнем мальчике Коле, который дальше в повести солидный мужчина тридцати трех лет: «Теперь Колю все зовут Николаем Петровичем. Ему тридцать три года, и когда его спрашивают, сколько ему лет, и он отвечает, то почти всегда он слышит одно и то же: «О! Возраст Иисуса Христа!».

Почему Юра перестал писать эту повесть? Наверное, не было еще продолжения жизни. Он вернулся к ней, когда жизнь обрела покой и остойчивость, когда он мог искренне и сердечно написать: «Он не один в этой жизни. Рядом с ним жена, ровно и постоянно любимая им женщина, и его сын, в котором он с острой нежностью угадывает свои и ее черты, потом его друзья и родные, потом его работа, его детали из стали, бронзы и меди, простых и сложных конфигураций, которые, наверное, уже миллионами разошлись по всему свету и составляют различные чудесные машины, потом небо, земля и трава и ветер». Вот и все. Это написано уже в семидесятые годы. Николай Петрович назван Николаем Ивановичем. Продолжения нет, наверное, потому что пока еще опять нет будущего. Будущего не было и у его семейной жизни. Могу только догадываться, что его жене Тамаре было с ним нелегко, она моложе, с ребенком. Конечно, она тоже без памяти его любила, но и этот союз, оформленный официально и скрепленный дорогим сыном Алешей, все же, в конце концов, распался. И Юра последние лет десять жил в Абрамцево одиноко, с матерью, единственной женщиной, оказавшейся верной ему до конца его дней.

Уже третий месяц живем мы вдали от московских соблазнов. Юра получает много писем, приходят они и на домашний адрес, и на почту, до востребования. Вот письмо из Пионерской правды. Литсотрудник Людмила Григорьевна Савоненкова пишет 4 апреля: «Уважаемый Юрий Павлович! Мы обращаемся к Вам с большой просьбой. Как-то Вы выступили у нас с рассказом в газете. И мы очень просим сделать что-нибудь для нас. Может быть, у Вас есть уже готовые рассказы. Будем рады получить от Вас ответ. Мы звонили Вам по московскому адресу и нам посоветовали написать в Тарусу. С уважением / Литсотрудник / Л. Савоненкова». Это письмо хранится в моем архиве, оно на специальном бланке газеты «Пионерская правда» со всеми его атрибутами, который сам по себе интересный документ эпохи.

Вот еще письмо из «Дружбы народов» (14 апреля 1952 г). Редактор Акоп Салахян пишет: «Дорогой Юрки! Получил Ваш очерк — закалевался! Очень здорово, очень песенно, не знаю, можно ли об этом написать еще по-другому. Большое, большое спасибо! С ходу решили — даем в № 6! А «Белый поток» — в № 7». Есть письмо из Рима от переводчика, и очень интересное, длинное из Всесоюзного объединения «Международная книга». Ю.Н. Градов сообщил в нем, что в Италии и ФРГ вышла Юрина книга «На полустанке», в переводе соответственно на итальянский и английский. Итальянскую книжку мы уже держали в руках в Марфино. Есть два письма от Александра Лазаревича Лесса из журнала «Вопросы литературы». Вот первое. «Москва 1952 г. Дорогой Юрий Павлович! Обращаюсь к Вам с огромной просьбой — срочно заполнить предлагаемую «Литературную анкету» и выслать мне ее обратно. Анкета будет опубликована в ближайшем номере журнала «Вопросы литературы», целиком посвящаемом молодым писателям. Кроме Вас в анкете участвуют: Р. Рождественский, Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Ю. Семенов. Буду Вам бесконечно признателен, если Вы откликнетесь на мою просьбу.

Желаю Вам доброго здоровья и всяческих успехов.

Искренне уважающий Вас

Ал. Лесс

(на обороте)

Р.С. Журнал «Край рад» опубликовал вашу статью о Паустовском, а я иллюстрировал ее портретом Константина Георгиевича. Нужен ли Вам этот журнал? Могу Вам его выслать. Напоминаю адрес: Москва — центр, улица Забелина № 3 кв. 8 Александру Лазаревичу Лесс.

Ал. Л.»

Юра тут же отстучал на машинке ответы и послал их Лессу. Значит, к этому времени написана уже и статья о Паустовском. 16 июня Лесс отвечает:

«Дорогой Юрий Павлович!

Во-первых, позвольте поблагодарить Вас за быстрое исполнение моей просьбы. Ответы Ваши умны и интересны — материал уже сдал в набор без каких-либо поправок, переделок, сокращений. Во-вторых, посылаю Вам Ваш портрет и журнал. Полагаю, что теперь я перед Вами чист и безгрешен.

Хочется мне от всего сердца пожелать Вам бодрости, сил и уверенности в себе.

Уважающий Вас

А. Лесс

P.S. Не понимаю, как вы можете жить на даче в такую мерзопакостную погоду?!

Ал. Л.

[На полях] P.S. P.S. Пожалуйста, подтвердите открыткой получение этого пакета, чтобы я не волновался. Ал. Л.»

Вот ответ Юры на второй вопрос анкеты. Вопрос: «Какие проблемы, характеры, конфликты современности Вы считаете актуальными? Как Вы изучаете жизнь, как собираете материал для своих произведений?» Ответ: «Счастье и его природа, страдания и преодоление их, нравственный долг перед народом, любовь, осмысление самого себя, отношение к труду, живучесть грязных инстинктов — вот некоторые проблемы, которые меня занимают. Эти же проблемы, по-разному поставленные, я постоянно встречаю в произведениях наших прозаиков и поэтов. Жизнь специально я не изучаю и материалов не собираю, кроме тех случаев, когда едешь по заданию редакции. Я вообще не понимаю этого термина — «изучение жизни». Жизнь можно осмысливать, о ней можно размышлять, но «изучать» ее незачем — нужно просто жить.

Я много езжу, и после каждой поездки выходит у меня рассказ, а то и два — иногда много времени спустя после поездки. Но это выходит как-то само собой».

Перечисленные темы отражают состояние души Юры в тот год, что видно из рассказов «Осень в дубовых лесах», «Двое в декабре» и «Зависть», написанного годом позже. И особенно из его писем. Они искренние, и в них чувствуется происходящие в его душе борения.

Были письма от друзей и поклонников его творчества (от мужчин). В апреле пришло письмо от молодого писателя Эдуарда Шима, приятеля Юры. Какое-то оно, говоря Юриным словом «деланное», искусственное. Вот из него кусок: «На будущее — пожалуйста — пусть присылает месяца за два раньше [речь идет о маленьких рассказиках — природных зарисовках Ю.М. Александрова, о котором хлопотал Юра]. Вот такие рассказы, думаю, пройдут, и получит он нечто, и возрадуется,

и приумножит живота своего. / И ты написал бы чего. А? Ведь не пропадет. Сначала — радио, после — «Мурзилка», под конец книжечка в Детгизе. Незаметно, незаметно, ан — и куш. / Пришли! / Объявим тебя уважительно. Толстым голосом». Есть еще одно его письмо, по письмам можно представить себе человека. Шим мне не показался. Тогда же пришло доброе, искреннее письмо Георгия Семенова об «Осени в дубовых лесах». В мае было длинное, содержательное письмо от Юриного друга Василия Андреева, редактора какого-то журнала. Вот какой наказ он ему дает: «Я рад за тебя, что ты сидишь в тихом милом уголке и потихоньку пишешь, делаешь свое святое дело. А здесь, в Москве, ваш брат пишет со скрипом. Мешают приятели, попойки, бляди. Многие вообще запивают. Ой, какие дураки! Смотри у меня, ты там не увлекайся этим грязным делом. Пойдешь по пути Светловых, Асеевых, Нагибиных, как пить дать загубишь свой талант. Молю тебя, как твой искренний друг, береги свой талант, если тебе дал его бог, отметай от себя все абсолютно, что ослабляет, истощает твой талант. Юра, это очень, очень важно. Запомни: вино и бабы воруют твой талант. Назови меня самым последним дураком, если я неправ.»

Ольга Петровна говорила: «Не понимаю, почему женщины от Казакова шалеют». А в нем было огромное мужское обаяние. Ни суетности, ни откровенной похотливости, ни зависти к собратьям по перу. И красивое породистое лицо. Помню, сидим мы однажды на Арбате, в комнате полусумрак, лампочка 40 ватт. Телефонный звонок в коридоре. Юра говорит довольно долго. Возвращается, лицо сияет. Звонит какая-то женщина, говорит, что своими рассказами Юра распахнул настежь окно в ее жизни. И хочет с ним встретиться. Я вразумляю его, что это, похоже, сумасшедшая. Но он уже договорился встретиться на другой день. Возвращается к вечеру немного смущенный: «Ты, старуха, оказалась права. Совсем чокнутая баба».

Известность, восхищение читателей обрушились на него, как снег на голову. Огромный, беспорный талант. Один мой друг, инженер по образованию, вдруг бросил свою работу и стал писать. Не мог не писать, в голове роились мысли, сюжеты. Писал рассказ за рассказом, носил по журналам. Почти нигде не брали. И он как-то сказал мне: «Думаешь, я не понимаю, что мои рассказы не очень хороши? Вот если бы я писал как Толстой, принес бы рассказ в журнал — у меня вырвали бы его из рук. А мне приходится просить, уговаривать». А вот у Юры газеты и журналы настойчиво и почтительно просили рассказы.

В тот год был еще один телефонный звонок, на арбатской квартире. Говорил с Юрой заведующий отделом культуры центральной газеты Коммунистической партии «Правда» Абалкин. Он, по словам Юры,

удивленно спросил его, почему Юра не несет в «Правду» свои рассказы. Он с радостью их напечатает. Нет ли уже готового рассказа? Это — шестидесятые годы. Оттепель. Высокие инстанции дают людям понять, что наступают новые времена. Можно писать, что думаешь, критиковать, и только одно требование — талант и соответствие эпохальным ценностям. У Юры как раз был готовый рассказ — «Легкая жизнь», который ни один журнал, ни одна газета не брали. Этот рассказ и повез Юра на другой день в «Правду». Абалкин пригласил Юру сесть, прочитал рассказ и говорит: «Превосходный рассказ, надо только в конце дать нравственную оценку герою». Юра протянул руку за рассказом, говорит, дома постарается что-то придумать.

— Зачем дома, напишите несколько строчек прямо сейчас, — велит, улыбаясь, редактор. — Для вас это пустяк. И мы пустим рассказ в следующий номер.

Так и появились строчки, написанные прямо в его кабинете: «Легкая жизнь! Мчится по земле, спешит, не оглядывается, всегда весел, всегда шумен, всегда самодоволен. Но пуста его веселость, и жалко самодовольство, потому что не человек он еще, а так — перекаати-поле». И рассказ был действительно опубликован в «Правде». То-то было смеху и радости. Интересно, что эта концовка почему-то печатается не во всех изданиях Юриных рассказов. Она есть в сборнике «Осень в дубовых лесах» (изд. «Современник», Москва, 1983), а в сборнике «Юрий Казаков, избранное», вышедшем в серии «Российская проза на рубеже XX-XXI веков (изд. ИТРК, Москва 2004)» ее нет.

Но вернемся в Тарусу. Май в тот год довольно холодный. А у нас лежит все еще упакованная польская байдарка, которая ждет, не дождется плавания по русской реке Оке. И вот одним солнечным, но прохладным днем мы берем байдарку и спускаемся к реке. Юра надувает ее, она длинная, узкая, серебристая, два весла, два сиденья. Спускаем на воду, Юра ее держит, я ступаю с берега в шаткую посудину, сажусь на заднее сиденье, Юра разворачивает ее и садится на переднее. Отталкивается веслом от берега, и байдарка плывет. Сначала гребем вместе. Но я не держу ритма, и Юра велит мне сушить весло.

В моей книге «Оправдание Шекспира» описано это плавание, в том месте, где рассуждение о характере гения: гении, на мой взгляд, все одинаковы (это еще Пушкин заметил — «гений обыкновенно простодушен, с великим характером, всегда откровенным»). «Середина мая, буйствует черемуха. Мы плывем в серебристой байдарке по Оке против течения, чтобы легче грести обратно. Миновали деревню Велегож, слева заливные луга, справа высокий берег, поросший лесом, сейчас в мае светлозеленым. Слой воздуха над рекой полон горьковатыми аро-

матами черемухи, и то совсем теплый, прогретый лучами, то по-весеннему прохладный. / Справа ищем глазами в голубовато-белесом небе рукотворный, прямолинейный очерк башни над зубчатой кромкой леса. Вот и она — темный, чужеродный квадрат вдаль от поселков, дорог, на берегу почти несудоходной реки. Почему человек любит строить башни? Он уже был однажды за это наказан смещением языков. Рихтер — великий музыкант, один среди светлых лесов приокского края. Да разве иначе могло быть?»

А Юра тоже был гениально одарен. И к нему тоже подходит пушкинское определение гения. Он был откровенен, простодушен, никогда не лукавил. И характер должен бы быть великий — по задаткам. Но не стал таковым, по двум причинам — он вырос в среде, где о величии характера понятия не имеют, и оставался в ней весь подростковый возраст. К тому же всю его жизнь с ним жила Устинья Андреевна, живое воплощение той среды. Юра так и не оторвался от ее фартука. И, конечно, не давало развиваться величию влияние алкогольных паров.

В этом плавании мы чуть не погибли. Когда шли обратно, очень близко подплыли к дебаркадеру, — рулила я — и нас стало затягивать под него, а выскочить из байдарки нет никакой возможности. Юра еле-еле выгреб на безопасное место. И не сердился, а только сказал: «Бог помог».

В Тарусе мы опять думали, не купить ли нам дом. Услыхали, что на одной из улиц, спускающихся к реке, в средней ее части, продается ветхий домишко, очень недорого. Пошли посмотреть, в доме жила крошечная старушка, которая собиралась переехать к «дочере». Я до сих пор жалею, что не купила его. Он и сейчас у меня в глазах. Дом был совсем маленький, врос в землю, наполнен уютной старинной рухлядью, были там и ходики с кукушкой. Но главное — большой сад с ягодными кустами и яблонями, а в конце несколько старых лип, в кронах которых, тогда еще голых, чернели растрепанные грачиные гнезда. Стали думать, на чье имя купить. На мое лучше — если на Юрино, «мать непременно им завладеет». Не знаю, почему не купили, все могло бы пойти иначе. Но дом прикрепляет к месту, а в наших планах еще столько поездок: в Астрахань, в Кизи, в Прибалтику, опять в Мурманск. «...Тревожная даль зовет», это о нас, из молодежной песни тех лет. Правда, привлекала нас не романтика строителей, а романтика путешествий. Юру, конечно, материал для очерков.

Июнь был теплый и солнечный. Пора путешествий с палаткой. Собирались основательно. Вблизи Тарусы селений нет, а если и была какая деревушка, лавка в ней не предусмотрена. Два битком набитых рюкзака — хлеб, соль, чай, сахар, лук, лавровый лист, брикеты прессо-

ванной гречневой каши с мясом, палка сухой копченой колбасы, сигареты «Прима» в большом количестве, туристский набор посуды, две ложки, нож, полотенца, мыло, щетки, зубная паста, легкое одеяло, свитеры, на всякий случай. И туго свернутая рулоном палатка, которую нес Юра. Вышли мы в полдень. Карты нет, идем по компасу в северном направлении по проселку, по которому так редко ездят, что между колеями не только курчавится травка, но торчат подосиновики. Сворачиваем иногда на тропинку, выйдем на луг, травы кругом по плечо, полевые цветы — желтые с белым ромашки, лиловые колокольчики, красные клейкие гвоздики, розовый клевер. Все пронизано солнечными лучами. И такие запахи! На открытых местах в траве уже краснеют ягоды земляники — крупные и сладкие.

Шли долго, собирали грибы, солнце потихоньку клонилось к закату. Вышли к весело бегущему ручью, решили сделать привал, сбросили рюкзаки, искупались в чистой холодной воде. Юра развел костер, стал готовить еду. Я взялась стирать его походные штаны и утопила его любимый мундштук, Юра сердился, но не долго. Поели грибную похлебку, пили чай, дни летом длинные. Погасили костер, ужинали бутербродами. Наконец стемнело. Луг, где мы остановились, усеян белыми свечками ночной фиалки, и скоро ночной воздух наполнился ароматом этой дикорастущей орхидеи. Палатку поставили под большим деревом на легком уклоне. Под ее пол постелили еловые лапы, палатка на двоих, длиной в рост двухметрового человека, трогательное, затянутой марлей оконце. Положили под голову свитеры, накрылись одеялом и заснули среди дикой природы, под шум ручейка и запах ночных фиалок. А к утру замерзли, не догадались разбить палатку с восточной стороны дерева, чтобы нас согрели первые лучи солнца. Мы были необразованные туристы. Не читали книжек из серии «Советы юным туристам», в которых учат, где и как ставить палатки, как сложить костер, чтобы он обогревал всю ночь. Теперь у меня дома несколько таких книг, вот только годы не позволяют сорваться с места и пойти бродить по нехоженным местам. Да и не с кем, любителей таких рядом со мной нет.

Наутро искупались в ручье, попили чаю, стали собираться в путь, и вдруг послышалось дребезжание телеги. Смотрим, метрах в ста от нас по проселку шагает не торопясь лошадь, тащит за собой телегу, на ней старуха. Везет в бидонах молоко на молокозавод. Юра пошел к ней с котелком. Телега остановилась, старуха налила в котелок молока, а от денег решительно отказалась. Погуляли еще по лесу, искали колосовиков — белых грибов, которые растут, когда начнет колоситься рожь. Часа через два старуха едет назад с обратом. Предложила нам, но мы на него не польстились. Пожелала нам хорошей прогулки и покатила домой.

Юра знал, если свернуть вправо, рано или поздно выйдешь на берег Таруски. И действительно, часа через три подошли к неширокой, лениво текущей речке. Берег высокий, за рекой поля и деревня, а тут лес, кустарник. Опять разбили палатку, собрали валежник, разожгли костер, сварили гречневую кашу с мясом. Поели, попили чаю, пошли собирать грибы. Поужинали, переночевали на берегу. Утром спустились к реке, поплавали немного, еще побродили по лесу. Последний обед в нехожих местах, и пора собираться в обратный путь. К вечеру, с первой звездой, усталые, но довольные путники вернулись в свое, пусть и временное, жилище.

Высокий берег, березы, река внизу будут сниться мне потом не один раз. В этих снах я лечу над рекой, меня несет теплый, упругий воздух, слева назад уходят деревья, справа убегают луга. И такое сильное ощущение полета, что, проснувшись, я какой-то миг вспоминаю, а не было ли это на самом деле, не летала ли я там, над лениво текущей внизу рекой. Но, явь, увы, отрезвляет.

Скоро в Тарусу приехала Устинья Андреевна. И мы опять собрались в поход, на этот раз втроем. Мы с рюкзаками, мама под зонтиком. Ей тогда было около шестидесяти, но она полновата, и ей идти не очень легко. Пошли напрямик к высокому берегу Таруски. Разбили палатку. Поужинали, надо ложиться спать, кого положить в середину? Положили Юру, а мы по бокам, двухместная палатка троих человек вмещала. Домой вернулись на другой день.

Устинья Андреевна сняла комнату где-то внизу. В комнате у нее заколоченная дверь на хозяйскую половину. И она протянула внизу через всю дверь нитку, если нитка порвется, значит, хозяйка навещалась к ней в ее отсутствие. У.А. привезла из Москвы в большом бидоне несколько рыбин чека. Он стоял там тридцать копеек кило, в Тарусе его не было. Жизнь у нее материально была очень трудная. Они с мужем получали небольшую пенсию, а кормить надо троих. Юра жил от гонорара к гонорару, рассказы маленькие, приходилось экономить на всем. И сэкономила она виргуозно. Летом 1964 года мы жили втроем на Валдае, хозяйство вела она, и за месяц мы истратили на еду восемьдесят рублей. Мы с ней терпели друг друга, но я все же очень ее жалела. Устинья Андреевна любила Юру без памяти. Она снесла золотое яйцо, оно было ее гордость, ее счастье. Но материального достатка всё не было, и она изо всех сил воевала с нуждой, отказывая себе во всем.

Как-то в июне мы с Юрой зашли в тарусский универмаг. Там продавались мотоциклы. Маленькие, похожие на муравья. И стояли баснословно дешево. Юра говорит, давай купим, по окрестностям будем мотаться на мотоцикле. Ладно, давай купим. Не помню, сколько он стоил,

но такие деньги были, и мотоцикл был куплен. Тут же у входа в магазин у какого-то мужика с машиной Юра раздобыл бензина, сел на мотоцикл и покатил, хотя никогда в жизни на мотоциклах не ездил.

Домой он все же приехал раньше меня. Был яркий солнечный день. Юра ждал меня на улице у калитки, держась за руль мотоцикла.

— Садись, миленькая, поедем! — радовался он как ребенок. На мотоцикле было второе сиденье.

Из дома напротив выбежала Надежда Васильевна Крандиевская:

— Юра! Вы сошли с ума! Сами разобьетесь и Марину погубите. Марина, будьте же благоразумны. Пусть Юра один учиться ездить!

На самом-то деле ничего страшного не могло случиться даже в первой поездке — мотоцикл, когда на нем ехали двое, не развивал больше двадцати километров в час. Теперь мы могли исследовать дальние окрестности. Правда, если дорога шла в гору, мне приходилось слезать с мотоцикла и бежать сзади, такой он был маломощный. Но это нас веселило. Однажды мы упали с мостика в крошечную речушку, глубиной едва выше колена. Вытащили мотоцикл, сели и поехали дальше, день был жаркий, одежда просохла быстро. Дорога привела нас в какой-то заштатный городок, от которого у меня в памяти осталось впечатление чего-то голубого и светло желтого. На обратном пути через мостик Юра ехал один, я шла сзади. Но эта игрушка скоро нам надоела. Не помню, как оттранспортировал Юра мотоцикл в Москву, и куда он потом делся.

За все время жизни в Тарусе мы только однажды крупно поссорились. Но пьян Юра бывал часто, а пьяный вел себя плохо. Рукоприкладства не было, но бранью, причитаниями исходил, пока не засыпал мертвецки пьяный. Между нашей половиной и хозяйской в стене была дверь, плотно закрытая, но не запертая и незаметная. И, наверное, через нее хозяева иногда слышали Юрины крики и стенания. И поделились слышанным с Надеждой Васильевной. Юра в июне уехал за чем-то в Москву, я осталась одна. И вечером отворяется вдруг в стене узкая дверь, про которую я совсем забыла, и входит, как из стены, Надежда Васильевна. Она давно уже наблюдала нашу с Юрой жизнь — ее большой двухэтажный дом находился прямо напротив нас, через узкую улочку. Она пришла, чтобы убедить меня как можно скорее бежать от Юры. Надежде Васильевне было, наверное, тогда лет под семьдесят. Легкая на ноги, подвижная старушка в молодости была истинно русская красавица, синеглазая, с мягким, русским, овалом лица. У нее совсем не было морщин, и лицо не утратило миловидности. Мы виделись с ней у Михаила Михайловича Мелентьева, приглашавшего на вечерний чай тарусских друзей. Стол на веранде красиво сервирован, сливки в молочнике, розетки для варенья. Тихий неспешный разговор о давних и

недавних событиях. Хозяину и гостям было о чем вспомнить. Надежда Васильевна была по-девичьи жизнерадостна. Помню, она рассказывала за столом, как пошла однажды за полночь к Мих. Мих: он был очень ей нужен. Тот уже спал, и она, зная, что окошки не запираются, толкнула створки, влезла в дом и разбудила его. Мих. Мих. смеялся, вспоминая тот случай, хвалил ее юношеский задор, физическую ловкость и силу.

И вот эта очаровательная старая дама явилась сквозь стену ко мне и рассказала две истории: о себе и о сестре Наталье Васильевне Крандиевской, жене Алексея Толстого. Сначала поведаю историю о сестре. Было это в Ленинграде, Алексей Толстой был болен, жить ему оставалось недолго. Он и Наталья Васильевна были давно в разводе, давно не виделись. Толстой ушел от нее и женился на своей секретарше, крупной, генеральского облика женщине. (Я ее видела в пятидесятые года в доме младенца, куда она приходила как патронесса с женой маршала Шапошникова, она показалась мне отвратительной). Наталья Васильевна тоже болела. Лежала у себя дома. Дверь в комнату открылась, и неожиданно вошел Толстой, встал на колени, пополз на коленях к кровати и попросил у нее перед смертью прощения. Надежда Васильевна знала об этом из уст сестры.

Сестры были прообразами в романе-трилогии «Хождение по мукам». Надежда Васильевна — прообраз Даши. Вот что она мне сказала тогда (точных слов не помню, но за смысл ручаюсь): «Марина, мне из окна моего дома видна вся ваша жизнь. Поверьте моим словам, которые я вам сейчас скажу. Я знаю это по своему опыту. Юрий Павлович относится к мужчинам-вампирам. Он мучает вас своими страданиями, душевной растерзанностью, потому что сам он этим живет. Это необходимо ему для обмена веществ, он без этого жить не может. Напитается этим — и какое-то время притихнет. А добрый дух отойдет, и он опять вас терзает. Вампир ищет таких именно женщин, как вы. Ваша любовь все простит, все оправдает. Я и сама принадлежу к таким женщинам. В моей жизни была похожая история. Она легла в измененном виде в основу любви Даши к Бессонову (Блоку). Но в жизни я была влюблена не в Блока, а в молодого человека нашего круга, который так же мучил меня, как вас Юрий Павлович. Мне тогда было семнадцать лет. Он устраивал мне сцены, мучил своими душевными терзаниями, а я была без памяти влюблена, жалела его, даже хотела бежать с ним. Мои родители в полном отчаянии взяли и отвели меня к священнику. Он провел со мной десять сеансов. И я почувствовала, что исцеляюсь от любви. По его совету родители отвезли меня за границу, где я прожила полгода, занимаясь живописью. И мою любовь как рукой сняло. В таких случаях женщину надо насильно оторвать от вампира».

Мы говорили в полутемной комнате при свете лампочки ватт тридцати. Доброе лицо гостьи со следами бывлой красоты, одушевлено желанием спасти меня. Она вспомнила свою молодость, безумную любовь, которая ей казалась неодолимой. У нее пробудилось ко мне сострадание. И она решилась придти ко мне, поделиться самым сокровенным, чтобы спасти меня от мужчины, которому, по ее мнению, в силу каких-то психических свойств необходимо сначала мучить любимую женщину, а потом с наслаждением мириться с ней. Это просто способ существования.

Такой тип людей действительно есть, и не только среди мужчин, но и среди женщин. Для них необходим скандал с воплями, оскорблениями, терзаниями, затем примирение, любовь, а по прошествии времени снова скандал и снова любовь. Я не отношу Юру к мужчинам-вампирам. Но разговор с Надеждой Васильевной привлек мое внимание к разделу психологии, занимающемуся типами человеческих характеров. Что касается Юры, то он никогда не скандалил, когда был трезв. Для поддержания метаболизма ему нужен был не скандал, а алкоголь, только от него он впадал в словесное буйство. Но я тогда еще надеялась, что Юра сам собой бросит пить, и нужно только набраться терпения.

Пришло время собираться в Москву. Почти за полгода жизни в Тарусе мы обросли вещами, надо как-то добираться домой. Я позволила отцу — в семье была машина «Победа» — чтобы он приехал за нами. Он ни в какую. В отличие от мамы он плохо относился к Юре, именно потому, что мы жили в незарегистрированном браке. Мама наши отношения воспринимала как житейский факт, от которого никому нет вреда. Два свободных, уважаемых человека избрали удобный для себя образ жизни, оба творческие натуры, оба работают. Мать и отец были комсомольцы двадцатых годов, учились на рабфаке, и поженились, не расписавшись в загсе согласно революционным убеждениям. Родителям пришлось зарегистрировать брак, так как Архип Григорьевич Литвинов, усыновивший моего отца в гражданскую войну, послал им деньги на имя моей матери — Нине Васильевне Литвиновой. В общем, отец покорился доводам мамы и моим просьбам, и приехал за нами. Нагрузили полную машину: палатка, байдарка, одеяла, посуда, белье, и, конечно, книги, словари и рукописи. Отец был не очень любезен.

Приехали в Москву, и «...оба почувствовали, что их поездки как бы и не было [...], что им нужно сейчас прощаться, разъезжаться каждому к себе и встретиться придется, может быть, дня через два или три».

ТАЛЛИН

Вернулись мы в Москву в конце июня. Юра тут же уехал с каким-то заданием в Таллин. А 1 июля шлет мне письмо — телеграмму:

«Мариночка приезжай скорее не можешь ли выехать в пятницу ведь поезд идет в шесть вечера телеграфирую мне так Таллин общежитие ЦК партии очень тебя жду пошли телеграмму сегодня вечером я получу ее завтра утром приезжай скорее целую = Юрий — ».

Отправляю 2 июля следующую телеграмму по адресу «Таллин общежитие ЦК Казакову»: «Юрочка вчера была у врача настроение бодрое сегодня шесть утра с дачи проводила наших папу маму Володю Димку и Степку приехала Москву от тебя телеграмма если сегодня успею с билетами еду сегодня если нет завтра обязательно получила большую работу интересную о севере целую = Марина — »... И 2-го же шлю еще телеграмму: «Выезжаю пятницу вагон 4 целую = Марина — »

Перепечатаваю эти телеграммы и мыслями в тех далеких годах. А телесно сижу в своем маленьком домике в Зарайске, середина сентября, письменный стол у окна, окно открыто настезь. Смотрю на вздрагивающие от мелких капель дождя зеленые листья — старых яблонь, молоденьких лип и кленов. Я люблю свой дом, живу в нем почти четыре месяца с двадцатого июня по десятое октября. Мой институт, все тот же Ингъяз, где я работала полвека назад, позволяет мне выходить на работу на полтора месяца позже. Я ведь работаю на четверти ставки, студенты-дипломники ездят ко мне домой. Я — профессор, вот никогда не думала, не гадала, что стану профессором.

А что было бы, если бы Юра согласился лечиться от пьянства? Вылечился и мы жили бы вместе до конца наших дней. Ведь сказал же он мне в конце семидесятых, когда мы случайно встретились в Доме литераторов на улице Герцена: «Я должен был на тебе жениться. Твоя мама любила меня. А моя теща, когда я решил разводиться, сказала, что отсутствует у меня половину всего имущества, стул пополам разделит». И Юра мог это сказать, ведь на мои слова о лечении — в унылый вечер осенью 1965 года, в холодном кафе в Сокольниках, — он проговорил сквозь зубы: «Вот как ты заговорила». Так мы расстались, и он тогда больше не звонил мне. Он принял решение. Позвонил через полтора года, когда у него и у меня были семьи, родились Алеша и Маша.

И вот Юры нет. А я все живу, и у меня обширные писательские планы: Шекспир, «Воспоминания», учебник по художественному переводу. И надо еще привести в порядок десятка полтора собственных художественных опусов, они все же есть. Юра говорил, в одной семье двух писателей быть не может. Я и не писатель. Хотя есть о чем писать, прав

Ремизов, в воспоминаниях всего не скажешь, а вот в повестях многое можно поведать о себе, но так чтобы никто и не подумал, что автор сам о себе пишет.

Но вернемся в Таллин лета 1962 года. Юра встретил меня 3-го днем. Жили мы в общежитии ЦК компартии Эстонии, в нашу там бытность общежитие пустовало. Я привезла с собой работу. Замечательную. До сих пор надеюсь, что когда-нибудь сподоблюсь написать по этой книге сценарий, повесть, да что угодно. Такой это интересный материал. Моя дорогая подруга Ирочка Смелли (Сапронова по второму браку) взяла на свое имя в переводческом бюро работу по особому заказу. Взяла для меня, чтобы мне было на что жить. Это была книга об организации, деятельности и гибели в революцию англо-русско-норвежской компании, затеявшей открыть и освоить северный морской путь от Тромсё в Норвегии до устья Енисея в России. Книга называется «Сибирская Арктика», ее автор Джон (Иона) Лид, создатель и участник компании, норвежец, принявший позже российское подданство. Книга блестяще написана, читается на одном дыхании. Драматический ее сюжет может быть положен в основу фильма, сериалов, романа. Я перевела ее, но книга была для внутреннего пользования аппарата ЦК, и потому не опубликована. Может, она где-нибудь и есть в партийных архивах. У меня осталась только рукопись, да и то затерялась где-то среди бумаг.

Жизнь в Таллине была великолепна. После прекрасной, но глубоко провинциальной Тарусы начала шестидесятых, Таллин — его средневековые улочки, еще не выдохшийся европейский дух, рестораны и магазины с не русского кроя одеждой — пленил наши сердца. Обедали в кафе, ужинали в ресторанах, ничего вкуснее утря горячего копчения я не едала. Моя мама дала мне денег, чтобы я купила что-нибудь европейское для моей комнаты в квартире Ольги Петровны. Кооператив Андрея Сергеева был готов, и меня ждала комната на шестом этаже в писательском доме № 4 на улице Черняховского, в угловом подъезде слева от поликлиники Литфонда. А мы потратили эти деньги на «сладкую жизнь» в эстонской столице. Правда, купили мне бирюзового цвета пальто, идеально сшитое из ткани букле и светлую юбку из махровой шерсти. И то и другое я носила лет десять.

Утром, попив чаю, садились работать. Легкий обед в кафе и прогулки, близкие и далекие. Однажды мы забрели невесть куда. Спрашиваем у прохожих, как идти в центр. Русский язык не понимает никто, а ведь это 1962 год, до развала Союза еще добрых тридцать лет. Наконец, одна девушка — к ней на этот раз обратился, заикаясь, Юра — тоже заикаясь, объяснила, как идти. Мы с Юрой потом смеялись: один человек нашелся, готовый показать дорогу, да и тот заика.

Пошли раз купаться, пляж песчаный, много народа, купающихся мало, только у самого берега барахтаются дети. Дно очень пологое, до глубокого места надо чуть не полкилометра идти по воде. Юра остался лежать на берегу, а я пошла искупаться. Иду, иду, прошла метров пятьдесят, и вижу на воде мошка, крылья намокли, того и гляди, утонет. Смотрю я на крохотную живулечку, как она отчаянно борется за жизнь, и сердце мое не выдержало, подвела под нее ладонь, и осторожно вынула из воды. Обретя под лапками твердую почву, она отряхнулась, но улететь нет силенок. И я пошла с ней обратно. Юра спрашивает, чего это я вернулась, вода, что ли, холодная. Протягиваю ему ладонь, на которой копошится мокрая мошка. Юра протягивает спичечную коробку, я переваливаю ее на сухую поверхность, и он осторожно опустил коробку на землю. Мошка трепещет подсохшими крыльшками, еще минута, и она улетает в противоположную от моря сторону. Мы оба порадовались за спасенную жизнь. Ведь желание жить не зависит от размеров живули. «Живуля» — отличное, хотя и давно забытое русское слово. А оно есть у Лескова в романе «Хроника рода Плодомасовых»: «живая живулечка все просится на живое стулечко». Так говорит мать о ребенке, который просится на руки. Мне довелось слышать эту поговорку из уст моей дорогой тетушки в пятидесятые годы, когда мой годовалый сынок тянулся к ней своими ручонками.

Перевод у меня шел легко и быстро, перевод хорошо получается, когда переводишь приятный твоей душе текст, рождающий положительные эмоции. Неприятный текст не только противно переводить, от него портится настроение, он может даже нагнать тоску. А это вредит здоровью. Поэтому хорошо бы все нудные тексты переводила машина. Я бы даже приняла закон, который отнесет перевод таких текстов к особо опасным видам работы.

Не помню, на какую тему должен был Юра писать про Таллин. Не помню, кто послал его в эту командировку. А то, что задание было, сомнения нет. Ведь нас поселили в общежитии ЦК партии, куда простым смертным доступа не было.

Съездили в Вильнюс. Погуляли по городу, хотели подняться на гору Гедемина, но на входе висит объявление: «ГОРА ЗАКРЫТА НА РЕМОНТ». Так и осталось в памяти от этой горы одно название.

В Таллине жили не долго. Наверное, недели две. Когда сели в поезд, оказалось, что я забыла в общежитии тапочки. Отличные кожаные тапочки на кожаной подошве. Таких теперь днем с огнем не сыщешь. Мы там подружились с дежурной — спокойной, серьезной эстонкой. Я написала ей из Москвы письмо, и она прислала мне мои драгоценные та-

почки. Надо сказать, я с этим не раз сталкивалась: на уровне даже кратковременного знакомства эстонцы и латыши относились к русским по-дружески и даже тепло.

Поезд Таллин — Москва останавливается в Петцери, говоря по-русски, в Печорах. И мы решили на обратном пути заехать туда. Вышли из вагона утром, такси на станции нет. До города всего два километра, и мы решили пройти пешком. Теперь, когда почти у каждого русского есть машина, они лишены удовольствий «пешего хода», которому Марина Цветаева даже сложила гимн. А еще была когда-то песенка туриста с таким началом:

Крутыми тропинками в горы,
Вдоль быстрых и медленных рек,
Минуя большие озера,
Веселый шагал человек.

Четырнадцать лет ему было...». Вот так и мы с Юрой шагали по псковской земле под эту песню. Веселые, тридцатилетние.

В Печорах первым делом двинулись к Михал Михальчу, на Рабочую улицу. Жена огорчила нас, Михал Михальч недавно умер. И мы побрели на кладбище. Тихое, поросшее кустами — вот где хорошо обрести вечный покой. Нашли могилку. На ней, как на многих, яблоко. Положили цветы, постояли, вспоминая доброго, кроткого страсто-терпца. Потом проголосовали и на попутке доехали до вокзала. Ехали мы незнакомым городом. Для нас Печоры всегда были уютным городком — в садах, с красными островерхими крышами, как описал его Юра. А сейчас мы едем мимо унылых промышленных предприятий, на противоположном берегу какой-то речушки не то брошенный завод, не то электростанция: грязно-бурый кирпич, большие, тусклые, в частых переплетах окна. И кругом ни души. Я заметила, что повторное посещение любимого места, если подумать, печально, в нем человек не бывает счастлив — так, как счастлив был первый раз. Два раза в одну реку не войдешь.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЮГАМ

И вот мы опять в Москве. Мама не пожурела меня, что я ничего не купила для моего нового жилья. Квартира Ольги Петровны прекрасна, у О.П. комната с балконом, большая кухня. Моя комната метров пятнадцати, окно глядит на северо-запад. Требуется небольшой ремонт. Ольга Петровна советует окрасить стены в бирюзовый цвет, по ее мнению, самый уютный и спокойный. Так и сделали. И, действительно, от

желтых лучей торшера затаивался по углам зеленоватый полумрак. Я купила двуспальный матрас, нашелся столяр, который поставил его на четыре ножки. В комнате — ниша, куда сооруженный из матраса диван вошел как по мерке. Осталось даже сбоку в изголовье место для торшера. Купила еще светло желтый прямоугольный стол без тумбочек, много лет служивший мне письменным столом. На окне — шторы в бежевую и бирюзовую полоску. Был и невысокий дубовый стеллаж, взятый из моей комнаты в родительском доме, на его полках любимые книги — начало библиотеки. И еще что-то вроде трюмо, тоже от родителей: застекленная книжная полка на четырех коротеньких ножках, на ней узкое высокое зеркало. Вот и вся мебель. Эмма Григорьевна Герштейн, подруга Ольги Петровны и Анны Ахматовой, подарила старинный дубовый гардероб с зеркальной дверью, он хорошо встал в прихожей. Туда я повесила пальто и платья, а у Ольги Петровны для верхней одежды была темная комнатка-чулан.

Юра теперь жил то на Арбате у мамы, то у меня на улице Черняховского. Я день и ночь сидела за машинкой, заканчивала перевод «Сибирской Арктики». Юра любил странствовать не только потому, что его арбатская комната плохо приспособлена для писательского труда. Он любил ездить, не летать, а ездить. Куда же опять податься? Взял от какой-то газеты задание — побывать в устье Дуная, в русской Венеции — Вилково.

Продумали маршрут. Моя институтская подруга Ира Смелли замужем за героем-летчиком в отставке Мишей Сапроновым, человеком не только храбрым, но простым и добрым. И Юра с ним подружился. Ольга Петровна была почему-то в Москве, и мы все четверо отправились в Звенигород. Сходили в Савва-Сторожевский монастырь, искупались в Москве-реке. А вечером сели за стол в маленькой гостиной, она же и спальня, едим сладкую, золотистую пшеничную кашу. Ира — пышечка, Миша и Юра тоже в теле, губы у всех масляные, и тут Ирочка выразительно произносит единственную в ее жизни гениальную фразу, ставшую в нашей семье пословицей: «Если мы не будем есть — мы зачахнем». Поели и решили всей компанией ехать в Судак. Там как раз отдыхала с дочками еще одна подруга, тоже любимая, ее уже давно нет с нами. Она прислала письмо, зовет приехать. В доме, где они живут, места хватит для всех — конец сезона, хозяйка готовит и берет недорого. Дом на границе между Судаком и Новым светом

Значит, едем на Юга. Сначала в Крым, потом в Вилково, а там может еще куда-нибудь. Мы с Юрой на вольных хлебах, не ограничены отпуском. Но мне до отъезда надо непременно окончить перевод книги о Севере, который Ира взяла для меня на свое имя. Накануне отъезда

Юра ночевал на Арбате. А я всю ночь печатала на машинке. Готовый перевод оставлю лифтерше, еще одна подруга Галя Сивинцева заберет ее и отвезет заказчику. Ира уже договорилась, что не она доставит работу. Подруги у меня замечательные, но по старости лет мы не видимся — дружим по телефону.

Поезд отходил в десять с чем-то утра. В восемь я кончила печатать, и у меня из носа хлынула кровь. Но делать нечего. Побросала в чемодан вещи: купальник, халат, легкое платье, а ночную рубашку забыла. Позвонила Юре, оставила лифтерше перевод в папке. Метро в двух шагах, не опаздываю. Встретились все на вокзале, как ехали в поезде — не помню, всю дорогу спала, отсыпалась за бессонную ночь. Из Феодосии в Судак на такси. И вот мы на месте. Лиля живет в доме, похожем на огромный картонный домик, он стоит на холме, отделяющем Судак от бухты Новый свет. В нем множество пристроенных комнат и веранд. На самой большой веранде столовая человек на десять. Нам с Юрой отвели небольшую веранду. Все дешево, курортный сезон окончен. Лиля пожила с нами дня два-три и уехала: детям первого сентября в школу. А мы вчетвером остались. И отдых получился славный.

Дом стоит на невысоком холме, к морю спускаешься по каменистой дорожке. пляж небольшой, народу мало, у нас с Юрой «вид на море и обратно», как говаривала одна мамина знакомая. Я еще ладно, у меня приличное голубое платье-халат. А Юра в хлопчатобумажных советских джинсах, клетчатой ковбойке, берете. Лежим однажды на пляже, рядом москвичи, муж и жена. Разговорились, он работает на радио, литературный редактор, фамилия немецкая на букву «Д». Спрашивает у Юры, а вы чем занимаетесь. Юра говорит:

- Писатель.
- Писатель? А как ваша фамилия?
- Казаков. — Собеседник вытаращил глаза:
- Тот самый, Юрий Казаков?
- Тот самый.

Ну, мы, конечно, подружались. Лазали вместе на Генуэзскую крепость. Посетили Новый свет, где знаменитый — голицынский — завод шампанских вин. Ира с Мишей ходят купаться ночью, но вода холодная, и мы им компании не составляем.

Однажды к нам во двор прибежал худенький шустрый мальчишка лет десяти. И говорит, захлебываясь:

- Идемте за виноградом. Сначала поедите, потом будете рвать.
- А куда идти-то?
- Недалеко, по балке, до колхозных виноградников. Внизу рвать нельзя, а на горе можно. Его много. Сладкий. Я вас отведу.

Решили пойти за даровым виноградом. Каждая пара взяли по вместительной сумке, и веселой гурьбой двинулись в путь. Дорога шла по сухой каменистой балке, и конца ей не было. Шагали по жаре минут сорок. Виноградник на большом поле как на дне чаши, окружен невысокими склонами. Балка подходит к нему под углом, в устье балки кусты, мы видим женщин, собирающих виноград, а они нас — нет. Мальчишка махнул рукой на левый склон. Действительно, он весь зарос виноградом, гроздья спелые, янтарные.

— Сначала наешьтесь, — говорит, — а потом рвите. Можно, никто не видит.

Виноград липкий, сладкий, переспелый. Юра сказал, что собирать не будет, боится.

— Иди, — говорит, — старушка, ты. Вдруг поймают. Неудобно, я все же писатель.

И мы пятеро — Ира с Мишей, московские приятели и я, пригнувшись, стали рвать виноградные кисти. И правда, никто нас не видит, а если и видят, то, их это кажется, не волнует. Набрали мы полные сумки янтарного винограда и двинулись в обратный путь. Сумку нес Юра, а у меня сделалась медвежья болезнь. Пришлось отставать от компании и где-нибудь за камнем облежаться. Юра, отойдя подальше, стоял на страже. Но всему есть конец, в том числе и бесконечной балке. И вот мы дома, оцениваем на большой веранде нашу добычу. Виноград отменный, да к тому же бесплатный, и мы пожалели, что взяли только одну сумку. А мальчугану-проводнику дали денег и шоколадных конфет.

У Юры, как всегда, с собой ружье. Наш московский друг Д. сказал, что здесь водятся зайцы. Можно идти охотиться. Мы в зайцев не очень поверили. А литературный редактор, взяв у Юры ружье, дня через два убил-таки зайца, освежевал его и дал хозяйке приготовить из него жаркое. Никогда не думала, что заяц такой вкусный. Почему-то зайца мне тогда не было жалко.

Но забава забавой, а Юре необходимо побывать в Вилково. Мы узнали в портовой билетной кассе, что из Сухуми вышел лайнер, идущий в Бейрут. Это его последний рейс. Он идет пустой, может взять на борт пассажиров и довезти до Одессы. Остановится у судакского пирса. И мы тут же купили четыре билета третьего класса, а может и четвертого. К Судаку лайнер подошел поздно ночью. Ира с Мишей искупались на прощание, и мы пошли к пирсу. Пройдя по длинному помосту в самый его конец, сели в небольшой катер. И через десять минут были уже на борту плывущего в Бейрут лайнера.

Наша каюта на четверых внизу: тесное, полутемное помещенье, иллюминатор, слева и справа по две полки, одна над другой. Пошли на-

верх поискать ресторан. Нашли, но никакой еды, кроме хлеба и шпротов, не было. И на том спасибо. Официант извинялся, это последний рейс, а тут четыре неожиданных пассажира. Поели и вернулись в каюту. На утро приплыли в Севастополь. Стоянка — около часу. Вышли на берег. Яркий солнечный день, прямо на площади продаются огромные, чуть не в два охвата арбузы. Купили один и, махнув рукой на заманчивые достопримечательности, вернулись на лайнер. Правда, по дороге заглянули в магазинчик, купили хлеба, сыра, колбасы, помидор. Плыли еще одну ночь. Началось волнение, качка с борта на борт, стучаешься то головой, то ступнями. Меня укачивало, но не сильно. Арбуз днем не доели, а ночью кто-то первый проснулся, отрезал кусок, за ним и другие потянулись. Я лежала на верхней полке и не могла сойти вниз, на мне не было ночной рубашки. Так я и осталась без ночного арбуза.

В Одессу приплыли на другой день. И наша четверка распалась. Ира с Мишей возвращались в Москву, им пора на работу. Они поехали на вокзал, а мы в порт. Нам надо в Вилково, что в устье Дуная. Попасть туда можно только через Измаил. Завтра туда есть теплоход, покупаем билеты. Значит, надо искать ночлег. И я вспомнила, что в Одессе живет папин друг Сергей Воскобойников. Они не только когда-то вместе работали, но он был, правда не долго, нашим соседом по коммунальной квартире в подмосковной Лосинке. Человек он чудесный. Бывал у нас в Москве. Я помнила, что живет он в Одессе на Черноморской улице. Он нам рассказывал про нее: у этой улицы дома только на одной стороне, другая — морской берег. Номера дома я не знаю, но улица короткая, домов немного, наверняка, можно и без номера найти дом, по фамилии жильца. Иного выбора у нас нет. Взяли такси, сказали таксисту вести нас на Черноморскую улицу. Ехали долго, крутились по каким-то улочкам, и вот, наконец, — Черноморская. Но не та — и дома по обеим сторонам, и нет никакого моря. Я говорю таксисту, это не та улица.

— Как не та, вон читайте — Черноморская. Я ему:

— На той улице дома только на одной стороне, на другой море.

— А ведь и правда, есть еще одна Черноморская, недалеко от центра. Что же вы сразу про нее не сказали?

— Да кто же знал, что в Одессе две улицы с таким названием.

Едем дальше. И вот она та самая Черноморская. Дома только по правую руку, и такие причудливые: ни один не похож на соседний: двухэтажные, несимметричные, с балкончиками, башенками. И вот оно море, по левую руку. Расплатились с таксистом. Пошли искать дом, где живет Воскобойников. И первый же встречный показал нам его.

Воскобойниковы жили на втором этаже дома. Встретил нас сам хозяин, он сразу узнал меня, хотя мы не виделись лет десять. Я представи-

ла ему Юру, и попросилась на ночлег. О чем речь, у них часто кто-то ночует. Прежде всего, нам надо принять душ. Затрудняюсь описать расположение комнат. Но помню, ванна стоит в коридорчике, ведущем из прихожей в кухню. Дверь в коридорчик можно изнутри запереть. Так что мытье в ванне делает кухню недоступной. Но семья к этому приспособилась, выработан режим мытья. Мы быстренько вымылись. Тем временем был готов ужин, и мы провели вечер среди добрых и гостеприимных людей. Нашелся для нас и широкий диван. Распрощались на утро, Воскобойников написал моему отцу письмо. И посоветовал, если будет время, поехать на знаменитый Одесский рынок — барахолку.

Наш теплоход отплывал вечером, так что в нашем распоряжении был целый день. И мы, конечно, отправились на рынок. Я вот бы с чем сравнила это умопомрачительное торжище. Если вывернуть наизнанку все жилые дома какого-нибудь городка, и весь скарб обитателей — одежду, мебель, посуду, музыкальные инструменты, скобяной товар, садовый и столярный инструмент, словом, абсолютно все — свезти для продажи на огромное пространство, это и будет Одесский рынок. И какое разнообразие людских типов — торговцев, зазывающих купить свой товар, начиная от детской погремушки и кончая казацкой саблей. Походили мы и по центру Одессы, по осеннему уже бульвару, по которому ходят трамваи. И поехали в порт.

В очерке «Мне все помнится...», посвященном Вилково и опубликованном во втором номере журнала «Сельская молодежь» (1963 г.), Юра пишет: «Надо сперва поехать в Одессу... Потом садитесь на поезд, или в самолет, или в автобус и поезжайте в Измаил» («Две ночи», с. 131-132). А мы в Измаил плыли на красивом теплоходе, построенном в Германии и, кажется, полученном по репарациям. Плыли вверх по Дунаю. Большая каюта, отделанная красным деревом, две мягкие постели, крошечный фаянсовый умывальник, платяной шкаф, стол, два стула. В коридоре бархатные дорожки, туалет рядом. Но и на этой посудине пассажиров, похоже, не было. Утром мы в Измаиле, идем на рынок. Вот как о нем пишет Юра: «[...] базар в Измаиле огромный. Прямо-таки грандиозный базар для такого небольшого города. [...] Вы увидите горы плоских корзин с виноградом, айвой, яблоками и грушами. Янтарные и изумрудные завалы дынь и арбузов. Красно-белые ряды — это мясо. Тускло-серебристые — это молоко, сметана и масло. И есть еще один ряд — вернее улица, да и самый базар — это город какой-то, и там не ряды, а улицы. Так вот — улица, самая и веселая на всем базаре, это винный ряд. В глубине ларьков покоятся большие темные бочки, иногда в два-три ряда — с затычками или кранами. Вино бежит, хлещет розовой струей, вино нового урожая. Все вокруг вас

пьют, задирая головы, гомонят, курят, смеются, окликают друг друга, ходят покачиваясь» (с. 122).

О Измаиле у Юры всё. Добавлю к этому мое впечатление. Осенью Измаил пыльный, довольно унылый городишко. В Вилково от Измаила ходит речной транспорт «Ракета». Но сперва надо поесть. На базаре купили виноград, помидоры и две большие скумбрии горячего копчения. Сколько я потом не искала, ничего подобного не нашла ни в одном специализированном магазине Москвы. Пишу сейчас и вижу, что многие места, где мы были, запомнились мне, кроме всего прочего, какой-нибудь особенно вкусной пищей. Кольский полуостров — пирогами с морошкой и семгой, даже сейчас слюнки текут. Печоры — эстонским копченым салом. Таллин — горячего копчения угрем. А Измаил — потрясающе вкусной скумбрией, тоже горячего копчения. Жирная, свежая, сочная — нигде такой не едала. Может потому что эта скумбрия не знает длинных перевозок и лежания в магазинных подсобках.

Дальше в очерке Юра пишет: «Но вам нужно дальше в Вилково, про который все говорят: «Венеция, Венеция!» — хотя это вовсе не Венеция. Вы садитесь в «Ракету» и мчитесь по Дунаю вниз, к Черному морю. На этой Ракете — двигатель в тысячу двести лошадиных сил. Вода под корпусом разбивается не в брызги, а в пыль. И откуда вы мчитесь, вокруг вас все время вспыхивают радуги. Семьдесят километров в час. / И вот Вилково» (с. 122-123).

На ракете мы познакомились с фотокорреспондентом из Ленинграда, по фамилии, помнится, Учитель. Немолодой худощавый человек, он тоже плыл в Вилково. А после Вилкова — в молдавский винодельческий колхоз. И он позвал нас присоединиться к нему. У него командировка и в колхоз. Вышли на берег, он пошел по своим делам, а мы отправились искать жилье. С нашим новым знакомым решено встретиться на причале через пять дней.

Сначала опишу Вилково Юриными словами.

«Я не люблю приморских южных городов. Они выросли там и сям — все эти Алупки, Алушты, Симеизы — не сами по себе, не в силу необходимости, а как пристанище курортников. И дома там строятся будто затем только, чтобы потом сдавать их курортникам, рубль за сутки одна койка, и рестораны там, парки, кино, пляжи и все остальное — тоже для приезжих. Уедут курортники, и города эти закрываются, как театры после спектакля.

Но этот город, тоже южный — это настоящее.

Прямо от порта идет улица, вымощенная брусчаткой. Вдали две церкви. Они покрашены алюминиевой краской и далеко сверкают. Чистые дома. Вокруг каждого дома посыпано брусчаткой» (с.123). «Весь

Вилково стоит на ериках — такие узкие канальчики с мутно-зеленоватой водой, по которым с трудом пропихиваются лодки. Места мало в городке, тесновато — дай бог, если возле дома будет пять соток земли. Много тут не насажаешь. Ну, и растут возле домов цветы, да виноград, да айва, но это так просто, что бы что-нибудь росло, хоть и польза, но больше для красоты» (с. 126).

В Вилково живут потомки старообрядцев, которые очень давно бежали сюда и здесь осели. Построили дома, свои церкви. И зажили на свой лад. Это чисто русское поселение, на другом берегу Дуная — румыны, в соседних деревнях — молдаване, а здесь природные русаки. Когда мы вступили на вилковскую землю, началась погрузка на «Ракету» корзин с айвой. И воздух наполнился терпким, острым ее запахом. Жесткая айва обладает изумительным ароматом. У нас ее почти не используют, а здесь это главный фрукт, что-то все же из него делают. Но вдыхать айвовый воздух — очень, очень приятно.

Мы пошли сразу искать жилье, постучишь, как всегда, в один дом, другой, и в конце концов кто-нибудь пустит. Мы остановились в доме рыбака Арефия Гнеушева (имя и фамилию не помню, взяла из очерка). Хозяина в тот день не было дома, он рыбачил под Измаилом. Двор выложен камнем, есть свой круглый колодец. Хозяйка отвела нам крошечный летний домик, накормила обедом. И мы пошли бродить по русской Венеции. Это, конечно, не Венеция. Так ее можно назвать лишь по одному общему признаку: улиц нет, а есть канальчики, или ерики. По ним плавают на лодках, не на гондолах. Между домом и ериком — узкая полоска земли, по которой проложены две-три доски. Но это не везде. Есть и настоящие улицы, а центр города весь стоит на твердой земле.

Юре хотелось пожить среди рыбаков, на рыболовецком стане. Пошли на рыбозавод, узнали, что через день на лабаз, так называют там то, что на Севере называется «тоня», идет катер с продуктами и другим товаром для рыбаков, и он нас возьмет туда. На другой день приехал хозяин, в доме которого мы остановились, Юра с ним тут же подружился и они отправились искать молодое вино. Дальше из очерка: «И мы пошли. Настроение у нас сразу поднялось. То слева, то справа от нас все ерики, а мы топаям по мосточкам, по двум проложенным доскам. Иногда мы переходим эти ерики. Тогда эти доски служат уже мостиком, и перильца есть.

— А ведь если крепко выпить, тут и не пройдешь, — говорю я, еле поспевая за Арефием. (Удивительно проворен русский человек, когда захочет выпить!)

— А мы привыкли, — смеется Арефий. — Та и мелко в ериках, не утонешь» (с. 124)

За вином ходили долго. Во всех почти соседских дворах вино «гуляет», т.е. еще не готово. Наконец нашли «забравшись что-то уж очень далеко [...] настоящее, созревшее, темно-рубиновое вино. / Во дворе тепло, крупные звезды наверху. Нам зажигают свет в беседке, приносят кувшин вина, черного винограда и белого хлеба. Мы садимся, стаскиваем шапки. Арефию охота говорить, но говорить не так просто. А слегка выпивши, когда слова сами выговариваются, он торопится скорей все привести в соответствие. Выпивает стакан, два, заедает виноградом, закуривает. И пошел, и пошел разговор, слегка бессвязный, с пятого на десятое... О детях, например. Или о жизни при румынах, когда во всей Румынии было только одно русское село — вот это самое Вилково, и что за двадцать с лишним лет не были потеряны ни самостоятельность, ни обычаи, ни вера, ни образ жизни. Или о том, что в этом году на юге дождей совсем не было. Или как он раз бедовал в шторм. Или про отца своего, про мать, про дядьев — какие они были прекрасные, смелые, умные люди. И ему нравится о них говорить.

Сипловатый голос у этого Арефия, как я уже сказал, и скромность, приветливость доброжелательство — все, что человека делает добрым с виду. И вот я думаю, он ли один такой здесь простой рыбака, бесхитростный и в то же время умный и справедливый, или все Вилково такое» (с. 125).

Таков был и Юра, по своим природным задаткам: бесхитростный, сострадательный, умный. А то, что в нем было не так (по моему мнению), наслонилось под действием окружения, куда он родился по воле судьбы, и, конечно, не без влияния социальной среды.

Разумеется, наслоения эти были не только отрицательные, но и положительные. Еще в школе началось обогащение сознания этическими понятиями — от чтения русской классической литературы, нравственной и гуманной, позднее от общения с людьми высокой культуры и от встреч во время странствий с простым трудовым людом. А среди них были выдающиеся характеры, чье мужество, справедливость, трудолюбие восхищали Юру. Вот как писал он о Тыко Вылке: «Он учил не только ненцев, но и русских, он говорил: не бойтесь жизни, в жизни есть высокий смысл и радость, жизнь трудна, но и прекрасна, будьте мужественными и терпеливыми, когда вам трудно! / [...] Не только учил мужеству, он всю жизнь деятельно творил добро» («Северный дневник», с. 337—338). Сознание впитывало понятия добра как губка, ведь генетически унаследованы были свойства, присущие гениально одаренным людям, по Пушкину.

Труднее понять природу отрицательных наслоений. Рос Юра в арбатском дворе. Это не рабочие окраины, где царят грубые нравы и ули-

ца влияет самым дурным образом. Но откуда тогда в Юре грубость, площадная брань (правда, выходило это наружу только под действием алкоголя)? Конечно, от окружающей среды. В наши пять лет, проведенные вместе, у Юры низкопробного окружения не было, да, думаю, не было и в предшествующие пять лет, когда писались рассказы, вошедшие в сборник «На полустанке». Так что все-таки дурные привычки в общении укоренились еще в подростковом возрасте, скорее всего, во время войны. За десять лет они ушли в подсознание и обнаруживали себя, когда алкоголь снимал нравственные запреты. Имелись у Юры и другие отрицательные черты: жадность, как у малых детей, и нежелание напрягаться физически: пойти, например, за водой, в магазин. Помню, как я привезла в Тарусу куличи на Пасху, от Устиныи Андреевны. И взяла один, чтобы отнести Александровым, которые помогли нам устроить быт. Юра обиделся: «Моя мама прислала их для меня, а ты хочешь отнести кулич чужим людям». Так и не отнесла я кулича нашим друзьям. Но, придя к нам в гости, они однако же пили чай с этими куличами. А в тридцатиградусные морозы я сама ходила за водой к источнику на берегу Оки. Студеное, солнечное утро, снег под валенками хрустит, слипаются от мороза ноздри, такая красота и тишина кругом. Несу ведро весело и легко, а Юра дома топит высокую круглую железную печку, на улице минус 33°. Но это понятно, Юра — единственный сын, мать любит его с неистовой силой. И в их трудной повседневной жизни она старалась, чем могла, скрасить его жизнь, все в доме делала сама, лучший кусок отдавался ему. Понятное дело, и я во всем Юре потакала.

Врожденные достоинства и добродетели, внушенные примером, подавлялись иногда отрицательными наслоениями. Мною это ощущалось. Вот что интересно: дурное, воспринятое в подростковом возрасте от внешней среды, проявлялось только под действием выпитого, а эгоизм, воспитанный дома, в первые годы нашей жизни выпирал всегда. И только на четвертый год стал затухать. Хочу прибавить справедливости ради, в наших странствиях тяжелые вещи Юра всегда тащил сам.

Отрицательные наслоения, как мне представляется, под конец все же взяли верх, именно под конец. Положительное осталось жить в уме и созерцании, тогда как отрицательные, те, что приносят больше вреда самому человеку, стали управлять его действиями. Другими словами, мысли его были лучше, чем поступки. Разум переставал им управлять — волю убивал алкоголь.

Наверное, если бы не губительное, все усиливающееся действие алкогольного отравления, всё доброе, накопленное и в характере и в понятиях, и генетически обусловленное, победило бы, в конце концов, вредоносные наслоения. И, как знать, Юра написал бы еще много нового и

завершил все ранее начатое. И не было бы тех горьких слов, сказанных в 1979 году, за четыре года до смерти, от которых щемит сердце: «Так сложилось, что 340 дней в году я живу на даче в Абрамцеве, анахоретом. Грустновато, но я нахожу отраду в одиночестве. Одиночество тяжело, когда не о чем думать. Если есть о чем, то оно только помогает» («Две ночи», с. 317). О чем же Юре думалось тогда, о чем вспоминалось?

Кто виноват, что вовремя ему не был брошен якорь спасения? Родные и близкие, друзья, жена? Скорее всего, виноваты все. Вовремя не разглядели, не объединили усилия, не проявили упорства.

Но, может быть, я все же несколько идеализирую Юру, приписывая ему врожденные свойства характера, присущие гению? Может, в нем от рождения была та грубая тяжелая нелюдимость, которая встречается в характере русского мужика и в героях его рассказов? Еще раз подумав, скажу, что не знаю. Но в нем точно сочеталось и то и другое. Это заметно и в его рассказах. Вот хотя бы рассказ «Некрасивая». Как горько и жестко описывает он в начале некрасивую девушку, и как оптимистично и нежно (любимое Юрино слово) звучит конец. Может ли такое написать человек, которому безразлична чужая боль?

«София сидела, прижалась спиной к стене, подняв вверх лицо. Ее трясло. Она стягивала рукой ворот у горла, думала, полегчает, но не легало. Она пробовала заплакать, но звук, вырвавшийся из груди, был так низок, так страшен, что она испугалась, сидела, окаменев. [...] Потом ей стало легче. Она вдруг увидела пронзительную красоту мира, и как, медленно перечеркивая небо, валились звезды, и ночь, и далекие костры, которые, может быть, чудились ей, и добрых людей возле этих костров и почувствовала уже усталую, покойную силу земли. Она подумала о себе, что она все-таки женщина, и что, как бы там ни было, у нее есть сердце, есть душа, и что счастлив будет тот, кто это поймет. О! Тупой, тупой дурак — какую силу и прелесть чувствовала она в себе, как легко и яростно стало ей, как решительно зашагала и как, наверное, хороша стала в темноте — одинокая под полыхающими, падающими звездами».

Мне кажется, что этот рассказ, как никакой другой, иллюстрирует двойственность его характера. Николай в рассказе — это ведь Юра, я узнаю его, такой он был в первые месяцы нашего знакомства, да иногда и позже, — грубый, способный как бы нехотя оскорбить словом, обидеть неожиданным равнодушием. Это слышно и в ранних его письмах. И вдруг такая нежность к некрасивой девушке. И это опять он, остро чувствующий боль других. Умеющий найти точные и теплые слова утешения. Ведь этот рассказ утешает верой в счастье для всех. Написан он в 1956 году, Юре было тогда 29 лет. Именно это я сильно в нем чувствовала.

Эта двойственность, как я уже сказала, имеет разную природу. Отрицательное — приобретено, положительное — унаследовано.

Почитайте рассказ «Тропики на печке» (1962 г.), который приведен ниже (сейчас его нелегко найти, а он прекрасен), и убедитесь: в Юре была прирожденная любовь ко всему живому под солнцем:

«Шел я однажды по берегу Белого моря, сильно притомился, и табак у меня кончился. «Вот горе-то, — думаю, — как же я теперь без табаку?» Но только так подумал, вдруг гляжу — спереди тоня рыбацья, а в море напротив тони маленькое пятнышко: сидит рыбак в карбасе у ловушки, сторожит семгу.

Подошел я к тоне, увидал второй карбас и, недолго думая, столкнул его в воду, отпихнулся от берега и поплыл с рыбаком поздороваться, табаку попросить, а заодно спросить его о дороге. Подплыл я ближе, смотрю — карбас рыбака к колу привязан, на котором ловушка крепиться, а на колу сидит птица и смотрит в воду. Птица эта была очень похожа на кулика длинными ножками и оперением, только клюв... Клюв у кулика длинный, а у этой птицы какой-то короткий и будто даже кривой! Но не столько меня клюв удивил, сколько то, что эта птица не улетала.

Поздоровались мы с рыбаком, поговорили о погоде, покурили, и тут я спросил, что это за птица такая сидит у него на колу и почему не улетает.

— А эвон маяк-то, — рыбак показал мне на красную башенку маяка.

— Вижу, — ответил я. — Вижу маяк, но не понимаю еще ничего.

— А вот сейчас поймешь, — засмеялся рыбак и рассказ мне историю птицы.

На Белом море в опасных местах — по берегам и на островах — стоят маяки. Зажигаются они с заходом солнца и горят всю ночь. А чтобы капитаны судов различали их друг от друга, каждый маяк горит по-особому.

Тот маяк, о котором идет речь, горел красным и зеленым проблесковым огнем. Свет его был пронзителен.

Случилась однажды осенняя штормовая ночь на море, и старый рыбак долго не спал. Несколько раз выходил он из своей избушки, проверял, целы ли карбасы, слушал, как грохочет море, слушал вой и визг телефонных проводов и думал о тех, кто в эту ночь боролся в море с волнами.

Маяк работал. Стеклянная башенка его вращалась, узкие зеленые и красные лучи бежали по берегу. Они освещали на секунду темные горы, покрытые лесом, освещали и избушку, и рыбаку попеременно заглядывали в лицо красным и зеленым оком, потом перескакивали на воду, и, как мечи, устремлялись вдаль, в страшное море с беспрестанно встающими горами волн.

Озябнув, рыбак уходил в избушку, подкладывал дров в печь, пил чай и курил махорку. Окна избушки делались то красными, то зелеными, и рыбак с благодарностью думал о работниках маяка, которые не спали в эту ночь. И опять возвращался мыслью к тем, кто плыл сейчас по морю.

Рыбак думал о людях и совсем не думал о птицах. Однако и птицам приходилось страшно в эту ночь. Во тьме сквозь ветер летели перелетные стаи с Ледовитого океана. И многие птицы выбивались из сил, многие разбивались о провода и радиомачты, многие, обессилев, отбивались от стаи и в одиночку в последней надежде летели на пронзительный свет маяка.

Маяк работал, посылая во тьму прекрасные свои лучи. Но свет, который для людей был спасением, для птиц был гибелью. Они устремлялись к нему, и, измученным, им, наверное, казалось, как во сне, что путешествие их окончено, что все ужасы позади, а этот красный и зеленый свет — свет теплой Африки. Они устремлялись к нему, как бабочки, и ударялись о металлические перила, о толстые холодные стекла и умирали. Они умирали, упав тут же, на площадке, но смерть их, должно быть, была легкой — они умирали, озаренные негаснущим, ярчайшим светом, видимым на десятки километров, и им казалось, что они прилетели, наконец, в Африку.

Наутро шторм утих, выглянуло солнце, рыбак установил в море свои тайники и пошел на маяк расспросить, не было ли ночью какого несчастья.

Едва он вошел в дом, как увидел, что на плите стоят большие кастрюли и изо всех кастрюль идет вкусный пар.

Работники маяка велели рыбаку подождать и вынесли ему целую сумку дичи — уток и куликов. Все эти птицы разбились ночью о маяк, утром их подобрали, и каждая семья на маяке варила теперь себе похлебку из дичи.

Рыбак обрадовался, поблагодарил и понес сумку к себе в избушку: он давно не ел мяса, и рыба ему надоела. В избушке он поглядел в окно, порадовался хорошей погоде, затопил печку и стал щипать жирных уток и нежных куликов на похлебку.

Всю дичь он вывалил на лавку, брал по очереди и теребил, как вдруг заметил, что у одного кулика подрагивает крыло. Взял он его в руки и понял, что кулик жив, но только очень измучен и разбит. Клюв у него был сломан, глаза поминутно затягивались пленочками, и сердечко торпливо стучало.

Сначала рыбак хотел оторвать ему голову и тоже оципать, но, почувствовав своими корявыми ладонями стук сердечка, забыл даже и

про похлебку. Раскрыв кулику разбитый клюв, он напоил его, потом кое-как сложил и перевязал клюв и посадил кулика на подоконник.

Понемногу кулик оправился, ожил, стал взъерошиваться и бегать на длинных ножках по столу и по лавкам. Только клюв у него долго болел, и рыбак сам его кормил: копал червяков во мху, приносил с берега ракушки, выковыривал мякоть и давал кулику. А когда настали заморозки, рыбак поплыл к себе и кулика взял.

Всю зиму жил кулик у рыбака в избе, а весной вместе с ним опять приехал на тону. Он окончательно поправился, только клюв так и остался коротким и кривым. Но и кривым клювом кулик легко кормился. Рыбак было выпустил его, но кулик никуда не улетел: побегал по берегу, а вечером прилетел к избушке и стал шуршать и стучать клювом в окошко. Рыбак открыл дверь, кулик влетел в избушку, сел на окно, почистился, взъерошился, поджал одну ногу, спрятал голову под крыло и заснул.

Самое же интересное случилось после того, как кулик, соскучившись, прилетел однажды днем к рыбаку, который покачивался в карбасе у ловушки, сел на кол и стал поглядывать туда-сюда. Сначала он сидел спокойно, но вдруг вытянулся, уставился в воду и заволновался. Рыбак тоже глянул в воду и увидел, что в тайник вошла семга. Семгу он поймал, а кулик с тех пор стал верным его помощником. Он всегда скорее рыбака замечает, когда в тайник заходит семга. Об этой дружбе кулика с рыбаком знает весь берег, и когда охотники с маяка видят на берегу одинокого кулика, они каждый раз долго приглядываются, не короткий ли у него клюв, чтобы не ошибиться и не подстрелить случайно знаменитую птицу.

Выслушав эту историю, я посмотрел на кулика и спросил напоследок:

— Так значит не попал он в Африку?

— А ему и на печке Африка! — весело сказал рыбак».

Такой рассказ для детей мог написать только сердечный и добрый человек. У меня нет сомнения, что в рассказах (да и в романах, но там сложнее, и, конечно, в пьесах) как в зеркале отражается душа, характер и упования человека.

Но вернемся в Вилково. Узнав, что днем идет катер на рыболовецкую базу, мы с утра поспешили на берег. Там был рыбозавод и при нем коптильня. Конечно, пошли посмотреть, как коптят рыбу. Запомнился темно-золотистый цвет развешанных для копчения рыбьих тушек и сильный запах копченостей. До базы катер шел по одному из «дунайчиков» — так называются дунайские протоки, составляющие дельту Дуная, слева — СССР, справа — Румыния. Смотрю на дунайскую воду —

своими волнами омывала она берега европейских стран, которые недосыгаемы для нас, как Луна. И все же от этого веет свободой странствий, не знающих рубежей.

На острове Большом (хотя он совсем маленький), куда мы приплыли, есть общежитие с чистыми постелями, магазинчик, промышленный морозильник. Юра записывал все, что видит и слышит, я смотрю, впитываю впечатления. На острове много собак, они кормятся рыбными отбросами и все равно голодные, их очень жалко. В очерке о Вилкове Юра описывает охоту на гусей. Наверное, такое было, не помню. Но вот читаю очерк один раз, другой, и вдруг появляется в памяти, казалось бы, навсегда в ней утонувшее. Мы на берегу моря, земли как таковой нет, камыши. Юра велит мне замаскироваться и сидеть, не шелонувшись. По светлому небу высоко летят маленькие черные утки. Стреляет, одна как споткнулась и падает. Я чуть не плачу от жалости. Юра любит охоту и берет с собой меня, это одна из прекрасных его черт: если он испытал что-то очень интересное и приятное для него, он просто должен приобщить к этому и близкого человека.

В устье Дуная очень много водоплавающей птицы, сезон охоты в самом разгаре. На другой день Юру опять тянет охотиться. Попросили лодку и поплыли по одной из проток. Хозяин лодки предупредил нас, что в протоках легко заблудиться, и надо запомнить приметку протоки — в ее устье к высокому шесту над тростниками привязан белый флажок. Протока эта шириной не больше трех метров, слева и справа нескончаемая, высотой в два человеческих роста стена тростника. Выплыли на открытое место — кут, что-то вроде озера, огороженного тростниками, по окружности через каждые метров пятьдесят в него впадают протоки. Выезжаем на середину, замечаем, что наша протока, ведущая к Большому острову, действительно помечена шестом, у которого наверху трепещет белый флажок. Начинается лёт. Юра поглощен азартом охоты. Стреляет, в лодке запахло порохом. Стало смеркаться, птицы в небе становятся неразличимы. Еще выстрелы, но попасть трудно, и мы собираемся плыть обратно. Вокруг нас несколько проточных устьев, поди угадай, какая протока наша. Стало даже немного страшно. Плыдем по дуге вдоль тростников, Юра гребет, я — вперед глядящий. Быстро темнеет, вдруг вижу на высоком шесте беллет флажок, его уже еле-еле видно. Наша протока! Юра сильнее заработал веслами, и вот уже слева и справа черная стена тростников. Над нами темно-лиловая полоса неба, неожиданно все вокруг и вверху озаряется ярким светом, и параллельно протоке по небу летит огромное пылающее тело и секунд через десять гаснет. Что это было, нам так и не удалось узнать. Наверное, метеорит.

Вечерами на острове были коллективные ужины под открытым небом. Такие вкусные, дружные, веселые. Мы видели только отдельные куски повседневной рыбацкой жизни. И я не знаю, что в действительной жизни происходит за рамками тех вечеров под звездным пологом ночи, когда окружающие тебя люди кажутся самыми близкими, самыми лучшими и добрыми на свете. Но думаю, верю, что их тогдашняя жизнь была во сто крат лучше, чище жизни московской литературной братии. И Юра чувствовал то же самое.

Рыбаки варили тройную уху. Не могу дать точного рецепта. Но, помнится, все происходило так: разжигают на отведенном месте костер, над ним очень большой котел с водой, в него брошена первая порция рыбы — мелкой рыбешки. Она сварилась, ее вынимают огромными шумовками, бросают в таз, когда остынет, отдают собакам, которые уже вожделенно ее ждут. Потом в котел бросают рыбу крупнее, она тоже частично идет собакам. Третья порция — большие рыбины, их часто секут острым ножом вдоль хребта, чтобы измельчить кости, после чего отправляют в котел. Туда же бросают лук, лавровый лист. Все это варится и тройная уха готова. Рыбу вынимают, едят сначала уху, а потом рыбу, окуная ее в соус, какой я нигде больше не пробовала. Назывался он «саламур», делали его так: толкли лук, чеснок, острый перец и, добавив соль, разбавляли горючую смесь ухой. Макали в нее рыбу и ели, закусывая хлебом. Хотелось бы знать, существует ли и сегодня что-нибудь подобное на Большом острове. Да существует ли и самый остров?

В Вилково мы с Юрой жили уже как супруги, у которых за плечами многие годы совместной жизни. В отношениях, в преодолении бытовых трудностей полная гармония. В эту поездку Юра ни разу не был пьян до положения риз, до зеленого змия. Не помню имени нашего спутника Учителя, он сделал несколько очень хороших фотографий. Они, думаю, были в Юрином архиве, но в 2007 году, наверное, сгорели вместе с его абрамцевским домом. У меня где-то есть одна моя фотография, сделанная Учителем, которую прислал мне Юра уже после разрыва.

Учитель повез нас из Вилкова в винодельческий молдавский колхоз (или, может быть, в совхоз). Там нам показывали виноградники, угощали виноградом, и потом повели в амбар с огромными, лежащими на боку бочками, где зреет вино. Вина мы тоже отведали. Была уже вторая половина октября. Пора возвращаться в Москву, хотя, признаться, не очень хотелось. Как добирались домой, не помню. Но точно, что не на самолете.

И снова Москва, и снова мысли, где проводить зиму. Правда теперь у меня была комната в квартире Ольги Петровны. Но Юра О.П. стеснял-

ся. Она была для него слишком рафинированной особой. И решено — едем опять в Тарусу. Теперь-то я понимаю, что наши ожидания прекрасной жизни в Тарусе, как в прошлом году, не могли оправдаться.

ЗИМА, ВЕСНА 1962 – 1963 Г.

Приехали мы в Тарусу поздней осенью. Кто-то подыскал нам жилье в доме одинокой — веселой и пьющей — вдовы лет под пятьдесят, которая работала на тарусской пристани. У нее был высокий, просторный дом на берегу, несколько комнат, сообщающихся друг с другом, большие окна, кухня, туалет. Отведенная нам комната, большая, светлая, хоть и не была проходной, но расположена так, что Клавдия Александровна то и дело, проходя по коридору, заглядывала к нам. Она любила пьяную беседу, и тем частенько нам докучала. Стали думать о другом жилье. У Юры был довольно большой флакон мужского одеколona, он стоял на платяном шкафу. Как-то Юра брился и попросил принести одеколona. А флакона-то на шкафу и нет. Стали искать, думали, что поставили еще куда-то. Одеколona как в воду канул. И Юра догадался — Клавдия его выпила. Я никогда прежде не слыхала, что одеколona пьют. «Пьют, еще как пьют, когда выпить нечего», — пояснил Юра. А у К.А. перед получкой как раз не было денег, мы это от нее самой знали. Надо срочно менять квартиру, тем более, что и Юра стал с ней выпивать вечерами.

Юра продолжал думать о Севере, о новой поездке туда. Писал в Мурманское управление тралового флота и получил такой ответ:

«27.01. 63.

Уважаемый Юрий Павлович!

Отвечаю на интересующие Вас вопросы сразу же, как мне принесли на квартиру письмо /я сейчас нахожусь на больничном/. В текущем году у нас пойдут на промысел морского зверя три экспедиции — в район Ян-Майена, к Ньюфаундленду и в Белое море. Исходя из Ваших пожеланий, для Вас наиболее подходящей будет Беломорская экспедиция. Только из этого района Вас можно будет «вызволить» почти в любое время. Из дальних экспедиций суда вернутся только в мае, а уйдут в феврале-начале марта.

В Белом море у нас будут вести промысел зверобойные шхуны государственного лова и ледокольный пароход со зверобоями-колхозниками Архангельской и Мурманской областей. Если хотите писать о колхозниках — надо безусловно находиться на ледокольном пароходе. Правда, на наших шхунах люди постоянные, а командный состав все коренные поморы.

Шхуны и ледокольный пароход выйдут в Белое море из Мурманска почти одновременно 25-28 февраля. Из первого рейса, это будет приблизительно первая декада апреля, они придут в Мурманск также почти одновременно. Могут конечно придти и раньше, все зависит от наличия зверя, плотности его залегания и т.д. Другого способа вернуться Вам из экспедиции нет, если конечно не произойдет какого-нибудь ЧП. В этом случае мы арендуем и направляем к суднам вертолет.

Хочется пожелать, чтобы после Вашей поездки советский читатель проникся уважением к далеко нелегкому труду зверобоев, почувствовал героизм будней моряков-поморов. До этого появлялись статьи о зверобойных промыслах — и короткие, и, я бы сказал, слишком романтические.

Как говорят моряки — счастливого плавания и всяких удач, с приветом

[Подпись] /А. Цапко/»

Такое четкое, грамотное и приветливое письмо получил Юра в самом конце января или в первых числах февраля (конверт не сохранился). Было ясно, что в этот сезон Юра не сможет пойти на шхуне на зверобойный промысел.

Юрий Михайлович Александров наконец-то подыскал для нас новое жилье. Это был совсем новый бревенчатый дом, только что построенный. В нем пахло сосной, и была всего одна большая комната с печкой, диваном, кроватью, столом и несколькими стульями. Александровы опять снабдили нас ложками, вилками, ножами, тарелками и чашками, кастрюлей и сковородой. Хозяйские были только граненые стаканы числом двадцать штук. Нам было строго-настрого наказано стаканы не бить, мы один разбили, и, хотя возместили его стоимость, от квартиры нам отказали. Об этом доме я написала крошечный рассказ «Двое». Вот он:

«Это был хороший город. В нем жили хорошие люди и хорошие собаки. Собаки в городе были хорошие, потому что они были сытые. А сытые были потому, что в этом городе, как я сказала, жили хорошие люди.

На краю города стоял пустой деревянный дом. В холодные зимние дни ни разу не вставал над его крышей дымок, по вечерам не светились окошки, хотя было их много. А через дорогу напротив жил пёс. Ему шел восьмой год. По-собачьи он был не молод. Но люди считали его щенком, потому что он был маленький ростом и с честной, радостно доверчивой физиономией. Пес был черный с рыжими подпалинами на шее, боках и на сгибе бедер, когда он лежал. Нос у него был как пяточек у поросенка, хвост толстый, заостренный к концу; уходивший под брюхо, когда пес был доволен, и стоял выше головы, когда он бежал куда-то по своим

делаю. У него был хороший характер, потому что никто никогда не пинал его сапогами, не бросал в него камнем. И если он чувствовал голод, у него всегда было что съесть.

Каждый день он выходил за ворота, ложился на теплую, нагретую солнцем и по-летнему пахнувшую скамейку, которая по самую доску ушла под снег, и, повернув голову, глядел в темные окна дома напротив.

Он знал, что в домах живут люди. Но время не делилось на него на недели, месяцы, и он не представлял себе, как давно в этом доме не было человека. Он думал, что человек вышел куда-то, по воду, например, и вот-вот вернется. Пес любил людей и ждал этого человека.

Он считал, что он самый умный на свете пес. Потому что он один понимал, что такое человек. Однажды, когда было тепло, и на земле вместо снега, ледящего лапы, всюду была мягкая трава, он увидел человеческого детеныша. Тот стоял, притулившись к забору, а потом взял и встал на четыре лапы, правда, не очень уклуже. И тут его осенило: человек — это бесхвостый пес, приученный с щенячьего возраста двигаться на задних лапах. Теперь ему было ясно, почему он не любил кошек, а человека любил.

В тот день пес вышел как обычно за ворота, лег на скамейку напротив пустого дома и увидел в окне улыбающееся лицо человека, которого давно ждал. Глаза на лице были добрые, а пес любил приятные знакомства. Дорожки к дому не было, и он бросился напрямик по снегу. Сверху снег был пушистый, а под ним ледяная корка, которая ломалась под тяжестью лап и царапала их. Но человек в окне улыбался, а лапам было не так больно.

Скоро к дому вела узенькая стежка по снегу. Не было дня, чтобы пес не забегал к новому другу. Он любил свою избу, кусок овчины, на которой спал, миску с супом, где иногда попадались кусочки мяса. Любил высокую теплую печь, куда хозяин брал его погреться в мороз, дух вареной картошки и щей, хозяйские руки, пропахшие табаком. Но никто дома не играл с ним, не вел разговоров, да и прихода-то его другой раз не замечали. Похлебают он супа, повалится на овчину и от скуки уснет. А в доме напротив большой человек, от рук которого пахло, как от рук хозяина, играл с ним, трепал за уши, чесал брюхо, стоит только лечь на спину. И давал иногда что-то сладкое, крепкое и белое, от которого текли слюни. Мясо тоже давал. Одно было жалко, новый друг, хоть и заводил разговоры, никогда не кликал его Булькой. Всё чаще во сне грезился ему дом напротив. Но когда днем засиживался в гостях, начинал вдруг томиться. Поднимался с теплой куртки, на которой любил дремать, и ковылял к двери, потягиваясь со сна, скребся лапой и зевал, утробно скуля. Он боялся, что человек обидится. Но ничего не мог поде-

лать с собой, как будто кто тянул его за веревку. Он даже ругал себя, что даль волю сердцу и привязался к чужому дому, потому что он был умный пес, и знал, что у собаки должен быть один дом и один хозяин. Но и с новым чувством он тоже ничего не мог поделать.

Так всё и шло, и, наверное, много дней. Пес не знал сколько, он не умел вести счет времени. Однажды к дому напротив подкатила машина. Пес не любил машин, от них мерзко воняло, и ревели они противные ста котов. Превозмогая отвращение, пес подвинулся ближе к машине. Из дому вышел его друг, одетый в знакомую куртку. Бросил в машину заплечный мешок. Вернулся к двери, вынул из кармана ключ, повернул раз, другой, попробовал, крепко ли заперто. Спрятал ключ под крыльцо, и огляделся, как будто ища кого-то. Увидев пса, пошел к нему. Пёс бросился навстречу, упал на спину. Человек нагнулся, стал гладить брюхо, рука его пахла совсем как у хозяина.

— Прощай, брат. Славно мы с тобой пожили. И не так одиноко, и работать ты не мешал. Когда-то я еще вернусь сюда. Да и узнаешь ли ты меня? А я ведь даже не ведаю, как тебя кличут...

Сел в машину и уехал. А пес часто и сильно махал хвостом.

Вечером опять не было огня в окошках и дыма над крышей. Утром, улегшись на скамейку, пес поглядел в окна напротив. Никого. Потрусил узкой стезжкой к дому. Теплом не тянуло, и человеком больше не пахло. Видать, вышел куда-то. Вот-вот, должно, вернется. И пес стал ждать».

Так все и было тогда — большой, долгое время пустовавший дом, черный с рыжиной приземистый песик, который любил греться на теплой от солнечных лучей скамейке, занесенной до самой доски снега. Он приходил к нам иногда в гости, и мы давали ему кусочки сахара. Но дружба наша была недолгой, нам пришлось из-за разбитого стакана с ним расстаться. Рассказ был написан через полгода после второго житья в Тарусе. Печальная нотка в нем соответствует нашему тогдашнему настроению. В первый-то раз мы жили сперва в доме-музее, потом в доме добрых хозяев, рядом с Александровыми и Файдыш-Крандиевской. А тут Клавдия Александровна, разбитная любительница выпить. А потом еще холодный, необжитой дом угрюмых хозяев.

Следующее наше жилье было совсем кратковременное. Его нашла Елена Михайловна Голышева. Приютила нас на два-три дня в маленькой теплой избушке одинокая, молчаливая женщина. Ночевать у нее было где, а жить втроем тесновато. Встанет она рано утром, протопит большую русскую печь, сварит борщ и идет на работу. Борщ варился и на нашу долю. Она пустила нас только по доброте душевной — мы, конечно, создавали ей неудобство. Тем временем, друзья продолжали ис-

кать нам жилье. И кто-то скоро нашел замечательный дом, недавно построенный на современный городской (конечно, провинциальный) лад. Дом принадлежал бывшему министру кинематографии, а, может замминистра, кажется, его фамилия Большаков. Пустили нас до мая. Дом стоял на самом берегу Оки.

Начались уже лютые морозы, до 30°. Дом был просторный. Как войдешь, большая застекленная веранда. Сразу налево вход в дом. Как удивительно работает память! Садилась писать, и кроме высокой, круглой, железной печки в комнате ничего не помнила. А вернулась в то время, стали всплывать в памяти подробности, к сожалению, не все. На кухне — шведская плита, это значит, на ней можно готовить, и у нее есть изразцовое зеркало, выходящее в смежную комнату, так что и в ней тепло. Почему-то мы спали в большой комнате на полу. Но зато в этой комнате от одной стены до другой был узкий длинный стол, сделанный из длинных, ровно пригнанных не то сосновых, не то дубовых брусьев. Скорее, из дубовых, потому что он был шоколадного цвета, не очень темного. Юра любил за этим столом работать. Большие окна, под которыми он тянулся, выходили на Оку. На нем можно разложить все, что угодно: справочники, словари, другие книги, бумаги. Спустя годы, в своей избе во Владимирской области, в деревне Юрцово, я пыталась соорудить что-то вроде такого стола. А потом напрочь о нем забыла, я ведь и в Юрцове не живу уже двадцать лет. Сменила его на Зарайск.

Всё в том доме было прекрасно, вот только мало дров. Разузнали у соседей, как их можно достать, и нам привезли не очень толстые березовые стволы, мы их распилили, Юра наколол. И на веранде выстроилась отличная поленица березовых дров.

Это была зима 1962 — 1963 года. Мы уже так сжились друг с другом и так привыкли к кочевому образу жизни, что и думать забыли о какой-нибудь перемене. А у меня чуть поостыла безоглядная влюбленность в Юру. Нам было хорошо вдвоем, успешно работалось. Мы часто ходили в гости к Елене Михайловне и к Александровым. Приехала Устинья Андреевна, в доме нашлась комната и для нее. Она нам готовила, я штопала ее шерстяную кофту и по Юриной просьбе пинцетом выщипывала у нее на подбородке длинные волоски. Потом она уехала, и мы опять остались одни. И опять чудесное происшествие.

В моей жизни чудеса случались. Летом 1988 года, живя в Юрцово с дочкой, у которой на руках был полугодовалый сын, да еще в доме тяжело больная собака, я вдруг подхватила в середине недели, бросила всё и поехала в Великий Новгород к горячо любимой тетке, как будто что подтолкнуло меня. И приехала, чтобы похоронить ее. Толя, ее сын, встретил меня на вокзале, он увез мать в Тосно, и вернулся в Новгород

за телевизором и кошкой. А тут я позвонила и сообщила, что еду. Он утром встретил меня, мы взяли такси и поехали в Тосно. Было яркое, солнечное утро, вошли в квартиру, а тетка лежит на полу мертвая. В необъяснимые чудеса я не верю, наверное, когда-нибудь все же их объяснят. Так я и похоронила свою добрую и чистосердечную, но не очень счастливую тетушку.

А в Тарусе у нас случилось вот что. Вечер, часов около восьми, за окнами метель — «буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя». В падающем из окон свете виден быстрый косою лет снежных хлопьев. У нас тепло, топится круглая печь. Иду на веранду за поленьями, веранда большая, и вижу, по ней летает белая курица, точно родившаяся из снега. Зову Юру. Он тоже глядит на нее в изумление. Говорит, наверное, соседская. А ближайшие соседи у нас одни, выше по берегу, над Окой. Юра идет в дом, надевает куртку, шапку, валенки. Я останавливаю его. Но остановить его невозможно. Возвращается весь облепленный снегом, говорит, у соседей белых кур нет. Пустили мы нашу курицу в кухню, а утром подарили соседям. Откуда она здесь взялась? Не из снега же родилась? Конечно, это чудо иного свойства, чем выше описанное. Это чудо — романтическое, наподобие Второго концерта Рахманинова в Печорах. Какое-то время мы были под его впечатлением, видя и в нем добрый знак.

А между тем, Юра пить стал все чаще. Устинья Андреевна требовала, чтобы я не давала ему пить. Пеняла мне, что у меня слабый характер. Мы обе еще не понимали, что просьбами, укорами, требованием уже ничего не сделаешь, надо было его лечить. Устинья Андреевна потому тогда и уехала в Москву, что ей невмочь было видеть пьяного сына. Пьяный он становился все хуже. К Александровым приехал сын, юноша лет двадцати, маленький, шуленький, он менее всего тянул на героя-любовника. Мы побывали у Александровых, пили чай, Юра Александров играл на рояле Шопена, Эва испекла пирог. Сын говорил мало, смущался. Вечером дома Юра выпил пол-литра водки и впал в пьяную истерику: я соблазняла своим поведением несчастного юнца. Обвинения сопровождались непечатной бранью, стенаниями. Это было до такой степени бессмысленно, что я даже испугалась за его психику. Но, к счастью, в таком опьянении он скоро засыпал. А утром ничего не помнил. Мне становилось с ним не очень уютно.

Пытаюсь сейчас понять, почему эта зима в Тарусе не была такой безмятежно счастливой, как прошлогодняя. Впечатлительность у Юры, конечно, феноменальная. Неужели на него так подействовали три предыдущих жилья, безрадостные, негостеприимные, их «некультурные» хозяева? Контраст был, действительно, велик. Но мы часто

бывали у Оттенев, туда съезжались сливки московского интеллектуально-литературного еврейского общества. Нас принимали хорошо, Юрин талант ценили, и все же он чувствовал себя не так вольготно, как среди московских литературных приятелей — Евтушенко, Баруздин, Коринец, Шим, Семенов. На тарусских посиделках Юра больше молчал. Возможно, он чувствовал себя в этой среде чужим. Да и я тоже не очень вступала в беседу.

О наших переводческих делах мы говорили с Еленой Михайловной, когда я захаживала к ней одна, и приезжих гостей не было. Мы с ней были тогда очень дружны, да и позже тоже. Она мне рассказывала о преследовании космополитов в конце сороковых. Моя мама была в те годы секретарем партийной организации МГПИИЯ (Московского государственного педагогического института иностранных языков). Она заступилась тогда за гонимых профессоров Нусинова и Рытта, за что вскоре и была вынуждена уйти на пенсию. Мать моя была честный, принципиальный партиец, теперь бы ее назвали «идеалистом». Но она была деятельный коммунист, и всегда, где требовалось помочь, приходила на помощь, хотя бы это грозило ей самой, в лучшем случае, увольнением. И еще она была бессребреник. В военные годы — она и тогда была партийным секретарем — одежду давали по ордерам. Ордера подписывали директор, секретарь парткома и председатель месткома. У нас с ней не было зимних пальто, и мы так и проходили две военные зимы в демисезонном. Помню, как мама защитила от гонений нашего преподавателя литературы А.Л. Штейна. Он, сам уже в немалых годах, пришел проститься с ней на ее похороны в сентябре 1986 года.

Елена Михайловна рассказывала, что космополитами были объявлены все писатели, литературоведы, критики, которые в своих трудах «преклонялись перед Западом». Достаточно было написать, что Лермонтов испытал на себе влияние Байрона, как литературоведа зачислили в космополиты, он лишился работы и возможности печататься. А иногда было достаточно иметь в паспорте пятый пункт, т.е. быть евреем. Жившие в Москве друзья по несчастью спасались только взаимовыручкой. Если кто-то вдруг получал неожиданный гонорар за переиздание, он немедленно обзванивал друзей и приглашал на ужин, не для того чтобы отпраздновать гонорар, а для того, чтобы те пришли к нему и поели. Иногда в доме не было куска хлеба. На счастье в 1953 году умер Сталин, загнавший самого себя в одиночество и манию преследования (как не вспомнить конец Ивана Грозного), и период террора кончился.

Но работалось Юре неплохо. Он тогда писал «Нестора и Кира», «Плачу и рыдаю» и отдельные северные зарисовки. («На Мурманской

банке», «Белые ночи»). Продолжал работать над повестью о войне. И даже написал стихи — единственный раз за все пять лет. Вот они, на пожелтевшей от времени бумаге, впрочем бумага была изначально не белая, а желтоватая, дешевая.

«Таруса снегом заметёна
 Народ везде живет едрёный
 За месяц просит сто рублей
 Здесь [неразборчиво] поэтому видней.

----- · -----
 Водку мы со старухой
 Пили
 Говорили небылицы —
 Были
 Кот на стуле все это
 Время
 Нес кастрации тяжкое
 Бремя.

----- · -----
 Рояль трещал, струна скрипела
 Как лед Оки на Пасхе — вдрызг,
 Когда на липе оледенело
 Снегирь глотал звон красных брызг.

Печатаю этот стих и думаю, что, возможно, это написано было в зиму 1961 — 1962 года. Рояль был только в доме Михаила Михайловича Мелентьева. Да и кот там был, и снегири летали за окном кухни. Но по настроению стих ближе к следующей зиме. В нем Юрина душа — нараспашку: в определенные часы его жизни, грубая, тяжелая, безрадостная. Но он все же был, по большей части, другим, видно по его письмам и телеграммам. Эта, думается мне, приобретенная (а может все же врожденная?) душевная грубость была для него самого «тяжким бременем», он сравнивал себя с другими людьми, окружающими его теперь, и сравнение было не в его пользу. Однажды он даже сказал мне, выпив: «Тебе, миленькая, нужен, другой муж, не такой, как я». В стихе Юра слегка присочинил. Я никогда с ним не пила, пил он один. Однажды в ЦДЛ к нам за столик села жена поэта Смелякова (Юра куда-то отлучился), и сказала мне: если я хочу, чтобы Юра всегда был со мной, я должна пить вместе с ним. Это было для меня невозможно.

На лыжах в ту зиму мы не ходили, Юра много работал, и настроение у него было по большей части мрачное. Сейчас я так это объясняю себе. Кульминация нашей любви (на его взгляд) — отношения, описанные в рассказе «Двое в декабре». По логике вещей они должны были закончиться каденцией — браком. А этого не произошло. Получился неразрешенный аккорд. Неустойчивое, незавершенное состояние раздражает нервы, вгоняет в уныние. Юра, повторяю, пил часто и много. А пьяного выносить его было трудно. Дни сменялись неделями, вот уже и конец февраля. А там уже не за горами весна.

И вот в последних числах зимы случилось то, что должно было случиться. Терпенье мое лопнуло. Юра ночью разбушевался как никогда. Буянил почти всю ночь. Ненадолго заснул, а утром проснулся и тут же пошел в город за водкой. Мы жили далеко от центра, в самом низу. И я, стиснув зубы, приняла решение — уехать немедленно в Москву, и поставить на этом точку. Поспешно оделась, быстро собрала свои вещи, их было немного. И вышла из дому. За ночь намело снегу, по двору на улице шли Юрины шаги, мои отпечатывались рядом. Серпуховского автобуса в ближайшие часы не было. И я пошла к Оттенам. Елена Михайловна приняла меня тепло и деликатно. Не уговаривала вернуться. Предложила переночевать. Я осталась и утром с первым же автобусом уехала.

И вот я дома, в своей уютной комнате у Ольги Петровны. Говорю ей, что мы с Юрой расстались. «Свежо предание», — говорит Ольга Петровна. Приняла душ, поужинали. И меня охватило чувство великого душевного освобождения. Нет темной Тарусы, пьяного и бесконечно грубого Юры, нет нелегкого почти деревенского быта. Я опять в цивилизованном мире добрых, умных, предсказуемых людей. На другой день еду к сыну, к маме с папой, сестре и брату. Как будто сбросила шкуру, из которой выросла. И на третий день позвонила в институт, что готова вернуться преподавать перевод. В ответ услышала:

— В понедельник можешь выйти?

— Могу, конечно.

Так, после почти двухлетнего перерыва я вернулась в свой институт, чтобы уж больше никогда не покидать его.

Конечно, я все время думала, как там Юра, как отнесся к моему уходу, но ничего пока не предпринимала. Характер у меня отходчивый, и спустя несколько дней я уже всерьез беспокоилась. И позвонила в Тарусу Елене Михайловне. Юра приходил к ней, жаловался, что я его бросила, когда ему стало так хорошо писаться. Он погрузился в военную повесть, а надо вести хозяйство — в тарусских условиях это не так легко. (Вскоре к нему опять приехала мама. И он продолжил писать, не забываясь о хозяйстве).

Услышав это, я написала Юре такое письмо:

«Здравствую, Юрочка! Как ты живешь? Я хотела вчера тебе позвонить, но линия с Калужской областью не работала. Вероятно от заносов.

По-моему, нам не надо злиться друг на друга. Ты можешь говорить другим, что я бросила тебя в самую тяжелую минуту. Но ведь я не хотела тебя бросать. Ты меня к этому вынудил. Мы-то оба знаем, как всё произошло. Помнишь субботу — ночь? Когда ты плюнул в мое лицо? И потом воскресение. Я видела, что тебе стыдно, и мне так было жалко тебя. И я была так ласкова тогда с тобой, чтобы тебе не было неудобно. А в понедельник еще хуже. Ты можешь говорить маме, что вел себя хорошо, но ведь сам-то ты все помнишь.

Ты говоришь [это я узнала от его мамы, которая позвонила мне], что я всем рассказываю о тебе плохое, нет, я всегда только хорошее о тебе говорю. И ты не беспокойся, подробностей никто не знает. Я понимаю, ты настраиваешь себя, чтобы чувствовать невиноватым, или чтобы доказать себе, что я не стою твоей любви. Но это самообман. И долго он продолжаться не может. Согласись, милый, что дело обстоит так: ты не мог со мной по ряду причин мнимых и действительных — тебе [«тебе» подчеркнуто] они все представлялись действительными, такой у тебя характер, но и вместе тебе было хорошо со мной. И это противоречие должно было разрешиться. Ты, руководствуясь подсознательным (потому что когда бывал пьян), делал всё, чтобы я ушла. Помнишь, как ты мне сказал, я испытываю, до какой степени можно еще тебя унижить и ты будешь унижаться и говорить, что любишь меня. Ну что-то такое в этом роде, точно не помню.

Я люблю тебя по-прежнему. А может быть, даже теперь уже и больше. Но унижаться больше не буду. Я не прошу, чтобы ты меня любил. Чего чел [«Чего чел» зачеркнуто одной линией]. Вот этого сделать над собой нельзя. Ты всегда меня не любил, но старался. И, конечно, кроме раздражения, у тебя ничего не получалось. Так что ты абсолютно ни в чем не виноват. Но, Юрочка, друзьями-то мы должны быть, хотя бы только потому, что более преданного человека (из не кровно родных) у тебя нет.

Дела мои такие. Сейчас идем с ОПХ в милицию насчет прописки. С понедельника иду на работу в институт. По вечерам, три дня в неделю. В этом году — почасовая. Перевожу Томаса Гарди и пишу рассказы [«Двое»]. В Лужники ходила со своей Ирккой. Смотрели «Пожнешь бурю». Со здоровьем плоховато, но еще ничего. Нарывы из горла перешли на десны. Ольга Ивановна — знакомая Ю.М. лечит, колет алоэ и пеницилин. В голове опять небольшое давление, на той неделе обещали хорошего врача. И еще я здорово похудела. Ну вот и все пока. Пиши. Марина». И справа на полях: «Маме большой, большой привет».

Это письмо показывает, до какой степени я не понимала тогда, что действительно происходит в душе у Юры. Потом поняла, прочитав рассказ «Зависть». Не только я любила его, но и он очень любил. Боялся, что я уйду от него — знал, что с ним трудно. Конечно, мать его постоянно твердила, что я не пара ему, «разведенка», да еще у меня ребенок. Что против этого скажешь? Ведь и сам он хотел повести в загс чистую девушку, которая родит ему первого своего ребенка. Все так, но любовь-то была. И любили всё одинаково — природу, русский язык, русскую классику, музыку. И дело почти общее — день-деньской корпеть над текстами изящной словесности. И душевные — умные и согласные — разговоры. И плотью близки. Неразрешимое противоречие.

Получив мое письмо, Юра пишет ответное (буквы пляшут, писано во хмелю):

«Привет, милая, приветик!

Зачем это тебе доказывать, что я плохой? Ну плохой и плохой, ну не любил тебя и не любил — что ж такого и зачем вновь поднимать этот вопрос? Тут уж нечего после драки кулаками махать, раз кончено, так кончено. А то мы с тобой можем до бесконечности упрекать друг друга — ведь у меня тоже к тебе есть претензии и немалые. А мы просто давай не вспоминать плохого, тем более, что всякие воспоминания кровь портят. Я не хотел тебе отвечать, а думал, что приеду в Москву, позвоню и все скажу, но обстоятельства переменились, я буду сидеть тут, и вот поэтому пишу.

Значит, ты устроилась на работу? Уж сразу чтобы отрезать себе все пути назад — так, да? Ну что ж, поработай. Повесть моя после твоего ухода прекратилась, но теперь опять пошла, хотя и плохо, и я ничего в ней не понимаю. Наверное дерьмо выйдет, но я все-таки кончу, а если будет плохо, то никуда не отдам — и все. Слава Богу, у меня есть одно качество, которое мне нашептывает, что плохо у меня и что хорошо и поэтому я не публикую плохих вещей. Бывают лучше и хуже, а если плохо выйдет, то я не печатаю.

Ожидается в Тарусе небывалый разлив, нашей с тобой Клавдии Александровне вручили повестку о выселении, и многим тоже, говорят, что вода зальет город (площадь, где стоит Ленин).

Приезжала ко мне одна девочка (пианистка) я ее повел в дом М.М. — и наш рояль вдруг заиграл — так хорошо было, я послушал. Наст. Фил. ничего не знает, и очень удивилась что я пришел с другой, а тебя не было.

Десны твои не коли, не лечи, а лопай чеснок — все пройдет.

Е.М. меня замучила тобой, но я мужественно сопротивляюсь. Я ведь стойк.

А Нашатырь-то помер. Мама его почему-то именует Штопором. А ведь приглашал нас с тобой жить у себя. И помер.

Ну будь здорова, не болей.

Юрий

IV 63».

Сохранилось мое ответное письмо:

«Здравствуй, Юрочка!

Получила твоё письмо. Пришло оно вечером, около 8 часов. А сейчас 12. Ты пишешь, наш рояль, наша Кл. Алекс. Конечно, всё наше. Очень многое наше. Таруса, Дунай, Печоры, Таллин, Судак, Кольский полуостров, Кемь. Кандалакша. И причём здесь какие-то девочки-пианистки, и вообще, какое отношение к нам, к нашей любви, имеет всё, что вокруг. Я, конечно, первое письмо написала глупое. Да я ведь глупею, когда пишу тебе, или говорю (не всегда).

Я очень очень тоскую о тебе. Мне почему-то казалось, что и ты, когда ложишься спать на нашу тахту под двцветный торшер и смотришь на отсвет от лампы приемника на стене и слушаешь музыку, то ты куришь, сминая папиросы в пепельницу на полу и думаешь, вспоминаешь обо мне. А ты пригласил пианистку. (Это та, что писала тебе? Видишь, я была права, просто деловых переписок не бывает).

Но только я верю, что это не то. Потому что то это — наше. Если выбросить те часы, когда ты был пьян, у нас были необыкновенные отношения. Это было настоящее. Это была жизнь, невозможная друг без друга. Я не знаю, как ты, но я оценила это, отойдя на расстояние. Мы так должны ценить то, что нам выпало. Помнишь Тарусу? То наше любимое место на высоком берегу. Деревня на другом. И как я ходила за водой и там была длинная хворостина, сломанная вдвое, чтобы держать котелок. А какой был ветер, это уже на другой год.

Милый, если можно, приезжай скорей. Я так хочу, чтобы ты был рядом. Или я приеду.

Я вчера провела днем в Таллин Ольгу Петровну. Она поедет мимо Петцери. Ох, как мне хочется всё снова с тобой увидеть, пройти от станции до города. Почему мы шли тогда ночью? Там ещё слева на холме деревья высокие, призрачные от луны. А как мы уезжали в Ленинград? А могила Михаила Михайловича — это ведь наша святыня. Крепко тебя целую. Господи, почему мы должны укладываться спать порознь?

Ты пишешь, что то, что ты написал, наверное, дерьмо. Ты не пишешь плохо повесть или рассказ, когда не спешишь и не ради обязательства — вернулся, например, из командировки. У тебя истинный талант словесный. И ты умный человек. И последние годы, как и преды-

душие, ты много читал, думал, видел и пережил. Это все сплывало в тебе и сейчас, оживленное твоим талантом, ложится на бумагу. То, что тобой написано, необходимо должно быть хорошо.

Юрочка! Я очень хочу побыть с тобой в лесу в конце апреля, когда земля просохла, уже лезут зеленые свитые в трубочку травы. Но еще нет зелени на деревьях и лес сквозит весенним солнцем. И чтобы пахло дымом. Не сердись на меня родной мой, я очень тебя люблю и не могу без тебя.

Целую Марина».

Письмо это Юра получил 16 апреля. Из Москвы оно ушло по авиапочте 14.

Подтекст моего первого «глупого» письма, на самом деле повинного и растерянного, — «Я зря уехала, прости, если можешь». Подтекст Юриного письма: «Конечно зря, очень плохой поступок. Но все же прощаю». Этот посыл мной понят, и написано второе письмо, в котором уже нет сомнения, что Юра сердцем откликнется на мое послание, и мы скоро опять будем вместе. Так что Ольга Петровна была права, сказав «свежо предание» о нашем разрыве.

Не помню, было ли ответное письмо, в архиве моем его нет. Наверное, все же письма не было. Юра продолжал какое-то время писать в Тарусе. В мае зачем-то приехал в Москву. Пошел в поликлинику Литфонда, которая находилась рядом с моим шестым подъездом. Вышел из нее, а я откуда-то спешила домой. И мы столкнулись на подходе к метро нос к носу. А мир между нами, несмотря на письмо, не был еще восстановлен. Секунду мы стояли, оторопев. Вдруг обнялись и как приклеились. И уже не могли расстаться. Поднялись ко мне на шестой этаж. И оба не стеснялись показать, как мы счастливы. Побыв в Москве несколько дней, Юра опять вернулся в Тарусу, заканчивать повесть. Наверное, все же, это был «Нестор и Кир».

А со мной тем временем приключилось вот что. Десны зажили, но почему-то каждый вечер стала подниматься температура до 37,5°. Чувствую себя не плохо, а температура скачет. Позвали знакомого врача из поликлиники литфонда, я, не будучи членом Союза писателей, пользоваться поликлиникой не имела права. Милый толстенький коротышка осмотрел меня всю, слушал, стучал, даже спросил, нет ли у меня вредных привычек. А я спросила, что такое «вредные привычки». Врач пояснил — не курю ли я, может, пью? Да нет, говорю, таких привычек нет. Значит, надо лечь в больницу, на обследование. В какую больницу? Тут он мне помочь не мог. А у меня опять подруга, дочь папиного сослуживца Л.Д. Работает она в Академии медицинских наук, преподает английский язык аспирантам из разных медицинских учреждений. Сре-

ди них молодой, красивый нейрохирург из больницы, где лечили и выходили великого физика и омерзительного (по-моему) человека Ландау. Моя дорогая подруга попросила этого нейрохирурга взять меня к нему на обследование. У нее был свой резон. Она (красивая молодая женщина, разведенная) была в него влюблена, и, навещая меня, могла бы там его встречать и даже беседовать — о здоровье подруги. И врач согласился взять меня к себе. Меня записали на плановую госпитализацию, поставили на очередь. И через неделю я получаю повестку прийти в понедельник утром с вещами. Все мои родные, включая Ольгу Петровну, переполошились. Больница нейрохирургическая, научно-исследовательская. Я не должна бездумно отдать себя в руки хирургов. Действительно, в приемном отделении пришлось подписать бумагу, что согласна подвергать себя хирургическому вмешательству. Точно не помню, но что-то в этом роде. Так я и оказалась в этой совершенно замечательной больнице. Там все еще музейно содержали палату, в которой лечили Ландау. Врачи изумительные. И лучшие нейрохирурги — женщины. Как я себя ругаю, что никогда не записывала имен. Моим лечащим врачом была женщина лет сорока пяти, спокойная, выдержанная, доброжелательная, с красивым русским лицом.

Поместили меня в двухместную палату на первом этаже с окнами и балконом в сад. Моя соседка по палате — тридцатилетняя женщина из Брянска Г.Н. Ее ждет операция — удаление доброкачественной опухоли. У нее точечное зрение. Операцию будет делать наш палатный врач. Три недели, проведенные мной в этой больнице, вспоминаются как один яркий, солнечный и счастливый день. Ко мне постоянно кто-то приходит, мама, Ольга Петровна, подруги и мой сынок Дима, которому уже одиннадцать лет. Чтобы я не скучала, он принес маленькую черепаху. Она жила у меня под кроватью, днем я выносила ее в сад, она ела там одуванчики. Правда, вскоре она выдала свое пребывание в больнице, и пришлось с ней расстаться.

Меня методично подвергли всевозможным исследованиям. Все было в порядке, а температура продолжалась. Решили сделать подробный снимок головного мозга. Для этого выпускают из головы жидкость, чтобы хорошо видеть все ее составные части. Я посоветовалась с мамой и с Ольгой Петровной. Обе были категорически против. А О.П. сказала: «Не они запечатывали, не им распечатывать». Эта замечательная переводчица художественной литературы была по образованию биолог, кончала биологический факультет МГУ. И она пришла в ужас от такого святотатства. Я отказалась от этой процедуры, хотя и дала подписку выполнять все медицинские предписания. Впрочем, это было можно. Тем временем Гале Н. сделали операцию и положили в реанимацион-

ную палату на втором этаже. Я к ней поднялась, она уже проснулась после наркоза, в палате темно, она слабым голосом просит принести ей воблу, очень хочется соленьенького.

Из больницы я написала Юре в Тарусу. Он прислал телеграмму, которую я получила 14 июня: «Дорогая Мариночка поздравляю поправляйся скорей отпразднуем день рождения целую = Юрий». А вскоре и сам приехал в Москву. И на другой день навестил меня, с цветами. Юра приходил ко мне почти каждый день, мы гуляли по саду, пока мне можно было ходить. И наутро, после моего вечернего посещения Гали, я позвонила ему и попросила принести воблу. Юра принес, и опять я поздно вечером отправилась к Гале. Она съела несколько оторванных полупрозрачных кусочков. А на утро вся покрылась крапивницей. В обед пришла наша врач и стала меня стыдить, мягко, но укоризненно. Как я могла после тяжелой операции дать такой недietetический продукт! И в то же время не могла не улыбнуться — надо же чего захотелось съесть после операции на мозге. Никогда бы в голову не пришло, что пациенту захочется воблы. Аллергия через день прошла. Галю скоро перевели в палату, и ей еще предстояло побыть в больнице недели две. А мне врачи предложили исследовать спинномозговую жидкость. Это миниоперация. На этот раз я возражать не стала. Спинномозговая жидкость у меня оказалась в полном порядке, но десять дней пришлось не вставать с постели. И тогда мне сделали пирамидонную пробу. Я пила по утрам раствор пирамидона, и через несколько дней перестала температурить. Что это значит, я до сих пор не знаю. Но температура больше не поднималась ни разу.

Выписали нас почти одновременно. Сразу после больницы Галя поехать в Брянск не могла, и я взяла ее к себе. А проводив ее, отправилась в Звенигород, где жила Ольга Петровна. Вот мое письмо Юре:

«Здравствуй, Юрочка! Ну вот я и опять в Звенигороде. Сажу у окна в маленькой комнатке. В саду все цветет. Флоксы пошли. Утром один цветок на шапке распустился. А теперь уже пять. Синий дельфиниум — высокими столбиками. Еще есть клубника: утром и вечером по блюду, дней пять продержится. Малина и черная смородина сильные, но осыпаются, не успеваешь собирать. Ягоды ем с парным молоком: берем у соседки. Молоко здесь 35 коп. литр. Такого дождя, как в Москве, в Звенигороде не было. Звенигород на холме и тучи его обходят. Поливаем сад. Пахнет после поливки: укропом и маттиолой, просто оглушает.

Читаю сейчас симпатичную книжку. Внук Тальони, про лошадь, До чего вкусно лошади описаны. Прелесть книга, и очень умная. По настроению похожа на изв. роман Пастернака. Удивительно, как это не поняли.

Сегодня первый раз взялась за работу. Ничего, голова не болит. Машинка стучит приятно. Давненько я не садилась за неё. Взял бы ты одного из своих племянников и катил сюда. Ему-то было бы как хорошо. Ягод сколько. Ну и присмотр был бы самый квалифицированный (за ним и за тобой).

Ольга Петровна шлет тебе привет и приглашает. Ты покоришь сердце, когда я была в больнице, а ты каждый день приходил. Если о тебе заходит речь, она говорит с гордостью.

Между прочим, она рассказывала, что где-то под Звенигородом есть глухое место в лесах, куда и дороги-то нет толком. Хорошо бы туда забраться.

Ну вот, миленький, всё пока. Целую тебя крепко. Я не понимаю, как я могла так долго без тебя выжить весной. По-моему, результатом одного и заболела моя голова. Всё-таки она болит не от каких-то органических повреждений, а от нервов. Потому что сейчас, когда меня ни что не расстраивает, она как будто никогда и не болела, не смотря на жару и на то что я много торчу на солнце, а если в городе, то много тружусь (белье, полы, магазин и т.д.). Да, я купила шикарную юбку, она мне идет.

Всем домашним привет».

То звенигородское лето было одно из самых счастливых и спокойных. Гостил сынок Димочка, Ира с Мишей, приезжала и моя мама. Юра не пил, во всяком случае, так он писал. И у нас ним опять любовь. Ольга Петровна здорова, весела, довольна жизнью. Она дружила с женой Ивана Александровича Кашкина, у нее там тоже был дом, где она жила со своей подругой. Большой компанией совершали длинные прогулки в окрестностях Звенигорода. Кашкина знала много красивейших мест. Однажды повела нас в «русскую Швейцарию». День был солнечный, яркий. Шли долго по лесу, лес не сумрачный, позелененные лучи солнца пронизывают его насквозь, пересекали ручьи, быстрые и чистые, где в прозрачной воде серебристо мелькали длинненькие мальки. На околице деревни пили из колодца, припав к тяжелому ведру, ледяную воду, от которой у меня заломило лоб. И, наконец, по лесистому косогору спустились в чашу долины, окруженную зелеными холмами. Устроили привал, ели хлеб с сыром и огурцы. На обратном пути попалась заброшенная железная дорога. Грусть навеяла ее заброшенность, напомнившая о конце всего сущего на земле. Мы все, кроме Ольги Петровны, рвали для букетов полевые цветы. А Ольга Петровна не рвала, говорила нам с укоризной, что дикие цветы растут не для людской прихоти, а чтобы украшать землю. Для букетов существуют садовые цветы, которые надо выращивать на своих клумбах. Но мы все равно вернулись домой с пышными букетами.

Дома нас ждал обед — щи из ранней капусты со сметаной, петрушкой и укропом, картошка с помидорами и огурцами. И чай с карамельками. Ольга Петровна была счастлива нашим счастьем. Это она так хорошо все устроила для друзей и близких. Она теперь не одна.

У нее был названный сын — сын ее друзей и коллег, с которыми она работала в больнице, что у Курского вокзала, в дни своей юности. Она там была медсестрой и училась в университете. А у врачей Кондорских, ее соседей, был сын Илья, тогда маленький мальчик. Он рос у нее на глазах, она к нему привязалась, а его родители полюбили одинокую, умную девушку, и скоро все вместе стали жить как одна семья. В доме врачей было множество кошек. Их дом был что-то вроде флигеля на территории больницы. При нем сарай, в котором и обитали кошки. Численность их не росла потому, что среди них был кот, пожиривший новорожденных котят. Родителей в войну не стало, Ольга Петровна стала считаться тетушкой Ильи. Так у нее и появился «названный сын». Теперь это был уже взрослый, серьезный молодой человек, женатый на враче по имени Ингеборг, детей у них не было, зато было много кошек. А жили они уже не на территории больницы, а в отдельной двухкомнатной квартире. Одну комнату отвели кошкам. Их было десятка полтора. Количество регулировала Инга, усыпляла уколами. Инга с Илей изредка навещали Ольгу Петровну. Какое-то время помогали ей материально. Но потом перестали, находя, что О.П. очень неразумно расходует деньги — на дворовых кошек, на старушку Наташу, на сад. Ольгу Петровну это огорчало, но она продолжала относиться к ним по-родственному тепло. А тут у нее появилась я, сначала студентка, потом и переводчик, продолжавший ее любимое дело. Она любила перефразировать Чехова: наука (Ольга Петровна после МГУ работала в лаборатории, занимавшейся зрением, оптикой, даже написала статью, посвященную оптическим проблемам) была ее супругом, а перевод — любовником. И любовник, в конце концов, одержал верх. Я с Ингой и Илей подружилась, они были рады, что Ольга Петровна не одна. Илья работал в закрытом исследовательском заведении, занимался жироскопами. И все время уходило у него на занятия наукой. В то лето они тоже приезжали в Звенигород, и тоже участвовали в наших походах и семейных трапезах. Так что у Ольги Петровны была теперь большая семья, помимо друзей-кашкинцев, живших с ней в одном доме на улице Черняховского.

Если бы я писала роман, то на этом можно было поставить точку. Жизнь героев должна была бы дальше пойти как по маслу: Юра перестал пить, Устинья Андреевна смирилась с неподходящей невесткой, мы поженились, пишем и переводим, рожаем детей. Вокруг нас все наши родные и близкие. Это — если бы писался роман. А в жизни все по-

лучилось иначе. Наверное, права пословица: «Если бы молодость знала, если бы старость могла». Старость только и может, что вспоминать, и казнить себя за то, что было сделано, и за то, что не было. И давно нет рядом людей, которым ты причинил обиду, и нельзя вымолить у них прощения. И всегда звучат в памяти стихи Пушкина: «И горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк постыдных не смываю».

Дождевые тучи обходили Звенигород стороной, кругом грозы, а у нас в саду сушь. Ольга Петровна купила длинный шланг для полива и заказала сделать деревянное сооружение вроде катка, на него намотали шланг, и поливать стало очень удобно. За продуктами я ходила в центр Звенигорода, вниз по оврагу, питались мы просто и вкусно: молодая картошка со сливочным маслом и укропом, сыр, докторская колбаса, сосиски. Тогда эти продукты были и качественны, и вкусны. Я варила щи, разные каши, которые мы ели с молоком, сооружала окрошку. Было много ягод. Молоко брали у соседки-молочницы. Баба Наташа мыла посуду. К этому лету Ольга Петровна выгородила в сенях маленькую комнатку с оконцем, выходящим во двор. Я теперь жила там. Жизнь Ольги Петровны была устроена разумно, чисто, удобно. Бабушка моя называла ее «обиходная женщина». Вставала она около восьми, Наташа уже грела ей воду и до девяти Ольга Петровна мылась, причесывалась и одевалась. Выходила в сад в девять, смотрела цветы, собирала ягоды. Ходила она в шелковых коричневых шароварах, сшитых специально для Звенигорода, белой блузке и соломенной шляпке. Вид внимательный, заботливый и слегка ироничный. После завтрака — каша, молоко, ягоды, бутерброд с сыром — садилась за машинку, работала над очередным переводом. Печатала она на маленькой печатной машинке, которая, кажется, называлась «Олимпия», с мелкими буквами.

Но безмятежная, счастливая жизнь не длится долго, не может почему-то длиться. 9 августа получаю от Юры телеграмму: «Приезжай скорей в Москву жду Юрий».

Прощаюсь с Ольгой Петровной и еду. Понимаю, что больше в Звенигород не вернусь и беру с собой вещи. Ольга Петровна остается одна с Наташей. Лето подходит к концу, скоро и ей прощаться с Звенигородом.

Юра с мамой уже в Москве. Он кончил «Нестора и Кира», и у него родилась мысль пожить конец лета где-нибудь на Валдае. Едем сначала вдвоем. А устроимся, приедет Устинья Андреевна. Юра хочет, чтобы мы с ней сжились. У меня возражений нет. Она — Юрина мама, а это, как теперь говорят, святое. Не помню, на чем мы ехали до Валдая. Юра узнал в Москве, что за Валдайским озером — озерный край, много мелких озер, между ними перемычки иногда шириной всего несколько метров. В Валдае наняли лодочника, он повез нас на другой берег, и рассказал,

что в нескольких километрах, между озерами, есть деревенька Нелюшка. Там можно снять комнату, ловить рыбу, сейчас уже много грибов. Проплыли мимо крошечного островка, на котором стоит работающая церковь. Вышли на берег — а берега на Валдае все плоские — и пошли искать Нелюшку. Лодочник показал направление, назвал приметку — найти два озера, между которыми метра два перешеек, пойти по этому перешейку, там держаться правее (сейчас уже не помню, может, левее), и выйдешь к деревне. Мы довольно долго плутали, узких перешейков много, наконец, нашли наверняка наш. Действительно, протяни руки, одна левого озера коснется, другая правого. Прошли по нему, еще шагов сто отшагали и вот она — деревня. На берегу очередного озера. Вошли в перовую избу, и нас тут же взяли на постой. Какие же добрые люди жили тогда по всей русской провинции. Мы пришли уже к вечеру. Хозяйка отвела нам небольшую комнату с кроватью и столом. В доме была еще малюсенькая каморка с кроватью, решено было, что тут поселится Устинья Андреевна. Мы устроились, умылись, переоделись, а она уже зовет нас ужинать. Пюре, жареная рыба, а у нас хороший индийский чай со слониками, московские конфеты. Мужчины в доме не было видно. Но была девочка, которой в сентябре идти во второй класс, ей на лето дали задание по арифметике, а она еще не приступала к нему. Мама ее попросила меня с ней заниматься. И мы исправно занималась до первого сентября. Девочка оказалась смышленная. Конец лета был теплый, Юра там не работал, мы отдыхали. Вставали, завтракали и уходили на весь день — бродить между озер по лесам и лугам.

Души наши настроены в унисон, все нам было в радость и удовольствие. Нашли поляну, где маслята росли, образуя ведьмины кольца. Увидишь в траве несколько лаковых светло коричневых шляпок, ищи по дуге другие, опишешь, нагнувшись, большую окружность, — и корзинка маслят. А суп из маслят не хуже, чем из белых. Нашли болотину, полную торчащих на высоких ножках подберезовиков. Крепеньких, чистых, не единой червоточины. Юра ходил ловить рыбу, сделал из длинного прута две удочки — себе и мне, крючки у него всегда с собой. Однажды взял и меня. В этом у нас оказалось расхождение. Закинула я свой прут с крючком, на который Юра нацепил червя. И он скоро дернулся.

— Тащи, — кричит Юра.

Я выдернула прут из воды, на крючке трепыхается рыбка-плотва, в тот же миг отцепила ее и бросила обратно в воду. Юра не осердился, но больше меня на рыбалку не брал. Сам он приносил пять-шесть плотвичек. Сложил из камней очаг на дворе и сам жарил их на сковородке, которую нам дала хозяйка. Дело в том, что магазинов там никаких не было, и за продуктами надо было куда-то плыть. Так что рыбалка была не

просто удовольствие, но и существенное подспорье. Юра написал маме письмо, подробно объяснил, как ехать, обещал встретить на нашей, дальней, стороне Валдайского озера. Мы стали ждать ее телеграммы. А пока ее не было, решили сплавить на катере, который ходит по Валдайскому озеру, на самый дальний его конец, в Ужин (ударение на втором слогe). Катер отплыл утром. Мы успели на него, и началось наше плавание по Валдаю. Озеро оказалось очень длинное. Приплыли в Ужин в середине дня. Обрато катер уходил рано утром. Ужин — милое местечко, рядом с причалом ухоженный, культурный парк с транспарантами, портретами, клумбами с цветами. Зашли в магазин. Купили хлеба и какой-то снeди. И пошли бродить по окрестностям. Тепло, справа соломенно-желтое поле, безмерно высокое голубовато белое небо. Пахнет васильками, спелой рожью, легко и дышится, и шагается. Слева тоже поле, и там, где поля кончаются, шагах в десяти от дороги, — двухэтажный, почти новый дом. И на нем объявление — продается недорого. Мы так и замерли. Вот тут бы обосноваться! В доме никого не было, обошли мы его со всех сторон и, расстроенные, зашагали дальше. Расстроились, потому что могли бы купить этот дом. Да только далеко он больно, два дня добираться. И есть будет нечего. Но такая там была тишина, красота, такой чистый, легкий, душистый воздух, что оторвали мы этот дом от себя с болью в сердце. Вернулись на берег, не там, где причал, а подальше. Место пустынное, никакого жилья, только одиноко торчит высокий полуразрушенный храм. Про него нам сказали, что когда-то в нем бывал Некрасов. Мы вошли в него — мерзость запустения: стены утратили всю роспись, какие-то на них грязные подтёки. На полу битый кирпич, осколки камней, кафеля. Тихо, пусто, печально. Быстро темнело. Ночлега никакого нет, катер отплыл очень рано, и мы решили заночевать прямо на земле, на берегу, под сенью этого бедного дохлающего храма. Нашли на песке место посуше, легли, прижались друг к другу. Ночь была холодная, мы почти не спали, правда говорят «с милым рай и в шалаше», как ни банальна эта поговорка.

Все рано или поздно кончается. К причалу подошел катер, мы первые взяли билеты. И к вечеру были, наконец, в своей Нелюшке.

Край этот был тогда, полсотни лет назад, очень красив. Тихие, безлюдные боры, корабельные сосны, темновато, ноги скользят на рыжем столетнем слое хвои, в ней вдруг видишь темно коричневую, как корка черного хлеба, шляпку большого белого гриба. А рядом в низине, на кочках, — кустики клюквы, ее видимо-невидимо, но она еще розовая, ей еще спеть и спеть. Сосновый бор прорезан белыми песчаным лентами шоссе.

Скоро приехала Устинья Андреевна. Взялась вести хозяйство. Изредка ездили в Валдай за продуктами, У.А. вела строгий счет. За два-

цать дней на троих мы истратили восемьдесят рублей. 28 августа, в день успенья Божьей матери пошли в лес за грибами, У.А. сказала, кто больше всех наберет грибов, того Божья матерь особенно любит. Там есть совершенно дикие места, где нога человеческая не ступала. Вышли на поляну, всю заросшую высокой травой, цветами, низким кустарником, поперек лежит толстый трухлявый ствол какого-то дерева, зарастающий зеленью. Лезем через него, чтобы углубиться в лес. В тот день больше всех грибов набрала я, целых сорок штук. У.А. была в недоуменье, а на другой день сказала хозяйке, что Юрочка еще не знает, будет ли он с Мариной жить. О чем хозяйка, разумеется, мне доложила. Я только плечами пожала, мы уже три года вместе и расставаться пока не собирались. Юрина мама так и не потеплела ко мне. Она боролась со мной за Юру. Как-то он собрался плыть на середину озера, поставить на щуку перемет. Сел в лодку, жарко, он без майки, в одних трусах, У.А. нагибается к нему. Гладит его белое пухлое плечо и говорит: «Люленька, маленький». Тридцатипятилетний Юра только вздыхал. Не мог он противостоять матери. Щуку все же тогда поймал, довольно большую. Но она была суховатая, не такая вкусная, как плотва. А из грибов мы не только варили суп, но и сушили, нарезав и нанизав на нитку.

А мне надо было в Москву, на работу. Мама прислала телеграмму: «Валдай Новгородской обл д Нелюшка для Марины = Занятия начинаются третьего = Мама —». Сельская почта, все написано от руки. Пришлось возвращаться, оставив Юру с мамой в этом заповедном месте. У меня есть фотография, я на площадке вагона, держусь за поручень, прощаясь с Устиньей Андреевной. 5-го сентября я была дома, на Черняховского, потому что 6-го получаю от Юры письмо-телеграмму: «Письмо получили, погода по прежнему хороша думаем еще поездить может быть заедem в Печоры Прибалтику поэтому срочно шли денег на имя мамы Валдай до востребования не забудь достать двадцать экземпляров моей книжки и будь здорова целую Юрий».

Какая это книга — не помню. Не помню, и сколько времени Юра с мамой еще путешествовали, но в Печоры не заезжали. В октябре были в Москве, где их ждала радость: Союз писателей дал Юре квартиру, однокомнатную: большая комната, большая кухня, отдельный санузел, на Бескудниковском бульваре. Юра мне сказал: «Но мы, старушка, опять с тобой без квартиры (меня к Ольге Петровне все еще не прописали). Мать всю жизнь прожила в коммуналке, она так счастлива». Ее можно было понять, комната на Арбате утрюмая, тесная, с соседями не ссорились, но неудобно жить без своей кухни, уборной, ванной. Хоть на старости пожить по-человечески.

ЗИМА 1963 – 1964 Г.

Ольга Петровна на зиму опять перебралась в Голицыно, и Юра теперь почти всегда жил у меня. Мы никуда не поехали, у Юры было в Москве много дел, за границей печатались его книги, постоянно приходили письма из Франции, Англии, Италии. Сохранилась у меня страничка – черновик письма художнику по имени Малат с приглашением в Москву. Писалось оно 5 декабря 1963 Е. Евтушенко и Ю. Казаковым. Чем это кончилось, я не знаю. Приходили письма от простых людей, взволнованных Юриными рассказами.

Вечера Юра проводил в Доме литераторов, возвращался домой пьяный. У него уже были деньги от иностранных издательств, на которые можно купить вещи и продукты в магазинах «Березка», где продавались на валюту иностранные товары. Однажды Юра принес большой картонный ящик, я обрадовалась, думала в нем еда – мясо, рыба, сыр. Человек ведь каждый день должен питаться. А в нем несколько бутылок рому и лимонного сока, с которым, оказывается, иностранцы пьют ром. Иногда ходим в гости: к Жене Евтушенко в соседний дом, к Юрию Трифонову. Тогда еще жива была жена Трифонова, молодая красивая женщина, до замужества певица Большого театра. Она показала мне свою дочь, прелестную девочку – та уже спала в маленькой темной спальне. Квартира была просторная, с большой кухней, но в ней, помнится, была какая-то странность, и Трифоновы опять находились в процессе обмена квартиры. В гостях у писателя Рыбакова я перелистала замечательную книгу на английском языке: «Десять великих религий мира». И в ней прочитала, что все эти религии объединяет одно правило: «Никогда не делай другому того, чего не хочешь чтобы делали тебе» (Ветхий Завет).

Эти несколько месяцев в Москве были трудные. У Юры появился синдром похмелья, никакого сомнения в этом не было. Вечером на такси возвращался из ЦДЛ пьяный, с собой всегда бутылка, в которой на одну треть водки (грамм сто пятьдесят), для утреннего опохмеления. Но устоять перед искушением не мог, и тут же всё выпивал, как бы я не просила оставить на утро. Он сидел за столом так, что был виден на фоне окна его профиль. Бутылка, рюмка, тарелка с каким-то съестным. Я лежу на тахте, смотрю – лицо оплывшее, нижняя губа отогнулась. Тот ли это Юра, с которым так славно жилось в Печорах, Марфино? А утром он маялся, места себе не находил, был груб, требовал выпить. В Москве тогда действовал закон – продавать водку только после десяти утра. И ровно в десять я шла в соседний магазин, деньги на водку Юра давал. А выпив стакан, становился добродушен, весел, строил планы на

весну, лето. Не завтракал и убегал по делам. А вечером опять возвращался пьяный. Так всё и шло, пока Юра опять не уехал на Север.

За три с половиной года любви, путешествий, прочитанных книг, знакомств с самыми разными людьми, мое романтическое мировосприятие слегка потускнело. Писательский мир утратил очарование Олимпа. Правда, в шестидесятые годы были живы Паустовский, Твардовский, Некрасов, и в нашем доме на улице Черняховского жили очень достойные люди: Волков, Арсений Тарковский, переводчики М.Ф. Лорие, Е. Д. Калашникова. И многие другие. Но Юрино окружение было иного свойства: тщеславны, любили выпить, большим умом и образованием не отличались, да и нравственностью тоже. Обычная человеческая суета сует. Кого из этих писателей сейчас помнят? Кто из них остался в литературе? Были, конечно, и среди них исключения — Георгий Семенов, Виктор Лихоносов, Виктор Конецкий.

В ЦДЛ я и сама не хотела ходить, и Юра меня не брал. Нечего там делать, там одна пьянь. Это сейчас у меня болит сердце, что не выдюжила я тогда. Что, находясь в те годы рядом с Юрой, не сумела отвадить его от пьянства. Мне просто тяжело с ним тогда жилось, и я мучилась собственным мучением, не сознавая, что на моих глазах, рядом со мной, гибнет очень талантливый и очень несчастный человек.

И все же тогда, читая его очерки и рассказы, его письма ко мне, я умом и сердцем чуяла и его талант и любовь ко мне, и сама не переставала его любить. Все те месяцы я не сомневалась, надеялась, что все как-то само собой наладится. Юра перестанет пить. И мы всегда будем вместе.

Не помню, когда Юра уехал на Север, и куда точно. Но у меня есть его письмо от 24 марта 1964 года, написанное рукой:

«Ах, старушка! Ах, да и не люблю же я твоих писем. Ну, вот, погляди, до чего я естественен в своих! Ты естественна, когда языком мне в нос лезешь, когда хихикаешь, когда опять же языком своим болтаешь с кем попало. Даже когда переводишь. Немножко фальшь есть у тебя, когда говоришь в обществе. И 100 % «нет тебя», когда пишешь умные письма. Отучал я тебя, да уж могила исправит.

А я в Мурманске. И уже проехал мимо пельменной, где мы ели, уже был (прошел) мимо кафе где ты травила, был в гастрономе где мы покупали мясо. Живу в «Арктике», куда нас не пустили. Окна мои — на залив! Все эти дни днем солнце ночью звезды и полярное сияние. Точно такое, как на этикетках. А не такое как я описывал. (Неграмотно написал, скажешь? Это-то и есть моя естественность). Прости, очень фиговая ручка, шариковая, рука заплетается и устает. Теперь я понимаю, почему мне ее подарили!

Эти дни перерыва я хочу использовать для поездки на рыбозавод, сегодня пойду в редакцию узнаю, где тут поблизости есть рыбозаводы. И вообще я как-то растерялся, малость, и надоело уже шляться, хочу в Москву, там машина, ты и все такое. А дело в том, что тут самая интересная зверобойка начинается в апреле (со стрельбой по взрослому зверю) а то все били маленьких баграми. Но все неясно, т.к. они уходят в море до 10 мая. Я бы с ними пошел, но мне надо раньше выбраться. А как? А болтаться до 10 мая немыслимо. Вдруг все-таки я поеду в Чехословакию? Во всяком случае командировка у меня до 7 апреля, посижу еще здесь. Я пока добрался до гостиницы голенький, все мои шмотки на «Моряне», там и машинка. Сегодня шхуну перегонят в торговый порт и я попробую засесть за работу прямо здесь.

Будь здорова, не грехи (как у Шекспира) — ведь ты жена моряка. Вот летом я поплыву в Карское море на охоту за Белухой. Там будут гуси, олени, белые медведи, Диксон и прочие полярности. А до того мы с тобой скатаем куда-нибудь на машине. И после того скатаем.

Пиши мне быстро. Авиапочтой.

24 III 64

Мурманск

Письма твои все таки приятно получать».

Моего ответного письма нет. Но сохранился билет на самолет. Я вылетела в Мурманск, получив телеграмму — прилетай немедленно. Заведующий кафедрой отпустил меня на две недели с условием найти замену. У меня был дорогой друг Витя Тамохин. Мы с ним учились с первого курса, и потом всю жизнь работали бок о бок в Ингъязе. Его очень любила Ольга Петровна, это был чистый, светлый, добрый и добродушный человек. У него было всего два недостатка. Во-первых, он всегда и всюду опаздывал (кроме уроков) на два, три часа. И, во-вторых, у него была какая-то странная лень. Будучи очень способным к художественному переводу, он не стал переводчиком, потому что ленился переводить. Потом уж я поняла, что это не лень. Сердце у него было слабое, и после пятидесяти лет могло каждую минуту остановиться. И оно остановилось, в институте, во время уроков. Но друг он был верный. Преподавал на вечернем отделении, и согласился две недели вести вместо меня все занятия.

Юра встречал меня в аэропорту. Я увидела его еще из окна самолета, когда самолет заходил на посадку. На нем было просторное, серое в елочку, пальто-реглан, на голове большая заячья шапка-треух. Остановилась я в той же гостинице, на площади Пяти углов. Юра только что вернулся из плавания. Плавал он на шхуне «Моряна», подробности я

узнала, внимательно перечитав очерк «Отход», описывающий летнее плавание 1965 года в северных водах и отнесенный в «Северном дневнике» к 1967 году. Юра пишет: «Две недели провел я на этой шхуне зимой [март 1964, на севере еще зима], и трюм тогда был забит просолёнными тюленьими шкурами, корма была заколочена досками, и на корме горой — тюленьи красные туши для зверофермы. Планшир обледел, на снастях сосульки, посвист ветра, поземка в торосах, ранние сумерки и поздние рассветы, мартовские зеленоватые закаты, сходящиеся и расходящиеся разводья возле бортов, треск льда по ночам, скрип и треск переборок...» (Северный дневник, с. 214). В очерке Юра, Женя Евтушенко и кто-то третий прощаются в ресторане с Архангельском, они уходят на той же шхуне «Моряна» бить крупного морского зверя:

«Белая ночь за окном, и наша шхуна, наша «Моряна», которая вот уже пятнадцатый раз пойдет надолго во льды. [...] Но я спокоен, — она не уйдет без нас, потому что рядом со мной, вот я его сейчас по плечу хлопну, рядом со мной капитан Саша, а напротив — Илья Николаевич, стармех, потом Алеша, старший помощник, чиф, все начальство с нами и Володя-моторист, рыжий, розовый лицом [...]» (с. 206). Мне тогда хорошо запомнился молодой, румяный Володя-моторист. И старший помощник Алеша, тоже молодой, невысокий, с приятным русским лицом, во всех чертах твердость.

Евтушенко говорит стармеху: «Илья Николаевич, шампанского, а? Меня два человека спасли в прошлом году. Вот Юра спас... На Север увез, давайте, давайте... Саша! Илья Николаевич! Давайте... Алеша! За Север!» (с. 209-210).

А капитан шхуны вспоминает в рассказе:

« — Вот Копытов мне по радио говорит с ледакола, тебе, говорит, на шхуну писателя с вертолета ссадят! Нет, говорю, товарищ Копылов, пускай его высаживают на «Нерпу», там ребята передовые. А ты, говорит Копытов, тоже передовой, принимай гостя. Да у меня, говорю, вал погнул и все такое, а сам думаю: «Без писателя-то, думаю, оно веселее, на черта он нам сдался!

— А помнишь потом, как нас буксировали?

— А в Мурманске-то помнишь, как прощались?» (с.213).

Через несколько дней по возвращении тогда в Мурманск моряки устроили в ресторане гостиницы прощальный ужин. Я уже приехала и была его участницей. Потом все поднялись в Юрин номер, продолжили прощание. Сдвинули столы, и в разгаре пирушки старпом, молодой крепкий парень, швырнул через стол бутылку с вином в своего друга, моториста, тот, к счастью, успел отклониться. Старпом был очень пьян, его увели — поступок его был необъясним для всех.

В очерке «Отход» и в следующем «Белуха» (в «Северном дневнике» год написания 1963-1972, частично «Белуха» была написана в 1963 году, написана превосходно, я бы куски из нее взяла в хрестоматию — или советской литературы или советского периода русской истории) Юра описывает плавание на шхуне «Моряна» летом 1965 года. То самое плавание, которое он задумал еще в марте 1964 года, и писал о нем в письме: «Вот летом я поплыву в Карское море на охоту за Белухой... Там будут гуси, олени, белые медведи, Диксон и прочие полярности. А до того мы с тобой скатаем куда-нибудь на машине. И после того скатаем».

Но тем летом плаванья не получилось. Весной Юра уехал в Ялту, в дом творчества. Потом поездка в Чехословакию. Потом мы вместе отправились в Судак, в Гагры. Потом Алма-Ата. Возвращение в Москву, Таруса, где Юрина мама сломала ногу. Звенигород. И там, в июне, закончилась наша пятилетняя жизнь. А летом он все же поплыл «в Карское море на охоту за белухой». Только вот не скатали мы куда-нибудь на машине, ни до, не после.

А в Ялте, судя по интервью 1979 года, Юра написал рассказ «Зависть»: «Так [в один присест] я написал половину повести «Разлучение душ» — повесть о мальчишке, который пережил войну, бомбежку, 1941 год. Писал я ее влюбленный, в разлуке, в Крыму. Писал дней шесть, потом сорвался, уехал в Москву, так и не кончил... Действие происходит в Кракове и в Закопане. В 1963 году, когда я был в Варшаве, мне рассказали о каком-то теологическом «предсказании», что, мол, надо ждать конца света 13 февраля 1963 года. В своей повести я использовал это как условный прием, перенес в нее ту атмосферу, — герой бессонной ночью подводит итоги своей жизни. / — Эта повесть еще не опубликована? / — Да вот все никак не кончу» («Для чего литература и для чего я сам?», Интервью журналу «Вопросы литературы», 1979, № 2).

«Зависть», правда, — законченный рассказ, и, я бы сказала, странный. Во-первых, он печатался всего два раза: в журнале «Простор» (№1, 1965 г.) и в сборнике «Две ночи. Проза. Заметки. Наброски» (М., «Современник», 1986), изданном через четыре года после Юриной смерти. Не вошел он в другие сборники, поскольку журнал «Простор» — местный, алма-атинский, в других местах неизвестный и недоступный. И когда сборники готовились, он не попадал в поле зрения составителя. Во-вторых, в нем единственном есть параллельные места, встречаемые в неоконченных набросках. Так, в рассказе, начатом еще в Тарусе «Смерть, где жало твое», есть описание «осенней поездки по глухим рекам», оно целиком вставлено в «Зависть», изменено только настоящее время на прошедшее, и это почти полных больших четыре абзаца. И еще

коротенький кусок из «Зависти» попал в очерк «Закарпатская проблема» («Турист», 1966, №7) — описание лыжной суеты в польском горном курорте Закопане.

Предположение, что именно «Зависть» начата в Ялте, основано на том, что ее герой, от лица которого ведется рассказ, вспоминает войну: «А я опять ушел, но уже дальше, в ту первую свою московскую ночь, когда я стоял на крыше под бомбежкой. Я увидел опять убитых и раненных и заваленные кусками стен улицы. Я увидел октябрь в Москве — баррикады, жирные туши азростатов по бульварам, редкие отчаянно громыхающие, битком набитые трамваи. Пепел летал по улицам, временами где-то рвались снаряды. Листовки, как снег, с неба, и в листовках обещание сладкой жизни. И мы на загородных полях, за Потылихой, ранние морозы, закаменевшая земля, неубранные вилки капусты, морковь, которую выковыривали палками. Противотанковые рогатки всюду, железобетонные колпаки, амбразуры в подвалах, патрули, полупустой город. Замерзающие дома, мрущие старухи, холод в квартирах, железные печки, и всю зиму потом темнота, копилки, лопнувшие трубы водопровода и бледные грязные лица. И все эти годы изнурительная работа грузчиков — дрова, уголь, рулоны бумаги, кирпич, потом слесарные мастерские, потом снег на крышах... Телогрейка, старые штаны, разбитые сапоги. И постоянный голод. Как это говорил тогда Василий на крыше? А, вот как: «Люблю повеселиться, особенно пожрать!» — все мы тогда любили повеселиться, да веселья не было. / Я смотрел в те годы картину «Серенада солнечной долины». Я смотрел на экран, как на тот свет, мне не верилось, что люди так могут жить где-нибудь. Потому что каждый раз после кино я шел домой в свою темную, грязную конуру».

Это краткое, но такое емкое описание военной Москвы зимой 41-42 года захватывает картинной убедительностью — мурашки по коже, ведь я помню ту Москву, из эвакуации моя семья вернулась в начале апреля 1943 года. Воспоминания героя — это собственные Юрины воспоминания, они перекликаются с его дневниковыми записями и неоконченной, фрагментарной повестью «Две ночи» («Разлучение душ»). Кроме того, в интервью и «Зависти» есть параллельные места — упоминание о конце света в феврале, предсказанном «какими-то йогами, какими-то умниками, мудрецами с Востока». Ну, и конечно, действие происходит в Кракове и Закопане, как и сказано было в интервью. Так что, скорее всего, в Ялте писался именно этот рассказ.

Для меня он важная веха в наших с Юрой отношениях. В нем герой до мельчайших подробностей вспоминает то, как два года назад ушла от него жена. И это есть точное описание моего ухода в Тарусе, зимой 1963 года. Поскольку рассказ фактически недоступен читате-

лю, привожу этот отрывок целиком. Герой рассказа в Кракове, он сидит одиноко в кафе и вспоминает:

«О чем я еще думал в кафе, разглядывая улицу и тех, кто сидел рядом со мной, приходил и уходил? И какой я все-таки был одинокий, и в какой же раз вспоминал я весну, когда познакомился со своей будущей женой. [...] Тогда-то я и познакомился с ней в доме отдыха, тогда все и началось. А веселое было время, веселая компания — полное безделье, одна только забота, как бы не пропустить обед, зато целыми днями ходили по лесам, по ослепительным полям, по набухшим уже оврагам, загорали, доставали, проваливаясь в воду, распутившуюся вербу девочкам. А когда пошел лед, смотрели на ледоход, на то, как прибывала и прибывала вода, как заливала противоположный берег, жгли костры на берегу, жарили на огне колбасу и выпивали из одного стакана. А вечерами танцевали или вдруг спохватывались и бежали рысью за водкой, мелко переступая по льдистой дороге, под луной, и мороз пощипывал уши и скулы. И потом пили с криком и смехом опять-таки на берегу реки, в лунном свете — все были такие красивые, и лица у девушек, когда целовались, пахли духами и морозом.

Ну а потом что было? Сколько переговорено было, и куда мы только не забирались по разным моим делам! И в палатке жили, по грудь в цветах ходили, и расставания и встречи, и все время:

— Коля, Коля! Любимый, хороший, добрый. Колечка, иди, иди ко мне, приезжай ко мне, скорей ко мне, не могу без тебя, Коля. Коля! — всюду — в Латвии, на Украине, на Кольском, в Москве, в вагоне, на байдарке, в каюте парохода, в каких-то избах, в белых ночах и в темных, и телефонные звонки — Коля же! Какой ты дивный, большой, сильный, мой, мой — Коля!

А ушла она от меня зимой, в феврале, — и сейчас вот февраль, Польша, Краков, и я тут вот, в этом кафе, в тепле, за столиком сижу, и сейчас сигаретку закурю, и сегодня мы едем в горы, в снег, в тишину, и там еще лыжи будут, — в феврале она ушла, на Кольском. И как теперь не думай, ничего не выдумаешь, два года прошло, не выдумалось, почему это случилось и кто тогда был виноват. Я? Наверное, и я — потому что не был я никогда ни дивным, ни замечательным, не единственным я не был. Но той ночи и всех последующих дней не забыть мне во веки. Как я был один там, как приходил домой и был один. Ведь все-таки хороша она была, добра, уступчива, только, казалось, и думала, как бы услужить мне, и может быть, как раз этим и развращала меня. Потому что я думал, что это всегда будет так, потому что верил ей, поддавался ее мягкости, услужливости. «Не выпить ли нам кофе?» — спрашивал я иногда ночью, когда мне не спалось. Я и сам мог поставить кофе, но мне хоте-

лось, чтобы она, тем более я знал, как радостно она вскочит, будто и не спала, а так только лежала, закрыв глаза, и ждала, когда мне захочется кофе. «У, какие мы счастливые!» — говорила она. И пока, накинув халатик, поцеловав меня, потершись о меня, притворив дверь в кухню, она жужжала там мельницей, звякала чашками, — я закуривал, кряхтел от счастья, ходил по комнате и думал, какая она у меня милая, прелесть и как мне легко с ней.

Зато какое в ту ночь ненавидящее, искаженное болью и отвращеньем, чужое лицо было у нее! Как она кричала и злобно плакала, как я — тоже дикий от ненависти — выскочил из дома в темноту, — а в тот вечер много намело снегу, и я, когда шел, глубоко проваливался, — и быстро пошел в магазин за спиртом, а жена кричала еще мне, когда я уходил: «Вернись!» — да где там было вернуться!

А потом, через час, уже успокоившийся, погрузневший, шел я домой, ветер дул мне навстречу, закаменело лицо, и слезы выдувало из глаз, все скулы были мокрые. Мне было стыдно, я ругал себя и думал, вот она увидит сейчас мое помягчевшее лицо, и как я ей тихо что-нибудь скажу, не прощенья буду просить и не объясняться снова, не разбирать, кто первый начал, а так что-нибудь скажу незначительное, спрошу, например: «Где стакан?» — или что-нибудь еще, и выпью, и она со мной немного выпьет, все поймет, и все станет хорошо.

Я увидел свой дом издалека, окна светились во тьме, желтели полосами снег, и так звали к миру, к согласию, что думалось: «Ссориться перед лицом этой жестокой природы? Когда человек так покинут здесь, так одинок под ледяными вслохами и так, в сущности, должен быть нежен к другому человеку!»

Ее следов я сначала не заметил, это потом я смотрел на них, когда побывал уже в доме. Едва взойдя я понял, что ее нет со мной больше и что это навсегда. Дом зиял страшной какой-то оголенностью, как после мародеров, все было разбросано второпях, не стало многих вещей, какой-то ерунды, к которой привыкаешь, как к себе. Не было брошенного на спинку стула шарфика, туфель в углу, варежек на столе в кухне — ничего не было, а главное, не было ее. Некому было сказать мирным голосом: «Где у нас стаканы?» — потому что не было нас, а был один я. Я не стал спрашивать стакан, а как был, в пальто, в шапке, пошел на кухню, достал стакан, налил до половины воды, потом раскупорил, а бутылка заиндевала у меня в кармане, — и долил спиртом, глядя, как в стакане сначала слоисто мутнеет, а потом прозрачнеет, хотел выпить и не мог, так тряслись руки. Пришлось сперва отхлебнуть прямо на столе, а потом уже взять стакан, выпрямиться и допить. Вот тут-то я взял фонарь и вышел посмотреть следы.

[...] А под ногами, в маленьком белом кругу света от фонаря, было три следа, три глубоких следа и комочки снега вокруг. И два следа были уже заметены поземкой, уже невнятные, те два, которые шли от дома — мой и ее, — только один след еще свеж, сахаристо поблескивал под фонарем, это был мой след и вел он к дому.

На другой день, переночевав где-то, она улетала, и я знал это. [...]

И вот когда на другой день в полдень застрекотал, поднялся и стал разворачиваться самолет, я понял, что на самолете улетает она. Сначала мне стало нехорошо, что-то вроде короткой дурноты случилось со мной. Но потом отлегло, и я нашел в себе силы выйти на улицу. [...]

Вот как тогда было. Но ей-то, конечно, пришлось полегче, потому что если она и любила меня, как я ее, если ей и было тоскливо и непоправимо, то она все-таки улетала куда-то в Москву, в город, в шум, к людям, которых ей предстояло встретить, к родным, которые, наверное, ей скажут: «А! Наплюй! Не стоит он тебя!» — это они умеют, любят говорить наши родные и друзья. А может, тогда уже она не любила меня и легко уезжала, и забыла свои слова о верности до гроба и даже за гробом. Она когда-то говорила это мне, много раз, потому что я был самый прекрасный и удивительный. А потом я уже перестал быть прекрасным. Но даже если еще и любила тогда, все равно ей было легче. А я остался один в маленьких серых днях и длинных ночах, там на Кольском, и стыдно мне было искать сочувствия, и так и не сказал мне никто тогда слова утешения» (Юрий Казаков, «Две ночи», М., «Современник», 1986, с. 80-83).

Все описано точно — и дом, и ссора, и следы, и чувства, и наше прошлое. Перечислено всё: походы под Тарусой, палатка, байдарка, Украина, Кольский, белые ночи, вместо Эстонии — Латвия, вагоны, каюта парохода.

Только, как я писала, уехала я на автобусе, переночевав у Елены Михайловны Гольшевой. И было это не на Кольском полуострове, а в Тарусе. Удивительные тогда были люди. Елена Михайловна и Ольга Петровна не были ни друзья, ни даже приятели. Между ними пробежала черная кошка из-за перевода пьесы Бернарда Шоу. Но ни та, ни другая никогда не говорили мне друг о друге ни единого дурного слова. И каждая порознь со мной дружила. Тогда у людей еще крепко жило в сознании понятие чести.

После Ялты Юра написал щемяще грустный рассказ «Проклятый Север», в «Северный дневник» не вошедший. Его рассказы поражают силой, с какой читателю передается настроение автора. Читаешь и как бы сливаешься с героем, ощущая его печали, его радость, как свои собственные. Я называю это свойство писателя искренностью. Юра — ис-

кренний писатель. В письме из Мурманска он это называет «естественность». Еще раз, уже в 2011 году летом, перечитала я этот рассказ, редактируя написанное в прошлом году. С полувековой высоты яснее видится развитие моих и Юриных чувств. В ту весну в Ялте, судя по рассказу, настроение у него было не грустное, не печальное, не унылое, а — я долго искала слово — безрадостное, что ли, неприкаянное. Он писал «Зависть», вспоминал мой уход, заново пережил то, что чувствовал, когда вошел в дом и увидел, что дом пуст. «Проклятый север» — последний рассказ, написанный Юрой в дни нашей жизни.

Два друга, северяне с рыболовецких шхун отдыхают в Ялте среди южных красот. И все им немило. Юра описывает один их день. Вот как начинается рассказ: «Весной на меня наваливается странная какая-то тоска. Я все хочу чего-то, мне скучно, я думаю о проходящей своей жизни, много сплю и встаю ослотивший и разбитый» («Юрий Казаков. Избранное», ИТРК, М., 2004, с. 297). А вот что пишет Юра в 1972 году 15 марта в своем дневнике: «Снег в лесу и на полянах сразу оскудел, посерел. Еще два дня назад, засыпанный сбитой ветром еловой рыжей хвоей, он потерял всю свою весеннюю яркую прелесть, а теперь его уже жалко как-то — вместе с ним уходит еще одна наша зима — не самая лучшая в жизни, но и не худшая.

Удивительное состояние было у меня в 1962 году. Как много я работал, но как много же и ходил по окрестностям Тарусы — ни одного дня не пропустил, а теперь кажется, что и не одного часа! И какое особенное чувство первой в моей жизни настоящей весны было тогда у меня! Запахи подтаявшего на дороге навоза, вытаевающей земли, набухающие леса, розовеющие вверх ветви берез...

И вот сегодня утром, когда я вышел подсыпать птицам семечек, тишина, весенний воздух, небо деревьев, все ввергло меня в пучину времени, и на минуту опять я вернулся в весну 1962-го. Но только лишь на минуту.

Страшно хочется куда-то поехать, чтобы не пропустить чего-нибудь, что, может быть, запомнится на годы.» (Там же, с. 771). Это замечательная запись. Две недели назад Юра проводил в Москву жену и сына и записал: «Как щемящи все-таки провода, даже на подмосковной платформе, даже на 2-3 дня, если ты дорожишь теми, кого провожаешь». Он любил свою жену, очень любил сына, и минутное возвращение в весну 1962 года, растянься хотя бы на час, было бы предательством к самым дорогим людям. Но та, наша, весна все же была, полная ощущения «первой в моей жизни, — как писал Юра, — настоящей весны».

А весной 1964, через два года, — диаметрально противоположное чувство. Правда, это не у Юры, а у его героя. Но он часто пишет от первого лица, и тогда слышишь самого автора. Вот хотя бы «Осень в дубо-

вых лесах», самое начало: «Я взял ведро, чтобы набрать в роднике воды. Я был счастлив в ту ночь, потому что ночным катером приехала она. Но я знал, что такое счастье, знал его переменчивость и поэтому нарочно взял ведро, будто я вовсе не надеюсь на ее приезд, а иду просто за водой. Что-то слишком уж хорошо складывалось у меня в ту осень» (Там же, с. 217). А в письме из Алма-Аты (ноябрь 1964 г.), которое я приведу позже, есть такая строчка: «Тут все плачут от «Осени в дуб. Лесах». А это мы с тобой». Именно это чувствовал тогда Юра, именно потому и вышел меня встречать осенней ночью с ведром в руке.

Безрадостность весны 1964 года, наверное, можно объяснить. 1962 год, «первая в моей жизни настоящая весна». Юра подчеркнул это слово. Весна русской средней полосы, которую Юра не раз описал в своих рассказах, и которую так любил. А весна в Ялте — чужая, с чужим расцветанием весны: «[...] еще цвело в Ялте иудино дерево. Не было на нем веток, не было листьев — просто мучительно искривленные коряги, черные во время захода солнца и будто сочащиеся кровью. Но в то же время они и мохнаты были, как уродливые гусеницы, от цветов, которые лезли прямо из коры». Это не просто некрасивое дерево, в описании слышна горькая нота. Оно уродливо, ветки — мучительно искривленные коряги, черные, будто сочащиеся кровью.

Юра в Ялте был один, жил в доме творчества. Перед этой весной была зима в столице, где отсутствуют чистые радости, приносимые близостью природы, а есть только пьяный угар. Нет зимнего леса, заснеженных полей, лыжных прогулок, чтения вслух любимых писателей, нет утренних часов писания, воплощающего недавнее пережитое. Да и в памяти жил мой прошлогодний уход, симптом возможного окончательного разлада, его раздражало мое возвращение в институт. В герое этого рассказа нет ощущения счастья, приносимого женщиной, как в «Осени в дубовых лесах». Наоборот, он несчастлив, одинок, неприкаян. И осознанно звучит нотка алкогольной опасности: «Потом мы стали ругать коньяк, водку и вообще пьянство. Нам надоело пить, но мы никак почему-то не могли это бросить».

Я сейчас это пишу как вивисектор, ведь это было полвека назад, как будто не со мной, и я силюсь понять, почему все же мы с Юрой расстались. Не хочу взваливать на него вину, я виновата в отсутствии очень важной женской черты — нет у меня крутой силы воздействия на поведение мужчины, требовательных интонаций голоса. Я не умела командовать, даже когда осознала убийственность происходящего. Ведь надо было взять тогда Юру за шиворот и потащить лечиться. Он бы потом спасибо сказал. А я не смогла.

Этот последний в нашей жизни Юрин рассказ, полный тоскливого настроения, насыщен алкоголем, как губка. Четырнадцать с половиной страниц, и только на одной странице ни разу не упоминается вино, выпивка, на той, где герои выходят из дома-музея Чехова и, сидя во дворе на лавочке, беседуют о писателе. На первой странице одно упоминание: «кислое крымское вино». На второй два: «мы сидели вечерами на веранде, пили коньяк и кофе» и «пить с утра на не хотелось». на третьей опять один раз — «и от всех слегка попахивало выпивкой». Четвертая страница пустая. Зато пятая усыпана: «Пошли, старик, выпьем», «На набережной прямо под небом сидели за столиками и пили багровое и светлое вино сухое вино.

— Выпьем вина, — вяло предложил я.

— Иди, пасись! — сказал мой друг. — Мне три литра надо выпить чтобы почувствовать. А три литра выпьешь, идешь будто траулер с полными трюмами. Вот так, старик, давай-ка лучше погребем к коньячку!

«[...] и почему-то думаешь только о том, как придешь в ресторан [вернувшись после рыболовецкого похода в море], где будет тепло, светло и покойно, где будут женщины — пусть не твои, — где будет вино и бифштексы». На шестой упоминаются бутылки и ресторан. На седьмой два раза: «...звук его скрипки, усиленный магнитофоном, терзал сердце, хотелось плакать и говорить, и пить, и чтобы рядом сидела смуглая прекрасная женщина, которая все понимает.», и «За соседним столиком моряки пили коктейль.» На восьмой странице подряд несколько абзацев: «Как всегда они преувеличивали свою отрешенность от земли, девочки у них были с высокими круглыми прическами, крашенные, с загорелыми руками и шеями и требовали себе мороженого и сухого вина. А моряки пили коктейль, который составляли из шампанского, пива и водки. Сперва в фужер наливали водку, потом смешивали с пивом и доливали шампанским. Потом чокались и пили, зажмурившись. Наверное им было противно, но они держали марку: коктейль все-таки.

— Видал? — спросил я.

Мой друг налил себе и мне коньяку.

— Выпьем за Чехова, — сказал он.

На девятой один раз: «В ресторане было светло, шумно, хлопало шампанское, кто-то в углу орал, ругался, его выводили». На десятой четыре раза: «приехал ко мне в гостиницу, был выпивши, весел, рассказывал, как прошел с караваном малых сейнеров по Великому северному пути»; «Потом мы еще выпили тут же у меня», «И появление моего друга, уже неистового, с одной мыслью гулять, гулять, пить, ехать к приятелям, к женщинам.»; «Вот так, старик, а мы с тобой в Ялте языком

коньячок лакаем». Три раза на одиннадцатой: «И поднимаются к красным лицам мутные бокалы с водочно-шампанской бурдой»; «отвечаем мы и тоже поднимаем свои рюмки»; «У тебя хоть некрасивые есть, а у меня ничего. А вот видишь, сижу, коньячок пью, музыку слушаю — и ничего». На двенадцатой семь раз: «Разрешите? — смотрит на коньяк»; «Друг мой скалится и наливает ему»; «Разрешите? — он сам наливает себе и пьет, не закусывая»; «моряк с соседнего столика подходит, покачиваясь, с бокалом своей бурды. — Выпей, папаша! [...] Давай — за здоровье моряков, ну?»; «говорит скрипач радостно и выпивает»; «Вы позволите, я угощу нашего пьяниста?»; «Друг мой берет за бутылку». На тринадцатой целый абзац: « — [...] О, гитарист не пьет. Спасибо! — скрипач поднимается на эстраду, дает рюмку пианисту и что-то говорит ему. Пианист поворачивается в нашу сторону — теперь мы видим его длинное острое лицо, сухой нос, губы, опущенные вниз, громадные французские темные очки. Пианист поднимает рюмку, как бы приветствуя весь зал, выпивает и тот час закуривает новую сигарету. — Так чтобы вы захотели послушать? спрашивает скрипач, ставя на стол пустую рюмку». На четырнадцатой — два раза: «курил,пил коньяк мелкими глотками и опускал глаза.»; «Мы допили коньяк и вышли». И на последней половине страницы опять абзац, и одно предложение следующего: «Мы потолкались по набережной, посмотрели на женщин и пошли в магазин пить вино. Мы взяли сперва по стакану сладкого, оно было клейко и пахло горелым. После него захотелось чего-нибудь кисленького и мы выпили еще сухого вина. / Друг мой заметно опьянел, настроение у него стало хорошее, он шел выбрасывая в стороны ноги, и я знал, будь мы в Ленинграде или в Мурманске, сейчас бы поехали куда-нибудь, оттуда опять бы поехали, и было бы все хорошо.»

А в рассказе описан всего один день в Ялте. Сначала короткий зачин с описанием Ялты глазами моряка, привыкшего к другим широтам. Затем этот день, состоящий из посещения дома Чехова и выпивки в одном из ялтинских ресторанов; заканчивается рассказ никак. « — Пошли спать, а завтра поедем в этот... как его ? / — Куда? / — Как его?... А, да черт с ним, куда-нибудь.» Читателю ясно, тоска северян не развеется. Безысходность и неприкаянность, с чем можно справиться или пьянством, или, если дома в Мурманске или Ленинграде, кочеванием от одного знакомого (значного) места другому. В Ленинграде такое место — клуб писателей, куда мы однажды заехали вечером прямо с вокзала, пьянство там было не ресторанное, среди чужих, а вместе с друзьями, собратями по перу, собутыльниками и поклонниками. Жизнь безысходна. Тоскливый и кажущийся бессмысленным рассказ очень важен для понимания развития Юриного творчества и мировосприятия. Он

очевидно отражает перемену в его настроении. Личное счастье переменчиво. Отсюда — коньяк. Где здесь яйцо, а где курица? Может, сперва коньяк? Не знаю. Написан же рассказ превосходно. В нем замечательные портретные и психологические зарисовки. Именно это и придает ему глубину. Музыканты в ресторане не пустышки, обязательные персонажи ресторанный рассказа. За их внешностью, разговором, поведением — характеры и судьбы, они как живые, их не забудешь. Знаменательно, что в этом рассказе Юра не описывает внешности главных героев. Это он сам, в двух лицах, что тут описывать. Это его отношение к Чехову и рассуждение о судьбе музыкантов. И, конечно, рассказ полон аллюзий, навеянных событиями его жизни. Я хорошо помню, как Юра, рассказывая о своей учебе в Гнесинском училище, печаловался о будущем судьбе студентов-музыкантов. Точно такими словами, как об этом говорится в рассказе. Даже тот самый сленг: «лабать», «жмурик». Мы говорили об этом в Тарусе, в доме Михаила Михайловича Мелентьева, где был рояль, ноты и мы играли что-то простенькое в четыре руки.

После этих рассказов Юра написал еще три рассказа для взрослых и несколько детских. Два, как уже говорилось, о его сыне. Великолепные рассказы, рожденные новым особым переживанием — отцовским чувством. И третий рассказ — «Розовые туфли». Это, похоже, самый последний Юрин рассказ. И это рассказ — притча, полная важнейшего смысла, почему человек пьет. Об этом позже.

Рассказ «Проклятый Север» — очень искренний. Юра только что вернулся из зимнего плавания в Баренцевом море, и его потрясла разница между суровыми буднями на рыболовецком сейнере и пошлым курортным бездельем модного курорта.

Перечитывая сейчас одновременно очерк «Отход» и рассказ «Проклятый Север», я невольно сравнила их. Будь Юра жив, я бы сказала ему: — «В «Проклятом Севере» ты, как никогда, естественен. Два героя — это раздвоение тебя самого, ты так думал, так чувствовал, это тебе было неуютно, тоскливо в окружении яркой, но чужой природы Ялты. А вот «Отход» местами неестественен. Даже стиль деланный. А этого у тебя раньше никогда и нигде не было». Приведу два примера, первый из «Проклятого Севера», второй — из «Отхода». Вот первый:

«Когда долго живешь в море и видишь все одно и то же: треску, морского окуня, поднимающийся и опускающийся горизонт, вспененную, взлохмаченную поверхность воды, когда в каюте у тебя все ерзает, падает, когда во сне ты сам валишься через бортик койки и только в последнее мгновение цепляешься за что-нибудь и снова забираешься под одеяло, хочется чего-то высокого и настоящего: настоящих женщин, музыки, настоящей еды, интересных разговоров и тишины. Но все это

где-то далеко, все это отдалено от нас сотнями миль пустынной штормовой поверхности океана, и проходит целая вечность, пока ты ступишь на берег, уж забудешь его запах и вид. И вот, когда Кольским заливом идешь к Мурманску, ты еще часа за четыре бросаешь робу, надеваешь чистую рубаху, бреешься, и рубаха так прекрасно пахнет! Надеваешь еще галстук, от которого отвык, и узкие ботинки, которые жмут, почему-то думаешь только о том, как придешь в ресторан, где будет тепло, светло и покойно, где будут женщины — пусть не твои, — где будет вино и бифштексы, пусть плохие, но все же лучше, чем стряпня корабельного кока и тресковая опостылевшая уха.» (Рассказы, с. 358-359).

Именно так рассказывал мне Юра о возвращении на берег, особенно запомнились узкие ботинки. Когда я прилетела, Юра только что вернулся из плавания. Он был под сильным впечатлением от жизни на маленькой шхуне. И в Ялте, в доме творчества, написал этот «естественный» рассказ.

А вот второй отрывок, самое начало очерка «Отход»:

«... И выгнул мой гениальный друг свою гениальную, длинную руку и бережно, нежно, за горлышко, поэтически взял бутылку шампанского и, обдирая серебристую шкурку с пробки, оглядывая нас всех круглыми глазами из-под челки, стал говорить, стал приборматовать, ворковать:

— Ну... ну... Ребята, ребята... Напоследок, а? А? А? Шампанского, а, Володя... Але... Алеша, а? Хорошо тебе, Юра, а?

И двинули мы стульями, сели теснее, по-братски, и откашлялись, и торопливо закурили, а пробка между тем хлопнула в потолок, дымок пополз из горлышка, и поплыла, прорезая над столом длинная рука с бутылкой, и бокалы наши и сердца наполнились...

«Скоро отход, отход, отход!» — застучало мое сердце под звяк ножей и тарелок, среди этого теплого, низкого, морского ресторанного шума, в который пенье рюмок, их чистые голоса вплетались, как корабельные склянки, как флейта-пинноло в тремолирующий оркестр» (с. 205-206).

И еще:

«Отход, отход, дожил, счастливый день, мой день!» — звучало мне во всех голосах и лицах моих друзей за этим длинным столом, в нашем закутке, в углу, скрытом от всего зала, в нашем ресторане, в нашем Архангельске, с бесценным дядей Ваней внизу, у входа, с бесценными официантками, которые тебя уже знают, узнают в частые твои приезды за все эти годы, улыбаются, спрашивают: «Надолго к нам? А-а...» и оркестр игра-играет, и трубачи трубят-трубят, белая ночь за окном, и наша «Моряна», которая вот уже пятнадцатый раз пойдет надолго во

льды, — эта шхуна где-то стоит, неизвестно где — на фактории, у Холодильника ли, на рейде ли...» (с. 207).

«Все откуда-то пришли или уходят в бесконечность моря, и я счастлив без оглядки, потому что и мы тут, вот тут, в этом ресторане — как птицы, мы только присели, а шхуна уже ждет, как судьба, вот мы сейчас встанем и тоже уйдем, уйдем...» (с. 206-207).

Конечно, это Юрина проза, ритмичная, очень индивидуальная,носящая сильный отпечаток его человеческой сущности. И все же она искусственная. Тут появляется и интонация сказа («И вынул», «И двинули», «и откашлялись», «и закурили»): и повторы-удвоения («играет», «трубя-трубят») и просто лексические повторы («и тоже уйдем, уйдем...»). Я перечитала «Оленьи Рога». Весь рассказ — стихотворение в прозе. Очень трогательный и добрый. И никакой стилистической искусственности. Прочитала и два последних замечательных рассказа «Свечечка» и «Во сне ты горько плакал». Тоже — идеальные. Какой-то у него был, видно, провал, когда писался рассказ «Отход», потому что следующий очерк «Белуха» опять превосходный. Больше такого провала никогда не было. Что касается детских рассказов, то, написанные еще до рождения Алеши — «Красная птица», «Тропики на печке», «Тэдди» — все прекрасны. А вот сказки не естественны, взять хотя бы «Зачем мыши хвост». Скверный рассказ и по смыслу и по написанию. Ну что это за предложение: «Только вышел, гляжу, идет умный человек. Человек, как человек, только по лицу сразу видно, что умный». Не получались у него сказки, видимо, какое-то несоответствие душе. В раздел «Рассказы для детей» вошел почему-то рассказ «Розовые туфли», который к детским никак нельзя отнести, в нем горький осознанный посыл, объясняющий, как человек становится горьким пьяницей.

Помню, когда мы вернулись в Москву из Мурманска, Юрина мама дала ему письмо, посланное из журнала «Вопросы литературы» от 17 марта 1964 г. Вот что в нем было:

«Дорогой Юрий Павлович!

В нынешнем году исполняется 150 лет со дня рождения Лермонтова. Редакция журнала «Вопросы литературы» обращается к ряду виднейших деятелей советского искусства с просьбой принять участие в нашей анкете:

1. Какое место, по Вашему мнению, принадлежит Лермонтову в судьбах нашей национальной культуры?

2. Как Вы расцениваете значение литературного наследия Лермонтова для нашей современности?

3. Какую роль сыграл Лермонтов в Вашей собственной творческой биографии?

Примерный объем материала — 4-6 машинописных стр.

Мы очень просим Вас, дорогой Юрий Павлович, принять участие в этом разговоре на страницах нашего журнала.

Редакция будет Вам весьма признательна, если вы пришлете нам материал до 5 апреля.

ЧЛЕН РЕДКОЛЛЕГИИ [Подпись]

/С. Машинский/»

В своем архиве я нашла надиктованные мне Юрой его мысли о Пушкине и Лермонтове. К сожалению, только три странички. Под действием этого письма Юра задумался о смерти Лермонтова, Пушкина, Толстого. Записывая, я сокращала слова, опускала иногда знаки препинания. Привожу запись в расшифрованном виде:

«Что я хочу тебе сказать, я говорил тебе это неоднократно — величайшая трагедия для России XIX века — смерть Пушкина. Одни мало спустя, другие много времени спустя, поняли, что дуэль Пушкина могли предотвратить. Я говорю тебе это еще раз для разгона. У меня ассоциаций и говна всякого! Когда умирал Лев Николаевич Толстой, история его побега была загадочна, непонятна, взбудоражила весь мир. Умирал писатель и мыслитель. К тому времени наша литература успела возвыситься, смерть нашего интернационального, национального писателя имела национальное значение. Но смерть Толстого не была удивительной, неожиданной смертью. Есть смерти другие, смерть Кеннеди, например. Он был еще здоров, он был молодой, он еще бог знает что мог бы сделать. Такой же была смерть Пушкина в России. Поэтому мне кажется, что русская нация, самая разумная ее часть, испытывает вековую вину перед Александром Сергеевичем Пушкиным. Поэтому его смерть, и все подробности его смерти, до сих пор занимают наше воображение. И поэтому смерть Пушкина ужасна не только тем, что она насильственна, но и преждевременна, мы понимаем, что бы мог сделать Пушкин, останься он жив еще на несколько лет, если взять его последние произведения за образец. «Моцарт и Сальери». И последние стихи — «На свете счастья нет» и «Памятник».

Мне кажется странной непонятная вещь — Николаю I, государю-императору всероссийскому, досталось очень много: начало царствования было омрачено разными неожиданными штуками, декабристами, за время его царствования умерли Гоголь, Белинский, Пушкин. Неприятностей хоть отбавляй. И если Николай по отношению к Пушкину проявлял лояльность и даже любовь — искренне или нет? Николай прислал своего лейбмедика, обещал устроить его семью. (Жуковский

очень любил Пушкина, может, он подстроил его письмо к Николаю, некоторые наши историки считают, что Жуковский наврал последние слова, Жуковский хотел бы, чтобы Пушкин сказал такие слова, не потому что был подонком, а хотел издать его стихи), то смерть Лермонтова не произвела такого впечатления на общество, как смерть Пушкина. Между тем как Лермонтов был, несомненно, крупнейшим и величайшим поэтом после Пушкина. Мало того, что она не произвела впечатления, я не помню точно где — в письме или на резолюции — Николай якобы написал «собаке собачья смерть». Чем вызваны слова Николая? А Николай вообще был (и гордился тем), что является знатоком и меценатом поэтов российских. Николай Пушкина уважал, пусть внешне.

Характер Лермонтова — ужасен и отвратителен...».

На этом Юра кончил диктовать — четвертая страница (оборот третьей) пустая. Это как бы разгон для написания ответа «Вопросам литературы», который был опубликован в № 10 этого журнала. (Еще раз вышел в сборнике «Две ночи», с. 259, 1986 г., изд. «Современник»). В опубликованном материале есть отголоски продиктованного. В целом, это — не повтор, а развитие сказанных мыслей и рождение новых, которые созревают на уже подготовленной почве. Имеются и общие мысли: «У всех русских есть какое-то горькое, вековое сожаление, даже вроде бы чувство вины... Пушкина убили, а он был молод, около тридцати восьми лет — это ли возраст для писателя! Тридцать восемь лет ему было, вот что страшно, вот что нас мучит и сейчас». Повторяются слова Николая I «Собаке собачья смерть». По иному, более точно, сказано об отношении Николая к Пушкину: «Не любил царь и Пушкина, но тому он многое спускал». Мысль о преждевременной смерти перенесена на Лермонтова и развивается: «Это о нем с восхищенным испугом говорил долго спустя Лев Толстой: «Если б жив был Лермонтов, то не нужны были бы ни я, ни Достоевский». / Все это хорошо известно, и я лишний раз напоминаю об этом, потому что действительно страшно подумать, что бы написал еще этот изжелта-смуглый поэт с сумрачными глазами». Рассуждение о смерти Толстого выпущено, зато даны подробности смерти Пушкина.

Надиктованное Юрой заканчивается словами «Характер Лермонтова — ужасен и отвратителен...» Их нет в опубликованном материале, это была только наметка, что сказать дальше. Рассказ о смерти Лермонтова начинается так: «Но какой бес сидел в нем, какой рок, какая судьба гнала его все ближе, ближе к обрыву на Машуке?». Диктуя, Юра фокусировал свои мысли, проговаривал то, что потом могло бы войти в написанный вариант. В итоге получилось яркое, точное по мысли и ясное по изложению, безукоризненное повествование.

Удивительная вещь память. Некоторые ситуации, происшествия, эпизоды, даже слова я помню прекрасно, они не забываются на протяжении десятилетий. Некоторые всплывают во время работы, бесед, они всплывают так ясно, как будто никогда не забывались. А что-то совсем умирает в памяти. Так я совершенно не помню, как мы добирались в тот раз из Мурманска в Москву. И что было потом. Но из рассказа «Проклятый Север» и открытки из Праги ясно, что Юра все еще помнит нашу ссору, которая произошла ровно год назад, в конце зимы 1963 года.

Из Ялты у меня, кажется, нет ни одного письма. А из Праги есть открытка, сухая, написанная 22 мая 1964 года:

«Привет из Праги! Тут Беатриса Элькина знает твоего Димку [брата] и от нее тебе привет Очень здорово, что я в Праге. Ю. Казаков и меня тут любят Пью Fernet».

Что происходило дальше, не помню. Конечно, я работала в институте, что-то переводила. В июне, наверное, Юра вернулся. И мы собрались на юг, в Судак.

Остановились тем летом не на холме, разделяющем Судак и Новый свет. Сняли комнату довольно далеко от моря в доме городской постройки, на втором или третьем этаже со всеми удобствами. В этот раз мы были вдвоем. Утром на завтрак ели салат из помидор, огурцов, лука, заправленным настоящим душистым подсолнечным маслом, бутерброды с сыром или колбасой, чай. И шли на пляж. Купаемся, загораем, обедаем в какой-нибудь столовой или кафе. Однажды увидели афишу: в кинотеатре идет фильм «Путь к причалу» по рассказу Юриного друга ленинградского писателя Виктора Конечкого. Пошли смотреть. Фильм нам не понравился, много затемненных кадров, но песня в нем замечательная. Вышли, и Юра тотчас стал напевать ее, чтобы не забыть мелодии, некоторые слова запомнились сразу: «Если случилось, что он влюблен, а ты на его пути, уйди с дороги, таков закон. Третий должен уйти».

В апреле 1964 года Юра и Конечкий подписали сценарный договор: «Киностудия «Мосфильм», именуемая в дальнейшем студия «СТУДИЯ», в лице директора 1-го твор. объединения Харламова Г.Д., действующего на основании Устава, и Казакова Ю.П. и Конечкого В.В. именуемый «АВТОР», заключили настоящий договор в следующем:

1. АВТОР обязуется написать литературный сценарий для полнометражного звукового художественного фильма под условным названием «Ванну — капитану!» и предоставляет СТУДИИ право постановки по нему фильма. [...]

4. Литературный сценарий в трех экземплярах должен быть сдан СТУДИИ АВТОРОМ [...] не позднее 1-ого ноября 1964 г.»

Юра что-то рассказывал мне о сценарии, но я ничего не помню. Мы еще вернемся к нему. В Судаке мы задержались недолго. Поехали на Кавказ. Из этой поездки сохранились в памяти всего несколько эпизодов.

Едем куда-то в плацкартном вагоне. Тут же едет молодая женщина с годовалым ребенком. Когда она уходит по своей нужде, оставляет малыша со мной. Я сижу с ним, гуляю по вагону, он играет с моими бусами — у меня на шее нитка желтого янтаря. Играл он, играл, и нитка вдруг порвалась. Янтарь рассыпался по всему проходу. Собрали, конечно, но Юра осердился. Не из-за янтаря, а из-за того, что я так нежно нянчила чужого ребенка. У него было к малышу даже какое-то брезгливое чувство.

И опять мы в вагоне. Опять куда-то едем, на этот раз точно на Кавказе. Почему-то вагон наш должен стоять часа два. Кажется, в Гаграх. Юра откуда-то узнал, что здесь сейчас находится Василий Аксенов, связался с ним (наверное, Аксенов жил в Доме творчества) и позвал его посетить нас в вагоне. Аксенов пришел. Встретились они с Юрой тепло. Говорили о своих делах. А потом Аксенов рассказал нам, что неподалеку есть птицеводхоз, где можно отведать вкуснейшее кушанье «хачи-мачи». Это — куриные потроха, тушеные с луком и помидорами. Ехать туда на автобусе. Мы махнули рукой на наш поезд, сели в автобус, идущий в птицеводхоз. Там, действительно, была большая столовая, куда ездили вкусно пообедать местные и приезжие гурманы. Нам не повезло. Не было еще накоплено достаточно потрохов, чтобы приготовить «хачи-мачи». Интересно знать, все еще там готовят это замечательное, по мнению Аксенова, кушанье. Или хачи-мачи вместе с совхозом и столовой погибли под обломками СССР?

Но зато мы попали в реликтовый сосновый бор тоже где-то под Гаграми. Высокие, мачтовые сосны, сумрачно, нет южной яркости, солнца. Нет и заведений общественного питания. Есть только маленький магазинчик. Женщина, у которой мы остановились на сутки-другие, посоветовала купить бычьи хвосты и сварить суп, бычий хвост, говорит, очень вкусен. В магазинчике только они и были, да еще хлеб и рыбные консервы. Хозяйка дала мне лук, соль, морковку, картошку, и я сварила суп. Он оказался ничего, а вот хвосты подкачали. Есть в них было нечего.

Вот и все, что я помню о нашем летнем путешествии по югам.

ОСЕНЬ – ЗИМА 1964-65ГГ.

Вернулись в Москву к первому сентября. У меня опять институт и очередной перевод. А Юра в конце сентября или в начале октября улетел в Одессу вместе с Виктором Конечким и режиссером Данелией. Оттуда он пишет мне в ответ на мое письмо:

«Слушай миленькая,
если тебя одолевают воспоминания, то меня вовсе нет: когда мы были в Одессе в конце октября, тут было тепло так, что даже купались раз, а тот мальчишка, который был нашим хозяином в некотором смысле [наверное, сын или сосед Воскобойникова, друга моего отца] — купался все время, хотя и синел после таких купаний.

А теперь тут холодно, дует пронизывающий ветер.

Я успел пожить в гостинице Одесса, бывшей Ленинградской.

Я успел поспать в люксе. Потом меня выселили в более скромный номер. Потом нас всех, т.е. Конечкого, Данелия и меня, вообще выселили из гостиницы. И нам стоило с Конечким многих хлопот и унижений достать себе двойной номер в гостинице Пассаж, гнуснее которой труднее себе что-либо представить.

Когда мы с Конечким молили в горисполкоме о гостинице — Данелия летел в Херсон к своей жене Любе, а Аксёнова вообще не было. Аксёнов наслаждался жизнью в Москве. Теперь у нас с Конечким гнусный номер на двоих, а Аксёнов прилетел из Москвы и Данелия вернулся из Херсона. И мест нигде нет. И теперь мы наслаждаемся, а они бегают по городу как очумелые и ищут пристанища. Выдающиеся писатели и режиссеры. А это им не хрен собачий, а Одесса. И мест для них нету. Гнусно и противно.

А наша гостиница называется Пассаж. И окна выходят в Универмаг. Т.е. во внутреннюю его сторону. И целый день за окном гул от множества покупателей. /Вообрази ГУМ/

Вообще-то я зря поехал сюда, зря связался с этой компанией и даже не в том смысле, что компания плоха, а в том, что не надо писать компанией. Ну да чёрт с ним.

Я эти дни совсем не пил, но после всяких пертурбаций начал опять, т.е. сегодня, но это временно, потому что с завтрашнего дня я опять не буду.

Сегодня, я слышал, в Москве шёл снег. Я хотел тебе звонить сегодня, но меня заперли в номере. Дело в том, что я заснул часов в семь вечера. Дежурная, зайдя ко мне, увидав меня спящим, решила меня запереть. Я проснулся в десять. Толкнулся: заперто! В 11 меня открыли. И звонить идти было уже поздно. Позвоню тебе завтра. А пока два поручения.

1/ Пойди в «Правду» к Абалкину /или к его секретарше/ — это отдел литературы и искусства — и возьми у него назад "Нестора и Кира" и отдай его перепечатать в 4 — х экземплярах.

2/ Поезжай немедленно в ГУМ и там купи две зажигалки австрийских, таких, как была у меня. Именно две. Они стоят, кажется, 3-60 или 3-80. Купи не откладывая, в день получения этого письма.

Вот и всё.

Я по тебе скучаю. Ты верь мне, я исправлюсь. Т.е. настанет такой момент, что я не буду никому ничего обязан, не стану писать никаких сценариев и тому подобного, не буду переводить, а буду писать рассказы и очень стараться при этом. И сдам на права. И мы поедem в Печоры даже зимой /кстати, Печоры, пишется через «о» — а запятая после слова Печоры — моя ошибка/.

Пуще зеницы ока храни Нестора и Кира — это последний экземпляр. Я приеду 16-го. А 17-го уеду. Ты будь эти дни у ОПХ. Между прочим я всё время, т.е. во время писания письма слушал Баха. Дanelия взял с собой Спидолу. Всё-таки это изумительный приёмник!

На Черноморской улице я не был, но обязательно побываю!

Целую тебя и люблю. Скоро напишу ещё. [Дальше рукой:]

4 X 64 Ю. Казаков.»

Вот надо было мне ухватиться за это «Ты верь мне, я исправлюсь». Первое условие, чтобы «исправиться» и писать рассказы, а не сценарии и переводы, — перестать пить. Он и сам все время касается этой своей губительной склонности. Но события уже завертелись в другую сторону, что не только не способствовало его исправлению, а, напротив, все очень сильно ухудшило.

17 октября Юра собирался лететь в Алма-Ату, где ему предстояло переводить с подстрочника роман казахского писателя Абдижамила Нурпеисова «Сумерки». Прошлой зимой Нурпеисов не один раз звонил Юре, умолял перевести роман. Он понимал, что, написанный порусски Юриной рукой, роман будет прекрасно читаться, станет событием в советской литературе. И даже будут переводить на иностранные языки. Юра долго упирался. Но в конце концов все же уступил. Жить-то надо было на что-то. «Нестора и Кира» все очень хвалили, а печатать боялись.

Сохранилось мое ответное письмо, мне его отдала Устинья Андреевна, уже после смерти Юры. Я привожу его полностью, хотя в нем длинная цитата:

«Здравствую, Юрочка. Какой я сегодня видела ужасный и вместе какой-то очень теплый сон. Как будто ты в гостинице живешь, в городе, в котором живем мы все, но на Москву не похоже. И мне звонит Таня [сестра] и говорит, что ты в очень тяжелом состоянии. Я приезжаю и вижу — ты в постели, у тебя разбита голова, руки и ноги сломаны. Но боль уже утихла. И ты такой беспомощный, добрый и жалкий. Я тебя осторожно раздела, вытерла всего. И осторожно легла рядом, только чтобы чувствовать тебя рядом с собой. И так всю ночь я тебя видела,

как ты больной, и как я лечу тебя, мою и очень люблю. А ты такой почкорный и добрый. Вот какой сон. Я проснулась и очень разволновалась. Здоров ли ты. Скорей бы уж ты приезжал. Я что-то не верю, что ты вдруг так возьмешь и на следующий день уедешь. Наверное, в Москве будут какие-то дела. И главное, мы с тобой вместе.

Я вчера отослала тебе письмо. Думала, что конверт авиа. А когда стала опускать, вижу — обыкновенный. Но все равно ты успеешь его получить.

Послушай, я тебе опять сейчас выпишу кое-чего из книги, только теперь из Заката Европы Шпенглера: «Сомнение в бытии Божьем — таков рок человека, в котором глубокий рассудок побеждает глубокую душу». (стр. 148). Одна из глав кончается рассуждением о последней великой задаче западного мышления: Новый вид исследования, познания истории. Он состоит в том, чтобы, узнав всё из истории челов. духа — истории музыки, скульптуры, живописи, государственных учреждений, религий, воссоздать в своем воображении и показать всем людям лик, физиономию, характер и развитие каждой цивилизации. Кончает он так: «Здесь [т.е. в таком ощущении истории] кроются решения и перспективы, которых еще никто никогда не подозревал. Отсюда падает свет на темные вопросы, лежащие в основе всех глубочайших человеческих исконных чувствований, страха, тоскующего стремления, в основе всякой религии и метафизики, и превращенные мыслью в проблемы времени, неизбежности, пространства, любви, смерти, Бога. Есть величественная музыка сфер, которая будет услышана некоторыми из наших величайших гениев». Это он взывал к новому пониманию и толкованию истории. На Западе его взгляды сейчас (взгляды Шпенглера) развивает Тойнби [Арнольд Джозеф Тойнби (англ. Arnold Joseph Toynbee; 1889-1975) — британский историк, философ истории, культуролог и социолог, автор двенадцатитомного труда по сравнительной истории цивилизаций «постижение истории»]. А я считаю, что прежде, чем заниматься макрокосмосом, надо заглянуть в темные глубины своего подсознательного и осветить их сознанием. И это надо делать всем, хотя это трудно. У меня мало осталось запертых кладовых подсознательного. Но те, которые остались, они очень упорные. И сознание никак не может вломиться туда. Есть вещи, которые я точно не понимаю в себе. Вернее, знаешь как: каждый внешний поступок, действие, слово, как ниточкой, привязаны к подсознательным желаниям. И вот эти-то подсознательные желания, управляющие нашими внешними поступками, и надо в себе нащупать, отдать в них отчет и проследить их связь с действиями. Чтобы знать, что вызывает что, выйти из тумана самообмана и научиться управлять собой. Вот.

А пока я знаю только одно, что я очень хочу, чтобы мы всегда с тобой были вместе, не ссорились, помогали друг другу и вместе умерли. И все мои внешние действия имеют целью именно это.

Ну вот все пока. Крепко тебя целую, и ничего не принимай близко к сердцу (т.е. ту компанию, с которой ты сейчас — они чужие тебе. Наплюй ты на них).

Ольга Петровна сказала, что сон (я ей рассказала только, что видела тебя больным) всегда надо толковать наоборот. И значит, что ты здоров. Дай бог. Ну вот все. Марина. 10.10.64.»

На это письмо ответа уже не было. Юра вернулся в Москву.

Сейчас это письмо вызывает у меня разные чувства и мысли. Теперь я вижу, как изменился тон моих и Юриных писем. Живя в какой-то момент, не видишь общего рисунка хода жизни, и я тогда не видела. Перемену подтвердят и следующие три Юриных письма. И в моем и в его письмах уверенность в чувствах друг друга, уверенность в будущем. Я все время задаю себе один и тот же вопрос, как могло случиться, что всего через десять месяцев после таких писем мы вдруг навсегда расстались. Ведь была же любовь, привычка, взаимопомощь, серьезные и душевные разговоры, любовь к русской природе, языку, литературе, к странствиям, наконец. Уже были общие друзья, и свои русские и американские. Не расстались бы мы, вся моя и его жизнь сложилась иначе. И Ольга Петровна была бы всегда с нами.

И ведь всё, абсолютно всё, переиначилось. В последующие четыре с половиной десятка лет у меня была совсем иная жизнь, окружение. Муж был поначалу физик-теоретик, позже компьютерщик. Родилась любимая дочь, любимый сын окончил институт. Потом я вышла на пенсию, институт не оставила, но еще занялась Шекспиром. И все эти годы рядом со мной был мой муж, верный друг и опора во всех моих начинаниях. И как не было тех удивительных — счастливых и горьких — пяти лет, осиянных неземной любовью. Они для меня сейчас как запяны в капсулу, сидящую где-то внутри моей жизни.

Юра вернулся 16 октября, но на другой день в Алма-Ату не улетел, пожил сколько-то в Москве. У меня есть конверт с письмом из Алма-Аты, отправленным 3 ноября. И еще есть письмо от 4 ноября, полученное немного позже. Письма, посланные по авиапочте из Алма-Аты, приходили в Москву на другой день. Значит, первое письмо было написано, наверное, 1 или 2 ноября. Так что, наверное, в Москве Юра побывал неделю. К 4-му ноября он уже успел поехать по югу Казахстана. Поездка заняла дня три-четыре. Похоже, что письмо это написано в первые дни. Вот оно:

«Дорогая Мариночка, спасибо тебе за письмо и телеграммы. Устроился я хорошо, но с приездом тебе придется пока погодить. Есть две причины. Первая, что м.б. я получу телеграмму об Америке и мне придется срочно срываться, и ты не успеешь как следует отдохнуть, напрасно только войдешь в расходы. Вторая причина, что я живу в Доме отдыха ЦК КПК, и тут надо сперва нажать на моего казаха, чтобы он организовал твоё пребывание здесь, понимаешь? Я хочу, чтобы ты спокойно пожила вместе со мной, а не где-то.

Я думаю, что всё это /с Америкой/ выяснится в течении недели или десяти дней, и тогда ты уже соберешься ко мне на вторую половину ноября и не на десять дней, побольше. Тут уж ляжет снег, будем кататься на лыжах и домой поедем вместе в конце ноября или в начале декабря. А пока спокойно работай и обо мне не беспокойся.

Забрался я высоко, близко от нас снежные горы, тут сейчас прохладно, несколько дней назад выпал снег и растаял только местами. Воздух чистый, шумят горные речушки, тебе здесь понравится, кормят сносно, только я за все эти дни соскучился по русской еде, по картошке отварной, по капусте и тому подобном. А тут всё баранина.

Нестора и Кира ты мне пришли авиапочтой, покажу я его в здешнем «Просторе», авось примут. Писать или телеграфировать теперь ты мне можешь по такому адресу Алма-Ата, п/о 20, Дом отдыха ЦК КП Казахстана. Можешь так же и звонить. У нас тут два телефона один внизу: 2-81-66, другой на втором этаже: 2-77-81. Мне бы удобнее говорить со своего этажа, но внизу больше вероятности, что кто-нибудь подойдет, там и дежурные болтаются. Ты на всякий случай давай два этих телефона, какой скорее откликнется. Только учти разницу во времени. Когда у вас в Москве 12 часов ночи, тут еще 9 вечера, мы от вас отстаём на три часа. Звони с таким расчётом, чтобы у нас было семь часов вечера / т.е. в 10 по моск. времени, у нас тут как раз ужин.

Съездил я хорошо, ездил по Южному Казахстану, приходилось мне выступать каждый раз, что меня конечно угнетало, а так всё остальное было в порядке, нагледелся на степи, на верблюдов и на ишаков. Я тебе потом расскажу. пил я мало, хотя возможность имел неограниченную, но был всё время на глазах у народа и неловко было, да и выступать приходилось часто.

Подарили мне халат с тибетейкой.

Денег у меня нет, т.е. относительно нет, никаких авансов мне тут не дают, а за путевку заплатил мой автор. Ну да мне пока и не надо, а потом авось дадут рублей двести, на обратную дорогу хватит и ладно. Страниц сто переведу и тогда выпишут аванс. А как ты? Хотя бы у тебя было хорошо с деньгами.

Ну — целую крепко во все места и скучаю очень. Будь здорова, привет всем твоим.

4 ноября [и от руки] твой Юра»

Мое предыдущее письмо не сохранилось. По-видимому, я в нем общала о «Несторе и Кире». Что за телеграммы — не помню. Юра хотел как можно скорее закончить с переводом и вернуться в Москву. А завяз он в Алма-Ате на четыре месяца.

До отъезда в Казахстан Юра не успел ничего сделать с «Нестором и Киrom». Полученное письмо меня обрадовало — не только потому что Юра написал, что пил мало, но и по тону письма. Он явно писал его трезвым. Такие письма пишут любимой жене и помощнице. За плечами у нас было больше четырех лет жизни. Кажется, все шло к тому, чтобы быть нам вместе до конца дней.

Но я-то уже начала уставать от Юриного пьянства. Особенно тяжела была прошлая московская зима. В сентябре у нас в институте появился новый преподаватель В.М. Высокий, мужественный, спокойный и — одинокий. Скоро он стал предметом обожания наших незамужних преподавательниц. Это был человек очень нелегкой судьбы. Почему-то он остановил свой выбор на мне. Ждал, когда кончатся мои занятия, провожал домой, рассказывал свою историю. Он кончал наш институт, испанское отделение, второй язык — английский. Позже учился, кажется, в школе внешней разведки. Потому что был отправлен нашим резидентом в США. И прожил там много лет. Жил под чужим именем, выдавая себя за испанского бизнесмена, имевшего свой бизнес в Америке. И, наверное, раз в месяц из своего дома посылал по радио агентурные сообщения в Москву. Портативная радиостанция была у него в подполе. Это было опасно, могли запеленговать, вычислить и взять с поличным, во время передачи шпионских сведений. Он так там вжился в свою роль, что и сам стал считать себя испанцем, подружился с соседями. Вел обычную жизнь американского законопослушного гражданина. В Москве у него была жена, двое девочек. Но жена не выдержала его отсутствия и ушла от него. Сколько бы лет продолжалась эта двойная жизнь, трудно сказать. Но тут как раз изменил родине Пеньковский, важный сотрудник КГБ, и выдал американцам триста советских агентов. В.М. получил приказ немедленно покинуть США. Он рассказывал, что это сообщение было для него как гром среди ясного неба. Надо было, внешне сохраняя спокойствие, сделать вид для соседей, что собирается в очередную деловую поездку. А на самом деле он навсегда покидал Штаты, своих соседей-друзей, бросал все, что успел там нажить. Взял только самое необходимое и через Европу поспешил в

свою родную страну. Его могли арестовать по дороге в любую минуту. Вздохнул он свободно, только когда поезд пересек границу СССР с Польшей. Он себя называл «Big Zero» («Большой ноль»). Ему выдали солидное выходное пособие — в разведке он больше служить не мог. Прекрасно владея английским и испанским языками, нигде не мог работать и с выездом за границу. И тогда его устроили преподавателем в наш институт. В институте многие знали про Юрия Казакова в моей жизни. Подруги мои решительно уговаривали меня расстаться с ним. В.М. тоже знал и вдруг сделал мне предложение. Я отказала, собиралась тогда в Алма-Ату. Но судьба его была поразительна, и мне не хотелось его терять. Он познакомил меня со своими дочками. Мы все вместе ходили в кино, в плавательный бассейн недалеко от института. Мне было тридцать пять лет. Он года на три старше. То, что называют любовью, у нас и близко не было. Мы были рассудительные, спокойные и участливые люди. У него в прошлом — трудные годы на чужбине, у меня на руках любимый человек, жизнь с которым становилась все труднее. Вернулась я из Алма-Аты 1 марта. А в феврале В. женился на одной из наших преподавательниц. Приятелями мы остались. Сейчас его уже давно среди живых нет.

У меня сохранилось пять Юриных алма-атинских писем и две телеграммы. Первое, от 4-го ноября я привела выше. В первой телеграмме то же распоряжение — не приезжать: «пока не вылетай не устроим позвоню через несколько дней целую Юрий». Работала я в институте в том семестре на полной ставке, значит, занята четыре дня в неделю. Но недели на две меня бы, наверное, отпустили, с условием, что я сама обеспечу замену. Следующее письмо написано от руки 11 ноября:

«Дорогая старушка! сегодня я проснулся и увидел в окне первый пасмурный день в горах. Потом я еще больше выглянул и увидел, что день не только пасмурный, а что еще и снежок идет — сыплется такая мелкая крупка и тает на асфальтовых дорожках, а на траве не тает и трава уже белая.

Это было утром. Потом весь день сыпал снег то крупный то мелкий и все засыпало так густо, как на новый год. Теперь снегу по колени, яблони стоят толстые и тополи тоже.

И между белых берегов шумит темная речка и над ней идет пар. Он, как и вода стекает вниз в долину, только медленнее, чем вода.

Примерно в пяти километрах от нашего дома начинаются горы. и там растут ели по 40 метров высотой.

А за этими горами еще горы, уже совсем высокие и там ничего не растет.

Я работаю, но медленно, очень мне вредит, что я не умею халтурить, а стараюсь сделать получше, а получше-то оно и медленно. Ну будь здорова, целую. Скоро еще напишу.

Юра

11 ноября, вечером.

А ты не балуешься там? А то смотри, тут есть казашки, а меня давно тянет на восток.

[На обороте страницы] Слушай, знаешь, что я решил? Мы с тобой объедем в августе будущего года все побережье Черного моря — от Овидиополя до Феодосии и Таганрога и будем есть креветок и бычков, охотиться под водой и собирать монеты генуэзцев и прочих римлян, и пить кислое вино и любить друг друга ночью и утром, и днем, и вечером, и слушать турецкие джазы по Спидоле — и тогда будет пять лет нашей жизни. А потом мы можем бросить друг друга, приехав в пресную и скучную Москву.

А ездить мы будем на моем чудесном автомобилишке, потому что здесь в Алма-Ате мне обещают сделать права.

Вот и все.

Сегодня был солнечный день и весь снег сиял и было больно глаза, потому что это в горах и воздух чистый. И пахло снегом очень свежо и колко. Это я тебе пишу 12-го вечером. Пока я тут сижу анахоретом, ты мотаешься по гостям, пьянствуешь и кокетничаешь! Завтра же приглашаю к себе казашку. Поеду в город, постригусь побреюсь, надену чистую рубашку и привезу казашку. «Отца его Нуака убил Абралы» — это из моего романа, перевел 20 стр. Я делаю страниц по пять в день. Я погрузился в негу востока и даже если меня позовут ехать в Америку — не поеду. Seriously. Я очень рад, что один. Белый снег и я один. Или сплю, или работаю. А иногда пойду немного вниз, там харчевня и жарят на улице шашлык. Погложу шашлык и опять домой.

Ну будь здорова. Что-то рассказа нет. Письма авиапочтой доходят на другой день. 2-е письмо сюда, которое ты опустила 10 XI пришло 11 XI. А Нестора все нет.

Скоро еще напишу».

В рассказе «Двое в декабре» Юра писал: « Он вдруг понял, что совсем ее не знает — как она там учится в университете, с кем знакома и о чем говорит». Он действительно не знал моего бытия вне его жизни. Подробностей преподавательской работы я не рассказывала, это его так же не интересовало, как характер и судьба Ивана Грозного. А мои уроки перевода были творческим делом. Я много к ним готовилась, представляемый студентам русский вариант английского текста должен быть точен по смыслу и стилистике, ритмичен, изящен, богат сло-

весно, выдержан в стиле эпохи. Занимала меня и педагогическая, воспитательная сущность работы, да и методическая — типы характеров и способностей уже стали для меня убедительно выявляться. От них и зависели методы обучения переводу. Не менее серьезно относилась я и к своим переводам, надо было много читать всякой литературы, художественной, в первую очередь, исторической, литературоведческой и даже психологической. Как раз тогда мне в руки попала замечательная книга Выготского «Хроника рода Достоевского», в ней типы характеров по Выготскому. Я сразу же сделала ее ксерокопию — у меня часто пропадали книги, кто-то из гостей таскал их из дома, кто-то не возвращал. В таком виде она и сейчас у меня есть, печатный экземпляр исчез. Юра не видел этой моей жизни — и наполнял ее собственным воображением, сюжеты которому подсказывал его личный опыт, почерпнутый из писательской среды.

Сейчас шестидесятые годы — миф: Вознесенский, Ахмадулина, о них уже есть телесценарии. А тогда мы жили не внутри мифа, а в обычной жизненной суете, приправленной исторической спецификой: совсем недавно была война, но мир уже расцветал, первые пять лет 60-х — это конец второго послевоенного десятилетия, всего-то на всего! Они были хорошие, эти годы, залечены страшные раны, нанесенные войной. Строились доступные жилищные кооперативы. Уже годы назад отменен культ Сталина. Возвращались из гугаговских лагерей невинно осужденные люди. Я как-то ехала в Тарусу вместе с Варламом Шаламовым, костистым, угрюмым человеком. Если Шульгин [Шульгин Василий Витальевич (1878-1976), русский политический деятель, один из лидеров националистов, публицист] в Голицыно был неулыбчив, то Шаламов был всю дорогу угрюм. Он ехал в гости к Елене Михайловне Голышевой. Все это создавало у нас, поколения тридцатилетних, волнующее настроение веры в будущее. Именно в шестидесятые годы, позже все стало меняться.

Помню, в начале 60-х магазин на Смоленской площади ломился от всевозможных продуктов — рыба, мясо, гастрономия, кондитерские изделия, какие конфеты, какой белый хлеб, какие сосиски, таких теперь днем с огнем не сыщешь. И все дешево. Хуже с промышленными товарами, но была уверенность, что скоро и это наладится. И еще в душе у каждого сильна гордость за то, что мы, русские, выдюжили, победили в Отечественной, освободив половину Европы.

Но личностные отношения были как и в другие исторические эпохи: люди все разные, смелые — и угодливые, веселые — и мрачные, завистливые — и радующиеся успеху соседа, карьеристы, заботящиеся лишь о собственном процветании и альтруисты, думающие о всеобщем

благие. А были, конечно, совсем особые люди, влекомые естественным ходом жизни, они делали то, чего не могли не делать, движимые природным талантом. Им не надо быть ни карьеристами, ни подхалимами, ни лукавыми политиками. Да они и не могут быть ими, природа не позволяет. И вот такой был Юра. Но этим людям во все времена, если у них нет семейного состояния, жить очень трудно. Они беззащитны, на плечу их держит только собственный гений и наличие в любой среде людей, способных чутко и ценить истинный талант и имеющих возможность его поддерживать. Так, в общем, Юра и выживал.

В одном из следующих писем к нему я пыталась объяснить, что мне не удастся вырваться из института до конца семестра. Письма этого у меня нет, но вот на него Юрино ответное (начало не сохранилось):

«17-го ноября, вечер.

Я продолжаю неотправленное тебе письмо, я завтра все отправлю. Я получил сегодня от тебя письмо, где ты пишешь, что не можешь ко мне приехать. Это, конечно, чепуха. Ты приедешь, как только я тебя позову. Причем приедешь на много дней. То что тебе дают доцента, ничего не значит. Ты когда-нибудь станешь профессором [стала, через полвека. Чуковский писал, в России надо жить долго, чтобы тебя оценили]. А Алма-Аты ты можешь не увидеть никогда [и то верно]. Кроме того тебе здесь дадут работу, переведешь рассказ, получишь рублей 100-150 и до рога покрыта.

Я сегодня получил перевод на 25 руб. Если это ты прислала, то большое спасибо. И мне совестно.

Я перешел в другую комнату, потому что та комната, где я жил, выходила окнами на ту сторону, где шло строительство (прости эту фигурную фразу) Так же как и ты, я соскучился, но дело в том, что мне будет очень плохо, если ты приедешь и уедешь, а я останусь. И я не хочу так. А я хочу, чтобы ты приехала и мы с тобой пожили, а потом бы поехали вместе домой.

И поэтому я оттягиваю твой приезд. Я сделал пока очень мало. Скорее всего ты приедешь сюда в начале декабря. Потому что я должен наконец покончить с переводом а это дело длинное.

Завтра уезжает Домбровский, он тут жил почти 3 месяца, а завтра уезжает. Я очень рад, потому что Домбровский меня любит, а его любовь всегда выражается в выпивке, и мне надоело. Мой Нестор и Кир произвел здесь большой шум. Редактор «Простора» сказал, что он прочел его с «трепетным волнением» — но — всегда «но» — говорит. что нужно «смягчить» что-то. Старушечка, мне очень плохо, вообще плохо, потому что — с одной стороны, мне надо пить-есть, мне и моим близким, и для этого нужны гроши, а с другой стороны нужно писать, что я

хочу и что повелевает мне мое глупое, но правдивое сердце. И вот если я слушаю сердце свое, я пишу «Нестора», которого не печатают, зато все хвалят, а если мне надо пить-есть, то я печатаю «Плачу и рыдаю» или тому подобную ерунду, где ничего такого нет и всем приятно.

Как мне быть?

Миленькая, я понимаю, как тебе трудно и сложно уехать, но все-таки, когда я тебя позову — приезжай. Потому что я тебя все-таки люблю. И еще потому, что God is love — и я с тобой обручен навсегда сколько бы ни было на земле красивых баб. Я в «Адаме и Еве» написал, что у него и нее есть история. Так вот, у нас с тобой есть история, ты мне своя, и хотя ты такая же стерва, в общем, как и все бабы, я к тебе прикипел. И мне очень грустно без тебя.

Целую тебя и обнимаю и как-нибудь я тебе позвоню и закричу жалким голосом, чтобы ты немедленно прилетела и ты должна прилететь или я тут буду не человек, ясно? Миленькая, думай обо мне! А я тебе в ответ напишу гениальное. Тут все плачут от «Осени в дуб. Лесах». А это мы с тобой. Дура, люби меня!».

Нашла еще один листок, наверное, это вторая страница какого-то еще потерянного письма:

«Откуда ты взяла, что я пьянствую? Денег нет, а то бы я не против, а даже совсем наоборот. А денег нет серьезно, получил 25 рублей из них 15 осталось и все. Ну да фиг с ней, хочу домой, в Тарусу, куда угодно, к себе, в Бескудники. Очень надоело мне здесь, но держит роман. Я может быть пришлю тебе копченой рыбы с Аральского моря. А потом пришлю яблочко. Алма-атинского апорта. Вышел ли твой Уэллс и получила ли ты за него? — не думай, я не к тому, чтобы мне прислать, а хотя бы ты хорошо жила. Ты так давно без денег. А мне не надо, мне дадут, в крайнем случае. Если ехать тебе ко мне — так не скоро, в конце декабря. Я наверное тут встречу и Новый год а потом домой. Ты что-нибудь придумай, возьми «творческий» отпуск за свой счет. Или забюджетень. Ну, будь здорова сегодня голова болит, простужаюсь я здесь, болел уже дня 4.

Потом еще напишу. Ты бы хоть позвонила мне (по нижнему телефону)

Целую Юра
24 XI 64 ».

Это был конец ноября. Оба письма Юра писал в сильном подпитии, буквы так и пляшут, запятых часто нет. Но что у трезвого на уме, у пьяного на языке. Юра никогда так горько не жаловался на тяжесть своего душевного и материального положения. А я не видела трагедии. Денег нам с Юрой хватало. Одежду он кое-какую купил в Польше. Так что ходил теперь прилично одетый. Но я тогда не ощущала всей глубины

его творческих метаний и мук. Не считала ерундой его «Плачу и рыдаю». Хорошо помню, с каким наслаждением он описывал природу в этом рассказе, и с каким удовольствием впитывал в себя красоту весенней, пробуждающейся земли, когда на закате охотился под Тарусой. Вот из дневника:

«24 апреля 62 г. Таруса

На тяге. Из оврага тянет снежным холодом — такой чистый родниковый воздух. По дну оврага бежит ручей, он залил кусты, и голые лозины дрожат, сгибаются и медленно выпрямляются в борьбе с течением. Где-то ниже ручей журчит на камнях, и такой звук, будто бьют сырое полено о полено, то будто кто-то вытащил с чмоканьем ногу из болота.

В полете вальдшнепа есть что-то неземное, как у пришельца из мира птеродактилей, кажется, у него перепончатые крылья, и летит он волнами, и хоркает ни на что не похоже, ни на какой земной звук. И вот уже горит Венера. чистой блестящей каплей сверкает между черных ветвей, между бархатно-черными стволами дубов. А на востоке уже висит белая яркая и маленькая луна».

А вот из рассказа:

«Приблизился, ударял сумеречный час! И как обычно, для Вани, для Евлагина и Хмолина время двоилось: казалось вместе и медленным и быстрым. Пока еще было не слышать ни звука, дневная жизнь замерла, ночная еще не начиналась, и не свистал еще дрозд в стеклянной светлоте между черными ветвями, и солнце еще горело где-то за лесом, один ручей только стучал и чмокал, как всегда. Но зато все заметили под ногами на черной земле между жухлыми листьями какие-то красные и ярко-зеленые почки и стручки — напряженные, тугие, и на многих видна была еще не высохшая земля. Значит, они вылезли сегодня... и лес вроде стал не так прозрачен, как вчера, ветви набухли больше прежнего, и почки стали толще, а вчерашняя ольха, которую все эти дни никто не замечал, сегодня будто вышла из лесу, стала шершавой, толстой, все суки ее снизу доверху и самый ствол покрылись бородавками, и она вся стала похожа на мохнатую гусеницу».

Эта поэтическая проза сама собой бесценна. Читаешь — и видишь, не как на экране телевизора, а воочию, дыша запахами пробуждающейся земли, самую жизнь родной русской природы — переход от светлоты дня к ночи, предвечернее затишье в лесу, слышишь шевеление оживших, вылезающих из земли корешков, набухающих веток. И об этом он мог сесть и написать в любую минуту, в его воображении и памяти жили все виденные им картины природы и тут же находились единственно верные слова. Писать это было и легко и усладительно. Но в Юре уже бродили иные, социальные, сюжеты. И такое писание по-

учалось у него великолепно, чему свидетельство — «Нестор и Кир». Ведь не даром Федор Абрамов сказал на Юриных похоронах, что все деревенщики вышли из «Нестора и Кира».

Но для меня тогда «Юрий Казаков» воспринимался не как явление русской литературы, а в марева нашей с ним жизни. Письмо, перепечатанное на компьютере, не передает состояния Юры, когда он рукой писал на бумаге те строки. Буквы пляшут, окончания слов смазаны, запятые забыты. Да, Юре было очень плохо, и он был очень пьян. Для меня это письмо было напоминанием пьяной зимы прошлого года. Пьянство стало принимать чудовищный облик, невыносимый для близких ему людей: от него страдало всё — его работа, отношения с друзьями, даже супружеская близость.

Но я все еще не видела, что в первую очередь алкоголь был смертельной угрозой для самого Юры. Перечитывая строки письма 17 ноября, я казню себя, запоздало и непоправимо. Теперь мне слышится его любовь, искренность, мученье от казахского перевода. Спрашиваю себя, неужели мне так сильно было не вмоготу, и так безысходно, что не пробудилась во мне решимость немедленно что-то делать для спасения любимого и такого талантливого человека. Не знаю. Сейчас я — одно, тогда я была, оставаясь собой, все же каким-то иным человеком. Но одно было абсолютно ясно, я это хорошо помню — в Алма-Ату я должна лететь. Меня, конечно, задели слова «такая же стерва», они мешали слышать призыв любящего человека, сеяли сомнение в любви. Это сегодня я понимаю, что мужчина действительно может «прикипеть» к женщине, к которой изначально такого «прикипания» не было и не могло быть. И что восприятие женщин у мужчины формируется под действием воспитания, личного опыта, окружающей среды. И это восприятие может существовать в нем вместе с любовью. А, понимай я это тогда, может, всё пошло бы иначе.

Если бы это письмо получила я сегодняшняя, а не тогдашняя, у меня, верю, хватило бы сил бороться с Юриным пьянством. Таков мой сегодняшний опыт. Брат ведь мой бросил же пить в семьдесят лет, живя со мной бок о бок шесть лет.

Получив это письмо, я стала нащупывать возможность поездки в Алма-Ату в середине семестра. Оказалось, что это почти невозможно, и я опять пишу Юре письмо. Оно сохранилось:

«Здравствуй, дорогой Юрочка. Спасибо тебе за рыбу. Она вкусная, жирная и солененькая. Мы все ее с удовольствием едим — я отвезла кусок маме. Так что все едят и вспоминают тебя. Юрочка, я позвонила тебе вчера в 5 часов, у вас, значит, было 8. Алма-Ату соединили через 10 минут. Но ни верхний, ни нижний телефон не отвечали. Давай догово-

римся так: я тебе позвоню, скажем, в понедельник, нет, лучше во вторник, а то вдруг письмо не дойдет к понедельнику. По московскому времени в 5 часов, от 5 до 6. Ты жди [вставлено от 8 до 9] все равно у какого телефона, я даю телефонистке оба.

Юрочка, у нас занятия кончаются 2 января, после этого у студентов экзамены, у преподавателей каникулы. Значит, у меня свободный почти месяц с 10 до 7 февраля. Юрочка, мы с тобой взрослые умудренные жизнью люди. Раз уж я работаю, то надо работать. Когда предполагалось, что студенты кончат 16, был смысл хлопотать о 2-ух недельном отпуске. Может быть, уж подождешь, но если не до 9-го, то хотя бы до 6 — среды, а 7-го я вылечу. И месяц мы с тобой отдыхаем, ездим всюду и живем друг для друга. У меня это так получится: 30 и 2 (в среду и в субботу) ребята напишут контрольные работы. 6-го я им отдам их — всем четырем группам. И седьмого можно отчаливать. Понимаешь, плохо, если твои студенты пишут последнюю контрольную не у ведущего преподавателя. Ты это все обдумай и вынеси решение.

У нас несколько дней стояло сплошное безобразие — все развезло, и если шел снег, то это был не снег, а дождь, потому что он тут же на земле, и на траве и на асфальте, таял. Стояли черные глубокие лужи. И ноги так залепливали грязью, что даже нашей хорошей губкой не могла оттереть. А теперь второй день подморозило. Лужи промерзли до дна, асфальт скользкий как каток. ОПХ упала и разбила до синяка коленку.

Живу я высшей духовной жизнью. Читаю Ницше и Шпенглера, которого я читаю вот уже полгода. (И детективы тоже, ух какие! Вот я тебе буду рассказывать). Скажи, в Алма-Ате в ноябре-декабре также темно, как в Москве, или посветлее?

Юрочка, будь умница, люби меня, работай, смотри во все глаза на горы и темную реку. Из этого будет рассказ. Крепко тебя целую, твоя Марина». И как всегда нет числа, но, судя по всему, это самый конец ноября или начало декабря.

Как я теперь воспринимаю это письмо? Когда мы живем, мы не знаем наперед хода событий, даже на завтрашний день. Мне тогда не могло придти в голову, что работа моя в институте была Юре еще одной гирей, утяжеляющей его жизневосприятие. Я была нужна ему рядом, а он не мог меня прокормить. Он никогда этого не выказывал, никогда не жаловался. А меня это не волновало, я не мыслила своей жизни без работы. А мужчина, да еще писатель, да еще в вечных разъездах, должен всегда иметь близкого и любимого человека рядом. Судя по моему письму, я гнала от себя мысли о Юрином пьянстве. Это я сейчас вспоминаю, что чувствовала зимой 1963-1964 года, встречая Юру вечером из ЦДЛ в таком опьянении, что он едва держался на ногах. Вспоминаю,

как вечером он позвонил и, боясь, что у меня кто-то есть, велел сказать в трубку: «целую твое колено». Я, разумеется, сказала. Вернувшись однажды, он нашел под кроватью недокуренную сигарету и сравнил длину закуса на ней со своими только что выкуренными. Конечно, они совпали. Но я уже из книг про алкоголизм знала, что это называется «бред ревности алкоголика». И все же алкоголиком я Юру не считала, наверное, закоренелым алкоголиком он еще и не был. И, когда я писала письмо, конечно, всем сердцем рвалась в Алма-Ату. Но подсознание, наверное, все же было настороже.

12 декабря Юра пишет на машинке еще одно письмо, самое последнее в той жизни:

«Дорогая, сядем рядом, поглядим в глаза друг другу...

Над Алма-Атой висит дым. Там затопили тысячи печек. У нас в горах солнечно и чисто. И белый снег везде.

Значит, ты приезжаешь, вернее, прилетаешь 25-го — ориентировочно — плюс-минус один день. Но постарайся точно. Когда будешь покупать билет, узнай, когда самолёт прибывает в А-А по местному времени, ну и, конечно, номер рейса. И дай телеграмму. Билет купи дня за четыре и телеграмму дай. Я тут организую машину и встречу тебя и привезу, и денег найду, чтобы заплатить в доме отдыха за тебя.

Теперь что нужно взять с собой. Купи мандаринов. Купи мне бутылки столичной водки. А то здесь неважная. Особенно тепло одеваться не надо, тут морозы небольшие. Возьми две пары туфель, лёгкие — для дома, и тёплые. Соответственно и чулки. Ну — кофту. Пару платьев. И ладно.

Прихвати из Москвы что-нибудь вкусенького. Икорки, там... Огурчиков соленых, крепеньких. М.б. грибков... Мясного ничего не надо. Я мясо зрить не могу. Как только приехал сюда, всё время меня кормят мясом, на завтрак, обед и ужин. И во время декады тоже кормили мясом. Бешбармак, казы /конская колбаса/, манты — наподобие пельменей. Только мясо баранье, рубленое и лук рубленый. И готовится не в воде, а в пару. Такая кастрюлька, внизу вода, посередке решётка, на решётку складываются манты, вода кипит, пар шумит и обваривает эти самые казы*. Ты вот любишь делать пельмени, так мы тут купим эту штуку. Или нам ее подарят. А мы возьмём, не погребаем. Знаешь ли ты, что такое «гребать»? Это то же, что брезгать.

Захвати с собой какую-нибудь работёнку, чтобы время не проходило. Нас, видимо, поселят в такой комнате, где будет два стола, чтобы можно было работать одновременно. А я тебе пока добуду рассказик, который сразу пойдет. Ибо у казахов есть противная черта — не платят вперед денег, покарай их аллах!

Побываем в Аральске. В местах, о которых я «пишу» роман.

Попостись ты, ради бога! Похудей, ибо я не людоед, и мне не нужен твой вес, а — стройность. Какая ты была в Печорах. И Марфине. Сделай [«З» рукой исправлено на «С»] себе дня три разгрузочных. Рыбу не ешь, ну ее на фик, отдай своим, если осталось что-нибудь. Мы тут ее наедемся и ещё с собой привезём. Копчёных лещей. Я из своего казаха все жилы вымотаю. Будет знать потом, как переводиться.

Я тут не пью совсем уже дней десять. Сам даже удивляюсь. И не хочется даже. Решил погодить до Нового года. Но, конечно, с тобой выпью.

В общем нам остается до встречи 2 недели, точнее, 13 дней, а когда ты получишь это письмо, будет и того меньше.

Ну, до свиданья, моя радость. Целую.

12 дек. 64 [рукой] Юрий

* не казы, а манты»

Наши отношения с Юрой даже не знаю, к какому отнести роду. Мы не были мужем и женой в том смысле, что у нас не было штампа в паспорте, не было общей крыши над головой, не было постоянного общего бюджета, но никогда не было из-за денег никаких ссор. Мы не были любовники, никого не обманывали, ни от кого не таились, и встречались не для того, чтобы вдвоем провести ночь. Мы были вместе, потому что нам невозможно было жить врозь.

Вылетела я 30 декабря. Мне все же удалось уговорить заведующего кафедрой провести последнюю контрольную без меня. А последнее семинарское занятие было 28 или 29, так что семестр я закончила без замены. Отпустили меня до конца студенческих каникул, то есть до 7 февраля 1965 года. У нас тогда деканом переводческого факультета был замечательный человек и ученый Дмитрий Игнатьевич Валентей. Он ко мне питал расположение, и отпускал, посмеиваясь, когда я в очередной раз куда-то летела. Думаю, что эти поблажки делались потому, что я уже была профессиональный художественный переводчик и любимая ученица Ольги Петровны Холмской, — она оставила меня в институте преподавать вместо себя, когда вышла на пенсию. Последний год ее преподавания я посещала все ее уроки, и до сих пор даю иногда своим студентам ее учебные тексты и объяснения. Других профессионалов письменного перевода с английского языка на русский тогда на кафедре не было, преподавали специалисты лингвистических наук (стилистики, грамматики). Не то, что теперь. Сейчас выращены профессиональные переводчики, имеющие к тому же серьезную теоретическую подготовку. И то сказать, с тех пор прошло почти полвека. Конечно, была и еще одна причина, по которой меня отпустили — думаю, что глав-

Дорогая, сидим рядом, поглядываем в глаза друг другу...

Над Алма-Атой висит дым. Там затопили тысячи печек. А у нас в горах солнечно и чисто. И белый снег везде.

Значит, ты приезжаешь, вернее, прилетаешь 25-го - ориентировочно - плюс-минус один день. Но постарайся точно. Когда будешь покупать билет, узнай, когда самолёт прибывает в А-А по местному времени, ну и, конечно, номер рейса. И дай телеграмму. Билет купи дня за четыре. За четыре же дня и телеграмму дай. Я тут организую машину и встречу тебя и привезу, и денег найду, чтобы заплатить в доме отдыха за тебя.

Теперь что нужно взять с собой. Купи мандаринов. Купи две бутылки столичной водки. А то здесь неважная. Особенно тепло одеваться не надо, тут морозы небольшие. Возьми две пары туфель. лёгкие - для дома, и тяжёлые. Соответственно и чулки. Ну - кофту. Пару платков. И ледно.

Прихвати из Москвы чего-нибудь вкусенького. Икорки, там... Огурчиков солёных, крепеньких. М.б. грибов... Мясного ничего не надо. Я мясо зрить не могу. Как только приехал сюда, всё время меня кормят мясом, на завтрак, обед и ужин. И во время декады тоже кормили мясом. Бешбармак, казы /копская колбаса/, манты - наподобие пельменей. Только мясо баранье, рубленое и лук рубленый. А готовится не в воде, а в пару. Такая кастрюлька, внизу вода, посередке решётка, на решётку складываются манты, вода кипит, пар шумит и обваривает эти самые казы! Ты вот любишь делатьпельмени, так мы здесь купим эту штуку. Или нам её подарят. А мы возьмём, не погребём. Знаешь ли ты, что такое "гребать"? Это то же, что брезгать.

Захвати с собой какую-нибудь работёнку, чтобы время не проходило. нас, видимо, поселят в такой комнате, где будет два стола, чтобы можно было работать одновременно. А я тебе пока досуду рассказани, который сразу пойдёт. Ибо у казахов есть противная черта - не платят вперёд денег, помирай их аллах!

Побываем в Аральске. В местах, о которых и "пишу" роман. Попостись ты там ради бога! Похудей, ибо я не людоед, и мне не нужен твой вес, а - стройность. Какая ты была в Печорах. И в Марфине. Сделай себе дня три разгрузочных. Рыбу не ешь, ну её на фиг, отдай своим, если асталось что-нибудь. Мы тут её наедимся и ещё с собой привезём. Копчёных вещей. Я из своего казаха все жилы вымотал. Будет знать потом, как переводиться.

Я тут не пью совсем уже дней десять. Сам даже удивляюсь. И не хочется даже. Решил погодить до Нового года. Но, конечно, с тобой выпью.

В общем нам остаётся до встречи 2 недели, точнее, 13 дней, а когда ты получишь это письмо, будет и того меньше.

Ну, досвиданья, моя радость. Целую.

12 дек. 64

Юрий

1) не казы, а манты.

ная. Юрий Казаков был уже известный писатель и, после Паустовского считался, пожалуй, самым талантливым прозаиком.

29-го декабря получила телеграмму: «ждем будем встречать ничего не забудь целую юра». Я с особым старанием собиралась в Алма-Ату. Ехала я не в деревню, как частное лицо, не в новые места, как любитель путешествий. А как жена писателя, в столицу республики, где предстоит видиться с важными лицами, писателями, местной интеллигенцией. Купила новое платье, не очень удачное по цвету — в мелкую темно-серо-кирпичную клетку, но ладно на мне сидевшее, зимнее пальто василькового цвета с серым каракулевым воротником и серую же каракулеву шапку. На ногах меховые сапоги, взяты с собой и туфли на невысоком каблучке, тапочки, домашний халат, юбка с кофтой (юбка куплена еще в Таллине). Конечно, везла бутылку столичной, баночку черной икры, соленых огурцов (банку своего соленья дала мама моей институтской подруги).

Летели, кажется, пять часов. Приземлились в восемь утра по местному времени. Вылетели мы по Москве в час ночи. В самолете темно, неудобно, я взяла с собой таблетки барбамилы, чтобы спать всю дорогу. Рядом со мной сидел красивый суровой мужеской красотой мужчина лет сорока пяти. Он был членом ЦК партии Казахстана, ведал в том числе и культурой. Мы разговорились. Узнав, что я еду к Юрию Казакову, он стал мне в сердцах выговаривать, почему я так долго не ехала. Юрий Павлович переводит капитальный исторический роман о революции в Казахстане, книга имеет большую идеологическую ценность, он должен работать в спокойных условиях, а он весь извелся, что не едет жена. Я рассказывала ему о своей преподавательской работе, про Юрины рассказы, как он их пишет, а он мне про Алма-Ату. Так я и не заметила, как мы прилетели, не заснула, хотя все же выпила таблетку. Между прочим, самолет, выполнявший предыдущий рейс «Москва — Алма-Ата», разбился при посадке, нас успокаивали тем, что две подряд таких катастрофы не может случиться, согласно теории вероятности.

Юра меня встретил на машине с казенным шофером. Приехали в дом отдыха ЦК партии, расположенный на берегу реки Алма-Атинки, у подножья тамошних гор. Зимой в доме никто не отдыхал, пусто, темно, два-три человека obsługi. Юра обнадежил, что скоро нам дадут комнату в санатории Совета министров, выше в горах, и тоже на Алма-Атинке. Домбровский уже уехал, Юра показал мне счет — шестьсот рублей. При том, что моя зарплата в институте была 180 рублей. Я так и ахнула, но Юра меня успокоил, сказал, что уже печатаются готовые главы в журналах «Простор» и «Дружба народов», это даст хорошие деньги и он сможет расплатиться. Столько напили за два месяца замечательные русские писатели, друзья по несчастью, Домбровский и Казаков.

Новый год встретили в каком-то учреждении. Там были официальные лица, писатели, актеры, Юрин автор Абдижамил Нурпеисов с женой. Оба оказались приятными, интеллигентными людьми, жена — научный сотрудник научно — исследовательского института. У них много детей. Вообще, в казахских интеллигентных семьях было тогда принято заводить большие семьи. Это было не то что бы модно, Абдижамил объяснил, что это необходимо по соображениям культурным и политическим — казахская нация должна умножаться за счет хорошо воспитанных, образованных людей.

Дня через три мы переехали в санаторий, он действовал вовсю, отдыхающих было много. Находился он в горах, внизу шумела Алма-Атинка. На ее берегу стояли юрты-кафе, где с утра до вечера готовили шашлыки. И поблизости всегда пахло дымком. Скоро наша жизнь вошла в колею. У нас была большая светлая комната на втором этаже с двумя столами, двумя кроватями и даже с умывальником. Было чисто, тепло, на этаже две большие туалетные комнаты, женская и мужская, и что-то вроде женской бани для отдыхающих. Когда я первый раз там мылась, одна из женщин, язвительная полная русская дама лет тридцати пяти, сказала: «наконец-то появилась женщина с фигурой». Это меня порадовало, я никогда не задумывалась о своей фигуре, знала, что сорок восьмой размер, третий или четвертый рост. Этот размер сидел на мне идеально. Если уж упоминать такие подробности, то размер лифчика пятый.

Я взяла с собой работу — редактировала для издательства «Художественная литература» роман африканского писателя Питера Абрахамса, автора «Тропюю грома», пишущего по-английски. Название романа, кажется «Венок для Удомо», сюжет увлекательный и общественно важный, я бы с удовольствием его перечитала сегодня. Переводчица не постыдилась поставить свою фамилию под переводом — мне пришлось целиком переписать его, такая тогда была практика, дадут работу по знакомству, потом приглашают «негра», который за гроши должен отредактировать накаляканное бездарью, а переводчик будет пользоваться еще и потиражными. Так было и с этим романом. Спустя годы пришла я как-то в «Худлит» получать за что-то небольшой гонорар. Передо мной в кассу стояла старая изможденная женщина. Мы разговорились, и она рассказала мне свою историю. Муж ее был расстрелян как враг народа, ее нигде не брали на работу, она жила случайным литературным заработком. И одна подруга, пожалев ее, попросила свою подругу дать ей перевод. Та дала ей роман. Это и оказался тот самый роман Питера Абрахамса. Я уж ничего не стала ей говорить. Но с облегчением вздохнула: перестала думать о переводчице этого романа, как о дурном человеке. Ведь это был единственный источник ее существования.

Кроме того, я привезла с собой рассказ «Гитара с бриллиантами», какое-то издательство делало тогда сборник рассказов Трумэна Капоте, и Юра отнес его в «Простор», где он был напечатан, и я получила рублей сто двадцать, которые пришлось очень кстати.

На третьем этаже санатория была бильярдная, мы туда ходили играть. Юра хорошо катал шары, я никуда негодно. Мы играли и слушали музыку — там был радиоприемник. Однажды услышали очень красивую песню. «Неси меня, олень, в свою страну оленью, где быть живет и небыль...», кажется, такие в ней были слова, Юра потом все время ее напевал.

Как-то администрация санатория решила бороться с мышами. Сидим мы, работаем, вдруг стучат в дверь. Входит сестра-хозяйка в белом халате с отравленной пшеницей и начинает рассыпать под кроватями. А мы уже подружились с нашими мышками. Сестра ушла. Юра принес веник с совком и тщательно смел в совок отравленные зерна. Так что наши мышки не пострадали.

Наступил февраль. Южные склоны гор уже сильно припекало солнце, и на каменистых склонах стали выползать из неудобной для растений почвы толстые, как гусеницы, зеленовато-серые побеги. На северных склонах — белый чистый снег, на южных, на пригреве — сочная травка, правда, для русского глаза довольно странная.

Мне пора было подумывать о возвращении в Москву, 7 февраля начинался второй семестр. Работа у Юры шла споро, но, чтобы ее закончить требовался еще месяц. Юра категорически воспротивился моему отъезду в Москву. И сообща придумали такой выход. Союз писателей Казахстана сочинил официальную бумагу (отпечатано было на красивом, меловой бумаги, бланке) для дирекции нашего института с просьбой дать мне месячный отпуск за свой счет, так как мое присутствие необходимо в Алма-Ате «для укрепления культурных связей между Россией и Казахстаном». Бумага был оправлена заказным письмом с уведомлением о вручении, и скоро я получила из Москвы разрешение вернуться к работе 1-го марта.

Устинья Андреевна очень соскучилась о Юре, его не было в Москве уже три месяца, даже можно считать четыре, если включить его командировку в Одессу. И она решила лететь в Алма-Ату. Купили ей путевку, и она поселилась в том же санатории на первом этаже. Почти каждый вечер нас приглашали в какие-нибудь гости. Казахи очень гостеприимны. Готовился обильный обед или ужин — казахские блюда из баранины: бешбармак, шурпа, манты, плов. Фрукты, компоты, сладости и, конечно, море вина. Иногда Юра столько выпивал, что его замертво выносили из-за стола и укладывали в такси. А утром требовалось опохмелиться. Эти вечерние возлияния проходили на глазах Устиньи Анд-

реевны. И она стала, наконец-то, понимать размеры надвигающегося бедствия. Однажды даже поднялась к нам в комнату и вынула из внутреннего кармана Юриного пиджака деньги, когда он ненадолго куда-то вышел. Утром сунул руку в один карман, другой, денег нет, а нужно опохмелиться. Решил, что потерял их. Пошел просить у матери. И она, поворчав, выдала небольшую сумму. Устинья Андреевна опять корила меня, что я не запрещаю пить Юре, не могу отвадить его от пьянства, но она и сама уже бессильна была что-то сделать.

На одном из приемов мы познакомились с Олжасом Сулейменовым. Он был высокий, тонкий, стройный; благородные, изящно вырезанные черты лица, такого типа, что встречается у южных китайцев. Он нам рассказал, почему считает свою, казахскую по духу, русскую по языку, поэзию мощнее и полнокровнее современной русской поэзии. Ее питают традиции великой русской литературы, красота казахской природы — горы, горные реки, озера, бескрайние степи и казахская национальная культура.

Алма-Ата в те года была истинным культурным среднеазиатским центром. В сталинские годы репрессий сюда ссылали «врагов народа», смелых, умных и талантливых представителей русской интеллигенции. В шестидесятые они еще не сошли со сцены. Здесь жили и работали их дети, получившие превосходное образование, все эти люди отличались высокой нравственностью. Таким был и редактор журнала «Простор», публиковавший острые статьи и неблагонадежные рассказы. Он же напечатал «Нестора и Кира» и «Зависть».

Был в Алма-Ате и прекрасный оперный театр, голоса у певцов великолепные. Мы полюбили казахскую музыку, удивительно мелодичную, с широкой шкалой диапазона. Как-то на одном из приемов пел один из знаменитых казахских теноров, мы были в восторге.

Эти два месяца Юра был кроток со мной, тих, не был груб даже в сильном подпитье. Зато Нурпеисову доставалось. Работа подходила к концу, скоро уезжать, и Юре были нужны права. У Абдижамила всюду большие связи, но и ему трудно было сделать для московского писателя права, без экзаменов и взяток. И все же это ему удалось — Юра очень на него давил.

И вот работа окончена, и пришло время уезжать.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА

Обратно решили ехать поездом. Нам на троих купили четырехместное купе. Мы с Юрой спали наверху, мама внизу. За четыре с лишним месяца у Юры набралось много друзей и поклонников. Чтобы избе-

жать многолюдства на проводах, придумали сесть в поезд не на городском вокзале, а на товарной станции, в пригороде. Кажется, она называлась Алма-Ата — вторая. Приехали, поезд уже был подан и почему-то стоял довольно долго. Но и туда приехало много народу. Привезли всякой снеди и несчетное количество бутылок вина, к нашему с Устиньей Андреевной огорчению. Багажу у нас получилось много, чемоданы, картонные коробки с яблоками алма-атинский апорт, подарки. Ехали мы пять дней, долгое время за окнами пробежали только бесконечные, цвета былья, пустынные степи с глиняными мазанками. Проехали Аральск, куда я так и не попала. В России пошли леса, ехать стало повеселее. Юра все время пил, Устинья Андреевна пыталась протестовать, я целыми днями лежала наверху, читала, или смотрела в окно. В Москве меня встретил мой отец, Юра с мамой взяли такси и уехали в Бескудниково, а мы покатали в Покровское-Стрешнево, везли подарки — яблоки и рыбу.

На другой день я уже в институте. Иду по широкому коридору второго этажа мимо физкультурного зала (теперь там домовая церковь), навстречу Дмитрий Игнатьевич Валентей. Смеется, спрашивает, как прошло сближение культур и добавляет: «Идите в кассу, получите зарплату. Не стали оформлять отпуск, лишние хлопоты». Так я вернулась к моим студентам. Институту я отдавала долги, работая с дипломниками. Их у меня всегда было много, и учила я их не в рамках 25 академических часов на каждого, а тратила в два раза больше времени, и до сих пор трачу. В двадцать пять часов не уложишься. И все мои дипломники прекрасно защищались, хотя бывали и курьёзы.

Устинья Андреевна в Москве закручинилась, и они с Юрой сразу же уехали в Тарусу, сняли там дом. В конце марта звонок из Тарусы. Мама сломала ногу, перелом тяжелый, я должна взять такси до Тарусы и немедленно ехать, убраться в доме и помочь вернуться в Москву, мать придется положить в больницу. Прошу Витю Тамохина заменить меня один день, пытаюсь взять такси. Таксист объяснил мне, что загород машину заказывают в таксомоторном парке, и дал его адрес. Отправилась туда, взяла машину и поехала через Чехов и Серпухов. Шофер попался разговорчивый. Была еще зима, весной и не пахло, но разговаривали мы о яблоневых садах. У него самого богатый сад, плодоносит ежегодно. Потому что он, во время поездок по Подмоскovie, не ленится, собирает в полиэтиленовые пакеты конский навоз, и удобряет им свои яблоньки, вот они и дают яблоки каждый год, в покое не нуждаются. Ехали мы, наверное, часа три с лишним. Приехали к вечеру. Вся комната заляпана белым гипсом, Устинья Андреевна держится молодцом, Юра расстроен. Он только что втянулся в свое писание. Думаю, он тогда

опять вернулся к повести о войне, над которой работал зимой и весной 1963 года в Тарусе, когда мы поссорились. Вымыла я полы, стол, стулья, посуду. Сложили вещи и Юра пошел за такси. Ехали мы в этот раз через Калугу, хотелось повидать незнакомые места. Дорога оказалась значительно длиннее. Юра ехал с шофером, мы на заднем сиденье, Устинья Андреевна дремала. Я смотрела в окно, снег на полях был уже не пушистый, в солнечный день подтаивал, ночью вода замерзала, и на солнце поля переливались всеми цветами радуги.

Устинью Андреевну положили в Пятую градскую больницу, что на Ленинском проспекте. Там она пролежала месяц. К счастью, больница была недалеко по московским масштабам от моего института, на метро всего одна остановка. Апрель был солнечный, теплый. Я ездила в больницу через день, два, возила еду — творог, кефир, домашние котлеты. Юра писал и хлопотал маме и себе путевку в Малеевку на май и июнь. Это было трудно, начался сезон, желающих среди писателей и их жен было много. Пришлось ждать, Устинью Андреевну уже выписывали из больницы, а везти ее было некуда: в Бескудникове однокомнатная квартира, на Арбате комната в коммуналке. И у меня на Черняховского одна пятнадцатиметровая комната. А нужен уход, питание, значит только в Малеевку. Юра послал меня к главному врачу, просить, чтобы маму не выписывали еще неделю, пока не надут путевку. Сам он в таких случаях сильно заикался. Врач отнесся сочувственно к моей просьбе, я подарила ему Юрину книгу — не как подношение, а свидетельство того, что Юра — замечательный писатель. Купила Устинье Андреевне костыли, и она стала учиться с ними ходить. Юра все время был ласков, заботлив, жил то на Черняховского, то в Бескудниках. Наконец, наверное, в конце апреля Юра с мамой уехали в Малеевку.

О лете, пока он был в Москве, мы ни разу не заговаривали. Что было странно, но это я только теперь заметила. Ведь мы каждый год с самой зимы начинали думать, куда денемся летом. И прошедшей зимой Юра писал мне из Алма-Аты, что поедem на его машине по всем югам. В Алма-Ате было не до лета. А после того, как мама сломала ногу, о лете и совсем забылось. Может, потому, что Юре, как он полагал, предстоит все лето ухаживать за ней. Но не в Малеевке же, туда на все лето путевку не получить. Значит, опять Подмосковьe, но речи ни о чем пока не было.

Май начался с того что Ира Смелли, моя дорогая подруга, пригласила праздновать у нее Первое мая. Было приглашено все мое семейство: мама, папа, сестра Таня, сын Дима, Юра, наши общие друзья Витя Тамохин и Юра Денисенко, заведующий кафедрой (с ним мы учились с разницей в полгода на переводческом факультете). Вот мы и собрались все в ее гостеприимном доме. Юра Казаков и Юра Денисенко, русские

парни, оба не дураки выпить, сразу почувствовали друг к другу симпатию. Юра, зав. кафедрой, сказал: «Я все думал, что ты миф, а ты, оказывается, и, правда, есть». Оба обнялись и смеялись. Что касается моих родителей, они уже давно принимали Юру как неизбежную данность. О том, что он пьет, я им не говорила.

В тот же вечер у Иры мама с папой пригласили всех приехать к ним второго мая в Покровское-Стрешнево продолжать праздник.

И вот что произошло. Не помню, какая тогда у Юры была машина. Мне кажется, что «Москвич», но сын мой, которому тогда было 13 лет, говорит, что «Запорожец», потому что, он помнит, именно из-за машины учинился скандал. Я сама не помню причины, но сын уверяет, что моя сестра Таня вдруг спросила у Юры:

— Почему это у вас, великого писателя, такая плохая машина?

И Юра, который был уже, как говорил один плотник, «хорошо хватя», рассвирепел и стал площадно ругаться, чего в доме моих родителей никогда не бывало. Потом встал и, продолжая осыпать всех и вся бранью, нетвердой походкой двинулся к двери. Я пошла за ним. Мы были не на машине, пошли к автобусной остановке, и Юра всю дорогу не закрывал рта. Я жалела его, Таня затронула самое больное его место. Он действительно был великий писатель, талантливый, как никто, а у него такая хилая машинка, и вся писательская администрация относится к нему, как к третьесортному писателю, не способному подняться до великих социальных тем. Вот и сейчас еле-еле путевку выпросил для больной матери. По-видимому, это было для Юры потрясением. Потому что сохранилось его письмо из Малеевки Виктору Конецкому:

«И спраздновал я тут 9 мая лучше всех, потому что был один... Потому что, когда ты один, есть возможность подумать... Ведь все-таки мы существа мыслящие в некотором роде. И сидел я один на один с пол-литром «московской», изготовленной в пресветлом граде Калуге, и думал о фашизме. Не о фашистах, которые жгли, стреляли, тащили женщин к себе в постель, пили, сходили с ума, потом сами стрелялись, которые были потом убиты и разбиты и которые еще сейчас многие живы во всех частях света, — нет, я думал о самом высшем фашизме, о средоточии его, о человеке, который, достигнув власти, все подчиняет себе. Это не бесчисленные серо-зеленые солдаты шли на нас, это он их гнал, угрожая расстрелом. Это не генералы и штурмбанфюреры творили зло — зло творил он, потому что, дорвавшись до власти, он обожествовал себя и стал над нацией, над человечеством. Ничто не делалось помимо его воли, и никто ничего не мог решить за него. Как бы ни были крупны остальные фашисты, они могли в лучшем случае советовать ему, соглашаться с ним, подсказывать ему и исполнять его волю. И чем лучше они

советовали и исполняли, тем все более возвышались в его глазах и в собственных. Они даже становились наконец более фашистами, чем сам он, но все равно он был главный. Но все-таки не он было главное зло, а самое главное зло была система. Та система, при которой он мог зародиться, этот человек, этот вождь, диктатор, фюрер, мог подняться и существовать вопреки всему, во веки веков, пока он сам жив, потому что никаких демократий, никаких ограничителей при этой системе уже не было, и он не мог быть смещен...»

Это письмо точно указывает, что он продолжал писать какие-то куски о той повести, о которой начал думать зимой в Тарусе еще в 62 году, когда ему было тридцать три года — возраст Иисуса Христа. Как-то у него это все переплеталось. Возраст Иисуса Христа обязывал, он вспоминал свое отрочество, оно пришлось на войну. Воспоминания у него всегда были яркие, подробные, с годами они не выцветали. В этом особенность его прозы. Виденные им люди с их внешностью, характером, их поступки, события, происшествия оставались в кладовых его памяти на всю жизнь. Его рассказы истинное — картинное и поэтическое — свидетельство эпохи. Ему не за чем было вводить в них исторические или социальные оценки, они дают достоверный материал для будущих историков, психологов, социологов.

И еще, читая это письмо, чувствуешь, что настроение у него не такое, как было летом 1961 и 1962 годов. Взять для сравнения «Двое в декабре». Он опять ощущал себя одиноким.

Юра уехал в Малеевку, а я в конце мая в Звенигород. Разговоры о лете все еще не было. Юра обещал приехать туда ко мне в первых числах июня. Ольга Петровна жила в голицынском доме творчества, в Звенигороде я была одна, баба Наташа уже несколько лет как умерла.

Не помню числа, когда это произошло. Но точно до моего дня рождения. Значит, возможно, 5-6-го июня. Юра приехал вечером, не сообщив точного дня приезда. Привез водку и свежих огурцов, тогда их еще не было (это ведь не наше время, когда огурцы круглый год). У меня был приготовлен какой-то ужин. Он сразу сел пить, стал быстро пьянеть. И посыпались пьяные обвинения, ругань, чего я не слыхала уже год. Мне трудно изложить Юрин пьяный бред, на самом деле, слова, которые изрыгались из его рта, — хрестоматийны. Они есть во всех книгах про алкоголизм. Он вставал, ходил, ложился, и все сетовал, что он такой несчастный, что у него такая скверная баба, у нее сын от другого. И все сдобрено нецензурной бранью. Пора ложиться спать, уже за полночь, а он совсем разошелся. И тут, первый раз за пять лет, мне в голову пришло жестокое обвинение: «Ведь мог же Юра быть человеком, даже пьяный, когда я так была нужна его маме, без меня он сам ни с чем бы не

справился. Я была нужна, и он мог управлять собой. А теперь, когда все устроено, мама под присмотром в Малеевке, можно опять распуститься до бесчувствия». Это меня потрясло. Это была не обида, а осознание какой-то чудовищной, несправедливой и непобедимой распущенности. Я очень хорошо это помню, потому что много раз возвращалась памятью к тому вечеру, ночи, утру. Я взяла раскладушку, поставила в коридоре и легла. Юра никогда не поднимал на меня руки. А тут подошел, взялся за раскладушку и стал ее опрокидывать. И тогда я сказала:

— Если ты не перестанешь безобразничать, я вызову милицию.

Юра ушел в комнату. Лег, часа два поспал. Потом вышел одетый в коридор и сказал:

— Прощай, старушка, я ухожу.

И пошел к двери. Я вдогонку позвала его:

— Юра! — Он обернулся. И я прибавила: — Тебе будет стыдно.

Это были мои последние слова, сказанные ему в той жизни. Юра ничего не ответил и ушел. А я легла поуютнее на раскладушке и заснула.

Проснулась часов в одиннадцать. Вышла в сад. Был яркий, июньский день. Всё сияло в лучах солнца, листья яблонь, белые венчики нарциссов, серебрились плакучие ветви большой ивы, благоухал расцветший куст розы-ругозы. Я оглядела весь этот благостный мир, высокое бледно голубое небо над головой. Вздохнула полной грудью. И вдруг ощутила, что во мне больше нет ни капли этой болезни — любви к прекрасному русскому писателю Юрию Павловичу Казакову. Как будто ее выключили. В этом было чей-то промысел, на мое счастье.

Уйдя в воспоминания, я сознаю, что, описывая те годы, я излагаю мысли, чувства и внешние события только одной стороны — свои собственные. Я не знаю, что думал и чувствовал Юра, что делал, когда, вернувшись в Москву, мы разъезжались по своим домам. И, конечно, я не знала, что делал Юра той весной и летом в Москве и Малеевке. Я просто об этом не думала. Сейчас же могу кое-что предположить. Когда мы вернулись из Алма-Аты, Юра не раз виделся с Ильей Ильичем Толстым, внуком или правнуком Льва Толстого. А у него, я знала из его письма, посланного в Алма-Ату, была уготована для Юры невеста, аспирантка филфака МГУ. Это была достойная невеста, по всем статьям, молодая красивая девушка, девственница, из состоятельной минской семьи, отец крупный общественный деятель. Она была сильно влюблена в Юру, да и сватал ее не кто-нибудь, а потомок великого русского писателя Льва Толстого. Но тогда-то я ничего этого не знала. И Юрину грубость отнесла только за счет его пристрастия к алкоголю. А теперь думаю, что, познакомившись с этой девушкой и все оценив, Юра оказался перед выбором. Очень непростым. Пять лет любви так просто не вы-

бросить. Но пора остепениться, завести семью, своих детей. Более подходящей пары найти трудно. И мать с отцом будут счастливы. И деньги теперь есть. Можно купить в Подмосковье дом и начинать семью. Но вот он приехал в Звенигород, увидел меня, близкое и дорогое существо, почувствовал прилив любви и вместе ненависти, ведь оно стояло сейчас на его дороге к полному человеческому счастью. Вот Юра и сорвался. Но это я сейчас так думаю, возможно, никаких таких мыслей у него не было, а был он по привычке бессмысленно и тяжело пьян. Да, скорее всего, мыслей таких не было — действовало подсознание. Юра никогда не хитрил.

Но к его и моему счастью, моя любовь кончилась, и он мог не бояться, что я стану ему помехой. И он это понял. Вернувшись в Москву, я купила тут же себе и сыну железнодорожные билеты, и мы уехали в Алушту. О чем Юра узнал, позвонив Ольге Петровне. Подумал, что я уехала с любовником, и решил, что мое терпенье наконец лопнуло. В трезвые минуты он сознавал, как нелегко с ним жить, и что когда-нибудь эта жизнь может стать нестерпимой. Юра сам мне это рассказал, когда позвонил в августе, и мы поехали на два дня в Ростов Ярославский.

Поняв по-своему мой отъезд, Юра вздохнул свободно. Что было с нами дальше? Про себя хорошо знаю. Что делал Юра, знаю от него самого и его матери, с которой я в последствии несколько раз виделась. Два раза случайно. А после Юриной смерти ездила к ней по ее приглашению.

Весь май и июнь Юра жил в Малеевке, и к нему туда приезжала его невеста. Устинья Андреевна говорила, что она предупреждала ее: у Юры есть Марина. Наверное, предупреждала. Но у Юры занимались новая жизнь и любовь, и пять предыдущих лет, казалось, канули в прошлое.

Тем не менее, наверное, в августе или в конце июля он позвонил мне и позвал в Ростов Ярославский. И мы поехали. В Ростове, как раньше, стали искать место ночлега. Постучались в один дом, в другой, нам посоветовали толкнуться в соседний. Там живет одинокая женщина и может пустить. Было уже темно, мы постучали, вышла немолодая худощавая женщина, мы ей представились, и она пустила нас. За ужином разговорились, и она поведала нам свою горестную историю. У нее был племянник, сын умершей сестры. Она растила его, а в пятнадцать лет, когда он был в восьмом классе, он влюбился в одноклассницу, и она в него. Теплыми весенними днями они ездили на велосипеде по окрестностям Ростова. И эти два молодых существа, повинувшись гормонам, обнимались, целовались на мягкой травушке и согрелись. Девочка рассказала подружкам, те растрезвонили по всей школе, ее стали дразнить. Прознали про это родители, и она рассказала им про свою любовь. Родители пришли в ярость, подали заявление в суд про этого паренька за изнасилова-

ние. Историю раздули, девочку опозорили и принудили сказать, что он угрожал ей ножом. Так, во всяком случае, рассказывала нам его тетка. Подростка судили. Отправили на пять лет в детскую колонию, он вернулся через три года больной туберкулезом. И через год умер. Это давно было, но она все еще горевала о своем племяннике. Очень, говорит, он был добрый и хороший. Я потом, когда мой сын достиг того возраста, когда и с ним могла бы случиться такая история, рассказала ему про этого парнишку и его трагическую судьбу. Сказала ему тогда, что два очень молодых существа влюбились друг в друга и по зову природы соединились. И оказались во власти закона, от которого пощады не жди. Закон есть закон. Мой сын очень возмущался несправедливостью отношения общества к таким случаям. Но мысль мою, что лучше не попадать под действие закона, понял. Сын рос без отца, и, кроме меня, поговорить с ним на такую важную тему было некому.

В Ростове я поведала Юре, что ездила в Крым с сыном и подругами. А он рассказал, что чувствовал, покидая тогда Звенигород. Когда я его позвала и он обернулся, он ожидал увидеть ласковое лицо и услышать слова примирения, ведь он приехал ко мне из Малеевки, привез огурцы, хотел сделать салат. А у меня были ненавидящие глаза, таких моих глаз он никогда не видел. И такие же неожиданные были слова, поэтому он и ушел. Так оно, наверное, и было. В чем, в чем, а в лукавстве Юру нельзя заподозрить. Говорил, что думал и чувствовал. Но ненависти в моих глазах не было, а было неопишное возмущение, которое он истолковал по-своему. Значит, все же где-то в подсознании у него сидело, что я могла бы его возненавидеть.

Всю поездку Юра был трезвый, и у нас опять были родные и любовные отношения, как прежде. Только я больше не чувствовала от него зависимости, боязни потерять. Пошли в собор, хотели послушать колокольный звон. Звонарей не было, и мы только полюбовались этой белокаменной русской православной святыней. Потом сели на катер и поплыли на другую сторону озера Неро. Воздух был наполнен бледно-зеленоватыми подёнками, крошечными не то бабочками, не то стрекозами, которые живут всего один день, ими усыпана была и водяная гладь озера. Где-то пообедали, вернулись к хозяйке, попрощались и пошли на станцию. Было уже темно. Мы шли узкими одноэтажными улочками крошечного провинциального городка, и в темноте Юра рассказал мне, что у него уже есть женщина. Он с ней близок, она оказалась девушкой. У него до сих пор девственниц никогда не было. Но он не нашел в этом ничего особенного. Еще он рассказал мне, что лежал в больнице. И я почему-то подумала, что эта девушка — какая-нибудь медсестра. Он не назвал ее имени и говорил таким тоном, каким о невестах не го-

ворят. А это была его невеста, Тамара, о которой в Алма-Ату писал Илья Ильич Толстой. Я это не почувствовала, но все же отметила, что это не случайная связь. И сказала Юре: а что если я найду ее и расскажу об этой нашей поездке? Юра явно испугался.

— Не смей этого делать! — жестко сказал он.

Я заверила его, что, конечно, и не подумаю ее искать. В Москве, как всегда, разъехались каждый к себе домой. Ни о каких будущих встречах разговору не было.

А в середине ноября, может быть, в начале, (помню только, что была холодная сырая погода), Юра опять позвонил, заехал за мной и мы поехали куда-то поговорить. Юра выбрал Сокольники, там есть кафе, сейчас, наверное, полупустое, то, что нам нужно. Было часов пять пополудни, холодно, крапал дождь. Нашли это кафе, большое, дощатое строение, темное и пустое, работает последний день. Юра на машине, пить нельзя, заказали кофе, бутерброды, и начался разговор. Юра сказал, что думает жениться, и перед ним вопрос, кого все же выбрать: меня или ту девушку, с которой он сейчас живет как с женой. Говорил, что наши пять лет зачеркнуть ему всё же трудно, но у этой его девушки много достоинств, в том числе — он у нее первый. Подробностей Юра не касался. Я слушала его и взвешивала: так вот взять и отказаться от него я не могу, потому что я за него все же в ответе. Он пьет, от этого никуда не денешься. Наверное, его новая подруга не подозревает истинного положения дел. А я-то знаю. И я сказала Юре, что готова начать всё с начала при одном условии: он завтра же начнет лечиться от пьянства. На что Юра ответил, поморщившись:

— Вот ты как заговорила!

На том наша беседа и кончилась.

Вскоре после этого Юра женился, а через год вышла замуж и я. За годы до его смерти мы встретились случайно всего два раза — в ЦДЛ. Была и еще одна встреча летом 1967 года. Юра позвонил мне — он ходил в поликлинику Литфонда, что в соседнем с моим подъездом. Я вышла, он предложил покататься по Москве. И мы поехали. У него был с собой кулек конфет «мишек». Он угостил меня одной. Едем, он говорит, можно я тебя поцелую, я сказала, нет, это будет очень тяжело моему мужу.

— Но ведь он не узнает, — сказал Юра.

— Это все равно, — ответила я.

— Тогда можно понюхать твои волосы?

— Это можно.

Я потому так подробно всё это рассказываю, что мне самой важно исследовать, почему, действительно, мы с Юрой расстались. Пьянство

в этом виной, Юрина мать, которая, как все матери, хотела Юре крепкого семейного счастья? У меня нет ответа. Я поняла только одно. Если есть настоящая любовь, — по сердцу, по уму, по общим склонностям и устремлениям, — то ее надо беречь как зеницу ока. Она превыше и преважней всего. Моя к Юре любовь погибла, как гибнет от мороза цветок. Юрина любовь ко мне не погибла, она только ушла под землю, а когда схлынул наносный слой, она ожила и сидела в Юре всю жизнь.

В июне 1966 года я получила такое письмо:

«Здравствуй, старушка!

Я вдруг вспомнил, что у тебя 14-го июня день рождения. Хороший, хороший у тебя день! Июнь в разгаре, светлые ночи. В лесу фиалки. Поспела земляника. Вообще этот год весь ранний. Ранняя весна. Ранняя пасха. Ранняя троица. 31 мая мы нашли первые белые грибы — 10 штук.

Отличный у тебя день рождения!

А я сижу снова в Тарусе. Но я как-то потерял вкус к этим местам. Не то чтобы мне здесь разонравилось, но исчезла прелесть первого узнавания. Надо бы, конечно, поискать нового места, но некогда было.

А хорошо всегда — новое место! Все незнакомое и прекрасно своей неизвестностью.

У меня новость — собака. Купил я его двухнедельным щенком. Белый с рыжими усами, с рыжим пятнышком на спине, с рыжим хвостиком и веснушками на ногах и на морде. Только три чёрные точки. Нос и глаза. Спаниель. Королевских кровей. Когда я его купил и получил родословную, то с удивлением обнаружил, что его прабабка — «Штука», а владелец И.И. Толстой. Я сразу — к Толстому. Оказывается эта штука была вывезена югославским послом из королевского питомника и подарена потом Толстому. От нее произошёл потом мой сукин сын. Сейчас ему три месяца на днях стукнет. Вся жизнь его прошла на моих глазах. И вот теперь, бросив все свои дела, я принимаюсь за книжку о нем для детей. Весёлая будет книжка! А зовут его Чиф. Это так старших помощников капитанов зовут моряки.

Ну, будь здорова и счастлива в твой день. 37 — прекрасный возраст. Чудный возраст. Это как благоухающий фиалками июньский лес. Это не апрель, не май и не июнь. Июнь, старуха! Нет ты не июнь, ты земляника.

Вот съешь это земляничное поздравление и прощай.

Ю.К.

Таруса

Подарок тебе заказан и если ты не уедешь на лето, ты его получишь. Из Архангельска».

Вот такое письмо. Сдержанное, с легким воспоминанием о нашем походе в тарусские леса, по ночам благоухающие ночными фиалками. С признанием, что новое всегда хорошо. Это или о том, каким новым все было для нас вокруг Тарусы, или, намек на то, что ему сейчас хорошо, потому что все новое (другая женщина) прекрасно своей неизвестностью. Как хочешь, так и понимай. Я все же склоняюсь к первому пониманию, Юра один из тех редких людей, у которых нет задних мыслей. Я на это письмо ничего не ответила, и подарка не получила. В то лето мы с моим будущим мужем уехали под Новороссийск, где жили в палатке на берегу моря. Рядом со мной был молодой здоровый мужчина, который легко взял на себя все дорожные и бытовые заботы. Он окончил МИФИ, факультет теоретической физики. И сказал однажды, что ему нужна умная жена. А до сих пор по-настоящему умные женщины ему не встречались. Теперь он встретил и готов быть для меня всем, хоть секретарем, хоть мужем. Так мы и поженились, хотя нам пришлось в загсе выдержать испытание — собеседование на предмет выяснения истинности наших чувств. Две милые пожилые женщины, убедившись, что Саша, спокойный, твердый, уверенный в себе человек долга — на нем это написано — и правда меня любит, напутствовали его словами «берегите ее». И даже дали пригласительные билеты в магазин для новобрачных, хотя у меня это был второй брак, а таким новобрачным дешевый подарочный магазин не полагался. И мы купили наручные часы, которые потом долго-долго мне служили. Думаю, что Юра такого собеседования не проходил, хотя он был старше своей невесты примерно на столько же лет, на сколько я старше моего мужа.

Судя по тому письму, Юра был счастлив и доволен семейной жизнью. Из подписи исчезло «твой». Его новая жизнь, на самом деле, началась прекрасно. Это мне рассказала Устинья Андреевна, когда мы случайно встретились с ней в электричке. Она ехала в свой загородный дом, который Юра купил на деньги, полученный за различные публикации романа Нурпейсова «Кровь и пот». Дом этот был в Абрамцево, в дачном поселке академиков. А я ехала к себе в деревенский дом, купленный за перевод «Знака четырех» Конана Дойла. У меня была бревенчатая изба под Александровом, по той же Ярославской дороге, на краю деревеньки Юрцово, при ней пятнадцать соток земли, все засаженные картофелем. Это был, наверное, 1976 год. И из слов Устиньи Андреевны я поняла, что Юра к этому времени уже расстался с семьей и жил в абрамцевском доме один. Вот что я от нее узнала.

Сначала все шло хорошо. Тамара разобрала сразу все Юрины рукописи, бумаги. В Абрамцево посадили розы, Юра сделал овощные грядки. Жили дружно и счастливо. Союз писателей дал Юре хорошую квар-

тиру. И вот однажды Юра вернулся с дачи домой, а жены нет. По какой-то глупой причине в Юре проснулась ревность, и он тут же, не сказав ни слова, уехал обратно в Абрамцево. Все уговоры — и ее и матери — оказались напрасны. Так объяснила мне причину развода Устинья Андреевна. Вышла она в Абрамцево, а я поехала дальше, в Александров.

Я подумала: ревность ревностью, но главная беда, наверное, была в том, что Юра все сильнее втягивался в пьянство, иначе просто не могло быть. Процесс обычный, описанный во всех исследованиях. 23 февраля 1964 года в письме английскому редактору, пожелавшему включить в сборник Юриных рассказов его автобиографию, Юра говорит: «Все годы я много ездил. Вообще мне кажется, что я хорошо жил, что так и надо жить писателю. Тогда я почти не пил (теперь я выпиваю, но хочу бросить, это мешает, когда много пьешь, и вообще писателю нужно быть здоровым) [...]» (Две ночи, с 28). Судя по этим словам, Юра отдавал себе отчет, что происходит. Его семейная жизнь началась года через два после того февраля. А в тот промежуток времени было четыре месяца Алма-Аты с почти ежедневными возлияниями: нас постоянно приглашали то в один богатый гостеприимный дом, то в другой. Может, какое-то затишье в первые семейные годы и было. Из того, что я знаю, с женой ему действительно повезло. Именно такой должна быть жена писателя. Знать толк в литературе, держать в порядке все его рукописи, архив, родить сына, заниматься огородом и садом, быть всегда рядом с ним — все это было в Юриной семейной жизни. И, думаю, не он рассердился и ушел, а ей с маленьким сыном стало невыносимо жить с ним под одной крышей. Возможно, и Юрина мать не была подарком в семейной жизни. В биографии Юрия Казакова И. Кузьмичев пишет: «Они (дети Великой Отечественной войны) росли чаще всего без отцов, без требовательной мужской заботы, на всю жизнь уверовав в непререкаемую женскую опеку, в самоотверженную (иногда до деспотизма) любовь матерей». Так деликатно Кузьмичев описывает отношение Юры с его матерью. Думаю, у него был верный источник, который позволил ему написать эти слова в скобках — («иногда до деспотизма»). Мне вспомнилось, как мы трое — Юра, Устинья Андреевна и я — ходили в поход с палаткой по окрестностям Тарусы. Ей было тогда 62 года, она была довольно полная, рыхлая, скакало давление, когда ходила, иногда пошатывало. Но ей тоже захотелось пожить в палатке в окрестных лесах, и Юра не мог отговорить ее. Шла она спотыкаясь, под зонтиком. Это было, конечно, необычное путешествие. Но не могу сказать, что я была недовольна. Я видела, что Юриной маме хорошо в лесу, на берегу речки, что она справляется — в одном месте нужно было лезть через бурелом, не каприз-

ничают. Она была рада, что пошла с нами. И я не могла на нее сердиться. Но, возможно, Тамара отнеслась бы по-другому к подобному желанию свекрови.

Рядом с деревней, где мы купили дом, был пансионат четырех московских журналов, которые принадлежали издательству «Известия»: «Дружба народов», «Иностранная литература», «Новый мир» и еще какой-то. Публика интеллигентная, а в соседнем доме в нашей деревне жили Ирина Павловна Архангельская, переводчица и редактор издательства «Прогресс», и ее муж писатель Наум Мельников (Мельман), единомышленники и друзья. И моя жизнь с Юрием Павловичем затворилась сама в себе, схлопнулась. Я никогда бы не вспоминала ее, не будь случайных встреч в электричке или в ЦДЛ. Росла моя дочь, вышла замуж дочь Ирины Павловны. Мы превратили наши участки в цветник, насадили яблонь, слив, всяких кустов. Жизнь была интересная и трудная, приходилось много работать — в институте и переводить. Муж защитил диссертацию. Писательские друзья выпали из моей жизни. Теперь это были физики, переводчики и журналисты. А потом и актеры Театра-студии на Юго-Западе.

Помню, в 70-е годы начал вдруг работать семинар художественных переводчиков. Занятия проходили в ЦДЛ. Однажды иду через ресторанный зал и вижу за столиком Юру и Николая Владимировича Богданова, детского писателя, с ним и его женой Верой Дмитриевной мы с Юрой дружили в Тарусе и в Москве. Я подошла к ним, Николай Владимирович тотчас встал и ушел. В первый миг нас с Юрой захлестнула волна радости, как будто не было ушедших пятнадцати лет. Я села. Юра был уже сильно пьян. Поговорили немного, я сказала, почему я здесь. Должна признаться, что всякий раз, как мы выходили из комнаты, где заседал семинар, я, глядя сверху, искала в ресторане глазами Юру. И вот мы встретились. Юра повез меня на такси домой. По дороге сказал те самые слова: «Я должен был на тебе жениться, твоя мама любила меня. А теща, когда мы разводились, сказала, что даже стул пополам поделит». Это единственное, что я помню из того разговора в такси. И это был наш с Юрой самый последний разговор. Вид у него был обрюзгший, говорил он, как говорят очень пьяные люди. И у меня не было сожаления, что мы тогда, в июне 65-го, расстались.

Так продолжалось семнадцать лет, до смерти Юры.

И только, услышав в автобусе, который вез нас на кладбище, слова «Была бы жизнь, была бы со мной Марина», я как будто очнулась. Подумала: а если бы у меня хватило «терпения и любви» (слова из молитвы Ефрема Сирина), и мы с Устиньей Андреевной справились

бы с губительно страстью, неужели и правда Юра продолжал бы писать свои великолепные рассказы, и не ушел из жизни так рано? Мы опять возвращаемся к главной загадке бытия, которая мучила Гамлета, так и не нашедшего на нее ответа. Верна ли мысль: «Наш замысел — исход его не наш» (акт 3, сц. 2, строка 215), и еще «Так боже-ство наш замысел вершит своею волей, нам наперекор» (акт 5, сц., 2, строка 10). Я как-то рассказала об этом мучительном сомнении моей внучке Лизе, она всплеснула руками, «Бабушка, да ведь нас бы не было, если бы вы не расстались!» Да, это утешение: «Наш замысел — исход его не наш».

Читая недавно стихи Тютчева, встретила строку: «Когда на то нет Божьего согласия...». И мне захотелось именно так назвать эту книгу.

ПОСЛЕДНИЙ ЮРИН РАССКАЗ

В мае 1959 года накануне писательского съезда, в статье «Бесспорные и спорные мысли», опубликованной в «Литературной газете», К.Г. Паустовский задался вопросом: «Есть ли у нас талантливая, передовая, умеющая по-настоящему работать и серьезная писательская смена?» и с удовлетворением ответил, да, есть — и «смена прекрасная». Назвав Казакова первым в ряду с В. Тендряковым, С. Никитиным, Ю. Трифоновым, Ю. Бондаревым, он пишет: «Я не могу сейчас рассказывать о всех молодых прозаиках, но у них у всех есть одно превосходное и плодотворное свойство, предрекающее им большую и нужную писательскую жизнь. Это свойство — их кровная принадлежность к народу, прекрасное знание народной жизни, то обстоятельство, что все эти молодые писатели — кость от кости и кровь от крови народа. Духовное их богатство не ограничено коротким отрезком их жизни. Оно уже вмещает все своеобразие народного характера, слагавшееся на протяжении веков, и соединяет их с новыми замечательными чертами, рожденными в народе после Октябрьской революции».

И далее К. Паустовский продолжал: «Особенно глубока, прозрачна и берет за сердце правдой и силой эта народная струя в рассказах Казакова и Никитина... Достаточно прочесть хотя бы два рассказа Казакова «Никишкины тайны» и «Арктур — гончий пес» и рассказ Сергея Никитина «Вкус желтой воды», чтобы прикоснуться к заветным источникам народной жизни и поэзии. Воздух огромной и любимой страны, дыхание изумительной нашей Родины струится из этих рассказов».

«Берущая за сердце народная струя» особенно сильно прозвучала в рассказе «Розовые туфли». Рассказ этот я никогда прежде не читала. И

даже не знала о его существовании. Увидела его в толстой красивой книге «Российская проза на рубеже XX — XXI вв., Юрий Казаков, Избранное, Рассказы» (изд. ИТРК, Москва 2004) уже когда писала эти воспоминания. Поместили его в раздел «Рассказы для детей». И я буквально заставила себя прочитать его, так мне не понравилось его название. А, прочитав, поразились, как можно было столь неразумно распорядиться этим рассказом. Ведь это исповедь в форме рассказа-аллегии. Ведь в нем Юра объясняет, почему он пьет. Думаю, рассказ написан уже в самом конце жизни. И еще он порастил меня слогом. Я даже сначала, после первых страниц, не поверила, что это Юра. Показалось, это чуть ли не Пришвин. И только биографические подробности уверили меня, что рассказ действительно написан Юрой. И написан как объяснение в аллегорической форме, почему так тягостно сложилась его жизнь. Мне сразу вспомнился последний рассказ Хемингуэя «Старик и море», написанный незадолго до самоубийства. Это ведь тоже рассказ-аллегория: старик — сам Хемингуэй, а могучая морская рыба, с которой старик борется не на жизнь, а на смерть, это его собственная жизнь, в борьбе с которой он вышел сомнительным победителем. Прочитав этот рассказ-притчу, его жена сказала: «за этот рассказ я прощаю тебе всё».

«Розовые туфли» имеют указание — «рассказ сапожника». Первые его слова: «... Пьет, как сапожник» И дальше; «— это вы правильно сказали, ну и поговорка такая есть, это точно. Но вспомнил я батюшку своего, и стало мне нехорошо от ваших слов. Конечно, наш брат сапожник другой раз очень сильно пьет. Только не всякий пьет — это одно. А второе: почему пьет — тоже вопрос. / Жизнь человеческая, она, знаете, у каждого всяко складывается, и, как я понимаю, на одну линию всех вывести нельзя нипочем. Для примера хочу я вам рассказать про себя немного, а главное — про своего батюшку Гаврилу Демьяныча, чудотворного мастера, и как к смерти пришел».

То, что рассказ с таким началом помещен в раздел для детей, — разительный пример непонимания смысла рассказа по причине того, что составителям знакома жизнь автора лишь в общих чертах. Сейчас уже почти никого не осталось, кто хорошо знал Юру и помнит, какой тяжелой и запущенной болезнью страдал он в последние годы — тяга к спиртному была уже неодолима. Но для этих немногих подтекст рассказа не только ясен, но из него вырисовывается мученический образ писателя, который силится объяснить людям, почему такими безысходными и бесплодными оказались последние годы, когда он жил «340 дней в году [...] на даче в Абрамцево анахоретом». («Для чего литература и для чего я сам», интервью журналу «Вопросы литературы», 1979, №2). Рассказ очень горький, за него тоже можно простить всё.

Первое слово «Пьет» меня как током ударило — это он о себе! «Конечно, наш брат сапожник другой раз очень сильно пьет. Только не всякий пьет — это одно. А второе: почему пьет — тоже вопрос». Так вот о чем рассказ — почему человек пьет. Теперь подставим вместо «сапожник» слово «писатель»: «Конечно, наш брат писатель другой раз очень сильно пьет. Только не всякий пьет — это одно, а второе: почему пьет — тоже вопрос». Выходит, «Розовые туфли» — попытка объяснить, как, по какой причине, иной писатель становится жертвой зелёного змия?

Как всегда у Юры, тщательно и осязаемо описаны встречаемые в рассказе ремесла, до мельчайших подробностей рассказано, как выделывают шкатулки, как шьют обувь. Юрины северные очерки всегда поражают doskonaльным описанием труда рыбаков и зверобоев. Рассказ начинается издалека, с предков героя (повествование ведется от первого лица). Встречаются и автобиографические намеки. Я заметила три: Юрин отец Павел Гаврилович работал какое-то время в типографии, был запойный пьяница (пил так, как отец героя в «Розовых туфлях»), деда Юры звали Гаврила. Но, наверное, их больше, сейчас трудно сказать, что именно — Юра скупо рассказывал о своем детстве, а об отце, дедушках и бабушках никогда. Если я что и знаю, только от его матери.

Рассказ по смыслу емкий, сюжетно интересный, психологически точный. Написан прекрасными словами, предложениями, но сюжет, пожалуй, рыхловат, не совсем равновесный. В нем, по крайней мере, три новеллы — жизнь одного деда (по материнской линии), другого — по отцу, и история отца рассказчика. И все же рассказ отличный. Написан мастером, аллегорией нигде не напахивает. Всё точно и убедительно соответствует профессии рассказчика. Он — сапожник, и не просто умелый и трудолюбивый, а художник своего дела. Но истинным талантом был его отец, и о его судьбе третья новелла: талант, неоцененный до смертельной сердечной боли, ищет утешение в спиртном и трагически гибнет: «водка уж такой яд: затянет, не вырвешься». Это и есть ответ на вопрос первого абзаца — «почему иной художник пьет?».

Новелла про отца — притча: истинный, милостью Божьей, талант не оцененный при жизни глухими к красоте, скукоженными людьми, обречен на гибель. Она и построена по закону притчи. Все ее главные элементы даются каждый в своем ёмком образе, сюжетно они крепко связаны, но их легко подменить, развернуть в любую историю. Этим способом передается завуалированное послание миру, ради которого и родилась притча, и заключенная в ней аллегория легко поддается расшифровке. Вот эти элементы:

Сапожник, отец рассказчика. «Как я вам говорил уже, был батюшка великим мастером своего дела [...] Батюшка мой прошел хорошую выуч-

ку у деда, да и талант ему от деда перешел, легкая рука у него была и художество в работе. И как каждый настоящий мастер и художник, хотел батюшка делать обувь людям на удивление и радость. / И вот, помню, была у него мечта гордая сшить такие туфли, чтобы были они красоты необыкновенной, а также большой легкости и прочности». Тут в соответствии с жанром заключена двойная характеристика: во-первых, это рассказ о некоем выдуманном сапожнике, талант ему достался от отца, жизнь которого — сюжет второй новеллы. Но есть в этом образе и всеобщность — «легкая рука» и «художественность», «настоящий мастер и художник», мечта которого создать такую вещь, чтобы она была «на радость людям» и «красоты необыкновенной». И еще обобщение: «Ведь как я понимаю, ни один художник не может для себя лично свой талант использовать, обязательно он работает для кого-то другого, потому он и художник для людей, а не для себя». Словом, сапожник в «Розовых туфлях» — это символ природного таланта, творящего для людей. Так Юра видел назначение писателя. В очерке «О мужестве писателя», вошедшем в «Северный дневник», сказано: «[...] ты все равно должен писать, думая о бесчисленных неведомых тебе людях, для которых ты в конце концов пишешь». В статье «Опыт, наблюдение, тон» («Вопросы литературы», 1968, № 9) Юра пишет: «Убеждая в чем-то читателя, я должен писать так хорошо, чтобы читатель мне поверил и полюбил то, что я люблю [...]». А в интервью журналу «Вопросы литературы» 1979 года говорит: «Так что серьезность мыслей, которые вызывает рассказ, — главное в определении таланта. Затем следует умение расположить слова так, чтобы они составляли максимально гармоничную фразу. Писатель должен обладать абсолютным внутренним слухом. [...] Писатель этим качеством не обладающий, пишет как глухонемой. [...] Как гармонична и точна фраза в русской классике XIX века». Эти слова относятся к нему самому, и они близки к сказанному о сапожнике, у которого «легкая рука» и «художественность» и который работает не для себя, а для людей. Он — символ художника милостью Божьей.

Розовые туфли. Его шедевр — всего лишь одна пара туфель. Это обобщенный (здесь) символ произведения искусства. Они прекрасны. «Трудно мне вам их описать, да и не поймете вы ничего из моих слов и всей необыкновенной красоты этих туфель. Чтобы почувствовать всю их красоту, надо было на них смотреть. Я теперь думаю, что такую вещь, конечно, нельзя было пускать в носку. Это была редкая музейная работа и, может, такой же красоты, как черевички у Гоголя». Пара туфель, но зато какая, и какой вдохновенный труд и мастерство в них вложены! «Работал батюшка эти туфли, как ювелир. [...] В общем, много разных художеств он использовал, много переволновался». Заключен-

ная в «Розовых туфлях» аллегория выткана, конечно, по сюжетной канве, имеющей свою логику. Но и тут она несомненна. В книге «Юрий Казаков» (серия «Русская проза на рубеже XX — XXI вв.») собрано 55 рассказов и очерков. Не вошли, по-моему, всего два рассказа «Зависть» и детский рассказ про Умбу, мной упомянутый. Значит, все творчество насчитывает около 60 произведений, семьсот с небольшим страниц. Но какие это рассказы, какие очерки! Вот что говорит Юра, отвечая на вопросы анкеты журнала «Вопросы литературы» (1962 г., № 9): «Паустовский написал мне года четыре назад совершенно ошеломляющее письмо. Кроме того, много хорошего говорили и писали мне и В. Панова, и Е. Дорош, и В. Шкловский, и И. Эренбург, и М. Светлов». Ко всему написанному Юрой (кроме нескольких детских рассказов) применимы слова: «Трудно мне вам их описать, да и не поймете вы ничего из моих слов и всей необыкновенной красоты...», «Это была редкая музейная работа». Действительно, русский язык Юрин — прекрасен, а лучшего описания русской природы, русских простых людей, стариков, старух, молодых парней до сих пор нет.

Заказчик туфель. «Однажды утром приходит к нам заказчик. Из себя очень неказистый, видно, чиновник, в очках, лицо тонкое и холодное, волос редкие, сам сутулый и зубы неважные — желтые и кривые, с золотыми коронками. [...] И вижу я, страсть как не понравился он батюшке, что-то было в нем нечеловеческое будто, а машинное». Это опять собирательный образ, на сей раз чиновника, с какими любому художнику приходится иметь дело. И вместе с тем — живой персонаж этой небольшой придуманной драмы, заказчик, диктующий творцу свою волю.

Оценка изделия. «Разворачивает тот [заказчик] туфли с унылым видом, а отец смотрит на него во все глаза, и лицо у него прямо как у ребенка, то вспыхнет, то нахмурится, то глаза быстро отведет, моргает, закуривает, а руки дрожат. Ждет, значит, как оценит заказчик его работу. И похвали его тогда заказчик, засмейся от радости, я думаю, отец бы с него и денег не взял. [...]

— Ну, как? — спрашивает [...].

— Да ничего... — Это чиновник-то отвечает. — Только вроде неодинаковые носки, один вроде пошире, другой — поуже. Да и как-то они... странные какие-то. Ни на что не похоже. Я ожидал другого». Так вот и Юрины рассказы не печатались. Чиновники от литературы (в очках, лицо тонкое и холодное) видели в них «не то настроение», и он «получал отказ за отказом», говорит он в интервью 1979 года журналу «Вопросы литературы». И еще там же: «вообще что-то странное происходит с моими книгами, их как будто и в помине не было». «Я участвовал в нескольких литературных декадах, ну и, как правило, книжные база-

ры, распродажа. К моим коллегам подходят за автографами, даже толпятся вокруг, а я один как перст, будто все мной изданное проваливается куда-то». Там же промелькнул еще один выпад против партийно-литературных бюрократов: «Застал я еще и Юрия Олешу... Потом вышла его книга "Ни дня без строчки", и, честно говоря, мне было больно ее читать. Видно, как художник страшно хочет написать просто рассказ, просто повесть, но вынужден записывать образы, метафоры...».

У меня сохранилась статья, опубликованная в «Огоньке», где критик ругает Юру на чем свет стоит, у него, видите ли, в одном рассказе есть «крытый двор» и поросенок в несколько пудов. Точь-в-точь замечание заказчика, что носки вроде неодинаковые. Да и «странные какие-то, ни на что не похожие» не раз слышала я о Юриных рассказах.

Вспомнились строки из Юриного письма (17 ноября, 1964г.): «Старушечка, мне очень плохо, вообще плохо потому что — с одной стороны, мне нужно пить-есть, мне и моим близким, и для этого нужны гроши, а с другой стороны нужно писать, что я хочу и что повелевает мне мое глупое, но правдивое сердце. И вот если я слушаю сердце свое, я пишу «Нестора», которого не печатают, зато все хвалят, а если мне надо пить-есть, то я печатаю «Плачу и рыдаю», или тому подобную ерунду, где ничего такого нет и всем приятно». Это 1964 год, и Юра уже много пил.

Я не восприняла тогда этих строк, как воспринимаю сейчас. Шестидесятые годы, разоблачение Сталина, злодеяний, культа личности, все это для нас тридцатилетних было залогом исполнения надежд. Будущее высветлилось, хлынула эмигрантская литература. Мой путь был для меня ясен: буду переводить прекрасные произведения англоязычной авторов. Мы уже знали Марину Цветаеву, «Окаянные дни» Бунина, «Дни» и «Девятнадцатый год» Шульгина. Знали Бабея, Пильняка, русских философов Владимира Соловьева, Розанова, на полке у меня были Ключевский и Соловьев. В те годы я еще не сознавала во всей полноте трагедии писателя, подвергшегося травле литературных чиновников. В оправдание скажу, что у меня в душе жил уже тогда протест против Союза писателей: сколько Ольга Петровна ни уговаривала меня подать заявление в секцию переводчиков Союза, я была категорически против. Члены Союза имели право пользоваться поликлиникой литфонда, ателье, бесплатными путевками в дома творчества. А еще писателям давали квартиры, так что люди стремились вступить в Союз — льготы были нешуточные. К члену профкома литераторов, купившему путевку в дом творчества (мы это право имели), писатели, пусть и третьесортные (а их было большинство), относились с презрением. Я отвергла для себя этот Союз потому, что его члены допустили, чтобы великий русский поэт Марина Цветаева покончила с собой в августе 1941 года. Они все тогда прекрасно

знали, что она такое, какой это великий талант. Все вместе эвакуировались в Чистополь, в Среднюю Азию, а она оказалась в Елабуге, с пятнадцатилетним сыном, безо всякой помощи — брошена Союзом на произвол судьбы. Подробности я тогда не знала, но и этих фактов было достаточно — мне их рассказала Ольга Петровна. В такой Союз я вступить не могла. И до сих пор не могу, у нас есть приличный Союз переводчиков.

И только прочитав книги Бенедикта Сарнова о Сталине и писателях, я в полной мере осознала власть и силу литературных аппаратчиков. Особенно меня потрясло предсмертное письмо Фадеева 1956 года: «Литература — это святая святых — отдана на растерзание бюрократам и самым отсталым элементам народа [...] Литература отдана во власть людей неталантливых, мелких, злопамятных [...] И нет никакого уже стимула в душе, чтобы творить» (Бенедикт Сарнов, «Империя зла, Судьбы писателей», изд. «Новая газета», 2011, с. 466-467). Юра так глубоко и сам никогда не заглядывал, мучился и все. Оттого и пил. Начал не от безысходности, как то было со Светловым и другими писателями предыдущего поколения. Начал выпивать в командировке с Юрием Коринцом. А отец — запойный пьяница, такой как дед в «Розовых туфлях». Значит, Юра был в группе риска. Оказалось, что опьянение глушит остроту боли от разочарования, злобной критики, постоянных отказов, постоянных «прекрасно, но...».

Так для меня заказчик с его оценкой прекрасного творения стал символом деятельности литературного чиновничества.

Реакция на оценку. «Потемнел мой батюшка лицом, глаза какие-то бессмысленные стали [...] Сидел он, сидел, вдруг зубами заскрипел, схватил деньги, шваркнул об стенку. Потом схватил молоток и молотком в стену — да так, что ручка переломилась. [...] Батюшка поглядел на меня, помолчал, вынул из-под подушки десятку, дает мне. / — Беги, — говорит, — за водкой. И так пошло с того самого дня. Запил отец окончательно, откуда что взялось! Пропил все деньги. что за туфли взял, стал пить на те, кои прикоплены у нас были. [...] Чего только я не перепробовал! Ругал его, просил плакал — ничего не помогало. Сам все понимал и страдал, но пить не бросал [...] Ко мне он переменялся, ругал нехорошо, колотил». Юрина реакция на идиотскую критику, на отказы печатать, на забывчивость читателей психологически была такой же: «страдал, сам все понимал», и продолжал пить.

Продал свою мечту за сто рублей. «Перед матерью [умершей женой] ему было обидно. Напьется и плачет:

— Марьюшка! — кричит, — прости ты меня подлеца, тебе мечтал туфли сшить розовые, как утренняя зорька! Недолюбил я тебя при жизни и после смерти тебе изменил: продал свою мечту за сто рублей!»

А ведь действительно продал. Взятся переводить с подстрочника длинейший роман Нурпеисова, роман добротный, с интересной национальной спецификой, но исторически конъюнктурный. А как Юра ругал себя, что взялся за него, это ведь три книги. Но зато получил за работу большие деньги. И пил, пил до помрачения ума, во всяком случае, когда работал над переводом в Алма-Ате. Предал свои «розовые туфли». А ведь в письме из Одессы (4 окт. 1964г.) обещал никогда больше ничего не переводить, а писать только рассказы: «Ты верь мне, я исправлюсь. Т.е. настанет такой момент, что я не буду никому ничего обязан, не стану писать никаких сценариев и тому подобного, не буду переводить, а буду писать рассказы и очень стараться при этом. И сдам на права. И мы поедем в Печоры даже зимой».

Думаю, не могу не думать, и, наверное, найду понимание, что слова «Марьюшка! прости ты меня подлеца. Недолюбил я тебя при жизни и после смерти тебе изменил: продал свою мечту за сто рублей!» обращены Юрой ко мне. Вся логика наших отношений, встреч, разговоров, последних записей и последних слов, сказанных в больнице перед самой кончиной, убеждает меня в этом. Когда расстаются навсегда, это равносильно смерти, да и настоящее мое имя — Мария, так меня нарекли по рождению, так записано в паспорте, перезвала меня мама во время войны, по какой причине, не знаю. Но по возвращении из эвакуации я уже была не Мура, а Марина Литвинова. И расстались мы, когда Юра получил много, много денег. Можно сказать, что перевод казахского романа был рубежом в его жизни. Спустя много лет летела я в Америку и оказалась в одном самолете (и места почти рядом) с Абдижамилом Нурпеисовым. Он меня сразу узнал, но был как-то враждебно нелюбезен. Я удивилась и прямо спросила, почему он на меня сердится. И он мне сказал, что не лично на меня, а на всех Юриных друзей, которые считают, что он — причина Юриного пьянства и смерти, потому что именно после работы над его романом все и покатилося у Юры под гору. Думаю, что сам Юра никогда не винил Абдижамила в своем пьянстве. И в этом рассказе пытался объяснить себе и всем, какая боль всегда мучила его душу. И почему взялся он за этот трекаятый перевод. Он был обречен продать право первородства за чечевичную похлебку.

За те деньги Юра купил дом в Абрамцево, о котором в том же интервью 1979 года говорит: «Люблю свой дом в Абрамцеве, но и жалею, жалею, что купил когда-то, очень держит дом — ремонты всякие, — не стало прежней легкости, когда за полдня собрался и был таков! / Хочу на Валдай! Хочу опять стать бродягой, думаю все время, как я когда-то одиноко ездил, никому не известный, никем не любимый... Чем не жизнь?». И вот ирония судьбы. Этот дом, купленный такой ценой, в

2007 году, спустя полвека, сгорел дотла. Как будто его и не было. «Одиноко ездил», «никем не любимый». И ездил не одиноко, да и любим был. А как писалось! Понятное дело, взялся переводить не от хорошей жизни, но ведь не голодали же. А денег, полученных за перевод, хватило и на дорогой дом и на хорошую семью, но не писалось, как прежде. Накапливалось раздражение. Тяга к спиртному крепла и стала непреодолима — результат измененного обмена веществ.

Сбился совсем с дороги и замерз. В рассказе «дальше все хуже», и вот уже полное моральное падение: «...раз даже с топором за мной по усадьбе гонялся». И неотвратимый трагический конец: «возвращался батюшка домой с Дорогобужа пьяный, петлял, петлял, а метель ночью поднялась, сбился совсем с дороги и замерз».

Думаю, что последние лет пять-шесть — пьяное одиночество, разлука с сыном, горькие чувства от воспоминаний — по тяжести сопоставимы с теми чувствами, что описаны в соответствии с сюжетом в «Розовых туфлях».

В 1979 году (в самом начале, и 21 ноября) Юра дал два интервью — «Вопросам литературы» и «Литературной газете». Последние десять лет книги его не выходили, только в начале восьмидесятых несколько издательств стали готовить сборники его рассказов. Вышли они уже после его смерти. Первое интервью очень грустное, Юра пытается объяснить, почему не появляются его новые рассказы («Я вообще с некоторой боязнью отрываю от себя написанные вещи. Часто звонят мне из одного журнала, из другого. «Нет, — думаю, — это отдавать еще рано, пусть отлежится»). А прежде, окончив рассказ, он тут же отвозил его в журнал или газету. Интервью большое и ностальгическое, он весь в прошлом. Вспоминает начало писательского пути: «Если вам очень интересно, скажу. Я стал писателем, потому что я был — заикой./ Заикался я очень сильно и еще больше этого стеснялся. И потому особенно хотел высказать на бумаге все, что накопилось»; с обидой вспоминает, «когда я-то из-под Бунина выбрался, стал самим собой (ведь последние мои вещи написаны вообще вне этого влияния) мои критики продолжали твердить как заведенные — Бунин. Бунин, Бунин... (Ну разве «Осень в дубовых лесах» — Бунин?)». Поминает ранние рассказы — «Никишкины тайны», «Манька», «Голубое и зеленое», «Некрасивая», «Старики», «Трали-вали». Рассказы первой половины 60-ых годов — «Кабиасы», «Вон бежит собака», «Ни стуку, ни грюку», «Осень в дубовых лесах», «Северный дневник». Упоминает неоконченное о войне: «Так я написал половину повести «Разлучение душ» — повесть о мальчишке, который пережил войну, бомбежку, 1941 год. В памяти всплывает Арбат, Окуджава, Литературный институт, говорит о любви к Северу, как первый

раз поехал туда в 1956 году. Словом, он весь погружен в былое. Из рассказов 1970-х годов говорит о «Свечечке» и о «Во сне ты горько плакал», превосходных рассказах о детях: «рассказ же о ребенке, написанный для взрослых, может быть сколько угодно сложен. Во всяком случае, свои рассказы о маленьком сыне («Свечечка» и «Во сне ты...») я ни за что не посмел бы предложить маленькому читателю». Уединение располагает к думам: «Грустновато, но я нахожу отраду в одиночестве. Одиночество тяжело, когда не о чем думать. Если есть о чем, то оно только помогает». И он объясняет, почему иногда оставляет рассказ неоконченным: «Но по мере того как я знакомился с величайшими образцами литературы, по мере того как сам писал все больше и по мере того как оглядывался на современную нам жизнь, вера моя в силу слова начала таять. Дошло до того, что я стал не дописывать свои рассказы, оставляя их в черновиках, думал: «Ну напишу я еще несколько десятков произведений, что изменится в мире? И для чего литература? И для чего тогда я сам? / Что толку в моих писаниях. если вот даже вся страстная громовая проповедь Толстого никого ничему не научила? [...] И вот перед писателем, относящимся к своему делу серьезно, нет-нет да и возникнет вопрос, вопрос гибельный: кому я пишу? зачем? и что толку в том, что книги мои переводятся на десятки языков, издаются в сотнях тысяч экземпляров? / Уныние охватывает тогда писателя, уныние надолго: что уж говорить обо мне, если такие властители дум ни на йоту не подвинули вперед человечество, если их Слово для людей вовсе не обязательно, а обязательно только слова приказов: «В атаку!», «Огонь!». / Значит, бросить все? Или наплевать на все и писать для денег, для «славы» (какая там слава!) или «для потомков»... / Но почему же мы тогда все пишем и пишем? / Да потому что капля долбит камень! Потому что неизвестно еще, что бы было со всеми нами, не будь литературы, не будь Слова! И если есть в человеке, в душе его такие понятия, как совесть, долг, нравственность, правда и красота. — если хоть в малой степени есть, — то не заслуга ли это в первую очередь и великой литературы? / Мы не великие писатели, но если мы относимся к своему делу серьезно, то и наше слово, может быть, заставит кого-нибудь задуматься хоть на час, хоть на день о смысле жизни. / Хоть на день! — это ведь так много».

Это почти самый конец интервью. Вот что было в уме и сердце Юры за четыре года до смерти (немного меньше, чем за четыре). Перепечатывала и в который раз восхищалась его слогом, его русским языком — чистым, благозвучным, точным. Живет он прошлым, привязан к дому, пишет мало, начинает и бросит. А в беседе с корреспондентом «Литературной газеты», (21, XI), Юра еще объясняет, почему не написал ни одного романа: «А вот с романом я пока терплю фиаско. Наверное, ро-

ман, который, в силу своего жанра, пишется не так скупо и плотно, как рассказ, а гораздо жиже, не для меня. В свое время я взялся за перевод одного большого романа в надежде, что сам вдохновлюсь на роман. Да так, видно, и суждено умереть рассказчиком».

Я смотрела опубликованные начала задуманных произведений, язык прекрасный, а суть не захватывает. Он, видно, сам это чувствовал. И потому бросал. Не зря же в интервью вспоминает, как писалось раньше: «поехал на Волгу, в Городец — написал два рассказа, поехал на Смоленщину — три, поехал на Оку — два, и так далее». И ни разу в интервью даже намеком не коснулся, что пьет. Но, думаю, это насыщенное мыслями и воспоминаниями интервью, над письменным текстом которого он, наверняка, вдумчиво поработал, пробудило в нем критическое отношение к себе, осмысление — наедине с собой — реальных причин, почему он уже несколько лет не работает в полную силу, с полной отдачей: главная причина — алкоголь. И не мог он не задаться вопросом, почему он пьет.

Мне представляется, что рассказ «Розовые туфли» он начал писать вскоре после этого ноябрьского интервью — последнего. Рассказ длинный, содержит несколько новелл, значит, работал он над ним долго. И, когда дошел до слов «сбился совсем с дороги и замерз», то с ужасом провидел, каким страшным может быть его собственный скорый конец. И тогда он предпринял попытки лечиться. И навсегда отказался от водки. Что бы отказать четверть века назад!

Сопоставляю его последнее письмо Виктору Конечкому и последний разговор с двоюродной сестрой о пишущей машинке, о писательских планах у ограды больницы. Такое умное письмо, точный, изящный слог. Сколько он мог еще написать! Но организм был разрушен. Одно утешение, что последние дни Юра был полон надежд и веры в свой талант — неувядаемый. Поманила, засветилась обновленная жизнь. И мне вдруг вспомнилось одно место в моем любимом рассказе «Тропики на печке»:

«Маяк работал, посылая во тьму прекрасные свои лучи. Но свет, который для людей был спасением, для птиц был гибелью. Они устремлялись к нему, и, измученным, им, наверное, казалось, как во сне, что путешествие их окончено, что все ужасы позади, а этот красный и зеленый свет — свет теплой Африки. Они устремлялись к нему, как бабочки, и ударялись о металлические перила, о толстые холодные стекла и умирали. Они умирали, упав тут же, на площадке, но смерть их, должно быть, была легкой — они умирали, озаренные негаснущим, ярчайшим светом, видимым на десятки километров, и им казалось, что они прилетели, наконец, в Африку».

Если бы писался роман, то можно было бы без сослагательного наклонения вскрывать психологию героев, социальные корни их действий и поступков, и никто не стал бы оспаривать сказанное. (Правда, критики могли бы уличить меня в непонимании человеческой души). Тут же, говоря не о выдуманном герое, а о живом человеке, постоянно приходится предполагать. Может, кто-то другой и по-иному истолкует побуждения и мотивы происходившего. Но движения фигур на шахматной доске жизни происходили именно так. Юрин конец известен, мой еще предстоит.

VII

АВТОРЫ



Игорь БОЛЫЧЕВ

1961, Новосибирск. Живет в Москве. Окончил Московский физико-технический институт и Литературный институт им. А.М. Горького. Доцент Литературного института. Публикации: журналы «Новый журнал», «Иностранная литература», «Крещатик»; книги «Разговоры с собою», М., 1990, «Вавилонская башня», Мюнстер, 1991; переводы поэтов П. Б. Шелли, Р.

Бернса, Р. Киплинга, У. Б. Йейтса, Э. Паунда, Л. Уланда, А. Фон Дросте-Хюльсхоф, Г. Бенна, Г. Гейма, Г. Тракля и др.; статьи о творчестве И. Чиннова, Г. Иванова, Г. Бенна и современной русской поэзии «Мерзость запустения» («Литературная газета» 30.06. 2004).



Вальдемар ВЕБЕР

1944, Казахстан. Живет в Аугсбурге. Окончил Московский институт иностранных языков. Пишет на русском и немецком. Автор нескольких поэтических сборников стихов и переводов с немецкого и нидерландского, многочисленных публикаций стихов и переводов в периодике России, Австрии, Германии, Бельгии, Люксембурге. Составитель ряда известных антологий

немецкоязычной поэзии на русском языке в 70-х и 80-х годах. В 1990 — 1992 гг. руководил семинаром художественного перевода в Литературном институте. Книги: «Traenen sind Linsen. Слёзы - линзы. Стихи и эссе» (на немецком языке), М.: Радуга, 1992; «Тени на обоях. Стихи и переводы с немецкого», М.: Весть-Вимо, 1995; «Черепки», книга стихотворений, М.: ЛИА Руслана Элинина, 2000; Scherben. Gedichte (на немецком языке), Augsburg: Verlag an der Wertach, 2006.



Андрей ВЫСОКОСОВ

1966, Москва. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Публикации: журналы «Крещатик», «Литературная учеба» и др.



Дмитрий ВЕДЕНЯПИН

1959, Москва. Окончил Московский государственный педагогический институт им. Мориса Тореза. Автор поэтических книг «Покров» (1993), «Трава и дым» (2002), книги стихов и прозы «Между шкафом и небом» (2009), и книги стихов «Что значит луч» (2010). Автор переводов поэзии (А.Поуп, Т.Харди, Т.Макграт, Ч.Уильямс, П.Польжан и др.) и прозы (И.-Баше-

вис Зингер, М.Каннингем, Б.Чатвин и др.). Лауреат премии Союза писателей Москвы «Венец» (2004), главной премии «Московский счет» (2010) и премии-стипендии Фонда И.Бродского (2011). Ведет поэтический класс в Институте журналистики и литературного творчества.



Андрей ГОЛОВ

(1954, Москва – 2008, Москва).

Публикации: книги «На берегу времени», М.: Риф «Рой», 1997, Фотиандр Метаноик «Попытка к бытию», М.: Вахазар, Лето Господне 2006; сборники «Молодая гвардия – 85», М.: Молодая гвардия, 1986, «Турнир. Стихи», М.: Современник, 1987, «Андрей Голов "Прикосновение", Василий Чертушкин "Фактор сердца", Елена Наумова

"Выстрел ветки", Сергей Васильев "Синица", М.: Молодая гвардия, 1988, «Владимир Сабиров "Зимогор"». Василий Ситников "Красный Остров". Михаил Гаврюшин "Грядущая быль". Михаил Окунь "Негромкое тепло". Андрей Голов "Водосвятыне", М.: Молодая гвардия, 1990; журналы; переводы с немецкого и английского.



Татьяна ГРАУЗ

Челябинск. Живет в Москве.

Окончила 1 Московский медицинский институт им. Сеченова и ГИТИС (факультет театроведения). Публикации: журналы «Крещатик», «Черновик», «Меценат и мир», «Волга XXI век», «Воздух», «Дети Ра», «Футурум Арт»; альманахи «Илья», «Скандинавия-Поволжье», «Академия Зауми», «Перелом ангела», «Легко быть искрен-

ним», «То самое электричество» и др.; книги стихов «Они прозрачнее неба», М.: Вест-Консалтинг, 2005, «Пространство иного», Free poetry, 2004, «Лес-Озеро-Сад», Шупашкар, 2007.



Мария КОЗЛОВА

1981, Москва.

Окончила МГУ им. М.В. Ломоносова и Литературный институт им. А.М. Горького. Публикации: альманах «Илья» (2007).



Александра КОЗЫРЕВА

Москва. Окончила Московский архитектурный институт. Публикации: журналы «Преображение», «Крещатик», «Литературная учеба»; сборник «Время Ч» (стихи о Чечне и не только); книга стихов «Магический круг».



Наталья Васильевна КОРНИЕНКО

Новосибирск. Живет в Москве. Член-корреспондент РАН, доктор филологических наук, зав. Отделом новейшей русской литературы ИМЛИ им. А. М. Горького РАН, автор более 500 научных работ по истории и текстологии русской литературы советского периода, монографий «История текста и биография А. П. Платонова» (1993), «"Сказано русским языком..." Андрей Платонов и Михаил Шолохов» (2003), «"Нэповская оттепель": Становление института советской литературной критики» (2010) и др.

Главный редактор научного Собрания сочинений А. П. Платонова, ответственный редактор научных изданий «"Страна философов" Андрея Платонова: Проблемы творчества», «Архив А. П. Платонова», «Текстологический временник: Вопросы текстологии и источниковедения русской литературы XX века». Зам. главного редактора серии РАН «Литературные памятники». Член Союза писателей России.



Сергей КРОМИН

1972, Москва. Окончил Московский автомеханический институт и Литературный институт им. А.М. Горького. Публикации: журналы «Крещатик», «Черновик», «Дети Ра»; альманах «Илья»; книги стихов «Зарянь», 2002, «Когда меня здесь нет», 2006.



Марина Дмитриевна ЛИТВИНОВА

1929, Ижевск. Живет в Москве. Окончила Московский государственный лингвистический университет. Профессор кафедры перевода английского языка МГЛУ. Переводчик, шекспировед, главный редактор научно-художественного журнала «Столпотворение» Союза переводчиков России, член Британского общества Фрэнсиса

Бэкона. Автор книги «Оправдание Шекспира». Переводы с английского: Уилки Коллинз «Муж и Жена», Герберт Уэллс «История мистера Полли», Дэвид Герберт Лоуренс «Любовник леди Чаттерли», Голсуорси «Усадьба», Конан Дойл «Знак четырех» и «Долина страха», Стейнбек «Консервный ряд», Джон Ирвинг «Правила дома сидра», вторую, третью и четвертую книги о Гарри Поттере Дж. К. Роулинг, «Английские народные сказки».



Иван МАКАРОВ

1951, Москва.

Окончил Институт тонкой химической технологии и Литературный институт им. А.М. Горького. Публикации: журналы «Знамя», «Юность», «Новый мир»; альманах «Поэзия»; книга стихов «По траве, по камням, по песку».

Арво МЕТС

?????



Александр МОСКАЛЕНКО

1958, г. Оха, о. Сахалин. Живет в Москве. После окончания в 1981 году Московского энергетического института работает в службе управления космическими полётами. Автор 9 книг стихотворений. Составитель и издатель антологий современной поэзии «Один к одному», 2004, «Времена и пространства», 2005, «Один к одному-2», 2006. Публикации: «Литературная газета»;

журналы «Юность», «Литературная учёба», «Крещатик» и др.; альманахи «Турнир», «День поэзии», «Илья», «Прибой», «Радуга имён», «Август» и др. Член жюри международной литературной премии «Илья».



Илья ОГАНДЖАНОВ

1971, Москва. Окончил Международный славянский университет, Литературный институт им. А.М. Горького, Институт иностранных языков им. Мориса Тореза. Публикации: журналы «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Урал», «Сибирские огни», «Крещатик», «Вавилон», «Черновик», «Меценат и мир»; альманахи «День поэзии», «Илья», «Русская поэзия XX век»; книга

стихов «Вполголоса», М.: ЛИБР, 2002. Переводы с английского: Т.С. Элиот, Роберт Фрост, Сильвия Плат, Уолт Уитмен, Филип Ларкин.



Алексей ПРОКОПЬЕВ

1957, Чебоксары. Живет в Москве. Окончил отделение искусствоведения исторического факультета МГУ, после окончания университета долгое время работал ночным сторожом. В 1996-2002 - гг. руководил семинаром художественного перевода в Литературном институте им. А.М. Горького.

Публикации: «Новый журнал», «Иностранная

литература», «Воздух»; антологии «Строфы Века», «Самиздат Века» и «Строфы Века - 2» (мировая поэзия в русских переводах). Переводит стихи с английского (Милтон, Уайлд, Дж.М.Хопкинс...), немецкого (Рильке, Трахль, Бенн, Гейм, Целан, Герта Мюллер...), шведского (Транстрёмер и др.), итальянского (Альдо Нове). Лауреат специальной Премии Андрея Белого (2010) за литературный перевод.



Виктор САНЧУК

1959. Москва. С 1999 г. живет преимущественно в Нью-Йорке. Был дворником, сторожем и т. д., геофизиком в экспедициях, столяром краснодеревщиком. Учился прерывисто на фил. и ист. ф-тах МГУ. Посещал поэто-переводческий семинар Аркадия Штейнберга в Москве. Сочиняет с 1982. Кроме стихов – рассказы, статьи, репортажи и проч. Переводил на русский стихи южных славянских и немецких поэтов. В 1986 соучредитель лит-клуба «Московское время» (вскоре самоисключился). 1988-1992 сотрудник неподцензурных изданий «Бюллетень христианской общественности» и «Экспресс-хроника». В США занимался журналистикой, вышла книжка стихов, был водителем грузовиков и санитарных машин, сотрудником дорожно-транспортной программы Штата. Стихи: 1982-1985 (большинство из предлагаемых); а также – Осень-зима'97; Гималаи 9 и 40 дней (2010); и отдельные стихотворения между циклами.



Александр СВИРИДОВ

1956 г, Тамбовская область, поселок 1 мая. Живет в Москве. После службы в одной из пожарных частей работает в охранных структурах. Выпустил две книжки стихотворений: 2004 и 2005 гг. Публикации: альманах «Илья» и журнал «Арион».



Ольга ТАТАРИНОВА

(1939, Куйбышев — 2007, Москва).

Окончила Рязанский радиотехнический институт, Литературную студию при Союзе писателей СССР (семинар Б.Слуцкого), Литературный институт им. А.М. Горького (семинары Ю.Трифонова и В. Липатова). Публикации: книги «Вечная верность» (повести и рассказы), М.: Советский писатель, 1988, «Некурящий Радицев» (роман), М.: Советский писатель, 1992, второе издание, М.: Ли-
нор, 2004, «Стихи», М.: Линор, 1995, «Кипарисовый ларец (non-fiction)», М.: АВМ, 2004, Vita brevis (книга стихов), М.: Линор, 2005, «Синица в небе» (книга стихов), М.: Юность, 2005, «Камерно» (книга стихов), М.: Линор, 2005, «Горизонт квартала» (книга стихов), М.: Вест-консалтинг, 2006, «Московский вечер» (книга стихов), М.: Вест-консалтинг, 2006; альманахи и коллективные сборники «Чего хочет женщина», М.: Линор, 1993, «Американские поэты в Москве», 1998; «День поэзии-2000», М.: «Русский мир»; «Брызги шампанского», М.: Олимп, 2002, «Один к одному» (антология одного стихотворения), М.: АВМ, 2003 и др.

Переводы стихов И.Р.Бехера, Е. Штриттматер, И. Бахман, П. Целана, Г. Бенна, Т. Дойблера, Ф. Верфеля, Г. Тракля, А. Гинсберга, Д. Эшбери, а также романа Айрис Мердок «Сон Бруно», рассказа «Клей» Патрика Уайта, и др.
Лауреат Международного конкурса на лучший женский рассказ 1993.
Основатель литературной мастерской «Кипарисовый ларец».

Подробнее см. Dictionary of Russian women writers, Greenwood Press, 1995.



Сергей ФЕДЯКИН

1954, Москва.

Окончил Московский авиационный институт и Литературный институт им. А.М. Горького. Доцент Литературного института. Публикации: книги «Скрябин» (ЖЗЛ), М.: Молодая гвардия, 2004; «Мусоргский» (ЖЗЛ), М.: Молодая гвардия, 2009; учебное пособие (совм. с П.В. Басинским) «Русская литература конца XIX — начала

XX в. и эмиграции первой волны», М.: Academia, 1999; статьи о литературе и музыке в журналах и научных сборниках. Лауреат литературной премии Государственного Академического Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского (художественный руководитель и главный дирижер В.И.Федосеев) в рамках юбилейного фестиваля «Вера, Надежда, Любовь...» (2005).